



Юрий
Давыдов

«TERRA» - «TERRA»

Scan Kreyder - 25.09.2019 - STERLITAMAK



БОЛЬШАЯ
БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



Юрий Давыдов

СОЧИНЕНИЯ
В ТРЕХ ТОМАХ

Том первый



СЕНЯВИН

ГОЛОВНИН

НАХИМОВ



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1996

ББК 84.Р7
Д13

Оформление художника
Е. Мухановой

Оригинал-макет подготовлен
Гуманитарным центром «ЭНРОФ»

Давыдов Ю. В.
Д13 Сочинения: В 3 т. Т. 1: Сенявин. Головнин.
Нахимов. — М.: ТЕРРА, 1996. — 512 с. — (Большая
библиотека приключений и научной фантастики).
ISBN 5-300-00484-7 (т. 1)
ISBN 5-300-00483-9

Жизнь Дмитрия Сенявина, Василия Головнина, Павла Нахимова
была отдана морю и кораблям, овеяна ветрами всех румбов и опалена
порохом. Не фавориты самодержцев, не баловни «верхов», они слу-
жили Отечеству и в штормовом океане, и на берегах Средиземного
моря, и на бастионах сражающегося Севастополя...

Д 4702010000-255 Подписное
А30(03)-96

ББК 84.Р7

ISBN 5-300-00484-7 (т. 1)
ISBN 5-300-00483-9

© Издательский центр «ТЕРРА», 1996

*Посвящаю
светлой памяти —
адмирала Ивана Степановича
Исакова, капитана 1 ранга
Николая Васильевича
Новикова, контр-адмирала
Евгения Евгеньевича Шведе.*
Автор

ОТ АВТОРА

Штурманы назубок знают: $Dh=2,08 (V^e+V^h)$.
Говорят кратко: «Дальность видимости». Под-
разумеается: «Геометрическая (географичес-
кая) дальность визуальной видимости предме-
тов». В указанной формуле: «e» — высота
глаза наблюдателя, «h» — высота наблюдаемо-
го. Произведи вычисления, получишь рассто-
яние в милях. Однако не спеши торжество-
вать. Моряк-практик усмехнется: «При
дымке, тумане, дожде, снегопаде дальность
видимости может значительно понижаться». Автору биографического повествования не
следует пренебрегать навыками мореходной
практики. Дымка и туманы Былого не поэти-
ческие красоты, а помеха реальная. Ее можно,
хотя бы отчасти, рассеять долгим, несуетным
напряжением, свободным от сиюминутных
пристрастий.

Но прилежанием, сколь бы оно ни было
похвально, дело не исчерпывается. Тургенев,
прочитав биографию покойного друга, уми-
ротворенно заметил: «Весь смысл его жизни
угадан, верно, тонко передан». Угадать и пере-
дать — вот главная задача. Необходима разви-
тая интуиция. Проницая фактическое, она
высвечивает психологическое. Иначе вы полу-
чите не жизнеописание, а послужной список,
разящий канцелярщиной.

Не автору судить, как он управился. Автор
вправе сказать лишь одно: сделал, что мог, и
пусть, кто может, сделает лучше. И, положи-
в руку на сердце, прибавить: видит Бог, я ста-

рался. Да, старался, испытывая уважительную любовь и к трем адмиралам, и к людям, памяти которых посвятил эту книгу. Военные в больших чинах, они не были чинушами. Знатоки военно-морской истории, они каким-то особым, родственным чувством понимали ее знаменитых и незнаменитых персонажей.

СЕНЯВИН



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Жан Бар, отчаянная головушка, был однажды принят Людовиком XIV. Король объявил:

— Я назначил вас командиром эскадры.

Моряк, чуждый этикету, простодушно брякнул:

— Сир, вы хорошо сделали!

Когда вице-адмирала Сенявина назначили главнокомандующим на Средиземном море, многие моряки могли бы сказать Александру I:

— Государь, вы хорошо сделали!

Существует упоминание о том, что царь посылал за советом к знаменитому Ушакову: давать или не давать Сенявину столь высокую должность.

— Я не люблю, не терплю Сенявина, — ответил флотоводец, — но если б зависело от меня, то избрал бы к тому одного его.

Не думаю, чтобы царь советовался с Ушаковым: Александр не ценил человека, равного Суворову. Убедительнее, по моему, звучит замечание о том, что Ушаков вообще не раз повторял: «Я не люблю, не терплю Сенявина; но он отличный офицер и во всех обстоятельствах может с честью быть моим преемником в предводительствовании флотом».

Об ушаковской нелюбви к Дмитрию Николаевичу скажем после. Сейчас важно другое: признание Ушаковым выдающихся достоинств того, кто был ему, мягко выражаясь, мало симпатичен.

Экспедицию, порученную Сенявину, готовил Чичагов, фактический глава морского ведомства. В частном письме в Лондон Чичагов предлагал: пусть союзники-англичане контролируют западную часть Средиземного моря, а русские — восточную; обоюдную выгоду такого разделения труда, замечал он, «невозможно исчислить». Чичагов сообщал далее про флотскую жажду участвовать в походе и разделяя раздражение капитанов, остающихся в Кронштадте или в Ревеле.

А начиналось это доверительное письмо так: «Вице-адмирал, который командует ею (эскадрой. — Ю. Д.) заслужил ре-

путацию хорошего моряка, кроме того, он русский и из хорошей семьи, а это все, что необходимо, чтобы получить подобное назначение».

Нет, не все необходимое указал Чичагов! О главном-то и умолчал. Суть была в том, что Сенявин прекрасно знал район будущих боевых действий: для него это был район минувших боевых подвигов. И противника он знал: ему уже доводилось сражаться с французами.

Дмитрию Николаевичу едва минуло сорок. Вряд ли кто-либо другой в этом возрасте получал «подобное назначение». Он, конечно, радовался и, конечно, гордился. Но и грустил, покидая семью, покидая детей мал мала меньше. Кто предскажет срок возвращения? Да и вернешься ли?.. Впрочем, гадать было некогда. Забот хватало с избытком, снаряжая в путь линейные корабли и фрегаты.

Еще по дороге к месту базирования подстерегала опасность. Опасность, которую сознавали не только моряки. Один старый дипломат, выражая общую тревогу, писал: не подвергнутся ли сенявинские корабли «опасности быть встреченными и взятыми соединенными флотами Франции и Испании», ибо «невозможно, чтобы во Франции не провели об этой отправке»... И верно, лазутчики Наполеона не дремали; как раз в то лето, лето 1805 года, русские власти перехватили шифрованную переписку некоего наполеоновского соглашения.

Ах, эта легкость пера на гладкой бумаге: эскадра была готова сняться с якоря... Но до чего же нелегко отлепиться душою от заветной черты, за которой исчезнет родина, от черты, которую как-то и не замечаешь в обыденности, да вдруг на расстании ощутишь — больно, пронзительно, знобко. Это уж после песней забудешься, песней и помянешь. А теперь... И они молча глядят на синеющий вдаль лес, эти тысячи мужиков, тысячи «добрых матросов», отслуживших более пяти лет, и «новики» из недавнего рекрутского набора, — все эти марсовые, канониры, морские пехотинцы, все, кто отныне зовется сенявинцами. И корабли тоже будто вздыхают, тяжело поводя бортами. А вахтенные офицеры, расхаживая по шканцам, насвистывают сквозь зубы: так, согласно старинному поверью, «приманивают ветер».

10 сентября 1805 года, в день воскресный, праздничный, эскадра вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина ушла из Кронштадта.

Эскадра держала стройный походный порядок: никого не приходилось ждать, никому не приходилось догонять. Говорят, нет ничего хуже, как ждать или догонять. А для парусных ходок, покорных воле ветра, в особенности.

Описывая подвиги адмиралов, морские сражения или дальние плавания, подчас забывают тех, кто, в них не участвуя, к ним причастен. Архангельские, питерские, кронштадт-

ские мастерские создали сенявинские корабли. Корабли давно успокоились на корабельных кладбищах, но их имена остались. Мастерские давно упокоились на Охтинском или Соломбальском кладбищах, но имена «мастеров доброй пропорции», тех, кто всем вершил на верфях, тоже остались.

Сенявинские корабли были детищами Сарычева, Амосова, Курочкина. Василий Сарычев, тогда уже человек опытный, в офицерском чине, управлял петербургским Главным адмиралтейством Иван Амосов, выходец из семьи поморов, представитель династии создателей боевых судов, был произведен в корабельные мастера 28-летним, чего еще ни с кем не случилось. Курочкин век свой свековал под стук топоров и тоже занял почетное место в истории нашего кораблестроения.

Вот этим-то людям, их помощникам и артельщикам с натруженными ладонями и намстанным глазом, и должны были теперь низко кланяться Дмитрий Николаевич, его офицеры, его матросы...

Эскадра миновала Балтику, миновала проливы и вышла в Северное море. Северное море поздней осенней поры — картина мрачная, достойная «старого джентльмена», как англичане величают дьявола. Но за полночь, пишет один из сенявинских спутников, «вода издавала блеск, подобный золоту». Свечение волн было великолепным; за каждым кораблем будто извивался «огненный змей».

Ветер дул ровно и сильно. Падали дожди, подкошенные ветром. Тучи летели длинные, низкие, без разрывов. На рейде Даунса — между берегом Англии и долгой мелью Гудвин-Сайде — качалась большая эскадра. «Весь в Даунсе флот», — поется в английской песенке; «Весь в Даунсе флот», — говорят английские моряки, подразумевая близость бури: дескать, барометр падает, и самое лучшее — так это отстояться в Даунсе. Но, черт подери, как распогодилось! И Сенявин проскочил белесые скалы Дувра. Ла-Маншем шли ночью, под чистыми звездами.

9 октября 1805 года показался остров Уайт, потом — рейд Спитхед.

И — «пошел все на реи»: убирай паруса! Вот он, Портсмут...

Как догадаться, что Портсмут окажется тюрьмой? Впрочем, не теперь, нет, годы спустя. А сейчас спешит к «Ярославу» шлюпка: портсмутский старший морской начальник шлет русскому адмиралу поздравления с благополучным прибытием к берегам дружественной державы.

Севастьяныч жил в Петербурге, в домишке со светелкой. Он считался провидцем, к нему хаживали многие. Любопыт-

ства ради заглянул однажды и человек не то чтобы вельможный, но и не малого чина. Вот Севастьяныч его и спрашивает:

— А что, Алексаша уехал?

Гость не понял, о ком речь. Старик усмехнулся:

— Ну, государь-то уехал? Гость кивнул.

— Эхе-хе-хе, — покачал головой Севастьяныч. — А намедни на этом самом месте стоял, где ты, а я умолял его не ездить и войны с проклятым французом не начинать. «Не пришла, — говорю, — твоя пора. Побьет тебя и твое войско, погоди, — говорю, — да укрепись, час твой придет...»

Человек, посетивший Севастьяныча, уверяет: «Ни одного слова тут нет моего», — все, мол, правда. Так или не так, но действительно в первых числах сентября 1805 года «Алексаша уехал». В свите молодого царя находились лица, очень ему близкие, которых называли «молодыми друзьями» и которые составляли «Негласный комитет».

Александр Павлович и Сенявин пустились в путь чуть не в одночасье: император — из Петербурга, адмирал — из Кронштадта. Первый двигался сухопутьем, второй шел в морях.

История сложнее геометрии, будь то геометрия дедушки Эвклида или геометрия Лобачевского. Бесчисленные исторические силы, перекрещиваясь и сталкиваясь, определяют облик времени и облик современников. Отыскивая смысл событий, берешь документы. Отыскивая документы, берешь события, влиявшие на судьбу твоего героя, хотя бы они происходили на суше, а твой герой находился в морях...

В пору, о которой идет речь, темно-русый и голубоглазый корсиканец, любящий запах алоэ и не терпящий запаха табака, короновался дважды: в декабре восемьсот четвертого года под сводами Нотр-Дам — императором французов; в мае восемьсот пятого в Миланском соборе — королем Италии.

Осенью 1805-го сложилась антинаполеоновская коалиция, союз империй Российской и Австрийской, королевств Английского, Шведского, Неаполитанского.

А долговязый Фридрих-Вильгельм III еще не определил, с кем ему миловаться — то ли с Наполеоном, то ли с коалицией.

Между тем австрийцы, нарушив союзную стратегию, вторглись в Баварию. С барабанным боем вошли они в притихший Мюнхен и встали аккуратным лагерем под Ульмом, где вскоре грянул бой отнюдь не барабанный.

Наполеон ринулся навстречу неприятелю. Когорты императора французов следовали через территорию Пруссии, ничуть не смущаясь нейтралитетом Фридриха-Вильгельма.

Делать было нечего, и Гогенцоллерн встретился с Романовым. Скучный Берлин огласился салютной пальбой. Бюргеры,

подбрасывая шляпы, кричали: «Es lebe hoch»¹. Дождь мочил гирлянды и флаги. Король обнял царя, царь поцеловал ручки королевы, женщины, судя по портретам, обворожительной.

Фридрих-Вильгельм сказал «да», он готов был к соглашению с коалицией. Все бы славно, когда б не зловещие известия из Баварии. Александр велит укладывать чемоданы. Последний ужин в Потсдаме. А под занавес — словно бы сцена из времен рыцарских: император и королевская чета спускаются в склеп и, ощущая холод мраморной гробницы. Фридриха Великого, пылко клянутся в «вечной дружбе».

А в этот самый день на Верхнем Дунае почти уж не было ульмского лагеря, а было то, что вошло в историю под названием. «ульмского позора».

Фюрер, издыхая в рейхсканцелярии, цедил: «Немцы недостойны своего вождя». Наполеон после Ульма продиктовал: «Можно в нескольких словах выразить похвалу армии — она достойна своего вождя».

Разгромив австрийцев в Баварии, французы пошли громить их в Австрии. Колонны наращивали марш правым берегом Дуная. В середине ноября 1805 года смятенная Вена услышала дружный цокот копыт — входила конница Мюрата.

Армия Наполеона катилась по Европе, как пылающая головня. Свидетельства современников иллюстрируют известное положение о том, что наполеоновские войны были захватническими, грабительскими.

«В настоящей войне, — писал один парижанин, — французы особенно обнаруживают чрезвычайное сребролюбие. Сверх того, их обнадеживают, будто Бонапарт даст земли тем, кто пожелает поселиться в богатых и изобильных странах. Французская армия состоит по большей части из людей, готовых на все, чтобы скопить себе что-нибудь; и, к несчастью, они подчинены предводителю, который может внушить им известное доверие в этом смысле».

А вот картинка, нарисованная придворной дамой г-жой де Ремюза: «По окончании этой войны (1805 года. — Ю. Д.) жена маршала N рассказывала нам, смеясь, что муж, зная ее любовь к музыке, прислал ей громадную коллекцию, найденную у какого-то немецкого принца; она говорила нам с той же наивностью, что он послал ей такое количество ящиков, наполненных люстрами и венским хрусталем, собранным отовсюду, что она не знала, куда их девать...»

«Ульмский позор» и падение Вены почти сокрушили коалицию. Оставались русские. Наполеон уже получил некоторое представление об этом противнике. Первая встреча с ним так выглядит под пером француза-историка: «Сначала русские

¹ Да здравствует! (нем.)

опрокинули несколько французских кавалерийских эскадронов, необдуманно выдвинутых в лес. Кавалеристам Мюрата и гренадерам Удино пришлось несколько раз повторить упорные атаки, прежде чем они справились с отчаянной храбростью русских солдат. Раненые, безоружные, поверженные на землю, русские продолжали нападать и сдавались только под ударами штыка или ружейного приклада».

Михаил Илларионович Кутузов знал о численном превосходстве неприятеля. И действовал так, как действовал семь лет спустя: уступал версты и не уступал желанию врага навязать генеральное сражение. Кутузов совершал стратегический марш-маневр, знаменитый в военной истории нового времени.

Осторожный, уравновешенный, многоопытный, он оттягивал решительное столкновение до того дня, когда сам сочтет выгодным контрнаступление. И тут уж Наполеон, который, казалось, мог сделать все, ничего поделаться не мог, хотя и очень гневался на Кутузова. Не мог и не смог бы, если бы не... Александр, который уже скакал из Потсдама к «своей армии».

Государь был слишком благовоспитан, чтобы миновать Веймар. Он провел там три дня. Не подумайте, бога ради, что Александр беседовал с Гете или наклонял кудри над могилой Шиллера. Нет, в Веймаре жила его младшая сестрица. И, лишь отдав дань родственным чувствам, царь пустился дальше.

Ехал он на Прагу, но до Праги не доехал: сказали, что вокруг Пильзена гарцуют французские разъезды. Александр со свитой свернул на Бреславль, оттуда попал в Ольмюц. И вот наконец русские полки.

Разутые, изможденные, оборванные, они встретили царя угрюмым молчанием. Раздраженный, он лучше выдумать не мог, как ответить войскам тем же.

Из царской свиты, кажется, один князь Чарторижский советовал государю оставить армию и тем развязать руки Кутузову. Чарторижский в этом случае (впрочем, не единственном) обнаружил достаточно ума; а господа свитские, как и сам Александр, сочли, что князь обнаружил недостаток почтительности. Свитские уверяли императора, что лишь он, только он спасет положение. Александру было приятно слушать и приятно верить.

Кутузов с той тонкой осмотрительностью, которую одни принимали за робость, а другие за лукавство, уговаривал отходить, изматывая чужие силы, отходить, исподволь концентрируя свои силы. Увы, Кутузова оттеснили. Приблизили австрийского генерала Вейройтера, хотя Кутузов н о м и н а л ь н о оставался главнокомандующим.

Если Кутузов хотел и мог отступить, то Наполеон не хотел и не мог наступать. Он слишком отдалился от Франции и слишком приблизился к Пруссии, еще не потерявшей ни одного пехотинца. Вот почему Наполеон чуть попятился, ис-

кусно разжигая петушиный задор Александра. Вот почему, беседа с его уполномоченным, Бонапарт прикинулся грустным, даже унылым. И добился того, чего добивался: решительное сражение стало делом ближайших дней, ноябрьских дней 1805 года.

Моравия — край гористый. Где горы, там и плоскогорья, там и долины. В Моравии они плодородны — пашни, виноградники, луга... Праценское плоскогорье раскинулось западнее деревни Аустерлиц.

Еще не встало солнце, но уже гасли бивачные огни. И уже готовились в бой полки, хотя многие высшие офицеры так и не постигли высокоумудрую диспозицию Вейройтера.

В предутренний туманный час Александр и Кутузов объезжали войска.

— Ну что? — улыбнулся император, — как вы полагаете, хорошо пойдет?

Кутузов ответил как заученное:

— Кто может сомневаться в победе под предводительством вашего величества!

Александр улыбнулся еще лучезарнее:

— Нет, вы командуете здесь, а я только зритель, — и тронул коня.

Кутузов помедлил. Потом произнес, не то размышляя вслух, не то обращаясь к бригадному генералу, находившемуся рядом: «Вот прекрасно! Я должен здесь командовать, когда я не распорядился этою атакой, да и не хотел вовсе предпринимать ее».

И еще один характерный диалог запомнился очевидцам.

Ц а р ь: Михайло Ларионыч! Почему вы не идете вперед?

К у т у з о в: Я поджидаю, чтоб все войска колонны собрались.

Ц а р ь: Ведь мы не на Царицыном лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки.

К у т у з о в: Государь! Потому-то я и не начинаю, что мы не на Царицыном лугу. Впрочем, если прикажете...

Кутузов, как мог, насколько мог, тормозил отправку колонн с Праценской позиции. Михаил Илларионович будто подслушал слова Наполеона: если русские покинут высоты, они погибли бесповоротно.

А колонны — согласно Вейройтеру — уходили одна за другой. Кутузов, как мог, насколько мог, цеплялся за холмы. Лишь после двухчасового сражения солнце Аустерлица озарило Наполеона. Утвердившись на высотах, он бросился на оба неприятельских фланга.

Вдали от боя, изнемогая от страха и стыда, Александр свалился с лошади и зарыдал. Ночевал он в какой-то деревушке, на соломе. Спал худо: извините прозаизм — его мучил понос. Аустерлиц прикончил кампанию 1805 года.

Австрийский император Франц безмолвно подписал все условия, выставленные Наполеоном. Российский император Александр убрался в Северную Пальмиру.

В Петербурге просили «его величество возложить на себя знаки ордена святого Георгия». Император ответил, что «награждают за распоряжения начальственные», а он, мол, «не командовал». Уклоняясь от награды, царь уклонился от ответственности.

Один из тогдашних военных отметил в своих записках: «Аустерлицкая баталия сделала великое влияние над характером Александра, и ее можно назвать эпохою в его правлении. До того он был кроток, доверчив, ласков, а тогда сделался подозрителен, строг до безмерности и не терпел уже, чтобы ему говорили правду; к одному графу Аракчееву имел полную доверенность».

«Кроток», «доверчив», «ласков» — отнесем на счет повального дворянского умиления началом «дней Александровых». (После Павла-то Петровича не мудрено было парить серафимом.) А вот «подозрителен», «неприступен» и т.п. — это уж вернее верного.

Выяснить некоторые особенности Александра, особенности отношений царя с Кутузовым понадобилось не ради бойкости изложения. Из дальнейшего увидим, как эти свойства царя оттиснулись на судьбе нашего главного героя.

3

«В потере корабля легко можно утешиться, но потеря храброго офицера есть потеря национальная».

Человек, высказавший эту истину, получил однажды в подарок... гроб. Да, гроб, сделанный из грот-мачты французского судна. Подарок был от чистого, хоть и мрачного, сердца. Адмирал, ярый враг Франции, принял гроб с благодарностью: лучшей усыпальницы он не хотел.

Теперь, в октябре 1805 года, мертвый флотоводец лежал в гробу, сделанном из грот-мачты. А мачты его кораблей-победителей показались на хмуrom горизонте.

Их видели Сенявин, сенявинские офицеры и матросы.

Стоянка русской эскадры в Англии совпала с днями великого торжества и великой печали англичан. Восторг и горе определялись словами: «Трафальгар», «Нельсон».

Огромное морское сражение при мысе Трафальгар, что на юге Испании, близ Кадиса, поныне занимает внимание историков, военных и невоенных. Нельсоновскому изничтожению франко-испанского флота посвящены сотни страниц. Из всех оценок приведу лишь две — французского моряка и русского моряка.

Адмирал де ла Гравьер: «Нельсон не выдумал новую тактику, но скорее поправил все мудрые расчеты старой; поэтому недостаточное содействие со стороны капитанов, нерешительность или боязливость в движениях были бы пагубны для его славы... Нельсон говаривал, что в морском сражении всегда нужно оставлять частичку случаю; но, несмотря на то, перед делом он был расчетлив, почти мелочен».

Адмирал Нахимов: «Вы помните Трафальгарское сражение? Какой там был маневр, вздор-с, весь маневр Нельсона заключался в том, что он знал слабость своего неприятеля и свою силу и не терял времени, вступая в бой. Слава Нельсона заключается в том, что он постиг дух народной гордости своих подчиненных и одним простым сигналом возбудил запальчивый энтузиазм в простолюдинах, которые были воспитаны им и его предшественниками».

Побеждая на суше, Наполеон оказался побежденным на море. Даже после Аустерлица, даже после того, как он накрыл своей треуголкой половину континента, даже после феерической январской (1806 года) встречи в Париже, император французов не переносил самого звука — «Трафальгар».

Современница говорит: «Напрасно моряки и военные, отличившиеся в этот ужасный день, старались добиться какого-нибудь вознаграждения за перенесенную опасность; им было почти запрещено когда бы то ни было вспоминать это роковое событие».

Однако придворная дама сильно ошибалась, заявляя, что Трафальгар навсегда отбил у Наполеона интерес и внимание к флоту. Нет, мысль о реванше долго не угасла в его сознании; годы спустя он добивался от Сенявина неукоснительного послушания все ради того же морского возмездия проклятым англичанам в синих мундирах и в куртках гернсейской шерсти.

Госпожа де Ремюза не ошибалась в другом: «Император очень любил казаться занятым одновременно различными делами, любил показать, что он может повсюду одновременно бросать свой орлиный взор».

Иронизируя, мемуаристка оттенила (сдается, мимовольно) черту многих из тех, кого возносил исторический вал: они мнили себя не только гениями, но гениями-универсалами.

Поводя «орлиным взором». Наполеон всерьез утверждал: «Я прекрасно понимаю толк в нарядах». Ну что ж, стало быть, еще до бегства из Москвы он был готов перефразировать Мармонтеля: от великого до смешного один шаг. Однако среди прочих претензий, частью смешных, а частью грозных, он имел и такую, которая близка нашей теме: «орлиный взор» Бонапарта останавливался на военно-морском искусстве.

Может быть, император французов и впрямь удивил каких-то английских капитанов рассуждениями о корабель-

ной оснастке и корабельных канатах. Но, думается, прежде чем удивлять, он полистал соответствующую книжицу, подsunутую личным библиотекарем.

Нет, прав был де ла Гравьер: «Только одной вещи недоставало победителю под Аустерлицем — точного понимания трудностей морского дела»¹.

Победитель на суше и побежденный на море, он возвеличивает полководца и унижает флотоводца:

- воевать на суше опаснее, нежели на море;
- моряк терпит меньше лишений, чем солдат;
- полководцем рождаются, флотоводцем делаются;
- победы на суше — высокое искусство;
- победы на море — банальная понаторелость;
- полководцу досаждают заботы о снабжении войска;
- флотоводец все свое носит с собою;
- полководец должен изучать местность;
- флотоводцу безразлично — Индийский океан или Атлантика.

Опровергать не стоит труда: это плод «универсального гения». Ибо там, где Наполеон исходит из собственного опыта, действительно богатого, блестящего, поражающего воображение, там мысль его быстра, остра, значительна. А «постулаты», приведенные выше, рождены уязвленным самолюбием, трафальгарской обидой, которую Наполеон не избыл до смертного часа в долине Лонгвуд...

Между тем в стране, одна из гаваней которой дружески приняла сенявинскую эскадру, в стране этой, при всем ее ликовании по случаю Трафальгара, крылья многих лидеров сожжены «солнцем Аустерлица».

Особенно страдает Вильям Питт, вдохновитель и кредитор рухнувшей коалиции. Он будто предугадывает решимость Наполеона: «Я завоюю море на суше». Да, господство на морях необходимо, очевидно, лишь ради господства на побережьях. А какой прок в морских трассах, если они ведут в порты, где реют знамена императора французов?

Вильям Питт угасал, снедаемый тревогой, тоской, разочарованием, его скорбный взор один из друзей назвал «аустерлицким взглядом». Чьи руки возьмут государственный штурвал? Кто заменит Питта? Факс, глава оппозиции? Тогда неизбежны пагубные перемены внешней политики, тогда Наполеон может рассчитывать на мир с Британией.

Вице-адмирал Сенявин приглядывается и прислушивается к тому, что происходит в английских «сферах». Интерес отнюдь не пустой. Ведь надо идти в Средиземное. Как поведет себя британский союзник? Опорой ли будет иль всего-навсего

¹ Этого в еще большей степени не доставало и побежденному под Аустерлицем Александру I.

сторонним наблюдателем? Конечно, Трафальгар значительно снизил шансы встречи с вражескими эскадрами. И все же она возможна, эта встреча, еще до того, как он, Сенявин, соединится с русскими, базирующимися на Ионических островах.

4

В октябре и ноябре 1805 года эскадра еще в Портсмуте. Сенявин принимает «новичков»: в Англии куплены бриги «Аргус» и «Феникс». Этих быстроходных разведчиков и курьеров надо не просто принять, но изготовить к плаванию.

И еще забота: замки. Нехитрая, кажется, штука, однако морской опытный глаз тотчас оценивает важность ее.

Сенявинский офицер пишет: «Мы не были праздны: поновому изобретению в Англии приделывали замки к пушкам... Замок к пушкам есть выдумка превосходная, особенно для начальной пальбы: стоит только дернуть веревочку — курок спускается на полку — и выстрел. Для неопытных, никогда не бывших в сражении, не всегда можно надеяться, что фитилем попадет прямо в затравку, а тут и не совсем храбрый человек может дернуть шнурком. Недостаток может быть один: испортится замок и во время дела некогда его починить; тогда обратимся опять к фитилю, который всегда есть при пушке во время сражения».

«Мы не были праздны...» — это не об одних лишь оружейных замках. Морскому офицеру стоянка в Англии — как художнику поездка по Италии. Есть что посмотреть, есть чему поучиться.

Да, надо отдать должное, английские капитаны «далече превосходят по опытности» французских и испанских. Но вот что примечательно: ни сам Дмитрий Николаевич, ни его подчиненные не падают ниц. Увольте, если при Екатерине англичан принимали в русскую службу «без строгого разбора», то «отняли только дорогу лучшим нашим офицерам». Ну, а выучка экипажей? Э, держи-ка голову выше! Команды русских кораблей ни на дюйм не уступают английским «в порядке, прворстве и в искусстве управления кораблем».

Уж был декабрь, когда Сенявин отсалютовал Портсмуту.

Могучий ветер налегает в корму — чего же лучше? Ставь все паруса, мчи альбатросом! Когда ощущаешь эту крылатость, эту, слитность своего «я» с кораблем, овладевает тобою необыкновенное чувство полноты жизни.

Мысом Лизард, отрубистым и мрачным, кончилась Англия. Бурунной пеною у мыса Лизард началась Атлантика.

Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн отцу миров...

Четверть века истаяло, как Сенявин впервые увидел океан.

Выдержал экзамен в корпусе, по числу баллов оказался из лучших (хотя поначалу, резвым кадетиком, познаниями не блистал) и в мае 1780-го шагнул на борт «Князя Владимира». Никифор Палибин, капитан бригадирского ранга, водил корабли из Кронштадта в Португалию, и семнадцатилетний мичман увидел Атлантику. Потом сияли ему иные небеса, иные волны, но океан не забывался. Почему? Кругло и точно не определишь.

Впрочем, и теперь, четверть века спустя, уже вице-адмиралом, Дмитрий Николаевич не искал определений: его самого искали в океане.

Выше цитировались предсказания старого дипломата: «невозможно, чтобы во Франции не провели...» И точно, «провели!» То ли еще из России просочились сведения, то ли уже из Англии, и теперь на перехват сенявинскому отряду помчалась семерка французских линейных кораблей, да еще и фрегаты в придачу.

Что было делать Сенявину? Двадцать с гаком лет назад, пылким мичманом, он, конечно, пожелал бы завязать бой. Но храбрость командующего отличается от храбрости командира корабля, не говоря уж о мичмане. У Дмитрия Николаевича была капитальная задача — дойти до Корфу, действовать в морях Адриатическом и Ионическом.

Нет, Сенявин драться не стал. Он уклонялся от боя на воде, как Кутузов уклонялся от боя на суше: оба ждали «своего часа».

Но к бою Сенявин приказал изготавиться. И прибавил: огней не зажигать; в восемь пополудни, то есть уже в темноте, не дожидаясь никаких сигналов, поворотить на восток; в полночь опять изменить курс и спускаться к югу.

«Искусное распоряжение адмирала, — писал участник похода, — обмануло неприятеля, темная ночь скрыла наши движения, и он упустил нас из рук». А вскоре уже корабли были в Средиземном море...

Задолго до Сенявина и сенявинцев, направляясь «ко святым местам Востока», в Средиземном море очутился Василий Григорович-Барский. Пилигриму пришлось тяжело: «И бист страх великий, но не всем, наипаче мне, первый раз существу на море. Возмутися же ми сердце и завратися глава, яко едва не одурех, не можах бо ни внутрь, ни верху корабля сидети, одмлевающе и (прости ми, разумный читателю) не могий стерпети, блевах пятерицею до зелени тако, не имий чим, едину некую зелень, аки желчь, испущах».

И на сенявинских кораблях кое-кто маялся морской болезнью. Но «страха велия» уж не испытывали, ибо не первый день шли морем. К тому же, восхищался спутник Сенявина, «солнце позлатило светлую лазурь неба, ни одно облако не помрачало ясного свода его».

Адмирал не позволил морякам млеть, в ничегонеделанье: на кораблях происходили регулярные ученья — артиллерийские и ружейные. Кроме того, Сенявин принял гигиенические меры: ежедневное проветривание трюмов, ежедневное окуривание пороховым дымом и мытье уксусом помещений и отсеков. Он настрого запретил матросам спать в волглом белье. Он пользовался всякой возможностью освежить запасы пресной воды и провизии.

Судовая скученность, бочки цветущей воды, мясо, тронутое гнилью, недостаток витаминов и избыток насекомых и крыс — все это губило экипажи на тогдашних флотах; мор был хуже сражений. На эскадре Дмитрия Николаевича ничего подобного не случилось. Современник отметил, что ни на одном корабле во все время кампании не возникало никаких заразных болезней «благодаря крайнему старанию главнокомандующего».

Следуя к цели, Сенявин дважды становился на якорь.

В сардинском городе Кальяри, смердящем и нищем, адмирал встретил восемьсот шестой год. Как и все накануне нволетья, Дмитрий Николаевич призадумался о грядущем. Он предвидел тревоги и злоключения, но вряд ли предполагал, что очутится в чрезвычайно запутанных обстоятельствах, которые потребуют от него не только умения водить корабли и не только выигрывать сражения.

На пути к Мессине, в январский день, когда судовые попы возносили молитву в честь преподобного Павла Комельского, моряки заметили Стромбали. «Вулкан открылся нам, — рассказывает сенявинский офицер, — как превеликий горн, раздуваемый мехами и сыплющий вверх искрами... Пламя, постепенно увеличиваясь, составляло огромный огненный столб, который, расширяясь, производил грохот, подобный приближающемуся грому и ли треску падающего здания. Блеск вулкана, озаряя облака, изображал на них разноцветные радуги; червлень, яркий пурпур, лазурь с тончайшими оттенками, коими украшалось небо, представляло нам корабли и близлежащие острова горящими».

Мессинский пролив соединял море Тирренское с Ионическим. Первое уже сомкнулось за ахтерштевнями русских кораблей; второе еще ожидало, когда его взрежут форштевни. А пока был Мессинский пролив: беспорядочные течения, сумятица волн, неправильные приливы и отливы.

Шесть лет назад Сенявин едва не погиб в здешних водах. Дмитрий Николаевич, тогда капитан 1-го ранга, командовал в ушаковском заграничном походе линейным кораблем. Корабль был испытан в штормах Черноморья. Но близ Сицилии и «Св. Петру», и экипажу, и самому командиру досталось так солоно, как никогда прежде не доставалось. Буря повредила «Св. Петра», и он, уже «раненый», был брошен на мель. От-

крылась течь. Матросы у помп выбивались из сил, а вода все поступала и поступала в трюм, клокоча и пенясь. Экипаж ожидал приказа срубить мачты и спустить шлюпки. Тут, к счастью, ветер словно бы выдохся. А потом вежливо переменял направление, и «Св. Петр», кряхтя, стянулся с мели. Происшествие это долго и прочно помнили сенявинцы, подробно рассказывали молодым. (Впоследствии на страницах кронштадтской газеты один из таких слушателей описал приключение «Св. Петра», подчеркнув, что Сенявин, по словам очевидцев, «был тверд, нисколько не терялся».)

Покорный общему закону, Дмитрий Николаевич переменялся с возрастом, но по-прежнему, как и обер-офицером, любил ходить на больших скоростях. И вот теперь он приближался к порту Мессине не робким зигзагом — летел, блистая тугой парусиной. И в этом шибком, точно рассчитанном движении была та особенная лихость, красота и щегольство, какими отличались парусные ходоки, когда ими правили люди с горячим сердцем и холодным рассудком. Прибавьте бравурную музыку корабельного оркестра, бодрую череду салютных выстрелов, мгновенную уборку парусов — и вот вам росчерк на картине прибытия в сицилийский порт.

Еще в Портсмуте офицер Броневский, летописец сенявинского похода, обратил внимание на то, как матросы быстро сходились с чужеземцами-«простолюдинами». Английские матросы вопреки традиционной замкнутости отвечали русским открытой сердечностью. Теперь, в Мессине, Броневский отмечал расположение итальянской «черни» к русским «нижним чинам». Кстати сказать, эта симпатичная черта рядового русского моряка явственно проявлялась не только в европейских портах, но и среди «дикарей» Океании; свидетельством тому — многочисленные отчеты командиров кругосветных походов.

Броневский объясняет: «Француз, англичанин если не обижают, то, по крайней мере, хотят казаться существом, гораздо его благороднейшим. Русский не ищет сего преимущества и желает быть ему равным».

В середине января 1806 года эскадра оставила тысячулетнюю Мессину. Под острыми волнами караулили мореходов отмели и рифы пролива. Сенявин обманул их, как в океане обманул французов. В какой уж раз командующий дал подчиненным доказательство своей мореходной непогрешимости.

Мессинским проливом прошли ночью. Прошли, не убавляя парусов, сквозь потемки. И два дня спустя, опять в полуночное время, отдали якоря у Корфу, отдали умело и спокойно, словно на кронштадтском родном рейде.

Утренняя заря, широкая и чистая, разлилась над островом и городом, которые Сенявин впервые увидел с кораблей своей молодости. Но тогда они пришли не с запада, а с востока, не из Балтики, а из Черного моря.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Два имени в ряд. История давно определила им место в истории: замечательные флотоводцы и дипломаты. Ушаков был старше Сенявина. Ушаков начал, Сенявин продолжил. И тот и другой трудились над «устройением» Черноморского флота. И тот и другой закладывали Севастополь. Увы, случается так, что два человека, преданные одному делу, схожие в главном, определяющем, два таких человека не в ладах.

Как-то не по сердцу наводить увеличительное стекло на ссоры и раздоры тех, к кому питаешь высокое уважение. Но, всматриваясь в отношения Ушакова и его младшего коллеги, видишь черты раннего Сенявина, которые помогают представить жизнь, а не житие.

2

Ушаков встретил Сенявина в самом начале своей карьеры. Только встретил он сперва не Дмитрия Сенявина, а Алексея Наумовича Сенявина.

Необходимо взглянуть на родословное древо. Не из порожного любопытства к дворянской генеалогии, а потому, что это древо дало «флотские побеги» задолго до того, как наш герой слизнул с губы морскую соль.

Не станем забираться в «Польский гербовник» и обнаруживать пращура Сенявина, или Сенявских, как они прозывались издревле. Нет, вот колыбельная пора русских регулярных военно-морских сил. Вот первенцы «гнезда Петрова» — флотские офицеры. И среди них братья Сенявины — Иван, старшой, и Наум, меньшей.

Ивана ласкал царь-мореход. Иван боцманом служил, капитаном, директором Адмиралтейской конторы, дослужился до контр-адмирала. Наум громче прославился. Он был из тех преображенцев, кто шагнул на корабль матросом. Повышаясь в чинах, не оставлял палубы, брал Нарву и Шлиссельбург, получил нелегкое ранение, когда атаковали Выборг; расколотил шведа близ острова Эзель, и Петр назвал эту победу «добрым почином Российского флота». Вице-адмиралом (первый из «природных россиян» вице-адмирал), кавалером ордена Александра Невского он командовал Днепровской флотилией. Уходя с флота, оставил флоту сына. Того самого Алексея Наумовича Сенявина, который впоследствии принял под свою руку лейтенанта Ушакова, а еще позже определил в корабельщину и племянничка Дмитрия.

Алексей Наумович не ронял фамильной чести. Блистал он

дарованием и деятельностью: налаживал донское судостроение, начальствовал Азовской военной флотилией. А помогал ему другой Сенявин — Николай Федорович.

Однажды оба Сенявина — адмирал и его генеральс-адъютант — ехали из Таганрога в Санкт-Петербург. Ненадолго остановились в Москве. В белокаменной тогда зимовала жена Николая Федоровича с малолетним сыном Дмитрием. Вообще-то жили они в калужской деревне Комлево, а тут оказались в Москве.

Резвый племянник приглянулся дядюшке. Адмирал был скор на решения: усадил десятилетнего мальчика в кибитку, умчал к неским берегам, а там быстро пристроил в Морской кадетский корпус, где пробыл Дмитрий несколько лет до производства в офицеры флота.

А на юг Дмитрий Николаевич Сенявин прибыл летом 1782-го. Было ему от роду девятнадцать. Вот там-то, на юге, и привелось Ушакову дать уроки боевой службы племяннику своего бывшего учителя. Да, именно Федор Федорович сделался военным наставником Дмитрия Николаевича. Однако не сразу. И нелегко.

Поначалу зеленого мичмана определили на Азовское море, в Керчь.

Потом он попал в Ахтиарскую бухту, где возникал Севастополь.

До конца дней помнилась Сенявину черноморская пора, помнилась светло и благодарно, отчетливо и живо. Существуют записки Дмитрия Николаевича. Они чудесны: выразительные, энергичные, немножко усмешливые. Нет охоты пересказывать их — охота цитировать.

Итак:

«...По именному повелению командировали с эскадры (Балтийской. — Ю. Д.) в Таганрог 15 старших мичманов, в числе которых я был сверху 4-й. Приехав в Петербург, явился я к дяде Алексею Наумовичу. Он удивился, увидев меня, и, между прочим, спросил, хочу ли я здесь остаться или ехать в Таганрог. Я отвечал, что батюшка приказал мне служить и мне все равно, там или здесь. Дядюшка обнял меня обеими руками, поцеловал и сказал: «Ступай, друг, с богом, там служат также хорошие офицеры».

В Петербурге дали мне партию — одного квартирмейстера и 12 матросов — и отправили на почтовых, равно как и прочих моих товарищей. Я спустился прямо в Москву, потом на Боровск и в Комлево увидаться тут с матушкой. В Комлево я пробыл два дня, а на третий выехал.

За прощальным обедом было у нас много гостей, собравшихся посмотреть на приехавшего из Петербурга, побывавшего за морями и опять едущего бог знает куда. Матушка рассказывала гостям, что я буду непременно в больших чинах,

гости желали знать примечания матушки на то, и она им рассказывала, что я обе ночи спал на полу, близко кровати ее, и она всегда видела меня спящего раскидавшись и обе руки были закинута за голову. Тут некоторые гости верили, некоторые удивлялись, а некоторые из молодых усмехались. К этому и я пристал и вместе (виноват) посмеялись. Священник комлевский отец Козьма, который учил меня грамоте, был со мной все это время почти неразлучен...

В Таганрог я приехал в первых числах июля (1782 года. — Ю. Д.), на другой день сдал мою партию, а на третий — посадили меня с товарищами моими на галиот и отправили в Керчь для распределения по судам Азовского флота. Я был определен на корабль «Хотин»...

По взятии Крыма до учреждения карантинных, года с два, чума весьма часто вызывалась в нашем крае от сообщения с татарами и судами турецкими, приходящими в наши порты. Мы наконец-то к ней привыкли, что нисколько не страшилось ее и считали как будто это обыкновенная болезнь. Доктор Мелард, будучи мне хороший приятель, советовал для предохранения себя от заразы непременно курить табак, я ему повиновался, хотя имел великое отвращение; к тому же, обращаясь часто с татарами, у которых трубки есть в первом и непременно употреблении, я привык скоро и сделался на всю жизнь неразлучен с сею низкою, кучерскою, а паче еще вредною для здоровья и зубов забавою...

1783 год. Перед обедом, когда командиры все собрались, адмирал при объявлении им приказания главнокомандующего¹ говорил: «Господа, здесь (в Ахтиарской бухте. — Ю. Д.) мы будем зимовать, старайтесь каждый для себя что-нибудь выстроить, я буду помогать вам лесом, сколько можно будет уделить, прочее все, как сами знаете, так и делайте; более ничего; пойдемте кушать». Капитаны ему поклонились и смекнули, что речь говорена кратко, ясно и обстоятельно. Сели за стол, обедали хорошо, встали веселы, а ввечеру допили, на шанцах танцевали.

На другой день командиры судов принялись за дело. Сперва каждый назначил себе место, куда поставить свое судно на зимовку, там и начал делать пристань и строить прежде всего баню... Потом начали строить для себя домики и казармы для людей; все эти строения делали из плетня, обмазывали глиной, белили известью, крыли камышом на манер малороссийских хат...

Назначив места под строения, доставив туда надобное ко-

¹ Адмирал Макензи — основатель севастопольского порта, главнокомандующий — адмирал Клокачев.

личество всякого рода вещей и материала, адмирал заложил 3-го числа июня четыре здания. Первое, часовню во имя Николая Чудотворца, на том самом месте, где и ныне церковь морская существует. Другой дом для себя; третье, пристань очень хорошую против дома своего; четвертое, кузницу в адмиралтействе.

Здания эти все каменные, приведены к концу весьма скоро и почти невероятно. Часовня освящена 6 августа, кузница была готова в три недели, пристань сделана с небольшим в месяц, а в дом перешел адмирал и дал бал на новоселии 1 ноября.

Вот откуда начало города Севастополя.

Между тем сделаны два хорошие тротуара, один от пристани до крыльца дома адмиральского, а другой — от дома до часовни, и обсажены в четыре ряда фруктовыми деревьями. Выстроено 6 красных лавок с жилыми наверху покоем, один изрядный трактир, несколько лавок маркитантских, 3 капитанских дома, несколько магазинов (складов. — Ю. Д.) и шлюпочный сарай в адмиралтействе; все сии строения каменные или дощатые. Бухта Херсонесская отделена для карантинна. Инженеры и артиллеристы устроили батарею на мысах при входе в гавань.

Итак, город Севастополь весною 1784 г. доездно уже обрзавался, все строения оштукатурены, выбелены, хорошо покрашены палевой или серой краской, крыши все черепичные, и все это вместе на покатоности берега делало вид очень хороший. Самый лучший взгляд на Севастополь есть с северной стороны».

3

Сенявину повезло. Он очутился в гуще тяжкого, но бодрого и огромного предприятия: если деда рубили окно в Европу, то внуки крепили южный порог державы. Во главе стоял светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический.

Екатерина называла его гениальным; Пушкин — странным; Бальзак — редкостно умным; Герцен — человеком, который «при всех своих недостатках далеко не лишен известной широты взглядов». Мемуаристы насобирали о Потемкине короб анекдотов. Историки, расходясь в оценке его личности, сходятся в одном: богатая натура.

Сенявин был у Потемкина в фаворе, или, как тогда говорили, «в случае», и взлетел выше, чем некогда родной батюшка. Тот был генеральс-адъютантом у двоюродного брата, всего лишь адмирала. Сынок сподобился той же должности, но при особе, о которой поэт Апухтин так заставил сказать императрицу Екатерину:

Когда Тавриды князь, наскучив пылом страсти,
Надменно отошел от сердца моего,
Не пошатнула я его могучей власти,
Гигантских замыслов его.

Аксельбант на правом плече (знак генеральс-адъютанта), близость к вельможе, даже прачки которого не уступали дороге полковникам, кружили молодую голову. Да к тому же имя, известное флоту: Се-ня-вин!

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно», — утверждал дворянин А. С. Пушкин. Поэт А. С. Пушкин прибавил: «Конечно, есть достоинство выше знатного рода, а именно: достоинство личное...»

Достоинства личные у Сенявина, несомненно, имелись. Но блеск аксельбанта и фамильный блеск тоже, несомненно, сказывались. Особенно в отношениях с Ушаковым, прямым начальником Сенявина, ибо последний, хотя и генеральс-адъютантом, не смешивался с толпой княжеских клеветов, а продолжал палубную службу капитаном 2-го ранга.

Сказывалась и разница душевного склада. Неубродивший гонор у младшего; чрезвычайная вспыльчивость и вечная заноза своего «лапотного дворянства» у старшего. Бойкая на смешливость первого и то, что теперь называли бы ранимостью, второго. Младший еще кипит, еще весел, лих, строптив; старший суров, замкнут, одинок, застенчив с женщинами... И еще было нечто похожее на отношения людей совсем иной эпохи и совсем иной «области»: Леонардо да Винчи и Микеланджело; безмолвной иронической улыбкой Леонардо доводил до бешенства угрюмого, легко воспламеняющегося Буонарроти. Не настаивая на аналогии, должно признать, что Сенявин не ограничивался улыбками.

В одной ушаковской бумаге глухо помянуто, что неприязнь к нему у Сенявина давняя. Там же Федор Федорович намекает, что виноват Херсон, то есть штаб-квартира адмирала Мордвинова. А Мордвинов и впрямь не питал нежности к удачливому флотоводцу.

Намеки можно было б и отбросить, если б Сенявин от разговоров не ударился в проступки. Но проступки подчиненного понудили начальника к поступкам.

В открытую все началось в девяносто первом году.

Новые корабли нуждались в личном составе. Ушаков по опыту знал, как трудно сколачивать команду, и потребовал матросов «лучших и в своем знании исправных, здоровых и способных к исправлению должностей». Отобранных матросов он велел прислать к нему, Ушакову, на смотр.

Конечно, любому командиру жаль отдавать добрых служителей, как, скажем, школьному учителю жаль отдавать в другой класс прилежных школяров. Но командиры кораблей

подчинились, сознавая, что Ушаков хлопочет о боеготовности всего флота.

Не то Сенявин. Он списал со своей «Навархии» не лучших, а худших. Это было вызовом. Ушаков стерпел. Внешне невозмутимо приказал выставить других. Увы, на повторный смотр приковыляли все те же «болезные».

Это уж было «бесстыдством», как выразился Федор Федорович. Заметьте, спор шел лишь о трех служителях. Значит, Сенявин перечил, так сказать, из принципа.

Что было делать адмиралу? Не глотать же, черт дери, пилюлю, поднесенную капитаном 2-го ранга! И Ушаков отдает письменный приказ: с горечью отмечает непослушание командира «Навархии» и опять требует у Сенявина «добрых матросов».

Кажется, яснее ясного. Но Сенявин закусил удила. Избалованный похвалами (правда, незряшными) прежних начальников, Макензи и Войновича, лелеемый светлейшим князем, он оправляет свой аксельбант и хватается за перо:

«Во отданном от его превосходительства контр-адмирала и кавалера Ф. Ф. Ушакова на весь флот генеральном приказе назван я послушником, неисполнителем, упрямым и причиняющим его превосходительству прискорбие от неохотного моего повиновения к службе ее императорского величества. Вашу светлость всенижайше прошу учинить сему следствие, и, ежели есть таков, подвергаю себя надлежащему наказанию».

Почему ж Сенявин посмел принять позу обиженного, когда и невооруженным глазом видать было, что он, только он, кругом виноват? Да потому что генеральс-адъютант мыслил совершенно в духе фаворитизма екатерининского царствования. Он и дознание-то просил учинить, явно гадая надвое: либо до этого не дойдет, а если и дойдет, то кончится для него добром, а для Ушакова срамом.

Мало того. Одновременно с челобитной Потемкину капитан 2-го ранга подал рапорт по команде. Можно подумать: каков молодец. — прет напролом. Но можно подумать иное: Сенявин стращает Ушакова — посмотрим-де, чья возьмет, господин адмирал.

И точно, Федор Федорович очень и очень растревожился. Ушаков не первый день жил на свете и ничуть не хуже Сенявина понимал, что такое фаворитизм. И не хуже Сенявина знал, как причудлив нором светлейшего князя Таврического, для которого закон не писан. К тому же ведь было и прямое повеление Потемкина благоприятствовать Сенявину.

В быстрых пушкинских заметках по русской истории брошена мысль о том, что и сама Екатерина, и ее альковные удалыцы унизили дух дворянства. Зависимость от своеволия выскочек, подчас дикого, от их прихотей, подчас сумасброд-

ных, гнула хребет даже твердым натурам. Ушаковские обращения к Потемкину в связи с делом Сенявина подтверждают мысль Пушкина.

Трижды в один день адмирал пишет светлейшему — рапорт, донесение, неофициальное письмо. Уже сама по себе эта троекратность свидетельствует о душевном состоянии Ушакова.

Рапорт излагает суть происшествия. Далее, словно оправдываясь, автор старается внушить адресату: я потому только жалуясь, что недисциплинированность Сенявина — дурной пример прочим, отчего возможны худые последствия, «особо когда случится быть против неприятеля».

В донесении еще слышнее мотив самооправдания: я всегда обходился с Сенявиным учтиво, многое ему спускал, но теперь капитан 2-го ранга оказал неповиновение на людях, в присутствии всех штаб- и обер-офицеров.

А письмо читать обидно. Обидно за Ушакова — такое в письме раболепие: «Осмеливаюсь всепокорнейше просить Вашу Светлость оказать милость и удостоить прочтением моего объяснения и рассмотреть понудившие меня к тому обстоятельства». Но под конец, совсем разволновавшись, весь пылая негодованием на Сенявина (а может, и на самого себя за пограние собственного достоинства), Ушаков объявляет, что готов сдать команду и уехать куда пошлют.

Курьеры (тогда еще не говорили: «фельдгегери») увезли почту. Ушаков и Сенявин стали ждать. Ожидали по-разному: адмирал терзался, капитан 2-го ранга по-прежнему отпускал шуточки, язвившие адмирала. Потом послышался первый раскат грома. Дальний и неотчетливый, он мог быть истолкован и так и эдак: Потемкин вызывал Сенявина в Яссы.

Великолепный князь Тавриды в Тавриде почти не жил. Он жил в молдавском городе. Сенявин, как генеральс-адъютант, навещался туда не однажды. Город, стекавший по склону холма, Сенявину нравился: там было весело. Севастополь в этом смысле столь же уступал Яссам, как Кронштадт Петербургу.

Потемкина ублажали собственный театр и хор раскольников, украинские музыканты и французские танцовщицы, шуты и ювелиры, лакеи (шестьсот), белошвейки (двести), куртизанки (кто их считал?)... У светлейшего играли в карты не на деньги, а на бриллианты; проигрываясь, князь не замечал проигрышей. Задавались изысканные пиры, посреди которых Григорий Александрович вдруг требовал себе репы или солдатского артельного кваса; задавались и балы, в разгар которых светлейший, случалось, мрачнел и гнал всех прочь. Из Ясс летали нарочные в Москву — за кислой капустой, в Варшаву — за карточными колодами, в Париж — за театральными костюмами.

Но в Яссах не только кутили. Яссы были тем распорядительным центром, откуда Потемкин управлял обширным краем с прилегающим к нему Черным морем. Управлял напористо, крушил валких чиновников и одолевал турецкое сопротивление, заколачивал в гроб мастеровых и не слишком-то считался с потрохами служивых, хотя повторял: «Деньги — сор, люди — все!»

Один современник говорил о Потемкине: «Стремясь к предположенной цели, пренебрегал он всеми принятыми системами, методами и порядками, поступал во всем самовластно, не придерживаясь ни правил, ни законов... Он был горд и с презрением обращался с подчиненными ему, но со всем тем был неустрашим, великодушен, не мстителен... Словом, он был добрый тиран».

Другой современник, иностранец, в записках, наверное, и теперь хранимых Парижским архивом, так оценивал Потемкина: «Он был чрезвычайно способным. Ничему не учившись, он имел познания. Он творил чудеса; он занял Крым, покорил татар, положил начало городам Херсону, Николаеву, Севастополю, построил везде верфи, основал флот, который разбил турок; он был виновником господства России в Черном море и открыл новые источники богатства для России. Все это заслуживает признательности».

Да, что ни толкуй, Потемкину не откажешь ни во взрывчатой воле, ни в практическом уме, ни в богатырской способности к работе, ни в навыке не сбиваться с главного курса.

Держась близ нашего героя, следует оттенить роль Потемкина в черноморском «устроении».

Он однажды сам о себе сказал:

— Святой Георгий как-то прибыл в один город, где застал не более семи христиан; когда он покинул этот город, в нем оставалось лишь семь язычников. Что ж касается меня, то в то время, когда я приехал, во всем Черноморском флоте было не более четырех фрегатов, тогда как там было десять турецких судов. Ныне же я располагаю восемнадцатью русскими судами и желаю, чтобы турецких не оставалось более четырех фрегатов.

Дьявольская гордыня: «я располагаю», «я желаю»... Будто не существовало ни каких Ушаковых или Сенявиных, сотен моряков и умельцев, сотворивших флот на том море, о котором еще летопись толковала, что оно «словет Русское». И уж конечно, князь Григорий вовсе не брал в расчет мужиков-пахарей, тех, кто и в глаза не видывал кораблей, а только (!!)

платил за них нищетой и голодухой.

(О мужиках помянуто не для красного словца, довольно-таки привычного. Загляните хоть в роспись государственных расходов на 1787 год, увидите, откуда и сколько рубликов вы-

хватывалось для Черноморского флота. Смоленская, например, губерния уплатила восемьдесят тысяч, Воронежская — двести тысяч, Калужская, родина Сенявина, добавила тридцать пять... И это в пору, когда крестьяне именно этих коренных губерний терпели, как писал князь Щербатов, «непомерный голод», поедая солому, мякину, лебеду.)

Внеся весомую поправку в рассуждения князя Таврического, обратимся к его переписке. И тут уж действительно приметно, как много и охотно занимался он флотом и моряками; всем, кажется, занимался: и рекрутами, и лесом, и порохом, и даже екатеринославской фабрикой, где «могут делать лучше других мест флагдух», то есть шерстяную ткань для флагов.

Многие черноморские офицеры душевно льнули к своему заступнику и радетелю, а капитан 2-го ранга Сенявин — особенно. И вот он спешит, спешит в Яссы. Сияет румянцем, кум королю, сват министру. Чем черт не шутит, возьмет светлейший да и опять нарядит курьером в Санкт-Петербург, и опять блеснет ему, Дмитрию Сенявину, милостивая улыбка государыни. А по дороге в Петербург не грех отдать якорек в белокаменной или закатиться в родовое именье, что в двух шагах от милого, тихого Боровска. А то ведь и так может обернуться: дозволит князь своему генеральс-адъютанту погулять в развеселых Яссах.

Некое превосходительство, которое мы еще будем иметь честь встретить, «подбросило» штришки к сенявинскому портрету. Сенявин, мол, тем только и взял, что «хорошо певал русские песни в аванзалах» Потемкина; а сверх того был «всегда из первых дебоширов, т.е. страстен к пуншу и буянству»¹.

Заметим в скобках: перо генерала дышало мезью — писало много лет спустя, не в Яссах и не в Севастополе, а на Корфу, писало после того, как вице-адмирал Сенявин отстранил пишущего от боевого дела. Но какая-то приблизительная доля правды все ж просвечивает в ядовитых строчках. Ведь и адмирал Мордвинов, большой благодетель нашего героя, говаривал, что Сенявин перебродит и будет «хорошее пиво». Значит, «бродил»-таки в молодости Дмитрий Николаевич. Что ж, былъ молодцу не в укор...

Но вот и Яссы, город на холме, где Сенявин впоследствии найдет свою любовь, разделенную и пронесенную до гроба. Однако теперь разделенной любви Сенявин не нашел: глаз светлейшего яростным сверлом уперся в рослого, молодцеватого, бравого генеральс-адъютанта, и тот мгновенно сник.

¹ Отдел письменных источников Государственного исторического музея (далее: ОПИ ГИМ), ф. 257, д. 1, л. 66 (об.). Отдел рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина (далее: ОР ГБЛ). ф. 178, д. 9850, л. 17.

Потемкин, что называется, поставил вопрос ребром — либо публичная мольба о прощении у адмирала, либо долой офицерский мундир, а взамен — матросское платье. Потемкин отобрал у Сенявина шпагу и бросил его в кутузку.

Ушаков мог бы злорадно потирать руки. Но из письма Потемкина к Ушакову осенью того же 1791 года узнаем следующее:

«Дерзость и невежество флота капитана Сенявина, нарушающая порядок и долг службы, подвергли его тяжкому наказанию. Я приказал его арестовать и готов был показать над ним примерную строгость законов, но ваше о нем ходатайство и за уважение к заслугам вашим удовлетворяю я великодушно (хорош смысл: он, Потемкин, великодушен, а не Ушаков! — Ю. Д.) вашу о нем просьбу; я препровождаю здесь снятую с него шпагу, которую можете ему возвратить, когда заблагорассудите. Но подтверждаю притом на поступки его иметь прилежное внимание, строго взыскивать прилежное исполнение должности и, в случае какого-либо упущения, непременно представить ко мне так, как о человеке, замеченном уже в незнании и неисполнении своего долга. О сем имеете дать знать во флот и черноморское правление».

Дело было не только в великодушии Ушакова, хотя и разительном, но и в том еще, что Федор Федорович сберегал лично ему неприятного человека для флота, для военной силы державы.

Между прочим, Потемкин, подобно Федору Федоровичу, глядел на отставленного адъютанта как на ушаковского наследника и продолжателя. И потому обрадовался прощению и примирению. В частном письме, похвалив Ушакова за снисходительность, Потемкин пророчит, что этот Сенявин «будет со временем отличный адмирал и даже, может быть, превзойдет самого тебя!».

Вот бы и точка. Да боюсь, читателю памятно ушаковское восклицание: «Не терплю Сенявина!» Значит, примирение было фальшивое? Нет, Ушаков тут ни при чем. Тут «при чем» Сенявин. На сердце у него остались обида, раздражение, неудовольствие. Несправедливые, но остались, и баста.

Малый срок минул, несколько месяцев, а Сенявин опять «попался». На сей раз сыр-бор загорелся из-за такелажного мастера капитан-лейтенанта Василия Аржевитинова: «без всякой скромности» он разглашал «неприличные и соблазнительные новости». Источником таковых «новостей» оказались два флотских капитана — Федор Поскочин и все тот же Дмитрий Сенявин.

Георгий Шторм, автор книги «Страницы морской славы», утверждает: разговор шел о сочинении Радищева, о россий-

ских «высоких особах», о Французской революции. Однако Г. Шторм, щедро снабдивший свою содержательную книгу ссылками на литературу и неопубликованные материалы, в этом случае не дает их.

Мы располагаем лишь одним документом — приказом Ушакова по севастопольскому порту. Из приказа явствует: «язвительные» и «дерзкие» слова касались «д о п р а в л е н и я ч е р н о м о р с к о г о». Далее сказано, что «беспокойные» и «вредные» люди разглашали «лживые новости», искажавшие положение н а ф л о т е. А замыкает адмирал так: о случившемся не преминет он «представить вышнему начальству».

Посулив громогласно, не мог, конечно, не представить. Вообразите, что поднялось бы, случись Сенявину со товарищи одобрительно беседовать о крамольном путешественнике из Петербурга в Москву! Да, ей-богу, и Сенявин, и Поскочин, и Аржевитинов совершили бы путешествие из Севастополя в Петербург — к крутому и подозрительному генерал-прокурору, в Тайную канцелярию. Ничего столь ужасного с ними не приключилось.

Но если не о Радищеве, тогда, может быть, толковали молодые господа офицеры о Французской революции? Очень может быть. Кто ж в ту пору не судачил о ней? «Прелести французского переворота, — писал со временем, — до глубины самой Сибири простирали свое влияние на молодые умы». Нам в Сибирь ходить незачем, сподручнее в Яссы заглянуть, где Сенявин бывал не раз. Так вот, в Яссах (очевидно, в походной типографии Потемкина) русские офицеры легально издавали еженедельный «Вестник Молдавии», помещавший сообщения о событиях во Франции. Дворянские молодые умы поначалу захмелели: наступает, мол, эра «добродетели», «равенства чувств» и т.п.; якобинский террор отрезвил их.

Коварная штука — обнаруживать оппозиционность там, где она и не ночевала. «Дерзость» и «язвительность» Сенявина не имели никакого отношения к «царствующей особе». Ни в молодости, ни в преклонных годах не замечалось в нем даже отдаленного противника монархии.

Что же до Ушакова, то он в этом случае поступал как адмирал Джервис, начальник и учитель Нельсона; первый писал последнему: «Я не опасаясь неповиновения матросов, но боюсь неосмотрительных разговоров между офицерами, их привычки обсуждать полученные приказания. Вот где находится истинная опасность и кроется начало всех беспорядков».

И уже если «возвышать» Сенявина над личными счетами с Ушаковым, то один к тому рычаг: предположить, что дела административные хотелось вести Дмитрию Николаевичу не так или не совсем так, как вел Федор Федорович.

Сенявин и до черноморской службы знал военно-морскую службу.

Кадетом бороздил Финский залив, этот садок будущих «Летучих голландцев»; гардемаринном ходил в Ледовитый океан, из снежных зарядов которого встал пред ним, как морок, угрюмый мыс Нордкап; мичманом плавал в Атлантике...

Но до черноморской службы Сенявин не знал боевой службы.

Впрочем, и первые его черноморские годы отошли в тишине, разве что погромыхивали учебные стрельбы да топоры стучали на склонах Южной бухты, где обживались первые севастопольцы.

Те годы были лейтенантскими, в лейтенантах Сенявин числился с января 1783-го до мая 1787-го. На фрегатах «Крым» и «Скорый», на 66-пушечном корабле «Слава Екатерины», на двухмачтовом острокильном галиоте «Темерник» он крейсировал у северных берегов Черного моря.

Видел не только волны. Видел древнее и новое.

Древнее пахло теплыми херсонесскими водами, где плавно колыхались бурые водоросли, пахло балаклавской ставридой, горячим камнем крепостных феодосийских руин. Отзвуки эллинского, отзвуки генуэзского замирали в слитном рокоте прибрежной таврической гальки.

Новизна была степной. От нее пахло полынью, подступавшей к землянкам и халупам Николаева, канатами и дегтем молодых верфей, болотами, гнавшими на юный Херсон жестокую лихорадку... Новизна была терпкой и потной. Люди ломались под колючим скифским солнцем. По слову медика-современника, все двигалось «вперед с изумительной быстротой», «лес и другие строительные материалы доставлялись в изобилии на казенный счет и продавались весьма дешево», «каждый строивший обязан был строго сообразоваться с планом».

В канун второй войны с Турцией Сенявин увидел столицу Турции. На пакетботе лейтенант возил пакеты, играя двойную роль — командира суденышка и «дипкурьера». Дешевыми доставлял он русскому посланнику при Блистательной Порте¹. Этот важный пост занимал Яков Иванович Булгаков, дипломат проницательный, настойчивый, искусный.

¹ Блистательной (или Высокой) Портой в русской дипломатической переписке именовалось правительство Турции, Османской империи. Предполагают, что название возникло от названия дворца с высокой дверью (или вратами) — резиденции правительства, дивана. Термины «Блистательная Порта», «Высокая Порта» употреблялись еще в начале нашего века.

Яков Иванович не посвящал лейтенанта в тонкие тайны своей сложной и опасной негоциации, как тогда называли дипломатию. Но он и не держал Сенявина на дальней дистанции — таков уж был характер, живой и общительный. А лейтенанту страсть хотелось потолковать с человеком, осведомленным в вопросах, которые весьма занимали черноморцев.

Конечно, Сенявин, его друзья-офицеры, дымя трубками и опрокидывая чарку, немало рассуждали о вероятности войны с «великим турком» как европейцы иногда величали султана. В Константинополе, в роскошном дворце русского посла, разрыв между двумя империями представлялся не только вероятным, но очень и очень близким. Покорение Крыма было победой весомой. Турцией она расценивалась как утрата дверей к собственному дому. А какой дом в безопасности, если дверьми завладел сосед, да еще сосед сильный и решительный?..

В 1787 году Екатерина поехала в «полуденные края».

Державные правители иногда вояжировали; они якобы жаждали очного общения с народом. На поверку все сводилось к триумфальным аркам и брызгам шампанского, выдаче наград и приему адресов. Народнонаселение, принаряженное и припомаженное, оставалось задником театральной сцены. Так же было и при Екатерине. Ее путешествие описано многократно и подробно. А в памяти поколений осталась лишь фальшь «потемкинских деревень».

Впрочем, царицына поездка явилась и своего рода военно-политической демонстрацией. Скопление сухопутных войск, снаряженный к походу флот, иностранные послы и даже сам император Австрии, сопровождавшие государыню, — все это показывало, что Россия не только не намерена отдавать Крым и Северное Причерноморье, а, напротив, намерена и дальше расширяться и укрепляться.

Сенявин в то лето был уж не благородием, а высокоблагородием, не обер-офицером, а штаб-офицером: его произвели в капитан-лейтенанты. И ему не пришлось «седлать» свой пакетбот «Карабут», чтобы везти депеши из Севастополя в Константинополь. Не пришлось, во-первых, потому, что он поехал в Кременчуг, навстречу императрице и Потемкину, дабы доложить о готовности черноморцев к встрече августейшей особы; во-вторых, еще и оттого, что сам Яков Иванович Булгаков поспешил в Россию, дабы получить от монархини и Потемкина (давнего, еще гимназического приятеля) новые инструкции.

Получил и воротился в стамбульскую резиденцию. Увы, вскоре Булгакова заставили променять посольский дом на Семибашенный замок, что близ Мраморного моря: посол, изволите знать, отказался пересматривать уже подписанные и утвержденные обоими дворами трактаты. То было, в сущности, объявлением войны. Забегая вперед, скажем, что и в темнице

Яков Иванович «находил средства» получать и переправлять Потемкину ценную информацию, подчас сверхсекретную, как, например, планы вражеского флота¹.

Стратегия врага была такой: у крепости Очаков, запирающей Днепровский лиман, сосредоточить эскадру и не допустить соединения основных русских морских сил, базирующихся на Херсон и Севастополь; разбить «неверных» по частям; высадить десант в Крыму. Задумано было очень неглупо. Да и поручено не дураку: имя — Эски-Гассан, должность — капудан-паша, то есть командующий флотом; прозвище — «Крокодил морских сражений».

5

В середине августа 1787 года боевые действия открылись в Днепровском лимане. Если Очаков (северный берег лимана) держали турки, то на Кинбурнском носу, на голой узкой «клевше» южного берега, сидел не кто иной, как Александр Васильевич Суворов, человек, который долго на одном месте не засиживался.

Едва мутноватые волны всколыхнули турецкие галеры и бестроходные парусные кирлангичи, как потемкинский гонец, не щадя лошадей, помчался в Севастополь. Князь наказывал тамошнему адмиралу «собрать все корабли и фрегаты и стараться произвести дело, ожидаемое от храбрости и мужества вашего и ваших подчиненных».

Севастополь только еще перевел дух после фейерверков, иллюминации и разных «излишеств», вызванных нашествием гостей голубой крови. Город и флот ублаготворили матушку-царицу в той же мере, в какой опечалили некоторых иностранцев. Например, француза посольского ранга и графского титула. Сияя на людях, его сиятельство наедине хмурился. Еще бы! Да ведь отсюда до Стамбула часов сорок хода под парусами; каково бедному султану жить в ожидании, когда «эти молодцы беспрепятственно придут и громом своих пушек разобьют окна его дворца»?

¹ Выдающийся дипломат обладал и литературным даром. Юношей сотрудничал в одном из журналов Московского университета; в молодости об руку с другом своим Д. И. Фонвизиным затевал издание лексикона; человеком зрелым перевел рыцарскую поэму «Влюбленный Роланд» итальянца Боярдо. Известны и другие работы Я. И. Булгакова. В Семибашенном замке он томился два с лишним года. Там убивал тоску, переводя тома «Всеобщей истории путешествий» — обширный труд, начатый англичанином Джоном Грином, продолженный и законченный французом Антуаном Прево, знаменитым автором «Монон Леско». Годы спустя Сенявин встретился с одним из сыновей Булгакова, тоже дипломатом, но уже прикомандированным к Дмитрию Николаевичу, как тот в свое время был прикомандирован к Якову Ивановичу.

С получением предписания Потемкина домики Южной бухты и Корабельной стороны грустно затихли, а на рейде началось то поспешное и деятельное движение шлюпок и баркасов, которое предвещало уход эскадры в море.

И она ушла, эта эскадра — три линейных корабля и семь фрегатов. На головном был Сенявин, правая рука контр-адмирала Войновича, его флаг-капитан; авангард вел капитан бригадирского ранга Ушаков.

Не победоносным, а бедоносным оказался поход. Если под Кинбурном от врага яростно отбились (Суворова дважды ранило), то у мыса Калиакрия отбиться не было никакой возможности чуть ли не целую неделю. Нет, не от турок — от жесточайшего шторма. Гроном пушек не разнесло окон султанского дворца, зато едва ли не к султанскому дворцу занесло беспомощную 64-пушечную «Марию Магдалину», а 66-пушечный «Крым» пропал без вести.

Пропал бы и флагманский корабль «Преображение господне»: вода в трюме прибывала, корабль уже «притонул», матросы натягивали чистое исподнее, чтобы на тот свет явиться в лучшем виде. Надо было обрубить ванты, на которых провисала, раскачиваясь, сломанная мачта. Сенявин схватил топор и в одиночку ринулся вверх. Матросы, ободренные его примером, стали карабкаться следом. Управившись с мачтой, Сенявин кинулся в трюм. Одни помпы не справлялись с забортной водою, другие испортились. Мокрый, грязный, с изодранными в кровь руками, Сенявин хватал обрезы, кадки, ведра. Он велел «отливаться» чем ни попадя. Тем временем исправили помпы... трехчасовая каторжная, ломовая работа — и «Преображение» преобразилось.

Израненная эскадра кое-как, словно б на брюхе, приползла восвояси. Докладывая в Черноморское правление о страшном бедствии, командующий почти восторженно отзывался о своем флаг-капитане: «Офицер испытанный и такой, каких я мало видал; его служба во время несчастья была отменная».

В Севастополе Сенявин, едва переведя дух, собрался в дорогу. Войнович горестно писал Потемкину: «Посылаю нарочно капитан-лейтенанта Сенявина, находящегося при мне флаг-капитаном, дабы оный мог подробно обо всем вашей светлости донести».

— Бог бьет, а не турки, — ужаснулся Потемкин.

Все для него окрасилось в черное. Он сделался угрюм, вял, капризен. «Уйми ипохондрию», «не унывай», — взывала Екатерина. А он в ответ предлагал... оставить Крым.

— Что же будет и куда девать флот Севастопольский? — воскликнула Екатерина. — Ты нетерпелив, как пятилетний ребенок. — И она явила большую, нежели фельдмаршал, выдержку и сообразительность. — Проклятое оборонительное

состояние, я его не люблю, старайся поскорее оборотить в наступательное; тогда тебе, да и всем легче будет.

«Бог бьет, а не турки» — с этим согласились бы и севастопольцы. Однако в отличие от светлейшего не увязли в «ипохондрии». За семь лет перебедевали семьдесят семь бед. А теперь что ж? «Очистить Крым»? Эдакое тому легкой пушинкой, рассуждали моряки, кому пот глаза не ел, кто не дрожал в лихоманке, не обихоживался на пустошах и не обживался на кораблях. Турка зол и силен! — говорили они. — А ты, брат, упорствуй, мужествуй, пробьет час, турнешь турку».

Севастопольские артели, экипажи, команды не вяли в уныние, а поднимались спозаранку — дождь ли со снегом, ведро ли, ветер иль затишье — да и брались за свою привычную работу, давно набившую твердые, чуть не в пятак, мозоли.

В кампанию восемьдесят восьмого года эскадрой по-прежнему командовал Марко Иванович, граф Войнович, авангардом — опять Ушаков Федор Федорович, а Дмитрий Николаевич Сенявин, как и в прошлый несчастливый год, — правой рукой командующего, флаг-капитаном.

Приспел срок. Помолились: «Ослаби, остави, прости, боже, прегрешения наша, вольная и невольная... Яже в мори управи. С путешествующими спутьшествуй». И пошли, пошли, пошли в кильватере друг за другом.

Искать пошли турецкий флот. Победу искать или смерть, славу или бесславие. Искали и обнаружили: сперва, как всегда бывает, означились, словно бы гряда кучевых облаков, паруса, полные ветром; затем, ближе, расчертили горизонт мачты; и вот уж все обрисовалось ясно в полуденной ясности. И с обеих сторон, на обеих эскадрах шевелят губами, торопливо загибая пальцы.

Что ж насчитали? Наши не радовались: одних линейных кораблей у врага семнадцать, а у них — два. Султанская эскадра превосходила Севастопольскую на тринадцать боевых единиц, а числом орудий — втрое.

Эскадры лавировали, отыскивая удобную позицию, прикидывая, как бы сподручнее загубить врага, хотя, казалось бы, при таком соотношении сил турецкий флагман мог и не выгадывать. Но, очевидно, и он полагал за лучшее оплачивать лавры малой кровью.

И вот эскадры очутились близ крохотного — меньше квадратной версты — островка Фидониси (Змеиный), куда, по преданию, безутешная гречанка привезла некогда тело своего сына Ахилла, героя битв с троянцами.

Но командующему, графу Войновичу, не до мифов сейчас было; его реальность ужасала, он всплескивал руками: велик вражина, достанется нам на орехи. И молил командира авангардного отряда Федора Федоровича Ушакова: «Сожги, батюшка, проклятого».

Войнович, славянин из Триеста, восемнадцатый год состоял на русской службе. Марко Иванович, бесспорно, обладал личной отвагой, доказанной на эскадре, учинившей туркам знатный чесменский погром. Но есть храбрость исполнителя и храбрость приказывающего. Войнович не умел и не хотел брать на себя ответственность. А ведь по должности-то обязан был и уметь и хотеть.

Третьего июля 1788 года за полдень неприятель поймал наивыгодную позицию. Он был на ветре, то есть на той стороне, куда дул ветер. А наши были под ветром, то есть в стороне, противоположной той, в которую дул ветер. И турецкий флагман начал горячую игру. Вот ее хроника:

14 час. 00 мин. Двумя колоннами противник спускается к эскадре Войновича.

14 час. 05 мин. Первая колонна атакует русский авангард. Вторая — сковывает русский центр и арьергард.

Не дожидаясь приказа флагамена, Ушаков посылает передовые фрегаты своего отряда навстречу неприятелю.

14 час. 45 мин. Отражение атаки противника на русский авангард. Всеми силами своего отряда Ушаков переходит в контратаку. Корабли неприятельского авангарда отходят. Ушаковский линейный корабль «Св. Павел» вступает в бой с «Капуданией», флагманским кораблем турецкой эскадры, наносит ему тяжелые повреждения корпуса и рангоута.

16 час. 55 мин. «Капудания» прекращает бой и уходит на юг, увлекая за собою всю турецкую эскадру.

Итак, «Крокодил морских сражений» бежал. Правда, неприятельский флот не был пущен ко дну. Зато не был допущен ни к Очакову, осада которого началась как раз в те июльские дни, ни к Севастополю, где опасались высадки десанта. И в этом «недопущении» состоял успех баталии близ острова Фидониси.

Хроника, приведенная выше, неопровержимо свидетельствует: победителем был Ушаков; Войнович остался непобежденным по милости Ушакова. Граф лишь отвечал противнику, а не задавал ему вопросы, защищался, а не нападал. Поздравляя младшего флагмана, старший воскликнул: «Мне все было видно!» То-то и оно: в и д н о... Видел, как Ушаков дрался, но не подоспел на помощь, не ввязался в драку. И замахал кулаками лишь п о с л е драки: в донесениях Потемкину умалил заслугу Ушакова¹.

¹ Впрочем, это не выручило Марко Ивановича. Разиня-граф навлек на себя праведный гнев светлейшего. В 1790 году Ушаков, произведенный в контр-адмиралы, был назначен командующим Севастопольским корабельным флотом.

Но если Войновича не осенили крылья славы, то все же «денег и чинов» «спокойно, в очередь добился» и мирно почил полным адмиралом в 1807-м, в тот год, когда его бывший флаг-капитан одерживал громкие победы.

Заслуга не была мимолетной. Она надолго определила фарватер и уровень русского военно-морского искусства. Она отвергала старое и утверждала новое. Отметались замшелые каноны формальной линейной тактики; провозглашались принципы маневра, инициативы, сокрушения врага по частям, нанесения удара по адмиральскому кораблю, сближения с противником на дистанцию картечного выстрела, то есть почти вплотную, включения фрегатов в боевую линию...

Войновичу «все было видно». Его флаг-капитану Сенявину тоже. Но видели они по-разному. Один — ничего не понимая и не принимая. Другой — памятно, цепко, смекалисто, попросту говоря, наматывая на ус.

6

Какие бы тучи ни заволакивали отношения Ушакова и Сенявина, но в море, под огнем, на палубах первый был учителем, второй — учеником. И уже осенью Сенявин показал себя учеником, достойным учителя.

Впрочем, до осеннего рейда совершил он летний рейс, ничуть не опасный, напротив, лестный самолюбию и выгодный для карьеры. После Фидониси он отправился вестником победы к Потемкину, в главную квартиру близ Очакова (там, в главной квартире, очевидно, встречал Суворова); от Потемкина полетел курьером в Санкт-Петербург и «удостоился высочайшей аудиенции». На флот воротился уже капитаном 2-го ранга. И спустя несколько недель, в сентябре, ушел в крейсерство к берегам Турции.

Репортуя о сражении при Фидониси, Войнович хвалил своего флаг-капитана: «отменно храбр и неустрашим». Не сомневаясь в доблести Сенявина, признаемся втихомолку, что в бою у Фидониси Дмитрий Николаевич находился очень близко от Войновича и очень далеко от Ушакова. Стало быть, жаром настоящего сражения его не опалило.

Зато теперь, в сентябре — октябре 1788 года, командуя четырьмя судами, свободный от рохли Войновича, вольный распоряжаться сам, Сенявин, что называется, развернулся во всю ширь своей удалой натуры.

Операция была набеговая, диверсионная, первая такая операция в еще недолгой истории нашего Черноморского флота. Поход требовал качеств, свойственных молодости. Сенявин решил задачу с блеском, присущим не столько молодости, сколько таланту. Боевая сенявинская слава началась там, где нахимовская достигла зрелости, — у Синопа.

Сенявин ворвался в синопские воды, очевидно пользуясь картой, заблаговременно составленной лейтенантом Плещеевым. Ворвался, с ходу напал на пятерку вражеских судов.

«Турки, — говорилось в современном документе, — отбивались от наших со всею горячностью». Одно их судно сломя голову наскочило на риф: «тогда слышно было большой жалостный крик топившегося народу»; другое попало в плен. Береговая артиллерия, опомнившись, стала палить тяжелыми ядрами. Сенявин поворотил и был таков.

Держась анатолийских берегов, похожих на таврические, капитан 2-го ранга шел к «местечку Вонна». По слухам, там готовились транспорты с войсками. Слух оказался «непроверенным»: транспорты не обнаружались. Обнаружились пехотинцы и кавалеристы; посудины, груженные пенькой и лесом; провиантский склад и береговая батарея. Груженные посудины Сенявин утопил, а батарею подавил; склад поджег, а сухопутного недруга осыпал картечью. Также «гульнул» он близ «большого города Гересинда» (на нынешних картах — Керасунда). Там были четыре транспорта и войска. «Множество народу турецкого жестоко защищали суда». Сенявин не менее жестоко бомбардировал их. Суда затонули. «По окончании сего знатного дела при попутном ветре снялся с якоря из-под города Гересинды и направил плавание к таврическим берегам».

Посылая Сенявина к южному побережью Турции, Потемкин сказал:

— Бог да сохранит тебя, Дмитрий, в предстоящих тебе опасностях; исполняй долг свой, а мы не оставим о тебе молиться.

Сенявин исполнил долг свой. Потемкин тоже: капитан 2-го ранга получил Георгия. Впрочем, «неподкованного». А вот Мордвинов, Николай Семенович, испрашивая такую же боевую награду для одного храбреца-офицера, прибавил, что коня-де хорошо бы и «подковать»: на орденских знаках Георгий изображался всадником; предлагая «подковы». Мордвинов пояснял: «тощ он и не сытен», то есть офицер, мол, нуждается еще и в денежном пособии.

О своем генеральс-адъютанте Потемкин, должно быть, эдак не думал, хотя, правду сказать, Сенявин не был богат.

7

Ноябрьской порой Севастопольскую эскадру валяло с борта на борт у длинной Тендровской косы. Эскадра караулила турецкий флот — чтоб не прорвался к осажденному Очакову.

На эскадре мокли матросы, грызли ржаные сухари и думали, что на всем божьем свете не осталось ни пяди сухой, теплой. А там, за песчаной косою, за бурым лиманом, русские солдаты пробавлялись прогорклой кашницей и яростно щелкали «купчиху» — злую вошь.

Осада Очакова затягивалась.

Штормило по-зимнему, упорно, круто, беспросветно. Неприятель не показывался. Русская эскадра ушла в севастопольские бухты.

В декабре разнеслась весть: Очаков взят. Говорили: знамена ее императорского величества полощут над павшей твердыней. Об ужасных потерях не говорили.

В 1789-м армия явила смелость, которая города берет. Победа при Фокшанах, победа при Рымнике — суворовская слава. Победа при Гаджибее, где потом возникла Одесса, — честь генералу Гудовичу.

А моряки как воды в рот набрали. Корабельных сражений не приключилось: турки, не принимая боя, ускользали, увертывались, исчезали за горизонтом.

Сенявину в тот год довелось совершить «ледовый переход». Потемкин поручил ему провести корабль «Св. Владимир» под носом турецких батарей, имея под корабельным носом льды лимана. «Надобно было обладать сердцами своих подчиненных, — замечает литератор, знавший Сенявина, — чтобы совершить сие отважное предприятие». И еще, добавим, надо было обладать искусством изощренного навигатора.

Переход на «Св. Владимире» принес Сенявину орден св. Владимира. Один современник серьезно уверял, что орден учредили «по случаю» многотрудного подвига Сенявина и его матросов. Чудная ошибка! Ведь на Владимирском кресте четкая дата: 1782. Не ради капитана 2-го ранга пополнили российскую орденскую колодку, а в честь двадцатилетия царствования Екатерины Алексеевны. Но что верно, то верно: Сенявин получил право носить свой темно-красный эмалевый крест, «как отличившимся при Очакове повелено, с бантом».

Набеговая операция, крейсерство на коммуникациях противника, проводка кораблей — все это было не только школой морской и военно-морской, но и практикой мужества.

Душа не развивается в бездействии; оцепенелая, она дряхлеет прежде тела. Нет ничего постыдного в чувстве страха. Постыдно другое: отсутствие стремления выйти из этого состояния. Ушинский прав: не привычка переносить страх, а привычка одолевать страх увеличивает смелость.

Высший, академический курс морской науки побеждать, а равно и высший курс воспитания и испытания чувств Сенявин, как и многие черноморцы, прошел в две летние кампании.

Фидониси было дебютом. Ярким и впечатляющим, но дебютом. Приняв от Войновича флот, Ушаков распрямил плечи. В девяностом году он дважды нанес неприятелю поражения стратегического размаха: в Керченском проливе (июль), у острова Тендра (август), а летом следующего года сокрушил врага у мыса Калиакрия.

Биограф Ушакова обязан был бы подробно воспроизвести

эти классические операции, совершенные вопреки классическим шаблонам. Здесь важнее означить капитальные черты черноморских баталий — они запечатлелись в душе и сознании Сенявина.

Согласно каноническим правилам маневр всегда и везде жестко подчинялся линейному построению эскадры, ведущей бой. Ушаков линейное построение подчинил маневру. В сущности, все его победы — это маневр в сочетании с огнем, маневр и еще раз маневр в сочетании с огнем.

Он охватывал фланги, разрубал строй противника. Первым применил тактический резерв. Любезный ему прием заключался в ударе «по голове» — выведет из игры флагмана, и у противника, непривычного к самостоятельности, переполох, паника. Не довольствуясь отступлением врага, Ушаков, преследуя, изничтожал его... Понятно, что столь «живая» тактика нуждалась в столь же «живых» исполнителях. Отсюда особенности организации службы и учений.

Порывистая храбрость и отчаянная удаль не всегда сопряжена с военным мастерством. Высокое военное мастерство всегда сопряжены с высоким мужеством. Не только оттого, что сам по себе подъем на высоту требует отрицания прежних уровней. Но и потому еще, что проявление этого мастерства невозможно без громадной личной ответственности.

Ушаков брал ее на загорбок с той внешней невозмутимостью, с какой берет пудовые поклажи богатырь-грузчик. Ушаков отвечал за флот перед государством и собственной совестью. Отвечал за корабли, которые были для него существами почти одушевленными. И за людей, которые не были для него бессловесным инвентарем.

Сенявин оказался редкостно удачлив не милостью Потемкина, не ходкостью карьеры, а тем, что судьба свела его с Ушаковым, хотя по иронии той же судьбы оба были недовольны друг другом. Нет, младший не любил старшего... Тут не усмотришь сходства, например, с Нахимовым или Корниловым, которые испытывали к своему наставнику Лазареву чувства задушевные. И не усмотришь сходства, скажем, с Нельсоном, благоговевшим перед суровым Джервисом. Но что бы ни было, а Федор Федорович Ушаков стоял перед Сенявиным как образец флотовождя.

Впрочем, и Ушаков мог счесть себя удачливым: у него был наследник. Строптивый, подчас неприятный и раздражающий, но был. Потому-то Федор Федорович и говаривал: не терплю Сенявина, а флот передал бы, доверил бы только Сенявину.

Падение Очакова полыхнуло туркам грозным знаменем. Известный читателю Яков Иванович Булгаков не без юмора сообщил Потемкину: «Султан, совет, большие бороды — плачут; все желают мира».

Желая мира, «большие бороды» продолжали слать на смерть правоверных, надеясь на помощь Запада. В силу разных обстоятельств подмога мешкала. Между тем суворовские, кутузовские, ушаковские победы гнули Порту все ниже, все ниже и наконец поставили на колени. В рождественские дни 1791 года победители и побежденные заключили мир. Мир подписали в Яссах,

где повелительные грани
Стамбулу русский указал.

Султан отрекся от притязаний на Крым и Грузию, отдал побережье от устья Днестра до устья Кубани. Россия, как тогда говорили, «показала себя во уважительной осанке».

Выигрыш был не только в увеличении политического веса. Выигрыш был не только для помещиков — они получали новые плодородные земли; не только для купцов — они обрели выход в южные моря. Победа над султаном и турецкими феодалами объективно оказывалась благом для народов, находившихся под игом полумесяца.

Тишина легла на Черное море и причерноморские степи. Легла тишина и на море Балтийское, на гранит Финляндии: русско-шведская война отгремела, как отпылала и русско-турецкая. Но тысячи и тысячи оставались в казармах, оставались на кораблях.

Умерла Екатерина, короновался Павел. Ударили гатчинские барабаны, залились бубенцы фельдъегерских троек. Павел, по слову Карамзина, «благородный воинский дух» старался заменить «духом капральства», «презирал душу, уважал шляпу и воротники».

Как смириться с «капральством» выученику Суворова или Ушакова? Воинский дух купили кровью и порохом подзёрнули. Он слишком дорого стоил, чтоб его отдали задешево. Кто отдавал, отрекался от самого себя.

Сенявин не принадлежал к отступникам. Командовал кораблями, участвовал в практических крейсерствах, построил в Херсоне 74-пушечного «Св. Петра», вывел его в море. Тридцати трех лет от роду получил капитана 1-го ранга.

В ту пору познал он чувство, которому покорны все возрасты и все чины.

Какова была Тереза, дочь австрийского генерального консула в Яссах? Вопрос не пустяковый в быстротекущей жизни: одному с женою горе, другому радость. Не пустяковый, выходит, и для биографа. Увы, пишущий эти строки ничего не отыскал для каких-либо суждений о капитанше Сенявиной. И, не отыскав, вынужден поступить на манер тогдашних военных судей — не обнаружив улики, они выносили резолюцию: «сие обстоятельство предать воле божией, пока впрямь само объявится».

Одно можно сказать: женился Сенявин не по расчету — какое приданое урвешь от сравнительно не крупного чиновника дипломатического ведомства? И не скуки ради — в Севастополе и Херсоне матросам девок недоставало, а уж господам-то офицерам отказа не было.

Сенявин женился по любви. Он прожил с Терезой Ивановной до гроба. Шесть раз была она на сносях, принесла трех сыновей и трех дочерей. Первенец Николай родился в 1798 году.

И в тот же год Дмитрий Николаевич ушел в море. Ушел надолго.

8

От колыбели первенца унесли Сенявина ветры и течения морей. Однако не только они, но ветры и течения большой европейской политики.

Безопасность обретенного юга, расцвет южнорусской торговли увязывались не с одной лишь турецкой проблемой. За спиной Порты маячила Франция. Там происходили коренные и решительные перемены, но интересы купцов и мануфактуристов не менялись — ни в восточной части моря Средиземного, ни в Архипелаге, ни на Ближнем Востоке. И недаром французский посол, сопровождавший Екатерину, был весьма раздражен и огорчен при виде юного Черноморского флота, готового, как он говорил, громом своих пушек высадить стекла султанского дворца.

А там, в серале, в резиденции султана, французские дипломаты, не жалея сил, подогревали антирусские настроения. В то же время французские военные проектировали, как и когда разрушить и Херсон и Севастополь.

(Наблюдалось, правда, и другое стремление: пользуясь Черным морем, завязать с русскими прямые торговые отношения, потеснив, а может, и устранив английское посредничество. В Херсоне, например, возник торговый дом марсельского купца Антуана. Однако сложные обстоятельства, как политические, так и экономические, помешали этому делу встать на крепкие ноги.)

Русская агентура отмечала наплыв французских офицеров в столицу Османской империи. Они кишели на верфях и в арсеналах, на береговых батареях и учебных плацах. Генерал Бонапарт добивался командировки в Порту и даже составил «памятную записку» об организации турецкой артиллерии. А пехотный офицер Анри де Раншу — будущий супруг одной из будущих любовниц Наполеона — заведовал в Константинополе офицерской школой.

Надо отдать должное французским штабистам: они мыслили логично — ради полного господства на Черном море се-

верная держава непременно потянется за пределы Черного моря. К тому ж Парижу, вероятно, были ведомы петербургские проекты «открытия пути к самому Царю-граду». В Зимнем, конечно, не могли спокойно дожидаться, когда проливы вспенит французский флот, прущий в Черное море.

А это могло случиться.

И не случилось по вине... самих французов.

Бонапарт час от часу набирал силу, влияние, вес, «широко шагал мальчик». Ему грезилась империя, поглотившая Ближний Восток. Он бросился на Египет, захватил Ионические острова, вторгся в Сирию. И перегнул палку: турки струхнули. Они испугались французов больше, чем русских. Давние друзья обернулись врагами, а давние враги — друзьями. Стамбул решился на союз с Петербургом. Без единого выстрела исполнилась золотая мечта северных дипломатов и стратегов: проливы Босфор и Дарданеллы открыты русскому военному Черноморскому флоту.

В Париже закусили губу. В Лондоне радовались неудачам французов, однако не радовались успехам русских. Британский посол в Стамбуле одной рукой поддерживал локоток русского коллеги, другой — хватал коллегу за фалды.

Послом был Спенсер Смит, ему помогал родной брат — Сидней Смит (этого Сиднея, отважного и упрямого, мы еще повстречаем на сенявинских дорожках). Братья трудились не за страх и не за совесть, а «за мошну». Пайщики Левантской компании, владельцы коммерческого судна, они ох как не желали выпускать из английских рук русский экспорт.

Но пока у королевской Англии и у императорской России один генеральный враг — Наполеон. И надо бежать в одной упряжке, при этом, впрочем, недоверчиво косясь друг на друга.

Согласие России и Турции еще только нарождалось, а неподалеку от Босфора уже означилась эскадра Ушак-паши, как в Стамбуле звали Ушакова.

В августе 1798 года капитан 1-го ранга Сенявин, командир линейного корабля «Св. Петр», увидел Константинополь, как видывал его некогда лейтенант Сенявин, командир пакетбота «Карабут». Но если карапуз «Карабут» сиротел на якорной стоянке у враждебного города, то многопушечный «Св. Петр» занимал свое место в походном порядке эскадры, прибытию которой, как доносил Ушаков, «бесподобно обрадовались» в Константинополе.

И вот не для боя, а ради союза сблизилась турецкая и русская эскадры. Первой командовал вице-адмирал Кадир-бей: четыре линейных корабля и шесть фрегатов, четыре корвета и четырнадцать канонерских лодок. Второй командовал вице-адмирал Ушак-паша: шесть линейных кораблей, семь фрегатов и три посольных судна. Кадир-бей располагал в общей сложности 408 орудиями и 6 тысячами бойцов; Ушаков — 792

пушками и командой в 7400 душ, включая 1700 десантников. (Прибавьте эскадру Горацио Нельсона, рыскавшую в Средиземном море, и, право, не позавидуешь французам.)

Русско-турецкий флот под главным начальством Федора Федоровича Ушакова лег курсом на Ионические острова.

Минуло больше года, как Бонапарт оттяпал владения некогда громкой Венеции, в том числе Ионический архипелаг: острова Корфу, Кефалонию, Св. Мавры, Итаку, Занте, Паксо и др.

Архипелаг, омытый морем Ионическим и морем Адриатическим, вставал как бастион. Владеть им было столь же выгодно, как и Мальтой. Бонапарт не хуже прочих сознавал значение архипелага. Он захватил эти острова отнюдь не ради воспоминаний о хитроумном Одиссее, как захватил Египет не для того, чтобы витийствовать у подножия пирамид, а для того, чтобы выйти на фланг Османской империи.

Поначалу иониты, как и все греки, возликовали: «Свобода, равенство, братство!» Желтый лев, изображенный на флаге Венеции, долго и крепко держал в когтях ионитов. Венецианцы давили греческую торговлю: венецианцы-католики преследовали греков-православных. Первое било по карману, второе — по сердцу. А тут является бодрый французский генерал, и ему плевать на любую конкуренцию, кроме карьерной, и на любое молитвословие, кроме осанны Наполеону Бонапарту.

Но очень скоро обнаруживается непреложная истина — оккупация всегда оккупация. Налоги не только сохранены, но и увеличены: что поделаешь, граждане, война! Не только увеличены, ни и получают в «довесок» налог на экспорт: что поделаешь, граждане, война должна кормить сама себя! Мало того. Французы точно магнитом притягивают к архипелагу английский флот. Англичане флегматично сосут трубки, жуют ростбиф и лежат как бульдоги на подступах к островам. Ввоза нет, значит, и хлеба нет, на Ионических он не родится. Вывоза нет, значит, виноград-коринка, растительные масла и фрукты не находят сбыта.

Взоры обращаются на восток. Точнее, на северо-восток. Со времен Петра, со времен Екатерины в сознании греков возникла и укрепилась мысль о помощи со стороны единоверной России. Недавние победы русских на суше были известны грекам по рассказам и газетам; о победах на море свидетельствовали очевидцы¹.

В душистой кофейне, у медленной домашней свечи, в церквях, устланных лавровыми листьями, в тесных двориках — везде перешептываются: «русские», «Россия». Доходит и до

¹ Участие греков (как волонтеров, так и числившихся на действительной службе) в боевых подвигах Черноморского флота отображено обильной документацией. И Потемкин, и Ушаков, и Мордвинов неоднократно отмечали их пылкую храбрость, стойкую преданность, навигаторское искусство.

открытого изъявления симпатий. На острове Занте, там, где длинная гряда гор, с которых виден невысокий берег Пелопоннеса, июльским знойным днем вдруг меняют один трехцветный флаг на другой, с иным расположением полос, меняют, громко восклицают: «Да здравствует Павел Первый!»

Греки привечали Романовых не за то, что они Романовы. У греков, как и у балканских славян, все русские цари были на один лик. Но этот лик олицетворял одну страну — великую державу, откуда чаяли избавителей.

А что ж в Санкт-Петербурге? Что и как раздумывают в Зимнем, в коллегиях иностранной, военной, адмиралтейской?

Представление о лениности и глупости высших сановников не всегда верно. История знает не только честолюбивых, но и трудолюбивых, не только туго думающих, но и думающих скоро, не только поддакивающих, но и перечасших. Конечно, проблемы военные и политические эти сановники решали своекорыстно. Однако положение единокровного балканского славянства, положение единоверных греков подчас вызывало в душе нефальшивый, сочувственный отзыв.

Теперь прикинем. Было ль выгодно царизму освободительное движение на Балканах, подвластных Стамбулу? Несомненно. Всякое ослабление султанской Турции усиливало царскую Россию. Были ль на руку порывы греков? Несомненно. Но есть климат и есть погода, есть политика коренная и есть политика текущая. А последняя понуждала к осторожности. Ведь стремительный Бонапарт отшатнул Турцию. Стало быть, петербургская стремительность могла снова бросить ее в объятия Франции. Приходилось считаться и с британцами. Наконец, «местные условия» заставляли оглядываться на Али-пашу, албанского правителя, лишь формального вассала султана.

Обычно Али изображается сторонником западной ориентации. Иногда вспоминают его попытки завязать отношения с Потемкиным и Безбородко (а позже с Сенявиным) и тогда поговаривают о русской ориентации. На деле паша ориентировался на собственную персону. Как всякий феодал, он желал «округляться»; Ионические острова, в частности, весьма прельщали его.

Четко, как с грот-мачты в ясный полдень, Ушаков представлял «шхерную» разноречивость политического положения. Но покамест все помыслы флотоводца сосредоточены на боевых действиях.

В исходе сентября 1798 года два русских фрегата набежали на остров Цериго (Китира). Обстреляли крепость, сбросили десант, выбросили французов из крепости.

Подражая кинематографу, остановим кадр. Он того достоин. Именно в сентябре 98-го, именно эпизодом на островке открывалась громадная долголетняя кровавая эпопея борьбы России с Наполеоном. В Средиземном русские вооруженные силы в п е р в ы е столкнулись с наполеоновскими. Столкнулись и победили... Далеконько еще до падения Парижа. На путях к нему еще горькие поражения, зловеще озаренные московским пожаром. Это так. Но флотские во все години антинаполеоновских войн поражений н е з н а л и. Это тоже так.

Впрочем, и Ушакову, и капитан-лейтенанту Шестаку, взявшему крепость, и французскому коменданту сдавшему крепость, — никому, ни единой душе на свете не дано видеть «всю ленту». И люди продолжают делать свое дело, не цепenea в тщетных потугах мыслью пронзить завесу будущего.

Ушаков делал свое дело с быстротою, ничуть не похожей на суетливость. Он его делал как-то очень уверенно, словно бы на Ионических островах расположились какие-то бесцеремонные постояльцы, и вот ему, Ушакову, приходится наводить порядок.

Постояльцы съезжать не торопились. Не только не торопились, но и сопротивлялись наводившему порядок. Когда заходит речь о неприятеле, его противодействие чаще всего характеризуют как «отчаянное». Отчаяние предполагает осознание неизбежности поражения. А французы о нем и не думали. Какое там! Молодая яркая слава Бонапарта, гордость многократных победителей, еще не истраченный энтузиазм «детей свободы» — все это бодрило солдат, вскидывало голову офицерам, и они дрались храбро, умело, упорно, жарко.

Ушаковские победы на море не были ни случайными, ни легкими. Не фортуне он прислуживал, а заставлял фортуна прислуживать. И не в очередь остров за островом прибирал Ушаков греческий архипелаг, а рассылал к островам сподвижников. Экспедиция в Средиземное море была экзаменом после академического черноморского курса.

Отряды поручались капитанам первого и второго рангов — людям, искушенным не только в эскадренных, но и в отдельных плаваниях. Обычно этим отрядам придавались и турецкие суда; на первых порах их экипажи обладали достаточным воинским духом.

Сенявинский отряд состоял из двух равных половин: русский линейный корабль и фрегат; турецкий линейный корабль и фрегат. В октябре Дмитрий Николаевич привел свою четверку к острову Св. Мавры (Левкас). Предстояла высадка десанта и осада крепости. Но Сенявин поступил как бог — вначале было слово. А генерал Миоле, начальник гарнизона, поступил как честный солдат — наотрез отверг капитуляцию.

С кораблей свезли десантную партию. Десантники зацепи-

лись за береговую кромку и укрепились на берегу. Начали возводить артиллерийские батареи. Примечательной особенностью осадных работ был и не инженерные новшества, а помощь местных жителей. (Следует особо подчеркнуть, что с появлением кораблей Ушакова содействие греков выказалось немедленно и внушительно, хотя островитян не шутя беспокоило присутствие турок, врагов давних и немилосердных.)

Батареи построили. Начался обстрел крепости. Она отвечала контрбатареями палубой. Дуэль длилась двое суток. Потом Сенявин вторично прибег к красноречию. Француз, как истый француз, в риторике не уступил русскому. Капитуляция не состоялась. Состоялась вылазка: отряд в триста штыков, грохоча боевыми барабанами, вышел из ворот крепости. Барабаны не заглушили «ура» сенявинцев, и французы «учинили ретираду». В последний день октября подоспел адмирал Ушаков, и в первый день ноября генерал Миоле сдался.

Союзники взяли богатые склады боезапаса и продовольствия; взяли шесть десятков орудий, которые уже не нуждались в боезапасе, и полтысячи пленных, которые еще нуждались в продовольствии.

Ушаков так оценил личного недруга: «...Командовавший отдельным от эскадры отрядом капитан 1-го ранга и кавалер Сенявин при взятии крепости Св. Мавры исполнил повеления мои во всей точности. Во всех случаях принуждая боем сную к сдаче, употребил он все возможные способы и распоряжения, как надлежит усердному, расторопному и исправному офицеру, с отличным искусством и неустрашимую храбростью».

Апофеозом ионической «симфонии» прозвучало овладение главным островом архипелага — островом Корфу.

Вообразите старинную циклопическую крепость, обновленную учеником Монталамбера¹. Ее орудия равнялись числу орудий десятка линейных кораблей, а за ее стенами укрывалось три тысячи отборных бойцов. Французская эскадра и укрепленные скалистые островки защищали морские подступы к цитадели.

Бои оказались тяжкими. И длительными: с октября 1798 года по февраль 1799 года. Длительность объяснялась как материальной мощью крепости, так и моральной немощью турецкого союзника — он с каждым днем терял желание сражаться.

Победа воспламенила даже Суворова, к победам привычного:

— Великий Петр наш жив! Что он, по разбитии в 1714 году

¹ Марк Монталамбер (1714—1800) — французский генерал, военный инженер, автор системы фортификации, широко распространенной с конца XVIII столетия.

шведского флота при Аландских островах, произнес, а именно: природа произвела Россию только одну: она соперниц не имеет, — то и теперь мы видим. Ура Русскому флоту!.. Я теперь говорю самому себе: зачем не был я при Корфу хотя мичманом?

Сенявин при Корфу был капитаном 1-го ранга. Как и на Св. Мавре, явил он «отличное искусство и неустрашимую храбрость». Сенявин участвовал во всех важных предприятиях, где гений Ушакова достиг зенита — подобно хирургу-виртуозу, Федор Федорович применял (то врозь, то оптом) разнообразные «инструменты»: корабельные поединки, блокаду, десанты, обработку противника корабельной и полевой артиллерией, общий штурм бастионов.

Овладение Ионическими островами — первая, но не последняя глава саги об Ушакове и ушаковцах: адмирал повел флот к берегам Италии, оккупированной французами. Его корабли взаимодействовали с тем, кто хотел быть при Корфу «хотя мичманом».

10

Военачальники, даже самые выдающиеся, отнюдь не всегда политики. А политики, даже самые блестящие, редко-редко и военачальники. Феномен Ушакова — в слитности обоих дарований.

Эта особенность важна не одному биографу Ушакова. Она важна и биографу Сенявина. Потемкин предрекал: «Будет со временем отличный адмирал». Ни Потемкин, ни Мордвинов, извинявшие молодому Сенявину «разгульную жизнь», ни Ушаков, которому разгульность претила, не предсказывали, что ученик сравняется с учителем и на дипломатическом поприще.

А он сравнялся. Но об этом позже.

Теперь надо бы приглядеться уже не к боевой, а к политической практике Ушакова. Она оказала влияние на Дмитрия Николаевича Сенявина.

Покойный академик Тарле отметил в Ушакове «проницательность, тонкость ума, понимание окружающих, искусно скрытую, но несомненную недоверчивость не только к врагам, но и к союзникам». Ушаков, продолжает Е. В. Тарле, по существу, самостоятельно вел русскую политику и делал большое русское дело на Средиземном море.

Оставлю за бортом отношения с англичанами. Скажу только, что спокойная независимость русского флотоводца бесила британского флотоводца. «Эти люди, негодовал Нельсон, разумея Ушакова и его капитанов, «заботятся только о том, чтобы приобрести себе порты в Средиземном море...». Ах, какой эгоизм! Можно подумать, что Нельсон и его капитаны

были филантропами. Овладение Ионическими островами и вовсе разъярило Нельсона: «Я ненавижу русских...» Одна ко знаменитый сын Альбиона строил Ушакову любезную мину, как, впрочем, позднее другие, не столь знаменитые сыны «дали» любезностями Сенявина.

Отношения с турками за бортом не оставишь. Причина двоякая. Во-первых, главным тут был «ключ Адриатики», Ионический архипелаг. Во-вторых, в числе мотивов, которыми руководился Ушаков, усматриваешь не только рациональные, но и эмоциональные. А эти последние владели (когда пришел его час) и Сенявиным, хотя он, как и Ушаков, умел чувства подчинять разуму.

Так вот. Турки, хоть и увивали от ратной работы, имели юридическое право на вмешательство в послевоенное гражданское устройство ионитов.

Ионические острова не походили на тихоокеанские. В пальмовой Океании путешественника умиляла простота «детей природы»; здесь, в греческих морях, он мог умиляться, лишь перечитывая Гомера. Патриархальности не было. В ушаковских и других документах там и сям встречаешь — «первый класс», «второй класс»... «Первый» — это дворяне; «второй» — буржуа и мужики, хотя слово «мужик» как-то не вяжется с представлением об Элладе.

«Первоклассники» не обнимались с «второклассниками». Приведу характеристику тех и других, нигде, кажется, не приведенную. Ее ценность в ее авторе: он принадлежал к «первому классу»; правда, не греческому, а российскому. Князь Вяземский жил на Корфу, посетил многие Ионические острова, стало быть, не залетный вояжер. В его дневнике есть такая выразительная запись: «Чернь честна и благонравна. Дворяне без чести и без характеров, но обожают наружный блеск и богатство»¹.

С подобной аттестацией согласился бы и Ушанов. Немало трудов, усилий, хлопот израсходовал адмирал на то, чтобы как-то примирить враждующих. Ему очень хотелось «тишины и благоденствия».

Отнюдь не демократ в принципе, он на деле подчас брал сторону демократии — «черни», «второго класса». Составляя конституцию Ионических островов, адмирал-монархист расходился с монархами. И Павел I, и Селим III, «повелитель правоверных», соглашались с республиканским образом управления архипелагом: такова, увы, местная традиция. Но заморские самодержцы добивались самодержавия ионического дворянства, а Ушаков полагал необходимым допустить в выборный сенат и представителей «второго класса».

¹ ОР ГБЛ, ф. 178, д. 9848, л. 39 (об.).

Ушаков не только симпатизировал простолюдинам-грекам, сражавшимся бок о бок с моряками и десантниками. Нет, адмирал был и дальновиден: земледельцы и торговцы уповали на протекторат России, а дворяне — на протекторат Турции.

Ушаков слышал не однажды: «Не хотим никого над собою правителем, кроме русских!» И потому писал в Петербург, что народ скорее согласится «быть под французами, нежели под турецким владением». Несколько лет спустя русский посланник на Корфу специально выяснял настроения ионитов. И выяснил, что «низы» «расположены в пользу России», а вот «верхи»... Посланник, замаявшись, осторожно молвил, что не может того же сказать о «верхах».

«Чернь» отличалась и горячей приверженностью к православию. Не знаю, глубоко ль религиозен был Федор Федорович, но, конечно, он не оставался равнодушным, заслышав «ранний звон колоколов, предтечу утренних трудов». Русские, очутившись среди греков или южных славян, испытывали светлое чувство к единоверцам. Не фанатизм, нет, просто отравно вдали от «милого севера» чуют привычное с младенчества, такое же, как в отчем доме, как у твоих стариков, как у всех, кто остался там, на родине...

Вечер восемнадцатого столетия, утро девятнадцатого отмечены переменной скоростью Истории. Дело не в том, что люди заторопились жить и заспешили чувствовать, это уж было производным. Суть в том, что вулканические события Французской революции и перерождение ее в режим контрреволюционный, наполеоновский, вытряхнули Историю из скрипучего бабкиного рыдвана, и она полетела как на почтовых. Многое тогда казалось неожиданным.

Очевидно, неожиданным показался морякам Ушакова и отзыв эскадры в Севастополь. Россия вышла из антифранцузской коалиции, кораблям России надлежало выйти из Средиземного моря. И они покинули его, покинули гавани, порты, острова, где свершилось столько подвигов и пролилось столько крови. Покинули и Корфу. Это случилось в 1800 году.

Однако «ключ Адриатики» не канул в волны Средиземного моря. В апреле того же года, когда Ушакова принудили воротиться, состоялось подписание конвенции о статуте Республики Семи соединенных островов. Она объявлялась сюзереном Турции с обязательством платить вассальные пиастры (семьдесят пять тысяч в трехлетие), а Россия брала на себя гарантию ее территориальной целостности и соблюдения правопорядка.

Но едва удалились русские, как Турция навязала ионитам такие поправки к «ушаковской конституции», которые обеспечивали власть аристократов без мало-мальского участия «второго класса».

Народ не безмолвствовал. Народ обвинил дворян в предательстве. Народ напал на гарнизоны и выгнал турок.

11

Не безмолвствовал и Петербург.

Александр I приказал русскому посланнику: «Вы можете заверить их (ионитов. — Ю. Д.) самым положительным образом, что я не только не позволю дивану¹ распространить свою власть на эту республику, но и употреблю все имеющиеся в моем распоряжении средства, чтобы ее независимость была определена без всяких ограничений».

Петербург поступил дельно, вернув русские штыки на Корфу. Проливы еще были открыты для Черноморского флота. Мешкать не приходилось. Ведь Турция опять замирилась с Францией, а Россия опять рассорилась с нею.

Петербург поступил дельно и осмотрительно. Вскоре Бонапарт оккупировал Италию. Уже не за горами было время, когда Наполеон на какие-то возражения «аборигенов» прикажет отвечать кратко: «Император так хочет!»

География и стратегия — сообщающиеся сосуды. Пустяковые сотни миль отделяли Ионические острова от портов Италии; пустяковые сотни миль Ионического моря соединяли архипелаг с итальянским сапогом. Таким образом, Наполеон, обладавший проворством рыси, мог совершить прыжок на Республику Семи соединенных островов.

Француз-роялист, агент русской дипломатической службы, предупреждал: Наполеон постарается восстановить свои позиции в восточной части Средиземноморья; это ему необходимо и для поддержки старинной марсельской торговли, и для пресечения русской черноморской торговли. Наполеон, продолжал информатор, видит в черноморской торговле «новый источник богатства и кредита для той великой державы, которая в силу своего положения, могущества и средств рано или поздно подчинит Европу своему влиянию и сделается решительницею судеб и стражем спокойствия и безопасности».

Понятно, о каком «спокойствии», о какой «безопасности» толковал сторонник белых лилий Бурбонов, но планы Наполеона очертил верно.

В Петербурге понимали это и без подсказок со стороны. И хотя на Корфу расположился весьма крупный гарнизон, решили бросить туда балтийское подкрепление.

Осенью 1804 года капитан-командор Грейг, фамильный

¹ Диван — правительство Турции, тайный совет при султানে.

герб которого украшал девиз: «Ударяй метко», получил инструкцию:

- следовать с эскадрой к Ионическим островам;
- на Корфинском рейде принять под свою команду черноморские корабли;
- самому встать под команду русского посла графа Моцениго;
- все свои действия увязывать с русским сухопутным командованием.

Инструкция заканчивалась внушением: «Предмет пребывания в Корфу сей дивизии (отряда кораблей. — *Ю. Д.*) состоит в том, чтобы по всей возможности содействовать безопасности и благу жителей Республики Семи соединенных островов, и на сей конец движения и действия всех судов вообще и порознь должны быть определяемы по усмотрению обстоятельств».

В Корфу капитан-командор Грейг встретился с графом Моцениго. Посол сразу дал понять, что не намерен совать нос в корабельные эскадренные заботы. Таким образом, Моцениго и капитан-командору показался «милым, любезным, умным, учтивым, добрым человеком», каким он казался другому современнику, князю Вяземскому, человеку весьма бранчливого нрава¹.

Одновременно или почти одновременно моряк беседовал и с генерал-майором Анрепом, тогдашним «командующим отрядом войск, расположенных в Ионических островах», как его именуют в официальной переписке.

Анреп не был бездельником. Грейг еще обретался на Балтике, когда генерал рапортовал государю:

«...Рассматривая положения и способы к защите островов Ионической республики, нашел я, что город Корфу и крепость Св. Мавры (та самая, что захватил Сенявин в ушаковском походе. — *Ю. Д.*) суть один, которые своими укреплениями в состоянии сопротивляться неприятельскому нападению. Прочие же острова могут не иначе обороняться от неприятеля, как морскими судами, ибо все старинные укрепления, найденные мною на островах Занте, Кефалонии и Цериги, по невыгодности положения своего, не могут учинить никакого сопротивления, быв сверх того от частных и больших землетрясений в крайнем разорении, требуя столь великой починки, что ни время, ни силы наши не позволяют нам к оной приступить... Но как оные острова до такой степени гористы и наполнены дефилями (теснинами, ущельями. — *Ю. Д.*), что с малым числом егерей можно сделать

¹ ОПИ ГИМ, ф. 257, д. 1, л. 11. Любопытно, что граф Моцениго (или Мочениго), долгое время подвизавшийся на русской дипломатической службе, происходил из старинной венецианской семьи, которая дала Венеции нескольких дождей.

упорное сопротивление неприятельскому десанту, то посему счел я за нужное расположить 14-й егерский полк и один батальон Куринского мушкетерского полка на помянутых островах, предписав им всем, чтобы в случае какого-либо десанта отражать неприятеля со всею твердостью... Здесь, в крепости Корфу, на случай такого же десанта или движения в Албании или Морее, назначил я оставить один батальон Куринского полка, гарнизонный батальон полковника Попандопуло и батальон республиканских войск под начальством генерал-майора Назимова, с препоручением сему последнему комендантской должности в сей крепости»¹.

Анрепа бездельником не сочтешь. Но первая же беседа с ним насторожила капитан-командора Грейга. Моряк, как многие моряки, был ревнив к флотской независимости. А генерал, как многие генералы, ставил армию превыше всего на свете, стало быть, и превыше флота.

В частном письме из Корфу Грейг резал напрямик: я, дескать, не имею ни малейшего желания превращать эскадру в орудие генеральского честолюбия... Не было б охоты ввязываться в личные отношения флотского и армейского командиров, если бы вообще отношения морских и сухопутных офицеров не были б делом важным.

В том же письме Алексей Самуилович тревожно замечает, что Корфу кишит вражеской агентурой и что очень трудно «уберечься от шпионажа и тех критических моментов, которыми французы умеют прекрасно пользоваться».

Нет, капитан-командора не одолевала шпиономания. Среди рукописей библиотеки имени Салтыкова-Щедрина сохранился автограф Талеярана: руководитель французской внешней политики приказывал собирать сведения о численности и дислокации русских вооруженных сил на Ионических островах; Талеяран подчеркивал, что эти сведения требует Наполеон. В другом циркуляре Талеяран обращался к поверенному в делах в Константинополе: давайте точный перечень тех русских полков, которые прошли Дарданеллы, направляясь в Корфу: сообщайте столь же точно о новых войсках, которые появятся в проливе с той же целью.

«Критические моменты» уже возникали, ибо император французов уже был и королем Италии. Требовалось не только присутствие в архипелаге внушительного воинского соединения. Требовалось и присутствие внушительного должностного лица, перед весом и властью которого съезжилось бы любое честолюбие. Короче, нужен был не командующий, а главнокомандующий.

Может быть, Грейг, человек блестящей карьеры, еще в пе-

¹ Центральный государственный военно-исторический архив. Фонд Военно-ученого архива (дал ее: ЦГВИА, ВУА), д. 3108, л. 3-8.

ленках произведенный в мичманы самой Екатериной, Грейг, может быть, втайне метил в главнокомандующие. Вполне возможно, что и генерал Анреп мечтал принять бразды. Однако в Корфу следовал вице-адмирал Сенявин, о чем читателя известила глава первая, и ничего иного не оставалось, как ждать Дмитрия Николаевича.

И вот в январе 1806 года он здесь, на рейде Корфу, у стен города и крепости, столь ему памятных по ушаковским, в сущности, недавним временам.

И некий сенявинский офицер, предвосхищая события, восторженно записывает в тетрадке шероховатой нелинованной бумаги: «Адриатика получила полного своего повелителя»¹.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Один русский паломник видел Корфу в 1725 году. Город, по его словам, был «зело изряден». Русские времен Ушакова и Сенявина держались иного мнения: теснота и неопрятность. А Владимир Давыдов, путешественник 30-х годов прошлого столетия, и вовсе махнул рукой: «выстроен худо»... Нет, не архитектурой радовал Корфу наших моряков и армейцев. Другое им пришлось по душе.

Флотский офицер писал: «Корфу представляет почти русский город: большая часть жителей понимают русский язык, а молодые порядочно уже говорят по-русски. Крепость содержится в отличном порядке; адмиралтейство, находящееся в заливе Гуви, в близком расстоянии от города, может делать пособие поврежденным кораблям. Итак, не приятно ли видеть, что управление русских улучшило состояние жителей и сделало в короткое время из Корфу военный порт».

Армейский офицер, рассказывая о строевых занятиях на городской площади, писал: «Учились очень хорошо, народу (то есть зрителей. — Ю. Д.) было множество, после учения нарочно одетых несколько мальчиков вынесли букеты цветов в вазах и на подносах. Народ кричал *vivat*, женщины бросали вверх свои веера»².

Прибавим, что егеря, закончив ученье, возвращались на биваки самой широкой и самой красивой улицей: греки называли ее «Одос Ушаков».

¹ ОР ГБЛ, ф. 344. Кожин И. Морской журнал. Часть вторая, или Путешествие 74-пушечного корабля «Святой Петр» в дивизии г. вице-адмирала Сенявина, л. 3.

² ОПИ ГИМ, ф. 257, д. 1, л. 68 (об.), 69.

Если городское «устройство» казалось (да оно и вправду таким было) тесным, неудобным, путаным, то окрестности, как и весь остров, сравнивались с райскими кущами.

Даже те, кто раньше любовался таврическим полуденным блеском, даже они притаивали дыхание в лимонных и апельсиновых рощах, у гремучих порожистых речек с мостиками старинной каменной кладки, близ тихих часовен, окруженных оливами, на скалах, откуда открывался близкий албанский берег, такой светло-песчаный и ровный, что его именовали Страдо Бьянки — Белая дорога... А ночи Корфу? О, эти звезды величиною с кормовой корабельный фонарь, эти медленные огни рыбацких баркасов, и плеск волн, и зеленое мерцание каких-то бесчисленных мушек, похожих на крохотные метеоры.

Самый северный в Ионическом архипелаге остров Корфу на протяжении шестидесяти пяти километров соседствовал с балканским берегом. Он не очень велик, этот остров, но и не то чтобы карлик: шестьсот тридцать восемь квадратных километров; как-никак, в два с половиной раза больше Мальты. И если здешней акватории хватало для многих кораблей, то и здешней территории было достаточно для русских воинских частей: мушкетеров, егерей, артиллеристов.

Состав и численность сухопутных войск, подвластных Сенявину, определялись историками в общем, без значительных расхождений. Современный нам исследователь¹, тщательно сличив документы, приводит следующую таблицу:

Козловский мушкетерский полк генерал-майора Макшеева — 528 человек

Колыванский мушкетерский полк генерал-майора Жердюка — 1601 человек

Витебский мушкетерский полк генерал-майора Мусина-Пушкина — 1765 человек

Два батальона Куринского мушкетерского полка, гарнизонный батальон о-ва Корфу (включая 62 человека на других островах) под командой генерал-майора Назимова — 1852 человека

13-й егерский полк генерал-майора Вяземского — 1149 человек

14-й егерский полк генерал-майора Штетера — 1154 человека

Сводный батальон из морских полков — 699 человек

Артиллерийские роты майора Кулешова — 433 человека

Легион легких стрелков генерал-майора Попандопуло — 1964 человека

Итого:

12 145 человек.

¹ Шапиро А. Л. Адмирал Сенявин. — М., 1958.

Легион, замыкающий таблицу, в документах иногда называется «греческим корпусом». И верно, греков было немало. Не ионических островитян (те составили свое народное ополчение, милицию), а бежавших из-под гнета турок. Но в легион входили и албанцы православной веры, тоже бежавшие от преследований «полумесяца».

Их деды обращались некогда к императрице Елизавете: предлагали сколотить полк или два полка для совместного с русскими выступления против Турции. Их отцы находились на палубах эскадры Спиридова во времена Екатерины, в годину архипелажской экспедиции. Их старшие братья (а может, и кто-либо из будущих легионеров) нападали на султанские суда в Средиземном море в дни русско-турецкой войны 1787-1791 годов — тогда была создана Добровольческая флотилия. После Ясского мира многие солдаты и матросы флотилии предпочли переселиться на южные берега России, где с ними, несомненно, встречался Сенявин: они жили и в районе Севастополя, и в районе Одессы, и в районе Феодосии.

Генерал Вяземский наблюдал легионеров в самом начале формирования корпуса на Корфу. По его мнению, то был «народ отменно отважный, храбрый, предприимчивый». Легионеры, пишет Вяземский, «обязались везде следовать за российскими войсками и быть врагами всем врагам России»¹. Забегая вперед, скажем, что они — уже при Сенявине — лихо дрались с французами. В делах Военно-морского архива сохранились лестные отзывы русского командования о «легких стрелках».

Сенявинский моряк, видевший легионера-албанца в бою, восхищался его сноровкой: «Когда стреляет из-за камня из своего длинного ружья и уже не успеет снова зарядить свое ружье, то выхватывает пистолет, стреляет из него, потом из другого и с тем вместе уже сабля в его левой руке защищает голову; перехватив саблю в правую руку, он уже вступает в рукопашное дело, а между тем ружье и два пистолета, которые на шнурках, — закинута назад. Отразя противника, он опять заряжает свое оружие и вдруг опять имеет три выстрела и защитительную саблю свою, висящую почти в горизонтальном положении».

До прибытия Сенявина легионом, или корпусом, командовал полковник Бенкендорф; при Сенявине — полковник, а потом генерал-майор Попандопуло.

Состав и численность сенявинских морских сил выглядели в январе 1806 года так: линейных кораблей — 11, фрегатов — 7; корветов — 4; канонерских лодок — 12; вспомогательных судов — 7.

¹ ОР ГБЛ, ф. 178, д. 9848, л. 44.

Не знаю, произвел ли Сенявин смотр армейцам, но «морскую часть» обозрел в первые же дни и благодарил Грейга за отличную распорядительность. Алексею Самуиловичу благодарность пришлось по душе, но еще больше обрадовало производство в контр-адмиралы — указ привез Сенявин.

На какой бы высокий пьедестал ни возводить Сенявина, а без помощников, какие ему достались, Дмитрий Николаевич не совершил бы то, что он совершил.

Ближайшим стал Грейг. Алексей Самуилович был сыном героя Чесмы, сыном человека, о котором говорили, что «он, как чайка, состарился на воде». Уступая Сенявину возрастом, двенадцатью годами, Грейг, пожалуй, не уступал «наплаванными» милями: еще волонтером английского флота ходил в Ост-Индию и Китай. Порох он тоже успел понюхать; мальчиком участвовал в стычке с французским быстроходным вооруженным судном, по-тогдашнему капером, или привати́ром; молодым капитаном «Ретвизана» высаживал десант на дюнах Голландии... Он получил лестное письмо от Нельсона, его имя пользовалось известностью не только как боевого моряка, но и как серьезного знатока астрономии¹.

Но всего этого не достало бы, чтобы Дмитрий Николаевич коротко сошелся с Грейгом. Не одними опытом и познаниями обладал тот, но и душою. Вопреки английской выучке не смотрел он на матроса, как на каторжника. Много-много времени спустя русский моряк, вспоминая Алексея Самуиловича, писал, что «наказание кошками заменялось им почти всегда другими, менее жестокими наказаниями», а «перед наказанием шпицрутенами у осужденного шея, руки и грудь обвязывались ветошью». В эпоху, «освистанную» розгами, такие правила уже были милосердием. И Сенявин, противник изуверства, не мог не ценить сердца своего сподвижника.

Занявшись боевой организацией, Сенявин не уподобился «новой метле». Он давно и хорошо понял, что сплоченность людей и кораблей не возникают в одночасье. И потому так распределил силы эскадры, чтобы кордебаталией, ядром, были корабли, приведенные им из Кронштадта; авангардом — грейговские; арьергардом — черноморские контр-адмирала Александра Андреевича Сорокина.

Последний был из первых флотских командиров. Это ведь он, в начале ушаковского похода чином равный Сенявину, он, как и Дмитрий Николаевич, командовал отдельным отрядом, ходил тогда к берегам Египта, а после включился в то дело, в котором Суворов желал быть «хотя мичманом». И это о нем, об Александре Андреевиче Сорокине, Вяземский, не

¹ На склоне лет А. С. Грейг возглавлял «Комитет построения и устройства Пулковской обсерватории», открытой в 1839 году.

склонный к похвалам, оставил в своем дневнике такую пометку: «добрый и веселый человек»...

Кстати сказать (может, и не кстати, ну да все равно), добрых и веселых водилось немало среди русских офицеров разных родов войск.

Люди в большинстве молодые, в полном соку, они знали, что со дня на день пойдут навстречу опасностям, навстречу смерти. Стендаль говорил: плох солдат, думающий о госпитале. На Корфу собрались неплохие солдаты. Не о госпитальных, нет, о других койках они помышляли, и разве лишь траченная молью карга каркала б на них за склонность к «уединению вдвоем».

Сенявинские офицеры попали с корабля на бал: ионическая столица кипела в январском карнавале — быть может, единственная отрадная традиция, уцелевшая со времен венецианского господства.

«Мы пришли на обширную площадь, покрытую тысячами красавиц, — возбужденно рассказывает лейтенант Николай Коробко. — Четыре оркестра музыки гремели по углам; дома, обращенные на площадь, были освещены... Все было в движении...»

Маски, ряженые, смех, итальянская опера — хорошо, ей-богу, после долгого скрипа ма'т и соленого однообразия. И эти горожане-корфиоты в легком винном хмелю, эти люди в фуфайках, похожих на матросские, в широких шароварах, в красных толстых чулках и башмаках с огромными, как тропические бабочки, пряжками и в сбившихся на затылок алых скуфейках.

Но балтиец говорит о них мимолетно, как и о «знакомствах с полковыми и морскими офицерами Черноморского флота». Он об ином, этот лейтенант: «Я потолкался между женщинами...»

Прав был Батюшков-поэт: «Нежные мысли, страстные мечтания и любовь как-то сливаются очень натурально с шумною, мятежною жизнью воина».

О чем шептались под кипарисами в сине-лунные часы? Куда крался поздней порою мичман или прапорщик? В каком доме за полночь осторожно отворилась дверь?

Воображайте, воля ваша!
Я не намерен вам помочь.

Прибавляю только, что, по свидетельству одного донжуана, многие гречанки утирали очи, провожая в поход русские корабли, а среди офицеров чуть не половина была влюблена в гречанок.

Проводы начались в феврале 1806 года. Ровно месяц спустя после прихода Сенявина в Корфу, из Корфу провожали линейный корабль, фрегат, шхуну. Командовал ими Белли, капитан-командор.

Дмитрий Николаевич знаком был с ним давно и близко, по черноморской службе, по севастопольскому житью. Их общий учитель Ушаков аттестовал Белли человеком «отменной храбрости, искусства, расторопности».

Как сам Сенявин, как Сорокин, так и Белли окончательно выпестовался в ушаковском заграничном походе. Да только Григорий Григорьевич, правду сказать, отличился еще ярче, чем они. Этот командир фрегата «Счастливыи», должно быть, и впрямь родился под счастливой звездой. Высадившись в Южной Италии, оккупированной французами, он дрался так азартно и отважно с противником вдвое, втрое сильнейшим, что имя его гремело в Неаполитанском королевстве. Моряк с головы до ног, он показал себя великолепным бойцом на суше, командуя отрядом в полтысячи штыков¹.

«Белли думал удивить меня, — хрипло воскликнул Павел, извещенный о взятии Неаполя, — так и я его удивлю!» И хотя Белли, находясь в огне, вовсе не тщился удивлять царя, тот действительно удивил и его и многих, наградив храбреца значительным орденом — святой Анны первой степени. Загорелый дочерна под итальянским солнцем, запорошенный дождевой итальянской пылью штаб-офицер получил ленту через плечо со звездой и так называемое орденское платье — мантию пунцового бархата, этакую длинную, до каблука, мантию с золотым глазетовым воротником и бархатную шляпу с тремя пунцовыми перьями.

Сенявин за ушаковскую кампанию тоже удостоился Анны, ан второй степени, то есть креста на шею, мантии до половины икры, а пунцовых перьев на шляпе, увы, только два.

Теперь, остановив свой выбор на Белли, Дмитрий Николаевич, конечно, совсем не вспоминал ни о длине мантии, ни о шляпных перьях, а думал о том, что капитан-командор самый подходящий человек для выполнения военной и в некотором роде дипломатической задачи, решать которую ему придется и на море и на суше. Правда, не там, где прежде, не на северо-западе от Корфу, а на северо-востоке, не на итальянском берегу, а на балканском.

2

Уходя в море, Белли, конечно, подвергался опасности. Сенявин, оставаясь на берегу, тоже. Но «качество» опасности различилось.

¹ Летом 1918 года на Путиловской верфи в Петрограде достраивался эскадренный миноносец, названный именем ушаковского героя и сенявинского сподвижника. — «Капитан Белли». Командиром нового боевого корабля Балтийского флота был назначен 30-летний Владимир Александрович Белли, правнук Г.Г. Белли. (См.: Бадеев Н. Высылай устав. — М., 1971. С. 91-92.)

Начиная самостоятельную средиземноморскую страду, Дмитрий Николаевич начинал ее рискованным шагом. Рисковал он не столько как военный, сколько как политик.

«Повелителю Адриатики» мало было повелевать Ионическим архипелагом. Его мысленный взор устремлялся на северо-восток от Корфу.

Там, на Балканском полуострове, располагалась Которская область. Она принадлежала Австрийской империи. Империю, как упоминалось в первой главе, победил Наполеон. Император Франц, дрожа поджилками, принял все условия, в том числе и уступку балканских владений австрийского дома.

Захвати французы Балканский плацдарм, и вот уж они и на фланге Турции и в подбрюшье Южной России. Если угроза прорыва неприятельского флота в Черное море пока не возникала, то возникала угроза марша неприятельской армии к Дунаю, к Днестру. А если учесть ужас Турции перед демоническими победами Наполеона, то вырисовывался даже союз султана с тем, кто некогда просился к нему инспектором артиллерии.

Выходит, обстановка диктовала Сенявину необходимость упредить врага. Но царь колебался.

Аустерлиц сильно подорвал влияние на Александра «молодых друзей», наперсников и советников. Теперь уж не было у них «привилегии являться к столу императора без предварительного приглашения»; теперь лишь изредка сходились они в укромной комнате внутренних покоев Зимнего для доверительных бесед с государем, а коли и сходились, то Александр, уходя, «снова поддавался влиянию старых министров», — сетует в своих мемуарах один из «молодых» и «неразлучных», князь Адам Чарторижский.

И все ж Александр Павлович не устранил вчистую ни пылкого Строганова, ни рассудительного Новосильцова, ни осторожного и «гордо таинственного» Кочубея, ни князя Адама, сдержанного, изящного, серьезного, с выразительным взглядом и несколько выпяченной челюстью.

Еще полгода, до лета восьмьсот шестого, отпущено Чарторижскому на руководство внешней политикой. И князь каждый день по восемь — десять часов не отрывается от письменного стола. Среди его многочисленных забот и те, что в прямой связи с Сенявиным.

Как раз в январе, то есть именно в том месяце, когда Сенявин добрался до Корфу, из-под пера Чарторижского выливается записка о политико-стратегических выгодах занятия Которской области и всемерной поддержки сопредельной ей Черногории.

Минуло три месяца, и князю снова приходится убеждать нерешительного царя: Турция поддается чарам Наполеона; ее дружеские рулады «имеют целью лишь усыпить наше внима-

ние»; «следует обратить особое внимание» на Которо, ибо черногорцы «ничего не предпринимали против этой страны», как принадлежавшей австрийскому союзнику России, но теперь «намереваются овладеть ею для противодействия успехам Бонапарта». Исчерпав доводы реальной политики, Чарторижский воздевает руки: «Можем ли мы оставить без нашей поддержки этих христиан?»

Чарторижский доказывал на бумаге; Сенявин решил доказать на деле. Князю несогласие с царем грозило удалением под роскошную сень родовых поместий; адмиралу — суровым военным судом.

В сенявинской решимости виден размах орлиных крыльев. Как боевой, так и политический раздел своей жизненной книги Дмитрий Николаевич писал крупным, ясным почерком.

А это было тяжело. И потому, что приходилось брать на себя, лично на себя громадную ответственность, и потому, что даже профессионалы, съевшие зубы на политических комбинациях, терялись, словно в тумане, и вздрагивали, будто в ночном осеннем лесу.

Неприятное состояние испытывал, например, тот же Чарторижский: «Положение Европы в настоящую минуту до того запутано, поведение различных государств до того загадочно, что не только общественное мнение блуждает в потемках, но даже во многих отношениях и частное суждение кабинетов не имеет достаточных данных, чтобы установиться».

Каково ж было Сенявину? Каково было адмиралу за тысячи миль от петербургского кабинета? И все ж он имел «достаточно данных, чтобы установиться», — его мысль, подобно компасной стрелке, постоянно обращалась к Северу, к родине, интересы которой (так, как он их понимал) были ему путеводными. И еще одним «данным» располагал Сенявин, «данным», независимым ни от царя, ни от «молодых друзей», ни от «старых министров», — прозорливостью. Ее долго не замечали в Петербурге, зато скоро заметили на Средиземном море. Сенявин — «политик дальновидный», «умный патриот», почтительно молвит флотский офицер Панафидин...

В марте 1806 года, когда князь Адам склонялся над запиской, положения которой здесь приведены, Сенявин уже воочию видел то, что заглазно видел дипломат.

Но прежде расскажем о Белли.

Линейный корабль «Азия», фрегат «Михаил» и шхуна «Экспедицион» быстро достигли которского берега. Он был покрыт рощами и деревеньками, окруженными черешневыми садами, славою здешних мест.

«Отличной красоты вид», — восхитился один из сенявинцев в своих «Дневных морских записках». Другой наблюдатель, посетивший Котор десятилетиями позднее, отметил в

журнальном очерке, что этот берег — «наивысший аккорд южнославянской красоты».

В отличие от туриста моряк тотчас деловито прибавляет: «Глубины достаточные». Он отметил важное — осадка позволяла войти в которские бухты. Не оговорка: именно бухты.

Они лежали по курсу кораблей Белли; без них «наивысший аккорд», пожалуй, не звучал бы столь полно и сильно. Три обширные бухты, соединенные проливами, составляли поразительную цветовую гамму. Первая, ближайшая к морю, нежно вторила адриатической голубизне; вторая, уже затененная летящими к небу утесами, отливала густой синью; последняя, над которой висели громады, казалась почти аспидной.

А там, дальше и вверх, была страна воинственного, никогда и никем не покоренного народа, страна несравненных удальцов черногорцев.

Русский путешественник писал: «Четыре или пять часов ходьбы налегке достаточно черногорцу, чтобы дойти до Которо от монастыря Цетинье. Но трудности или, вернее, непроходимость гор преграждает путь для всякого торговца... Глыба гор, через которую пробираются черногорцы, доступна только им одним. Привычка ходить по скалам и утесам, прыгая, так сказать, с камня на камень, позволяет им посещать Которо»¹.

В начале восьмьсот шестого года черногорцы не имели ни малейшего желания гостевать в Которо. Там сидели австрийцы, там ожидались французы. Ни те, ни другие не «устраивали» черногорцев.

В Цетинье, где суровый монастырь и столь же суровые, похожие на фортеции, нетесаного камня дома, крытые соломой, в Цетинье собрались вислоусые старейшины. Им уж не надо издавать традиционный призывный клич о подмоге: «Гэй, кто витязь?!» — они прослышали о приходе русских в Которский залив. И не затем собрались воины и скотоводы, чтоб гадать о будущем на бараньей лопатке (вариант гадания на кофейной гуще), а затем, чтоб отозваться на призыв русского дипломатического агента — выступить как против французов, так и против австрийцев.

И вот черногорцы, «прыгая, так сказать, с камня на камень», спустились к стенам и готическим башням крепости Кастельново, что возвышалась на правом берегу залива. Их было две тысячи. Их возглавлял тот, кто правил Черногорией, — митрополит Петр Негош, человек редкостной отваги, характера твердого и ума недюжинного.

Черногорцы и русские сошлись.

Слово произнес Петр Негош:

¹ Центральный государственный архив литературы и искусства (далее: ЦГАЛИ), ф. 1337, оп. 1, д. 324, л. 17, 21 (об.). Рукопись неустановленного автора «О поездке в Черногорию».

— Самые горячие пожелания исполнились! Наши русские братья соединяются с нами в братской общности. Пусть никогда эта великая минута не исчезнет из вашей памяти! Раньше чем я освящу эти знамена, клянитесь защищать их до последней капли крови!

Капитан-командор Белли тотчас приступил к делу. Памятуя наставления Сенявина, он вежливо предложил маркизу Гизлиери («главному» австрийцу) передать область местной власти. Белли объяснил: срок сдачи Которо французам истек в январе, а нынче — середина февраля; стало быть, Которо уже не австрийская территория, и, следовательно, хорошо бы вернуть область коренному населению.

Логика капитан-командора не вразумила австрийцев. Они пуще всего на свете боялись гнева Наполеона. К тому же маркиз был осведомлен: наполеоновский генерал Молитор спешит в Которо.

Маркиз медлил. Людям, склонным медлить, необходим толчок — надо им назначить срок, и баста. Белли и назначил. Да еще и очень краткий: на крепости Кагельново убрать флаг через четверть часа, на прочих крепостях — в двадцать четыре часа.

Гизлиери п о п р о с и л хоть разик пальнуть по крепости. Уж больно хотелось шельме изобразить «павшего героя». Австрийские офицеры, как и офицеры других стран, разделяли мнение адмирала Джервиса: военная честь, подобно женской, однажды утраченная, невосстановима. Но, видимо, уже тогда у австрийских офицеров возникала пагубная «привычка быть битыми», отмеченная Суворовым.

Ну, значит, попросили пальнуть. Капитан-командор отказал, словно бы держась правила, позднее сформулированного Козьмой Прутковым: не для какой-нибудь Анюты из пушек делают салюты. А если серьезно, то Белли (опять-таки памятуя сенявинские наставления) не стрелял потому, что его страна не воевала с Австрией.

Убыстряя процедуру передачи крепостных ключей которцам, Белли отрядил на берег полторы сотни морских пехотинцев. И подчиненные маркиза Гизлиери, беломундирные господа офицеры, перепоясанные желтыми с черными полосами шарфами, в касках, похожих на древнеримские, офицеры эти, храня, поелику возможно, деревянную невозмутимость, свернули крепостные флаги и сняли караулы¹.

В марте капитан 2-го ранга Рожнов на своем 74-пушечном «Селафаиле» доставил в Которский залив главнокомандующего. Дмитрий Николаевич счел необходимым появиться там в силу нескольких причин.

¹ Французский историк А. Рамбо напрасно уверяет, что Гизлиери нарочно капитулировал, «желая насолить французам».

Ему были важны, как сказали бы теперь, прямые, личные контакты с южными славянами. Ему было важно, чтобы между которцами (по-другому их именовали еще и бокезцами) и черногорцами не возникало то, что в артиллерии называют «разнобоем орудий», — у пушек, ведущих огонь в одном направлении и при одинаковом прицеле, порою средние траектории ложатся на разных дальностях. Наконец, ему было важно вблизи определить ход событий.

Наверное, Сенявин никогда не читал ни Канта, ни Гегеля, ни Гердера. Дмитрию Николаевичу, полагаю, остались неведомыми беглые замечания кенигсбергского философа о «невыработанном характере» русского и балканского народов; осторожные предположения берлинского диалектика о неприобщенности славянства «к западному разуму»; лестные предсказания публициста и моралиста Иоганна Гердера о том, что славянский мир с его гуманистическими идеалами заменит дряхлеющий, усталый романо-германский мир. Нет, все это Дмитрий Николаевич вряд ли читал, хотя немецкий разумел, а до сочинения математика и философа Вронского о мессианской роли славянства, до трактата «Россия и Запад» Данилевского, как и до статей Константина Леонтьева, клеймившего славянскую интеллигенцию, Сенявин не дожил.

Сенявин видел то, что видел, и слышал то, что слышал.

Он нашел здесь характер, выработанный крепко и цельно, разум, поднявшийся до осознания общности судеб, сердечную признательность освободителям, не покушавшимся на самостоятельность освобожденных.

Он видел, как бокезцы в расшитых куртках обнимают его матросов и солдат и как бокезские женщины, стройные смуглянки, плавно выступая в сандалиях с серебряными бляшками, подносят им вино и цветы.

Он видел, как ликующие черногорцы палят вверх из длинноствольных ружей и, потрясая ружьями, клянутся бить неприятеля плечом к плечу с русскими.

Он вслушивался в говор. К языку которцев и черногорцев, отмечали сенявинские моряки, легко привыкнуть: язык этот близок к церковно-славянскому...

Вице-адмирал занялся снабжением черногорских и которских отрядов. Вице-адмирал велел принимать добровольцев на свою эскадру и в свои полки. Он благодарил бокезцев за поддержку русской эскадры тридцатью легкими судами, способными ходить по мелководью. Он усилил отряд Белли еще одним линейным кораблем. И ему уж ясен был план «работ» на адриатических коммуникациях врага, без разрыва которых не защитишь Которскую область.

И еще одна, очень примечательная и постоянная черта Сенявина: главнокомандующий зорко следил за тем, чтоб ни

один офицер, ни один матрос или солдат ни на волос не задела местных жителей.

Вот что писал очевидец: «В трое суток Дмитрий Николаевич, можно сказать, очаровал народ. Доступность, ласковость, удивительное снисхождение восхищали каждого. Дом его окружен был толпами людей, черногорцы нарочно приходили с гор, чтобы удостоиться поцеловать полу его платья, приходящая всегда была полна ими, никому не запрещался вход; казалось, они забыли митрополита, и повеления Сенявина исполняли с ревностью, готовностью удивительной».

В Загребе, в музее, хранилась некогда (может, и поныне хранится?) рукопись католического священника Койвича. Он жил в Которской области, в городке Будве, и оказался свидетелем появления сенявинцев. Свидетель ценный вдвойне: каноника не заподозришь в русофильстве, а «показания» давал он в годину французской оккупации, стало быть, не подлизывался к русским.

«Чего никто из нас, — рассказывает Койвич, имея в виду вообще католиков, — не ожидал — русские вели себя в высшей степени похвально. Хотели быть друзьями каждому. Никому никогда ничего худого не сделали. Чиновники (читай: офицеры. — Ю. Д.) были любезны, воины учтивы, очень снисходительны и нисколько не суровы. Что касается религии, то нам при них было так же свободно, как и под венецианским, черногорским и австрийским правительством. Одним словом, если бы кто-нибудь вздумал сказать что-либо худое о русских, по крайней мере о тех, которые были в Будве, то на того следует смотреть, как на злого человека»¹.

В то самое время, когда Сенявин, не обронив и капли крови, выпроводил австрийцев и освободил которцев, заручился поддержкой южных славян и уже приступал к единоборству на морских дорогах, — в это самое время царь поставил крест на деяниях Сенявина и сенявинцев.

Правда, царское повеление было декабрьское (минувшего, восемьсот пятого года), а на дворе-то уж кончался март восемьсот шестого — вот почта-скороход!; правда, государь, повелевая покинуть Корфу и следовать в Черное море, не знал, да и знать не мог, про Которскую область и русско-черногорско-бокесзкое соединение; правда и то, что Александр подписывал директиву, оглушенный аустерлицким громом. Так-то

¹ При Сенявине хозяином города Будвы был комендант Милетич, славянин по происхождению и отставной майор русской службы. Ему приходилось бывать в Петербурге. В одном из докладов князя Чарторижского сказано, что черногорцы «желают препоручить сему майору нескольких молодых людей для обучения европейской дисциплине (то есть военному делу. — Ю. Д.), доставив им равномерные штывки, коих пользу они начали узнавать».

оно так, но повеления с высоты трона обсуждению не подлежат, а тем паче неисполнению.

Вот тут и обнаружилось в Дмитриии Николаевиче нечто совсем необычное, или, точнее, нечто своеобразное.

В молодых годах слыл он строптивцем. Тогда он досаждал Ушакову, хоть и великому военному вождю, но все-таки лишь адмиралу. Теперь Сенявин вроде бы опять оказывался слушателем, ибо не только не поспешил в Черное море, но еще и прикинулся, точно бы ни о чем таком ведать не ведает.

Но это уж не было задором и лихостью. Не отделяя интересов царских от интересов России, Сенявин понимал, что торопливость государя зряшная, что дела не так уж из рук вон, что овчинка выделки стоит.

О-о, Дмитрий Николаевич знал, какие молнии призывает на свою голову. Вряд ли он спал спокойно. Легче было уступить, чем устоять.

Он устоял. В своеобразной сенявинской неисполнительности, как и в сенявинской исполнительности, видна натура крупного калибра. Именно эта удивительная, редкостная нравственная устойчивость позволила Владимиру Броневскому, автору «Записок морского офицера», а в сущности, историографу сенявинской эпопеи, справедливо резюмировать: Сенявин «не страшился жертвовать собою пользе и славе Отечества».

Павел Свинын, коротко узнавший Дмитрия Николаевича лишь в Корфу, на Средиземном море, прибавил, что Сенявин обладал хладнокровием и терпением.

Какое терпение, какое хладнокровие отличало потемкинского генеральс-адъютанта? Смолоду он был молод. Сдержанность, душевная выносливость зрели с годами.

И поспели к сроку, в самую нужную пору.

3

Бенито Гальдос сравнивал корабли былых времен (как раз времен нашего героя) с готическими соборами. Жалкие эстампы, презрительно усмехался испанец, не дают о тех кораблях никакого представления. И романист восславил их торжественной «мессой»: они были «настоящими рыцарями, оснащенными как для атаки, так и для защиты и всегда полагались на свою храбрость и ловкость... Самым впечатляющим и грандиозным зрелищем была оснастка корабля: гигантские мачты, гордо вздымаясь в небо, слали вызов морским бурям...».

Парусными странниками поныне восхищаются люди артистические и люди прозаические, малые и старые.

Но самую глубокую, ибо она пожизненна, самую подлинную, ибо она молчалива, самую сильную, ибо она сурова, лю-

бовь к парусным рыцарям испытывали моряки. Конечно, моряки не по мундиру, а по сердцу, не по ремеслу, а по дарованию, а ведь только такие и есть моряки подлинные, ибо море не терпит ничего посредственного.

Можно цитировать маринистов, но признания самих моряков полновеснее. Во-первых, они редкость. Во-вторых, лишены риторики.

Одно из таких признаний, негромких, искренних, домашних, принадлежит Долгорукому, старшему современнику Сенявина. Командуя линейным кораблем «Ростислав», сообщает мемуарист, «он большую часть жизни проводил в море, на своем корабле и любил его со страстью, как свое родное дитя. Долгорукий говорил о нем с нежностью, иногда со слезами умиления, и постоянно твердил своей племяннице: «Смотри, Еленушка, когда ты будешь большая, и выйдешь замуж, и будет у тебя сын, ты его назови Ростиславом в честь и память моего корабля»¹.

Такая же коренная и такая же неискоренимая привязанность была и в душе Дмитрия Николаевича. Сенявин жил кораблями и корабельщиной. И быть может, в те тревожные, смутные дни, дожидаясь прояснения горизонта (не морского — петербургского), с особой силой ощущал свою слитность с ними. Попробуем восстановить тогдашнюю судовую повседневность. А то ведь после будет некогда...

Получилось так, что в городке Перасто, что в Которской области, в доме бокезца Мартиновича наши моряки увидели большую картину, писанную маслом и обряженную в золоченую раму. Верхнюю половину картины (а не нижнюю, как ошибочно указывает очевидец-мемуарист) занимала надпись: полный титул царя Московского Петра Алексеевича, государственный герб и перечень фамилий — Куракин, Лобанов, князь Голицыны, Лопухин, Ртищев, Матюшкин... Внизу, у стола с навигационными инструментами и картой, расположились молодые люди в одинаковых шапках, отороченных мехом, в одинаковых долгополых кафтанах: все безбородые и все будто с одинаковыми усиками; это ученики. А наставник-навигатор, темноволосый, с крупным, внушительным лицом, одетый во что-то похожее на черную мантию, сидит в кресле. Наставник Марко Мартинович, должно быть, приходился прадедом владельцу картины; слушатели — земляками сенявинцев. То были дворянские недоросли, отправленные неумолимым Петром за рубеж постигать мореходное искусство. В Перасто для них

¹ Помните мрачную картину Флавицкого «Княжна Тараканова»? Так вот, самозванку из Ливорно в Кронштадт доставили на «Ростиславе». По пути пылко увлекся Долгорукий. Моряк даже помышлял о похищении таинственной красавицы. Но любовь к кораблю была постоянной, к женщине — мимолетной.

снарядили судно, и «москвиты» крейсировали по Адриатике. Между прочим. Марко Мартинович описал их приключения стихами, не позабыв шутливо изобразить, как некоторые его подопечные страдали морской болезнью.

«Русской, будучи в Перасто, непременно должен посетить дом, принадлежащий Мартиновичу», — признательно замечает сенявинский офицер. Он, его друзья были растроганы. И достопамятной картиной, и мыслями об основателе русского регулярного флота, и мыслями о давней связи русских не только со славянством, но и с моряками-славянами Адриатического, или по-славянски Ядранского, моря. И еще, может быть, мыслью о неправоте тех, кто утверждал, что дети лесов и степей не могут стать братьями океана.

Глядя на молодых людей в долгополых кафтанах, молодые люди в коротких мундирах со шпагами или вицмундирах с кортиками не могли не помянуть добром и своих учителей, и свое ученье в отечественном Морском корпусе. Помянуть не только потому, что кадетские годы уже окутались розовой дымкой, и не только потому, что кадетские годы заложили «краеугольный камень» знания, но и оттого, что именно в корпусе зажглась «чистая лампада» товарищеской сплоченности.

Сверстник молодых сенявинских офицеров, тогда начинающий чиновник дипломатического ведомства, а позднее литератор, при первом знакомстве с морской средою прямо-таки поразился свойственным ей «торжеством дружбы». Павел Свиньин писал: «Лишенные семейственных наслаждений, родственных пособий, товарищи в себе самих находят родных и протекторов. Подобно рыцарям, они готовы страдать и умереть один за другого; у них общий кошелек, общий труд, общая честь и слава, общие пользы и виды».

Проще простого заподозрить Свиньина в сентиментальном восхищении корпоративным духом. И право, нетрудно отыскать примеры, когда «общие пользы» уступали «пользам» личной карьеры, особенно в случаях перемещения из каюты под шпиль Адмиралтейства. А все-таки в основном прав Свиньин. Особенно если речь о молодых, о тех, кто еще не обременился ни тещей, ни чадами.

Мать «общих видов» — общая опасность. Моряки и опасность — тесные соседи не только в громах войны, но и в мирном затишьи. Недаром в старину твердили: с морем нельзя договариваться, прибавляя, что моряков от смерти отделяют лишь дюймы корабельной обшивки. «Чтобы иметь право жить, надо приобрести готовность умереть». В таком случае моряки имели огромное и неоспоримое право на жизнь, на все ее радости.

Сближал и отрыв от родины. Не зимние иль осенние вечера в гарнизонном захолюстье, где пробавлялись водкой, не постой в городе, который «кружком означен не всегда», нет,

такой отрыв и такая даль, когда ни звука родной речи, ни ломтя родного хлеба.

Наконец, гвардейские и армейские офицеры воспитывались в разных учебных заведениях, офицеры тогдашнего флота — исключения единичны — все вышли из одной колыбели.

Наблюдения Павла Свинына подтверждает Владимир Броневский: морские офицеры «с младенческих лет связуются узами дружбы... Друзья, товарищи до глубокой старости пребывают верными. Примеры тому в нашей службе нередки даже и в таких случаях, когда один сделался начальником, а другой подчиненным».

Венецианские дожди обручались с морем; это было как бы порукой господства в морях. На моряков «обручение» накладывало круговую поруку; это было условием господства над морем. И отсюда то, что ныне называют спайкой.

Армейский офицер почти всегда находил возможность рассеяться в штатском обществе. Офицер флотский — изредка; он чаще и дольше был все в том же обществе, разделяя с ним и будни и праздники. Отсюда то, что ныне называют сживаемостью. «Отними круг нашего товарищества — что бы было с нами?» — недоумевал сенявинский офицер Панафидин.

Броневский, да и другие говорят, что пожилых моряков, которые годами обретались в «челюстях смерти», можно, мол, тотчас определить по угрюмой пасмурности лица. Это дань физиономистике. Ею увлекались на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков, когда нарасхват шел десятитомник Лафатера «Искусство познавать людей по физиономии».

Не знаю, как Лафатера, но уж Броневского, во всяком случае, опровергал не кто иной, как почитаемый им адмирал. Впрочем, весьма вероятно, Дмитрий Николаевич и тут выбивался из «закономерности».

Никакой пугающей угрюмости, никакой отчужденной молчаливости, никакой мрачности, наводящей тоску, в нем не замечалось. Высокий и стройный, он «имел прекрасные черты и много приятности в лице, на котором изображалась доброта... Он отличался веселым, скромным и кротким нравом» — вот одна зарисовка. А вот и другая: «Я, признаюсь, полюбил его всею душою с первого взгляду; из двух слов заметно было особенное умение его привязывать к себе подчиненных... Подчиненные его страшились более всех наказаний у т р а т ы у л ы б к и, коею сопровождал он все приказания свои и с коею принимал донесения».

Как тут не вспомнить латинское изречение: «Твердо в деле, мягко в обращении». Изречение, совсем не тождественное пословице: «Мягко стелет, да жестко спит».

«Боязнь утраты улыбки» — самая удивительная особенность отношений главнокомандующего и личного состава, находившегося в его всевластии. Доброжелательностью веяло

от Дмитрия Николаевича. А доброжелательность, по мне, самое симпатичное, что встречаешь в человеке; встречаешь, к сожалению, не столь часто, как хотелось бы.

Только военачальник, совершенно уверенный в своем нравственном влиянии, может быть снисходительным без риска уменьшения собственного служебного веса, может явить то, что Пушкин называл «умной снисходительностью».

История, однако, насчитывает немало полководцев и флотоводцев, обладавших почти непоколебимым профессиональным авторитетом. Но очень немногие из них обладали даром соединять с повиновением себе любовь к себе. Лишь редчайшие могли быть добрыми, не опасаясь прослыть добренькими, могли быть человеколюбцами, не опасаясь прослыть слюнтяями.

Силу сенявинского обаяния испытывали греки и славяне. Они видели в нем не только победоносного представителя дружественной страны: в долгой памяти народа запечатлелась личность, достойная поклонения. Сенявин принадлежал к тем, о ком песни певали и легенды слагали. Славянские песни, греческие легенды.

Десятки лет спустя после того, как Сенявия был на Средиземном море, годы и годы спустя после того, как Сенявин уже покоился на далеком кладбище, моряк Суцов очутился на Ионических островах.

«Здесь все знают, помнят и глубоко уважают Дмитрия Николаевича, — писал Суцов в 1843 году, — любимый разговор наших гостей (греков, посещавших русский корабль. — Ю. Д.) был о нем; они не говорили о его воинской славе или морской известности; нет, они рассказывали о нем самом, как о человеке без блеска и титула. Говорили, как он был строг и вместе входил в малейшие нужды жителей, всякого сам утешал, каждому сам помогал, и его любили больше, нежели боялись». И далее: греки «желали знать все подробности об адмирале: когда он умер? где похоронен? какой сделан памятник, остались ли у него дети и т.п.».

Силу сенявинского обаяния испытывали армейцы.

Когда Грейг пришел на Корфу, между ним, капитан-командором, и генералом Анрепом тотчас наметилось несогласие. Борьба тщеславий нередко пагубно отзывалась на борьбе с неприятелем, если армейских и флотских не возглавляли такие люди, как Суворов и Ушаков, Раевский и Лазарев, Хрущов и Нахимов...

Броневский заверяет: Сенявин добился «редкого единодушия морских и сухопутных начальников». Не выдавал ли желаемое за действительное автор, влюбленный в адмирала? Нисколько. И главное тому доказательство — сами по себе сенявинские успехи, порожденные тесным и активным взаимодействием. Но сейчас нас

занимает, так сказать, человеческая, а не тактическая сторона дела.

Тут у Броневского неожиданный союзник. Передо мною архивные письма тридцатилетнего генерал-майора князя Вяземского. Союзник неожиданный, потому что генерал этот отнюдь не поклонник Сенявина; у князя (были свои счеты с Дмитрием Николаевичем (о них позже), и, однако, даже Вяземский не удержался от похвал.

Сидя на Корфу, генерал жалуется жене на скуку, а ниже пишет: «Сенявин, главнокомандующий наш, всегда занят делом». И в следующем письме опять о Сенявине: «человек очень, очень добрый», «с ним служить очень приятно, и можно быть им довольным всегда»¹.

И еще одно свидетельство. Принадлежит оно и не морскому офицеру и не русскому — итальянцу, принятому «государем в нашу службу». Манфреди, находясь на флоте, тоже, как и Вяземский, писал жене и тоже нередко упоминал имя главнокомандующего. Полковник, в частности, писал, что «мы вполне уповаем на распоряжения нашего храброго и великодушного адмирала, которого обожают все офицеры».

Но раньше других обаяние Сенявина испытывали, конечно, моряки, близкие адмиралу и по воспитанию и по традициям. Пользуясь выражением одного француза, все они составляли как бы звенья кольчуги, и Сенявин, сплачивая подчиненных, сжимал звенья этой кольчуги, прежде чем принять вражеские удары.

«Звенья сжимали» адмиралы, озабоченные боевой готовностью своих эскадр, своих флотов. «Сжатие» достигалось в первую очередь учениями, учениями и еще раз учениями. Достигалось «изъявлениями» адмиральского удовольствия или неудовольствия. Но не все адмиралы при этом жаждали общения с подчиненными. Общения не сигналами, поднятыми на мачте, не распоряжениями, переданными через флаг-капитана, не отрывистыми командами со шканцев, нет, общения неторопливого, внеслужебного, подлинного размена чувств и мыслей.

У Сенявина такая потребность была всегда.

Пожалуй, во всей огромной, разноязычной маринистике нет романа, нет повести без сцен в кают-компаниях. Да и вправду, кают-компания, ward-room, saloon, занимает важное место в корабельной жизни. Однако общим местом давно уж стало изображать ее говорильней, где моряки, развалясь в креслах, точат

¹ ОПИ ГИМ, ф. 257, д. 1, л. 59, 61 (об.). В дальнейшем цитаты из писем и дневников В.В. Вяземского даются без ссылки на источники. Бумаги князя Вяземского, использованные в этой книге, хранятся в Отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина и в Отделе письменных источников Государственного исторического музея.

лясы, ну, в лучшем случае (это уж когда подчеркивают интеллект персонажей) сражаются в шахматы. Верно: и грелись у камелька, и спиртным грелись, и в шахматы игравали, и в бостон, и трубками дымили, а то и музицировали.

Так бывало и на сенявинских кораблях.

Так никогда не бывало при Сенявине.

Не потому, что он замораживал присутствующих, или запрещал пустить в подволок пробку, или не терпел квартетов. Да нет, просто все эдакое делалось неинтересным. Интересен был сам Сенявин, его беседы и воспоминания, его суждения, не одни лишь профессиональные, но и политические, и о прочитанных книгах (а моряк-мемуарист подчеркивает, что Дмитрий Николаевич читал много), и о «слабостях, страстях и недостатках человеческого сердца».

В обществе ему неравных держался он как равный. Обращение главнокомандующего было «столь просто и благородно, что он, так сказать, вдруг давал доступ к своей славе, — рассказывает все тот же Броневский. — За столом Дмитрий Николаевич, кззалось, был окруженным собственным семейством».

Он умел направлять беседы, но так, словно и не был направляющим. Он не вещал, а размышлял вслух, высказывая «свои мнения с такою скромностью, как бы они не были его мысли, а того, с кем он говорил».

Одна тема в особенности вдохновляла Сенявина, вызывая всеобщее внимание: это случалось всякий раз, когда «разговор переходил к России».

Мемуарист констатирует, а подробностей никаких. Правда, Павел Свинын дает понять, что «коньком» адмирала было то, что историки теперь называют вопросами выхода России к Черному морю, укрепления Юга страны, развития тамошней экономики.

Свинын сетует: «Как жаль, что от проклятой качки я не мог записывать ежедневно наших разговоров». И правду жаль! Разговоры «ежедневные», да к тому ж в течение двадцати ходовых суток, да еще с дипломатом, хоть и юным, не ограничивались, конечно, лишь черноморскими проблемами. Увы, биограф, отрицающий домыслы, не вправе начинать там, где кончается документ...

Офицеры морские и армейские, дипломаты и бокезцы, греки и черногорцы — много граней, однако не все. Было бы непростительно не подумать об отношениях главнокомандующего с огромной массой простолоудинов, солдат и матросов.

В посланиях генерала Вяземского к княгине, «милой Катеньке», находим весьма выразительную картинку: «Быть на корабле — все каторга, за какой пункт ни хватись, все скверно... Скажем, что ходить морем есть одна приятная минута — та, в которую сойдем на берег, приехав в Корфу. Ну, вообрази, Катя, жара несносная, так что положи яйцо на парусину

смоленую, оно в мешочек варится. Вонь от испарения народу, от пищи, вонь морской воды, выкачиваемой из корабля, вонь от воды, которую дают пить... Сверх этого бледно-желтые утомленные лица людей. А там качка, опасность от шторма и грозы... Всю скверную эту жизнь я не в силах описать».

Вяземский со своими егерями следовал в Корфу из Черного моря. У Сенявина на эскадре было сноснее, да и переход пришелся на не столь уж знойное время года. И все равно генерал дал верный очерк судового житья, неживописные подробности которого, зажав носы, обегают сочинители романтических вариаций на тему «Море — моряки».

Бедный Василий Васильевич даже описывать был не в силах. А ведь на корабле расположился генерал в сравнении с «нижними чинами» куда чище, куда вольготнее, не говоря уж про Корфу, где и вовсе обосновался по-барски.

Мужикам в матросском или солдатском платье повсюду и всегда доставалось солонее, нежели господам офицерам. Угрюмую сложили на Руси пословицу: в некрутину — что в могилу.

Сенявин, конечно, неукоснительно надзирал за тем, чтоб «нижний чин» был сыт, обут, одет. Но у одних высших чинов эта заботливость была следствием холодного расчета: какой, к дьяволу, воин, коли брюхо пусто, а сапоги каши просят?! У других заботливость была еще и следствием нравственной потребности.

В молодости Сенявин повторял потемкинский афоризм: «Деньги — сор, люди — все!» В старости Сенявин скажет офицерам: радейте не только о хлебе для служивых, «не хлебом единым жив человек», служивому подчас «спасибо дороже всего».

Есть драгоценное свидетельство, мелькнувшее в периодике много лет спустя после смерти Дмитрия Николаевича. Автор статьи, опубликованной «Кронштадтским вестником», указывал на «необыкновенный ум и способности» Сенявина, на его великодушие, равное его неколебимой твердости, на доброту и на то, что он «интриг не терпел». Все это, впрочем, явствует из многих источников. А вот что поистине драгоценно: «Нам случалось, — говорит И. Соин, старый моряк, — от нижних чинов слышать: они не называли Сенявина иначе как родным отцом».

Дмитрий Николаевич не делил рядовых на любимчиков моряков и постылых армейцев. Матрос ли, солдат ли — было ему безразлично. Главное, все они были ему небезразличны.

Традиционная, жертвенная храбрость «нижних чинов» награждалась и поощрялась Сенявиным, как и прочими военачальниками. Но в самой манере награждать и поощрять Дмитрий Николаевич отступал от официального шаблона в сторону неофициальной душевности. Грубое или пустое «ты» он, не обмолвясь, заменял сердечным «ты». Примером тому «военный обед», памятный не одним сенявинцам.

Обед венчал сражение. Пригласили большей частью рядовых. Главнокомандующий был с ними. Подняли тост за здоровье егеря Ивана Ефимова. Пять раз ударили полковые пушки. «Все солдаты, — говорит очевидец, — живо чувствовали сию необыкновенную честь... «Да здравствует Сенявин!» — слова сии повторялись войском и собравшимся во множестве народом сильнее грома пушек».

На обеде «адмирал отклонил от себя все особенные ему предложенные почести». Вот доминанта сенявинской способности «влюблять в себя». Чаровать старались и цари. Такие, скажем, как Александр I или Александр II; в их желании (и умении) «всем нравиться» крылось дамское свойство, родственное кокетству. Сенявин «влюблял в себя» не ради себя. И уж если Дмитрию Николаевичу нужны были пробужденные им чувства, то, подчеркивает современник, «е д и н с т в е н н о д л я о б щ е й п о л ь з ы».

Кажется, никогда не клялся Сенявин в привязанности к русскому народу. Пылкость заверений подчас прикрывает именно недостаток привязанности. Его привязанность была не казовой, а нутряной, не велеречивой, а молчаливой, во многом и безотчетной. И не одну храбрость ценил он в матросах и солдатах. Ему были любы их бойкий ум, лукавство и удаль, склонность к шутке даже в минуту страшной опасности. Ему нравилось слушать, как матросы лихо переиначивают морские термины, как проворство в уборке иль постановке парусов называют «на хвастовство», как корвет, нареченный именем римской богини Помоны, зовут «Поморой», а фрегат «Амфитрита» запросто кличут «Афросиньей»...

Для Сенявина корабельная жизнь не умещалась ни в педантичных записях шканечного журнала, предшественника журнала вахтенного, ни в засургученных пакетах с секретными опознавательными сигналами, ни в маневрах или лавировках. Жизнь эта была для него и в жизни корабельщины с ее горестями, когда и тесно, и сыро, и нечем заменить сухарь, тронутый плесенью, с ее грустью по домашним кровлям, по далекой зазнобе. И с ее радостями, когда можно погулять на берегу или когда корабль вольно идет полным ветром, с ее ощущениями покоя, когда густеет ночь и ярче, ярче разгораются чистые звезды, а на баке негромко (после заката воспрещается шуметь) поют матросы. Ах, честное слово, нигде так хорошо, так стройно не поют, как на флоте...

Пожалуй, изо всего окружения Александра один князь Адам Чарторижский был неизменным и упрямым «теоретиком» сенявинской «практики». Чарторижский сразу и очень

высоко расценил действия вице-адмирала в Которской области: «Сей предусмотрительный и смелый поступок способствовал поддержанию всеобщего к нам уважения».

Александр после Аустерлица весьма нуждался в «уважении»; ему, конечно, лестно было слышать о победе «своего флота». Но император по-прежнему мучился сомнениями. И потому долго не решался обмакнуть перо в чернильницу и подписать рескрипт, одобряющий и ободряющий главнокомандующего русскими вооруженными силами на Средиземном море.

А главнокомандующий, сколь бы ни тревожила его позиция Санкт-Петербурга, не мог — да и не хотел! — сидеть сложа руки. Освобождение области было тем произнесенным вслух «а», которое повелительно, по логике военной, требовало произнесения «б». Тем паче что французы вовсе не костенели в ожидании дальнейших шагов «странного русского адмирала».

Французские войска на Балканском плацдарме нуждались в подкреплении и снаряжении, в продовольствии и фураже. Доставлять все это сушей, где сам черт непременно сломил бы ногу, значило ломать конечности и солдатам и лошадям, а главное, тащиться черепахой. Оставались морские дорожки из Италии, через Адриатику.

Которская область просила Сенявина обеспечить ее экспорт и ее импорт; бокесцам, лишенным ввоза и вывоза, хоть помирай, жизненные интересы звали их в порты Греции и Турции, в Триест, принадлежавший Австрии.

Отсюда двойкая задача Сенявина: борьба с противником на морских коммуникациях; поддержка друзей на морских караванных путях.

Второе исполнить было легче, стоило лишь выслать эскорт. Исполнить первое было трудно по причине дробной путаницы островитого далматинского берега и прибрежного мелководья, где французские малые каботажники имели возможность ускользать от русских дозорных.

Тут все зависело не только от бдительности, но и от хитрого расположения курсов и ловкого выбора позиций. Нужно сказать, командиры сенявинских кораблей работали почти без промашки.

Генерал Вяземский, сдается, с тайной завистью подсчитывал «доходы» соратников. Он писал в апреле 1806 года: «Здесь наши морские беспрестанно берут суда в призы¹. Белли взял 18 судов, в коих товару на миллион. Снаксарев взял судно с восемнадцатью тысячами червонцев. Капитан... (фамилия неясна. — Ю. Д.) взял судно с товаром на 80 000 талеров и 400 французов в плен».

¹ Приз морской — неприятельская собственность или военная контрабанда, захваченная в морской войне. Командам, захватившим ее, полагались так называемые призовые деньги.

Понятно, французам такая «бухгалтерия» совсем не улыбалась. Не совсем улыбалась она и британскому союзнику России.

Английский консул в Корфу, по словам его соотечественника-историка, «непрерывно жаловался на бесполезность сенявинских кораблей и умолял прислать великобританскую эскадру».

«Бесполезность»?.. В том-то и штука, что союзников все-речь беспокоила именно активность Сенявина: англичане исподтишка прицеливались к Балканам; им страсть хотелось прибрать к рукам Адриатику. Потому-то консул и вызывал эскадру.

В июле восьмьсот шестого года адмирал Коллингвуд, преемник покойного Нельсона, получил приказ отрядить фрегаты на север Адриатики. И вскоре корабли ее величества замаячили на траверзе Венеции, на траверзе Триеста. Но Сенявин на несколько месяцев упредил союзников...

Наполеон был не в силах смять русских моряков. Зато Наполеон был в силах поднять австрийцев. Император Франц согласился запереть Триест, не пускать туда русские боевые корабли. А Триест служил опорной базой кораблям, дислоцирующимся в северной Адриатике, да еще и «почтовым ящиком»: ближайший порт к Санкт-Петербургу; все депеши и все курьеры от Сенявина и к Сенявину следовали через Триест.

Дмитрий Николаевич сознавал, что при достаточном упорстве австрийцев ему, вице-адмиралу российского флота, не удастся долго оспаривать тех, с кем самодержец всероссийский отношений не пресек. Суть крылась в другом. Бокезские суда ходили под русским флагом. Бокезские суда стояли в Триесте. Губернатор велел им убраться за неделю. Они этого никак, ну, совсем никак не могли под угрозой банкротства. Сенявин не хотел отдать на поток и разорение друзей, вверившихся русским, вверивших русским. Он был не из тех, кто путал нравственный престиж России с династическими отношениями, дворцовая дипломатия — одно, а обязательства друзьям — другое.

И вот «этот» Сенявин поднимает свой флаг на «Селафаиле», берет еще два линейных корабля, берет фрегат да и несет все паруса. И в середине мая, заглянув попутно в порт Дубровник, что к северу от Которо, «этот» Сенявин отдаст якоря на дистанции, достижимой для береговых батарей австрийцев.

Прежде командиры-сенявинцы швартовались у набережной, чуть ли не за тосканские колонны городского театра. И разгуливали по улицам, которые «не хуже наших петербургских», вдоль фасадов «большой частью в пять этажей», и сидели в кофейнях, обмениваясь вежливыми поклонами с австрийскими офицерами.

Сенявин на берег не съезжал, Сенявин на берег взирал.

Перед ним был прекрасный город у подножия Карста. Город мраморных кумиров и фонтанов, роскошной аллеи, древних базилик, римского водопровода.

Совсем недавно маркиз Гизлиери просил русских хоть разик стрелнуть, дабы сохранить свое реноме. Нынче фельдмаршал фон Цах просил русских удалиться из сектора обстрела его пушек, дабы тоже сохранить свое реноме. Увы, фельдмаршалу выказали одинаковое с маркизом непослушание.

Фон Цаху было сказано:

— Стреляйте, я увижу, где лягут ваши ядра и где мне должно встать.

Фон Цах пустился в рассуждения: зачем портить отношения императора Франца и императора Александра; дескать, его превосходительство вице-адмирал превышает полномочия, что есть нарушение артикулов, что есть недисциплинированность, что есть плохой солдат; дескать, у стен вверенного ему, фон Цаху, Триеста стоят двадцать тысяч французов, каковые войдут в город, если господин вице-адмирал не покинет рейд.

Фон Цаху ответили:

— Теперь нет времени продолжать бесполезные переговоры. Вам должно избрать одно из двух: или действовать по внутреннему французских генералов, или держаться точного смысла прав нейтралитета. Мой выбор сделан, и вот последнее мое требование: если час спустя не возвращены будут суда, вами задержанные, то силою возьму не только свои, но и ваши, сколько их есть в гавани и в море. Уверяю вас, что и двадцать тысяч французов не защитят Триеста.

Сделав свой выбор, Сенявин понудил фельдмаршала сделать свой. Фон Цах согласился. Он поступил разумно: русским не пришлось открывать огонь, а французы не имели повода затопить город большими батальонами.

Сенявин ушел.

Он ушел не потому, что недалеко от Триеста мерцали штыки. Нет, другие штыки уже блестели в Далмации. Вот отчего он сказал фельдмаршалу: «Теперь нет времени...»

5

Средиземные моря — баловни Атлантики. Они не ведают мужественных страстей океана, им присущи женские капризы и коварство.

Но капризами, но коварством, даже если счесть их свойствами только женскими, не определяются свойства вечной женственности. Есть гармония. Ее зовут небесной, а она земная, и это, право, лучше. Есть живая гармония, мягкость созвучий, плавность линий. Есть то, что постигали поэты; быть

может, яснее прочих Торквато Тассо. И Пушкин, думая о Тассо, слышал, как во мгле ночной

Адриатической волной
Повторены его октавы...

Твердь без вод и воды без тверди не одаряют ощущением завершенности; без завершенности нет совершенства. И потому, наверно, адриатические волны бегут к Далмации, к Хорватскому приморью.

Эти мысы, словно созданные для маяков, и эти гроты, будто органные мехи для хоралов прибоя. Эти острова, точно изножья храмов, и эти скалы, похожие на их руины. Эти солнечные бухты, приманка паруса, и этот парус, летучий вестник судьбы. Прозрачна лазурь, где игрища тунцов и макрелей, анчоусов и сардинок. Сера твердь, где теснится рослый можжевельник, а на земляничном дереве наливаются оранжевые ягоды; твердь известковых склонов, где вереск вымахивает к небу и неизменно зелен пушистый дуб, где колышутся гибкие ветви испанского дрока и приплюснуты кроны алеппской сосны. А там, в поднебесье, на вершинах Далматинских Альп, — снега, снега, снега. У них звучный и чистый цвет, присущий высокогорному снегу. И они как палитра для косых и длинных лучей заката, когда в таинственном безмолвии дневная ровная блескучесть сменяется трепетом оттенков, начиная нежно-розовым и кончая густо-фиолетовым.

Что-то наивное и вместе горестное есть в смешанном чувстве восхищения природой и недоумения пред злой властью людского рока. Чуткие путешественники видели здесь и «блестящий синтез адриатических красот», и край, где нет ни пяди, «которая не была бы обагрена кровью, пролитой славянством в его борьбе с врагами. Каждый камень может служить памятником геройских защит и удалых нападений, всякая скала помнит чью-нибудь мученическую смерть», — писал Дмитрий Голицын, посетивший Далмацию позднее Дмитрия Сенявина.

В Триесте, ломая австрийскую гордыню, Сенявин получил черные известия. Сенаторы Дубровника изменили своему слову: они без выстрела отворили ворота города французским генералам. И в то же время русская дипломатия, в сущности, затворила эти же ворота перед русским адмиралом...

Дубровник (Новая Рагуза) лежал севернее уже знакомого нам Которо. Он лежал на выдававшейся в море косе, словно протягивая руку Адриатике. Его главная улица Страдоне была коротышкой — три сотни метров, ну, может, чуть больше: другая «магистраль», улица Бочаров, была узенькой — два-три метра.

Однако величина и величие не синонимы.

Величие и не в величине торговых оборотов, в Дубровнике

значительных. И не в той увертливости, с какой Дубровник веками обращал чужое господство — то византийцев, то венецианцев, то османских турок — в нечто весьма приблизительно, почти номинальное.

Ремесла и искусства — корни не мнимого величия.

Некогда подле Дубровника широко шумели дубравы. Строго храня тайны мореходных качеств, дубровчане строили отменные суда. Моряк подчас был и мастеровым; он не расставался ни с компасом, ни с отвесом. Слава здешних плотников и конопатчиков далеко разносилась, как, впрочем, и слава оружейников, которые уже в середине четырнадцатого столетия пушки лили. И стекло дубровчане изготавливали, и душистое мыло варили, и золотом шили, и в виноделии толк ведали.

Усидчивые ремесленники и непоседливые пловцы, жили они кипуче и бойко, много знали, много видели, принимали гостей и сами гостили в Барселоне и во Флоренции, в Стамбуле и Смирне.

Дубровник прославился и как светоч балканского образования. Прозванный юго-славянскими Афинами, он манил ученых даже из страны Леонардо. Дубровчанину Илье Чръевичу едва восемнадцать минуло, а его уже «короновали» в Риме королем поэтов.

Сказано: города — яркие цветы средневековья. Дубровник — из самых ярких. За его крепостными стенами, в его улочках отстоялась культура, светившаяся, как полотно Тициана. Близ стен Дубровника море мерно мерило время. Оно было и стихией и мыслью, воплощением единства материального и духовного бытия.

Но, «как волны следом за волною, проходят царства и века». И присмирел Дубровник, подобно многим старинным городам, овеванным бризами. Не тот уж, что прежде, был он в сенявинскую пору. Однако все еще удерживал осанку, оставаясь важным портом, весомым стратегическим пунктом, близким соседом Которской области, а не только «поразительно хорошо сохранившимся образцом средневекового города», и потому французы рвались в Дубровник, он был им нужен.

Дубровником заправляли те, кто по-славянски назывался властелями, а по-латыни — нобилями: откупщики и ростовщики, судовладельцы и купцы. Поначалу вся эта публика была не прочь стакнуться с Сенявиным. Главное-то ведь — свобода мореплавания, а она обеспечивалась не французом, на морях хилым, нет, русским и англичанином, на морях могучими.

Направляясь в Триест, Сенявин поспел заглянуть в Дубровник. Хоровая хвала русским давно докатилась из Которо до Дубровника. Вице-адмирал пришел туда как званый. Его

встретили «с великими почестями и торжеством», а он, что называется, с порога сделал хозяевам приятный сюрприз: прямо в порту захватил французских корсаров.

Сенаторы и главнокомандующий столкнулись — едва наполеоновские войска приблизятся, как дубровчане ударят в набат, кликнут всех к оружию и примут сенявинских егерей и гренадеров.

Еще в начале года у Сенявина вызрел план действий в районе Дубровника, в Рагузинской области. Колебания царя, непоследовательность дворцовой политики путали замыслы адмирала. Вопреки своим планам он вынужден был медлить. Правда, свиданием с сенаторами положение как будто выпрямилось.

Однако, покамест Дмитрий Николаевич выручал в Триесте бокезские суда, к Дубровнику подоспел генерал Лористон. Господа сенаторы мгновенно утратили остатки и без того небольшого мужества, и Лористон взял Дубровник, как наливное яблочко с поникшей ветви.

И хотя Сенявину наконец дозволили действовать по «собственному усмотрению», но то уж была ложка не к обеду, а после обеда. Князь Василий Вяземский возводил на главнокомандующего напраслину: потеряли, дескать, Дубровник, ибо «Сенявин парил по морю, искав себе призов купеческих».

Варить кашу — одно; расхлебывать кашу — иное. Сенявину досталось последнее. Вести диалог с податливыми австрийцами — одно; вести диалог с французами, осененными гением Наполеона и подхлестнутыми его энергией, — другое. Сенявину и это досталось.

Он двинул моряков и армейцев, корабли и батальоны. Он взаимодействовал и с отрядами черногорцев, привычных к партизанщине, и с отрядами которцев, непривычных к войне.

Сенявин — флотоводец, по самой своей сущности — становился полководцем. И тут возникал психологический момент, не предусмотренный никакими рескриптами. Дмитрий Николаевич был «приятен» высшим армейским офицерам во дни относительного спокойствия. Отныне именно от него зависела их профессиональная репутация. И если моряки отрицают (и это, по-моему, верно) способность генералов командовать эскадрой, то и армейцы вправе не слишком доверять умению адмиралов командовать полками.

В сухопутных операциях лета и осени восьмьсот шестого года можно, думается, отыскать просчеты. Но в целом боевая практика доказала, что адмирал твердо и верно распорядился как кораблями, так и полками.

Решая двоякую задачу (из Дубровника неприятеля выбить; в Которо неприятеля не пустить), Сенявин совершил все, что мог. Он совершил больше того, что мог. Французам, пишет современник, «совершенно было известно, что число наших

войск втрое слабее», но они «худо знали Сенявина, стоящего своим умом и деятельностью главной силы». И не вина Дмитрия Николаевича...

Впрочем, отдадим-ка якорь и присмотримся к камням, которые могли бы «служить памятником геройских защит и удачных нападений», к скалам, почти каждая из которых «помнит чью-нибудь мученическую смерть».

6

Генерал Вяземский, нежный супруг, настойчиво приглашал княгиню покинуть Одессу и ехать в Корфу. Княгиню-де могла бы остановить лишь война с турками, но «это вздор, это — быть не может. Есть ли будет дело, то или в Албании, колотить Али-пашу, или в Монтенеграх (Черногории. — Ю. Д.) с французами». Так он писал в апреле 1806 года, прибавляя, что «ежеминутно готов выступить». В майском письме Вяземский, все еще находившийся на Корфу, загодя скорбит о том, что ему, видимо, придется «терпеть от адмирала неудовольствия». Почему? А потому, говорит Василий Васильевич, что «адмирал наш самых потемкинских времен». В устах бывшего ординарца Суворова такое определение, очевидно, звучало порицанием. Невозможно, однако, уяснить, что именно дало генералу повод сердчать на адмирала. Но важнее не причина, не повод, а настроение, с каким Вяземский явился к Дубровнику командовать сухопутными войсками.

Сенявин с флотом был у Дубровника. Пришли и черногорцы во главе с Негошем. Накануне уже произошла сшибка с неприятелем на территории республики Дубровник, у Цавтата, или Старой Рагузы.

Вяземский не упустил случая попенять флотским, на сей раз не без основания. Генерал записал в личном журнале-дневнике: «Полка моего майор Забелин выступил с батальоном его и 5-ю ротами Витебского мушкетерского полку. Две роты Забелина батальона были в авангарде и атаковали с черногорцами малой аванпост французов и с легкой перестрелкой преследовали их до самой Старой Рагузы, куда потом прибыли все черногорцы и наши, а французский аванпост уехал на лодках в Новую Рагузу. Сия бы малая часть должна быть вся в плену, если б хотя бы один бриг стоял на рейде Старой Рагузы, но сего не догадались».

Четвертого июня 1806 года Сенявин, Вяземский и Негош долго и тщательно, с моря и суши осматривали вражеские позиции в районе Дубровника. Французы умно и хитро выбрали свои позиции. Овладение ими требовало почти повторения суворовского перехода через Сен-Готард. Сенявин полагал возможным совершить невозможное. Вяземский пожал пле-

чами: «Великое о себе мнение». Негош сказал, что сам поведет стрелков.

Следующий день выдался ясным. Очутись у Дубровника егерь Батюшков, он бы, ей-богу, десятью годами раньше сочинил стихи, полные воинской энергии:

Какое счастье, рыцарь мой,
Узреть с нагорные вершины
Необозримый наших строй
На яркой зелени долины!

Да дело-то в том, что на вершинах сидел враг.

«Неприятель, — пишет Броневский, — расположился на неприступных каменистых высотах Рагузинских, устроил там батареи на выгоднейших местах и готов был к принятию атаки... Природа и искусство обеспечивали его совершенно. Правое крыло его прикрыто было морем и крутым берегом, левое турецкою границей, где не надлежало быть сражению. Пред фронтом его отвесные высокие скалы; занимаемые им четыре важнейшие пункта были один за другим сомкнуты и соединены так, что каждый из них могут защищать один другого». Прибавьте и численный перевес: у Лористона семь тысяч бойцов, у Сенявина четыре тысячи шестьсот.

Застрельщиками ринулись черногорцы — стремительно, ловко, «запальчиво». И тотчас опрокинули передовые посты врага. Но французы быстро опомнились и потеснили черногорцев. Вяземский, не промешкав, послал им на подмогу егерей капитана Бабичева.

Надо сказать, адмирал получил в свое распоряжение и опытных офицеров, сподвижников Суворова, и опытных солдат, обученных этими сподвижниками.

Василий Львович, дядюшка Пушкина, намарал однажды экспромт:

Он месяц в гвардии служил
И сорок лет в отставке жил,
Курил табак.
Кормил собак,
Крестьян сам сек,
И вот он в чем провел свой век!

Офицеры, подчиненные Сенявину, были не из эдаких. Выслугу нетрудно определить, заглянув в архивный экземпляр «Конduitного списка» одного из полков, отправленных на Средиземное море. Солидный был стаж: полковник находился в строю тридцать восемь лет; майоры — от двадцати пяти до двадцати восьми; капитаны — от десяти до двадцати пяти; поручики — от девяти до пятнадцати; подпоручики — от шести до семнадцати. И даже прапорщики, которых принято звать безусыми, прослужили уже шесть — восемь лет.

Коль скоро дело разворачивалось в горах, особую роль иг-

рали егеря. Роль егерей определил Кутузов, когда командовал Бугским корпусом. В своих «Примечаниях о пехотной службе вообще и о егерской в особенности» полководец указывал: «Егерь, назначен будучи к такому действию, которого успех зависит от верной стрельбы, как то: в тесных проходах, в гористых и лесных местах, где он, часто и поодиночке действуя, себя оборонять и неприятелю вредить должен».

А еще до Кутузова сноровкой егерей озаботились Потемкин и Румянцев. Учили и «проворному беганию», и умению «подпалзывать скрытыми местами», и заряжать ружья, ложась на спину, и обманным хитростям «как то: ставить каску в стороне от себя... прикидываться у битыми...».

Всем этим великолепно владели егерские полки, приданные Сенявину. И конечно, всем этим они были обязаны таким офицерам, как, например, Бабичев, Забелин, Езерский.

Когда речь идет о боях на суше, лучше обращаться к журналам Вяземского или рапортам Попандопуло, нежели к «Запискам» Броневского. Не потому, что первые архивные, не «зацитированные», а вторые — печатные, настольные у многих исследователей. Нет, потому, что генералы Вяземский и Попандопуло были специалистами, а Броневский — зачастую сторонним наблюдателем.

Вот рассказ Вяземского об эпизоде жаркой битвы «на высотах Рагузинских»: «Французы решились отчаянно защищать сию позицию. Но капитан Бабичев с черногорцами не уступил ни шагу отчаянному неприятелю. Я приказал двум ротам из трех держаться сколько можно на сей высоте. Это была для нас критическая минута. Французы теснили с высот черногорцев и охотников наших, а колонны были еще на половине утесов. Ретирада же в сем случае стоила бы мне большей потери, но Езерский и Забелин с колоннами взлетели на горы, тогда черногорцы и охотники, видя сей храбрый подвиг обеих колонн, остановились и открыли сильный огонь, а колонны, вскрикнув у р а, бросились вперед. Неприятель тотчас обратился в бег».

Страшное физическое и духовное напряжение выдержали знойным июньским днем солдаты-егеря и удалцы Негоша. Их осыпала картечь, перед ними, среди них рвались ядра, взметывая каменный щебень, столь же смертоносный, как и сама картечь. А пропасти? Одно неверное движение, одна оплошность в горячке боя грозили гибелью.

Смеркалось. Противник оттягивался под защиту крепостных стен Дубровника. И тут-то начал подходить авангард другого наполеоновского генерала — Молитора.

Идут — безмолвие ужасно!
Идут — ружье наперевес...

Только второе дыхание поверяет запасы мужества. Энер-

гия, кажется, уже исчерпанная, должна, словно волшебством, воскреснуть, иначе все добытое, все купленное кровью обратится в прах.

На втором дыхании, измотанные долгой битвой, русские и черногорцы ударили по авангарду Молитора, ударили, навалились и отбросили, хотя Молитора поддерживала крепостная артиллерия.

Стемнело, сражение кончилось.

О радость храбрых! киверами
Вино некупленное пьем
И под победными громами
«Мы хвалим господа» поем!..

А была-то всего лишь ночь для роздыха. Молитор стоял неподалеку. На стенах Дубровника пылали бдительные факелы. Чудилось, неприятель дышит под боком.

Утром Сенявин попытался разведать, что да как на острове Сан-Марко. Остров вставал из волн на подходах к Дубровнику. На темени острова, гористого, как вся Далмация, как все ее острова, сидело укрепление в терновом венце густого, когтистого кустарника.

Адмирал послал на остров Буасселя. Полковник бросил десант в шестьсот душ. Десантники разделились на три отряда. Отряды, карабкаясь, падая и поднимаясь, побежали кверху. Укрепление загремело выстрелами. Десантники, теряя товарищей, добежали, пали ниц, хороня головы за камнями, потом выставили дула ружей и стали палить.

Сенявин наблюдал за происходящим с корабельной палубы. Он сознал невозможность успеха «без чувствительных потерь». Чувствительные потери били по его чувству. Он был волен приказать: во что бы то ни стало и т.д. Мало ль высот безымянных и поименованных брали ради тщеславия? А человек, которого тот же Вяземский обвинял в преследовании личной выгоды, поехал на остров Сан-Марко, поехал под огонь и, убедившись в положении дел, приказал играть отбой. Сенявин всегда очень осмотрительно, очень скупое шел на жертвы, «особливо, подчеркивал он, столь драгоценные, как наши солдаты».

Вяземский, осадив Дубровник с суши, перекрыл водопровод и обрек горожан и французов мукам жажды. Эскадра, блокируя Дубровник с моря, перекрыла подвоз продовольствия, осудив и горожан и французов на муки голода. Без вины виноватые дубровчане расплачивались за трусость сенаторов-толстосумов.

Лористон трепыхался как в силках. Его усачи выскакивали из крепости, пытаясь прорвать осаду, а их поражали черногорцы и егеря. Лористон бахал из пушек по горам, а в ответ получал, как эхо, залпы русских батарей.

Для французов дело было дрянь.

И тут — в какой уж раз! — военным подставили ножку политики.

7

Помню, старый писатель, вздыхая, говаривал мне: «Скверная штука, брат: жизнь отжить да в Париже не побывать...» Согласен. Но как увидеть Париж, современный Сенявину? Разумеется, бессчетны описания славной столицы Франции, современной моему герою. А мне хотелось такое, какое сделал бы не просто современник Дмитрия Николаевича, нет, русский современник.

Тут и попались в архиве путевые заметки дворянина Сергея Михалкова. Назывались они несколько курьезно — «Журнал отсутствия моего из Петербурга». Листаю плотную голубоватую бумагу, мысленно одобряя автора за то, что пишет по-русски и пишет разборчиво. Ну-с, листаю: Германия, Германия, немецкие города, немецкие достопримечательности... Стоп: «Приехал в Париж...» И баста — голубоватая бумага девственна. Ни строчки, ни словечка. Видать, закружился в парижском вихре Сергей Владимирович, забросил журнал своего «отсутствия». Жаль. Ибо «немецкие» странички хоть и беглые, а дельные.

Но вот обдуваю пыль с маленькой книжицы, косясь на тисненый золотом корешок: «Панорама Парижа». Ба, автор — земляк мой, москвич Лев Цветаев. Ах, молодчина, посетил Париж, посетил именно тогда, когда Сенявин был на Средиземном море.

Цветаева неприятно поразили кривые улицы, грязь предместий, рой мух над мясной лавкой и людской рой от Лувра до «моста Богоматери». Зато в Пало-Рояле он любит «беспрерывным пиром», освещенными «кофейными домами и рестораторами», «прелестными нимфами», от которых, правду сказать, всего благоразумнее упрятать подальше и сердце и кошелек.

Парижские нравы не по нраву москвичу: «супружеская верность там величайшая редкость»; «роскошь непомерная, рассеянность непрерывная»; «храмы божи пусты, чернь говорит о святине с величайшей дерзостью». Не по душе ему и другая, подлинная чернь — светская. «Извращая порядок природы», она покидает постель в два пополудни, в пять прогуливается, в семь обедает, а после театра «без памяти танцует до трех или четырех часов утра».

Он обошел картинные галереи, старинные церкви, Латинский квартал и Монмартр — короче, все, что обходит добросовестный визитер. Но вот что хорошо: от Цветаева не укрылось обстоятельство действительно характерное — революция

минула, пробил час наследников; слова «Свобода, равенство, братство» еще обозначаются на стенах кое-каких общественных зданий, но лишь на стенах, и «*н и г д е б о л ь ш е*», — выделяет он курсивом.

«Вещественным» доказательством смены времен — бес-
сменные гренадеры императорской гвардии на ступенях Тю-
ильрийского дворца; медвежьи шапки, медали и шевроны, тя-
желые ружья у ног. Гренадеры охраняют «маленького
капрала» и великого полководца.

Он часто превращает ночь в день. Но не танцует, как светская чернь, а работает в кабинете, куда нет доступа посторонним. Он пишет, небрежно отирая перо о панталоны, брызжет чернилами на бумагу, на пол, на бронзу. Иногда слышится осторожный стук камердинера: в соседних покоях, в алькове трепещет, кусая губки, юная женщина. Но он очень занят, император Наполеон, он бросает отрывисто: «Пусть подождет!» Двигаются стрелки каминных часов. Ка-
мердинер напоминает: она здесь, ваше величество. «Пусть раздевается!» И продолжает работать, не взбадриваясь ни та-
баком, ни алкоголем. Светлеет восток, светлеют крыши Пар-
рижа. Камердинер скребется в дверь. «Пусть уходит!» Импе-
ратор заглядывает в полированный длинный ящик: там картотека иностранных дивизий, артиллерийских парков, эс-
кадр. И, между прочим, кораблей и полков адмирала Сеня-
вина, лично незнакомого императору. А рядом, всегда под рукой — круглые футляры, обтянутые овечьей кожей, футля-
ры с картами и чертежами, на которых означены маршруты будущих вторжений. И между прочими — карты Далмации, Которской области, Адриатики.

Утром Наполеон принимает свору королей, принцев, гер-
цогов. Принимает министров и маршалов, членов государст-
венного совета и дипломатов, писателей и ученых. Он может быть очень любезным, император Наполеон, но руки никому не подает; рукопожатие — знак равенства; а кому ж он равен, император Наполеон?

Переставляя костыль, ковыляет Шарль-Морис Талейран. «Его взгляд, подозрительный и хитрый, отличается плутов-
ским и испытующим выражением, — говорит русская мемуа-
ристка. — Его синеватые трясущиеся руки внушают отвраще-
ние; в общем, у него преступный вид».

«Преступный вид» министра иностранных дел ничуть не смущал императора. В конце концов, политика не раут и не чопорный концерт в австрийском посольстве, где солирует скрипач негр Жюльен. Политика, черт побери, черна, как этот виртуоз... С хромцом держи ухо востро: при ходьбе опи-
рается на костыль, в политике — на себя самого.

Впрочем, теперь, летом восемьсот шестого года, человек «преступного вида» еще не продан русскому царю. Нет, он

предан императору французов. Однако, лишь настолько, насколько он вообще способен на преданность кому-либо, кроме собственной персоны.

Год начался похвально: Аустерлицкое побоище сокрушило Вильяма Питта, он лег неподалеку от Нельсона — в Вестминстере, а к власти в Англии пришел Фокс, всегдашний поборник замирения с могучим соседом. Завязав одной рукой осторожную ворожбу с англичанами, Наполеон другой рукой взял Германию. Он велел немцам избрать его протектором Рейнского союза. Немцы избрали.

«И все падало перед Наполеоном, — горестно замечал литератор Глинка. — И великий политик Питт, который шестнадцать лет звонкими гинеями двигал и передвигал войска европейские, — Питт умер в 1806 году, когда с берегов Сены Наполеон перешагнул на берега Вислы. Нет и Нельсона: он убит в Трафальгарской битве. Он как будто условился с Питтом умереть в одно время, чтобы дать свободу широкой груди Наполеона надыхаться воздухом всех небосклонов европейских».

«Надыхаться» мешала Россия. Она застила чуть не половину небосклона. Правда, там, в Петербурге, очень и очень обеспокоены встречами лорда Ярмута с Талейраном: если Англия отступится, Россия изолирована. (Пруссия не в счет, с нею можно и должно управиться скорехонько.) Остается какой-то странный упрямец на Средиземном море. Но разве даже самый храбрый и самый упрямый адмирал в силах противостоять своему монарху? Пустое! Да вот извольте-ка: сюда, в Париж, направляется статский советник, который, кажется, уполномочен возвратить Которскую область австрийцам. А те лишь «промежуточная инстанция». И стало быть, эта глупая, ни на что не похожая сумятица с Балканским плацдармом разрешится благополучно.

Действительно, в те июньские дни, когда Сенявин дрался с Лористоном и Молитором под Дубровником, когда Сенявин не пускал ни Лористона, ни Молитора в Которскую область, в те дни в Париж поспешал пухлолицый, чуть горбоносый и весьма упитанный статский советник Петр Яковлевич Убри. И действительно, он имел полномочия относительно Которо, Ионических островов, Дубровника, словом, вправе был решить судьбу Сенявина и сенявинцев, но лишь затем и для того, чтобы выведать, как обстоит дело с англо-французским сближением.

Статский советник приехал в Париж на исходе июня. Князь Беневентский, он же Шарль-Морис Талейран, имея точные указания Наполеона снабжать Убри неточной информацией, тотчас принялся обхаживать Петра Яковлевича.

А Петр Яковлевич был просто-напросто исполнительным чиновником, столь же годным для дипломатии, как и для

службы в любом другом казенном ведомстве. Где ему было объегорить талантливого дельца «преступного вида»?

Талейран так его опутал и так запутал, что статский советник подмахнул условия, обязывающие Россию убрать войска с Балканского полуострова, а в Ионическом архипелаге сохранить (да и то временно) лишь незначительный гарнизон.

Еще не просохли чернила на официальном документе, как угоревший Петр Яковлевич уже строчил Сенявину: «Честь имею сообщить вам, что, согласно полномочиям, данным мне его величеством императором, нашим августейшим государем, я подписал сегодня окончательный мирный договор между Россией и Францией, заключающий в себе условия, набросанные в прилагаемой выноске. В силу этого имею честь послать вам настоящее формальное требование приступить немедленно к истолкованию сих различных статей в согласии с командующим французскими войсками, который доставит вам это письмо. Тем более приглашаю ваше превосходительство поспешить с этими мерами, что задержка с вашей стороны может нарушить спокойствие различных государств Европы».

Не сомневайтесь: главный директор почт мосье Лавалет, бывший адъютант Наполеона, назначал для доставки т а к и х депеш лучших лошадей и лучших почтарей!

А на другой день «политик», указавший Сенявину, как ему поступать, и грозивший ему неприятностями, этот самый «политик» признавался: «Французское правительство так н а с е д а л о на меня, что я согласился подписать окончательный договор между Францией и Россией».

Статский советник ни в первом, ни во втором случае даже и не обмолвился, что договор-то прелиминарный, предварительный. А Наполеон с Талейраном отлично знали, что в дипломатической практике существует такое понятие, как ратификация, и что стоит Петербургу узнать правду о висевшем на волоске призрачном франко-английском сближении, как все усилия по одурачиванию господина Убри пойдут к чертям. Надо было быстренько сунуть под нос русскому главнокомандующему копию договорных условий.

Торопливость французов была поистине лихорадочной. Так, например, принц Евгений, пасынок Наполеона, находившийся в Северной Италии, в один и тот же день дважды писал Сенявину и дважды гонял к нему гонцов.

В полдень — письмо: «Господин адмирал, спешу предупредить вас, что только что заключен мир между его величеством императором французов, королем Италии, моим августейшим отцом и повелителем, и его величеством императором всея России. Договор подписан 20 июля...

В нем предусмотрено немедленное прекращение военных действий, о чем вы получите предписание с курьером, кото-

рого должны послать к вам из Парижа на другой же день. Я, однако, счел своим долгом предупредить вас об этом и прошу сообщить сие французскому командующему, который окажется в непосредственной близости от вас, чтобы все военные действия прекратились тотчас, во избежание напрасного кровопролития».

Вечером — еще письмо: только что получены депеши «господина де Убри», адресованные вам, то есть Сенявину; равно получены и депеши для Лористона; документы передаст и вам и Лористону «мой адъютант полковник Сорбье».

8

Что требовалось от дипломата?

«Быть красивым малым.

Принадлежать, по возможности, к знатному роду.

Иметь состояние.

Обладать светским лоском.

Уметь разговаривать с женщинами и обольщать их, в особенности обольщать!»

Может, еще что-нибудь? О нет, «остальное было уж не так важно. Молодой человек проходил испытательный срок в министерстве, где его обучали в первую очередь искусству кланяться».

Сенявин не соответствовал ироническим «кондициям» Мопассана. А дипломатическое поприще досталось Дмитрию Николаевичу столь сложное, запутанное, зыбкое и чреватое опасностями, что, право, и дюжину дипломатов бросило бы в озноб.

Первое, что встало с мгновенной и беспощадной ясностью: росчерком пера губилось громадное предприятие! Все летело вверх тормашками — достигнутое и то, что вот-вот было достигнуто! О, какой взрыв чувств — ведь Сенявин не обладал ни ледяным цинизмом, ни горячечным карьеризмом, а был наделен, как говорил Павел Свиньин, «пламенной душой».

В подобных случаях беллетристы чаще всего живописуют муки бессонницы, как актеры, изображая волнение, неизменно хватаются за папиросы и ломают спички. Не мне судить, что услышали и чего не услышали, что увидели и чего не увидели стены адмиральской каюты, отделанной с той благородной и строгой изысканностью, какую умели придавать каютам военных парусных кораблей питерские краснодеревцы. Несомненно, однако, что «пламенная душа» Дмитрия Николаевича не осталась недвижимой. И должно быть, мелькнуло в уме: живет в Санкт-Петербурге Адам Чарторижский. Сенявин знал: со-ло-мин-ка... Но не знал он, что князь, всемилости-

вейше удаленный, всемилостивейше заменен бароном фон Будбергом. Современный нам исследователь несправедливо обзывает Будберга «покладистым»; рижанин недолго сидел в министерском кресле. Но Дмитрий Николаевич об этом не ведал, как не ведал и об отставке Чарторижского, сторонника решительной поддержки греков и славян.

И еще была мысль (не догадка — капитальное убеждение), мысль Сенявину путеводная и определяющая, мысль о Наполеоне, о наполеоновской Франции как неизбежных и недалеких, грозных и удачливых врагах его, Сенявина, родины.

«Слепой только не увидит, когда внезапное облако налетит и затемнит солнце. Но у всех тогдашних государственных людей вещественные глаза были светлые. Отчего же не видали они, какая туча собирается и скопляется на Россию?» — задним числом негодовал Глинка.

Мы вправе ему возразить: нет, Сергей Николаевич, видели, некоторые-то видели. Правда, лишь подлинно государственных люди, а не те, что грели мягкие места на местах государственных.

Сенявин (как, например, и Кутузов) отчетливо различал, какая «туча скопляется». Различал и теперь, в шестом году, различал и потом, когда угодил под начальство к самому Наполеону. И этот «недалековидный», по определению злопыхателя Вяземского, командующий рисковал головой, но, всем чертям назло, «не двигался за Наполеоном».

Сказать по правде, Сенявин, начиная осаду Дубровника, уже был осведомлен о намерении Александра возвратить Которскую область австрийцам. Переубедить царя адмирал рассчитывал развитием которского успеха.

Расчет этот лишний раз обнаруживал в Сенявине человека, для которого польза дела стояла выше автоматике бездумной «исполнительности». А князь Вяземский опять заскрипел зубами: Сенявин-де положил не отдавать Которо, «видя в том личные свои выгоды и ссылаясь, что сие повеление государя последовало еще прежде, нежели государь знал о занятии Рагузы (Дубровника. — Ю. Д.) французами». Господи, кого только не обвинишь «в личных выгодах», глядя сквозь очки ненависти!

А слухи о намерениях русского царя уже текли среди которцев быстрее и шумливее горных ручьев. Сенявин сообщал в Петербург: «Воображение, что они принуждены сделаться австрийскими подданными, а потом, к вящему своему несчастью, поработены будут и французами, крайне угнетало их дух, и они от сего потеряли всю свою бодрость против французов».

С прибытием парижских известий «бодрость потеряли» и черногорцы. Они потянулись к родным вершинам, их биваки «на высотах рагузинских» опустели. А из Франции уже напра-

вился в Далмацию генерал Мармон во главе пятнадцати тысяч солдат и офицеров.

Сенявин тем временем выигрывал время. Он вежливо препирался с французскими генералами и австрийскими комиссарами, не упуская малейшей возможности стравить «высокие стороны».

Английский историк говорит: «В Адриатике адмирал Сенявин, подобно многим другим, отказывался верить, что договор будет ратифицирован». Конечно, бумага за подписью Убри представлялась вопиющей нелепицей. Но Сенявин-то давно убедился, что внешняя политика Зимнего обладает тем недостатком, который у моряков назывался рыскливостью, то бишь досадной, а подчас и бедственной «способностью» корабля кидаться из стороны в сторону под влиянием случайностей.

Дмитрий Николаевич мог не верить и всем сердцем желал не верить в ратификацию соглашения, но это вовсе не позволяло ему оспаривать официальные депеши, подлинность коих была неоспорима.

Однако именно политическая рыскливость Зимнего питала сенявинскую надежду на перемену петербургского курса. Ну, да и на худой конец у него имелась в запасе хоть и шаткая, но отговорочка: не «августейший повелитель», а всего-навсего статский советник предписывал уходить с Балкан.

Французские генералы Мармон и Лористон, австрийские комиссары их сиятельства Беллегард и Лепин, все те, кто убеждал Сенявина, грозил Сенявину, умастил Сенявина, все они быстро убедились, что Сенявин не из дипломатов, «прошедших испытательный срок в министерстве», где обучают «в первую очередь искусству кланяться».

Напротив, он прошел школу, где обучали «искусству не кланяться» — ни ядрам, ни обстоятельствам.

Тянулись недели. Сенявин не уступал. Но и не наступал. Не признавая мира, он признавал перемирие. Стало быть, неприятель волен был концентрироваться у Дубровника. Французы так и делали. А Сенявину ничего иного не оставалось, как с молчаливым бешенством принимать к сведению последствия политической глупости. Он уже отдавал себе отчет в том, что территорию республики Дубровник волей-неволей придется оставить, как и в том, что на территории Которской области его еще ждут тяжелые испытания.

Между тем незадачливый статский советник прибыл в столицу Российской империи. «В бытность мою тогда в Петербурге, — рассказывает генерал Тучков, — возвратился известный Убри с подписанным от Наполеона трактатом. Но только был оный объявлен Государственному совету, как, первый и последний раз его правления, дерзнули члены оногo воспротивиться. Они представили императору весь вред, могущий

последовать от такого невыгодного договора. Хотя многим известно было, что Убри поступил во всем согласно с наставлениями, данными ему государем, но последний всю вину возложил на него».

Когда племянник Александра I Александр II совершал жестокость, то по обыкновению умывал руки, ссылаясь на то, что исполнители не поняли высочайшей воли. Дядюшка обладал тем же свойством, что и племянник. Правда, статский советник, попавший впросак, не попал ни на эшафот, ни в каземат, его выгнали в отставку и выслали в деревню, но при этом царь сказал, что Убри не понял смысла инструкции и превысил полномочия. А суть-то была в том, что Петербург и Берлин успели обменяться тайными декларациями о союзе, и еще в том, что англичане, оказывается, вовсе не спешили поддаваться Наполеону.

Сенявин мог торжествовать. Сенявин не торжествовал. Ведь пока русские пушки были немые, неприятель усилился сверх меры. А бокезцы и черногорцы усомнились в том, что «россияне с ними будут всегда неразлучны».

И еще потому не торжествовал Сенявин, что сам очутился в положении, сходном с положением Убри. Сперва царь одобрил борьбу за Дубровник. А теперь, когда вице-адмирал не обладал никакой возможностью завершить эту борьбу и принужден был морем эвакуировать войска, теперь царь обвинил Сенявина в том же, в чем и Убри: в нарушении инструкции.

Средства связи могут играть двойную роль: если они хороши, высшему начальству приходится брать ответственность на себя; если они плохи, у высшего начальства есть шансы взвалить ответственность на низшее начальство. Император Александр I очень хорошо пользовался плохой связью.

9

Но еще оставалась Которская область. Оставалась триединая великолепная бухта, способная приютить целый флот, оставались которские крепости и сами которцы, которые слали к Сенявину депутации, умоляя русских не уходить, а он обещал ходатайствовать за них перед государем.

Оставалась Которская область. Сенявин не отдал ее вопреки настояниям и русской, и французской, и австрийской дипломатии. Он решил не отдавать ее и вопреки французским штыкам. Но для этого ему надо было еще выдержать сопротивление Вяземского.

Дмитрий Николаевич, конечно, знал, что генерал Вяземский не жалуется адмирала Сенявина. И все же (после первых боев за Дубровник) Сенявин поступил с князем так, как в свое время Ушаков поступил с ним самим: представляя отли-

чившихся к наградам, главнокомандующий характеризовал Вяземского «искусным и прозорливым» и прибавил, что попросту не хватает слов, дабы «достойно выхвалить подвиги и благоразумные распоряжения его»¹.

Складываясь дела успешно, и Вяземский, верно, сменил бы гнев на милость, да сызнова сообщил жене, что служить с Сенявиным очень приятно. Но Василий Васильевич был из тех генералов, что весьма хороши, когда хорошо, и весьма нехороши, когда нехорошо. Дела складывались неуспешно, и генерал все дальше и все больше расходился с главнокомандующим.

В Которской области Вяземский инспектировал крепость Капельново: «Я объехал все окрестности Капельново и нашел, что они хотя имеют большие горы и дефилеи, но не непроходимы, и что войска везде могут идти с горными орудиями, что всякой дефиле могут обойти и, одним словом, в местах сих отнюдь война не затруднительна (то есть не затруднительна для противников, французов. — Ю. Д.) и защищаемому должно весьма остерегаться множества маневров и фальшивых атак. Крепость Капельново и редут Спаниоло я нашел в самом дурном положении».

Вяземский изложил свои соображения на военном совете. Однако генерала никто не поддержал. Очевидно, присутствующие были иного мнения: храбрость города берет, храбрость города и отстаивает! Вяземский такую решимость расценил как заговор, как «комплот противу меня» и разобиделся, ибо адмирал «начал грубостями опровергать все, что я ни говорил».

«Грубости» как-то не вяжутся с тем, что известно о характере Дмитрия Николаевича. Но, быть может, раздражившись, он и высказал приунывшему генералу несколько прямых, резких слов, да еще при черногорцах, которых князь не признавал просвещенными.

Сдержавшись на глазах у главнокомандующего и «частных» начальников, князь за глаза вылил на Сенявина ушат помоев. Раскрыл свой журнал-дневник и, макая перо в желчь, порассказал ту «правду», что хуже всякой лжи: «Он весьма посредственного ума, без всяких сведений, с злым характером, интересан и решителен на зло. Государю угодно было послать в Корфу с эскадрой и командующего всеми войсками. Он повелел министру Чичагову назначить. Министр назначил, но иностранца. Государь опроверг и требовал русского. Министр выбрал Сенявина на ту только цель, чтобы обмарать русских и после сказать государю: это русский! Но так как он был контр-адмирал, то легко случиться могло, что в Корфе генерал-майор мог быть старше его (выслугой лет. — Ю. Д.), и

¹ ЦГВИА, ВУА, д. 3179, л. 6.

потому без очереди, без заслуги, не зная человека, государь произвел его в вице-адмиралы, удостоил его большой доверенностью, отправил его в важную экспедицию, не выдав его, не говоря с ним ни слова и не заметя его ни почему».

Ох, расходился князьенька! Всем досталось: и главнокомандующему, и министру, и даже царю... А следующие записи сделаны им уже в Корфу. Видимо, Сенявин попросту спровадил Василия Васильевича в главную базу. Спровадил, чтоб не мешался¹.

Может, нет нужды рассказывать о сложных перипетиях сухопутных действий, но, думаю, следует добром помянуть армейцев, сражавшихся с Наполеоном тогда, когда никто на континенте не смел изъясняться с ним языком пушек.

Надо помянуть егерей, несших бремя горной войны: гренадеров, воинов «мужественного вида, в простреленных касках», артиллеристов, которые волокли орудия там, где легконогие черногорцы «прыгают с камня на камень». Помянуть рядовых, этих, по словам одного писателя, «спокойных повседневных героев, придающих незначительным своим поступкам свойственное им самим благородство и проникнутых при исполнении будничных обязанностей близкой их сердцу поэзией».

Были среди них и те, кто возвратился в строй после размена пленными. Они рассказывали, как французские офицеры выпытывали военные сведения, манили под французские знамена, сулили сладкую жизнь. Нет, они возвращались к своим, к своей несладкой жизни, потому что какая ж, к чертям, жизнь на чужих хлебах, даже если те хлеба с изюмом... А были и такие, что добирались за сотни и сотни верст, плененные не на Балканах, а в минувшую кампанию, отравленную Аустерлицем. Они бежали из плена «с тем намерением, чтоб пробраться в Россию или к российским войскам, где бы те ни были»².

Я цитировал показания егеря Бордатова, калужанина, сенявинского земляка. Он еще до плена десять годов тянул солдатскую ляжку; его захватили раненым, в бою, содержали в разных городах Европы, да он изловчился и унес ноги. Добрался до Италии и — не с помощью ли итальянцев, нена-

¹ Не тужите о Вяземском. Генерал отнюдь не убивался по своим солдатам и офицерам, оставшимся в Которской области. Не до того было князю! Он сладостно мурлычет о некоей г-же Н.: «В ее объятиях забыто все огорчение, ее голубые глаза заставили забыть славу и были одним моим предметом. Ее поцелуи были одним моим награждением за все, и так я был с милой в покое, дни летели для нас».

Одновременно он пишет жене: приезжай, голубушка, истосковался. А княгиня возьми и нагрянь. «Попутру около 9-ти часов прибыл фрегат, на коем прибыла милая, нежная, верная моя супруга. О, какой день!..»

² ЦГВИА, ВУА, д. 3168.

вистников французской оккупации? — достиг Корфу: «старался прибыть для определения по-прежнему на службу». Его и определили. Раньше, до плена. Яков Григорьевич числился в 6-м егерском, теперь — в 13-м, которым командовал Вяземский. Но Бордатов не миловался ни с голубоглазенькой, ни с черноглазенькой, а пошел с однополчанами служить задорно или «служить куражно», как в старину пошучивали солдаты...

Выше уже упоминалось имя генерала Попандопуло, командира греко-албанского легиона. Там же, на Корфу, он командовал и Кольванским мушкетерским полком. Службу генерал начал давно, тридцать с лишним лет назад. Он «был при взятии Очакова, Бендер, Аккермана и других мест; при заключении мира назначен в свиту господина генерала от инфантерии Кутузова при его посольстве в Константинополе», а в восемьсот четвертом прибыл на Корфу¹.

В июле 1806 года Сенявин вызвал Попандопуло с Корфу. Генерал сдал свои «должности» другому высшему офицеру, Назимову, и, не мешкая, уехал в Которскую область.

Попандопуло, как и Вяземский, не восторгался крепостью Кагельново и редутотом Спаниоло. Но, в отличие от Вяземского, новый командующий «приступил немедля к поправке и умножению укреплений».

В Военно-историческом архиве есть рапорт «господину вице-адмиралу и кавалеру Сенявину». Рапорт написан тотчас после боев. Старая бумага, составленная не в кабинете, а на биваке, доносит «живую поэзию событий и подвигов».

Попандопуло подробно описывал сентябрьские (1806 года) бои «в окружностях Кагельново и в границах республики Рагузы». Они потребовали от командующего мгновенной реакции, глазомера, хитрости, осмотрительности. Попандопуло и на сей раз оказался достойным учеником Суворова, который наставлял «частных начальников» (а Попандопуло таковым и был при Сенявине) действовать «с разумом, искусством и под ответом».

Не с какой-то бездарностью состязался сенявинский генерал, но с Огюстом Фредериком Мармоном: два года спустя этот сдержанный, методический, сухой Мармон расколотит в пух австрийцев и получит маршальский жезл. А теперь, будучи вчетверо сильнее, отступил, «не делая уже далее своих покушений». Можно верить французскому историку: Мармон был очень зол на русских².

Можно верить и Попандопуло, когда он сообщал в Петербург, что его солдаты и офицеры «подали свету пример ис-

¹ ЦГВИА, ВУА, д. 3117, ч. 11, л. 198.

² Годы и годы спустя Мармон имел возможность увидеть своего давнего противника адмирала Сенявина: маршал был в России на коронации Николая I.

тинной храбрости и военного порядка». Верно оценил генерал и результаты изнурительного сражения: крепости Капельново и Спаниоло, падение коих предрекал Вяземский, не пали, а ведь без них область была бы потеряна, что «понудило бы, вероятно, господина вице-адмирала Сенявина оставить те места со всею его эскадрою»¹.

Генеральский рапорт высшему командованию и донесение царю — это общая картина боевого столкновения, то есть картина коллективного подвига. Но массовый подвиг — сплав подвигов индивидуальных. О последних узнаешь из представлений к наградам.

Вот примеры, воскрешающие подвиги давно позабытых людей:

майор Забелин — «Три раза обращал неприятеля в тыл и три раза распоряжениями своими уничтожал покушения французов; наконец, бросаясь сам на пушки, овладел оными и употребил их против неприятеля»;

майор Езерский — «Был везде впереди...»;

капитан Бабичев — «С тремя ротами первый овладел высотами и пушкою и при самом сильном огне держался на оных, храбро отразил стремление неприятеля»;

капитан Ходаковский — «Бросился с ротой на защищаемый холм, сбил неприятеля, отнял пушку и удержал, покуда вся колонна не подоспела»;

поручик Кличко — «Был отряжен с охотниками из гренадер, егерей и черногорцев, храбро открыл путь черногорцам на неприятельский пост и овладел пушкою, которая удерживала приступ черногорцев»;

поручик Канивальский — «Когда французы поколебали было егерей и черногорцев, отчаянно бросился вперед и, сим примером ободрив поколебавшихся, обратил неприятеля в бегство»².

Сенявин полагал долгом удовлетворять ходатайства о наградах. Он, конечно, повторил бы вслед за Константином Батюшковым:

— Что в офицере без честолюбия? Ты не любишь крестов? — иди в отставку, а не смейся над теми, которые их покупают кровью.

Но вот что досадно: в архивных бумагах мне не попалось ничего об отваге «нижних чинов». А они ведь ничуть не уступали хотя бы некоему Слепцову, очень похожему на Долохова из «Войны и мира»: «Разжалованный из унтер-офицеров в рядовые и лишенный дворянства. Слепцов во все время сражения был впереди и показывал беспримерные знаки отличия

¹ ЦГВИА, ВУА, д. 3117, ч. II, л. 200.

² ЦГВИА, ВУА, д. 3179, л. 6, 6 (об.), 7, 7 (об.).

и храбрости и действительно отличил себя сверх своего звания»¹.

Одна поправка: не «сверх», а в полном соответствии со званием — званием рядового солдата.

10

В рапорте Попандопуло упоминался линейный корабль «Ярослав». Его артиллерия заставила Мармона отступить. Капитан 2-го ранга Митьков, командир «Ярослава», поддержав изнемогавших бойцов Попандопуло, довершил сражение.

Это лишь один из случаев взаимодействия моряков и армейцев. Бывало, адмирал сам руководил этим взаимодействием. Не издали, а в гуще огня. О личном участии Дмитрия Николаевича в боях знал и неприятель. Однажды парижский официоз даже выдал желаемое за действительность, сообщив, что адмирал Сенявин убит ядром с канонерской лодки «Баталья де Маренго».

Принудив Мармона признать статус-кво Которской области, Дмитрий Николаевич не отсиживался ни в Кастельново, ни на Корфу.

В ноябрьское штормовое ненастье вице-адмирал появился у далматинских островов, подле крепостей, над которыми полоскались французские флаги.

Сенявин привел с собою три линейных корабля, фрегат, два транспорта и несколько бокезских легких судов. На кораблях находились два батальона егерей, отборные черногорские и которские стрелки.

По обыкновению Сенявин не желал наносить ущерба местным жителям. Он «пригласил» комендантов крепостей капитулировать. Но коменданты были французы, а не австрийцы из породы маркиза Гизлиери. Не сдаваться они хотели, а драться. И дрались, как говорит русский офицер, отважно.

Егеря и морские пехотинцы ходили в атаки «под личным предводительством адмирала». Атакующих встречали картечью. Черногорцы «отменно храбро» двигались короткими перебежками; их вел Савва Негош, родной брат Петра Негоша, митрополита. Матросы, что называется, на горбах тащили орудия. Прицельными выстрелами давили батареи неприятеля. Потом атакующие ударяли в штыки. Французские гарнизоны просили пощады.

Как раз об этих происшествиях есть восторженные строки в жихаревском «Дневнике чиновника». Они потому ценны,

¹ ЦГВИА, ВУА, д. 3117, ч. II, л. 207.

что принадлежат невоенному, литератору, записному театралу. И еще потому, что неофициальные, частные «петербургские» оценки деятельности Дмитрия Николаевича встречаются изредка. Порою даже создается впечатление полного неведения Петербургом, Россией о делах на Средиземном море. И хотя действительно внимание «общества» было приковано к событиям на континенте, Жихарев такое впечатление до некоторой степени рассеивает.

«Толкуют, — читаем в «Дневнике чиновника», — что адмирал Сенявин, высадив внезапно команду человек в триста на один из далматских островов, Курцоли, занятый французами, перебил и взял в плен у них много людей и совершенно выгеснил их оттуда... О великих способностях и неустрашимости Сенявина говорят очень многие; подчиненные его обожают, и, кажется, он пользуется общим уважением и большой народностью». (Интересно и это последнее: «большой народностью!»)

В боях у далматинского побережья, как и в боях на материке, участвовали черногорцы. Они, замечает Броневский, «отличались не только храбростью, но повиновением и человеколюбием».

Это объяснялось присутствием Сенявина. В других случаях «мужланы», как третировал черногорцев Мармон, не церемонились с врагами, и французские генералы письменно жаловались Дмитрию Николаевичу на жестокость горцев.

А Сенявин спокойно возражал: «О черногорцах и приморцах (которцах. — Ю. Д.) считаю нужным дать вам некоторое понятие. Сии воинственные народы очень мало еще просвещены; однако никогда не нападают на дружественные и нейтральные земли, особенно бессильные... По их воинским правилам оставляют они жизнь только тем, кои, не вступая в бой, отдаются добровольно в плен, что многие из ваших солдат, взятых ими, могут засвидетельствовать».

Сражаясь под рукой Сенявина, черногорцы впервые «получили охоту на кораблях плавать», а вернувшись домой, в горы, «рассказали чудеса своим друзьям». Имя Сенявина, подчеркнул Броневский, «соединило имя русского с славянским».

Впоследствии Огюст Мармон брюзгливо сказал Петру Негошу:

— Какое дело вам до русских, этого непросвещенного и сурового народа, который и вам неприятель и желает привести всех вас в рабство?

Глава черногорцев ответил:

— Прошу, генерал, не трогайте моей святыни и знаменитой славы великого народа, которого и я тоже верный сын. Русские — не враги наши, но единоверные и единоплеменные нам братья, которые имеют к нам такую же горячую любовь,

как и мы к ним. Из одного только малодушия вы ненавидите и черните русских, а другие славянские племена ласкаете для того, чтобы ваш император мог легче и лучше достичь своей цели. Но мы, славяне, полагаем нашу надежду и славу только на единоплеменных братьев-русских. Ибо падут без них и все остальные славяне, а кто против русских, тот также против всех славян.

Мысль о важности тесного содружества русского и славянского народов, столь энергично высказанная вождем черногорцев, разделялась не только им самим и не только Сенявиным.

Тут надо несколько отвлечься от сенявинской повседневности. Отвлечение необходимо: попробуем проникнуть в сферу политического мышления нашего героя.

С первых лет царствования Александра I в русской внешней политике наметился тот курс, который связывается с уже не раз помянутым Чарторижским.

Князя Адама и при жизни и посмертно не однажды попрекали польским происхождением: оттого, дескать, ему присущи антирусские устремления. Князь Чарторижский не думал ни о польской, ни о русской, ни вообще о славянской «черни». Человек даровитый и умный, он доказывал и отстаивал только то, что представлялось ему необходимым, нужным, выгодным для правящей верхушки. Не его вина и не его заслуга в том, что, решая балканский вопрос, он объективно принес пользу славянству, ибо разработал проекты создания на Балканах независимой славянской федерации или нескольких независимых государств.

Когда Сенявина отправляли из Кронштадта в Средиземное море, у него была одна ипостась: адмиральская, военная. Вопросы политические возлагались на товарища министра иностранных дел Татищева: наделенный вескими полномочиями, он был послан в Неаполь, поближе к театру военных действий. Французская оккупация выдворила Татищева из-под сени Везувия; он укрылся в Сицилии и оказался неизмеримо ближе к английскому флоту, нежели к русскому, сенявинскому. Тогда у Дмитрия Николаевича появилась и другая ипостась: политический руководитель.

Планы Чарторижского не были Сенявину тайной. Но крепко ошибся бы тот, кто принял бы Сенявина за «технического исполнителя». Вся его деятельность, не поддержанная за неимением времени «увязками» с вышестоящими сановниками, его целеустремленность, не вторящая зигзагу и пунктиру петербургского кабинета, его горячая настойчивость, как и холодная осмотрительность, определялись желанием освободить славянство из турецких, австрийских, французских оков.

Скорее всего именно Дмитрий Николаевич осведомил Не-

гоша о русских проектах. И Негош воодушевился. Петр Петрович, не мешкая, наметил подробности: славяно-сербское государство включит Черногорию и Которскую область, Герцеговину и Дубровникскую территорию, Далмацию и часть Верхней Албании; формально республику возглавит русский царь (таким образом, получалось, что Александр Павлович нахлобучит на августейшее темя и корону, и демократическую шляпу); фактически во главе нового государства встанет президент из «природных жителей».

Не стану далее заниматься историей вопроса. Важен здесь самый факт размышлений Сенявина и Негоша на эту тему. Но вот что еще примечательно: содружество русского и славянских народов занимало и волновало младших современников флотоводца.

Исследователь декабризма отмечает интерес первых русских революционеров к запискам «моряков, побывавших в славянских странах». Пестель раздумывал о Балканской федерации, о ее политических и экономических связях с новой Россией. Декабрист Борисов признавал необходимость собрать «славянские племена в одну республику». Сколь ни туманны были взгляды декабристского Общества соединенных славян, а все ж некоторые уставные параграфы звучали весьма конкретно: например, создание «Далмацкого флота» — гарантия цветения торговли «в портах твоих, славянин». Наконец, декабрист Каховский высказывался в том смысле, что следовало бы поддержать черногорцев, «столь усердно нам служивших во время кампании флота нашего в Средиземном море под начальством адмирала Сенявина».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Кому случалось из действующей армии, из действующего флота ехать в столицу, знал, что жизнь там идет своим чередом, что там не слышат пушек и не видят, как льется кровь. Он это все понимал, даже принимал разумом и все ж, очутившись в Петербурге, поначалу испытывал и какое-то недоумение, и что-то похожее на обиду и досаду именно оттого, что люди живут, как жили, словно бы в то же время другие люди не умирали от ран, не тонули в волнах и не падали под картечью.

Что и говорить, человеку из-под огня, с корабельной палубы, из полевого лагеря показались бы дичью хлопоты франтов о перемене фрачного покроя (рукава, боже ты мой, не должны теперь застегиваться у кисти пуговичками!), о пере-

мене серых фетровых шляп на черные фетровые шляпы. Правда, приезжего офицера могло бы привлечь одно обстоятельство «чрезвычайной важности»; модницы стали надевать ножные браслеты — один, черт побери, повыше колена, а другой — на щиколотке, и эти самые браслеты так пикантно означались сквозь полупрозрачные батистовые платья!

Но заезжий человек, если только он не был беспробудным болваном, вскоре замечал переменчивые тревожные отсветы на бледном лице северной столицы.

Может быть, никогда прежде так жадно не расхватывались «Санкт-Петербургские ведомости», освещавшие сложную, загадочную игру политических сил. А с осени восьмьсот шестого года к «Ведомостям» прибавилась газета «Journal du Nord», орган российского министерства иностранных дел, — она перепечатывала многие статьи заграничной прессы.

Из уст в уста порхала фраза Наполеона, брошенная Пруссии: моя вражда ужаснее бурь океана. Не успели еще обсудить эту словесную угрозу, как она обернулась реальностью. Наследники Фридриха Великого были развеяны в прах. Наполеон торжественно вступил в Берлин. Позади победителей плелись отлично вымуштрованные прусские королевские кавалергарды. Наполеон подарил самому себе шпагу Фридриха Великого, а Франции — 340 вражеских знамен.

Русский мемуарист писал: «Ст стыда Пруссии краснели наши щеки». У Фридриха-Вильгельма, удиравшего вместе с очаровательной королевой Луизой, щеки не краснели, а белели. Король унизился до льстивого лепета: осведомлялся, хорошо ли, покойно ли, удобно ли его величеству императору французов в дворцовых покоях Берлина и Потсдама?

Император даже не счел нужным ответить. Разве заметишь такую вошь, как король Пруссии, когда ты достиг вершины, откуда можно тронуть звезды?!

Нет, не прусские, а русские заботят Наполеона. Он знает, что Россия выступит. Выступит непременно. И он знает, что дело будет тяжелое, кровавое...

Октябрь и ноябрь были месяцами прощаний: из России на запад уходили войска. Сперва шестидесятитысячный корпус барона Беннигсена, потом — сорокатысячный графа Буксгевдена.

Они вступили в Восточную Пруссию, вступили на польские земли, еще так недавно принадлежавшие Фридриху-Вильгельму. А маршал Лани и сам Наполеон уже обосновались в Варшаве.

Над Польшей, над Варшавой, над рекой Наревой, над Пултуском кружил мокрый снег. Глинистые дороги днем раскисали в кашу, ночью — каменно твердели.

Первое столкновение произошло при Пултуске. «Русские, исполняя боевые приказы, шли на увечье и смерть без еди-

ного стоа», — с несколько суеверным «европейским» удивлением замечает французский историк Васт. Его соотечественник, участник дела, Антуан Марбо настроился мистически: «Казалось, мы деремся с призраками». Французские стрелки, всегда метко срезавшие длинные тонкие линии врага, теперь никак не могли пробить плотно сцепленного неприятеля.

Обе стороны бились упорно. И ничего не добились. Как водится в подобных случаях, каждая из сторон признала победу за собою. А коль скоро день сражения пришелся на день памяти шести мучеников, то в Петербурге люди набожные тотчас усмотрели в том небесное знамение: «Благочестия веры поборницы злочестивого мучителя оплевавше...»

В Петербурге повеселели. Один из чиновников (С. П. Жихарев) заносил в дневник: «Говорят, что генерал Беннигсен после победы над французами при Пултуске теперь покамест играет с ними в шахматы, то есть они только маневрируют в ожидании благоприятного случая напасть друг на друга. В некоторых стычках Беннигсен имел преимущество и однажды разбил Бернадота. Утверждают, однако ж, что скоро должно ждть решительных вестей из армии».

На заснеженных полях, в краю замерзших болот и разоренных деревень фронтные генералы «играли в шахматы», а петербургские генералы тем временем «играли в солдатики».

Тот же столичный чиновник сообщает: «Несмотря на шестнадцатиградусный мороз, крещенский парад был великолепный. В первый раз в жизни вижу столько войска и в таком пышном виде. Торжественное молебствие совершено было придворным духовенством в присутствии государя в нарочно устроенной для того на Неве, против дворца, Иордани. Я изумился, увидев государя в одном мундире, как мог он в такой одежде выносить такую стужу — вот прямо русский человек!»

Несколько недель спустя, накануне масленицы, автор дневника был в театре. Давали «Благодетельного брюзгу», потом «Завтрак холостяков». Театр был полон, ложи, известно, блистали. Но публика волновалась и почти не глядела на сцену. Слышался говор: «Полная победа... Много раненых...» И все старались заглянуть в ложу некой графини: там молодой флигель-адъютант «что-то с жаром рассказывал».

Так в Петербурге узнали о сражении при Прейсиш-Эйлау, в Восточной Пруссии, где Беннигсену пришлось повстречаться уже не с наполеоновскими маршалами, но с самим Наполеоном. А Наполеону, в свою очередь, пришлось повстречаться с противником, который отказывался бежать.

Противник ломил так, что вот-вот и ударилась бы в бегство его, наполеоновская, несокрушимая пехота. И особенно поразила бывшего артиллерийского офицера Бонапарта вра-

жеская артиллерия: она положила чуть ли не весь корпус Ожеро. Больше того, она едва-едва физически не сразила императора, пораженного душевно.

Наполеон руководил боем из гущи сражения. Он стоял посреди крестов и ангелочков местного кладбища. А на кладбище работали невиданные могильщики — ядра споро и злобно рыли мерзлую землю, комья взметывались вперемешку с осколками мрамора. Наполеон никогда попусту не рисковал головой. Его присутствие, его взгляд удерживали солдат, офицеров, генералов от желания уступить и отступить.

Пала ночь, слепая, в густой метели. Беннигсен отошел. Не бежал в панике, а отошел. Намерение Наполеона отрезать русских от Кенигсберга, от границ России, не осуществилось. Намерение Беннигсена ослабить Наполеона, не пустить французов дальше, осуществилось. Но он ведь отошел, и Наполеон счел себя победителем. А Беннигсен — себя.

Да, Наполеон объявил о победе. Но маршал Ней воскликнул: «Что за бойня и без всякой пользы!» Но парижская биржа, этот экономический барометр военных успехов и неуспехов, ответила резким падением курса, словно бы император потерпел поражение. Да и он сам был молчалив и угрюмо скрывал тревогу возней с делами, не имеющими к войне никакого отношения: «газетами, академией, оперой, недвижимостями, пожалованными ордену Почетного легиона».

И на другой стороне, хоть и служили благодарственные молебны, хоть и верно указывали, что впервые Наполеон, лично «игравший в шахматы», «не съел короля», но и там, на другой стороне, тоже сознавали, чего стоила битва при маленьком прусском городке: «Кажется, наша взяла, а рыло в крови...»

После Прейсиш-Эйлау «вершители судеб» осознали, что французская армия не заколдована, что ее можно побить и даже, пожалуй, разбить. В сущности, осознали то, что еще до Прейсиш-Эйлау, а главное — п о с л е Аустерлица понимали моряки и армейцы, находившиеся на юге, в Адриатике, в Далмации, на Корфу, люди сенявинской эскадры и сенявинских полков.

2

Один будущий маршал Франции был Сенявину врагом явным, другой — тайным. Но если Мармона уже угостили на славу, то у Себастиани еще было в запасе шестилетие до того дня, когда ему, по выражению французского историка, «сильно досталось» от Кутузова.

А пока Орас-Франсуа Себастиани маневрировал в отличие от Мармона не среди гор и ущелий, а среди стамбульских пашей и дипломатов. В столицу османских владений приехал

он в августе 1806 года, в то время, когда облапошенный статский советник Убри возвращался из Парижа в Петербург, а Сенявин был вынужден топтаться окрест Дубровника.

За спиною послов и посланников нередко маячит истинный «впередсмотрящий». Себастиани был наделен недюжинной энергией: этого тридцатилетнего гасконца теперь называли бы «пробивным малым»; он был смекалист, оборотист, неутомим, «настоящий головорез в политике». И все же ему пришлось бы худо без молодого красавца, поверенного в делах Латур-Мобура.

Латур-Мобур знал Турцию с детства. Вежливый, молчаливый, осанистый, предупредительный, но не искательный, он обладал, как говорили в русской Иностранной коллегии, «поразительными сведениями».

Едва переменяв дорожное платье, поверенный в делах занялся делами. Ему не надо было объяснять, что такое Пере. Там, в христианском квартале магометанского Стамбула, размещались европейские посольства. Там, в Пере, денно-нощно политиканствовали, то есть интриговали и шпионили, продавались и покупались, клялись в верности и клялись в неверности. «Все, что происходит или имеет произойти в Оттоманской империи и в серале, — читаем в русском дипломатическом документе, — известно в Пере; все, что постановляет Порты, или все, что постановляется насчет нее, устраивается в Пере».

Тогдашние дипломаты не владели турецким. Знатки французского, этой дипломатической латыни, иногда английского, они не унижались до постижения азиатского «диалекта». А посему были как без рук без переводчиков. Вернее, в руках переводчиков, нанятых в Пере.

В «сенявинский период» при русском после крутились два брата Фонтонны, да вдобавок еще и племянник их. Правда, старший Жозеф, он же старший переводчик-драгоман, как бывший служащий Бурбонов, объявил себя ярым противником «узурпатора Боунапарта», но его принципы стушевывались при виде золота; Фонтонны тишком сносились с персоналом посольства «корсиканского чудовища».

Да к тому ж и господин полномочный министр при Порте Оттоманской Андрей Яковлевич Италинский не был ровней высокоталантливому Булгакову, о котором упоминалось раньше. Италинскому, по-видимому, некогда протезировал канцлер Безбородко, а потом князь Кочубей: Андрей Яковлевич воспитывал их родственника. Из воспитуемого получился зверюга, коему воспретили показываться в собственном имении по причине «жестокости обращения с дворовыми». А из престарелого Италинского получился столь же способный дипломат, как и педагог. При всем желании не заподозришь его ни в избытке догадливости, ни в понимании людей, ни в умении

извлечь истину из вороха сплетен и пересудов. Впрочем, надо полагать, и за спиной Италинского не дремали свои латурмобуры. А тому, что состоялся при Себастиани, понадобилось немного времени и для проникновения в тонкости всех быстрых и переменчивых обстоятельств, и для того, чтобы посвятить в них своего патрона...

Уже более четверти века «тенью аллаха на земле» был рябой султан Селим. В годину второй русско-турецкой войны он принял наследство незавидное: страна находилась на пороге полной дистрофии.

Хотя Селим и присутствовал при усекновении голов несколькими крупным чиновникам-казнокрадам, он не укладывался в традиционное представление о султанах как варварах, которые только и заняты что сажанием подданных на кол. Нет, Селим III отличался склонностью к поэзии и восточному мистицизму, привычками эстета. Все это, однако, не помещало ему осознать необходимость «новой системы», дабы выволочь дряхлеющую державу из тупика.

Особое внимание реформатора обратилось на вооруженные силы. Он создал корпус дисциплинированных войск, не шедших ни в какое сравнение с бесшабашными янычарами, учредил Инженерное училище, занялся флотом.

Взбадривая новое, Селим, однако, не умел, как, например, Петр Великий, сворачивать в бараний рог поборников старины — феодалов и духовенство. Турецкий историк прав: Селим, в сущности, был нерешителен и боязлив. Ему не хватало личного мужества, «как и всем правителям, воспитанным в затишье гарема», обобщает историк французский. И эти свойства монарха явственно отзывались на внешней политике.

Раньше уже упоминалось о вечной оглядке Селима и визирей то на Россию, то на Западную Европу. Оно и понятно: трудно было определить, где наибольшее зло, а где наименьшее. Но все же наперед скажем, что Селим, не поддайся он то посулам, то угрозам Наполеона, Селим, очевидно, довершил бы реформы, благодетельные Турции. Увы, султан... Впрочем, обождите.

За несколько месяцев до Аустерлица Наполеон страдал султана, дружественного русскому царю: «Разве ты настолько слеп, чтобы не видеть, как в один прекрасный день русская армия и флот при содействии греков ворвутся в твою столицу... Проснись, Селим, призови в министерство своих друзей, прогони изменников, доверься своим истинным друзьям...»

Под «истинными друзьями» император французов разумел, конечно, французов. А Селим не «просьпался», он медлил. В конце концов, «истинные друзья» находились еще на другой стороне материка.

Но вот до Стамбула докатился аустерлицкий гром. Представители «тени аллаха на земле» поспешили к победителю.

Селим III приветствовал Наполеона I как «самого давнего, самого верного, самого необходимого союзника». Тот отвечал очень красноречиво и не очень конкретно: «Все успехи и неудачи Оттоманской империи будут успехами и неудачами Франции».

Успехов у турок как будто и не предвиделось: русская армия целилась на Дунай; восстали, поддержанные русскими, сербы; вассальные князья Молдавии и Валахии, вытянув шею, глядели в сторону Петербурга.

Успехи предвиделись у французов: вопреки Сенявину им удавалось наращивать свои силы в Далмации, сопредельной Турции. А в двери сераля настойчиво стучался новый посланник императора генерал Себастиани со своим неизменным Латур-Мобуром.

Не знаю, пользовался ли гасконец. посольской каретой, красной каретой, внутри вызолоченной, или, как д'Артаньян, предпочитал ездить верхом, но его часто видели на горбатых и кривобоких улочках Стамбула. Он не скрывался ни в Пере, ни в прохладной долине у отрогов Фракийских гор, летнем прибежище дипломатов, откуда была видна плотная босфорская синь.

Не однажды в неделю Себастиани появлялся близ мечети святой Софии, где плавно ниспадали (а не стремительно били вверх, как в Европе) прозрачные воды каменного фонтана, а рядом высились Большие ворота султанской резиденции.

Сераль тянулся на несколько верст: обширные дворы и множество строений. Там было и что-то наподобие оружейной палаты, и кухни, и конюшни, и парк и, конечно, гарем, царство морщинистых вислозадых евнухов.

Может, генерала Себастиани подмывало хоть краешком глаза глянуть на «прелестниц обнаженный рой», но посол Себастиани шествовал в третий двор, обсаженный кипарисами и кедрами, он шествовал в «киоск», отделанный драгоценным мрамором, изукрашенный цветочными изразцами, в «киоск» для аудиенций дипломатическому корпусу.

В августовские и сентябрьские дни, ласковее которых во весь год не бывает на берегах проливов, султан, прикрыв веки, внимал напористому генералу. Себастиани не уговаривал, а почти требовал: сместить господарей Молдавии и Валахии, находящихся под влиянием Петербурга; закрыть Босфор для русских кораблей. Он страшал: коль скоро эти корабли везут подкрепления Сенявину, французы «имеют право» карать Турцию из Далмации.

Одновременно генерал соблазнял Селима радужным: разве султан не знает, что персы возобновили боевые действия в Закавказье? Стало быть, вот она, возможность единого антирусского фронта! К тому же султану следует заметить, что император французов поможет Турции отвоевать вожделенный

Крым, как поможет персидскому шаху отвоевать благословенную Грузию.

Селим и его правительство как будто бы очнулись. Они выполнили главную «просьбу»: сместили господарей Валахии и Молдавии, закрыли Босфор. И Себастиани имел честь доложить о сем Парижу.

Гасконец, несколько поторопился. Не он один был аккредитован в Стамбуле. Был еще Италинский, был и Эрбетнот. Италинский, само собою, возражал, что называется, на басах. А Эрбетнот, посол Великобритании, поддерживал союзника.

Британец, правда, плутовал. Он тщился играть в посредничество. Ведь посредничество всегда помогает держать в руках того, кому помогаешь. При этом англичане все ж не желали русско-турецкого столкновения. Оно отвлекло бы русские войска с Запада, то есть оттуда, где так грозен был Наполеон. И оно бы, по мнению Лондона, усилило Россию на Востоке, то есть там, где ее усиление тоже не обещало Лондону ничего хорошего. И мистер Эрбетнот балансировал.

Балансировал и Селим.

Конечно, французы в Далмации — это фактор. Но русская и британская эскадры в Средиземном море — это тоже, знаете ли, фактор. Да к тому же с севера ползут тяжелые тучи — пехота и конница, артиллерия, саперы, казаки русского генерала от кавалерии Михельсона.

И Селим велит вернуть смещенных господарей Валахии и Молдавии. Султан приказывает отворить Босфор для русских судов.

Осенние и зимние дни восьмьсот шестого года помогли Себастиани больше и лучше минувшего «бархатного сезона»: Наполеон, как бич божий, разгромил Пруссию; Наполеон пил кофе в коленапреклоненной Варшаве.

«Проснись, Селим!»

Селим «проснулся». В середине декабря 1806 года Себастиани докладывал Талейрану о том, что война России «торжественно объявлена».

3

Моряк, известно, в понедельник ничего хорошего не ждет, понедельник — день черный. Суббота — дело иное. Да вот поди ж ты, вопреки всем приметам в понедельник посчастливилось, а в субботу настигло несчастье...

В декабрьский понедельник восьмьсот шестого года, три дня спустя после Пултуского сражения, случился морской бой, ни по каким «параметрам» не сравнимый с Пултуским, кроме «параметров» мужества и воли к победе.

Сенявин, с присущей ему охотою славить безвестных героев, не ограничился служебным известием о брига «Александр», но еще написал письмо частное, адресованное в Петербург, адмиралу Шишкову. Дмитрий Николаевич знал, что Александр Семенович равнодушным не останется.

И верно, Шишков (сообщает в своем дневнике петербуржец) «с таким горячим участием и так восторженно рассказывал о подвиге какого-то лейтенанта Скаловского, о котором ему писал вице-адмирал Сенявин, что я на него залюбовался. Этот Скаловский, командир небольшого брига, застигнут был затишьем в недалеком расстоянии от Спалатро. Находившиеся там французы, увидя его в этом положении, немедленно выслали против него несколько больших канонерских лодок, на которых число пушек и людей вчетверо было больше, чем у Скаловского. Все считали гибель его неизбежной — ничуть не бывало. Скаловский, не теряя присутствия духа и бодрости, отпаливался от них с таким успехом, что одну лодку потопил, а другую изрешетил так, что она должна была возвратиться в Спалатро. Правда, и он потерпел немало: корпус брига и такелаж до такой степени были избиты, что Скаловский насилу и кое-как мог доплыть до Курцоли».

Горячность седовласого рассказчика объяснялась не только влюбленностью в моряков и корабли (за что я готов извинить ему нелюбовь к карамзинской школе, хотя и рискую вызвать гнев литературоведов); она объяснялась еще и тем, что Шишков мысленно видел положение, в котором очутился «какой-то лейтенант Скаловский».

Положение было, что называется, аховое. Бриг «Александр» имел дюжину четырехфунтовых орудий и семьдесят пять душ экипажа¹. Сдается, не следовало поручать одиночке наблюдение за коммуникацией, важной французам. Мармон поспешил воспользоваться неожиданным шансом одержать победу на море. (Может, генерал хотел блеснуть не столько перед императором, сколько перед морским министром Декре, одним из очень немногих министров, смевших иногда возражать императору?) И Мармон выставил против «Александра» «Наполеона». Было бы чертовски здорово, если б Наполеон наконец-то побил Александра еще и на воде.

«Наполеон» располагал большей, нежели «Александр», огневой мощью: шесть 12-фунтовых пушек и две 18-фунтовые. Однако Мармон намеревался играть наверняка. Он придал «Наполеону» три канонерки и требоку, служившую транспортом для солдат. Солдат понапихали и на все другие суда.

Застигни такая флотилия врасплох, и лейтенант Скалов-

¹ В русском флоте артиллерийским фунтом считался вес чугунного сплошного ядра диаметром в два дюйма. Определение калибра орудий по их внутреннему диаметру было принято в 1877 году.

ский со своими матросами либо отправился бы кормить рыбу, либо угодил в плен кормиться рыбой.

Врасплох бриг не застигли: Скаловского предупредили островитяне. Как ни скрытничали французы, а местные жители проведали о беде, грозящей сенявинскому кораблю. Едва французы под покровом ночи снялись с якорей, как на высотах зажглись сигнальные костры, числом равные числу неприятельских судов.

Не думаю, что кто-нибудь укорил бы лейтенанта за отступление. Никто, кроме него самого. Он сказал матросам:

— Ребята, там есть «Наполеон»! Если я буду убит, не сдавайтесь, пока все не положите голову!

И приказал изготавиться к бою. Особенно к рукопашному, абордажному. Изготовившись, поджидал врага, как поджидает настоящий кулачный боец прущую на него «стенку».

А вокруг была «сама поэзия»: тише тихого, шелест и всплески, темные громады недалних берегов и такая ярая луна, какая бывает лишь на юге.

В ту лунную ночь генерал Мармон задал бал. Пирующие слышали пушечный гул. Любезный хозяин успокаивал дам и намекал, что утром «сделает им нечаянный подарок А л е к с а н д р о м».

«Но по рассвете, — пишет Броневский, — несчастный его Н а п о л е о н с 3 лодками пришел (четвертая погибла. — Ю. Д.) весь избитый и в гавани потонул. Мармон столько огорчен был сею неудачей, что командира флотилии, артиллерии капитана и всех офицеров арестовал, посадил в крепость и отдал под суд».

Подвигом брига «Александр» завершился для сенявинцев громкий восемьсот шестой год.

А новый, восемьсот седьмой, ознаменовался несчастьем...

Всеволоду Кологривову завидовали: многие б отдали многое, лишь бы командовать «Флорой». «Прелестный корвет», утверждал сенявинский офицер; «прекрасный корвет», вторил другой; а третий будто целовал кончики пальцев: «Можно сравнить его с красивой женщиной, со вкусом одею». Оценщики были ценителями. Знатоки, они восхищались «Флорой» и завидовали своему корпусному товарищу, который, между прочим, мог бы сказать вместе с Пушкиным: «Мой предок Рача мышцей бранной Святому Невскому служил» — Кологривовы происходили от одного из Пушкиных, прозванного «Кологривом».

Беда настигла «Флору» у берегов Албании, настигла субботу, январской ночью, когда разразилась сумасшедшая гроза. Загорелся бушприт, потом фок-мачта. Оголенный корвет очутился во власти бури, ослепшей от собственной ярости.

Весть о гибели «Флоры» принес Сенявину один английский моряк. Его рассказ записал Свинын. «К счастью, эки-

паж спасен от неминуемой смерти отважностью капитана, который не мог, однако, избавить его и спасти сам себя от плена. Они взяты албанцами и отправлены в железках в Константинополь... Сказывают, что молниеносно на «Флоре» сшибло обе мачты и потом сильным шквалом кинуло ее на острые камни, где она вся вдребезги расшиблась».

Дальнейшая судьба Кологривова, офицеров и матросов «Флоры» оставалась темной. Одно было ясно: моряки, спасающиеся на берегу Албании, подвластной туркам, не подозревали, что Турция разорвала восьмилетний союз с Россией.

4

Да, экипаж погибшего корвета велено было доставить в столицу Османской империи, и несчастным морякам довелось увидеть Турцию «изнутри» в то самое время, когда их более счастливые товарищи увидели Турцию «снаружи».

Поначалу они находились в Албании. Албанию в ту пору составляли две зависимые (или полузависимые) от султана области, два турецких пашалыка.

В первые дни пленные надеялись на избавление. Местный турецкий начальник отнесся к ним сострадательно. Но едва русские оказались в пределах Янинского пашалыка, где правил Али-паша, как все переменялось.

Имя Али-паши было известно русским. Он еще при Ушакове усиленно набивался в соучастники по овладению Корфу. Ушаков его раскусил: турки — союзники русских; паша — вассал султана; он правит областью, самой близкой к Корфу; кому ж отдать остров, как не Али-паше Янинскому?

Западная историография, повторяю, издавна выдает Али-пашу за принципиального противника России. Правду молвить, он был принципиальным противником принципов. Кроме принципа самовластия в применении к самому себе. Отсюда вечный «флирт» то с русскими, то с французами, то с англичанами. Граф Моцениго, русский посол на Корфу, точнее прочих определил политику Али-паши: «Человек, стучащийся во все двери».

Ему не откажешь в уме и храбрости, в ловкости и осмотрительности, в энергии и проницательности, в качествах и свойствах, воспламенивших воображение Байрона и Дюма. Он сумел поставить себя так, что и Албанией и Грецией правили, в сущности, не из Стамбула, а из Янины. Больше того, Али презирал все турецкое. Он находил выгодным поощрять греческую культуру и образованность. В его время, как отметил Байрон, центр греческого просвещения, литературы, учености находился вовсе не в Афинах, а в Янине.

Доселе одни видят в Али-паше деспота и кровопийцу, дру-

гие — борца за единство и независимость Албании. Пожалуй, первое верно субъективно, а второе — объективно. И уж совершенно верно то, что у стамбульских султанов не было иного столь неверного правоверного. «Я мусульманин, но я совсем не фанатик, — говорил Али-паша. — Я ненавижу мой диван и его управление, я чувствую его упадок и предвижу его гибель».

Однако на исходе восьмьсот шестого года, когда дело шло к разрыву Турции с Россией, Али-паша почел за благо прикинуться надежным вассалом Стамбула.

(Между прочим, Сенявин, как некогда Ушаков, тоже раскусил намерения Али-паши. Еще не зная о войне с турками, Дмитрий Николаевич озаботился обороною Ионических островов именно от «покушений» янинского правителя. Главнокомандующий, в частности, указывал генералу Назимову: «Я предписываю вашему превосходительству иметь доброе попечение о безопасности острова Св. Марка на случай неприятельского покушения». А в те дни, когда моряки «Флоры» принимали в плену крестную муку, Назимов доносил, что Али-паша возвел на высотах албанского берега батареи, что солдаты Али-паши от перестрелок с нашими пикетами перешли к весьма кровопролитным стычкам¹.)

Появление русских пленников было удобным и совершенно безопасным поводом для того, чтобы Али-паша продемонстрировал ненависть к русским — «исконным врагам полумесяца» и врагам французских орлов.

Итак, лишь первые дни Кологривов и его товарищи пользовались милосердием некоего паши Ибрагима, совсем непохожего на Али-пашу. Ибрагим, конечно, объявил россиян пленниками, изъял у офицеров кортики, держал моряков под крепким караулом. Но, отправляя пленных в Константинополь, Ибрагим снабдил команду несколькими мешками пиастров, подарил каждому бурку, седло, уздечку, лошадь.

В Янинском пашалыке лошадей отобрали; с офицерских мундиров сняли вместе с «мясом» золотое шитье; у всех моряков срезали металлические пуговицы, как срезают с арестантов, и они, как арестанты, приделали застежки-деревяшки.

Оборванных, голодных, изможденных моряков гнали палками по горным тропам. Отставших нещадно били. Одного матроса убили. Хворый, он дышал на ладан, товарищи тащили его на руках. Кто-то из стражников сказал, что из-за него пленные не идут, а ползут, да и снес ему саблей голову.

¹ ЦГВИА, ВУА, д. 3168, л. 3—15. В том же архиве историк В.Г. Сироткин обнаружил «интересный план совместных действий корпуса Сенявина и черноторо-бокеских отрядов против Али-паши Янинского... Сенявин получил сведения о связях паши с французами. Сенявин поручил полковнику русского экспедиционного корпуса Буасселю составить план похода против Али-паши. Разработанный Буасселем план в мае 1807 года был представлен Чичагову». См.: Ученые записки Института славяноведения. — М.: 1962. Т. XXV.

В середине марта блеснули шпили и кровли Константинополя. Пленные ободрились. Не надеясь на освобождение, они надеялись на послабления. И все вокруг будто обещало некий просвет. Цвели сады — абрикосовые и гранатовые; на виноградниках, обнесенных плетнями, работали крестьяне; звенели беломраморные фонтаны с золотыми или серебряными ковшиками на золотых или серебряных цепочках; дорога струилась, ровная, осененная оливковыми деревьями и орешником.

Николай Клемент, офицер «Флоры», рассказывает:

«Наконец, привели нас к верховному визирю во двор, посреди которого сидело человек около 50 пленных сербов в кандалах; они находились тут уже около трех суток. Мы были свидетелями, как совершился над ними приговор и как всем им по очереди рубили головы. Между тем как сие происходило, начали нас обыскивать и почти оборвали до рубашки. Мы не видали верховного визиря, оттого ли что тут было множество народа, или что мы не смели приподнять глаз. После сказывали нам, что с ними тут сидел французский посланник генерал Себастиани, бывший свидетелем нашего унижения. Вдруг кто-то (надобно думать, сам визирь) махнул платком, и нас повели в прежнем порядке чрез город. Едва передвигая ноги, устремив глаза в землю, мы не видали, что кругом нас происходило, и тогда только опаматовались, когда очутились на берегу Константинопольского залива. Нас посадили на большие перевозные суда и повезли неизвестно куда; мы же полагали, что везут на противоположный берег Азии, в город Скутари, дабы оттуда отправить в дальнейшие провинции и всех, как невольников, продать. Но переезд наш, сверх нашего чаяния, продолжался недолго. Мы увидели себя в части города, называемой Галата, где находится их адмиралтейство... По выходе на берег провели нас через трое железных ворот на обширный двор, посреди коего выстроен огромный каменный дом с слуховыми только окошками; в нем содержатся их преступники, скованные попарно. Звук цепей прежде всего поразил наш слух и уведомил о нашей участи».

Вот точно так и пушкинскому герою, кавказскому пленнику, «все, все сказал ужасный звук»...

5

Изволите ли помнить: Петербург, повитый метелицами, толковал об «ужасной резне» и о том, что «мы били французов, как поросят»?

Так вот, в Петербурге еще не умолкли толки о Прейсиш-Эйлау, а далеко на юге, в Средиземном, Сенявин ринулся на войну с турками. «Мы не убавляли парусов и едва успевали

считать острова, мелькающие мимо нас», — писал сенявинский офицер.

Министр Чичагов, министерство военных морских сил вовремя озаботились присылкой подкреплений. Ровно через год после того, как Сенявин пришел из Кронштадта в Корфу, туда же пришла эскадра капитан-командора Игнатьева.

Корабли Игнатьева (еще по дороге в Корфу) видели англичане. Русский дипломат в частном письме рассказывал: «Трудно дать понятие о красоте нашей эскадры, ревности начальников, устройстве, порядке, исправности экипажа; одним словом, цветущее состояние эскадры сей после столь долгого мореплавания возбудило всеобщее удивление и зависть самих англичан. Они удивляются скорым успехам нашего флота и смотрят на него как на будущего соперника».

«Игнатьевцы» пополнили флот Сенявина пятью линейными кораблями, фрегатом, шлюпом, корветом и катером.

Отправляясь к Дарданеллам, «повелитель Адриатики» не оставил Адриатику без призера: младшему флагману Илье Андреевичу Баратынскому было велено обеспечивать незыблемость завоеванных позиций.

Но главные силы отправились к Дарданеллам. Там, в преддверии Константинополя, с русским должен был соединиться британский союзник. Соединившись, они имели полную возможность крепким кулаком ударить по центру Османской империи. И Сенявин спешил: «Мы не убавляли парусов».

С петровских времен вице-адмиральский флаг поднимали на форстенге, то есть на верхушке фок-мачты. Начиная войну с турками, Сенявин поднял свой флаг на «Твердом», линейном корабле, где командиром был балтиец, капитан 1-го ранга Малеев.

За флагманом следовали:

линейный корабль «Ретвизан» (контр-адмирал Грейг; командир — капитан 2-го ранга Ртищев);

линейный корабль «Сильный» (капитан-командор Игнатьев);

линейный корабль «Мощный» (капитан 1-го ранга Кровье);

линейный корабль «Скорый» (капитан 1-го ранга Шельтинг);

линейный корабль «Селафаил» (капитан 2-го ранга Рожнов);

линейный корабль «Ярослав» (капитан 2-го ранга Митьков);

линейный корабль «Рафаил» (капитан 2-го ранга Лукин);

шлюп «Венус» (капитан-лейтенант Развозов);

шлюп «Шпицберген» (капитан-лейтенант Качалов»).

Не только моряки шли с Сенявиным. За неделю до съемки с якоря Дмитрий Николаевич приказал генерал-майору Назимову:

«Предпринимая некоторую экспедицию, предписываю вашему превосходительству командировать для десанта из числа находящихся в Корфу войск: два батальона Козловского мушкетерского полка, легиона легких стрелков до трехсот человек

и при них за адъютанта поручика Флори. Для услужения к артиллерии, состоящей при отряде морских полков, отрядить из корфского артиллерийского гарнизона подпоручика Галицкого и к нему в команду самых отборных и исправнейших бомбардир... Вдобавок к числу состоящих в сем командироваемом отряде боевых патронов собрать еще с прочих, остающихся в Корфу войск столько, чтобы было на каждого ружейного человека по триста, и приготовить оные для погрузки на корабли... На место ж таковых, отобранных с прочих войск, патронов приказать толикое число сделать вновь. Десятидневного провианта не брать. Сей командироваемый в десант отряд был бы в готовности амбаркироваться по первому повелению¹.

«Повеление амбаркироваться», то есть грузиться на корабли, не замешкалось. И теперь, в срединные февральские дни, мушкетеры и легионеры-албанцы полковника Падейского, морские пехотинцы полковника Буасселя, того самого, что со своими ребятами штурмовал французские редуты на далматинских островах, артиллеристы подпоручика Галицкого, гренадеры, обстрелянные в ущельях Которской области, — вся эта воинская команда, давно знакомая с судовыми буднями, плыла к турецким берегам.

А дни были щедрые на солнце, на ветер. И ночами

Качаяся, звезды мигали лучами
На темных зыбях Средиземного моря.

Как ни спешили, переход из Корфу к Дарданеллам взял добрых две недели. 24 февраля 1807 года с мачт усмотрели британскую эскадру: семь линейных кораблей, четыре фрегата, пару бомбардирских судов, бриг. Ого, сила! А вкупе с сенявинской эскадрой — силища! Стало быть, гром победы, раздавайся...

Раздался гром с ясного неба: англичане у ж е обожглись в Дарданеллах, англичане у ж е отказались от совместных действий.

Давайте-ка обратимся к самим англичанам, следуя правилу выслушивать и противную сторону. Ибо древний философ утверждал, что без этого несправедлив даже тот, кто вынес справедливое решение.

Английские генералы, адмиралы и дипломаты хором жаловались на Сенявина: он-де нарочито опоздал к Дарданеллам; он-де медлил в Адриатике, поглощенный собственными заботами, не помышляя о союзнике, который один-одинешенек крейсировал в восточной части Эгейского моря. (Общему хору противоречил лишь голос боевого моряка, друга и преемника Нельсона адмирала Коллингвуда. Коллингвуд находил, что хотя Сенявин и «упрям», но англичанам он, «по-видимому, симпатизирует». Почему «упрям» — скажем после.)

¹ ЦГВИА, ВУА, д. 3168, л. 107, 107 (об.).

Историки-англичане обычно спокойнее, объективнее. Во всяком случае, там, где речь идет об отношениях русских и британских моряков. Историки уменьшают «вину» Сенявина, если не вовсе снимают ее. Они указывают, что вице-адмирал не имел права покинуть Адриатику без прямого повеления с высоты трона. Указывают, что Сенявин такое повеление получил лишь в феврале. Указывают, что «в Лондоне и Петербурге колеса союза вращались медленно»...

Всегда важно знать душевный накал человека, приступающего к трудному делу. А прорыв к Константинополю, как верно указывал автор истории королевского флота, требовал от высшего офицера «больших способностей и твердости».

Справка «Британской энциклопедии» как будто подтверждает наличие таких качеств у Джона Томаса Дукворта. Он участвовал во многих жарких боях с французами и испанцами; был награжден золотой медалью, удостоился благодарности парламента и пенсiona в тысячу фунтов годовых; он захватывал большие конвои противника, а равно и острова, принадлежавшие противнику; в чин вице-адмирала Дукворт был произведен в один год с Сенявиным.

И что же?

Этот человек, приступая к трудному делу, написал письмо адмиралу Коллингвуду, командующему британскими морскими силами на Средиземном море. Письмо, по определению английского историка, «неуверенное»; письмо, «которое, вероятно, должно было подготовить командующего к сюрпризу поражения».

И далее летописец английского флота рассуждает: «Если Дукворт действительно чувствовал недостаток своих сил для выполнения задачи, он должен был даже в столь поздний час не пытаться что-либо предпринимать. Его письмо, кроме того, показывает, что он полностью сознавал, что укрепления Дарданелл становились день ото дня все более значительными; быть может, ему и удалось бы прорваться к Константинополю, но возвращение не обошлось бы без значительных потерь. Подобная точка зрения удесятерила бы дух сильного человека. Но, как кажется, она подействовала на Дукворта иначе. угнетающе. Вице-адмирал, будто парализованный чувством ответственности, колебался и откладывал столь явственно, словно для того, чтобы Адмиралтейство поняло, как оно плачевно ошиблось в свойствах его характера».

Дальнейшее поведение Дукворта подтверждает и искренность письма к Коллингвуду, и правоту историка.

В Константинополе эскадру Дукворта приняли за настоящую грозовую тучу. Султан потребовал отчета француза, инспектора военно-инженерной службы: каково состояние береговых укреплений? Рапорт не отличался оптимизмом. В серале пали духом. Адьютанты Себастиани помчались в Дарданеллы,

французские офицеры-артиллеристы приняли команду над турецкими канонирами. Сам господин посол и персонал посольства пускали фейерверки красноречия, стараясь возбудить энергию Селима, великого визиря, капудан-паши.

Линейный корабль «Роял Джордж» под флагом вице-адмирала Дукворта и вся его эскадра, громыхая бортовыми залпами, пожаловали в Дарданеллы, подавили сопротивление шестерки турецких судов и вышли в Мраморное море, где, по слову нашего поэта, все

Покрыто дымкою... как будто сладкий сон,
Как будто светлая серебряная чара
На мир наведена и счастьем грезит он.

Так было и в те февральские дни. На море, но не на берегу. Никаких сладких снов, никаких грез. Диван объяла паника, визири и паши тряслись, гаремы огласились воем, евнухи утратили бдительность.

Однако «презренная чернь» Стамбула решилась защищать родной город. Дело закипело, как кипит оно при народной решимости. Ремесленники, лодочники, мелкие лавочники, старики и даже ребятишки бросились к береговым укреплениям с мешками земли и камней. Бедняки рушили свои жалкие лачуги, чтобы камнем и дерсом укрывать батареи.

Не остался праздным и Себастиани. Генерал, он не слезал с лошади, объезжая позиции. Посол, он толковал Селиму, что Наполеон уже на пути к Петербургу. Его помощники щедро сыпали золотом.

Между тем Дукворт, к вящему собственному удивлению, продвигался все дальше и дальше в плеске «жемчугом отяжелевших волн», пока не показался у мыса Сан-Стефано.

И тут-то произошло нечто поразительное: Дукворт встал на якорь... в двух милях от Константинополя. Чего ж он ждал, вице-адмирал Джон Томас Дукворт? Чего ж он ждал, будущий баронет и член парламента, будущий полный адмирал британского флота?

Мы располагаем несколькими объяснениями:

- а) Дукворту помешал встречный ветер,
- б) Дукворту помешал штиль;
- в) Дукворт надеялся, что перепуганные турки согласятся на переговоры;
- г) Дукворт, не завершив наступления, помышлял об отступлении, а последнее очень страшило Дукворта, ибо он видел, как растут и усиливаются береговые батареи, близ которых ему идти обратно в Эгейское море.

Объяснения, исключают друг дружку. И вдруг еще одно, принадлежащее не моряку, а дипломату. «У меня было тайное желание помешать употреблению наших морских сил», — признался английский посол в Турции мистер Эрбетнот.

Вот где зарыта собака! Пострадать Селима следовало: не лобзайся с Наполеоном. Сокрушать Константинополь не следовало: не помогать же русской армии Михельсона — она ведь уже перешла Днестр и уже овладела большой территорией на севере Османской империи.

Быть может, военные сомневались в успехе операции? О нет, по крайней мере, два специалиста из двух враждебных лагерей, да к тому ж один моряк, а другой сухопутный, находили такую операцию хотя и нелегкой, однако исполнимой: английский адмирал Коллингвуд, выученик Нельсона, и французский генерал Себастиани, выученик Наполеона. Себастиани прямо писал Талейрану, что турки непременно капитулировали бы при английской корабельной бомбардировке.

Но Дукворт, ни во что не веря, легко согласился с Эрбетнотом. Адмиралтейская инструкция предписывала вице-адмиралу отпустить Селиму тридцать минут на размышление, а по истечении получаса открыть ураганный огонь. Вместо этого Дукворт лег в дрейф.

Себастиани разразился громовым гасконским хохотом. Он сообщил Мармону в Далмацию: «Мы тешили англичан переговорами ровно столько, сколько было необходимо, чтобы привести столицу в состояние обороны».

Турки играли в прятки, а Дукворт канючил: честь моего монарха и моя честь не позволяют поддаваться обману; вы, турки, принимаете все меры к защите, а тем самым рискуете бедствием, приводя в ужас наше (английское) чувство гуманности; вы, турки, должны знать, что наш (английский) характер обладает меньшей склонностью к угрозам, нежели склонностью к действиям; поймите меня правильно—наша цель дружеские переговоры, они зависят от вас и т.д. и т.п.

Ну что тут скажешь? Разве лишь то, что сказал английский историк: турки были бы дураками, если бы обратили серьезное внимание на человека, который столько пугал, а кончил мольбою ответить ему хоть чем-нибудь.

Турки дураками не были.

И Дукворт поворотил на обратный курс.

А на обратном курсе его уже поджидали мощные дарданельские пушки. Рыча как драконы, они извергали огромные мраморные ядра. Одновременно заработала судовая артиллерия — турецкие корабли, кряжисто стоя на якорях, обратились как бы в стационарные батареи.

Джон Томас Дукворт, одуроченный, словно молоденький юнга, продирался сквозь ад. Он терял корабли. И уносил десятки убитых, сотни раненых. И конечно, не унес бы ноги, окажись турецкий артиллерийский парк совершенней.

Выбравшись, Дукворт залег, облизывая раны, у острова Тенедос. Здесь-то, неподалеку от западных «ворот» Дарданельского пролива, Сенявин и нашел англичан.

Дмитрий Николаевич сдержал естественное раздражение «мальбруковым» походом английского коллеги. Сенявин поначалу рассчитывал на повторный, но уже совместный натиск. Коллега, однако, был совершенно подавлен всем происшедшим. У него оставалось то слабое утешение, какое выражается всхлипами: а я ведь говорил, а я ведь предупреждал... Хорошо, пусть. Да теперь-то можно грянуть такой артелью, что небу будет жарко. Так как же, господа?

Русские очевидцы отдали должное некоторым морякам, подвластным Дукворту. Среди них были и такие, которые искренне соглашались с Сенявиным. Особенно командир линейного корабля — превосходный, великолепный «Помпеи» — Сидней Смит. Тот самый Сидней Смит, «стройный мужчина с пламенными глазами, изображающими вулканическую его душу», о котором упоминалось в начале нашей книжки и который очень радел об английском влиянии на Ближнем Востоке.

Увы, Дукворт затыкал уши. Наверное, из дуквортского «источника» современный нам англичанин-историк и почерпнул якобы сенявинское заключение о том, что он, русский адмирал, «никогда и не думал», будто Константинополь можно атаковать наличными силами.

Полноте! Какого бы тогда дьявола Дмитрий Николаевич двое суток уламывал Дукворта впрячься в одну упряжку? А Сенявин уламывал! Сенявин настаивал, «упрашивал всевозможно», ссылаясь на официальные документы, ссылаясь на обязанности союзника... А после просил хотя бы подкрепить русскую эскадру двумя-тремя английскими кораблями (и не потому ли Коллингвуд назвал русского главнокомандующего «упрямым»?).

Между прочим, на английском флагманском «Роял Джордже» скрывался мистер Эрбетнот, посол его величества и Турции. Дипломата Сенявин так и не увидел: дипломат сказался больным и не высовывался из каюты. Что же до Дукворта, то он сделал хорошую мину при плохой игре: задал русским капитанам парадный обед.

На обеде, устроенном корабельными коками, его превосходительство глядел куда веселее, нежели на «банкете», устроенном турецкими пушкарями его превосходительству. Он был «весьма обходителен». Думается, не столько ради гостеприимства, сколько потому, что у англичанина отлегло от сердца: неприятные (для Дукворта прямо-таки унижительные) диалоги с Сенявиным уже отзвучали. А на днях Джон Томас Дукворт пошлет к чертям это Эгейское море. Век бы не видеть здешних широт!

Да, угощая русских на своем «Роял Джордже», вице-адмирал был «весьма обходителен», любезен, радушен. И когда я всматриваюсь в портрет Дукворта, кисти Вильяма Бичи, в

свое время лучшего художника Англии, когда я всматриваюсь в лицо старого моряка, мне приходит в голову, что по натуре своей он, может, вовсе и не был человеком дурным, коварным, низким. Его темные глаза печальны, его лоб изборожден морщинами; у него две резкие вертикальные складки над переносьем и тот крупный тяжелый подбородок, который зачастую объявляют признаком железной воли, но который столь же часто — фамильное наследство, и ничего больше.

Публика, собравшаяся в кают-компании, не трогала недавнего происшествия: в доме повешенного не говорят о веревке. И не касалась мутного слушка о том, что Дукворта подкупили турки: всерьез русские этому не верили, хотя, как писал сенявинский офицер, и «сердились на англичан».

Для застольной беседы нашлись иные, более приятные темы. Ну вот разве о том, что хозяину вчера стукнуло пятьдесят девять. Или взять приключения «стройного мужчины с пламенными глазами». О, этому было о чем порассказать. В самом деле, чего стоил, например, побег из французского плена? И Сидней Смит рассказывал...

Офицеры английских кораблей перед обедом пили грог, во время обеда — портвейн и херес, после обеда — опять грог. Еще в Поргсмуте наши моряки угощались в английских кают-компаниях и лавировали восвояси, как не скрывает один из них, «с красными носами». Так было и теперь.

Однако ни грог, ни портвейн, ни херес, ни тосты, ни Сидней Смит — ничто не избавляло гостей от неприязни к хозяевам. Моряки и армейцы Сенявина — все, кого покидал Дукворт со своей эскадрой, — негодовали на союзников: они «не дождались нас в прорыве через Дарданеллы и потом отказались действовать соединенно».

Кажется, лишь злопыхатель генерал Вяземский, воркуя с «милой, верной, нежной» княгинюшкой в тиши Корфу, кажется, он один возрадовался и, все напутав, начертал в дневнике:

«Прибыл от адмирала с рейды тенедосской корвет «Шпицберген» и привез известия, что адмирал снялся с якоря с намерением пройти Дарданеллы, истребить турецкий флот, взять Константинополь. Сии намерения и предприняты были и основаны на счастье, бесплодной дерзости и хвастовстве Сенявина, но, найдя английскую эскадру только что возвратившейся из Мраморного моря под командою адмирала Дунифорта (так!), сие предприятие, как весьма безрассудное, оставлено».

С генералом Вяземским решительно не согласен английский автор пятитомного труда о британском флоте. Высмеяв Дукворта, он определил, хоть кратко, но внушительно: «Р у с к и е п о с т у п и л и л у ч ш е».

В одиночку нечего было и помышлять о прорыве к Константинополю. Напротив, в одиночестве следовало не допускать прорыва к Константинополю. Да-да, именно так: не можешь пройти сам, не пускай других — не пускай в столицу Османской империи торговые суда с провиантом. Надо обложить логовище султана, как охотники обкладывают зверя. А для строгой тесной блокады необходима база. Необходима станция, как говорили тогдашние моряки.

Сенявин указывал на остров Тенедос. Но Дукворт видел в этой базе лишь недостаток: слишком-де близок враг, каких-нибудь шесть-семь миль до малоазийского берега; возможны, мол, внезапные, как шквал, десанты; наконец, неизвестно, отнимешь ли еще у турок этот самый Тенедос.

Там, где англичанин усматривал недостаток, Сенявин усматривал и недостаток и достоинство; турецкие берега близки, это так, но близки и проливы, это тоже так. Понятно, десанты возможны. Но ведь на то и щука в море, чтоб карась не дремал. И конечно, с Тенедоса придется выбивать турок. Но ведь на то и пушки в деках, и солдаты на борту, чтоб брать силой острова и крепости.

Англичане не поддержали Сенявина и ушли; русские, собравшись на военный совет, поддерживали главнокомандующего и решили овладеть островом, которым во времена оны владели и персы, и греки, и римляне и которым вот уже четыреста с лишним лет владели турки.

В пятницу, 8 марта 1807 года, сенявинская эскадра приблизилась к Тенедосу. Остров был невелик. Его покрывали, сливаясь в темно-зеленые пятна, виноградники. Одна лишь приметная издали гора вздувалась посреди острова.

Турецкому начальнику предложили капитулировать. Верный долгу, он отказался. Его противник, тоже верный долгу, отказался принять отказ. И начал дебаркироваться, как военные называли высадку десанта. Всею операцией руководил контр-адмирал Грейг.

Высадку обеспечили огнем с кораблей. Плацдарм на берегу очистили, десантный отряд ступил на остров двумя колоннами. Одной командовал полковник Буассель; его имя упоминалось, когда речь шла о боях с французами на далматинских островах. Другой командовал полковник Падейский; Федор Федорович служил в полевых войсках тридцать пять лет; за все эти долгие годы он «в штрафах и домовых отпусках не бывал», но зато бывал в суворовских походах, в том числе и в итальянском¹.

¹ ЦГВИА, ВУА, д. 3168, л. 59 (об.).

Буасселю, наступая долиной, предстояло опрокинуть турецкий правый фланг, а Падейскому, продвигаясь к холмам близ крепости, — левый фланг.

«Сие движение, — рассказывает высший армейский офицер, — угрожало неприятелю нападением на его тыл. Почему он пред колонною Буасселя не держался, но не переставал ретироваться по мере того, как видел в тылу высоты, занимаемые колонною Падейского.

Наконец, турки, пред колонною Буасселя бывшие, ретируясь, дошли до ретрашименту (вал и ров. — *Ю. Д.*), сделанного перед форштадом (предместье у города или крепости. — *Ю. Д.*), засели в оном и упорно защищали до тех пор, пока колонна Падейского совершенно не опрокинула неприятеля с гор и не заняла оные.

Оттуда отряжены две роты гренадер атаковать неприятеля, в ретрашименте сидевшего, и турки, лишь только увидели сей отряд, к ним в тыл идущий, оставили ретрашимент и бросились в крепость.

В сие время Падейский приказал спуститься батальону Геденова с горы, очистить форштадт и занять оный одною ротою и албанцами (то есть легионерами-стрелками. — *Ю. Д.*).

После сего крепость находилась в осаде. Уже войска были на ружейный выстрел от крепости, но неприятель во весь день и на другой день вел сильную пушечную пальбу, но она была почти без вреда из-за выгодного для наших местоположения. 11-го числа крепость сдалась на капитуляцию, делающую честь турецкому гарнизону».

Буассель и Падейский в ходе боев «нарушили» правило: десантники обычно несли потери большие, нежели противник, отражающий десант, а на Тенедосе русские потеряли впятеро меньше неприятеля.

Надо сказать, турки покорились не одной лишь силе оружия.

Энгельс однажды заметил: личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает. Пленные признавали, что русские, исполняя строжайшие приказания Сенявина, обращались с ними на редкость предупредительно. Шкиперы судов, захваченных в качестве приза, вторили французским солдатам и офицерам. Коменданты крепостей, взятых русскими, заверяли, что вице-адмирал поначалу пытался миром разрешить спор.

И на Тенедосе вице-адмирал тоже пытался убедить противника в напраслине кровопролития. Он письменно обещал отпустить гарнизон под честное слово не братья больше за оружие; мало того, обещал всем сохранить личное оружие.

Передать послание предложили кому-либо из пленных турок. Те испуганно отнекивались. У них был свой резон: по турецкому обыкновению, каждый пленник считался изменни-

ком. Никакие ранения, никакие обстоятельства оправданием не служили.

Но вот на борт сенявинского корабля взошла молодая турчанка. Она оказалась женою местного ремесленника. Прижимая к груди ребенка, Фатьма сказала адмиралу:

— Я отнесу письмо твое, я хочу убедить наших, что мы во врагах нашли друзей. Обязанность трудная. Мне вряд ли поверят, что великий начальник христиан — добрый человек. Я иду на верную смерть, но надеюсь, что сумею ослабить вражду к вам. — Фатьма опустила на колени, поцеловала ребенка и протянула Сенявину: — Вот тебе дитя мое. Если меня лишат жизни, не оставь его своими наставлениями и помощью.

Дмитрий Николаевич растрогался и испугался. Он испугался за Фатьму. Ведь турецкие паша не делали различия между пленными мужчинами и пленными женщинами: первые — изменники, вторые — обесчещенные; и те и другие подлежали смерти.

Дмитрий Николаевич, пишет Броневский, «будучи сам отцом, поколебался в душе, желая отказаться от сей жестокой жертвы, но героиня уже удалась. С редкою твердостью сошла она на шлюпку и ни разу не обратилась к сыну, который голосом призывал ее и простирал к ней руки».

Заиграли трубачи, русские прекратили огонь. И вот Фатьма все той же мелкой, уверенной поступью вышла на открытое пространство перед крепостью. С ближнего бастиона грянул залп. Подняв руку с пакетом, Фатьма продолжала путь.

«Комендант, — рассказывает Броневский, — принял от нее письмо и, выслушав, какое уважение Сенявин оказал к их обычаям, тронутый снисхождением, которого по предубеждению не предполагают турки в христианине, собрав совет, по общему желанию определил послать чиновника с согласием сдать на предложенных условиях».

Сенявин в точности исполнил свое обещание. «Мы ценим твое снисхождение, — заверили адмирала признательные турки, — и постараемся доказать нашу благодарность».

Солдаты и матросы расположились на Тенедосе по-домашнему. С кораблей свезли скот и живность. Быстренько устроилось то, что теперь называют подсобным хозяйством, и служивые принялись хозяйничать, вспоминая с тайной грустью свое давнее деревенское житье.

На тихом, каменистом острове вздымалась гора. С горы виднелся малоазийский берег, холмы Трои. С горы открывался и Дарданелльский пролив — череда волн, теснимых встречным течением... Троя была памятником гомеровских героев, отшумевших древних войн. Эгейские волны блистали под солнцем, как поле будущих, уже совсем близких боев.

Обладая хоть и не вполне надежной опорой на Тенедосе и

вызвав из Корфу еще два линейных корабля, Сенявин блокировал Дарданеллы. В сущности, Дмитрий Николаевич повторял свои действия в адриатических широтах: он пресекал вражеские пути сообщения.

Однако в Адриатике Сенявина не ожидало столкновение с крупными морскими силами — у французов их не было. А здесь, в Эгейском море, Дмитрий Николаевич мог встретить мощный отпор. И вот что главное: он ж е л а л сразиться на море.

Если дарданелльские батареи не позволяли ему, лишенному союзников, войти в проливы, то он хотел, чтобы противник вышел из проливов. Сенявин не только ждал морского сражения — он его добивался. Выманивая турецкий флот под огонь своих пушек, вице-адмирал в марте и апреле произвел демонстрации у Салоник, у Смирны, в заливе Сарае.

А турки не показывались.

Почему? Ведь столица, несомненно, испытывала серьезные продовольственные трудности — подвоз-то почти прекратился... А Селим ведь обладал флотом куда лучше того, с которым имели дело Войнович, Ушаков, да и он, Сенявин, в минувшем веке...

Турки не покидали Дарданелл.

Сенявин смотрел в подзорную трубу. Там, за трепетным чистым горизонтом, крылся Константинополь.

Когда-то, молодым офицером, командиром пакетбота «Карабуг», а потом, при Ушакове, командиром «Св. Петра», Дмитрий Николаевич не раз бывал в Константинополе.

7

На подходах к Золотому Рогу всегда возникало ощущение театральной декорации: купола мечетей, стремительные иглы минаретов и кипарисы, кипарисы. Взять хотя бы итальянские города: все в открытую, все нараспашку. Не то Константинополь: будто б тайна, притягательная и манящая, что-то шепчущая, как плеск фонтанов.

А потом перемена — ничего театрального, ничего загадочного: пестро и шумно, жарко и пыльно, грязно и бедно. Толпа, разноплеменная и разноязыкая, спешит куда-то, горланит что-то, платья, то длинные, то короткие; шапки и шляпы, фески и какие-то колпаки. Ей-ей, вавилонское столпотворение, странный мир, будто брошенный как попало.

Ровно в полдень в галереях бесчисленных минаретов появляются муэдзины: сзывать правоверных на молитву. Подойдешь к одному, услышишь голос мрачно-торжественный; подойдешь к другому — пронзительный и дрожащий; а третий льется, приятный и свободный, и все эти голоса создают как бы

хор, плывущий в поднебесье. И право, есть в этом хоре величие и торжественность. «На молитву, на молитву! Замените земные помыслы воззваниями к богу... Нет бога, кроме бога, и Магомет пророк его... На молитву, на молитву...»

А после молитв — земные помыслы. Куда от них денешься? Земные помыслы в дощатых домах, размалеванных разными красками, с тростниковыми решетками на окнах. И в трактирах Галаты, о которых дураки говорят, что они «опозорены развратом». И на базарах, чем-то напоминающих московские, в лавочках, где, честно сказать, маловато пресловутой азиатской роскоши. И на лицах каких-нибудь дельцов, когда, встретившись в улочке, складывают они свои зонтики — знак почтения, как у европейцев снятие шляп. И у офицеров в их белых и алых нарядах, и у седых пашей с одним или несколькими бунчуками, и у юных пажей в зеленых платьях.

Земные помыслы не только на земле. Они владеют и людьми морей. Поглядели б вы на купеческие суда у галатской набережной! Рядами, рядами, любой флаг увидишь. Изюм всех судов тотчас отличишь средиземноморские. Отчего? Да оттого, что и турки, и греки, и алжирцы, и далматинцы, будь то на ходу, будь то на якоре, работая корабельные работы, поспевают себе всякого рода припевками. А «певчие-то» не кастраты — голосины как дубины. А в регентах у них не старичок-дьячок, нет, бури, ветры, штормы. Двадцать — тридцать работников-«певчих» та-ак голосают, что и труба иерихонская прозвучала б свирелью.

А стамбульские лодочники? О, это племя достойно пристального внимания. Особенно ежели ты моряк, ценящий лихость, статью, сноровку. Да-а, доложу вам, стамбульские лодочники... Вот ты идешь к пристани. Там поджидают кайки. Почтенный староста пристани, оставив дымящуюся трубку, встречает тебя... Но постойте. Что ж такое кайки?

Вообразите эдакие рыбищи от тридцати до шестидесяти футов длины. Не вовсе плоскостонные, они сидят неглубоко, вздымая черные борта. Ты умащиваешься в кайке (осторожно, осторожно — кайк опрокидывается, как душегубка!), и ты служишь вроде бы балластом. Седоки помещаются в центре, а гребцы на банках. Треть кайка — его носовая часть; узкая и длинная, она заканчивается словно бы копьем. В сущности, носовая часть кайка подобна балансиру лодок Южного океана — она тоже для остойчивости.

Делают кайки из кленового или орехового дерева. В нем, то есть в этом дереве, не только легкость и прочность, но, так сказать, и природное изящество. Под резцом стамбульских ремесленников это изящество как бы выходит наружу в виде арабесок, тщательно и чисто выделанных.

Вообще-то, кайки черны, как фигуры арапов на бушпри-

тах кораблей Средиземного моря. Но вельможи разезжают на белых, а то и вызолоченных. По числу гребцов, как по числу бунчуков у пашей, нетрудно определить, кто едет. Тремя гребцами располагают лишь очень богатые персоны или те, кто пользуется особенным благоволением дивана. А повелителя правоверных возят по Босфору двадцать шесть гребцов... Да, забыл сказать: есть еще и базар-каики. Это вроде бы дилижансов; они доставляют пассажиров из предместий...

Итак, староста указывает твой каик. Подходят гребцы; по тамошнему зовут их — каикчи. Черт подери, что за ребята! Залюбуешься, да и только! Их движения выдают силу, сопряженную с грацией. У них на темени маленькие красные фесочки с синими кисточками; шелковая рубаха распахнута до пупа; белые шаровары засучены до колен. Вот и весь наряд. А что ж еще надо?

Работают они так, как ни на одном флоте гребцы не работают. Весла у них короткие, с широкими лопастями; вода сразу вскипает как бешеная. Любо-дорого глядеть на каикчи: возьмут шибкий ритм и бьют, бьют, мерно бьют, точно машина какая, и будто не чувствуя напряжения. Только жилы, вздуваясь, оплетают их руки, грудь волосатая блестит от пота, щеки едва не лопаются от этого «уф», «уф». До тридцати с лишним ударов в минуту дают каикчи. Ну и каик — стрелою, молнией! Против течения, против ветра идучи, гонят, стервеццы, по семь-восемь миль. И так, представьте, не один часик, нет — два, три, четыре кряду.

А вокруг такая синь, такой блеск! Летишь, ничего не чувствуешь, кроме скорости. И она, скорость-то, чудится синей и блестящей, как сам этот Босфор. Летишь мимо других таких же гонцов, мимо отмелей, обозначенных красными вежами, на которых белые чайки. Хорошо! Да, а на чаек там строгий запрет — не смей стрелять чаек. И на дельфинов запрет. Правильный запрет, ибо дельфины — наилучшая прелесть морей.

А утро на Босфоре? Чудо, когда легонький туманец и небо в нежной пестроте. Вечером другое. Вечером, катаясь на каике, видишь тысячи рыбаей. Удят они с той флегмой, с тем терпением, какие, сдается, присущи одним туркам. А в кофейнях сумерничают, слушая сказочников. Сказочники сказывают любовные истории, и непременно волшебники... Вечером тихо в Константинополе: огни, табаком пахнет. И луна. Верно говорят, что тамошняя луна ярче лондонского солнца и, уж конечно, намного теплее: она греет воображение...

Пестрые видения доносил к Сенявину ветер проливов. И многое припоминалось Дмитрию Николаевичу. Но он ждал еще одного «видения»: парусов и мачт вражеского флота. И потому главнокомандующий не мог не думать об этом флоте, с которым хотел помериться силами.

Военный флот Турции уже не был таким, каким встречал

его Сенявин на Черном море в екатерининские времена. Султан Селим III не слишком преуспевал в деле внутренних реформ, но преобразовал вооруженные силы империи, особенно флот. Собственно, не он, Селим, а его капудан-паша Кючюк Хусейн.

Судьба Кючюк Хусейна необычна. По рождению грузин, он совсем зеленым угодил в турецкое рабство. Селим его заметил и приветил. Грузин был человеком даровитым. Сделавшись адмиралом, он не стал кейфовать на мягких подушках, покуривая кальян и потягивая шербет.

Кючюк Хусейн пресек хищения казенных денег и припасов. Христос изгнал торговцев из храма, а он — с кораблей, где лавочники гнездились со своими лавками. Затем пригласил иностранных кораблестроителей. Появились и турецкие «мастера доброй пропорции». Именно о турках-судостроителях сообщалось в русской дипломатической депеше: «Следует восхищаться успехами, которые они проявляют в этом искусстве».

А другая депеша извещала (как раз когда Сенявин был в Адриатике), что турки создали «флот, который и по устройству и по красоте кораблей может быть приравнен к флотам народов, наиболее ревностных в этом отношении».

В пору появления Сенявина у Дарданелл Селим держал двадцать три линейных корабля, двадцать фрегатов, свыше шестидесяти корветов и бомбардирских судов, шлюпов и галер.

Русский моряк, видевший эти эскадры, подтвердил мнение дипломата-наблюдателя: «Турецкий флот очень красив; корабли хорошо ходят, вооружение порядочное, управление кораблями, к удивлению, довольно хорошо». И еще одно подтверждение: «Я рассматривал турецкое кораблестроение и арсенал. И то и другое в удивительном порядке», — писал офицер Краснокутский, посетивший Стамбул в восемьсот восьмом году.

Следовало отдать должное и личному составу. Сенявин вовсе не считал турецких моряков трусами. Он с ними сражался и мог засвидетельствовать их упорство. К тому же Сенявин, конечно, знал случай, когда турецкие матросы (быть может, бывшие стамбульские каикчи) доказали свою храбрость... под русским знаменем.

«Князь Потемкин. — писал мемуарист, — при взятии Очакова взял также в плен целую флотилию, стоявшую по причине льдов в заливе... Сии турки отправлены были в Петербург. Екатерина II за недостатком людей послала их на гребной флот действовать против шведов в качестве матросов. По окончании сражения, в котором и они действовали с довольною храбростью, увидали они, что всем нижним чинам выданы были медали, а им вместо того только по серебряному

рублю. Они были крайне недовольны этим и просили, чтобы и им даны были знаки отличия. Екатерина прислала им челенги, или серебряные перья, с надписью «За храбрость» для ношения на чалмах, потому что они и в нашей службе одеты были по-турецки».

Создавая новый флот, Кючюк Хусейн создавал и новые флотские экипажи. Внешне матросы были прежними: небольшая чалма; короткая, подпоясанная кушаком куртка; шаровары по колено и башмаки на босу ногу. Но, так сказать, внутренне они несколько переменялись. Выучкой еще не сравнялись с русскими или английскими, однако уж не смахивали на «плавучую толпу».

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Щеголь, тогда еще не плешивый, в последний раз мелькнул перед нами в одном узеньком мундирчике, хотя на дворе стояла январская стужа: щегольнул на крещенском параде.

После Прейсиш-Эйлау, этой, по энергичному определению Наполеона, «резне», Александр наградил Беннигсена орденом Андрея Первозванного, которого удостаивался редкий из верноподданных, но зато еще в колыбели удостаивался каждый молокосос из царствующей фамилии.

Посылая награду, царь послал и письмо: когда ему, Александру, полезнее для блага России прибыть в действующую армию? Беннигсен, надо полагать, не заблуждался в оценке полководческих талантов сюзерена (генерал, прости господи, заблуждался в оценке собственного таланта); однако он ничуть не ошибался в характере императора, а потому и отвечал: государь, армия вас ждет. Ответ доставил Александру «чувствительное удовольствие».

Слух о предстоящем «подвиге» выпорхнул из Зимнего. Многие помнили вояж Александра в Аустерлиц. «Всеобщее обожание» истаяло. И когда некоего флигель-адъютанта, вестника близящегося отъезда государя, спросили, хорошо ли идут дела, тот отозвался двусмысленно:

— Отвечу, как путешественник, возвратившийся из Рима: в Риме столько хороших дел, что не осталось хорошего дела.

Царь пустил вперед гвардию, квартировавшую в Петербурге, потом две дивизии из Москвы и Калуги, а вслед отправилсь самолично.

В апреле 1807 года Александр прибыл к армии. Аустерлиц не прошел для него даром. Он объявил, что присутствие императора «не вводит ни в каком отношении ни малейшей

перемены в образе начальства». (Вот кабы такой приказ да при Кутузове!) И царь занялся тем, в чем знал толк: выправкой, шагистикой, амуницией.

Наполеон предпочитал, чтобы его мирные условия записывались не на дипломатическом столе с зеленым сукном, а на «военном барабане». После февральской «резни», когда ядра, падавшие среди могильных крестов, едва не поставили крест на самом императоре, после Прейсиш-Эйлау Наполеон не очень-то, видать, надеялся на «военный барабан». Он готов был сесть, как теперь сказали бы, за «круглый стол»: «Я полагаю, что союз с Россией был бы чрезвычайно выгодным».

Наполеон искал мира, Александр ответил наступлением. И в ответ на такой ответ последовало июньское сражение у глубокой реки Алль, где стоял восточнопрусский город Фридланд.

Беннигсен, как говорится, совершил не преступление, а нечто худшее: он совершил грубый просчет — скучил войска в лощине, имея за спиною водный рубеж с обрывистым берегом и всего лишь четырьмя мостами, да и то три из них были понтонные.

Наполеон обрадовался:

— Не каждый день поймаешь неприятеля на такой ошибке!

Сражение разразилось поутру, когда розовела река, шпили и башенки Фридланда. А к вечеру Беннигсен был разжалован из «победителя непобедимого», в каковые он сам себя пожаловал после Прейсиш-Эйлау.

Денис Давыдов писал, что в ту эпоху «состав нашей армии был превосходный. Она почти вся состояла из широкоплечих усатых ветеранов века Екатерины, времен потемкинских и суворовских». Французский историк отметил «стойкость русских перед лицом смерти». Но, попирая смерть, не всегда попирают врага. Ветераны были суворовские, это правда. Увы, им недоставало Суворова.

В последующие дни русская армия уходила на правый берег Немана, туда, где песчаные отмели и заливные луга. Последней переправлялась горстка казаков. Их преследовали на рысях конные егеря и драгуны. Впереди мчался пестрый всадник, его сабля горячо сверкала: то был Мюрат. Маршал уже взлетел на мост, когда казаки подожгли переправу...

Реванш у реки Алль изменил умонастроение Наполеона. К тому же он убедился, что австрийцы не примут сторону русских. Да и англичане у Дарданелл показали явное нежелание сражаться. И все ж Наполеон не отказывался от «круглого стола». Но теперь за этим столом он желал видеть русского царя, а не какого-то генерала, хотя бы и с орденом Андрея Первозванного.

Там, где недавно полыхала переправа, посреди светлого Немана, французские саперы построили два плавучих павильона, похожих на купальни. Один большой, другой помень-

ше. На большем, со стороны, обращенной к правому берегу, означалась зеленая литера А, а на той, что глядела в сторону левобережья, — литера N.

Близ плота торчали обгоревшие сваи уже не существующего моста, вода здесь морщилась, завиваясь воронками. И текла далее, как течет поныне, подмывая песчаные косогоры, текла, чтобы ниже городка Тильзита разделиться на несколько протоков.

Солнце уже стояло высоко, когда на дороге показались экипажи и кавалькада. Вздывая пыль, они ехали к селению, вернее к большой усадьбе с корчмою. На французской стороне Немана хорошо различались ряды войск. А тут, на луговой стороне, звякал удилами эскадрон кавалеристов, да еще у берега приткнулась барка с гребцами.

Коляски остановились, верховые спешили. Из переднего экипажа вышел Александр. На нем был парадный мундир Преображенского полка; свитские тоже были в парадном платье.

Император вошел в корчму, положил на стол шляпу с белым плюмажем, рядом бросил лосиные перчатки. Александр сел. Он казался спокойным. Лишь казался. Это и понятно: с минуты на минуту он встретится с императором французов. Будь это наследственный монарх, государь по крови, повелитель божьей милостью, будь это, так сказать, обыкновенная августейшая персона, Александр, конечно, испытывал бы другие чувства, чем те, которые обуревали его при имени «Наполеон».

Пушкин подчеркивал двойственность Александра Павловича: «к противочувствиям привычен». «Противочувствия» царя на берегу Немана были непривычные. И оскорбление: Наполеон однажды публично назвал его отцеубийцей. И унижение: наследник Петра и Екатерины нынче в зависимости от «узурпатора и выскочки». И самолюбие, получившее два таких зубодробительных удара, как Аустерлиц и Фридланд. И что-то похожее на мистический трепет пред цезарем, который поверг к своим стопам гербы почти всей феодальной Европы.

Но клубились не только эмоции — внятно говорил разум: необходима передышка. Было сознание множества просчетов, толкнувших к роковому неманскому рубежу. И еще была тяжесть «шапки Мономаха»: ему, Александру, отвечать за все, решать все. Ему, Александру, и никому другому, ибо теперь уж нельзя, невозможно свалить вину ни на Кутузова, ни на Беннигсена, ни на Чарторижского, ни тем паче на какого-нибудь Убри...

— Ваше величество, едет! — раздалось в горнице.

— Едет... едет, — заволновались свитские.

Александр встал, надел шляпу, натянул перчатки и пошел к выходу, храня наружную невозмутимость (мельком, про себя радуясь, что хранит ее), твердо выставляя ноги в коротких блескучих ботфортах и тугих белых панталонах.

На другом берегу Немана катился восторженный гул: старая гвардия приветствовала своего полубога. Наполеон скакал махом, увлекая, как комета, яркий хвост всадников.

Теперь слово Денису Давыдову, очевидцу: «Но вот обе императорские барки, отчалив от берега, поплыли. В эту минуту огромность зрелища восторжествовала над всеми чувствами. Все глаза устремились и обратились на противоположный берег реки к барке, несущей этого чудесного человека, невиданного и неслыханного со времен Александра Великого и Юлия Цезаря, коих он так много превосходил разнообразием дарований и славою покорения народов просвещенных и образованных. Я глядел на него в подзорную трубу, хотя расстояние до противного берега было невелико, и хотя оно сверх того уменьшалось по мере приближения барки к павильону. Я видел его, стоявшего впереди государственных сановников, составлявших его свиту, особо и безмолвно...

Обе барки почти одновременно причалили к павильону, однако барка Наполеона немного опередила, так что ему достало несколько секунд, чтобы, соскочив с нее, пройти скорым шагом сквозь павильон и принять императора нашего при самом сходе его с барки; тогда они рядом вошли в павильон. Сколько помнится, все особы обеих свит не входили в малый павильон, а остались на плоту, знакомясь и разговаривая между собою».

Свидания, начатые на воде, продолжились на суше: Наполеон пригласил Александра в Тильзит. Пошли парады и обеды, верховые и пешие прогулки, обмен орденами и тостами, вся та помпезная, мишурная, но все ж полная какого-то пьянящего аромата жизнь, за которой скрывалась другая — серьезная, напряженная, сложная жизнь «высоких договаривающихся сторон».

Главным была не «раскройка» европейской территории, не Пруссия и не позолоченная пиллюля в виде Белостокской области, преподнесенной императором французов своему новоявленному «брату». Главным было заключение союза, присоединение России к континентальной блокаде, то есть к системе полной изоляции, полного удушения Англии.

Во все дни необычного randevu императоры влюбленно глядели друг на друга. Наполеон был мастером обольщений, и Александр казался обольщенным. Александр умел чаровать, и Наполеон казался очарованным.

Царедворцы, говаривал Вольтер, скрывают истину, историки ее обнаруживают. Тильзитскую истину обнаружили и современники. Правда, не те, что были ослеплены сиянием двух «солнц», а те, что находились от «солнц» подалее. Аустерлиц и Фридланд они восприняли как поражения; Тильзит — как пядно.

Тогдашний лейб-гвардейский офицер Денис Давыдов

позднее вспоминал: «Общество французов нам ни к чему не служило; ни один из нас не искал не только дружбы, но даже знакомств ни с одним из них, невзирая на их старания, вследствие тайного приказа Наполеона, привлекать нас всякого рода приветливостями и вежливостью. За приветливость и вежливость мы платили приветливостями и вежливостью — и все тут. 1812 год стоял уже посреди нас, русских, со своим штыком в крови по дуло, со своим ножом в крови по локоть».

Тильзит был поворотом крутым и резким. Поворотом, чудилось, внезапным. Присоединиться к континентальной блокаде значило подписать смертный приговор русско-английской торговле, позарез необходимой российским помещикам и купцам. Это, конечно, било по карману, по бюджету, по мощне. Но, кроме «экономической обиды», в реакции современников на Тильзит была еще и обида национальная...

Июльским днем Александр переезжал Неман. Наполеон, стоя на берегу, дружественно делал ручкой. Передавали, что царь будто бы шепнул вконец униженному прусскому королю: «Потерпите, мы свое воротим». Передавали, что царь заверлял близких: «По крайней мере я выиграю время».

И это было так, если даже это и не так было.

Подобные прозрения — «воротим», «выиграем время» — явятся позже, когда уж и впрямь «воротили» и «выиграли». Такие «перескоки» памяти естественны, хотя б потому, что очень часты. Уже после двенадцатого года, п о с л е заграничного похода, п о с л е низложения Наполеона, после всего этого не какие-нибудь блюдолизы, а люди искренние совершенно искренне изумлялись «мудрой предусмотрительности нашего монарха, приуготовившей спасение Европы». Так кажется, так видится, так думается после того, как история уже произнесла свое последнее слово.

В Тильзите летом 1807-го Александр Павлович ни о каком возмездии, ни о каком одолении Наполеона и не помышлял. Он помышлял лишь о том, чтобы пожар не перекинулся на правый берег Немана и далее, далее. И тогда, в Тильзите, речь даже шепотом не шла, что мы, мол, «свое воротим». Речь шла о том, чтобы отдавать. Отдавать и жертвовать.

Одной из первых жертв был Сенявин, его флот, его люди. Их труды, их подвиги.

2

Вдруг поймал себя на том, что мое изложение — как пара часов, идущих вразнобой. Одни спешат, другие отстают. Да что прикажете делать, если пишу о человеке, находившемся волею судьбы в сложной игре исторических сил?

Может, следовало разбить страницы пополам? Левый стол-

бец — события на севере, в главных квартирах и столицах. А правый столбец — события на юге, в русском флоте, в ставке Сенявина, на линейном корабле «Твердый». И вот оно, подобие синхронности.

Но, право, даже согласись на такое издатели, читатель то спешил бы левой стороной, оставляя правую, то перебежал бы на правую, забывая левую. А на долю автора и в этом случае достались бы одни синяки и шишки.

Заранее смирившись, он просит вернуться в Эгейское море, к Дарданеллам. Вернуться в мартовские дня 1807 года. Еще не было ни погрома у реки Алль, ни отхода за Неман, ни павильона на плоту, ни свидания двух императоров.

Сенявин продолжал блокаду Дарданелл.

Сенявин продолжал манить вражеский флот из проливов.

Ни в марте, ни в апреле турецкие корабли не показывались.

Легко обвинить турецкое командование в трусости. Но почему бы не «обвинить» в осмотрительности? В самом деле. Если важнее всего было сохранить Константинополь, то после ухода англичан русский адмирал не мог решиться на фатальный бросок под огонь дарданелльских батарей. Однако русские располагали не только сенявинской эскадрой, но и Черноморским флотом. Резонно было бы ожидать удара по Константинополю с востока, со стороны Босфора, из Черного моря.

А такая идея занимала петербургских стратегов. Здравый смысл водил рукой адмирала Чичагова, когда он составлял инструкцию для маркиза де Траверсе, главного командира Черноморского флота: переход Севастополь — Босфор, высадка двадцатитысячного десанта.

Бумага, адресованная Траверсе, была отправлена почти в те же дни, что и бумага, адресованная Сенявину. Но из Корфу на бумагу ответили действиями, а с черноморских берегов — бумагой.

Не будем вешать всех собак на маркиза. Часть собак повесим на министра. Чичагов находился в Петербурге, в парах политической кухни, и ему, ей-богу, хорошо было бы подумать о черноморцах хотя бы в середине восьмьсот шестого.

А теперь, в восьмьсот седьмом, когда гром-то грянул, Траверсе оставалось или креститься, или отрешиваться.

Он отрешивался: то, ее, пятое, десятое. Нельзя сказать, что маркиз был кругом не прав. На флотских он надеялся, а вот армейцы, необходимые для десанта... Армейских офицеров не доставало, а солдат слишком «доставало» — необученных и необстрелянных.

Сенявин уже был на пути к Дарданеллам, а маркизов фельдъегерь с кожаной сумкой на груди был уже на пути к Петербургу. Сенявин уламывал Дукворта, а Чичагов, ссылаясь на Траверсе, доказывал царю невозможность босфорской экс-

педиции. И получилось, что Дмитрий Николаевич лишился поддержки как союзников, так и соотечественников.

Турки, надо полагать, ждали, каково обернется с «восточной угрозой» Стамбулу: выступит ли Черноморский флот? Он и выступил. Да только не в сторону Босфора, а в сторону Кавказа: в апреле у турок отняли Анапу. И само по себе отправление черноморцев в «другую сторону», и, очевидно, агентурные сообщения убедили турецкое командование в отсутствии серьезной угрозы столице Османской империи из Черного моря.

Но была еще одна угроза иного свойства. Она гнездилась в самой столице. «Чернь» все туже затягивала кушаки и все чаще поддегивала шаровары. У «черни» и раньше урчало в брюхе, а тут еще сенявинская блокада пресекла подвоз продовольствия. Армия, надежда Селима III, ушла на север, где щетинились штыки генерала Михельсона. Феодалы и духовенство, давно озлобленные преобразованиями, подбивали ямаков (солдат вспомогательных частей) и готовили дворцовый переворот.

Не потому ли султан все настойчивее помышлял о сражении с Сенявиным? Победа была необходима и для престижа, и для разрешения кризиса. Не настаиваю на полноте объяснения, однако предполагаю, что и подобные соображения являлись «тени аллаха на земле».

А Сенявин не только не терял надежды на столкновение с неприятелем, но верил в близость этого столкновения.

В середине мая 1807 года в петербургских кружках и гостиных ходили по рукам письма, присланные с сенявинской эскадры. В уже не раз цитированном дневнике С. П. Жихарева записано:

«Свиньин сказывал, что получил письмо от брата своего, Павла, находящегося при адмирале Сенявине, наполненное любопытными подробностями о наших морях. В этом письме, между прочим, Павел Свиньин намекает, что скоро, может быть, мы услышим о сражении нашего флота с турецким, которое, кажется, должно произойти неминуемо и произошло бы уже, если бы английский адмирал Дукворт захотел оказать нам какое-либо содействие; но бездействие и нерешительность англичан непостижимы». И в другом месте, со ссылкой на подчиненного Сенявина, инженерного полковника: «Манфреди пишет жене: «По-видимому, мы накануне сражения. Я надеюсь, что его исход принесет счастье и славу нашему флоту».

Эти записи сделаны в Петербурге, когда уж отгремел бой, известный истории под именем Дарданелльского.

Во вторник, 7 мая 1807 года, Сенявин получил долгожданное известие: турецкая эскадра как будто бы вытягивается из пролива! Ну что ж, труби, труба? Нет, золоченые львы на ту-

рецких форштевнях, кажись, дремали и не готовились к прыжку¹.

Восемь линейных кораблей, шесть фрегатов, четыре шлюпа и четыре брига да полсотни мелких судов под командой капудан-паши Сеида-Али словно не смели оторваться от дарданелльских надежных и грозных батарей.

Затем турки, как устыдившись, зашевелились, но движение было робким, с оглядкой на пролив; его зеркало, казалось, гипнотизировало турецких капитанов.

10 мая потянул зюйд-вест, ветер, «дующий в наши паруса». И турки немедленно снялись с якорей: отступить! отступить! Но и Сенявин тотчас выбрал якорные канаты: наступать! наступать! И повелел сигналом с флагманского «Твердого»: «Нести все возможные паруса».

«Стремительная атака наша была ужасна», — говорит Захар Панафидин, сенявинский мичман, впоследствии известный кругосветный мореплаватель.

Неприятель бежал. Да так беспорядочно, что спутал бы планы преследователей, когда бы каждый из командиров не действовал, выражаясь флотским термином, «по способности», то есть насколько не заботясь о строе, руководствуясь собственной сметкой, по своей, не скованной флагманом, инициативе.

Бой (или серия боев) длился пять часов. В пылу его русские ворвались в Дарданеллы и попали под огонь береговых батарей, как и сами турецкие моряки, ибо наступила темнота и береговая артиллерия лупила сплошно, не разбирая своих и чужих. Едва ли не около полуночи сенявинцы выбрались из пролива.

Сражение протекало в сложном для навигации, тесном районе: близость берегов, обилие отмелей, предвечерний туман, потом тьма. Оно развернулось на водах, известных туркам, естественно, лучше, чем русским. Но Сенявин загодя знакомился с акваторией и знакомил с нею подчиненных. А в ходе боя высылал «впередсмотрящих» — легкие суда. Потому-то никто из сенявинцев не угодил на мели и не приткнулся к берегу.

Это была победа. Но это не был разгром. Дмитрий Нико-

¹ Обыкновение украшать форштевни кораблей было тогда почти повсеместным. Оно возникло еще в Древнем Египте. У греков и римлян скульптурные «акростоли» (наконечники) почитались священными, как флаг. Особенную пышность корабельная скульптура обрела в средние века.

Русские тоже не забывали украшать свои суда, в былинах есть о том упоминания: «Нос, корма — по-туриному, бока выведены по-звериному». Во времена Сенявина основными мотивами для «оснащения» корабельного ростра были античные воины. Нептун с трезубцем, дельфины и наяды.

В прошлом веке корабельной скульптурой занимались такие мастера, как Клодт. Пименов, Микешин.

лаевич не чувствовал удовлетворения, а лишь несколько утолил чувство, которое Пушкин определял как «свирепый жар героев».

Адмирал воздал должное отваге матросов и офицеров. Но он достаточно высоко ценил их, чтобы довольствоваться исходом дела. Его призыв не почивать на лаврах основывался вот на чем.

В азартной сумятице боя как-то позабылся наказ Дмитрия Николаевича: срезать огнем мачты и паруса, тем самым «обезноживая» противника. Вместо того, пишет прямодушный Панафидин, «наши люди, желая более сделать вреда, стреляют в корпус корабля, но эта стрельба невыгодна; неприятель, желающий уйти и имея целый рангоут, всегда успеет в этом». А турки очень и очень ж е л а л и у й т и.

Запальчивость столь обуюла командиров (даже многоопытного контр-адмирала Грейга), изголодавшихся по настоящей баталии, что они бросались то на одного, то на другого турецкого капитана, не завершая гибели каждого... И еще Сенявин попрекнул экипажи за чрезмерный, по его мнению, расход боезапаса: подчас «на авось», палили, сердился Дмитрий Николаевич.

Зато Сеид-Али прикинулся вполне удовлетворенным. Поражение изобразил он отражением. А причины чудовищной убыли в живой силе, причины убыли в корабельном составе капудан-паша «исследовал» на свой манер. Можно было бы сказать — на азиатский, когда бы столь же основательно нельзя было бы сказать — на европейский. Так вот, старший свалил вину на младшего. Это было в высшей степени несправедливо. Но старший еще и заклеил младшего изменником. Это было в высшей степени ужасно.

Младшего флагмана звали Шеремет-бей. Вряд ли кто-либо другой из адмиралов турецкого флота обладал большими способностями, большими знаниями, чем Шеремет-бей. (Правда, Сеид-Али занимал больший пост, да ведь сие подчас зависит от способностей и знаний иного сорта.) Обрекая Шеремет-бея смерти, Сеид-Али наносил еще одно поражение своему флоту. Но это ничуть не трогает «патриотов», подобных Сеиду-Али: лишь бы убрать соперника.

При дворе султана не верили в измену Шеремет-бея. Возможно, Селим избавил бы его от удушения, если б сам избавился от низложения.

На исходе мая сенявинские моряки, продолжая глухую, как бастион, редкостную в морской истории блокаду, услышали пушечный гул, возвестивший свержение Селима III.

Воцарился Мустафа IV. Ненавистник реформ, тупица и невежда, он не мог, как говорят сами турки, «отличить драгоценный камень от булыжника». Новоиспеченный султан рассудил так:

— Капудан-паша — мусульманин, человек благочестивый, аллаха боится, неправды не скажет, напраслины ни на кого не возведет.

И Шермет-бея казнили на глазах всего флота. А благочестивый Сеид-Али остался капудан-пашой, великим начальником, спасителем столицы и прочая и прочая...

В майские дни, после Дарданелльского боя и накануне падения несчастного Селима, к Сенявину прибыли чиновники русской дипломатической службы. Они прибыли из Триеста, заглянув по пути на Корфу, где недолго совещались с Моцениго и «оставили след» в рукописном журнале генерала Вяземского: «Оные отправлены с чрезвычайной миссией к вице-адмиралу Сенявину, которая еще весьма в секрете».

Секретную миссию возглавлял статский советник Поццо ди Борго. Земляк и в ранней юности друг Наполеона, он во многом и много уступал Наполеону, однако превосходил последнего мстительностью, вскормленной вековой вендеттой. Ни Бонапарт, ни Поццо ди Борго родственников друг у друга не резали, но словно бы объявили обоюдную «кровную месть». Отечество для Панно ди Борго было там, где поднимали оружие против императора, которого Поццо ди Борго никогда императором не признавал. Он был с теми, кто дрался с Наполеоном, хотя сам никогда с ним не дрался. На русской дипломатической службе Поццо ди Борго находился лишь четыре года, но уже отличился как дипломат, заставлявший «интригу служить принципам» (и наоборот); ему вверялись важные поручения, чрезвычайные миссии. Он всегда был умен и никогда не был банальным льстецом.

На одном фрегате с ним приехал Константин Булгаков, сын бывшего посла в Турции, доброго знакомого Дмитрия Николаевича. Сенявин помнил малыша, а теперь увидел двадцатипятилетнего молодца. Булгаков с отрочества числился «по отцовской линии» — в Коллегии иностранных дел. Переводчиком служил он в Московском архиве, потом канцеляристом в Вене, а засим, как указывает формуляр, «послан по особому поручению во флот вице-адмирала Сенявина»

Константин Булгаков о встрече с Сенявиным сообщил в Палермо брату Александру, а тот отписал батюшке, что Костя, мол, «хвалится ласками Сенявина, который отдал ему свою каюту, дабы в оной удобно работать».

А в дневнике Константина Булгакова сказано: «Поццо ди Борго сообщил немедленно адмиралу Сенявину предмет своего поручения и тотчас же стал заботиться о способах установить какие-либо сношения с капудан-пашой. Сообщений не

¹ Там же отмечено участие К. Я. Булгакова в боевых действиях сенявинской эскадры и награждение его орденом св. Владимира за «особые труды в бытность при флоте» (ЦГАЛИ, ф. 79, оп. 1, д. 55).

было никаких, и последнее сражение еще более увеличило недоверие турок»¹.

Секрет миссии Поццо ди Борго и Булгакова рассекретился. Миссия несла оливковую ветвь. Императору Александру хотелось поскорее отделаться от турок. Война с ними как бы путалась у него в ногах. Вместе с тем Петербург сознавал, что Турция час от часу теряет силы. Отчего бы не предложить замирение? На каких условиях? А на самых сходных — довоенные отношения, и ничего более.

Турция действительно трещала, как гибнущий корабль. Однако сераль все еще завораживало звездное сияние Наполеона. Диван скрепя сердце предпочитал терпеть беды от русского оружия, от михельсоновской угрозы и сенявинской блокады, нежели отказаться от «французской любви». При таком умонастроении диван принимал миссию Поццо ди Борго как свидетельство слабости русских.

Туркам нужно было оттянуть время. Не только ради упорядочения внутреннего положения, но и для того, чтобы вылечить эскадру, избитую у Дарданелл. (Несмотря на отличное адмиралтейство, работы взяли месяц; Сенявину, располагавшему слабенькими ремонтными средствами на Тенедосе, понадобились для исправлений лишь два-три дня.)

И вот турки затеяли с Сенявиным и Поццо ди Борго ту возню, какая совсем недавно, при Дукворте и Эрбетноте, принесла им успех.

Уже на следующий день после беседы с Поццо ди Борго и Булгаковым Дмитрий Николаевич отправил Сеиду-Али письмо:

«Господин адмирал, имею честь довести до сведения вашего превосходительства, что прибыл уполномоченный, которому поручено сделать Высокой Порте дружественные предложения от имени его величества, моего августейшего государя. Так как необходимо сообщить его превосходительству рейс-эфенди (министру иностранных дел. — Ю. Д.) предмет этого поручения, я обращаюсь к вашему превосходительству с тем, чтобы условиться с вами об отправлении в Константинополь с полной безопасностью парламентаря, который повезет с собою сообщения, сделанные моим правительством Высокой Порте в надежде восстановить согласие между двумя империями.

Я уверен, что ваше превосходительство сделает со своей стороны все, что только может способствовать столь желанному сближению, и я прошу вас уведомить меня в возможной скорости о ваших намерениях.

Судну, с которым препровождается это письмо, приказано встать на якорь и в продолжение двух суток ждать ответа вашего превосходительства. Я должен также уверить вас, что с

¹ ОР ГБЛ, ф. 129. № 9, 4, л. 15 (об.).

лицом, которое вы для этой цели вышлете, равно как и с экипажем, который будет его сопровождать, будет поступлено со всевозможным почтением».

Судя по отклику — через ш е с т ь дней! — капудан-паша успел получить еще одно письмо вице-адмирала Сенявина, а тогда уж нехотя взялся за ответ.

«Достопочтенный, всемилостивейший командир русского флота Дмитрий Сенявин, кланяюсь вам и спрашиваю о состоянии вашего здоровья, — вежливо начал Сеид-Али. И продолжил: — Первое ваше почтенное письмо мною получено. Я нашел нужным препроводить его к моему священному правительству и просил у него ответа. После этого я получил ваше второе письмо, и я уяснил его содержание. Я не премину сообщить вам ответ, который я ожидаю по этому случаю от моего правительства»¹.

Сенявин смекнул: вот так же турки хороводились и с Дуквортом. У Сенявина не было ни малейшего желания угодить в столь же дурацкое положение. Но у Сенявина, как и у Дукворта, сидел на шее дипломат. Однако Сенявин в отличие от Дукворта не хотел дожидаться конца дипломатической дуэли, а хотел дать дипломатам «последний довод» — пушечный.

Сенявин очинил перо: да будет циркуляр командирам кораблей. Флотоводец так наставлял офицеров, словно завтра бой: «атаковать с той стороны, на которую есть ему возможность убежать»; «сражаться до вершения победы и не отделяться никуда без особого приказа», «есть ли другой корабль будет иметь случай вам помочь, то посторониться ему можете, но не выходя отнюдь из длины картечного выстрела».

Автор монографии о Сенявине, разобрав боевую документацию вице-адмирала, датированную маем — июнем 1807 года, подчеркивает, что она знаменует «шаг вперед в развитии передового русского военно-морского искусства, намечая такие новые, ранее не применявшиеся тактические приемы боя в море, как атака каждого флагманского корабля противника парой своих кораблей с одного борта и атака в составе пяти взаимодействующих друг с другом тактических групп»².

Изготавливаясь к решительному сражению, продумывая будущую «партию» с Сеидом-Али, Дмитрий Николаевич все же пытался расчистить путь для переговоров Поццо ди Борго с диваном.

А Сеид-Али по-прежнему вилял лисьим хвостом, прикрывая листом бумаги волчью пасть. Сеид-Али отлично знал, что его правительство получает новые заверения от французского посла в поддержке, а его флот получает новые корабли.

¹ ОР ГБЛ, ф. 129, № 9, 4, л. 47 (об.), 48, 48 (об.).

² Шапиро А. Л. Адмирал Д. Н. Сенявин. — М., 1958.

Тем временем переписка продолжалась. Сенявин — Сеиду-Али 27 мая 1807 года:

«Благодарю ваше превосходительство за ответ на мое письмо и за поклон, который вы мне прислали. Кланяюсь и вам с тою же искренностью. Офицеру императорского флота Скандракову, который будет иметь честь вручить вам это письмо, поручено, если будет дозволено, отправиться в Константинополь с письмом от моего двора к его светлости великому визирю и его превосходительству рейс-эфенди. Препоручаю его вниманию вашего превосходительства. Я ждал правительственного ответа, на который ваше превосходительство дали мне право надеяться. Сожалею, что до сих пор я не получил его».

Сеид-Али — Сенявину 29 мая 1807 года:

«Достопочтенный русский адмирал всего русского флота, Дмитрий Сенявин. С должным почтением спрашиваю о состоянии вашего здоровья. Согласно вашему желанию, я послал в Константинополь ваше прежнее, адресованное ко мне письмо, и я обещал доставить вам ответ, который я ожидал по этому поводу.

Сегодня получил чрез посредство присланного вами ко мне офицера письма, которые вы желали, чтобы этот офицер сам отвез в Константинополь, но, так как наш прежний султан скончался и так как вступил на престол султан Мустафа, я полагаю, что новый государь слишком занят и было бы нестати отправлять теперь к нему вашего офицера»¹.

Орудийный гул из столицы Османской империи возвестил низложение Селима. Письмо Сеида-Али, писанное, как и прежние, на лощенной бумаге, «весьма мудренными» буквами, слагающимися в «прекрасный рисунок», — письмо это возвестило о воцарении Мустафы. Явилась надежда, что с переменой «тени аллаха на земле» переменится курс внешней политики Турции.

Эта надежда опрокинулась вверх килем: в Дарданеллах сосредоточивался турецкий флот, а на матером берегу, близ Тенедоса, — войска. Нет, султан Мустафа и вправду не умел отличить «драгоценный камень от булыжника».

3

К цифрам давно прилип эпитет — «красноречивые». Но цифры речисты, если вы вдумчивы.

Из разных источников — разные сведения. Историк О. Щербачев насчитал у Сеида-Али девять линейных кораблей, пять фрегатов, три корвета, два брига. Историк А. Шапи-

¹ ОР ГБЛ, ф. 129, № 9, 4, л. 48 (об.), 49.

ро — десять линейных кораблей, шесть фрегатов, два корвета, два брига и «другие легкие суда». Составители «Боевой летописи русского флота» — десять линейных кораблей, пять фрегатов, два брига, три шлюпа. А. Джеведет, султанский историограф середины минувшего века, отметил, что русские располагали четырьмя кораблями больше, чем его соотечественники.

Не совпадает и орудийный баланс. Броневский, современник и участник похода, указывает, что Сенявин имел 754 пушки, а Сеид-Али — 1200; Щербачев говорит: у Сенявина было 728, а у Сеида-Али — 1138; в «Боевой летописи» — лишь сенявинская артиллерия: 740 стволов; Джеведет промолчал; Шапиро высказался осторожно: «На кораблях эскадры Сеида-Али было, во всяком случае, в полтора раза больше пушек, чем на эскадре Сенявина».

Как ни считай, Сеид-Али вышел с кулаками тяжелее сенявинских. Султан и визири понукали Сеида-Али: разгромай гяуров, разгромай неверных, спаси Стамбул. Капудан-паша поклялся привезти в сераль голову «достопочтенного адмирала», здоровье которого еще столь недавно его очень заботило. Поклялся, помолится и вывел свой флот из пролива в Эгейское море. Флот, численно превосходящий сенявинский.

Кто не признает могущества арифметики? Но ведь даже алгеброй рискованно поверять гармонию. А уж дисгармонию боевых столкновений и подавно. Боренье двух волей (вернее, множества волей со множеством) таит случайности.

Сражения под парусами подвержены еще и случайностям ветров. Моряк парусного флота думал о ветре денно-нощно. Ветер был условием его существования, как и та среда, где возникают ветровые потоки.

Есть пословицы: «за ветром в поле не утонишься»; «на ветер надеяться — без помолу быть». Пословицы — для «землян». На море надо не только угнаться, но и гнать к ветру. Надо его выиграть, поймать, чтоб «помол» был.

В десятый июньский день 1807 года дул ветер, лишаящий «помола». «Сивер», — сказал бы архангелогородец. «Столбище», — молвил бы тот, кто с Онеги. «Северяк», — отозвался бы ильменский рыбовод. «Северик», — поддакнул бы псковитянин. Но сенявинцы, где кто ни родился, говорили: «Нордовый».

Вначале дули нордовые ветры, и Сенявин не мог оторваться от Тенедоса. Это было досадно, потому что неподалеку от Тенедоса находился Сеид-Али со своими флагманами, со своими кораблями.

«Обстоятельства обязывают нас дать решительное сражение, — объявлял в приказе Сенявин, — но, покауда флагманы неприятельские не будут разбиты сильно, до тех пор ожидать должно сражения весьма упорного, посему сделать нападение следующим образом: по числу неприятельских адмиралов, чтобы каждого атаковать двумя нашими, назначаются кораб-

ли: «Рафаил» с «Сильным», «Селафил» с «Уриилом» и «Мощный» с «Ярославом». По сигналу № 3 немедленно спускаться сим кораблям на флагманов неприятельских и атаковать их со всевозможной решительностью, как можно ближе, отнюдь не боясь, чтобы неприятель пожелал зажечь себя.

Происшедшее сражение 10 мая показало, чем ближе к нему, тем менее от него вреда, следовательно, если бы кому случилось и свалиться на абордаж, то и тогда можно ожидать вящего успеха. Пришел на картечный выстрел, начинать стрелять. Если неприятель под парусами, то бить по мачтам, если же на якоре, то по корпусу. Нападать двум с одной стороны, но не с обоих бортов; если случится дать место другому кораблю, то ни в коем случае не отходить далее картечного выстрела. С кем начато сражение, с тем и кончать или потоплением, или покорением неприятельского корабля.

Как по множеству непредвиденных случаев невозможно сделать на каждый положительных наставлений, я не распространяю оных более; надеюсь, что каждый сын отечества потитися выполнить долг свой славным образом.

Встреча пришлась на среду, 19 июня 1807 года.

Светало чисто. Был час, когда море между островом Лемносом и Афонским полуостровом кажется просторнее, нежели днем или к вечеру.

Эскадра Сенявина сближалась с эскадрой Сеида-Али.

В семь часов сорок пять минут на линейном корабле «Твердый» вице-адмирал Сенявин поднял сигнал: «Атаковать неприятельских флагманов вплотную».

А потом уж счет пошел такой:

8 час. 30 мин. Русская эскадра сблизилась с турецкой для атаки авангарда и центра.

9 час. 10 мин. Маневр охвата головы турецкой эскадры. Линейный корабль «Твердый», преградив путь турецкому головному кораблю, поражает его продольным огнем, вынуждая лечь в дрейф.

10 час. — 11 час. Передовые турецкие корабли спустились под ветер. Сигнал Сенявина: «Спуститься на неприятеля».

11 час. — 12 час. Линейный корабль «Твердый» вступает в бой с турецким арьергардом, идущим на помощь своему центру. Турецкие корабли в беспорядке отходят к полуострову Афон.

13 час. 30 мин. Штиль. Русская эскадра прекращает огонь.

15 час. 00 мин. С переменой ветра турецкие корабли начинают отход к островам Тасос и Николинда и к Дарданеллам. Эскадра Сенявина преследует противника.

Такова хроника сражения 19 июня 1807 года. Оно получило имя Афонского. В тот июньский день афонские монастыри услышали флехот мира, которому недоставало времени врачевать, но хватало, чтобы убивать; недоставало времени смеять-

ся, но хватало, чтобы плакать; недоставало времени любить, но хватало, чтобы ненавидеть: недоставало времени шивать, а хватало, чтобы раздирать; недоставало времени жить, а хватало, чтобы умирать...

Накануне Афонского сражения русских моряков «мучил страх». Да-да, страх мучил, говорит очевидец. И прибавляет: они боялись, что «турки уйдут». И потому адмирал так расположил курсы своей эскадры, чтобы перекрыть Дарданеллы и навязать генеральный бой.

Турки повели огонь с большой дистанции. Они не хвастались дальностью артиллерии: то был признак вялости духа. Русские, не отвечая, приближались «с великим терпением». Они не показывали, что у них артиллерия хуже: то был признак бодрости духа — драться вблизи!

В атаку на турецких флагманов головным шел «Рафаил», линейный корабль капитана 1-го ранга Лукина¹. Еще несколько часов, и Дмитрий Александрович будет убит ядром в грудь, но сейчас широкая грудь «русского Геркулеса», как бы рывками забирая воздух, полна восторга и нетерпения:

Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?..

И этот восторг, эти, по слову Пушкина, «славы страсть», «жажда гибели» и жажда победы, возникающие в момент наивысшего напряжения, владели офицерами и матросами. Такими, как лейтенант Куборский; он управлял парусами на «Скорме» и скончался в судовом госпитале от тяжкого ранения. Такими, как лейтенант Денисьевский; он командовал полулежкой, «чувствуя чрезвычайную боль от висевшей на одной жиле ноге». Такими, как боцман Афанасьев, изувеченный на реях и спущенный с мачты на тросе, потому что совсем обессилел. Такими, как старый служака Соломин, который досадливо «отмахнулся» от пули: просто-напросто вылутил ее своим матросским ножом.

О красоте и смысле мужества давно и много размышляли многие. Но высказаться проникновенно и просто удалось немногим. К последним принадлежал, например, Репин:

¹ О том, как Д. А. Лукин, прозванный русским Геркулесом, одним пальцем вгонял в дубовую обшивку корабельный гвоздь-нагель, как одной рукою поднимал за шиворот «пару матроз», а двумя руками — пушку, как он вместо визитной карточки оставлял приятелю завязанную узлом... кочергу, и о прочем в том же духе сохранилось немало заметок современников.

Декабрист Михаил Бестужев лично не знал Лукина, но в своих мемуарах писал, в частности, следующее: «Помню, с каким жадным любопытством и мы, юная мелкота, пили занимательные рассказы о Лукине. Брат вспоминал о нем, как о близком и хорошем знакомом нашим родителям; вспоминал, как он своим простым, дышащим непритворною откровенностью моряка, обращением, даром своего слова, по наружности безыскусственного, но, в сущности, разумного, логически выработанного, умел привлекать все сердца».

«В душе русского человека есть черта особого, скрытого героизма. Это — внутрилежащая, глубокая страсть души, съедающая человека, его житейскую личность до самозабвения. Такого подвига никто не оценит: он лежит под спудом личности, он невидим. Но это — величайшая сила жизни, она двигает горами; она делает великие завоевания; это она в Мессине удивляла итальянцев; она руководила Бородинским сражением; она пошла за Мининым; она сожгла Смоленск и Москву; она же наполнила сердце престарелого Кутузова. Везде она: скромная, неказистая, до конфуза перед собою извне; потому что она внутри полна величайшего героизма, непреклонной воли и решимости. Она сливается всецело со своей идеей, «не страшится умереть». Вот где ее величайшая сила: она не боится смерти».

Да, «везде она». И на сенявинской эскадре, ведущей бой, тоже была эта «величайшая сила».

Ну, а что же сам-то Дмитрий Николаевич, вице-адмирал Российского флота и кавалер не столь уж и многих российских орденов?

Пушкин говорил: «На битву взором вдохновенным вожди спокойные глядят». И еще: «Он оком опытным героя взирает на волненья боя».

Вдохновение... Спокойствие... Опыт... Сенявин познал боевое вдохновение смолоду. Годы и мили дали ему опыт. Со спокойствием было сложнее.

Лермонтовский Максим Максимыч утверждал, что можно приучить себя скрывать под пулями невольное биение сердца. Флотоводцу следовало скрывать невольное биение сердца, когда ядра и картечь проламывали бреши не только в строю, но и в его замыслах. Надо было хранить холодность мысли, когда незримые весы едва ли не зримо клонились «не в ту сторону», когда вдруг словно бы начинала «темнеть слава знамен», когда под раскаленным металлом могла дрогнуть брэнная плоть человеческой массы.

Сенявин точно бы дирижировал сигналами. Он и в разгар сражения, гудевшего как таежный пожар, ничего и никого не упускал из поля зрения.

Всматриваясь в Сенявина на юте и шканцах линейного корабля «Твердый», видишь адмирала, который не только ни на миг не теряет инициативы, но и каждый миг перехватывает инициативу противника.

Ушаков оставил ему наследство: маневр и еще раз маневр. И никогда прежде Сенявин не маневрировал так свободно и блистательно, как в Афонском сражении. Но вот в чем новаторство: он маневрировал тактическими группами! И вот в чем высокое искусство: в слаженности движения этих групп. А ведь движение-то осуществлялось под огнем (под огнем исправляли и повреждения), осуществлялось не послушным двигателем, а непослушным ветром.

Будучи численно слабее Сеида-Али, Сенявин достиг численного перевеса в «узловых пунктах» — там, где находились вражеские флагманы. Никто до Сенявина в эскадренных сражениях не умел добиться столь мощного удара именно на главном направлении удара. То была не просто тактическая грамотность, но своеобразливая стилистика боя. И она не принимала чужой правки, как не принимает ее художественный шедевр.

Сенявин и руководил всем делом, и участвовал в нем непосредственно. Когда два турецких линейных корабля и фрегат пытались защитить свой авангард, сенявинский «Твердый» напал на них и остановил, а потом стал крушить и теснить головные корабли. Когда «Рафаил» Лукина — он дрался в середине неприятельской линии — стал терпеть страшный урон, Сенявин его выручил, а потом, стреляя левым бортом, отбил еще три корабля. И так было в продолжение всего сражения.

Сотни орудий, рассказывает очевидец, «изрыгали смерть и гром, колебавшие не только воздух, но и самые бездны морские». Как всякий матрос и офицер эскадры, вице-адмирал несколько часов кряду был на волос от гибели. «При самом конце сражения, — пишет тот же очевидец, — в трех шагах от него поражен был двумя ударами вестовой, державший его зрительную трубу. Картечь оторвала ему руку, когда подавал он трубу адмиралу. И в ту же минуту ядро разорвало его пополам и убило еще двух матросов».

Дым сражения застил немало подвигов. Но храбрость Сенявина была замечена и была отмечена. О ней говорилось и много-много позже. Тут сказалось, если позволите, извечное желание олицетворить общий, артельный подвиг. Как в былинах, как в легендах. А причину неполного изничтожения турецкого флота сослуживцы Сенявина (когда уж не были его сослуживцами и никак от него не зависели) усматривали в малости собственного мужества.

Один из черноморцев нахимовского поколения слышал такие «самообвинения» и писал, что, по свидетельству сенявинцев, некоторые из них не выказали достаточной храбрости. Это не так. Полный разгром Сеида-Али не последовал по иной причине, не потому, что у Рожнова, командира «Селафаила», или еще у кого-то не хватило решимости. Но здесь примечательны чувства тех, кто взваливал «вину» на себя: «Мы виноваты, мы, а Дмитрия-то Николаевича не замай».

Нет, уровень мужества не падал ни до Афона, ни после, ни в ходе сражения. И даже в тот квелый час, когда битва улеглась, покорная затишью ветра.

«Сколь ни горестно было для нас таковое положение, — писал Свиньин, — но адмирал воспользовался сим временем и приказал сделать нужные починки на эскадре в важных повреждениях, которые необходимо требовали «Твердый», «Скорый», «Рафаил» и «Мощный», дабы быть готовыми при

первой возможности с новыми силами опять напасть на неприятеля».

Уже сами эти «важные повреждения» доказывали, что турецкие моряки явили традиционное упорство. «Должно отдать справедливость, — свидетельствует Броневский, — что в сем сражении турки дрались с отчаянным мужеством, на корабле Сеида-Али раненых и убитых было до 500 человек, на прочих кораблях не менее сего числа; почему судить можно, сколь великую потерю имел неприятель в людях, и весьма вероятно, что она превосходила потерю французов в Трафальгарском сражении».

Турецкие моряки иногда предпочитали взрывать корабли, нежели сдавать их.

«Здесь представилось, — рассказывает тот же Свиньин, — ужасное и вместе великолепное зрелище — взорвание трех кораблей. Прежде всего огонь обнял фрегат; сначала стали палить попеременно раскалявшиеся пушки, которые заряжены были ядрами; потом, подобно извержению огнедышащей горы, взлетел остов на воздух с страшным треском посреди густого дыму. Потрясение, произведенное взорванием, было подобно землетрясению; самое море заклоуилось и закипело. Таким образом и другой корабль и фрегат кончили свое прище. На другой день турки взорвали еще один линейный корабль и фрегат, кои были так разбиты нами, что не могли быть починены и следовать за флотом, стремившимся укрыться в Дарданеллах».

Если Сеид-Али не смел сетовать на подчиненных, то и они не отказали ему в личном мужестве. Труса он не праздновал. В давнишнем бою с Ушаковым Сеид-Али контузило; в нынешнем бою с Сенявиным капудан-паша потерял руку.

И числом кораблей, и артиллерией турки превосходили русскую эскадру. Беда их была в шаткой дисциплине, в плохой довоенной практике, а главное — в боязни командиров поступать «по способности».

Вот почему штилевая пауза по-разному отозвалась на противниках. Едва ветер засвежел, Сенявин встрепенулся. Турки ж, потеряв весь свой пыл, поддались желанию бежать.

Убегая, бросили на волю волн и преследователей линейный корабль «Седель-Бахри», что значит — «Оплот моря». А этот «Оплот» не ладил с морем: он едва держался на плаву. Фрегаты не сняли с него команду. Они истаяли в ночи, скользя в Дарданеллы.

За линейным кораблем «Седель-Бахри» шел линейный корабль «Селафаил». Судя по флагу, на турецком корабле находился адмирал, и капитану 1-го ранга Рожнову хотелось пленить сподвижника Сеида-Али.

Уже давно стемнело. Уже горели звезды и светила луна, и море было как серебро с чернью. Поэт Вяземский видел лет-

нюю ночь над турецкими водами: «И молчит она, и поет она, и душе одной ночи песнь слышна». Но в ту ночь никто не услышал песни, а все услышали вопль:

— Аман! Аман!

Турки просили пощады.

Когда корабль врага, кренясь на борт, задирая нос или оседая кормой, погружается в море, он сраженный гладиатор. И победитель испытывает свирепый восторг, но вместе и внезапную печаль. Ибо корабль — любой корабль — чудится моряку существом живым и прекрасным. Когда враг спускает флаг, победитель тоже ликует, но в этом восторге уже есть и великодушие.

На «Седель-Бахри» морякам «Селафаила» досталась бесценная «добыча». Она не измерялась никакой призовой наградой. Даже Бекир-бей, вскоре вручивший свой адмиральский флаг Сенявину, ничего не стоил в сравнении с такой «добычей»: на «Седель-Бахри» русские нашли... русских.

«Бедные люди сии, — пишет Свиньин, — почти нагие прикованы были тяжелыми цепями к пушкам и принуждены палить в соотчичей и братьий своих. Янычары с обнаженными саблями наблюдали за их действиями. Достоинно примечания, что при сем страшном огне ни одно русское ядро их не тронуло».

Одиннадцать несчастных, прикованных к пушкам, были не кто иные, как моряки корвета «Флора», погибшего у албанских берегов. Они извели каторгу в стамбульском «мертвом доме», где царил надсмотрщик Махмет. Но куда большими извергами были те, кто приковал их к пушкам, жерла которых обращались на «соотчичей и братьий»¹.

Захватом «Седель-Бахри», в сущности, и закончилось Афонское, победное для Сенявина сражение. Треть вражеских линейных кораблей и половина фрегатов перестали существовать. Сотнями убитых, утонувших, увечных оплатил Сеид-Али свое бесславие.

На в с е х сенявинских кораблях жертв было меньше, чем на о д н о м «Седель-Бахри». Русские похоронили семьдесят семь сотоварищей; около двухсот приняли судовые госпитали. Триста сенявинских матросов удостоились «Знака отличия военного ордена», учрежденного в год Афонского сражения

¹ Остальные моряки «Флоры» еще долго томились в каторжной тюрьме. Приятно отметить, что те самые турки, которых Сенявин после капитуляции гарнизона отпустил с острова Тенедос и которые обещали хоть как-то отблагодарить русского адмирала, ухитрились навещать заключенных моряков. «Они приходили к нам в тюрьму, — говорит один из пленных, — рассказывали, как хорошо обходились с ними русские, и изъявляли сожаление, что диван не так поступает с нами».

Моряков «Флоры» отпустили после окончания русско-турецкой войны. Из Константинополя в Одессу их доставило триестское торговое судно.

для «нижних чинов» и унтеров (с 1913 года этот знак получил название «Георгиевского креста»).

Сенявину пожаловали орден Александра Невского.

Девиз ордена гласил: «За Труды и Отечество». Надпись эта «мне особенно нравится», — признавался в частном письме Дмитрий Николаевич. И далее говорил: «Но еще более утешает мое сердце, если вправду нахожусь в хорошем мнении у добрых моих соотечественников. Вот, друг! Истинная-то награда паче всех украшений и сокровищ, и теперь не сожалею, что в горе и трудах провел я три года в разлуке с моим семейством»

4

Но в бочку меда плюхнулась ложка дегтя. Министр Чичагов, человек умный и достойный уважения, но победами не обремененный, признавая важность Афона, укорял Сенявина за то, что он не повторил Чесмы — не изничтожил османский флот до последнего корабля. Раздавались голоса: не надо было уходить к Тенедосу, а надо было добивать Сеида-Али.

С этим как будто бы согласен и историк А. Шапиро: русский командующий позволил противнику «сохранить значительную часть своего флота». Однако чуть выше автор интересной монографии о Сенявине замечает: «...Самая срочная помощь гарнизону была совершенно необходима».

Речь идет о единственной опорной базе Сенявина в Эгейском море — об острове Тенедос. Там остался полковник Падейский. Остался Федор Федорович с очень незначительными силами и терпел жестокие испытания. Некоторое представление о них дает послужной список полковника: «8 мая в отсутствие флота нашего отразил турецкий десант, покушавшийся на остров. 15 июня, также в отсутствие нашей эскадры, был атакован в крепости со стороны моря всем турецким флотом, а на берегу — неприятельскими силами. Не позволяя взять верх, 16 июня с небольшим количеством рот удерживал 7-тысячный турецкий десант. По 28 июня, будучи осаждаем в оной (крепости. — Ю. Д.) превосходным количеством неприятеля, не подал ни малейшего средства к приступу, хотя неважная сия крепость была в крайнейшем положении»¹.

Сенявин об этом знал. Что ж ему было делать? Добивать капудан-пашу или выручать своих армейцев? А может, черт поберет, «разорваться пополам»?

В отходе к Тенедосу (после того, как Сеида-Али загнали в Дарданеллы) Броневский усматривает небрежение Сенявина

¹ ЦГВИА, ВУА, д. 3168, л. 51 (об.). Армейцев поддерживал лишь «Богоявленск»: «С брига сделано столько выстрелов, что даже палуба под пушечными колесами протерлась».

к собственной славе: Дмитрий Николаевич предпочел спасти «братьев своих».

Автор цитированной выше монографии не только не согласен с мнением Броневского, но еще и тянет в союзники дипломата Поццо ди Борго, который будто бы резко порицал вице-адмирала «за отказ от преследования вражеской эскадры». Но вот что писал сам Поццо ди Борго русскому посланнику в Лондоне: «Необходимость спасти Тенедосскую крепость, подверженную нападению 6000 войска (Падейский указал на тысячу больше. — Ю. Д.), снабженного пушками большого калибра и мортирами, и в которой не только наш гарнизон, но и все греческое население острова искало защиты и подвергалось возможности быть перебитым, эта необходимость заставила адмирала Сенявина возвратиться, чтобы предупредить такое несчастье»¹.

И Дмитрий Николаевич «предупредил несчастье», хотя, надо полагать, сознавал, что ему достанется на орехи от сторонников «повторной Чесмы», не предполагая, однако, что ему достанется и от историков.

В официальном документе сказано: «28 июня, по прибытии нашей эскадры, турки согласились на предложенную от господина вице-адмирала и кавалера капитуляцию и принуждены были оставить остров»².

Если османский флот и не был разгромлен, то он был сломлен. Афонский гром далеко раскатился. Англичане услышали его очень скоро. И тотчас заторопились в Эгейское море. В этой поспешности так и сквозит традиционная манера британской внешней политики: чужие руки вытащили каштаны из огня — торопись к трапезе. Самое время было очутиться на месте происшествия. На том самом, откуда столь недавно и столь скоропалительно они удалились (вспомните Дукворта!).

Тут следует оттенить одно обстоятельство, характерное для Сенявина: Дмитрий Николаевич не поддался учтивостям английских адмиралов. Впервые в истории англичане салютовали иностранцу без предварительных условий о числе выстрелов. И впервые предложили иностранцу общее командование соединенными эскадрами. Никому подобной чести англичане не оказывали ни до, ни после Сенявина. И если салют последовал от контр-адмирала Мартина, моряка не слишком-то прославленного, то предложение общего командования последовало от вице-адмирала Коллингвуда, моряка действительно выдающегося и знаменитого.

Но Сенявин не захмелел. Он будто прищурился: «Это недаром... Верно, англичане хотят нас обмануть...» Дмитрий Ни-

¹ ОР ГБЛ, ф. 129, № 4, л. 82 (об.), 83.

² ЦГВИА, ВУА, д. 3168, л. 59 (об.).

колаевич заподозрил намерение союзников сговориться с турками. И не ошибся.

Вот его предписание Грейгу, данное на борту «Твердого», близ острова Тенедоса, где уже покачивались британские линейные корабли и фрегаты; предписание за номером 776:

«Командир английского корабля «Кент» г. капитан Роджерс, прибыв сюда, уведомил меня при первом свидании, что он прислан ко мне из числа некоторого отделения английских кораблей, состоящих под начальством контр-адмирала Мартина, назначенного сюда для содействия со мною против общего неприятеля нашего.

На третий день он, г. Роджерс, испросил моего согласия, чтобы отправиться ему с одним бригом к острову Имбро и потом занять пост между оным и европейским берегом, обещав притом уведомлять меня по всем случаям, заслуживающим внимания моего.

Ныне дошло до сведения моего, что г. Роджерс имел с турками сношение, а сегодня я узнал, что турки учредили с ними сигнал для переговоров.

Уведомления же от него по предмету сему не имею я никакого. Рассуждая, что таковое поведение английского капитана может быть предосудительно пользе службы всеавгустейшего государя нашего, предлагаю вашему превосходительству отправиться немедленно с кораблями «Ретвизан», «Селафил», «Сильный» и шлюпом «Шпицберген» к месту его пребывания, и при первом сношении с ним дайте ему, в ы р а з у м е т ь, что молчаливость, наблюдаемая им против меня относительно сношений его с турками, тем более меня удивляет, что оная совсем несообразна с тою откровенностью, которая существовать должна между тесными союзниками, а равномерно и с собственными выражениями его на свидании со мною.

Можете заметить капитану Роджерсу, что я имею неоспоримое право требовать полного сведения в рассуждении сообщения его с турками, что потому желательно, чтобы при всяком свидании их находился один из офицеров наших, и, наконец, объявить ему, что мы, с нашей стороны, готовы оказывать ему полное доверие во всем том, что между нами и турками происходить будет.

Буде бы капитан Роджерс не показал бы вам нималой склонности к удовлетворению справедливого нашего требования, в таком случае, ваше превосходительство, имеете объявить ему о данном вам приказании не пропускать в Дарданеллы никакого судна, под каким бы флагом ни было, без особенного на то от меня позволения, и в случае слушания со стороны капитана Роджерса предписываю вам у п о т р е б и т ь с и л у п р о т и в с и л ы. Впрочем, при всяком

случае, имеете, ваше превосходительство, обходиться с ним сколько можно вежливее и снисходительнее».

Секретное предписание № 776 относится к числу тех документов, в которых ясно отражается военно-дипломатическое дарование Дмитрия Николаевича: проницательность и осмотрительность.

Не знаю, что отвечал шотландец господин Роджерс шотландцу господину Грейгу, но к Сенявину он поспешил с оправданиями. Сенявин их принял. И тотчас велел Грейгу «иметь бдительный надзор за всеми подвигами капитана Роджерса и мне исправно доносить».

А вице-адмирал Коллингвуд, этот, по определению Нельсона, «любезнейший и превосходнейший человек», участник и герой Трафальгара, искренне желал союза с вице-адмиралом Сенявиным.

Броневский рассказывает: «После взаимных посещений и приветствий, Коллингвуд письмом просил помощь двух кораблей, дабы посмотреть, нельзя ли напасть на турецкий флот в самых Дарданеллах. Сенявин немедленно отвечал, что он охотно готов содействовать ему всеми силами, и 1 августа обе эскадры снялись, лавировали вместе и стали на якорь у острова Имбро... Соревнование на обоих флотах было столь велико и уверенность на мужество и решительность обоих адмиралов столь неограниченна, что не было сомнения в успехе всякого предприятия».

Сомневался, быть может, лишь один: сам Дмитрий Николаевич Сенявин. Он чувствовал перемену обстоятельств, как настоящий моряк загодя чувствует перемену погоды.

Смутные известия омрачали Сенявина. Одно известие касалось какого-то сражения на севере, чрезвычайно тяжелого и пагубного для русского войска. Другое — от австрийского посла в Константинополе — глухо упоминало о каком-то свидании Александра с Наполеоном.

Если неотчетливая (даже без указания географического пункта) весть о Фридланде могла вызвать в душе Дмитрия Николаевича, как говорится, отрицательные эмоции, то весть о свидании императоров (без указания на Тильзит) не могла не обратить его мысленный взор к острову Корфу, к Далмации и Черногории.

Нетрудно догадаться, о чем он догадывался. Сенявин не забыл, как Убри подписал в Париже пресловутую конвенцию. Правда, летом прошлого года Александр не утвердил конвенцию, но Дмитрию Николаевичу не была тайной готовность царя сдать позиции в Адриатике и на Балканах, как не была тайной и готовность императора отделаться от бранного спора с Турцией.

Однако подобные соображения, хотя и донельзя огорчительные, оставались пока лишь предположениями. И русский

вице-адмирал в сердечном согласии с английским вице-адмиралом готовился к желанному прорыву в Дарданеллы.

Карауля выгодный ветер, эскадры лавировали у пролива. Павел Свиный наблюдал лавировку и, сам того не зная, пылко опровергал... Наполеона. Последний, напомню, утверждал, что руководство армией требует вдохновения, требует гения, а руководство флотом — лишь ремесленных навыков. Свиный утверждал обратное: «Управлять флотом гораздо важнее, величественнее, чем армию, ибо здесь повелеваешь в одно время не только людьми, но бесчувственными громадами, грозными стихиями. Мне кажется, плавание флота, раздирающего хребет моря, должно поразить душу более, сильнее, чем всякое движение стройного войска».

Сенявин дожидался перемены ветра в Эгейском море. Но уже переменился совсем иной ветер — генеральной европейской политики.

Дмитрий Николаевич узнал об этом в понедельник 12 августа 1807 года, когда на корвете «Херсон» явился к нему барон Шеппинг.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Недосуг листать камер-фурьерские журналы, выясняя, виделись ли в тот августовский понедельник император Александр и генерал Савари, как виделись адмирал Сенявин и барон Шеппинг. Довольно, пожалуй, и того, что летом восьмисот седьмого года русский царь и личный представитель императора французов встречались часто.

Рене Савари раньше служил директором бюро тайной полиции; теперь он имел чин дивизионного генерала. И раньше, и теперь, и всегда Рене Савари обладал чутьем прирожденного сыщика. Посылая дивизионного генерала в Петербург, Талейран и напутствовал его, как напутствуют согладатаев: «Старайтесь, мало расспрашивая, много узнать».

Любовь двух императоров не обещала быть вечной. Не потому, что она началась слишком пылко, а это, как известно, чревато недалеким охлаждением. Нет, по той причине, что франко-русская связь при тогдашней ситуации неизбежно подрывала англо-русскую связь. А без нее ни дворянство русское, ни купечество русское жить не могли, не умели, не хотели. И пока грубые рычаги экономики не сокрушили хрупкую любовь политиков. Наполеону надо было все выжать из союза и успеть «сорвать банк» — тот, что в Лондоне, на Тред-Нидлстрит.

Послетильзитская погода в России серьезно занимала На-

полеона. Он боялся расстояния и боялся времени — как бы не развеялось его влияние на Александра. Особенности духовной организации русского царя Наполеон принимал во внимание не меньше, чем, скажем, особенности организации русских вооруженных сил.

«Есть в нем что-то такое, что я затрудняюсь определить, — недоумевал Наполеон, непривычный к недоумениям. — Это что-то неуловимое, и я могу объяснить его, лишь сказав, что во всем и всегда ему чего-то не хватает. И самое замечательное то, что никогда нельзя предвидеть, чего ему будет не хватать в каждом данном случае, при каком-нибудь определенном обстоятельстве. Ибо то, что ему не хватает, меняется до бесконечности».

Вот эта переменчивость и волновала отнюдь не нежный ум императора французов. И посему соглядатай Рене Савари пристально надзирал за Александром.

Столичный шлагбаум Савари миновал июльским днем 1807 года и уже вечером вручил Александру письмо Наполеона. Царь прочел и сказал, внимательно взглянув на генерала:

— В Тильзите он дал мне доказательства своей привязанности, о которых я никогда не забуду. Я очень тронут уверениями в дружбе, полученными мною от него сегодня, и очень благодарен ему за то, что именно вас избрал для вручения их мне... Не слышали ли вы, кого император хочет избрать ко мне посланником?¹

С а в а р и: Нет, государь. Многие добиваются этой чести, но император еще ничего не говорил об этом. Он наметит лицо, которое могло бы понравиться вашему величеству и которое было бы убежденным сторонником великого тильзитского события.

Ц а р ь: Отлично, я с удовольствием приму всякого, кто явится от него и будет говорить, как он, то есть который всегда будет держаться его точки зрения, которой держусь и я. Слышите? Которой держусь и я!

В последующие недели расточались подобные же любезности, хотя от времени до времени Александр затевал беседы о предметах вполне определенных.

Он принимал француза и в Зимнем дворце, и на Каменном острове, в летней резиденции. Савари на любезности отвечал любезностями, а предметы вполне определенные облекал в неопределенный полусвет, похожий на здешние сумерки. Но однажды он не скрыл своего неудовольствия «обществом».

Ц а р ь: Как находите вы Петербург, генерал?

¹ Савари приехал как доверенное лицо Наполеона: «У меня нет никаких полномочий. Мне предписано только употребить все усилия, чтобы быть приятным вашему величеству».

С а в а р и: Удивительным, государь, даже и в Италии нет ничего подобного.

Ц а р ь: Как проводите вы время? Я знаю, что вы не веселитесь, ведь вы мало бываете в обществе?

С а в а р и: Государь, должен сознаться вашему величеству, что если бы не ваша доброта и доброта великого князя, я не вышел бы из своей квартиры.

Еще на пути из Тильзита в Петербург Савари испытал молчаливую и мрачную неприязнь русских. Он ехал словно по вражеской территории; на него косились исподлобья или отворачивались. Да и понятно: еще вчера со всех амвонов, со всех крыш и на всех перекрестках вещали, талдычили, напоминали, что Наполеон есть изверг рода человеческого, антихрист, чудовище, разбойник. Ну как же это вдруг ни с того ни с сего осклабиться и кланяться в пояс?

Рене Савари пренебрегал «косной массой». Другое дело — «бояре». В Санкт-Петербурге он попал как в карантин. Избегали, в сущности, не его персону, бойкотировали сущность Тильзита. Хотя и была так называемая «французская» партия, но «бояре» — и Савари это понимал — страдали при звуке «Тильзит».

Многие современники отмечали отчуждение «общества» от монарха после его свидания с Наполеоном на Немане. Недовольство росло весьма быстро. Шведский посол сообщил в Стокгольм: об Александре «говорят такие вещи, что страшно слушать». А мемуарист Вигель засвидетельствовал «чувство омерзения» к императору. Больно ударил «позор Тильзита» и в души тех, кто отнюдь не разделял казенного патриотизма. Особенно встрепнулись юные сердца: Петр Чаадаев, услышав про Тильзит, не захотел присутствовать на благодарственном молебне.

Указывая на оппозицию, Савари говорил Александру, что надобно «мечом рассечь тучу». Он даже напрямик высказался в том смысле, что предвидит печальный момент, когда его величество заколеблется в «выборе между Англией и нами».

— Генерал, — ответил Александр, дружески беря Савари за руку, — генерал, мой выбор сделан, ничто не может его изменить.

Савари верил и... не верил. Уж очень он ощущал влияние Англии. Лорда Говера, британского посланника, Александр обозначал кратко: «Большой лентяй». А между тем большой лентяй пользовался большим весом в большом свете.

И все ж ничто уж не могло удержать джинна, вывихрившегося из тильзитской бутылки. На Немане Александр был вынужден ступить не только на плот с павильоном, но и на «наклонную доску». Сделав один шаг, он сделает и другой, и третий.

В кабинетной, уединенной беседе с представителем Напо-

леона Александр Павлович, подчеркивая свое расположение к императору французов, говорил, что всем жертвует дружбе, «оставляя в стороне свои собственные интересы». И привел пример:

— Я до сих пор не имею сведений о моем флоте!

Он разумел, как говорит французский историк, «лучший флот России под командованием адмирала Сенявина».

2

«Покорность судьбе! Какое жалкое прибежище! Но только это мне и остается».

Так написал однажды Бетховен.

Так было впору воскликнуть Сенявину.

Из рук барона Шеппинга получил он царский рескрипт, и не приходило на ум даже то утешение, какое позже, в Бухаресте, овеяло Михаила Илларионовича Кутузова: «Но ежели за всем тем выгоднее будет разорвать все мною сделанное, в таком случае приму без роптания все, что касательно меня последовать может; несчастье частного человека с пользою общему ни в какой расчет не входит».

Если затеять речь о «несчастьи частного человека» по имени Дмитрий Николаевич Сенявин, то сразу вспомнишь полководца, который

...На полпути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманно глубоко.

Да в том-то и беда, крупная и непоправимая, что «несчастье частного человека» по имени Дмитрий Николаевич Сенявин не диктовалось, по его мнению и убеждению, «пользою общей». Как и Денис Давыдов, он твердо знал: раз на руку Наполеону, стало, во вред России. И тоже провидел двенадцатый год «со своим штыком в крови по дуло, со своим ножом в крови по локоть».

А теперь у него жалкое прибежище: покорность судьбе.

Вот они на столе адмиральской каюты флагманского корабля, эти «отдельные и секретные» статьи Тильзитского соглашения: «Русские войска передадут французским войскам область, известную под названием Каттаро. Ионические острова перейдут в полную собственность и державное обладание императора Наполеона».

«Передадут»... — «Державное обладание»... Слова? Нет, пролитая понапрасну кровь. Нет, «замысел, обдуманно глубоко» и скошенный на полпути... «Передадут»... «Державное обладание»... Слова? Нет, греки, теряющие свои надежды... Покорность судьбе? Да будь она проклята, такая судьбина! Ни

один человек во всей Адриатике не может, не смеет винить его, Дмитрия Сенявина. И ему самому не в чем винить себя. Но все же... Но все же жгучее сознание причастности к пагубному и жестокому. Он был беспомощен. В этой беспомощности была трагедия честного воителя.

Следовало немедленно отдать приказ по эскадре. Следовало немедленно известить экипажи — офицеров, унтер-офицеров, матросов. Следовало немедленно известить полковых и ротных командиров, егерей, мушкетеров, гренадеров, морских пехотинцев. Следовало немедленно огласить бесповоротное решение.

Он берет перо. Гусиное перо сейчас тяжелее абордажного багра. Сенявин пишет ложь, ибо выводит слово «с ч а с т и е»: «Я имел счастье получить высочайший его императорского величества рескрипт...» Потом он пишет правду, хотя дорого бы дал, чтоб она была ложью: «...После акта перемирия, заключенного между армиею нашею и французскою, вослед имели открыться переговоры к восстановлению окончательного между обоими государствами мира; оные действительно воспоследовали, и мирный трактат обоюдными полномочными подписан в Тильзите прошедшего июня 25-го дня, о чем по командам сим извещается».

Все. Точка.

Можно перевести дух?

Да, можно. Но лишь для того, чтобы собраться с мыслями. Невзгоды испытывают стойкость природы, как бури — остойчивость корабля. Слишком много забот, чтоб никнуть в скорбях. Слишком много опасностей, чтобы никла воля.

Истина проста — англичане не олухи: кто с Наполеоном, тот против них. А балтийским кораблям, ядру сенявинского флота, велено воротиться на Балтику. Значит, надо идти через Гибралтар, а потом Атлантикой... Когда Сенявин направлялся из Кронштадта в Средиземное море, ему грозило столкновение с французским флотом. Но тогда подоспел Трафальгар. Теперь Сенявину возвращаться из Средиземного моря в Кронштадт. И у него противник (пока, правда, в потенции) куда грознее, чем французы: эскадры Британии, рыскающие во всех европейских морях. Не укрыться ли в случае чего в портах «заклятых друзей»? Ну нет, тысячу раз нет! Ничто в мире не принудит Сенявина плясать под дудку Наполеона. Он и прежде не плясал, и впредь не спляшет.

Надо спешить. Надо обогнать события. И обогнать зиму.

Английский историк объяснил поспешность Сенявина личными соображениями: русский адмирал хотел добраться до Кронштадта, прежде чем вспыхнет война с Англией, чтобы избежать конфликта с английским флотом, где он когда-то служил и где у него осталось много друзей.

Русские волонтеры иногда служили на британских кораб-

лях. Служил и Сенявин. Да только не Дмитрий Николаевич, а его родственник Григорий Алексеевич. И это о нем, о Григории, сказано в «Записках» графа Комаровского: «Сенявин во всех отношениях был отличный морской офицер (фамильная черта! — Ю. Д.) и любим в английском флоте».

Но «конфликтовать» с английским флотом наш Сенявин и впрямь не хотел. Теперь, после Тильзита, он видел капитальную задачу в том, чтобы сохранить свой флот, сохранить флотских для России. «Вице-адмирал Сенявин, — писал подчиненный Дмитрия Николаевича, — имея главным предметом возвращение флота в Балтику и рассчитывая притом, чтобы, по причине наступающего позднего времени, успеть пройти Зундом прежде, нежели он замерзнет, старался о наипоспешнейшем приуготовлении к отплытию в море нашей эскадры».

Громадность «приуготовления» заключалась и в том, чтобы снарядить в плавание вокруг Европы эскадру, измотанную долгими боевыми походами, и в том, чтобы отправить через Италию армейские части. И еще в том, чтобы, исполняя тильзитские условия, передать французам крепости и острова.

Совершенно по разным причинам, но торопились оба — и Сенявин, и Наполеон. Последнему прямо-таки не терпелось обосноваться и утвердиться там, откуда русские уходили: он боялся, что «вакуум» заполнят англичане. Скорее, скорее!

Альберт Вандаль, французский академик, подчеркивает: уже при первых свиданиях на Немане Наполеон «присудил себе драгоценную частицу приморского Востока», и она тотчас становится предметом его «беспримерных забот»; в корреспонденции — рефрен: Корфу, Которо, Ионические острова. Пустыяковые (в сравнении с заграбастанными на континенте) квадратные километры поглощают Наполеона «больше, чем все остальные части его империи», ибо тут — вехи грядущего великого движения в Египет, на Ближний Восток, к «вечному объекту наших вожделений».

Между тем «сдача-приемка» островов и крепостей тормозилась то скрытым, то открытым, не горячим, но леденящим сопротивлением русских.

Сенявинские офицеры испытывали те же чувства, какие недавно испытывали на Немане Денис Давыдов и его товарищи. Нет, пожалуй, более острые, более жгучие. Там, на севере, был Фридланд. Тут, на юге, был успех. Там, на севере, можно было согласиться, что французы взяли верх в честном бою. Тут, на юге, они срывали куш как маклеры.

Князь Вяземский, прослышав на Корфу о некоторых условиях Тильзита, занес в свой рукописный журнал: «Нам здесь, вдалеке, это было чрезвычайно больно, здесь все выгоды на стороне французов, но наших выгод мы еще не знаем, а потому сочли все себя побежденными, повесили головы».

Голову-то повесили, но изыскивали любую возможность

досадить «закрытым друзьям». Один из неисчислимых примеров: майор, посланный очистить для французов остров Занте, не выпустил из рук 9-фунтовую пушку и погрузил ее на фрегат, благо тот подвернулся; на запрос французского коменданта, почему господин майор так поступил, господин майор отвечал, что пушечка, мол, трофейная, турецкая, а не местная и посему, пардон, «не долженствует быть включена в число состоящих в городе орудий, назначенных к сдаче»¹.

Сенявинские корабли возвратились из Эгейского моря в сентябре. Над Корфу реял чужой флаг. Вот уж две недели, как его поднял дивизионный генерал Цезарь Бертье. «При молебствии, колокольном звоне, пушечной пальбе, огромной музыке и церемониальных шествиях скончалась Республика Семи соединенных островов», — с горечью записал Вяземский.

Сенявину этот Цезарь Бертье вовсе не был Цезарем, который пришел — увидел — победил. И Сенявин с ним не ящался. Генерал слезно жаловался Наполеону: Сенявин не салютует французскому флагу; Сенявин не отдает визитов вежливости; русские офицеры не отвечают на приветствие французских офицеров, не кланяются даже ему, Бертье, когда он появляется в полной генеральской форме; высказывания русских офицеров возмутительны: «Если император Александр наделал глупости, то пусть за них платит сам...» И резюмировал так: «Невозможно вести себя более вызывающе, чем г-н адмирал Сенявин и подавляющая часть русских моряков».

Донесение (вернее, донос) Наполеон получил в Фонтенбло, где царил сплошной фейерверк празднеств, где немецкие государи составляли его лакейскую свиту. Наполеон, хмураясь, тотчас отписал в Петербург Савари: «Посылаю вам доклад Цезаря Бертье с жалобой на русскую эскадру. Используйте этот доклад, если сочтете его интересным для императора Александра... Нахожу, что адмирал Сенявин просто невежлив и ведет себя как плохой политик. Это обычный характер моряков. Но дух его эскадры кажется мне очень скверным». (Еще бы не скверным, коли планируешь взять и эскадру, и «невежливого» адмирала для своих целей!²)

Савари — еще до того, как использовал «этот доклад», — пытался выторговать у царя корабли, плененные Сенявиным на Адриатике. Александр ответил: «За сей трофей слишком дорого заплачено, чтобы я захотел его отдать. Ваш император на моем бы месте никогда не отдал бы его».

Но донос Бертье, бережно донесенный Савари, Александр

¹ ЦГВИА, ВУА, д. 3168, л. 149.

² Такой проект существовал. Александр был с ним согласен. Савари рапортовал Наполеону: «Сенявин поступит в ваше распоряжение, если вы захотите осуществить нападение на Англию».

Павлович выслушал без возражений... Ах так, он, император, «наделал глупости»?! Нетрудно сообразить, что таково мнение и Сенявина, а не только его офицеров. Да-а, «дух очень скверный». И вот это-то Александр Павлович крепко запомнил.

Было бы лучше, если бы он запомнил, каково досталось Сенявину и его людям при эвакуации. Не хватало провизии, не хватало медикаментов, не хватало денег. А дорога предстояла длинная и трудная. К тому ж гуляла осенняя погодливость, изнуряя солдат и матросов, не чаявших, как добратся в родные пределы.

Прочтите рапорт высшего армейского офицера — возникнет картина печальная: «Видя, что вояж до Анконы (итальянский порт. — *Ю. Д.*) продолжится гораздо более прежде предполагаемого времени, ибо противные и сильные ветры уже вторично принудили военные и транспортные суда возвратиться в Корфинский пролив и по пятнадцатидневном уже плавании суда еще в проливе, а посему поставляю особливейшим долгом представить вашему превосходительству, что во всем отряде войск, в команде моей находящемся, больные в крайне жалостном положении... Больные не имеют другой пищи, кроме гречневых круп и аржаных сухарей, каковая вообще для больных вредна. Из сего, ваше превосходительство, усмотреть изволите, что при таком содержании больных не могут они выздоравливать и большая часть из оных помрет»

Вот над чем надо было бы пораскинуть мозгами и царю, и его сановникам в городе Санкт-Петербурге. А государь спустя месяц ограничился «гладкой бумагой» — в рескрипте на имя генерал-фельдмаршала Прозоровского обозначил маршрут для марша: «Князь Александр Александрович! Войска наши, в Ионических островах бывшие и соединившиеся в Падуе (Италия. — *Ю. Д.*), уповательно отправились уже теперь оттуда... и следуют к соединению со вверенною вам армиею — чрез Австрийские владения, по соглашению с Венским двором, от Гориц на Лейбах, Пест, Кошау, Пршемьсль, Лемберг, Залесчик и Чарновиц, что в Буковине».

Эвакуация войсковых частей (одни уходили на военных, другие — на арендованных судах) еще не закончилась, а эскадра Сенявина уже вступала под паруса. В каюте флагманского корабля был написан прощальный приказ, адресованный генералу Назимову:

«С первым удобным ветром отправляюсь я в назначенный мне путь, оставляя ваше превосходительство старшим командующим сухопутных войск, как здесь еще остающихся, так и тех, которые уже отправлены... Прошу ваше превосходитель-

¹ ЦГВИА, ВУА, д. 3168, л. 131-133 (об.).

ство изъявить признательнейшую благодарность мою всем войскам 15-й дивизии за их ревностную службу и доброе поведение во время командования моего в сих краях. Сентября 18 дня 1807 года. Корабль «Твердый», при Корфу, вице-адмирал Сенявин»¹.

Он прощался не только с егерями и гренадерами. Он прощался с греками, с албанскими легионерами, с балканскими славянами. Со всеми, кто видел в нем и его сподвижниках побратимов. Со всеми, в ком он видел товарищей по оружию.

Несчастье было обоюдным. Но Дмитрий Николаевич сознавал, что несчастье местных жителей горше.

С первых же дней оккупации французские «орлы» показали когти. Контрибуции следовали одна за другой: хлеб, вино, дрова, одеяла, белье, сукно, сапожный товар. К поборам «по разрядке» присоединилось разухабистое мародерство. Людей, замечает очевидец, «били без пощады».

Насильники не чувствовали под собою прочной почвы. Тотчас процвели шпионство и провокация; шулеры, подонки, шлюхи — все годились «контрразведчикам» Цезаря Бертье.

«Подслушивали везде, — продолжает тот же свидетель, — а дабы начать разговор и узнать мнение другого, нарочно начинали осуждать французов. Но как подобные сим хитрости заставляли каждого быть осторожным, то сии соглядатаи, дабы получить свое жалованье, по необходимости должны были клеветать». И далее гневно вопрошает: «Какую пользу могут принести доносчики?» Пожав плечами, приписывает: «Оставляю решить всякому благомыслящему...»

В ненастные дни местные жители провожали сенявинцев. Рокотал походный барабан. Звонил колокол в старинной церкви святого Спиридония. «Иногда печальное молчание прерывалось гласом признательности и благодарности, — рассказывает Броневский. — Каждый прощался со своим знакомым; просили не забывать друг друга, обнимались и плакали».

А Павел Свинын дорисовывает картину: «Не только улицы, но все окна, крыши домов покрыты были народом, кланяющимся и всеми образами приветствующим Сенявина. Толпа шла по следам нашим... Все хотели проститься с Сенявиным, обнять его... Сенявин не мог быть равнодушным, слезы покрыли гордые ланиты его».

Последние часы белели на сумрачном рейде паруса сенявинской эскадры. Совсем еще недавно их поджидали здесь, на берегу, где теперь бил барабан и звонил колокол, поджидали, как вестников надежд и радости.

¹ ЦГВИА, ВУА, д. 3168, л. 116.

Каждый день приходит корабль,
Каждый корабль приносит весть;
Как счастливы те, кто без страха
Смотрит в морскую даль, испытывая уверенность,
Что новость, которую несет корабль,
Это новость, которую они хотят услышать.

Корабли не придут — они уходят. Не будет хороших вестей — корабли уходят. Не гляди в морскую даль — корабли уходят.

Умолк походный барабан. И колокол тоже умолк. Стал внятен гул моря.

3

День ангела был 26 октября.

Когда бы и где бы ни праздновал Сенявин именины, день этот не ликовал: «ноябрь уж у двора». Но никогда раньше и никогда позже Сенявин не знал таких именин, как в 1807 году.

А ведь все хорошо начиналось!

Миновав Гибралтар, эскадра выбежала в Атлантику. Ветры дули попутные. Корабельщина жила обыденно: в семь — трель побудки; в девять — барабан к молитве; богу отдав богово, отдавали Нептуну Нептуново; а до обеда господам офицерам полагались водочка и легкая закусочка, а в обед чарочка полагалась и нижним чинам; в половине шестого баловались чаем, в кают-компаниии уже поплясывал каминный огонь; два часа спустя ужинали, а там, глядишь, пора в койки. Ей-ей, славно! Но вахты? Но судовые работы? У каждого брали они ежесуточно десять — четырнадцать часов. Ну, да ведь в корабельной размеренности есть известная прелесть. Шутили: первые девяносто лет тяжеленько, а после обыкновенешь... Нет, поначалу хорошо шли. Уже дни считали, что до Ревеля-то оставались. На Кронштадт не уповали, потому что прежде ноября никак не прибыть в Балтику, а тогда уж кронштадтский рейд подо льдом. Ладно, Рига иль Ревель: все едино — гавани свои, домашние.

В седьмой день октября атлантический рассвет убил надежду на скорое возвращение к дымам отечества. Попутный ветер сменился встречным. Он гнал аспидные тучи и клубы тумана. Закрутились смерчи. Началось сражение, за которое не жалуют орденами; сражение, за которое наградой — жизнь.

Десять лет назад у мыса Сан-Винцент суровый Джервис, имея правой рукою Нельсона, расколотил испанцев. Теперь у мыса Сан-Винцент адмирал Сенявин десять суток дрался с бурей. Его эскадра то подходила к берегу, то удалялась от берега, стараясь обмануть непогоду. Потом взяли далеко мористее — на сотни миль ушли в открытый океан. Но и там волна ломила стеной.

Несколько недель было нечто от мировых катастроф, хохот

хаоса. Древние не ошибались, называя Атлантику «Морем Тьмы».

Битву с ураганом не ведут на равных. Битва, доставшаяся сенявинцам, была иродовым побоищем. Океан крушил старые корабли. Ветераны, они не знали капитальных ремонтов; усталые путники, они принимали чудовищные удары.

Сенявин не покидал шканцев «Твердого». Флагами, фальшфейерами, пушками Сенявин получал извещения одно хуже другого: на «Мощном» повреждена бизань-мачта; «Рафаил» едва «на ногах»; у «Ретвизана» заклинило руль; «Селафил» принимает забортную воду; «Ярослав» просит разрешения укрыться в ближайшем порту; у фрегатов заливает жилые палубы... Нет горячей пищи, нет сухого платья, нет отдыха людям, костенеющим по поясу, по грудь в ледяной воде.

Но утром 26-го показалось солнце. Сенявину то был день именинный. Его ангел, великомученик храбрец Дмитрий Солунский, покровительствовал славянам. От славян он отступился минувшим летом. Что ж теперь? Поможет ли святой воин Дмитрий, поможет ли воину, нареченному в его честь?

Право слово, Дмитрий Солунский, должно быть, столкнулся с Николой Чудотворцем, заступником моряков, потому что до четырех часов дня тянул южный ветер и океан, казалось, смирился. Он обязан был наконец уступить, этот проклятый океан!

«Все предано было забвению, — говорит сенявинский моряк, — прошедшее казалось страшным сновидением, душа каждого возрадовалась...» И душа именинника, конечно, тоже. Хорошо, думал он, пусть потеряно время для возвращения в Кронштадт, даже в Ревель. Пусть так. Но есть еще время обойти Англию с северо-запада, чтоб не встречаться с англичанами в Ла-Манше, обойти Англию и зимовать в нейтральном норвежском порту.

Но к вечеру все переменялось. «Море, — пишет Броневский, — от спорного волнения закипело, и белизна валов была единственным светом, освещавшим темноту. На всех кораблях изорвало паруса... Несмотря на темноту, вдруг увидели близ себя корабль; положили право руля, приблизились к другому, положили лево на борт и чуть не сошлись с адмиральским кораблем, на нем горело несколько фальшфейеров, видно было пламя, исходящее из жерл пушечных, но грома выстрелов слышно не было. Когда корабль сей спускался с высоты валов, то казался падающим прямо на нас — одно прикосновение, один миг, и оба на дне... Ужасное борение стихий привело нас в то положение, когда уже нет надежды».

И опять (как в августе, в грузном от зноя Эгейском море) — скрежет зубовный: «Покорность судьбе! Какое жалкое прибежище! Но только это мне и остается».

Прибежищем был Лиссабон. Хочешь спасти — спасайся:

спасти эскадру — значит спастись в Лиссабоне. О-о, Сенявин отлично знает, что Португалия давно и прочно связана с Англией. В сущности, королевство на Пиренейском полуострове послушно диктату королевства на островах. Но все ж Португалия не воюет с Россией: Все это Сенявин знает. Он не знает только, что в день его именин Россия разорвала отношения с Британией.

4

Португалия, шутил историк дю Дезер, была крепко виновата перед Наполеоном: она дала превратить себя в британскую колонию.

А Испания была виновата перед Англией: она цеплялась за триумфальную колесницу Наполеона.

С точки зрения «пиренейского патриотизма» очень дельно изъяснялся один португальский герцог с одним испанским генералом:

— Мы — вьючные мулы. Нас толкает Англия, вас подгоняет Франция; будем скакать вместе и звенеть бубенчиками, но, ради бога, не будем причинять друг другу зла, чтобы не стать посмешищем.

«Вместе скакать» не пришлось.

Наполеон был последователен: континентальная блокада требует закупорки пиренейских портов. Закупорить их Наполеон мог только с материка. Он начал Португалией. Испанскому королю просто-напросто объявили, что войска генерала Жюно преследуют испанской территорией.

В те безумные дни, когда сенявинскую эскадру заглатывала Атлантика, генерал Жюно (как и многие кондотьеры Наполеона, бывший его адъютант) шел испанскими дорогами к границам Португалии. Места были каменно-суровые. Продовольствие и фураж не ждали армию. Она, как всегда и везде, кормилась грабежом и без того нищих крестьян.

Вслед за этой ордою (двадцать семь тысяч прожорливых глоток!) катилось еще столько же пехотинцев и кавалеристов генерала Дюпона.

В ноябре 1807 года Жюно со здорово потрепанным, поредевшим и задыхающимся войском достиг старинного городка Абрантес; за сие достижение тароватый хозяин удостоил генерала титула герцога.

Городок теснился на крутизне. Внизу текла река. Она пробила через каменистые степи Кастилии и гранитные отроги близ Толедо, миновала дубравы и, поменяв испанское имя Тахо на португальское Тежо, раздалась вширь, стала глубокой и судоходной.

Из городка Абрантес герцог Абрантес уведомил лиссабон-

цев, что он пожелает в столицу Португалии несколько дней спустя.

А несколькими неделями ранее из устья Тежо, где берегов не видать, вышли в океан странные баркасы: остроносые, с выпуклыми палубами, с кормою как рыбий хвост и треугольными парусами, что зовутся латинскими: лоцманы Лиссабона встречали эскадру Сенявина.

Медленно, под зарифленными парусами, русские корабли прошли у мели Кошопо-до-Корто, прошли форт Торе-де-Бужо; медленно, как ощупью, тихо, как в полусне, они тянулись вверх по широченной предутренней Тежо.

Медленно поднимался туман. На северной стороне реки вставал прекрасный Лиссабон: крепости и батареи, верфи, дома, монастыри, сады, а чуть дальше — «длинный амфитеатр великолепных зданий».

Страшусь бровей педантов, но все ж осмелюсь предположить, что в душе Дмитрия Николаевича шевельнулись чувства, чуждые политики, кораблей, службы.

Он бывал в Лиссабоне. Давным-давно бывал, ему в ту пору шел «осьмнадцатый». Он был мичманом на корабле «Князь Владимир» и, по собственному признанию, «резв до беспамятности». Кронштадтцы зазимовали в столице Португальского королевства. И вот здесь-то и приключилось с «ребенком», как отечески называли тогдашние капитаны своих мичманов, здесь-то и приключилось нечто, по его словам, «сердечное и первоначальное».

В записках, писанных после окончания средиземноморской кампании, Дмитрий Николаевич рассказал о лиссабонских бальных увеселениях времен его юности. Разумеется, «ребенок» от них не бегал. А на тех «ассамблеях» блистали юные сестрицы-англичанки. «Меньшая называлась Нанси. Мы один другому очень нравились, я всегда просил ее танцевать, она ни с кем почти не танцевала, кроме как со мною, к столу идти — я к ней подхожу или она ко мне подбежит, и всегда вместе... И мы так свыклись, что в последний раз на прощании очень, очень скучали и чуть ли не плакали».

Воспоминание о первой любви Дмитрий Николаевич обрывает обещанием: «Это еще не все, а будет продолжение, а только не скоро, а ровно через 28 лет, под конец моей молодости и при начале ее старости». (Лихо, однако, сформулировано различие возрастов!)

Продолжения на бумаге нет, но продолжение не на бумаге было. Какое же? Как они встретились, Дмитрий Сенявин и Нанси Плиус? Посмеялись над детской любовью или погрустили о первой любви? А может, и посмеялись и погрустили? Не знаю, лишь скорблю, что не дано мне ни права, ни дара поэта.

Ну, а презренная проза принесла Сенявину и серьезные

огорчения, и серьезные опасения. Наступали такие дни, когда впопору было добром помянуть осенние ужасы океана.

Нет, адмирал не мог пожаловаться на португальские власти. Осмотрев свои разнесчастные корабли, Дмитрий Николаевич отнесся к самому принцу-регенту с просьбой о снабжении эскадры. И Жоан распорядился отпустить все необходимое.

Между тем принцу-регенту, ей-богу, хватало забот. Жоан боялся Англии и боялся Франции. И присоединение к континентальной блокаде, и неприсоединение к ней были подобны самоубийству. Принц все ж объявил войну Англии: генерал Жюно надвигался тучей. Однако, объявив войну, Жоан собирался удрать из наследственной берлоги и от дедовских могил, ибо оккупация грозила свести в могилу самого принца раньше сроков, определенных промыслом. И принцу-регенту, его грандам, иезуитам и отцам-инквизиторам («священный» трибунал еще дышал) ничего иного не оставалось, как искать защиты у той самой страны, которая была объявлена врагом, то бишь у Англии.

Англия дала понять, что выпустит португальский флот из Тежо, а тем самым позволит королевской фамилии с ее охвостом убраться за океан, в Бразилию, тогдашнюю колонию Португалии.

Приход Сенявина обескуражил принца-регента. Оно и понятно: у стен Лиссабона нежданно-негаданно встала эскадра союзника Франции. Да еще эскадра адмирала, известного Европе своей решительностью.

(В связи с укрытием Сенявина в устье Тежо два историка высказались по-разному, но равномерно несправедливо. Английский историк утверждал, что Сенявин испугался «наличия британских сил в Бискайском заливе». Мы уже видели, что причиной сенявинского «испуга» были не британские силы, а силы стихии. Французский историк утверждал, что корабли «Сенявина, попав в руки Наполеона, по крайней мере, спаслись от британского захвата». Сенявина отдали в руки Наполеона, это так. Да он из тех рук выскользнул, как никому еще не удавалось. Но об этом позже.)

Так вот, Сенявин, придя к стенам Лиссабона, мог, конечно, не допустить — или попытаться не допустить — ухода португальских судов с королевским семейством и королевскими сокровищами.

Наполеона мало интересовали принц Жоан и его спятившая матушка, хотя он и решил покончить с династией, традиционно преданной Англии. Другое дело — португальские линейные корабли и фрегаты. Вкупе с русской эскадрой это было уже кое-что для борьбы с врагом там, где враг — англичанин — вечно одерживал верх.

А Сенявин и пальцем не шевельнул, чтобы помочь вели-

кому полководцу и великому императору. Сенявин и с места не двинулся, равнодушно наблюдая, как португальцы уплывают, если и не из-под носа самого Наполеона, то из-под носа его герцога. И конечно, у русского адмирала, как всегда, нашлась отговорка: дескать, Россия не находится в состоянии войны с Португалией. Черт бы подрал этого крючкотвора в морском мундире: сорвал план создания коалиционного флота...

Однако Россия уже формально враждовала с Англией. И если теперь в океане, на подходах к Тежо, на подступах к Лиссабону крейсировал отряд контр-адмирала Сиднея Смита, то он крейсировал вовсе не для того, чтобы «мужчина с пламенными глазами» продолжил увлекательные рассказы, начатые минувшим летом близ Тенедоса.

В конце ноября 1807 года генерал Жюно со своими отошавшими на испанской бескормице офицерами и солдатами вступил в Лиссабон; в тот день затмилось солнце и проревел ураган.

Отныне французская армия и русская эскадра оказывались по соседству; этого давно жаждал Наполеон.

Казалось, Сенявина прижали в угол. Куда было деться? Да и надо ли было «деваться», если и из Петербурга и из Парижа поступали совершенно недвусмысленные, определенные и четкие указания о боевом взаимодействии с генералом Жюно?

Суворов однажды саркастически высказался на тот счет, можно или не можно служить одновременно двум монархам, российскому и австрийскому: «Отчего нельзя? Ведь служим же мы трехипостасной троице!»

Сенявин троице служил, но не желал служить двум господам. Он хотел — и хотел страстно! — соблюсти интересы одной «Госпожи». А русские интересы — коренные, непреходящие — требовали сберечь, сохранить самое ценное из того, что было ему вверено. И если Наполеон, по агентурным сведениям, определил хроническую недостачу опытных матросов в Российском флоте, то Сенявин о такой недостаче ведал не из шпионских цидулек. И потому не имел он ни малейшей охоты жертвовать хоть одним русским матросом ради «прекрасной Франции и ее доблестного императора». Как, впрочем, и ради «могущественной Англии и ее доброго короля».

И вот тут-то началось поразительное единоборство военачальника с двумя самодержцами, один из которых был ему государем «законным», а другой стоял выше всех и всяческих законов.

Могут возразить: видать, Дмитрий Николаевич догадывался о внутреннем нежелании Александра I скрещивать шпагу с Британией; а коли догадывался, невелика храбрость явить неисполнительность.

С первым согласен: догадывался, очень даже догадывался.

Не согласен со вторым: нет документа, в котором царь хотя бы намекнул адмиралу о своем нежелании, напротив, есть документы с требованием подчиняться Наполеону.

Но, быть может, адмирал шел на сознательный риск, как, бывает, рискует шустрый подчиненный, сознавая, что начальство думает одно, а говорит другое. Допустим нечто подобное. Однако и тогда, надо признать, Сенявину ничего не стоило оскользнуться, оступиться, промахнуться да и оказаться тем хлопцем, у которого чуб трещит.

Наконец, Дмитрий Николаевич хорошо понимал, что его государь предпочитает терпеть урон от исполнительности подданных, нежели получать выгоды от их самостоятельности.

И еще одно: соображения карьерные, чувство самосохранения диктовали послушание официальным бумагам; иные чувства, чуждые личным выгодам, личному спокойствию и личной безопасности, диктовали непослушание.

А теперь и решайте, что сделали бы да как бы поступили бы на сенявинском месте несенявины...

Флот общеевропейский, антианглийский, флот коалиционный, союзный — Наполеон помышлял об этом не только как стратег и политик. Было что-то роковое в том невезении, которое преследовало его морские проекты и надежды. Взмахом перста определял он участь тронов и государств. А свободная стихия смеялась над «владыкой полумира». Оттуда, с океана, словно бы доносился громовой насмешливый голос: «Что такое суша в сравнении со мною?!» Он был далек и от романтических грез, и от постижения символов. Но в непокорстве морей таился грозный намек. И ведь в конце концов именно океан, пустынный и необозримый, окружил островок, на котором, «всему чужой, угас Наполеон».

После Тильзита казалось вполне возможным сколотить коалиционный флот: русский плюс датский плюс португальский плюс то, что оставалось от французского и испанского. Но уже вскоре англичане пиратским наскоком на Копенгаген захватили датские корабли. А теперь вот сбежали португальские. Оставался флот русский, эскадра боевая и, как говорят моряки, сплаванная, под командой вице-адмирала Сенявина.

Правда, Наполеон морщился: «дух на эскадре нехорош», а Сенявин «плохой политик» и грубиян. Однако этот невежа недурно вершил свое дело в Адриатическом и Эгейском морях. А Наполеон полагал, что «англичане сильно присмирели, когда Франция будет иметь одного или двух адмиралов, желающих умереть». (Кроме этого желания, по мнению полководца, от флотоводца ничего иного не требовалось!) Но вот вопрос: желает ли вице-адмирал Сенявин умереть за Францию? Впрочем, он обязан желать умереть за тот союз, что родился на берегу Немана, — и тут уж никаких вопросов.

В декабре 1807 года Наполеон писал Александру: «Эскадра

адмирала Сенявина прибыла в Лиссабон. К счастью, мои войска уже должны там теперь находиться. Было бы хорошо, если бы ваше величество уполномочили графа Толстого (русского посла в Париже. — Ю. Д.) иметь власть над этой эскадрой и ее войсками, чтобы в случае необходимости пустить ее в ход, не ожидая прямых указаний из Петербурга. Я думаю также, что эта непосредственная власть посла вашего величества имела бы хорошее воздействие в том отношении, что положила бы конец недоверию, которое иногда проявляют командиры к чувствам Франции».

И Александр отдал Сенявина Наполеону: «Признавая полезным для благоуспешности общего дела и для нанесения явщего вреда неприятелю предоставить находящиеся вне России морские силы наши его величеству императору французов, я повелеваю вам согласно сему учредить все действия и движения вверенной начальству вашему эскадры, чиня неукоснительно точнейшие исполнения по всем предписаниям, какие от его величества императора Наполеона посылаемы вам будут».

Наполеон принял подарок без особых благодарностей — как брат от брата. И не замедлил снабдить вице-адмирала предписаниями: быть всегда в готовности сняться с якоря; пополнить экипажи матросами, которых пришлет генерал Жюно; принять боезапас в Лиссабоне; произвести некоторые перемены в судовом составе эскадры и т.д. и т.п.

Жюно, в свою очередь, не оставлял в покое Сенявина. В первое время герцог ограничивался разменом приемов и тостов, взаимными излияниями и возлияниями. Но по мере того как англичане усиливали прямой военный натиск на Португалию, генерал усиливал, повышая тон, словесный натиск на адмирала.

Герцог Абрантес был рупором Наполеона; последний совершенно основательно заявлял, что сенявинская «эскадра поставлена под мою власть русским императором»; стало быть, конкретные предложения Жюно звучали приказами: напасть на британцев, блокирующих Лиссабон с моря; занять левый берег Тежо, дабы прикрыть столицу королевства с юга...

Что ж Дмитрий Николаевич?

Человек действия, он бездействует. Натура активная, он пассивен. У него дюжина отговорок и чертова дюжина уловок. И лейтмотив: рад бы помочь господину генералу Жюно, ей-богу, рад бы, но прежде всего и раньше всего, выше всего и важнее всего — сохранить эскадру «моего августейшего повелителя».

Альфред Мэхэн, американский военный историк прошлого века, писал, что Сенявин «упорно отказывался действовать совместно с Жюно; он (Сенявин. — Ю. Д.), вероятно, был выразителем сильного несочувствия высших слоев русского населения союзу с Францией...»

Наполеона не сочтешь воробьем, которого проводят на мякине. И все ж он не сразу взял в толк, что его-то как раз и проводят на этой самой мякине. Тут, очевидно, сказывался некий психологический барьер. Как! Вся европейская знать елозит во прахе. Дипломаты из дипломатов не смеют хитрить. Любой генерал готов лизать сапоги... Как! Короны и скипетры не более чем шапки и палки. Огромные армии послушны карандашу на ландкарте... И что же? Какой-то вице-адмирал... Ну нет, что-нибудь да не так... Вероятно, милейший Жюно не умеет обращаться с этим скифом, с этим Сенявиным...

Однако уже к лету 1808-го император французов отчетливо уразумел: этот Сенявин упрямо, хитро и донельзя дерзко уклоняется от всего, что исходит из Парижа.

Даже если исходящее из Парижа проشتهмпелевано Санкт-Петербургом.

Бездействуя, Сенявин, в сущности, действовал. Оставаясь безучастным, он участвовал. Уклоняясь, не уклонялся. Действовал так, чтобы занять положение «третьего смеющегося». Участвовал в том, чтобы не дать англичанам повода нарушить его, Сенявина, нейтралитет. Не уклонялся от заранее взятого главного курса — при всех обстоятельствах сохранить экипажи.

Нужна была не запальчивость, а выдержка. Не порывистая храбрость, а терпеливое мужество. Не эмоциональная шаткость, а величайшее равновесие. И неколебимое сознание своей правоты. Все это нашлось в душевном арсенале Дмитрия Николаевича.

Наступил август. Англичане высадились в Португалии и побили Жюно. Выгораживая своего «августейшего повелителя», Сенявин вроде бы извинился перед Наполеоном: дескать, лишь крайняя слабость эскадры «лишила его счастья» сражаться под знаменами Франции.

Отбоярившись от одного знамени, Сенявин попадал под сень другого — английского. И если раньше он был обязан подчиняться (хотя и не подчинился) определенным приказам и указаниям, то теперь ему нечему было подчиниться, даже пожелай он вдруг обратиться в пай-мальчика: никаких приказов, никаких указаний.

Единственная его надежда питалась тем, что между Англией и Россией, несмотря на формальный разрыв, фактических боевых столкновений не произошло.

Да и сами англичане, по-видимому, не стремились навязывать бой сенявинской эскадре. Им было на руку изобразить франко-русский союз эдаким воздушным поцелуем без последствий. (А Наполеону, помимо прочих соображений, действующий Сенявин, сражающийся Сенявин был необходим для демонстрации отнюдь не платонической любви с русским царем.)

Еще до битвы при Вемизэйро, гибельной для Жюно, еще в июле 1808 года англичане окольными путями приглашали нашего адмирала к переговорам. Его извещали, что Наполеон задерживает русские суда в портах Франции и что Александр уже склоняется к некоторому сближению с Англией.

Сенявину было бы выгодно если и не вовсе заглотнуть крючок с этой наживкой, то хотя бы зацепиться губою. Выгодно, ибо корабли адмирала Чарльза Коттона могли нанести такой удар, на который ни Жюно, ни сам Наполеон не были способны при всем негодовании на Сенявина.

Жюно убрался во Францию. Он ретировался, а Сенявин остался. Остался один на один с британским флотом, превышавшим его эскадру вдвое. Но Сенявин увильнул от французского влияния не затем, чтобы пасть под влиянием британским. Отстав от павы Жюно, он не желал пристать к ворону Коттону.

Перво-наперво Дмитрий Николаевич объявил: вы, англичане, пришли в Португалию, дабы освободить ее от чужеземного ярма; мы, русские, пришли в Португалию, дабы укрыться в нейтральном порту от бури; ergo, мы находимся в пределах государства, не воюющего ни с Англией, ни с Россией, а по-сему будьте любезны уважать международные законы.

В те времена с юридическими нормами иногда считались; однако не настолько, чтобы пренебречь принципом: «Англия всегда права, права она или не права». Но в случае с Сенявиным для самой же Англии лучше было бы устоять на позициях международных трактатов.

К тому же Сенявин не скрывал, что живым не достанется. И расположил корабли так, чтобы оказать оглушительный отпор. А то, что он умел это делать, англичане знали не хуже французов и не хуже турок.

Пока адмиралы перекорялись, тучи сгущались. Уже не только британский флот маячил близ Лиссабона, но и британские войска квартировали в Лиссабоне. Сенявин был как в люке. Небо казалось с овчинку.

Впоследствии Дмитрий Николаевич нарисовал сумрачную картину: «Таким образом, будучи стесняем со всех сторон несоизмеренно превосходнейшими неприятельскими силами и удобствами для них и быв уверен, что при малейшем со стороны моей упорствовании эскадра, высочайше мне вверенная, должна непременно истребиться или достаться во власть неприятеля, не сделав никакой чести и пользы для службы вашей, всеавгустейший монарх, с другой стороны, находил выгоду купно с честью поддаться на предложения неприятельские».

На что ж он «поддался»? На такие условия, за которые Коттон несколько позже получил здоровенную взбучку в парламенте; баронета даже судить хотели.

Пожалуй, поддался-то не Дмитрий Сенявин, но Чарльз

Коттон, ибо первый потребовал, а второй согласился: русская эскадра не считается плененной; русская эскадра отстоится в английском порту до заключения мира; все экипажи со своими знаменами возвратятся на родину; никаких оскорблений флагу чиниться не будет.

«Итак, — записал русский офицер, — мы оставляем Лиссабон, идем вместе с английскими кораблями в Англию под своими флагами, точно как в мирное время. Не хвала ли Сенявину, умевшему вывести нас с такою славою из бедственного нашего положения?»

5

За века до сенявинской эпопеи был такой случай.

Генрих IV отправил послом в Англию герцога Сюлли. На грот-мачте французского корабля, понятное дело, развевался французский флаг. В Ла-Манше посла встречал английский корабль. Командир его велел французам спустить флаг. Герцог Сюлли, «один из самых рыцарственных принцев из всех когда-либо живших», оскорбился и отказал. Англичанин, не тратя слов, трижды выпалил из пушки. «Выстрелы, — говорит современник, — пронизав корабль, пронизали сердца добрых французов». И пронзенные сердца спустили флаг. А удовлетворенный английский капитан процедил, что обязан «требовать сказания должных почестей его государю — господину моря».

Никаким «господином моря» Англия в ту пору не была. Какова, однако, надменность, самонадеянность!.. Позднее король Карл II, в сущности, повторил мысль английского капитана: «Обычай Англии — командовать в море!» И прибавил, что, если он, Карл, не будет держаться этого железного принципа, его подданные не будут ему повиноваться. А Британия и при Карле II еще не была «господином моря».

Но теперь, когда эскадра Сенявина шла в Портсмут, Англия действительно могла считаться господствующей в морях и могла там командовать. «Английский флот, — свидетельствует историк, — находился в цветущем положении, хотя жизнь и служба на корабле была очень тяжела не только для матросов, но и для офицеров. В 1808 году было до 800 военных кораблей, между которыми — 144 линейных. Экипаж их состоял из 100 000 человек».

Вообразите-ка физиономии англичан: эскадра державы, находящейся в состоянии войны с Англией, входит в военный порт Англии, неся на всех своих кораблях флаг — вражеский флаг!!! А на «Твердом» — еще и адмиральский!!!

Да ведь это ж неслыханно, это ж невиданно. Позор! Проклятие! «Общее возмущение», «общее негодование» — писали газеты, восклицали парламентарии.

Не думаю, чтоб возмущением и негодованием пылали рудокоп или фермер, уличная торговка жареными гусями или почтальон с кожаной сумкой, украшенной металлической короной, мальчишка-трубочист с лесенкой или ночной сторож с трещоткой, кучер тяжелой фуры, запряженной восьмеркой цугом, или старая дева, осужденная, согласно поверью, прогуливать в аду чужих детей.

Готов, однако, допустить негодование и возмущение «морских волков», сидевших за чашей «кусающего дракона» — горящего коньяка, из которого они пытались выхватить изюминки; маклеров, играющих на «понижении-повышении»; министров, играющих в баккару в клубе Брукса; франтов в кургузых фраках и сапогах с вырезом на икре, называемых «гессенскими»; красномундирных пехотинцев и синемундирных артиллеристов. А в первую очередь матерых высших офицеров, непреклонных патриотов и неуклонных взяточников.

Как все мздоимцы, они хорошо считали в чужом кармане. А конвенция Коттона — Сенявина предусматривала содержание русских на английский казенный счет. Месячный матросский порцион обходился в четыре с половиною фунта стерлингов, что по тогдашнему курсу равнялось ста восьми рублям. Беря скопом, не отличая матросов от офицеров, русских ртов было примерно четыре с половиною тысячи. Стало быть, эскадра, которая могла бы принести немалый доход, оказись она призовой, принесет ежемесячный полумиллионным расход. До открытия навигации в восточной Балтике, куда (согласно Лиссабонской конвенции) следовало вернуться сенявинцам, оставалось более полугодия. Вот и прикиньте-ка, джентльмены!

Правда, Англией в то время правили джентльмены, которым должно было импонировать антифранцузское поведение русского вице-адмирала. Эти люди поклялись никогда не протягивать руки Наполеону, разве лишь затем, чтобы ухватить корсиканца за кадык. В этом смысле и вице-адмирал, и его офицеры, и его матросы пришли по сердцу английским лидерам.

Кроме того, русская «живая сила», закаленная в морях и боях, пришлась им по душе еще и потому, что британскому флоту по обыкновению недоставало матросов.

Историк, сообщивший нам численность флота восьмью летом, говорит, что укомплектование его производилось насильственно. Людей грабастали ночью в тавернах и на улицах и тотчас «отправляли на службу отечеству». При такой системе набора матросов они нередко бунтовались, особенно в открытом море и в колониях, и овладевали кораблями, побросав офицеров за борт. Газеты сообщали судебные следствия о подобных случаях».

Сенявинские экипажи — обстрелянные и дисциплиниро-

ванные — были поистине лакомым куском для лордов Адмиралтейства. Боевые качества этого человеческого материала афористично и точно определил покойный Нельсон: «Бери на бордаж француза, маневрируй с русским». Другой англичанин (он ходил на нашем корабле пять лет спустя) так отозвался о балтийцах: «Вообще говоря, русские моряки обладают всеми данными для того, чтобы занять первое место среди моряков мира, — мужеством, стойкостью, терпением, выносливостью, энергией».

Да, кус был лакомый.

Сенявину и его командирам предложили поселиться на берегу. Трогательная заботливость! Как ни хороша каюта, а все ж «мокнешь и сыреешь», да еще в туманной, волглой Англии, да еще осенью и зимой... Трогательная заботливость? Полноте! Если и заботливость, то совсем особая. И сенявинцы сообразили: «Явное было намерение, разделяя начальников от команды, произвести в ней беспорядки и сим беспорядком пользоваться, переманивая разными обещаниями наших людей на свои корабли. Они укомплектовали бы матросами опытными, знающими свое дело и бывшими не один раз в сражении. Не успев в оном, они продлили наше пребывание в Англии под пустыми предложениями».

«Манить обещаниями» было тем легче, чем труднее было русской корабельщине. Еще в Лиссабоне лихое безденежье понудило Дмитрия Николаевича расходовать личные деньги офицеров и матросов (обещая возратить в отечестве); пришлось даже распродать личное имущество убитых (обещая возместить стоимость наследникам). Теперь, в Портсмуте, жестоко экономя на возможном и почти невозможном, Сенявин терпел не только прижимистость британской казны, но и хищничество поставщиков.

Ко всему прибавился и тот подлый холод, какой, право, злее крепких морозов. «Зимовать на корабле в таком климате, как в Англии, было очень неприятно, — вспоминал офицер Панафидин. — По ночам недостаточно было шинели, а теплого белья ни у кого не было».

Но, думается, еще больше угнетало «положение вне игры». «Однообразие, бездеятельная жизнь может ли нравиться для тех, кто привык к трудам?» — грустно спрашивает Панафидин. Кручина закрадывалась в души. Изводило ожидание — ожидание отправки на родину. И разочарование — отправка откладывалась.

Однообразие и бездеятельность грозили почти невольным уклонением от распорядка службы и быта. Одно дело поддерживать дисциплину на походе, в страду, когда «сердца для чести живы», когда каждый в напряжении и душевном и физическом, когда с морем не заскучаешь; иное в муторных буднях якорной стоянки, когда и зябко, и голодно, и тоскливо,

когда вроде бы только дышишь, но не живешь. Не всем, не каждому дано выстоять перед недугом принудительной праздности, схожей с тюремной.

Особенно побаивался Дмитрий Николаевич зеленого змия. В Портсмуте — и в городе, и в порту, и на рейде, на баркасах, осаждавших корабли, — торговали водкой подслащенной и водкой, настоящей на мяте и перце, можжевелевой водкой и портвейном, ромом и грогом, то есть разбавленным ромом, который вот уж несколько десятилетий выдавали английским морякам с легкой руки адмирала Вернона¹.

Сенявин не был ярым ненавистником Вакха. У гроба шутил: «Никогда не пил воды, а помираю от водянки». Он был ненавистником тупых и тяжелых как чугун пропойц и приказывал офицерам «как можно чаще внушать служителям о воздержании себя от всякого рода дурных поступков, а паче от пьянства, которое опричь частного несчастья соделывает часто вред службе и товарищам своим».

Недостачу хлеба пытался он хоть малость возместить зрелищами. «На некоторых кораблях, — рассказывает Свиньин, — заведены были во время бездейственного пребывания эскадры в Англии и Португалии театры. Палубы убирались для сего прилично и красиво флагами».

Это удивляло, нет, раздражало британских морских командиров. Свары и драки английских мичманов в их каютах, прозванных петушьими ямами, запой, повергающий офицера среди «мертвецов», то бишь среди опорожненных бутылок, находили они вполне приемлемым и естественным. Но сцена на военном корабле — какой разврат! И даже десять лет спустя Уильяму Парри, отважному полярнику, указывали, что не следовало лицедействовать на корабле его величества, хотя бы зимуя во льдах Арктики.

Русские моряки смотрели на дело разумнее и проще. Когда на одном бриге сыграли пьесу «Крестьянская свадьба», сочиненную матросами, лейтенант записал: «Такие увеселения на корабле, находящемся в дальнем плавании, покажутся, может быть, кому-либо смешными, но, по моему мнению, надо использовать все средства, чтобы сохранить веселость у матросов и тем самым помочь им переносить тягости, неразлучные со столь продолжительным путешествием». Кто знает, не слышал ли этот лейтенант про «увеселения» на сенявинских кораблях?..

Но, конечно, ничто не могло «размыкать наше горе, развеять русскую печаль». К тому же Сенявину приходилось отбиваться и отгрызаться от наскоков британского Адмиралтейства.

¹ Верном носил грубый шерстяной плащ — грогрэм. Моряки прозвали Вернона «Старым грогом», а после адмиральскую кличку перенесли на горячительный напиток, им изобретенный.

Ох, больно язвила морских лордов конвенция, подписанная Коттоном. Они охотнее подписались бы (если бы не честь мундира) под тем распространенным мнением, которое гласило: русский вице-адмирал в Адриатике «обвел» австрийцев и французов, а в устье Тежо — и французов и англичан. Они охотно согласились бы (если б не ведомственный престиж) с заявлением лорда-мэра Лондона: «Конвенция, заключенная в Лиссабоне, не приносит славы Англии».

Адмиралтейские «нептуны» трясли трезубцами. Никак не могли они простить Сенявину то, что он позволил Коттону совершить такой промах. Вот так же царь и его генерал-адъютанты не могли простить Кутузову, что он позволил им проиграть Аустерлиц.

Отметим в скобках оправдания Чарльза Коттона, делающие ему честь: я уважал Сенявина и его подчиненных; я знал, что они погибнут, но не сдадутся; я не хотел их гибели, ибо русские — давнишние друзья англичан, попавшие в трудные обстоятельства.

Однако эскадра, принадлежащая стране формально вражеской, находясь в английском порту, не находилась на положении формально пленной. И это все ж как-то пятнало Адмиралтейство.

Давно открылась навигация в восточной Балтике. Давно разгорелось лето, а лорды морские не отправляли в путь если и не русские корабли, то хотя бы русских корабельщиков.

Впрочем, кое-какие резоны у лордов были. И резоны серьезные, а не только «пустые предлоги», как угрюмо сетовал Панафидин, измученный, подобно всем сенявинцам, портсмутским прозябанием. Пустишь ли боевых балтийцев в Балтику, коли Россия воюет со Швецией, английской союзницей?

Лорды предложили: давайте-ка отправим вас в Архангельск. (Все-таки подальше от балтийского театра военных действий.) Сенявин «архангельский вариант» не принял. Но оставить корабли в «депозите», вернее в «срочном депозите», подлежащем возврату по замирению с Англией, Сенявин согласился. Ему, повторяю, важнее всего было сохранить матросов, солдат, офицеров. А люди голодали и хворали. Дмитрий Николаевич в отчаянии сообщал российскому министерству иностранных дел, что в Англии умирает русских больше, чем за все время боевых плаваний.

Долго Сенявин мучился в Портсмуте. Но вот двадцать один транспорт принял на борт его моряков и армейцев. Без малого за месяц добрались они до Риги. Уже накатила рыжая осень, осень 1809-го.

Броневский писал: «Сим кончилась сия достопамятная для Российского флота кампания. В продолжение четырехлетних

трудов не одним бурям океана противоборствуя, не одним опасностям военным подверженные, но паче стечением политических обстоятельств не благоприятствуемые, российские плователи наконец благополучно возвратились в свои гавани. Сохранение столь значительного числа храбрых опытных матросов, во всяком случае, для России весьма важно. Сенявин исхитил, так сказать, вверенные ему морские силы из среды неприятелей тайных и явных...»

Когда-то Нельсон утверждал, что потеря храброго офицера есть потеря национальная. Сенявин избавил нацию от потери многих офицеров и еще большего числа рядовых служителей морей и кораблей.

Он снова был в России.

Помните у Грибоедова: «Спешил!.. летел! дрожал! вот счастье, думал, близко!»

И что же?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Погожими летними вечерами генерал Мертваго и его крестник беседовали на балконе о разных разностях. Беседуя, поглядывали на неширокую набережную Фонтанки, на прохожих и извозчиков, на темные барки с дровами и на эти шаткие прибрежные мостки, где возились, брызгаясь и суда-ча, раскоряки прачки.

Много лет спустя Сергей Тимофеевич Аксаков вспомнил крестного, вспомнил дом на Фонтанке, давние «балконные» дни.

«Один раз он (Мертваго. — Ю. Д.) сказал мне, указав пальцем: «Видишь ли ты этого господина, который тащится по набережной, так гадко одетый?» Я отвечал, что вижу. «Это великий человек! Это нищий, которому казна должна миллионы, истраченные им для чести и славы отечества. Это адмирал Сенявин!» Как он в это время поравнялся, то Дмитрий Борисович назвал его по имени и сказал ему: «Зайди ко мне». Адмирал зашел. Мы все трое прошли в кабинет. Я, разумеется, пошел по приглашению хозяина. Сенявин пробыл с час; просто и открыто говорил он о своем крайнем положении, об оскорблениях, им получаемых, о своих надеждах, что когда-нибудь заплатят же ему и всем офицерам призовые деньги, издержанные им на флот (этим делом занималась тогда особая комиссия). Адмирал ушел. Не утверждаю, но мне показалось, что Дмитрий Борисович достал деньги из ящика и тихонько отдал их своему гостю и давнему приятелю. Рас-

сказ адмирала произвел на меня такое глубокое и горькое впечатление, которого никогда нельзя забыть. Крестный отец до-сказал мне всю историю русского с ног до головы славного нашего адмирала; рассказал мне и положение, до которого он был доведен. «Сенявин, — прибавил он, — доведен до того, что умер бы с голоду, если б не занимал денег, покуда без отдачи, у всякого, кто только дает, не гнушаясь и синенькой; но у него есть книга, где он записывает каждую копейку своего долга, и, конечно, расплатится со всеми, если когда-нибудь получит свою законную собственность». Не сразу после возвращения, а постепенно увязал Дмитрий Николаевич Сенявин в этом «крайнем положении».

2

Устремляясь на Балтику, Сенявин мог бы сказать о себе, как поэт сказал о Кавказском пленнике:

В Россию дальний путь ведет,
В страну, где пламенную младость
Он гордо начал без забот...

Заканчивая громадную одиссею, вице-адмирал заканчивал и «свою молодость». Так Сенявин определил собственный возрастной этап, пришедшийся на лиссабонские дни.

Дмитрий Николаевич вернулся сорокашестилетним.

Тогдашнему Сенявину ровня годами пишущий эти строки. Но он живет «вечерне» и потому радуется, глядя на героя своей книжки. Столько испытать, столько изнемогать и столько одолевать — и вот, поди ж ты, экая бодрость, экая устойчивость мироощущения!

Когда постранствуешь, все хорошо на родине — и то, что хорошо, и то, что нехорошо. Была острая отрада свидания с женой, с Терезой Ивановной, встреча с детьми, которые под-нялись, вытянулись, изменились, и это тоже сладко, но вместе и больно, потому что поднимались, тянулись, изменялись без тебя, словно бы в сиротстве; была наверное, и потаенная ревность жены к мужу и мужа к жене, ведь не месячная раз-лука легла меж ними; воскресло и многое позабытое, но не-забытое, как ощущение первого снега с кровли бани, которым растираешь лицо, плечи, грудь.

Нехорошее поначалу не ударило молотом. И потому, что душу грело чувство возвращения, и потому, что сыпал мелкий дождичек, совсем не похожий на сумасшедшие ливни юга, а потом легла зима, здоровая и крепкая, пахнущая березовыми дровами, зима, несравнимая с английской мокредью, воняющей угольным дымом.

И еще была встреча с Москвой. Он помнил ее с дет-

ства, он любил ее всегда. Да вот и увидел: такую русскую, такую милую, привольную, раскидистую, в мягко голубеющих сугробах. Увидел Москву рождественскую, Москву святочных гуляний... «Москва меня обворожила», — светло улыбнулся Дмитрий Николаевич и прибавил, что если б не служба, то, право, перебрался бы на житье в первопрестольную...¹

А нехорошее-то началось с того, что Сенявину объявили: не ждите, ваше превосходительство, аудиенции у государя. Причина? Очередной поклон царя императору французов. Хорошо осведомленный мемуарист замечает: «Известно, что по требованию Наполеона вице-адмиралу Сенявину запрещен был вход во дворец».

Однако он числился в строю: принял ту же должность, которую оставил для Средиземного моря. Это еще не было отставкой, но это уже было понижением.

Ровно за пятилетие до того, как Дмитрий Николаевич со своими моряками и солдатами высадился в Риге, осенью 1804 года царь «высочайше повелеть соизволил поручить управление состоящих в каждом из главных портов флотских команд одному из флагманов». И тогда же последовало решение Адмиралтейств-коллегии: «Флотскими начальниками определяются: в Санкт-Петербурге — адмирал Ушаков, в Кронштадте — адмирал Тет, в Ревеле — контр-адмирал Сенявин...»

Тогда, в восемьсот четвертом, назначение в Ревель было нешуточным. Чичагов, глава морского ведомства, сообщал князю Воронцову, что Ревельский порт следует признать «наивыгоднейшим для содержания нашего флота, где также за вмещением всех кораблей и фрегатов довольно оставаться может места для купеческой гавани и для некоторой части гребного флота; почему и положено там устроить г л а в н ы й в о е н н ы й п о р т».

А если прибавить замечание сенявинского офицера Панафидина, что из Ревеля наш флот выйдет навстречу неприятелю раньше, чем из Кронштадта, забитого льдом, то станет понятно: Дмитрию Николаевичу досталась задача почетная.

Дело было трудное, хлопотное, на большие тысячи. Низкие брустверы худо защищали гавань от северных ветров. Старую гавань отдали купеческим судам, а новую принялись сооружать с таким расчетом, чтобы она могла «вместить весь Балтийский флот».

Пока Сенявин отсутствовал, море и непогода поработали в гавани успешнее людей. Бури размывали стенки, волны на-

¹ ОР ГБЛ, ф. 41, карт. 131, д. 5, л. 3.

мывали мели. Дело дышало на ладан: не хватало денег, не хватало рук. Так было и по возвращении Сенявина.

Жизнь у Дмитрия Николаевича потекла смурая, без вдохновения и напряжения. Современник Сенявина вздыхал: «Жить в отставке — не забавная проза. Беда нашей братье с нашим дворянским образованием: на то и дворянин, чтобы служить; а вытолкни тебя служба за порог, не знаешь, куда деваться. Одно прибежище — бумаги и книги».

Дмитрия Николаевича еще не вытолкнули за порог, но уже толкнули к порогу. И у него тоже осталось «одно прибежище — бумаги и книги».

Его записки, сделанные в Ревеле, жухли под спудом чуть не столетие. Они увидели свет накануне первой мировой войны — в морской периодике, адресованной специалистам. В конце второй мировой войны их напечатали приложением к брошюре. Словом, они и теперь почти библиографическая редкость.

Доктор военно-морских наук капитан 1-го ранга Н. В. Новиков, знаток истории флота и человек доброй, щедрой души, памятный многим, кто занимался боевым прошлым Родины, написал предисловие к сенявинским мемуарам. Николай Васильевич так определял особенности рукописного наследства выдающегося флотоводца: «одна из самых любопытных и интересных морских хроник»; «обширнейший материал как для истории флота, так, главным образом, для знакомства с бытом флота»; «удивительно бодрым настроением проникнуты страницы записок», несмотря «на обидное положение автора, еще так недавно бывшего на высоте своей боевой и политической славы»; вспоминая молодость, «автор как бы сам молодеет и с увлечением рассказывает о своих мичманских шалостях и веселом препровождении времени, совершенно сознательно подчеркивая, что веселость, бодрость, задор есть неотъемлемые свойства именно того духа, который в боевую минуту ведет воина к подвигу».

Читая сенявинские записки, будто слышишь голос Сенявина: очень явственна разговорная интонация. Чудится, будто он не писал, а диктовал.

Психологи, перечисляя источники для уяснения характера, называют материалы, писанные человеком вовсе не затем, чтобы по ним определяли его характер. Скажем, частная корреспонденция, интимные дневники. Записки Сенявина принадлежат именно к таким материалам, и в этом их прелесть.

Сквозь строки так и проглядывает умная, даже, пожалуй, лукавая физиономия; но это улыбка, это лукавство человека, много передумавшего. А кроме того, есть особенность, нечаятая в мемуаристике: Сенявин изобразил (не намеренно, а так

уж получилось) не только как жилось, но и как чувствовалось.

«Я родился в 1763 году августа 6-го в полдень, в селе Комлево, Боровского уезда. Священник прихода сего учил меня грамоте, а на 8-м году я читал хорошо и писал изрядно. На 9-м году матушка ездила в Петербург: затем только, чтобы определить меня в сухопутный корпус. Матушка имела хорошую протекцию, но я принят не был, а по какой причине — не знаю, одно то справедливо, кому где определено, тому там и быть. Матушка в большом от сего огорчении тем же временем возвратилась со мною в Комлево. В это время не было еще у нас ни публичных училищ, ни наемных учителей, а чтобы мне не быть в деревне праздну, я отдан был для изучения арифметики в городскую школу, состоящую из солдатских детей, под особым присмотром смотрителя той школы гарнизонного поручика Неследова».

Как большинство русских адмиралов, Сенявин в раннем мальчишестве не слышал ни гула прибора, ни тяжелого прихлопывания парусов, ни хохота чаек, ни йодистого запаха водорослей, умирающих на берегу.

«Русский с ног до головы», он и родился, и крестился, и первые шаги сделал, «аз» и «буки» вывел, первые заповеди вы зубрил на земле русской из русских — на калужской земле. Места там такие, какие народ называет веселыми.

Вам в Боровск не приходилось заглядывать? По мне, может, одна Верея из всех окрестных городков милее Боровска. Хотя многое в Боровске порушено временем, все ж есть на чем отдохнуть глазу в городке, в самом названии которого — слитный, целительный шум сосен.

Меня почему-то в особенности тронула старинная улица у тихой Протвы. На той улице белый в два этажа дом с металлической бляхой «Общества страхования от огня» начала прошлого века. А за изгибистой Протвой, высоко за ней, в разрыве лесов, как в раме, стоит, четко означаясь, шафранная церковь.

Да, кое-что все ж уцелело.

Однако не всегда верьте даже новейшим путеводителям. Вот и при упоминании о Комлево — деревня, почти боровское предместье — упомянута церковь Иоанна Предтечи, где, думаю, и окунули младенца Дмитрия Сенявина в серебряную купель; про ту церковь один путеводитель сообщает: «Это безупречный памятник своего времени (начала XVIII века. — Ю. Д.), чуть-чуть суховатый, но очень величественный... Стоит церковь на холме и видна отовсюду. Пейзажу она необходима. Но церковь в таком запустении, что становится страшновато: уже нет ни трапезной, ни абсиды, ни приделов».

Теперь «безупречного памятника» уже нет. Зачем пугать путника отсутствием трапезной или приделов? Лучше «обрадовать» его грудью битого кирпича с бурыми пятнами сонных овец.

В Боровске Сенявин постигал сложение и умножение не в ораве барчуков-митрофанушек, а вместе с солдатскими ребятами. Историки признают: «Немалую роль в развитии просвещения в России сыграли так называемые солдатские школы — общеобразовательные училища для солдатских детей, преемники и продолжатели цифирных школ петровского времени. Это наиболее рано возникшая, самая демократическая по составу начальная школа того времени».

Ровесник Сенявина мимоходом обронил в своем дневнике: «Лета ребяческие ничьи не интересны». Чудак! Как раз напротив — и очень интересны, и очень важны. Первые впечатления бытия сильны и знаменательны. Нет нужды изображать нашего адмирала эдаким народолюбцем-семидесятиником. Но, право, вглядываясь в его практику, вчитываясь в его приказы (особенно в приказ по эскадре 1827 года, в тот приказ, о котором мы еще потолкуем), нельзя не увидеть отблески далекой боровской поры.

После провинциальной школы, «самой демократической по составу», на десятом году Сенявин попадет в другую школу, в закрытое сословное военное учебное заведение. Никак уж не применишь тут термин «демократия». Но не применишь и «аристократия». Титулованных дворян редко-редко встретишь в многотомном «Общем морском списке», обнимающем все (или почти все) русские флотские фамилии. Вельможных отпрысков, как правило, не обрекали кораблям и морю. В Морском корпусе учились недоросли небогатых и средних дворянских семей большей частью из центральных и северных губерний.

«Это было в 1773 году в начале февраля, батюшка сам отвез меня в корпус, прямо к майору Голостену, они скоро познакомились и скоро подгуляли. Тогда было время такое; без хмельного ничего не делалось. Распростившись меж собою, батюшка сажился в сани, я целовал его руку, он, перекрестя меня, сказал: «Прости, Митюха, спущен корабль на воду, сдан богу на руки. Пошел!» и вмиг из глаз сокрылся.

Корпус Морской находился тогда в Кронштадте весьма в плохом состоянии, директор жил в Петербурге и в корпусе бывал весьма редко; по нем старший был полковник, жил в Кронштадте, но вне корпуса... За ним управлял по всем частям майор Голостен и жил в корпусе, человек средственных познаний, весьма крутого нрава и при том любил хорошо кушать, а больше выпить.

Кадет учили математическим и всем прочим касательно до мореплавания наукам очень хорошо и весьма достаточно, чтобы быть исправным морским офицером, но нравственности и присмотра за детьми не было никаких, а потому из 200 или 250 кадет ежегодно десятками выпускались в морские батальоны и артиллерию за леность и дурное поведение.

Вот и я, пользуясь таким благоприятным временем, в короткое время сделался ленивец и резвец чрезвычайный. За леность нас только стыдили, а за резвость секли розгами, о первом я и ухом не вел, а другое несколько удерживало меня, да как особого присмотра за мною не было и напоминать было некому, то сегодня высекут, а завтра опять за то же.

Три года прошло, но я все в одних и тех же классах; наконец наскучило, я стал думать, как бы поскорее выбраться на свою волю. Притворился непонятным, дело пошло на лад, и я был почти признан таковым, но, к счастью моему, был тогда в Кронштадте дядя у меня, капитан 1-го ранга Сенявин.

Узнав о намерении моем, залучил меня к себе в гости, сперва рассказал мне все мои шалости, представил их в самом пагубном для меня виде, потом говорил мне наилучшие вещи, которых я убегаю по глупости моей, а потом в заключение кликнул людей с розгами, положил меня на скамейку и высек препорядочно, прямо как родной, право, и теперь то помню, вечная ему память и вечная моя ему за то благодарность. После обласкал меня по-прежнему, надарил конфектами, сам проводил меня в корпус и на прощанье подтвердил решительно, чтобы я выбирал себе любое, то есть или бы учился, или каждую неделю будут мне такие же секанцы.

Возвратясь в корпус, я призадумался, уже и резвость на ум не идет, пришел в классы, выучил скоро мои уроки, память я имел хорошую, и, прибавив к тому прилежание, дело пошло изрядно.

В самое это время возвратился из похода старший брат мой родной¹, часто рассказывал нам в шашашное время красоты корабля и все прелести морской службы. Это сильно подействовало на меня, я принялся учиться вправду и не с большим в три года кончил науки и был готов в офицеры».

Кроме майора и еще одного капитана, тоже, видать, от чарки не пившегося, Сенявин, к сожалению, никого из оставших не упоминает. Оно и вправду, Голенищева-Кутузова, директора, воспитанники видели лишь мельком: солидно

¹ Сергей Николаевич Сенявин прослужил во флоте двадцать с лишним лет в 1791 году, после русско-шведской войны, из-за ранений был уволен в отставку капитаном 2-го ранга. Умер в 1818 году.

образованного Ивана Логиновича обременяли не только адмиралтейские заботы, но и гатчинские — находился он при наследнике Павле Петровиче, каковой числился генерал-адмиралом флота. Но зато все кадеты и гардемарины, поколения кадетов и гардемаринов знали и любили Николая Гавриловича Курганова.

Курганов учил самому важному — математике. Человек, что называется, семи пядей во лбу, он и учил, и сам писал, и переводил с иностранных языков. Созданный Кургановым «Письмовник» читали и в городах и в имениях, читали десятилетиями; Герцен назвал Курганова «блестящим предшественником нравственно-сатирической школы в нашей литературе». В годы учения Сенявина настольной у гардемаринов была «Книга морской инженер». Между прочим, именно в этой книге Курганов теоретически обосновал положения об а к т и в н о й блокаде и обороне приморских крепостей. Те самые положения, которые, как подчеркнул историк В. А. Дивин, Сенявин мастерски осуществил в Адриатике и Эгейском море.

«Гардемарином я сделал на море две кампании. Первая в 1778 году на корабле «Преслава» от Кронштадта до Ревеля и обратно.

Будучи в Ревеле в ожидании корабля от города Архангельска, чтобы с ним соединиться и вместе следовать в Кронштадт, случилось в первых числах сентября время дождливое и холодное. После просушки парусов и прикрепления их упал у нас матрос в воду с грот-брам-рея. В тот самый миг офицеры и матросы бросились все на борт, кто кричит: «Давайте катер», другой кричит: «Посылайте барказ», иной кричит: «Бросайте, готовьте», а иной кричит: «Хватайся, хватайся», а человек еще и не вынырнул.

Суматоха сделалась превеликая, упавший матрос был из рекрут, тепло одет, в новом косматом полушубке, крепко за поясан, что и препятствовало ему углубиться далеко. Он скоро вынырнул, не робея нисколько, отдуваясь от воды и утираясь, кричал на салинг: «Добро, Петруха, дай только мне дойти на шканцы, я все расскажу; эку штуку нашел, дурак, откуда толкаться!»

Мы тогда почти все захохотали. Вот что бывает с людьми. Несколько секунд назад все почти были от ужаса в беспамятстве, а потом — хохочут.

Матрос скоро взошел на корабль, повторяя те же слова на шканцах. Позвали Петруху с салинга, спрашивали, но Петруха божился, что не толкал его, а сказал ему только: «Экой мешок, ступай на нок проворнее, а не то я тебя спихну». — «А он, дурак, взявши и полетел с рея». Тут мы больше еще смеялись и помирили их. Чудно, что, падая с грот-брам-рея,

нигде он даже не зацепился и даже ни за что не дотронулся и после был совершенно здоров. Множество я видел подобных ему примеров...

В начале 1780 года нас экзаменовали, я удостоен был из первых и лучших. 1 мая произведен в мичмана и написан на корабль «Князь Владимир». Чины явлены нам в Адмиралтейств-коллегии в присутствии всех членов, вместе с тем дано нам каждому на экипировку жалованье вперед за полтрети, то есть 20 руб., да сукна на мундир с вычетом в год, да дядюшка Алексей Наумович подарил мне тогда же 25 руб.

Итак, я при помощи мундира и 45 руб. оделся очень исправно, у меня были шелковые чулки (это парад наш), пряжки башмачные серебряные превеликие, темляк и эполеты золотые, шляпа с широким золотым галуном. Как теперь помню, шляпа стоила мне 7 руб., у меня осталось еще достаточно денег на прожиток...

Флот Балтийский имел тогда более 40 кораблей. Разом было на море 32 корабля, в том числе пять 100-пушечных, и некоторые из них имели всю артиллерию медную. Можно сказать, флот тогда был славный. Шведы и турки везде и всегда были побеждены и истреблены.

Старики в то время, конечно, мало знали; да иначе и быть нельзя — они знали одно только свое дело, а в дела посторонних служб не вмешивались. Румянцев, Потемкин, Суворов признавали себя чуждыми в познаниях морских, но зато прославили себя навек своим ремеслом, кажется, и довольно бы. Нет, нонича, не говоря о генералах, каждый армейский офицер анатомирует всякого рода службы и дело, хвалит, осуждает и все знает, о чем только речь пойдет.

Они рассуждают и решают важные вопросы, например: надобен ли России флот или нет, они отвечают — можно легко обойтись без флота, были бы только солдаты, к тому же прибавляют, что держание флота дорого стоит.

Петр Великий сказал, кто из государей имеет армию и флот, тот имеет две руки. В царствование Екатерины, можно сказать, при скудном положении государственных финансов, но о дороговизне содержания флота никогда и никакой речи не было, да и не могло быть; распорядись только хорошо...

Эти говоруны ничего не знают и не понимают, они похожи, как кажется мне, на глупых тетеревов глухих, бормочут с ними одинаково, как говорится, ни складу ни ладу, с тою только разницей, что тетерева во время бормотания вредны для себя, а наши глупцы вредят много государству, их, дураков, слушают и соглашаются иногда с ними.

Насчет тогдашних и нынешних распоряжений ясно можно видеть разницу и пользу оных, которые покажутся во всех отношениях, конечно, невероятны.

Беспрестанно нонича толкуют, что в Кронштадте жить матросам негде и тогда еще, когда весь флот имеет с небольшим 10 кораблей. Спрашиваю, где же помещались прежде люди, когда флот имел более 40 кораблей? Ответствую, и верно отвечаю, что помещались они в губернских домах, ныне еще существующих (то есть в домах, выстроенных на счет губерний. — Ю. Д.), в одной деревянной для артиллеристов казарме и по квартирам, ибо флигелей каменных и гошпиталя (что теперь на канаве) тогда еще не было, они построены после шведской войны, и люди жили, и жили, как говорится, припеваючи. Больных было весьма мало, а о поварных болезнях никогда и слышно не было. Не теснота делает болезни, а угнетение человека в духе. (Здесь и ниже подчеркнуто Сенявиным. — Ю. Д.)

В то время люди были веселы, румяны, и пахло от них свежестью и здоровьем, но нонича же посмотрите прилежно на фронт, что увидите — бледность, желчь, унылость в глазах и один шаг до гошпиталя и на кладбище. Без духа ни пища, ни чистота, ни опрятство не делают человеку здоровье. Ему надобно дух, дух и дух.

Пока будут делать все для глаза, пока будут обманывать людей, разумеется, вместе с тем и себя, до тех пор не ожидай в существе ни добра, ничего хорошего и полезного».

Вспоминая, Дмитрий Николаевич забывал: свойственно памяти — «что пройдет, то будет мило». Но не только избирательность памяти окрашивала все розовым. На мемуариста (неприметно для него самого) влияли два обстоятельства. Сугубо личное. И неличное, а, так сказать, общевлотское; стало быть, отчасти и государственное.

Десятилетия его жизни пришлось на эпоху, которая в прежних курсах истории метилась екатерининской. Для Сенявина она озарена черноморским солнцем, солнцем большой страды, забиравшей все силы, все помыслы. А время ревельское выдалось для него мрачноватое. Оно, как тамошнее небо, затмевалось мглою и, как тамошняя морось, пробирало до костей. И Дмитрий Николаевич Сенявин, сидя за столом, за письменным своим занятием, тоже испытывал «угнетение в духе». Ибо, говоря красиво (хотя красиво говорить и не следует), Сенявин после Средиземного моря получил не лавровый венок, а терновый венец.

Рассуждая о екатерининском флоте, Сенявин был не совсем прав; рассуждая о флоте александровском, Сенявин был совсем прав.

Приводя известное изречение Петра, Дмитрий Николаевич допустил неточность, и, по-моему, нарочитую. Петр Великий говорил не о двух руках г о с у д а р я, нет, о двух руках

«патентата», то есть г о с у д а р с т в а. А Сенявин, повторяю, намеренно говорит о царе, об императоре. Почему? Да потому, что как раз Александр Павлович был отчимом «дорогостоящего» флота; детище Петра казалось ему и лишним, и чужим, и докучным; Александру Павловичу принадлежала ведущая роль в умалении русской «морской идеи».

Сенявин с умыслом клеймит не просто глупцов, а уточняет — «глупых тетеревов глухих», от которых беда державе. Фиговым листком множественного числа прикрыта нагота «числа единственного»: Александр I был туговат на ухо, непочтительные люди окрестили его «тетеревом».

Знаменательны и мысли Сенявина о том, что мы теперь называем фактором моральным: «надобно дух, дух и дух». Солдатчина никогда не была лубочной разлюли малиной. Однако при Суворове и Румянцеве, которые «знали свое дело», — одно; и совсем другое — при Павле и Аракчееве, которые «анатомировали», но прежде того умерщвляли (конечно, из милосердия).

Заметьте, к у д а приглашает вас Сенявин, чтобы поглядеть на «нижних чинов»: не на палубу и не на реи, не в полевой лагерь и даже не в казарму — к фрунту, на плац-парад, в «святая святых» аракчеевщины, где вы и увидите «бледность, желчь, унылость», где никакого духа нет, кроме госпитального или кладбищенского.

И от всей этой подлости и пошлости Дмитрий Николаевич мысленно бежит в невозвратное — в причерноморские степи, на Черное море.

С удовольствием, охотно и бойко рассказывает он, как возникал Севастополь, как черноморцы бились с турками, как капитан 2-го ранга Сакен взорвал свой корабль, но не сдался...

Вот здесь-то, эпизодом 1788 года, и обрываются записки Дмитрия Николаевича. Во всяком случае, продолжение, если оно и существует, не обнаружено. И потому, ахнув, хватаясь за голову, когда Л. Г. Бескровный, автор содержательных очерков по источниковедению военной истории России, утверждает: «Большой интерес вызывают «Записки адмирала Д. Н. Сенявина, в которых описываются действия русского флота в Средиземном море». Что там «большой» — громадный: ведь основное сенявинское дело вершилось на Средиземном море! Да только где эти «описывающие записки»??? Нету. А если они и ведомы автору «Очерков» (в чем позволите усомниться), то он ревниво не указал их местонахождение...

Аракчеев, отправляясь в лучший мир (хотя и в здешнем не пришлось ему солоно), завещал м и л л и о н историку царствования Александра Благословенного. Один из тогдашних писателей съязвил: лучше бы, мол, Аракчеев оставил вдесяте-

ро меньше денег, а написал «какие-нибудь записки о своем благодетеле». И уже серьезно добавил, что записки очень и очень нужны, ибо «трудно будет историку находить правду в реляциях».

Думаю, от записок «без лести преданного» проку было бы чуть; в них обнаружилось бы правды не больше, чем в реляциях. Однако в замечании писателя — тоска по живым, неофициальным свидетельствам о минувшем.

Ни полушки не перепало от Сенявина жрецам Клио. Но тоску и жажду их, хоть и малость, он утолил. Многие «зеркала» разной степени кривизны отображали придворное, петербургское, парадное, фейерверочно-праздничное или альковно-екатерининское. Огорчительно мало тех, что отображали будни «будничных» людей. И вовсе нет иных, кроме сенявинских, страничек, на которых бы так картинно запечатлелась флотская обыденность.

Почему ж он не продолжил? (Полагаю, не продолжил!) Отчего? Какая тому причина?

Писать мемуары, говорил Пушкин, заманчиво и приятно. Приятно, ибо никого так не любишь, как самого себя, иронизировал Пушкин. Писать мемуары трудно, уже не иронизируя, продолжал Пушкин, очень трудно: не лгать — можно; быть искренним — невозможность физическая.

Самовлюбленности в Сенявине не приметно. Самоанализа, свойственного другим поколениям, тоже. Очевидно, не страх суда над собственным «я» заставил Сенявина бросить перо. Что же?

Мемуары требуют досуга. А тут накатил такой вал, когда «заманчивое и приятное» откатилось.

3

Двенадцатый год. Отечественная война помнятся каждому словно бы какой-то иной, не школьной, что ль, памятью, а «священной памятью», и, войдя в сознание еще почти детское, никогда уж не отрываются от понятия «родина»...

«Есть точные указания, что впервые не только размышлять вслух о войне с Россией, но и серьезно изучать этот вопрос Наполеон начал с января 1811 года, — говорит академик Е. В. Тарле. И продолжает: — Военная и дипломатическая подготовка к концу весны 1812 года была Наполеоном в основном и отчасти в деталях закончена. Вся вассальная Европа покорно готова была выступить против России».

В России даже политические младенцы не видели в том ничего внезапного и вероломного. И Александр тоже. В этом он не был похож на Николая I. Николай принимал как лич-

ное оскорбление, как недоверие к его государственному разуму всякое упоминание о подготовке Англии и Франции к войне, названной впоследствии Крымской. Он и мысли не допускал, что кто-то может переиграть русского самодержца в политических или военных комбинациях. Александр, напротив, внимательно прислушивался к сообщениям о подготовке Франции; его дипломатическая служба (не в пример николаевской) не ежилась от страха огорчить повелителя «пренеприятными известиями».

Весною 1811 года, когда император французов «размышлял вслух о войне с Россией», было велено повысить боеспособность русского флота и главные командиры портов получили весьма подробные предписания.

Одно из них адресовалось в Ревель, вице-адмиралу Сенявину: «Государь император высочайше указать соизволил состоящие в Ревеле 15 канонерских лодок и один провиантский транспорт приготовить и вооружить для кампании к первому числу будущего апреля».

Сколачивая Великую армию. Наполеон не имел возможности сколотить Великую армаду, однако поначалу не отказывался от мысли двинуть на Россию и свои морские силы.

Об этом в Петербурге узнали не весной одиннадцатого года, а ровно годом позже — из депеши русского посла в Швеции. Смысл ее сводился к тому, что Наполеон намерен отправить на Балтийское море флотилию канонерских лодок для поддержки левого фланга своих армейских частей. И верно, Наполеон тогда планировал наступление на Петербург, а не на Москву.

Началось усиленное строительство канонерских лодок. Началось не менее спешное вооружение корабельного флота. К действительной службе срочно призвали опытных офицеров, «повинных» в английском происхождении.

После Тильзита Александр исполнил пожелание Наполеона, похожее на приказание: удалить из флота людей с английскими фамилиями. В число изгнанных попали не только Тет и Кроун, очень дельные адмиралы, но и Белли с Грейгом, имевшие прочную боевую репутацию. Все они очутились в ссылке. Многие влачили жалкое существование, особенно Белли, сподвижник Ушакова и Сенявина.

Русские офицеры жаловались (и основательно) на предпочтение, которое правительство оказывало чужеземцам. Однако тех, что вернули из ссылки, радушно приняли на, кораблях: эти служили честно, а их оскорбили в угоду Наполеону. Многим тогдашним флотским было свойственно чувство справедливости. Во всяком случае, по отношению к сослуживцам.

И как раз это же чувство, а вовсе не огульное отчуждение

от людей с нерусскими фамилиями, выказалось и во флотском неудовольствии, когда Александр, воздав должное Тету, Кроуну, Грейгу и другим, «позабыл» Сенявина.

Ни у кого не возникало и минутного колебания: именно Дмитрий Николаевич, герой морей, победитель французов, именно Сенявин самым господом богом определен в командующие. Тут дело было не только в его флотоводческом даровании. Тета и Кроуна уважали, Сенявина и уважали и любили. Ничуть не обижая первых, флота лейтенант Н. Д. Каллистов отметил, что последний пользовался «восторженным обожанием подчиненных».

Однако Александр Павлович, как все самодержцы, полагал, что «восторженным обожанием» должен пользоваться лишь он, самодержец, и никто более. «Восторженное обожание», обращенное на кого-либо другого, всегда настораживало, всегда пугало верховных правителей. И этого «обожания» Александр не прощал Кутузову, не прощал и Сенявину. Русский царь говаривал, что все русские либо плуты, либо дураки. Однако плуты и дураки спокойно уживались подле трона. Не уживались те русские, которые позволяли непозволительное — мыслить самостоятельно...

Началась война. Наши армии откатывались на восток.

Пал Витебск. Пал Смоленск.

Сенявин сидел в Ревело. Над Олай-кирхой реяли ласточки. Ночные сторожа, медлительно ударяя колотушкой, выкрикивали, который час.

Армия Кутузова отходила.

Эскадра адмирала Кроуна следовала из Архангельска на Балтику. Кронштадтская эскадра адмирала Тета готовилась кграничному походу: действовать вместе с англичанами.

Сенявин сидел в Ревело. Густела зелень Екатериненталя. Рейд отражал пухлые кучевые облака. Старики удили рыбу.

Громадная война решала судьбу родины.

Сенявин сидел в Ревеле. Были страшные дни, страшные недели: очень тихие и очень спокойные. На свинцовых и черепичных крышах тлели отсветы нежаркого солнышка. На зорях стучала повозка молочника. Море простиралось чуть замглившееся.

Он сидел в Ревеле. О нем не вспоминали. Он послал «всеподданнейшее прошение» — назначьте в дело, дабы «служить противу неприятеля». Царь не ответил. Может, прошение не дошло до царя?

«Милостивый государь мой, Дмитрий Николаевич! На всеподданнейшее прошение вашего превосходительства, представленное мною государю императору относительно желания вашего служить противу неприятеля, его величество вопрошить изволил: «Где? В каком роде службы? И каким образом?» О чем уведомляя вас, милостивый государь мой, есмь с ис-

тинным почтением и преданностью вашего превосходительства покорнейший слуга, маркиз Иван Траверсе».

Сутки, как в беспамятстве, Сенявин не брался за перо.

Потом написал морскому министру:

«Милостивый государь маркиз Иван Иванович! Вчерась, с приездом курьера, я получил письмо вашего высокопревосходительства от 31 числа минувшего июля (1812 года. — Ю. Д.) за № 1570 и вследствие высочайшего его императорского величества вопроса, объявленного в оном письме, где? в каком роде службы? и каким образом? желаю я служить противу неприятеля, ответствовать вашему высокопревосходительству чести имею.

Намерение мое есть, по увольнении отсюда, заехать в Петербург и, повидавшись с женою и детьми, ехать потом к маленькому моему имению... Там отберу людей, годных на службу, возвращусь с ними в Москву, явлюсь к Главному предводителю второй орады, подкрепляющую первую, и вступлю в тот род службы и таким званием, как удостоены будут способности мои. Наконец, буду служить таким точно образом, как служил я всегда и как обыкновенно служат верные и приверженные русские офицеры государю императору своему и отечеству».

Шла война национальная, отечественная. Сенявин, нарочито повторив издевательские вопросы царя, предложил себя народной войне. Он хотел вступить в ополчение, хотел защищать Москву вместе с крестьянами. Он не оговаривал себе никаких чинов, никаких должностей: «как удостоены будут способности мои».

Маркиз Иван Иванович де Траверсе мог занимать кресло морского министра, не выиграв ни единого морского сражения. Дмитрий Николаевич Сенявин не мог служить так, «как служил всегда». Ему отказали даже в праве на боевую, солдатскую смерть.

Он подал в отставку.

Император, не сказав ни слова, уволил его.

Прибавить к тому нечего.

4

Строки послужного списка:

«По прошению уволен от службы...» — апрель 1813-го.

«Вне службы находился 12 лет, 8 месяцев и 3 дни» — декабрь 1825-го.

Какая точность, какое бесстрашие! Впрочем, чего ж требовать от формуляра? Но в формуляре, как в футляре, упрятаны годы и годы сенявинской жизни.

Отставка Сенявина — это не только години, когда Аксаков

видел «господина, так гадко одетого», когда «великий человек» почти христарадничал. Отставка Дмитрия Николаевича — это пора, когда он ждал, «чтоб с сумрачной зарей погас печальной жизни пламень».

Некий автор «Воспоминаний и впечатлений» оставил «впечатление», сжимающее сердце: «Дмитрий Николаевич Сенявин, этот знаменитый адмирал и политик, находился в полнейшем забвении», он жил в домишке «на пустыре, вблизи казарм Измайловского полка. Летом, во всякое время, можно было его видеть задумчиво сидящим на деревянной лавочке у ворот своего дома».

Пустырь под бледным питерским небом. Рядом, в слободе, — барабан, отбивающий такт аракчеевщины: десять убей, одного выучи. И не в такт с барабаном — черные думы.

Еще весною Дмитрий Николаевич представил «по команде» длинный, обстоятельный рапорт; вот этот рапорт в отрывках:

«Отправленные из Кронштадта в 1804, 1805 и 1806 годах три дивизии (то есть эскадры. — Ю. Д.) и особо бывшая до того еще в Корфу дивизия из Черноморского флота составили эскадру из 15 кораблей, 6 фрегатов и до 20 других военных судов, которая состояла на Адриатическом море и в Архипелаге и которую я имел честь командовать.

Самое время, в которое дивизии сии вышли из портов, показывает, что сколь избыточно ни были они снабжены в России, но в продолжение пребывания их за границей, считая до прибытия моего в Англию, то есть по октябрь месяц 1808 года, все запасы не могли быть достаточны к содержанию всех судов в должной исправности.

В бывшую войну с Францией я должен был, во исполнение данных мне высочайших е.и.в. повелений, иметь все суда в движении и, следовательно, во всегдашней готовности к действиям; и сколь чувствительные на то требовались издержки, столь затруднительные были способы к получению наличных денег.

Не распространяясь описанием предстоявших затруднений, я приведу токмо на вид, что от переводов денег, которые доходили ко мне через третьи и четвертые руки и по низкому курсу, казна имела великий убыток. К сему я присоединить должен, что доставленный от правительства еще до прибытия моего в Адриатическое море к контр-адмиралу Грейгу кредитив на 100 000 руб. не мог быть употреблен в дело и мною возвращен государственному казначею.

Оба сии обстоятельства я привожу для того, чтобы показать, сколь избыточно, затруднительно и даже вовсе невозможно было получение наличных денег. Впрочем, сие правительству совершенно известно.

В 1807 году настала война с турками. С оною представилась надобность привести эскадру в вящую исправность соот-

ветственно новым данным мне высочайшим повелением, но с тем вместе прекратилось сообщение с черноморскими портами, откуда невозможно уже было получить ни припасов на вооружение судов, ни провизий для продовольствия морских служителей и сухопутных команд, кои для десантов были необходимы.

Итак, все доставать должно было за наличные деньги, но получение оных тогда еще более затруднилось. Находясь в таком положении, я должен был обратить попечение к различным предметам, то есть к неотложному удовлетворению предстоящих надобностей, к сбережению, по возможности, казенной пользы и к соответственным тому хозяйственным оборотам. Потому старался я заимствоваться деньгами сколько возможно меньше, и счета мои показывают, сколь ограничены чинимые мною издержки.

К уменьшению займа денег я нашел себя в необходимости обратиться на казенные надобности всю сумму, какая состояла в моем ведомстве, принадлежавшая морским командам, и для того не только не выдал им заслуженного жалованья и следующих им по закону от казны призовых денег, но, сверх того, удержал 106 507 голландских червонцев, которые выручены были за проданные призы, которые состояли налицо и которые я обязан был тогда же им раздать...

По прибытии моем в Россию я представил о сем, куда следовало, счета; но команды не только следующих им от казны вышеписанных призовых российской монетою денег, но и собственных их, употребленных мною на казенные надобности, равно как и заслуженного ими жалования, еще не получили...

Выше приведено, что казна осталась должною командам 281 917 голл. червонцев и 635 367 рублей... показанная сумма составляет на ассигнации 4 $\frac{1}{2}$ миллиона рублей... К тому я смею присоединить еще, что если бы сию сумму раздал я служителям, а на место оной, по дозволению министра морских сил, занял бы такое же число, то сколько казна через то понесла бы убытку от заплаты процентов, за комиссию, по упадку курса и на другие издержки?

Но, употребляя деньги, принадлежащие командам, в противность моего звания, которое я имел честь носить, главнокомандующего эскадрой, я уверил команды, что по прибытии в Россию долг мой будет пешись о возвращении собственности их, мною самовластно удержанной для пользы службы и казны. Они мне верили и не только не роптали за то во все время бытности за границею, но и по возвращении в Россию уже около 8 месяцев удерживаются просить им принадлежащего, конечно, оставаясь в уповании на мое ходатайство».

Вот в чем была жгучая мука. Не мог он, не в силах он был

всем и каждому из прежних своих подчиненных разъяснять, что Государственный совет решил так, а государственный контролер «встретил затруднения», что департамент экономики определил так-то, а другой департамент так-то.

Лишь в ноябре 1817 года, спустя восемь лет по сдаче отчетных документов, назначили возместить морякам Сенявина три миллиона четыреста тридцать пять тысяч двести семьдесят шесть рублей и восемь копеек. Эти восемь копеек, должно быть, свидетельствовали о тщательности восьмилетних подсчетов?

Восемь лет ходил Сенявин, опуская глаза при встречах с сослуживцами. Восемь лет обивал казенные пороги. ощущая на себе косящий взгляд любой торжествующей свиньи, никогда не нюхавшей пороха, и ловил насмешки столоначальников, никогда не слышавших свиста ядер. Восемь лет старел и горбился на мостовых Петербурга, занимая прожиточные рублики и недоумевая, отчего это господь не призовет его к себе...

Да, восемь лет убито. Однако и теперь, осенью семнадцатого года, хотя и вышло определение об уплате, но еще долго дожидаться «высочайшего утверждения».

А тот, кто «высочайше утверждал», давно прочел письмо, похожее на вопль: примером достойнейших людей, умиравших в нищете, оставляя жен и детей «в самом горьком положении», этим примером я, Сенявин, еще могу жить; «но от стороны чести, государь, чувствительность уязвляет меня до глубины души»; «я соделываюсь виновником лишения собственности даже служителей вашего императорского величества, сих верных и мужественных воинов...»

Из Зимнего ни звука.

Сенявин, несомненно, понимал, откуда дует ветер.

Жалкий Греч назвал морского министра де Траверсе «жалким». Но дело было не в маркизе-царедворце. И не в директорах департаментов или членах комиссий, не в контролерах и казначеях, хотя все они приложили холодную руку к сенявинскому «вопросу».

Не со своим временем конфликтовал Сенявин и не со своей средой. Сенявин конфликтовал с личностью, которая была недостаточно личностью, чтобы быть выше личного но вместе с тем была достаточно личностью, чтобы одним поджатием губ диктовать свои желания машине державного делопроизводства.

«Характер императора Александра мало выяснен», — задумчиво молвил Герцен. Кажется, он не совсем прав. Конечно, в любом человеке есть что-то «мало выясненное». Однако множество высказываний о «Благословенном», и притом высказываний отнюдь не противников монархии, слагаются в весьма ясный портрет этого монарха.

Вот тот же Греч: «Злопамятен; не казнил людей, а преследовал их медленно... О нем говорили, что он употреблял кнут на вате».

Шведский дипломат: «Фальшив, как пена морская».

Прусский канцлер: «Властолюбие и коварство под плащом любви к людям и благородного либерального настроения».

Голландская королева: «Кокетка».

Русский генерал: «Дух неограниченного самовластья, мщениия, злопамятности, недоверчивости, непостоянства в обещаниях, обманов и желания наказывать выше законов. Но такие его поступки оказывал он наиболее против одних военных людей... А также нужно упомянуть и об особой его склонности и внутреннем удовольствии продолжать, сколько можно, несчастья человека».

В последней характеристике примечательно отношение к военным. Марсово поприще манило Александра Павловича. Там он намеревался блистать, но именно там выказал унылую тусклость. И потому блестящие военные таланты ему хотелось ущемлять и унижать в первую голову.

Александр не терпел Кутузова. Однако гроза двенадцатого года не позволила обойтись без Кутузова. Без Ушакова и Сенявина обойтись удалось: помог континентальный оборот антинаполеоновской войны.

Кутузов умер еще до окончания войны, хотя исход ее уже был предрешен. Но Михаил Илларионович умер и тем избавил Александра от «дележки» лавров. С Ушаковым делить было нечего. К тому же Ушаков канул в тамбовской глухомани, где и кончился.

Но вот с Сенявиным! Как ни держи его в небрежении, с Сенявиным приходилось считаться, хотя бы потому, что этот вице-адмирал был «ходячим» укором, несносным напоминанием о том, о чем лучше было бы позабыть. Этот вице-адмирал поступал в Адриатике вопреки августейшей воле (и за сие еще получал монаршие похвалы); на сенявинской эскадре после Тильзита был «дух нехорош»...

Как все слабые люди, Александр не прощал тех, кто видел его слабость: Кутузову — свое аустерлицкое унижение, Сенявину — послетильзитское. Особенно выигранную Сенявиным тяжбу с Наполеоном за судьбу эскадры и моряков, тяжбу, в которой он, Александр, уступил. Теперь, когда Наполеон был сокрушен, Александр Павлович очень хотел, чтобы все думали о том, как русский император всегда и везде, при любых обстоятельствах был, что называется на высоте. Но в том-то, видимо, и штука, что Александр сознавал: этот вице-адмирал т а к думать не станет; не то чтобы не может т а к думать, а не хочет, не станет, и баста.

Как все некрупные фигуры, Александр подозревал фигуры

крупные в тайном уменьшении его, Александра, значимости. Он был ревнив. Старые психологи остроумно определяли манию величия: повышенное самочувствие. Повышенное самочувствие в душах, подобных душе Александра, перемежается с самочувствием пониженным, но воображение терзает самолюбие в обоих случаях.

Наконец, этот вице-адмирал, словно назло ему, Александру, сберег и людей и деньги. Старика Прозоровского однажды попрекнули затратами на лечение нижних чинов; фельдмаршал ответил: «Русский солдат дороже серебряного рубля!» А этот вице-адмирал и людей сэкономил, и серебряные рубли сэкономил. Да еще во времена острой нехватки матросов и недостатка звонкой монеты.

Казалось бы, самое отношение Сенявина к коронным нуждам, к финансам государства должно было бы радовать тогдашнего «хозяина земли русской». Но в том-то и суть, «хозяину» втайне претило все, что выдавалось из общедворянской нормы нравственности, или, вернее, безнравственности.

И Екатерина, столь нарумяненная Сенявиным, и Павел, столь ему неприятный, доили казну своею собственной рукой. «Государственное имущество», «государственное добро» представлялись категориями почти заумными. И если, например, адмирал Мордвинов толковал о таких отвлеченностях, «тузы» усмешливо или злобно пожимали плечами: Николай Семеныч «больно затейлив».

В то самое время, когда Сенявин изворачивался, страхась обременять бюджет, генерал Савари видел толпу петербургских вельмож, «алчущих роскоши» и прибегающих к «непозволительным средствам», проще сказать, к размашистому грабежу казенного сундука.

А тут, извольте радоваться, этот вице-адмирал тычет в нос свою бережливость, да еще в придачу выставляет бескорыстие офицеров и матросов, которые «удерживаются просить им принадлежащее».

Александр душил Сенявина, но в бархатных перчатках; он его стегал, но кнутом на вате. И все же унижение Сенявина не сравнишь с долей Барклая де Толли:

Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и умиление!

«Век» не ругался над Сенявиным. Его понимали, ему сочувствовали. И не только те, кто был с ним в морях и сражениях. В одном письме к императору (в списках оно ходило по рукам) прямо заявлялось: несправедливо гоним Сенявин, заслуживший своими достохвальными поступками уважение нации. Иван Федорович Крузенштерн, первый русский кру-

госветный плаватель, составляя атлас Тихого океана, нарекает именем Сенявина южно-сахалинский мыс. Генерал Мертваго, друг Державина, указывает на Сенявина: «Это великий человек!» А Булгаков, сын екатерининского посла в Турции и брат молодого дипломата, посетившего эскадру Сенявина в Эгейском море, москвич Булгаков даже через край хватил: «Далеко Ушакову до Сенявина!» Многие, очень многие при виде Сенявина вспоминали ломоносовское: «Почтен и в рубище герой».

В 1818—1819 годах издаются книги, посвященные сенявинской эпопее: «Записки морского офицера» (в четырех частях) капитан-лейтенанта Владимира Броневского; «Воспоминания на флоте» (в трех частях) дипломатического чиновника Павла Свинына.

И Броневский и Свинын прибегали за советами и справками к своему главному герою. Но Броневский сверх того имел доступ в Адмиралтейский архив. Последнее обстоятельство плюс специальные знания придали его «Запискам» большой вес. Впрочем, Броневский взял верх не только этим.

Свинын — он занялся литературой, приступил к изданию «Отечественных записок», — Свинын, пожалуй, слишком витийствовал. А Броневский... Мы располагаем двумя отрывками. Между ними огромный разрыв во времени: один появился почти тотчас, а другой спустя чуть ли не полтора века.

Рецензент петербургского журнала писал: «...Сочинения мореходцев наших имеют отличительный характер: какую-то особенную твердость и правильность мыслей, точность, подробность и ясность в описаниях, благородную свободу в суждениях, пламенные чувства дружбы и бескорыстия, слог простой, не у всех и не всегда совершенно правильный, но всегда ясный, твердый и чистый... Сочинение г. капитан-лейтенанта Броневского может быть поставлено наряду с лучшими произведениями наших мореходцев-литераторов. Один предмет оно уже достоин всего внимания отечественной публики: кампания вице-адмирала Сенявина составляет блистательнейший период в летописях Российского флота, и чем более время удаляет ее из памяти и воображения современников, тем важнее, тем драгоценнее должны быть известия, сообщаемые о ней очевидцами отечеству и свету».

Спустя много-много десятилетий Константин Паустовский говорил студентам Литературного института:

— Недавно мне попала книга «Записки морского офицера», о кампании Сенявина. Там потрясающее языковое богатство, хочется взять и выписывать целыми страницами — так великолепно построена фраза и так много свежих, забы-

тых, очень точных слов, которые весьма пригодятся в нашу эпоху¹.

На сочинение Броневского подписывались у книгопродавцев и — по тогдашнему обыкновению — у сочинителя, в доме на углу Невского и Литейного. Среди подписчиков встречаешь имена Батюшкова и Кюхельбекера, Василия Львовича Пушкина, историка Малиновского... Имена подписчиков свидетельствуют о «внимании отечественной публики» к сенявинской одиссее, к опальному «Одиссею». Встречаешь, конечно, и моряков. Большею частью офицеров Гвардейского флотского экипажа, квартировавшего в столице. А среди них и лейтенанта Николая Дмитриевича Сенявина.

Своего первенца адмирал отдал в Морской корпус. В 1814 году Николай стал мичманом; плавал он на линейном корабле «Орел», на фрегате «Россия»; в 1816-м Сенявина-младшего определили в Гвардейский экипаж.

Один литератор говорил, что мысль о Гвардейском экипаже возникла на Немане, когда гребцами на шлюпке Наполеона были матросы-гвардейцы в синих куртках с красными шнурами. Так или не так, но русские матросы-гвардейцы сражались с французами на суше и дошагали до Парижа. Много лет спустя около сотни из них (в составе всего Гвардейского экипажа) дошагали до Сенатской площади. Офицеры Гвардейского экипажа чуть не поголовно принадлежали к оппозиционному слою офицерства.

Николай Сенявин служил в Гвардейском экипаже до весны 1820-го. С ним вместе, стало быть, служили и будущие декабристы. Понятно, людей такого умонастроения тянуло к Дмитрию Николаевичу, и нет ничего удивительного в том, что Сенявин-младший познакомил товарищей-моряков со своим отцом.

Однако и тот из будущих декабристов, кто не знал Сенявина лично, о Сенявине слышал, о Сенявине читал. Его патриотизм неказенного цвета не мог не импонировать; его отношения как с подчиненными в прошлом, так и со «сферами» в настоящем не могли не вызывать симпатии, а его опала не могла не волновать и не возмущать. И отсюда с легкостью заключалось: Дмитрий Николаевич Сенявин враждебен режиму.

Как Мордвинова и Сперанского, так и Сенявина, не привлекая в тайное общество, прочили в состав будущего прави-

¹ Кстати сказать. Владимир Броневский в 1822 году был избран почетным членом Вольного общества любителей российской словесности. Кроме ценнейших «Записок», он опубликовал «Путешествие от Триеста до Петербурга» — рассказ о возвращении в Россию части сенявинцев, «Письма морского офицера» — литературную обработку бумаг участника сенявинского похода Н. Коробко, «Обозрение южного берега Тавриды», «Историю Донского войска» в 4 книгах, перевел один из романов Вальтера Скотта.

тельства будущей России. Об этом есть в следственных бумагах «о происшествии 14 декабря» показания Николая Бестужева, Пестеля, Сергея Муравьева-Апостола, Давыдова... Сколь ошибочным и наивным было мнение дворянских революционеров, мы еще увидим.

Но вот первенец адмирала окутывался тем дымом, что без огня не бывает. Об его участии в нелегальном обществе в годы экипажной службы, кажется, ничего не слышать. Однако едва он меняет флотский мундир на лейб-гвардейский (причина перемены мне неясна), едва идет поручиком в Финляндский полк, едва поселяется в казарме на 19-й линии Васильевского острова, как тотчас оказывается в кружке, где «занимаются конституцией». И весьма скоро попадает впро�ак. Лейб-гвардейца тянут в канцелярию петербургского генерал-губернатора. К счастью, Милорадович, не лишенный прекраснодушия и лишенный полицейского нюха, поверил — или сделал вид, что поверил, — в непричастность к крамоле Сенявина-младшего.

Примерно в то же время (ноябрь 1820 года) Сенявин-старший явился на Литейный, 109 и велел дежурному чиновнику доложить о себе графу Виктору Павловичу.

Управляющий министерством внутренних дел граф Кочубей был некогда в «Негласном комитете» молодых друзей молодого императора; об этой компании нам уж случалось упоминать в связи с Чарторижским. За годы, протекшие после тихой кончины «Комитета», Виктор Павлович не утратил прекрасных манер и по-прежнему выглядел «европейцем». Не утратил он и ту жажду, которую его знакомый определял как «жажду назначений, отличий и в особенности богатства». Тот же мемуарист говорит, что на заре Александрова царствования Виктор Павлович хоть и «высказывал либеральные взгляды, но всегда с какой-то недомолвкой, так как эти взгляды не могли совпадать с его собственными убеждениями». Эти убеждения он тоже сохранил, а либеральные взгляды утратил вчистую...

Дежурный чиновник вернулся в приемную и пригласил его превосходительство к его сиятельству. Их диалог восстановим: весьма подробная запись сохранилась в бумагах одного советника, а эту запись опубликовал в 1875 году московский журнал «Русский архив».

С е н я в и н: Я долгом своим счел тотчас обратиться к вам, как к министру полиции, а потом и к здешнему военному генерал-губернатору, по одному обстоятельству, о котором вчера уведомился и которое поразило меня самым чувствительным образом. Мне сказано было, будто существует здесь какое-то тайное общество, имеющее вредные замыслы против правительства, и что меня почитают начальником или головою этого общества. Всякому легко понять, сколько подобное

заклучение должно быть оскорбительно. Служив всегда с честью, приобрев и чины и почести, имея большое семейство и от роду 60 лет, я с прискорбием вижу себя подобным образом очерненным, тогда как, вышел в отставку, живу почти в уединении и мало куда ежду.

К о ч у б е й: Я должен прежде всего объяснить вам заблуждение ваше, что я есть министр полиции. Министерство это его величеством уничтожено: с минованием трудных военных обстоятельств государь император не признал существование его нужным в спокойное время... Я тем не менее не скрою, что слышал о существовании какого-то тайного общества, но не слышал, чтобы вы были главным оружием общества. Не имея чести вас знать и имея честь в первый раз видеть вас у себя, никак бы этому не поверил: всегда слышал о вас как о человеке благородном и благомыслящем... Но вы, ваше превосходительство, конечно, об обществах вредных слышали так же, как и я?

С е н я в и н: Никогда. Вчера только в первый раз об этом услышал, когда было сказано мне, что я принадлежу к какому-то обществу и есть оно начальником.

К о ч у б е й: Кто вашему превосходительству это сказал?

С е н я в и н: Позвольте, ваше сиятельство, чтобы я этого, по крайней мере до времени, не открывал. Честь моя требует не компрометировать приятеля, который со слезами открыл это гнусное обвинение. Об обществе, я повторяю вашему сиятельству, мне ничего не известно; я никуда почти не ежду... Но чтобы мне войти в какие заговоры! Как можно было выдумать подобную гнусную клевету! Я уверен в доброте государя, и самодержавное правление есть для нас самое лучшее... Я теперь же обращаюсь к военному генерал-губернатору. Мне сказывали, он уже будто бы доносил государю о заговоре, в коем я должен быть начальником. Объяснясь с графом Милорадовичем, я намерен писать его величеству и, представя оправдание свое, просить об исследовании и удовлетворении по обстоятельству, оскорбляющему мою честь.

К о ч у б е й: От вас зависит объясниться с генерал-губернатором. А намерение ваше оправдаться перед государем не может не быть одобрено. И это, конечно, соответствовать будет и имени вашему, и степени, до которой вы в службе достигнули...

В диалоге адмирала и министра мною опущены подробности частной жизни Дмитрия Николаевича. А он этих подробностей наскзал много: когда и кого навещает (названы, между прочим, адмирал Мордвинов и Василий Степанович Попов, бывший некогда правой рукою Потемкина, а теперь слепой старец); когда и каких дам навещает супруга Тереза Ивановна; упомянуты «очень хорошие молодые люди», му-

зицирующие с его дочерьми; сообщены даже размеры ставок в карточной игре.

Человеку, убежденному в своей чистоте пред властями, следовало ограничиться «благородным негодованием». Но Сенявин, видать, не был убежден в подобной убежденности самих властей. У властей могла быть та же логика, что и у недругов властей: опальный, оскорбленный адмирал — естественный противник если не монархии, то царствующего монарха. А власти, известно, ревностнее защищают носителей принципа, нежели сам принцип.

Да, Сенявин опасался подозрений правительства. В кабинете министра, не отвлекаясь и не сбиваясь, он развивает две темы. Во-первых, выпячивает личную аполитичность: смотрите, мол, весь как на ладони, «мало куда езжу». Во-вторых, высказывает личные политические взгляды, хотя об этом его не спрашивают.

Дмитрий Николаевич старательно подчеркивает свою «необиженность» («приобрел чины и почести»), свою признательность Александру Павловичу («доброта государя»). Тут он кривит душою. Какие, к черту, достались «почести»? И какая «доброта» государя, ежели годами не платил по законным счетам и годами держал в пыльном забвении? Но вот когда Сенявин говорит Кочубею о своем отношении к революции как к резне, когда говорит о самодержавии как наилучшем правлении «для нас», вот тогда он душой не кривит.

В сенявинском посещении министра слышится не только «благородное негодование», но и весьма неблагородный страх, свойственный российскому обывателю, в каких бы чинах ни был. Даже если он храбрец на поле брани. Одно дело не страшиться ядер, а совсем иное — «всевидящих очей».

Кажется, граф Кочубей разделял не высказанную собеседником мысль о возможности подозревать в чем-то крамольном адмирала, не пользующегося благоволением свыше. А иначе зачем бы, для чего бы поощрил Сенявина: ваше, мол, желание «о п р а в д а т ь с я перед государем не может не быть одобрено»?

Академик Тарле так комментирует диалог Кочубея и Сенявина: «лукавый министр», очевидно, сам «взбудоражил через подосланных лиц» вице-адмирала; «этот прием был в большом ходу в подобных случаях».

Осмелюсь доложить — ошибка двойная. Первая вот в чем: провокация как «прием» действительно была в «большом ходу», но позднее; тайная полиция времен де Санглена и Кочубея не чета тайной полиции Плеве и Судейкина; политический сыск при Александре I еще не изошрился так, как при Александре III. Другая ошибка из-за того, что историку остался неизвестен некий корнет.

Уланский офицерик Ронов подрядился поставлять сведения «по части полиции». Подвизаясь на поприще «чтения в сердцах» и, кажется, пользуясь каким-то дальним родством, он втерся в дом вице-адмирала. Познакомился с его сыном-поручиком и что-то такое вынюхал о «занимающихся конституцией».

Нужно признать, Ронов верно взял след: Сенявин-младший состоял в тайном обществе «Хейрут». Общество это, как бы дочернее Союзу благоденствия, организовал литератор Федор Глинка.

Корнет Ронов наваял донос. Донос, как все подобные бумаги, поступил в канцелярию генерал-губернатора Милорадовича. А при Милорадовиче состоял чиновником по особым поручениям для сбора сведений о подпольных кружках... Федор Глинка. (Таким образом, Глинка предвосхитил Клеточникова, знаменитого в героической истории «Народной воли»).

Милорадович и Глинка были не только сослуживцами; они коротко сошлись на войне. Милорадович доверял Глинке, не проверяя Глинку. Но все же последнему в связи с делом поручика Сенявина грозило изобличение. И Глинка, понятно, не пожалел сил, чтобы «изобличить мальчишку Ронова».

Милорадович вымыл сукиному сыну голову. А вскоре Ронова вышибли из гвардии за поступки, несвойственные офицерскому званию: якшание с политической полицией и тогда, и много позже претило морали военных.

«Подготавливая» Милорадовича к объяснению с Роновым, Глинка, конечно, подготовил и Сенявина-младшего к очной ставке с корнетом. Поручик держался осанисто, все начисто отверг, и Милорадович счел его невиновным.

О доносе на сына узнал Сенявин-старший скорее всего от своего же сына. Ну а от кого же узнал адмирал о том, что он сам, дескать, «возглавляет тайное общество»? Если и не от сына, если и не от Глинки, то от их друзей. Вот они-то, а вовсе не мифические, подосланные Кочубеем провокаторы «вздуродражили» Дмитрия Николаевича. Однако чего ради, с какой целью? Неясно. Не ради ли вынужденного самоприкрытия?

5

Если Кочубей не до конца верил Сенявину, то Кочубей ошибался. Если декабристы верили в Сенявина, то и они ошибались.

Один наблюдательный человек отметил: в преклонных летах даже философ невосприимчив к новым идеям.

Сенявин философом никогда не был.

Один проникательный историк отметил: молодые дворяне декабристского толка ставили честь выше присяги.

Сенявин никогда не разграничивал эти понятия.

С отрочества до гроба он не менял политических воззрений. Тех, что высказал графу Виктору Павловичу.

Восстание 14 декабря 1825 года было для него военным бунтом. Военный бунт карался смертью. Сенявин мог и не оказаться в числе официальных судей, судивших декабристов. Сенявин не мог не оказаться в числе тех, кто сурово осуждал декабристов.

Он осудил бы восставших, случись «происшествие» 14 декабря и при жизни Александра I, к нему, Сенявину, недоброго. «Происшествие» случилось в начале царствования Николая I. И потому к общим мотивам, определявшим позицию Сенявина, прибавился частный.

Отставного вице-адмирала извлекли из забвения вскоре после вооруженного выступления на Сенатской площади. Не знаю, сам ли Николай вспомнил его или нашелся какой-то ходатай. Как бы там ни было, Сенявина не только призвали на службу, но и пожаловали в генерал-адъютанты, то есть сделали особой важной, исполняющей личные поручения государя.

В июне 1826 года шестерых генерал-адъютантов «прикомандировали» к Верховному уголовному суду. Среди них и Сенявина.

А в середине марта двадцать шестого года его первенец, избежавший решетки в двадцатом, очутился под замком. Капитана лейб-гвардии Финляндского полка отвезли не в Петропавловскую крепость, а на гауптвахту Главного штаба. Стало быть, Сенявина-младшего винили не в прямой принадлежности, а в некой «прикосновенности» к тайному обществу.

Новейший биограф, упомянув о назначении флотоводца членом Верховного суда, ужаснулся: Николай I заставил-де отца судить сына: «легко можно представить себе, каким кошмарным было для старого адмирала лето 1826 года».

Нет, отнюдь не «легко». И вот почему.

Николай I расправлялся с детьми, сынами, сыновьями: детьми Двенадцатого года, сынами молодой России, сыновьями старых отцов. Но отцов не заставил он судить родных сыновей.

У сенатора Муравьева-Апостола трое сыновей оказались «злодеями». Как раз по сей причине сенатора избавили от участия в судилище. Что ж до Сенявина-старшего, то ему... ему вернули сына.

Уже в и ю н ь с к и х записях «Журнала входящим бумагам» лейб-гвардии Финляндского полка зарегистрирован как ни в чем не бывало очередной, самый обыкновенный ра-

порт Сенявина-младшего о выдаче «из казенного ящика» денег на ротные нужды¹.

Оказывается, Николай I «вменил в наказание» отсидку на гауптвахте да и отправил капитана в казармы на Васильевском острове.

Тогда-то, думаю, и возникло в душе Сенявина-старшего чувство признательности, чувство благодарности. Однако, повторяю, не этими эмоциями определялась сущность его судейской позиции.

Кроме Сенявина, в составе Верховного суда находились еще двое из декабристских кандидатов в состав будущего правительства: Сперанский и Мордвинов. Сперанского не трону; о Мордвинове, пусть вкратце, сказать надобно.

Не оттого, что Мордвинов был давним, еще с черноморской поры, доброжелателем и покровителем Сенявина, и не потому, что они и стариками дружили. Важнее сейчас оценки Мордвинова такими людьми, как Рылеев, Пушкин, Герцен.

«Уже полвека он Россию гражданским мужеством дивит». (Рылеев); «новый Долгорукой», то есть нелицеприятный спорщик с царями (Пушкин); «умнейший государственный человек», «дерзкий старец, приводивший Николая в ярость» (Герцен).

И вот этот человек вместе с Сенявиным приезжал на заседания Верховного суда, рядом с Сенявиным сидел в кресле малинового бархата, в «зале общего Сената собрания». И вместе с Сенявиным определял участь героев 14 декабря.

Правда, решали они по-разному: Мордвинов требовал смягчения; Сенявин, что называется, полной меры. Это понятно, существенно. Но факт есть факт. Привожу его единственно затем, чтоб еще раз подчеркнуть: биограф не вправе держаться правила — о мертвых либо хорошо, либо ничего. Это «хорошо» — хорошо на поминках, а это «ничего» — ничего не дает...

Итак, судоговорение кончилось. Но последнее слово — слово царское. И в Царское Село везут не приговор, а «всепоподданнейший доклад».

Николай произнес последнее слово.

Под сводом сумрачных Иоанновских ворот прокатился долгий гул: в крепость, «одетую камнем», вступил батальон Павловского полка. Батальон должен был удвоить караулы, и батальон удвоил караулы.

Засим в крепость, где куранты вызванивали «Коль славен», прибыли господа члены Верховного суда: сенаторы, генерал-

¹ ЦГВИА, ф. 2586, оп. 2, д. 448, зап. № 889.

адъютанты, действительные тайные советники — лысины и седины, геморрой и подагры, шарфы и ленты, эполеты и шпаги.

«Секретарь Сената, стоя у аналоя, называл по имени каждого преступника и к чему он приговорен с высочайшего утверждения». Приговоренные, спокойно повествует мемуарист, «имели на себе те же платья, в которых были взяты, только, натурально, без шпаг. Многие из них были даже в полных мундирах».

И многие из них принадлежали к флотскому «сословию», Сенявину дорогому и близкому. Быть может, адмирал узнал и тех, что приходили к нему в дом вместе с Николенькой.

Решать чью-либо участь на бумаге — это одно; смотреть в глаза человеку, чью участь ты решил, — совсем другое. Пусть закон есть закон, пусть военный бунт есть военный бунт, пусть и без него, Сенявина, дело решилось бы так, как оно решилось, и все ж, полагаю, тяжелое, муторное, гнетущее чувство завладело Дмитрием Николаевичем при виде обреченных молодых людей...

6

Если говорить о главном, то Сенявина извлекли из забвения вовсе не затем, чтобы он заседал в «зале общего Сената собрания».

Другая, не Сенатская площадь была в Санкт-Петербурге: Адмиралтейская. Было в Санкт-Петербурге другое, не сенатское здание: блистательное захаровское Адмиралтейство. Вот куда Дмитрий Николаевич ездил охотно и часто. Там он чувствовал себя у себя и среди своих.

Возвращенный на флот, он получил назначение членом Комитета образования флота. Не краснобаи сходились на заседания этого комитета: моряки боевые и моряки-ученые. Даже в отдаленном родстве не состоял этот комитет с теми, кои на Руси окрестили комитетами по утаптыванию мостовых.

Зимою двадцать шестого года Сенявин работал над «Запиской», рассуждая о «предметах, которые составляли главнейшее занятие» всей его жизни. Мысли свои излагал он «со свойственной старому служителю откровенностью»: наилучший способ возродить морскую мощь — это возродить воинский дух минувших времен, то есть, в сущности, традиции и обыкновения Ушакова, когда «флот наш был страшен соседственным державам», когда он был «предметом ревности и беспокойства» даже англичан¹.

¹ ЦГВИА, ВУА, д. 18003, л. 2 (об.), 3, 3 (об.).

Уж не отрицал ли Сенявин новизну? Нет, отметал «новшества» вроде памятного ему комического повеления императора Павла именовать яхту... фрегатом. Повелеть-то можно все, что угодно, но яхта останется яхтой, а фрегатов не прибавится. Сенявин противился простой перемене вывесок.

Забот ему привалило, не перечесть. Комитет вникал и в кораблестроение, и в устройство портов, занимался и артиллерией, и штатными расписаниями... И Сенявин жил, наверстывая упущенное в годы опалы, отставки, бездействия. Не чувствовал убыли сил. Напротив, чувствовал прибыль.

Его закат был светел. Производство в полные адмиралы. Знаки «монаршего благоволения». Избрание в академики. Назначение в сенаторы. Сын, получивший егерский полк... Долги? Медленно, постепенно, но долги он гасит. Худо с сердцем, опухают ноги? Он отмахивается от докторов, не отказываясь от «низкой кучерской забавы» — пыхтит трубкой. Правда, он все-таки едет в Москву: в Петербурге нет «заведения искусственных минеральных вод», а в первопрестольной есть. Он едет в Москву, зная, что минеральные воды помогают живому, как мертвому помогают припарки. Он возвращается в Питер, чует вкрадчивый шорох смерти — и пошучивает: «Отродясь не пил воды, а помираю от водянки».

В пятый день апреля 1831 года, когда звенела капель, но еще дул студеный ветер, его грудь поднялась и опустилась, чтоб уж больше не подняться.

Санкт-Петербург взволнован похоронами адмирала, потому что покойному оказаны не просто воинские почести, нет, честь неслыханная: сам государь император Николай Павлович командует взводом, провожая адмирала в Александровскую лавру...

Да, вечер был светел. Но, правду сказать, не производством в полные адмиралы, хотя и заслуженным; не избранием в Академию наук, хотя и лестным; не определением в сенат, хотя он и не напрашивался в сенаторы; не знаками монаршего внимания, хотя они и радовали... И даже не тем, что корабль Федора Литке пронес имя Сенявина по всем океанам, ибо шлюп «Сенявин» свершил кругосветное плавание. И наконец, не тем даже, что имя Сенявина означилось на картах: остров Сенявина в Тихом океане, в восточной группе Каролинского архипелага; пролив Сенявина у берегов Чукотки...

Свет, озаривший его вечер, исходил от моря. Пусть не Черного и не Средиземного, куда он так стремился, но моря, моря, и этим определилось все, в этом было счастье перед заходом солнца.

«Человеческая мысль, жадно ищущая в наши дни неприкрашенной действительности, — писал Мопассан, — не верит этим красивым сказкам о море, хотя они и пленяют ее».

Море было Сенявину и «неприкрашенной действительностью», суровой, подчас жестокой, было и «красивой сказкой», пленившей однажды и навсегда.

Море и Сенявин встретились, что называется, в открытую летом двадцать седьмого. Два каторжных десятилетия адмирал не водил эскадру.

Надо было скрыть волнение, похожее на всхлип, и удержать слезу, закипевшую на глазах, нет, не стариковскую, а какую-то... черт ее знает какую... Надо было не задохнуться от этой громады воздуха и пространства, от этого ни с чем не сравнимого ощущения, когда ты не разумом, но будто всей своей сутью осознаешь: жить — значит быть в пути.

«Завтра чем свет я под парусами», — говорит Сенявин в одной записочке. Деловой? По содержанию — да. По звучанию первой строчки, первых слов — праздничной. И эта праздничность, почти жреческая торжественность, владеет стариком. «Я под парусами» — на мой слух перекликается с пушкинским: «Завидую тебе, питомец моря смелый, под сенью парусов и в бурях поседелый...»

Когда знаменитый полярник Джон Франклин просился в опасную экспедицию, лорды Адмиралтейства возразили: «Отлично, но вам по справкам уже шестьдесят». «Нет, нет, — горячо воскликнул сэръ Джон, — только пятьдесят девять!»

Вот так-то: «только». Всегда «только». Разве счет на годы, на отжитые годы? К дьяволу, счет на мили, на пройденные мили, что пенятся за кормою твоих кораблей.

Он вел девять линейных кораблей и семь фрегатов, четыре брига и корвет. На 74-пушечном «Азове» был его флаг. Некогда, вице-адмиралом, командуя флотом, он носил свой флаг на фор-стеннге. Теперь, полным адмиралом, поднял его выше к небу — на грот-стеннге.

Между тем «неприкрашенная действительность» громко и настойчиво заявила о себе с первых же походных часов.

Сенявин знал то, что еще оставалось тайной офицерам и матросам: в тех самых широтах, где ему, адмиралу, довелось отведать и восторг победы, и горечь беды, вот этим кораблям предстоит испытания огнем и железом.

Он это знал и поэтому, как сказано в документе, «занимался на эскадре различными практическими и тактическими учениями и для подкрепления здоровья экипажей оной приказал производить (выдавать) свежее мясо и зелень и брать с берега свежую воду — достойное попечение достойного начальника».

Попечение, Сенявину привычное, свойственное, быстро и благотворно отозвалось на подопечных. В том же документе, ныне хранящемся в архиве нашего Военно-Морского Флота, читаем: «... Все корабли и фрегаты соблюдали во всей точности места свои в ордерах (походных порядках. — Ю. Д.), столь

же верно ночью, как и днем, и все движения и управления производились быстро и правильно, ордер или колонна никогда и ни в каком случае не нарушались... Старейшие и опытнейшие моряки Дании и Англии, посещавшие эскадру в Копенгагене и Портсмуте и видевшие ее в действиях, единодушно отзывались, что столь примерной и отличной эскадры они никогда видеть не ожидали».

Надо полагать, подобные оценки из уст «старейших и опытнейших», не склонных льстить, а скорее склонных хулить, были Сенявину не меньшей, если не большей, отрадой, чем двадцать пять тысяч серебром, пожалованные ему в канун кампании.

На подходах к Портсмуту русских встречали лоцманы. Дмитрий Николаевич от услуг лоцманов отказался:

— Наши корабли слишком хорошо знакомы с портами Англии.

(Это замечание слышал и запомнил Норов. Авраамий Сергеевич, потерявший в Бородинском сражении ногу, впервые стучал своей деревяшкой по корабельной палубе. Четыре года назад он был уволен «за раную», уволен полковником и определен к «статским делам». А за неделю до отправления эскадры из Кронштадта Норова «прикомандировали к генерал-адъютанту адмиралу Сенявину для исполнения особых его поручений»¹. Норов находился подле Дмитрия Николаевича несколько лет и оставил заметки о последних годах жизни флотоводца.)

В словах Сенявина был двойной смысл: явный и тайный, серьезный и иронический. Да, конечно, русские капитаны хорошо изучили навигационные условия прибрежных английских вод. Но хорошее знакомство с ними Сенявина объяснялось и нехорошим гостеванием в восемьсот восьмом и девятом годах, уж очень памятных Дмитрию Николаевичу.

Впрочем, теперь в июле 1827 года, как и два с лишним десятилетия назад, адмирал Сенявин вошел в Портсмут дружественный. И опять, как и тогда, его приход предварили дипломатические переговоры. Однако на сей раз неприятелем Англии и России не была Франция. Она, напротив, была в приятелях. Врагом были турки, Османская империя.

Сенявин еще нес все паруса, направляясь в Англию, когда уполномоченные трех великих держав (России, Франции, Англии) подписали конвенцию, предлагающая Турции посредничество в решении «греческого вопроса».

Казалось бы, похороненный после Тильзита, он воскрес в 1821 году: греки, изнывавшие в турецком рабстве, восстали. Началась война, очень упорная, очень кровавая, отмеченная

¹ ЦГАЛИ, ф. 349, оп. 1, д. 3, л. 10.

поистине античными подвигами повстанцев и поистине варварской жестокостью султанских пашей.

Первые же выстрелы вызвали в России эхо. Эхо дробилось как в горах, потому что Греции сочувствовали люди разные и по-разному.

Одни видели в «греческом вопросе» часть «турецкого вопроса»; в необходимости русского вмешательства усматривали возможность (подогретую симпатиями к единоверцам) нанести очередной удар Стамбулу.

Еще доживали долгий век вельможные старцы, сторонники екатерининской политики. Доживали, кто в столицах, кто под родными липами, и встрепенулись, едва расслышали глухнущими ушами о греках.

Вот один из таких старцев, граф Кушелев, моряк, в своих письмах к сыну — письма тиснули тоненькой книжицей в Чернигове в прошлом веке, не указав года издания, — говорил: «С нами в архипелаге был некто Миловский, при гр. Орлове. Человек с большими познаниями. Он был по иностранной части. Когда из архипелага флот возвратился и Орлов на набережной встретил Миловского и спросил его, что он прогуливается, на что он отвечал: «Так, ваше сиятельство: хожу по солнцу, высушиваю греческие слезы, которыми мы облиты, оставя их на жертву туркам без всякой защиты за все их к нам услуги». Чуть полно, и теперь не то же ли бы сказать должно. Тогда поздно уже им помогать, когда их всех перережут. Буде им бог и поможет, то все они уже будут не преданы России, которая их так оставила, и мысль покойной Екатерины уже не может исполниться... Итак, у вас говорят про войну. Но должно ковать железо, как горит, а не тогда, как простынет».

Другие русские, в особенности молодежь, видели в греках борцов за независимость и сочувствовали им, не думая о планах Екатерины. Пушкин, например, называл усилия греков «благородными»; «ничто еще не было так н а р о д н о, — подчеркнул он, — как дело греков».

Ну а Сенявин?

Вот уж кто и сражался за греков, и поддерживал, пока сил доставало, Республику Семи соединенных островов, учрежденную Ушаковым, до последней возможности поддерживал эту республику, в которой, по замечанию греческого историка, «все греки той эпохи видели зарю их независимости».

Сенявин, уже опальный, униженный и оскорбленный, вряд ли знал о некоторых русских офицерах, ввязавшихся в греческое восстание, едва оно возгорелось. Вряд ли знал он о штабс-капитанах Куликовском и Костине или о поручике Султанове-Рытвинском. Но прямое и боевое участие в борьбе греков Дмитрий Николаевич, конечно, принимал близко к сердцу.

А греки прекрасно помнили Сенявина. И не одни лишь жители Корфу и других Ионических островов, а и многие храбрецы архипелага, что на свой страх и риск дрались с турками в одно время с Сенявиным. Так, например, капитан Николаос Нарос виделся с Сенявиным на острове Тенедос (в июле 1807-го), держал с вице-адмиралом совет, а потом во главе полутысячного отряда высадился на побережье Македонии...

Память о русском флотоводце не заглохла. Она была живой, а не «мемориальной», и потому в начале восстания греки обратились к Петербургу с просьбой — письменной, скрепленной многими именами, — прислать Дмитрия Николаевича для командования греческим флотом.

Император Александр на прошение самого Сенявина о действительной службе «противу неприятеля» ответил по-свински: «Где? в каком роде службы? и каким образом?» Греки предложили, «где», «в каком роде службы», «и каким образом», — царь вовсе не ответил.

Не потому только, что при одном имени Сенявина у государя сводило скулы. Нет, еще и потому, что всякое восстание царь называл «позорной и преступной акцией». Ведь Александр был коноводом Священного союза, а идеология и практика этого союза противоречила выступлениям против любого «законного» монарха, будь им и турецкий султан, хотя уж его-то Александр поколотил бы с удовольствием.

Николай Павлович ничуть не меньше старшего брата стоял за нерушимость «прав наследственных монархов». Однако принципы уже не мешали ему воевать с султаном. Николай российский, по словам Энгельса, был интересен той прямой и беззастенчивой откровенностью, с которой он стремился к деспотизму.

Вот эту-то «интересную прямоту» явил он, посылая эскадру в Средиземное море. Впрочем, не только он, но и Англия с Францией. Все они вовсе не убивались из-за того, что турки убивали греков, а греки турок. Нет, стремились обеспечить собственные позиции и плацдармы на Средиземном море, на Ближнем Востоке. Но опять, как и в прошлом, вмешательство европейских держав в «греческий вопрос» объективно играло на руку освободительному движению.

Да, Николай послал эскадру. И командование вручил Сенявину. Однако Сенявин «пламенно желал при открывшейся войне вновь состязаться с турками», а царь не пожелал отпустить его на это «состязание». Сенявину было приказано за время перехода из Кронштадта в Портсмут «доставить эскадру до должного совершенства по всем частям морской службы», а потом с частью кораблей воротиться из Портсмута в Кронштадт, другую ж часть отправить к берегам Греции.

Отчего ж все-таки Николай не пустил Сенявина в южные широты, адмиралу знакомые и желанные? Один из биографов флотоводца как бы мимоходом замечает: несмотря, мол, на «высочайшее благоволение», «постоянно чувствовалась скрытая недоброжелательность Николая I к Дмитрию Николаевичу».

Пишущий эти строки, не будучи оригиналом, питает открытое недоброжелательство к Николаю I, однако, хоть умри, не чувствует недоброжелательства царя к Сенявину. Да и вообще «чувствовать» историку показано с осторожностью, хоть и справедливо, что история не дело евнухов.

Но может, Николай, так сказать, по-человечески пожалел старика, не захотел подвергать его боевым опасностям?

Причина, пожалуй, иная. Многоопытный флотоводец участвовал в возрождении военно-морских сил, захиревших при «благословенном» Александре и «жалком» Траверсе, а ведь не только те корабли и те экипажи, которые отправились в Средиземное море, следовало «довести до должного совершенства». Кроме того, вновь завязавшаяся война с Турцией требовала присутствия в столице столь знающего советника, как Сенявин.

И Сенявин действительно был деятелем и двигателем флотского возрождения, как был и советником при составлении военных планов борьбы с Османской империей. Но в одном — существенном, капитальном! — его деятельность и его советы не только не совпадали с воззрениями и убеждениями Николая, нет, решительно, в рост противостояли им.

Нет нужды распространяться, какова была «система» обучения солдат и матросов, «система» царя, прозванного Палкиным. Именно ей, системе палкинской и палочной, именно ей Сенявин явился врагом яростным, бесстрашным, непреклонным, беспощадным, неумолимым.

Прощаясь с офицерами, уходившими на войну, прощаясь в Портсмуте с будущими героями Наварина, Синопа, Севастополя, прощаясь с Лазаревым и Нахимовым, Корниловым и Бутеневым, прощаясь, в сущности, с флотом, Дмитрий Николаевич издал инструкцию... Нет, то было его завещание. Его «символ веры», его максимы.

Формально Сенявин обращался к командующему Средиземноморским отрядом, фактически — ко всем, кто распорядился «нижними чинами»:

«Весьма важным считаю обратить особенное внимание вашего сиятельства на обхождение гг. командиров и офицеров с нижними чинами и служителями. Сделанные мною замечания на сей предмет показывают мне, что гг. офицеры имеют ложные правила в рассуждении соблюдения дисциплины в своих подчиненных.

Нет сомнения, что строгость необходима в службе, но прежде всего должно научить людей, что им делать, а потом взыскивать на них и наказывать за упущения.

Надлежит различать упущение невольное от умышленного или пренебрежительного: 1-е требует иногда снисхождения, 2-е немедленного взыскания без послабления.

Никакие общие непослушания или беспорядки не могут произойти, если офицеры будут заниматься каждый своей командою.

Посему должно требовать с гг. офицеров, чтобы они чаще обращались с своими подчиненными; знали бы каждого из них и знали бы, что служба их состоит не только в том, чтобы командовать людьми во время работ, но что они должны входить и в частную жизнь их.

Сим средством приобретут они к себе их любовь и даже доверенность, будут известны о их нуждах и отвлекут от них всякий ропот, донося о их надобностях капитану.

Начальники и офицеры должны уметь возбудить соревнование к усердной службе в своих подчиненных одобрением отличнейших. Они должны знать дух русского матроса, которому иногда спасибо дороже всего...»

Матросы за все это сказали б спасибо старому адмиралу. А старому адмиралу это спасибо было тоже дороже всего.

7

Как в песне о «Варяге»; «Последний парад наступает...»

Последний парад Сенявина наступил не тогда, когда погребальная колесница везла его тело в Александро-Невскую лавру, а почетным караулом командовал сам император.

Последний парад флотоводца Сенявина был на Балтике. Там, где был и первый парад гардемарина Сенявина. В двадцать восьмом и в двадцать девятом годах Дмитрий Николаевич водил эскадры, но чувствовал, что завершает все свои походы.

Для тех, кто жил на море и жил морем, для тех, пользуясь выражением древнего римского поэта, «не все кончается смертью», ибо море принимает их душу.

В час пополудни был сигнал сняться с якоря.

Горизонт, небо, все вокруг злобно темнело. Потом хлынул дождь. Прямой, тяжелый, холодный дождь осеннего балтийского ненастья. Теперь уж нельзя было различить флажных сигналов, и все думали, что адмирал отменит поход.

Послышались пушечные выстрелы. Они означали:

— Следовать за адмиралом.

В море был шторм. Дождь не прекращался. Тьма стояла как ночью. А ночью было темно, как минувшим днем. Па-

лила пушка с флагманского, требуя от каждого ответа: где ты? цел ты?

«Расположась возле рулевого, — рассказывает очевидец, — адмирал поставил подле себя компас, разложил лакированную карту и сам направлял ход корабля, и только лишь тогда, когда эскадра миновала опасный риф Девиль-зей, Сенявин, не сходя в каюту, спросил чаю. Во всю бурную и мрачную ночь, при сильном дожде он продолжал вести корабль. Только на другой день, в час пополудни, когда эскадра при продолжавшемся бурном ветре и дожде стала на якорь на кронштадтском рейде, Сенявин, промокший до костей, сошел в каюту».

Не спускайтесь следом в каюту, не нужно.

Запомните Сенявина на палубе, запомните его в море.

1972

ГОЛОВНИН



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Купель готова. Нынче сельскому попу крестить барского первенца. Мужчина явился в мир. И пребудет, пока не зазвонит по нем колокол.

Мальчонку несут к купели. Мир для младенца беззвучен, невидим. Но ведь это уже его мир. И на дворе этого мира стоит весна. Весна тысяча семьсот семьдесят шестого года.

Из дальних далей доносится топот повстанцев. Довольно дебатов, спор решит оружие. Мятежники воюют не по правилам? Тем хуже для солдат английского короля Георга III. Тем хуже для бостонского гарнизона.

Пушечный гул вместе с гулом Атлантики катится из Нового Света: Америка отламывается от британской короны.

А здесь, поближе — в Старом Свете?

Вешнее солнце 1776 года заглядывает в Фернейский замок. Вешний луч ловят морщинистые руки «короля республики наук и искусств». Ему восемьдесят два. Беззубый рот провален. Но он очень зубаст, зубаст, как щука, этот старый господин Вольтер.

Лужи на мостовых Парижа. Парижанин глазеет на мятежного чудака Жан-Жака. В кафе «De la Regence» моют окна. Светлые блики падают на шахматный столик. Наверное, вечером придет Дени Дидро. О-о, мсье отлично играет в шахматы! Но самые лучшие партии разыграл Дидро в огромном круге Знания.

Весна не избавляет от государственных забот. Шестнадцатый Людовик собирается поохотиться в окрестностях Фонтенбло. Умный интриган маркиз Помбаль что-то нашептывает своему повелителю, кретину Хозе I португальскому. Карл III испанский милостиво позволяет первому министру графу Флорида-Бланка набивать королевскую мошну. В Потсдаме, во дворце Сан-Суси, размышляет о прусском могуществе серьезный и трезвый Фридрих II.

Европеец шлет в океаны корабли. Капитан Джеймс Кук вновь склоняется над картами Великого, или Тихого. Менее отважные, но куда более оборотистые капитаны навастривают

«гвинейцев». Кили этих кораблей чертят знаменитый треугольник: Европа — Африка — Америка — Европа. Ветры и течения работают на барышников. Барыш верный, почти стопроцентный. Грузовой поток не иссякает. Из Европы в Африку: металлические бруски, мануфактура, бренди. Из Африки в Америку: рабы, рабы, рабы. Из Америки в Европу: табак, хлопок, сахар, ром. Вперед, «гвинейцы», вперед к Золотому берегу!

Золотой берег не только в Африке. И пахнет он не только пронзительным, как горе, потом черных невольников. Он пахнет и пряностями Индонезии. Он алеет бенгальским маком, дающим молочно-белый сок. Белый сок, густея, меняется в цвете: желто-красный, медно-красный... Ныне, в 1776 году, опять и опять будут действовать рычаги великой контрабанды, той, что доставляет в Китай опиум. «Шуми, шуми, послушное ветрило...»

Ветрила шумели в океанах, а над огромной северной державой мало-помалу поднимался зеленый шум. Медленно сбросив тяжелый тулуп, держава ворочалась и покряхтывала. Сходили снега, талые воды лежали на пожарищах недавней пугачевской войны. Голубело небо, а под ним все еще означались виселицы.

Начинался потемкинский режим. Подполковник Преображенского полка, еще не граф и не князь, уже заграбастал власть, о которой не смел мечтать ни один европейский министр.

Только что попали в руки императрицы черноморские порты; она будет «пускать кораблики» на юге, как Петр пускал на северо-западе. Только что приказала долго жить буйная Запорожская Сечь. Только что началось преобразование провинциального управления.

Изящные конспекты «Духа законов» Монтескье заброшены Екатериной в угол. Вельможная псарня получает жирные куски в Белоруссии. Чиновничий гнус сосет казну сотнями хоботков, а полные чувственные губы государыни улыбаются: «Меня обворовывают точно так же, как и других, но это хороший знак и показывает, что есть что воровать...» В прошениях на имя императрицы слово «раб» велено заменить словом «верноподданный». От этого, наверное, прошения перестали быть прошениями, рабы — рабами.

Четвертовав «изверга» на Болотной площади, «мать отечества» продолжает царствовать. И от всего дворянского сердца повторяются мольбы о том, что ей подобает титул больший: матери народов. («Позднее, — отмечает один проницательный историк, — подобные фразы стали стереотипными, заменяющими чувство».)

«Дети», то бишь российские дворяне, не меньше «матери» напугались Емельки-самозванца. Наконец, слава богу, его останки разнесли во все четыре стороны и сожгли. И вот во всех

четырёх сторонах, где только ни угнездилось русское барство, нынче, весною 1776 года, во второй уж раз покойно, весело, отраднo празднуют благовещенье.

Праздновали и в Гулынках. Празднуя, не забывали о весеннем севе, творя молитву не только во храме, но и в закромах: «Мати божия, Гавриил-архангел, блавестите, благоволите, нас урожаем благословите: овсом да рожью, ячменем, пшеницей и всякого жита сторицей».

Отошел великий праздник, пришел великий труд. Каким он будет, урожай семьдесят шестого года? А в помещицьем дому уже «урожай»: барыня Александра Ивановна разрешилась первенцем.

Младенцу мужского пола достаточно одного восприемника. Кто им был, я не доискивался. Существеннее другое — черты «малой родины». Ведь, по словам историка Соловьева, еще летописцы московские дивились храбрости и речистости рязанцев. А литератор Елпатьевский, изъездивший всю страну во времена сравнительно нам близкие, утверждал, что он нигде не встречал таких красивых, нередко изящных крестьянских лиц, как в Рязанской губернии.

2

Село упоминается в рязанских писцовых книгах еще в начале XVII века. Когда Василий Головнин родился. Гулынкам было никак не меньше полутора лет. Долгое время принадлежали они Вердеревским. Вердеревские происходили, как пишет Головнин, «от татарского князя Сала Хамира, крестившегося при Олеге и женившегося на его родственнице. Князь сей, получив обширные владения в Скопине и поселившись на реке Верде, стал называться Вердеревским».

С Вердеревской Александрой Ивановной повенчался коллежский асессор Михайло Васильевич Головнин. Он тоже мог похвалиться древностью фамилии, значившейся в шестой части родословной книги. «Древо» Головниных и описание герба хранится в одном из ленинградских архивов.

Василий Головнин был первым у отца с матерью, но не последним. Впрочем, трое его младших братьев не оставили заметных следов на жизненных дорогах. Правда, в Гулынках все они четверо отнюдь не помышляли о карьере. Их «поприщем» был обжитой господский дом, сад да рощи, Истья да пруды. И еще лес за барским полем, куда посылали девок по грибы, по ягоды.

При слове «усадьба» видишь белые колонны, сквозящую листву лип, дорогу, обсаженную рослыми березами, цветники, разбитые заботливо и любовно. Видение необманчиво, все так и было. И старые нянюшки были, и моськи, и часы, сипло от-

бывающие «Коль славен», и малашки, чешущие бариновы пятки, и мебель красного дерева, и развалистые диваны, и длинные трубки. Трубок без счета, хоть полк закуривай.

Гулынки, конечно, не чета «Версалям», что возникли под крылами екатерининских орлов. Рязанское это село было просто-напросто старым помещьем, где сизой зимою жарко топились изразцовые печи, а красным летом густо жужжали черные мухи. Были Гулынки старым помещьем с залой, с низенькими антресолями «для детей» и тесной людскою, кладовыми и подклетьями, бисерными вышивками и шелковыми ширмами. Старое гнездо, пахнущее яблоками, вареньем, хлебом. Старое гнездо, набитое платьем, посудой, зеркалами, утварью, всем, что оплатили поколения рабов и накопили поколения господ.

«Положение этого класса в обществе, — писал Ключевский, — покоилось на политической несправедливости и венчалось общественным бездельем; с рук дьячка-учителя человек этого класса переходил на руки к французу-гувернеру, довершал свое образование в Итальянском театре или французском ресторане, применял приобретенные понятия в столичных гостиных и доканчивал дни в московском или деревенском кабинете с Вольтером в руках».

Черты верные, но беглые, общие, самим историком не дополненные. Головнина ждал иной путь. Положение конечно, «покоилось на политической несправедливости», однако не «венчалось общественным бездельем». Он был прямым наследником служилых дворян петровской выделки. А духовно, подобно многим современникам, пристал к вольнодумцам вольтеровской закваски.

Коллежский ассессор Михайло Васильевич, сам в молодости гвардеец, определил первенца в преображенцы. Васенька еще сливки попивал, когда уж был «написан» унтер-офицером гвардии. Все наперед расчислил батюшка: из сержантов гвардии пойдет Василий капитаном в армию, майором отставку получит да и обоснуется в Гулынках. Куда как славно!

В казарму преображенцев он не попал. В армию тоже. И не до пехотного майора дослужился. И в Гулынках бывал наездами, а не сиднем сидел¹. Не по отцовым наметкам судьба сложилась.

¹ Много любопытного из истории Гулынок любезно сообщил мне в 1966—1967 годах Андрей Филиппович Щегольков. Дед его был тамошним крепостным, сам А. Ф. Щегольков прожил почти всю свою долгую жизнь в Гулынках.

В письмах А. Ф. Щеголькова зафиксированы крестьянские легенды о В. М. Головнине, передававшиеся из поколения в поколение. Резко отделяя В. М. Головнина и его сына А. В. Головнина от прочих гулынских душевладельцев, автор писем несколько не идеализирует деревенскую жизнь «под помещиком».

Ехали на перекладных. Дожидаясь подставы, ругали смотрителей и опоражнивали самоварчик-братину. Астраханским трактом ехали, гулыным знакомым. Пошли уж города московской артели: Зарайск, Коломна, Бронницы.

Совсем по-иному рассудили родственники-опекуны. Какая-де гвардия, коли состояние у сироты недостаточное? Батюшка умер, матушка умерла. А Васю и не спрашивали — недоросль. И рассудили родственники-опекуны: быть ему в морской службе. Отчего такая мысль явилась? Никто, кажется, из Головниных на морях не качался. И никто из Вердеревских. На кораблях не отыщет Вася родного человечка. Без родной души кто в службе порадеет? Ну ладно, бог не оставит сироту.

В Москве не задерживались. В Москве каждый день влеет в копейку. Снегу в снегопад не выпросишь, за все втридорога дерут. И опять гремят бубенцы. Теперь уж на Петербургском тракте.

Тогдашний Петербург еще не был Северной Пальмирой. Ансамблей, памятных каждому либо зрительно, либо книжно, еще не возвели блистательные зодчие. «Строгий, стройный вид» лишь возникал. Торцовых мостовых и в помине не было. Дворцовую площадь не Главный штаб объят, а строения, отдаленно напоминавшие парижский Пале-Рояль: лавки, трактиры, маскарадные залы, театр немецких лицедеев. На углу Невского и Владимирского вонял Обжорный ряд. Мальчишки играли в бабки. Бродили стаи голодных псов. И хотя посверкивал адмиралтейский шпиц, но еще и самому Андрияну Захарову не мерещилось захаровское Адмиралтейство. А тогдашнее было неказистое, неоштукатуренное. Европою, по мнению современника, можно было счесть Зимний, прекрасные набережные, две Морские и две Миллионные, Невский до Аничкова моста.

Впрочем, гулынский мальчонка не задержался в Питере. Уж несколько лет, как на здешнем Васильевском острове сгорел Морской кадетский корпус. На другом острове помещался теперь корпус — на Котлине, где город и крепость Кронштадт.

Вася уехал туда зимней дорогой, среди перекатных сугробов Финского залива. А жаль... То ли дело летом, водою! На переходе из Невского устья в Кронштадт возникает отрадное широкое и светлое впечатление: тихо и властно берет за душу,

Что же до материалов родовых, то они — за 1793—1916 годы — составляют фонд 98 Государственного архива Рязанской области. Там же фонд (№ 1367) родственников Головниных — Саломон П. И., Саломон А. П. — за 1825—1917 годы.

оставаясь в сердце навсегда. Невский город показывает грани свои и ракурсы, в море, по слову поэта, моются мысы, берег оторочен холкой лесов. И вот всплывает — как на бочках, как на понтонах — знаменитая крепость.

В звуке «Кронштадт» слышится что-то твердое, несокрушимое. Кулак, защищающий столицу. В его гаванях — корабли. Пункт «отшествия» и пункт «пришествия» говорят навигаторы. Уходят в море, нередко и на смерть; возвращаются с моря, бывает, и за наградой. Нельзя разъять Кронштадт и флот. Их общность определяет тысячи судеб: матросов и офицеров, плотников, пушкарей, парусников. Кронштадт не балует своих служителей. У него медвежья повадка, каменные скулы, натруженные руки. Кронштадт не терпит неженки. В будни он работает не разгибаясь. От его праздников шибает сивухой.

При Петре итальянские мастера возвели для царского любимца князя Меншикова большой дом с крытыми галереями и бесчисленными окнами, отражавшими облачное кронштадтское небо. Дворец назвали Итальянским. Когда светлейшего сослали, дворец достался казне, как и все богатства, нахапанные Данилычем.

Казенный глаз — не хозяйский глаз: Итальянский дворец ветшал. Ветра просвистели его насквозь. В ненастье дом будто постанывал. Он пропах мундирным сукном и амуницией. На бывшей «жилплощади» Меншикова квартировало пять рот, без малого шестьсот молодцов. В январе 1788 года к ним прибавился еще один.

4

«...Батюшка сам отвез меня в корпус, прямо к майору Голостенному, они скоро познакомились и скоро подгуляли. Тогда было время такое: без хмельного ничего не делалось. Распростившись меж собою, батюшка сел в сани, я целовал его руку, он, перекрестя меня, сказал: «Прости, Митюха».

Я цитирую записки вице-адмирала Сенявина. (Имя, кажется, известное.) Митюха попал в корпус много раньше Васи. Но и много спустя «без хмельного ничего не делалось». А уж если родимый батюшка напутствовал сыночка столь куцо, хотя и по-суворовски выразительно, то сироту, надо полагать, еще поспешнее сплавили богу на руки.

Примечательно, однако, отцовское «прости». Сенявин-отец был офицером, сознавал, значит, что закрытое военное учебное заведение не малинник.

Начать с того, что кадет обирали каптенармусы и кастелянны. Барчата кормились, как в худом монастыре. Но барчата

не хотели играть роль послушников и грабили окрестные огороды. Обыватели плакались начальству. Начальство держалось нейтралитета: не пойман — не тать. Изловить же голодного волчонка было хлопотно. Да и боязно, ибо однобрашники мстили «шарапом». Ночь вдруг оглашалась воем: «На шара-а-а-ап!»?

Нравы военных учебных заведений не отличались мягкостью. «Будешь воином суровым...» Современник Головнина свидетельствовал о том выразительно.

«Воспитание кадет, — писал он, — состояло в истинном тиранстве. Капитаны, казалось, хвастались друг перед другом, кто из них бесчеловечнее и безжалостнее сечет кадет. Каждую субботу в дежурной комнате вопль не прекращался. Между кадетами замечательна была вообще грубость; кадеты пили вино, посылали за ним в кабаки и пр.; зимою в комнатах кадетских стекла были во многих выбиты, дров отпускали мало, и, чтоб избавиться от холода, кадеты по ночам лазали через заборы в адмиралтейство и оттуда крали бревна, дрова или что попадалось... Была еще одна особенность в нашем корпусе — это господство гардемарин¹ и особенно старших в камерах над кадетами; первые употребляли последних в услугу, как сущих своих дворовых людей; я сам, бывши кадетом, подавал старшему умыться, снимал сапоги, чистил платье, перестилал постель и помыкался на посылках с записочками, иногда в зимнюю ночь босиком по галерее бежишь и не оглядываешься. Боже избави послушаться! — прибьют до полусмерти. Зато какая радость, какое счастье, когда произведут, бывало, в гардемарины; тогда из крепостных становишься сам барином...»

Словом, «спартанство». Прежде чем повелевать, научись повиноваться. Вот и учились. Впрочем, не только в дежурной комнате, под розгами, но и в классах: с семи утра до одиннадцати — теоретические предметы, с двух пополудни до шести — упражнения.

Тот же очевидец, будущий декабрист Штейнгель, уничтожителен: «Учителя все кой-какие, бедняки и частью пьяницы, к которым кадеты не могли питать иного чувства, кроме презрения». Сказать правду, следовало бы вывести за скобки несколько тогдашних светочей.

Головнина восхищал математик Василий Никитович Никитин, магистр Эдинбургского университета. Профессор был соавтором известного учебника тригонометрии; учебник еще пахнул типографией в год поступления Головнина в корпус.

Был еще Курганов. Своеобычливая фигура, достойная внимания.

¹ Воспитанники старших классов.

Курганову колыбелью была сумеречная Сухарева башня. Башня вплывала в московские улочки, как адмиральский корабль в шхеры. В Сухаревой башне мужали первые водители русских фрегатов. Разночинец Николай Курганов хлебал с ними из одного котла.

Строя, фрунта солдатский сын не отведал: он слишком хорошо «ведал астрономию». Он умел втискивать астрономические познания в самые крутые мозги.

Говорят, Николай Гаврилович не боялся хмельного. Ну, по мерке ему и поговорка: пьян да умен—два угодя в нем. Второе угодь обширным было. Курганов работал, как пахарь. В чинах, однако, не успел: хвостом не вилял, слыл «лапотным грубияном». А воспитанники души в нем не чаяли. Он был усмешлив, ироничен, не выносил дутой учености. Он был участлив, сердечен, прост в обращении. Короче, отличный человек.

Преподавание, литература поглощали его до макушки. Знатоку трех языков были доступны европейские тиснения. Он уподоблялся лоцману. И не просто переводил, но дополнял и уточнял.

Благодаря Курганову разжился Морской корпус сочинениями Бутера, Буде де Вильгюэ, Саверьена, техническим пособием «Морской инженер», сборником мореходных таблиц, «Повестью о корабельной архитектуре», излагающей историю судостроения.

Сказать: «Курганов — добрый гений русского морского образования» — не значит бросить слова на ветер. Но это еще не все. Он был автором «Письмовника». Полное наименование книги такое: «Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения русского языка, с семью присовокуплениями разных учебных и полезнозабавных вещей».

То было явление русской письменности. Оно выдержало восемнадцать изданий! Грамматика излагалась ясно, что не так-то уж и просто. Потом следовали в алфавите поговорки. Потом «Краткие замысловатые повести». Не десяток, не дюжина — триста двадцать одна. Они были навеяны чужестранными источниками. Курганов не перелагал. Он переделывал. И еще: «Стихотворная хрестоматия», «Всеобщий чертеж наук и художеств», толковый словарь иностранных слов и слов славянских. Кургановскую энциклопедию знала вся читающая Россия¹.

¹ В. К. Кюхельбекер, будучи узником Свеаборгской крепости, читал «Письмовник» Курганова и в дневнике своем отметил, что «Письмовник» «вовсе не так дурен», как он, Кюхельбекер, наперед предполагал. Подчеркнув необычайную полноту собрания русских поговорок, Кюхельбекер отмечает также, что и повести Курганова «гораздо лучше большей части печатаемых ныне». Кюхельбекер В. К. Дневник. — Л., 1929. С. 51—52.

Тактику, как на море воевать, долбили кадеты по Росту. Еще в конце XVII века достопочтенный тулонский профессор Поль Гост издал трактат «Искусство военных флотов». В середине XVIII века не менее достопочтенный директор Морского корпуса Голенищев-Кутузов перевел трактат на русский¹. Гостова классика старела. Уже выпускник корпуса Федор Ушаков воевал на море отнюдь не по правилам тулонца, и воевал превосходно. Но кадеты все еще зубрили «Искусство военных флотов».

Главной наукой считалась математика. Она тут княжила, в этом Итальянском дворце. Корабли давно стали самой поэзией, но корабельщики давно «алгеброй поверяли гармонию». Паруса, тоже древний предмет поэзии, требовали закройщика-геометра. В красоте оснащенных кораблей воплощалась красота математических формул.

Урания, муза астрономии, несла гардемаринам небесный глобус. На крыше Итальянского дворца была обсерватория. Будущие офицеры припадали к телескопу. «Бездна, звезд полна» горела для плавающих и путешествующих. Молодые люди постигали «звездную книгу», чтобы плавать и путешествовать.

Обсерватория была окном во владения Урании. Из окон второго и третьего этажей виднелись владения Нептуна. Кронштадтские гавани возникали отчетливо, словно на ландкарте. Корабли с убранными парусами казались изящно-легкими, как на маринах. Корабли с поставленными парусами казались окрыленными. Гавани жили приманчивой для кадет жизнью.

Веснами начинались кампании, практические плавания Балтийского флота. Кадеты захлопывали учебники. Каптенармусы раздавали столовые приборы, кастеляны — белье. Кадеты глядели именинниками. Итальянский дворец утихал. Кронштадт тоже. В так называемых губернских домах (их строили при Петре за счет губерний) пустели офицерские квартиры. Из Морского собрания, заведенного совсем недавно, не доносилась музыка. Гремела «музыка» пушечных салютов.

Практика не была прогулкой. На вахте не вздремнешь, как случилось на уроке. И не угреешься на палубе, как в спальном покое. На ходу и на якоре все зимнее, книжное оборачива-

¹ И. Л. Голенищев-Кутузов (1729—1802), человек действительно просвещенный, в Кронштадт почти не навещался. В тот год, когда он издал перевод Госта (1764), его назначили эдаким морским дядькой к десятилетнему генерал-адмиралу, будущему императору Павлу I. Кроме того, Голенищев был генерал-интендантом флота и членом Адмиралтейской коллегии. Где уж тут таскаться в Кронштадт и вникать в жизнь учебного заведения.

лось явью. Явь поражала новизною. Одни пугались будущего, другие ему радовались. Тем и другим приходилось солоно.

5

Императрица всероссийская была двоюродной сестрой короля шведского. Коронованные родственники враждуют чаще некоронованных.

Екатерина II и Густав III обменивались любезными письмами и подарками, устраивали свидания. Заглазно оба не скупилась на брань. «Этот король такой же деспот, как мой сосед — султан», — язвила царица. Густав отплачивал намеками на альковные утехи и успехи сестры; недостатки «фактического материала» король не испытывал.

О словесной пикировке монархов не жаль бы и умолчать, но за нею крылись серьезные обстоятельства, отнюдь не словесные.

Густав III, полагает шведский историк, «хотел блистать подобно героям французских классических трагедий». Тень Карла XII бродила в почти квадратном королевском замке. Она зывала к отмщению. Изю всех, кто занимал престол после Карла XII, Густав был единственным рожденным в Скандинавии. Между ним и Карлом протянулась нить.

Французы расщедрились на субсидии. Флот умножился, оснастился. Но король выжидал. Выжидая, дурачил сестрицу: «Я люблю мир и не начну войны». Пылкое миролюбие зачастую признак военного зуда. Зуд сделался несносен, когда Россия и Турция схватились.

В Константинополе ухаживали за шведским послом. Султан напоминал северному коллеге про старинный оборонительный союз, умащивал денежными ссудами. Король согласно кивал.

Из Петербурга шведский посланник Полькой бодрил его величество пространными депешами о хилости морских и сухопутных войск, дислоцированных близ невской столицы.

Пора было сыграть классическую трагедию. Занавес поднялся с тихим шелестом: то был шелест форштевней — флот покидал свою главную базу Карлскрону. На линейном корабле «Густав III» вился флаг генерал-адмирала герцога Карла Зюдерманландского, брата государя. Капитанам вручили запечатанные пакеты с секретными инструкциями. Экипажи были в неведении. Как обычно, тот, кто платит кровью, оплачивает чужие счета.

К походу готовились тайно. Но посол граф Разумовский не дремал в Стокгольме, а русский рубль был весом. И петербургский двор узнал, что швед сулит дамам пышный праздник

в Петергофе, что на Фальконетовом монументе будет выбито имя короля-победителя, а в Зимнем дворце униженная царица дрожащим пером подпишет мирные артикулы, согласно которым Балтийское море опять станет шведским озером, прибалтийские земли шведским владением.

Венценосцы занимались и литературой. Густав писал историко-романтические драмы, Екатерина среди прочего сочинила комедию «Горе-богатырь». В «Горе-богатыре» угадали стокгольмского рыцаря. Зрители в Эрмитажном театре рукоплескали.

Однако под ложечкой екало. Подступы к столице лежали почти нагими. Екатерина трусила. Ее статс-секретарь записывал в дневнике: «Не веселы». Другой очевидец утверждает, что матушка-императрица «плакали».

Екатерина сетовала на Петра: слишком-де «близко расположил столицу». Отныне надежей были эскадры парусные и гребные. Спокойный храбрец, герой Чесмы адмирал Грейг получил указ: «Следовать с божию помощью вперед, искать флота неприятельского и оный атаковать».

Замечают, что французская трагедия основывалась на правилах Аристотеля, дурно понятых Корнелем. Густав III дурно понял правила стратегических драм. Как многие недруги «северного медведя», король думал овладеть им в собственной его берлоге.

Трагедия, в которой Густав играл не очень-то блистательно, была в трех действиях: семьсот восемьдесят восьмой год, восемьдесят девятый, девяностый. Сценой служила Финляндия и Финский залив. Главное происходило на море. Столкновения флотов определяли развитие сюжета. Если, по выражению одного немца, «море — только дорога», то Балтийское море — дорога, политая кровью русских и шведов.

Патриотизм не в отвержении чужих подвигов. Русский солдат и матрос, шведский солдат и матрос умели воздавать должное мужеству неприятеля. Лжепатриотизм цветет на верхах иерархии. Реляции, публиковавшиеся в Петербурге, как и реляции, публиковавшиеся в Стокгольме, звучали фанфарами.

Всматриваясь в боевую летопись, замечаешь обоюдные удачи и неудачи при отсутствии решительного перевеса. Все напоминает старинное флотское состязание — перетягивание каната. Обе стороны упираются ногами в палубу, напрягают бицепсы, кричат и вскрикивают, подаваясь то вперед, то назад.

Но именно потому, что дело не увенчалось в первое же лето, именно поэтому оно означало крушение планов Густава III. Он не одолел «северного медведя». Тот рычал, взмахивая лапами.

Кронштадт жил тревожной готовностью. Корпус спешно выпускал гардемаринов — «за мичманов». И уже были потери: шведы пленили два русских фрегата. На борту фрегатов находились Васины однокашники.

Его черед нюхать порох настал в девяностом году. А коль скоро гардемарин Василий Головнин вступает под сень парусов, должно пристальнее взглядеться в панораму.

Переменчивой зимой 1789/90 года на верфях Карлскроны усердствуют плотники. Все кипит и на верфях шведской части Финляндии: в Свеаборге, Або, Гельсингфорсе. Густав берет под свою царственную длань галерный флот. Герцог Карл, салютуя себе клубами трубочного дыма, твердо верит, что корабельным флотом командует именно он, брат государя, а не его адмиралы.

Шпионы доносят: Екатерина намерена сломать наконец шею «полоумному» (ее диагноз) родственнику. Объявлен новый рекрутский набор. Бреют лоб пятерым из пятисот, а не одному, как раньше. Осмотрительно-медлительного Мусина-Пушкина устраниют. Ему на смену едут двое: русский сановник благородного корня граф Салтыков и барон Игельстром, отпрыск немецких рыцарей, пылкий и хитрый.

Моряки к этому времени лишились Грейга. Флотовождь умер. Его сменил Чичагов. Царица не без опаски спрашивала, сумеет ли адмирал выстоять противу шведа. Чичагов отвечал: «Бог милостив, матушка: не проглотят!»?

Итак, стратегический план Густава III прежний: армия и флот, сблизившись в районе Выборга, соединенно насядут на Петербург. Но в отличие от прошлых кампаний его величество не намерен изнывать в осаде русских укреплений. К черту! Обойти, оставить в тылу. И пусть пухнут с голоду.

«Я утверждаю, — пишет Густав своему приближенному, — что теперь главным образом нужно действовать не столько осторожно, сколько смело... Будьте генералом Карла XII. Бывают случаи, когда смелость есть истинное благоразумие».

Это верно. Но в данном случае был не тот «случай». И королю недолго ждать тяжеловесных и внушительных доказательств «от противного».

Впрочем, начини был удачным.

Еще март стоял, еще ноздреватый лед-багренец колыхался, когда шведский десант обрушился на эстонский берег. Из Ревеля прискакал в Зимний взмыленный курьер. Статс-секретарь императрицы отметил в дневнике: «Во все утро переполох».

В Ревеле спешно готовили эскадру. Выходу из гавани мешал лед. А шведы гуляли в открытом море. Шкиперы купеческих судов видели их южнее острова Эланд. Минули недели, и теперь уж с русских кораблей усматривали чужой флаг: прямой желтый крест на синем поле.

Тем временем Кронштадт напрягся. Главный командир порта Петр Иванович Пущин, человек неуступчивый, но притом и неумолимо деятельный, сколачивал ту ударную силу, которой скоро доведется выказать огневую мощь.

Тысячи бритых лбов расписывали по кораблям, обряжали и обучали наскоро. Из складов (по-тогдашнему — магазинов) везли судовое вооружение, боевые припасы. Обнаруживались прорехи именно там, где не ждали. Пущин гневался, сокрушался, строчил слезные бумаги в Петербург. И, не дожидаясь помощи, изворачивался собственной сметкой.

Особенное неудовольствие навлек на свою голову Петр Иванович повальным изъятием офицерской и адмиральской прислуги. «Прислужой за все» подвизались матросы. Матросов ждали корабли, и командир порта опустошил господские дома. Отечество отечеством, да ведь надобно кому-то топить печь, ставить самовар, колоть дрова, бегать в лавку? Пушина кляли почем зря.

Но тут-то Петр Иванович еще успевал отругиваться. А вот что было делать, коли с фортов сняли солдат, да и марш в Финляндию? Что было делать, если до комплекта недоставало ста шестидесяти мичманов, а Итальянский дворец выставил меньше половины? И что было делать, когда флагманы хворали и отсиживались дома, на печи? Правда, вице-адмирал Круз казался, несмотря на старые раны, здоровехоньким. Да уж лучше б, прости господи, Александр Иванович лежал в горячке: спасу нет от его желчных требований.

Круза легко понять. Начальник кронштадтской эскадры понаторел в походах, не из устава знал, каково в бою. Вот он и клевал коршуном содержателей «магазиннов». Упаси бог сказать: «нельзя» иль «нет». Да и молодые офицеры и гардемарины, в Круза влюбленные, брали казну приступом, быть может, вспоминая кадетский «шарап».

Гардемарина Головина назначили на эскадру Круза. Гардемарин ликовал. Вице-адмирал считался одним из лучших флагманов. Отец его был земляком Гамлета, сам Круз — уроженцем Москвы. Моряк чуть не с молочных зубов, он посивел на русской палубе. Даже среди отчаянных храбрецов Первой архипелажской экспедиции, уничтожившей турецкий флот в Средиземном море, Круз выдавался личной храбростью. В сражении у острова Хиос он на своем линейном корабле «Евстафий» прошел вдоль всей неприятельской эскадры, буквально с музыкой (гремел корабельный оркестр), сблизился на картечный выстрел с султанским адмиралом и завязал бой. Когда дошло до рукопашной, Круз ринулся на борт «Реал-Мустафы». Вражеский адмиральский корабль был захвачен. Но и «Евстафий» взлетел на воздух. Обожженный, израненный Круз очутился в воде. Он вынырнул, ухватился за обломок мачты, увидел своего артиллерийского офицера.

Тот, отфыркиваясь, закричал: «Каково я палил, а?» Подошла шлюпка. Утопающих стали подбирать. И тогда-то Круза наградил ударом весла по голове. Награда, полагать надо, заслуженная: храбрец, как большинство «отцов командиров», был скор на расправу с нижними чинами.

Не знаю, утих ли Александр Иванович, получив такое назидание, или сделался еще ретивее. Мужества у него, впрочем, не убавилось. Он по-прежнему не кланялся ядрам, умел под обстрелом чаевничать, боялся лишь одного: не пушечного грома, а небесного, грозы боялся.

Круз держал флаг на корабле «Чесма». Не будучи полным адмиралом (предмет его воздыханий), Александр Иванович поднял флаг не на грот-стеннге, а на фор-стеннге. И не белый с андреевским крестом у древка, а синий с таким же крестом.

Линейным 66-пушечным командует англичанин Джеме Тревенен. Он недавно под русским флагом. Но уже заслужил репутацию храбреца, человека просвещенного, нрава «общительного». Немало на флоте иностранных едоков русского хлеба; Тревенен, однако, не из захребетников.

Здесь, на линейном корабле, уже покинувшем Кронштадт в составе Крузовой эскадры, получит Головин то, что называется боевым крещением. Но пока маловетрие. Приходится лавировать или лежать в дрейфе в пяти милях от Толбухина маяка и глазеть на робко зеленеющий сестрорецкий берег.

До боя считанные дни.

За сердце не хватают холсты с изображением морских батальи. Живописцы академически передают эффекты моря, дыма, огня. И дотошно вырисовывают построение в линию, пушки, паруса. Это дотошность грессбуха. Правды нет: нет пота и упоения боя.

Рапорты о сражениях пишутся в адрес высшего начальства. Тут зачастую и совестливый теряет остойчивость. Правая рука вдруг левшит... Спустя годы архивную пыль отрясают официальные историки. Они редко удостаивают вниманием чужеземные источники. Разве что для подкрепления своей точки зрения. Да и то сказать, чужеземные документы тоже не твердой рукой начертаны. Что ж до мемуаров, то моряки-ветераны в отличие от сухопутных почему-то тяготились мараť бумагу.

Но в архивных хранилищах есть шханечные журналы, предки вахтенных. Их авторы не успевали лукавить, хотя бы потому, что заносили на плотные, шероховатые страницы проишествия часовой давности. Широты и долготы, галсы и румбы, начало атаки и конец атаки, сигналы флагмана, распоряжения командира. Все правда. И однако не вся правда. Движения корабля даны точно. Движения людских душ никак

не даны. А бой слагался не из одних эволюций, артиллерийских дуэлей или абордажных схваток.

За поход девяностого года гардемарин-отрок удостоился боевой медали. В своей биографической записке Головнин об этом не упоминает. Вот уж точно, красноречивое умолчание. Награду не выклянчил какой-нибудь радетель. («Не имел он и мичмана своим покровителем», — замечает Головнин о себе самом.) Значит, не схоронился в уголке паренек, а если и дрогнул, то подавил робость, держался молодецки. И притом не однажды, не минутами, потому что всем кораблям досталась ломовая, страдная работа.

Круз и герцог Карл сошлись 23 мая 1790 года в двенадцати милях к северо-западу от Красной Горки. Швед перевешивал четырьмя линейными кораблями. Перевешивал личным составом: 15 000 против 11 000. Перевешивал артиллерией: 2000 стволов против 1400. Прибавьте гребную эскадру, повисшую на правом фланге кронштадтцев.

Суть, понятно, не только в арифметике. Воюют не числом, а умением — афоризм летучий. Шведы давно были в море. Наплавались. Сплотились. Как говорится, уже чувствовали свои корабли. А Круз получил от Пушина рекрутов, собрал народ там и сям, включая и арестантов.

Вице-адмирал, сознавая преимущества врага, ждал подмоги ревельцев. Чичагов, однако, на горизонте не означался. Отступать же было некуда: позади Петербург. Братьям Густаву и Карлу стоило прогнать старика Круза, запихать в Кронштадт — и шлагбаум поднят: свози десанты в Ораниенбаум, в устье Сестры-реки, а там уж двигайся марш-бросками к русской столице. Заслон у двоюродной Катрин пустынный: обыватели, горожане.

В третьем часу пробрезжило. Море как выцвело. Ветер тянул слабо. Вдалеке, над Питером, струилось розовое. Был лучший час в сутках майской Балтики.

Моряк-созерцатель кочует в поэмах. В морях кочует моряк-практик. Практик использует силы природы, а не умиляется. Не богиню Аврору приветствуют пушечные залпы, нет, это приказ: «Преследовать неприятеля». И сердитые повторы: «Исправить линию», «Прибавить парусов». Увеличить парусность — значит увеличить ход. Прибавить парусов — значит лезть к брамселям и бом-брамселям.

Эскадра сближается с противником. Такие минуты для тугих нервов. В такие минуты слух обострен. И — странно — будто глохнешь.

Гром грянул: стреляли шведы. А Круз молчал. Круз держал сигнал: «Атаковать неприятеля на ружейный выстрел». У Круза нервы не провиснут слабиной, как пеньковые тросы. Только б выдержали пушки... Черт знает, каково литье... Только б выдержали пушки... Русские молчат. Синий прямо-

угольник вице-адмиральского флага трепещет на фор-стеннге. Сын Круза на эскадре. Сына могут убить. На все воля божья. Вот и на то его воля, что в авангарде у шведа контр-адмирал Модей, добрый приятель. Двадцать лет назад сдружились. Двадцать лет спустя подерутся. Есть долг дружбы, но есть и долг службы...

Однако не пора ль?

Русская артиллерия подает голос. Море вскипает. Ничего не видно. Дым, дым, дым. Грохот. Тяжелый, слитный, чудовищный грохот слышен в затаившемся Петербурге.

Но в Петербурге не различают тех звуков, которых так опасался старый вице-адмирал. Орудия не выдерживают. Разворотило пушку на корабле «Америка», да еще рядом с крюйт-камерой, чудом не подняло на воздух всю эту «Америку». И на «Сысое Великом» разворотило. Где одиннадцать вышло из строя, где — семь. И в деке «Не тронь меня», тоже. Были убитые, были раненые.

Не различают в Петербурге ни предсмертного хрипа, ни хруста костей и рангоута, ни матерного захлеба. Город гудит и дрожит. Так утверждают шведские источники. Царицыному статс-секретарю, очевидно, не до своих тетрадей. Храповицкий лишь помечает: «Ужасная канонада слышна с зари почти во весь день».

Сражение дважды изнемогало и дважды возгоралось. На эскадрах воняло паленым, было склизко от крови. Лекари в кожаных фартуках пилили, как столяры, шили, как парусники. И на обеих эскадрах не видели солнца.

Солнце садилось. Натекал сумрак, море будто густело. Ветер дул западный, слабый, как и утрешний. Пальба стихала, дым нехотя опадал. Шведы медленно удалялись, русские не шибко преследовали.

Наступил час реляций. Русский курьер готовился в путь как вестник победы. Шведский курьер готовился в путь как вестник победы. Пусть одни мундирные историки доказывают: победитель остается на поле битвы; пусть другие доказывают: отступить с поля битвы - не значит проиграть.

А в блеклом небе проступают блеклые звезды. Мир прекрасен, хорошо жить. Но шведы хоронят в море шведов, но русские хоронят в море русских. И кто-то не дождетя своих в Швеции, кто-то не дождетя своих в России.

Ночь стояла в мерном ропоте моря. Вице-адмирал объезжал корабли. Он видел изодранные паруса, перебитый рангоут, слышал возню матросов, занятых ремонтом, чуял запах остывающих, как жаровни, пушек.

Старик тяжело поднимался по трапам. Хотел знать, что да как. Быть может, ему попался мальчик, прикорнувший на артиллерийской палубе? Отрадно бы изобразить старого морского волка, склонившегося над юным воином. Как адми-

рал, сострадательно улыбаясь, тихо касается сухими губами воспаленного лба героя-гардемарина. Черта с два! Александр Иванович с мальчишества грыз корабельные сухари, вот и зачерствел. Оставим беллетристам ласковых, как феи, военачальников. У командующего завтра бой, командующему думать за всех, обо всех.

Гардемарин спит. Он закопчен порохом, как бедуин зноем. Где-то в закоулке его сотрясенной души струится: не оплошал, не шмякнулся мордой в грязь. Ах, эти кадетские присловья: «Смерть — копейка», «Ухо режь — кровь не капнет!» Ну, спи, Василий Михайлович, почивай. И тебе завтра в бой.

Когда развиднелось, берега все еще скрадывал дым минувшего сражения. Но на море, над эскадрами, занимался светлый погожий день. И ветер убрался, совсем заштилело. Слово бы для того, чтобы эскадры не могли сблизиться.

Они бездействовали до полудня. Потом разведка донесла герцогу Зюдерманландскому о приближении адмирала Чичагова. Того самого, что успокаивал Екатерину: «Бог милостив, не проглотят!» Теперь уж герцогу Карлу следовало бы опасаться, как бы не «проглотили». А Крузова задача была в том, чтобы устоять до встречи с Чичаговым.

Королевская эскадра открыла огонь по авангарду Круза, второе Красногорское сражение началось. Тотчас у русских вышла досадная заминка: задние корабли сбились кучей. Потребовалась молниеносная работа на реях. Опасность подстегнула худо обученные экипажи. Пренебрежение к опасности — на миру и смерть красна! — позволило управиться вовремя. И едва управились, как ответили на огонь неприятеля. Дуэль длилась несколько часов. Шведы щедро били по адмиральскому кораблю, в каюте у Круза уже зияли пробоины.

В каюте у герцога пробоин не было. Герцог в пекло не лез. Он торчал за линией своей эскадры, на фрегате «Улла-Ферзен». И оттуда вроде бы дирижировал пушечным оркестром. Но тут вдруг набежало разведывательное судно с пренеприятнейшим известием: на горизонте Чичагов. Герцог Карл велел отступать.

Вице-адмирал Круз преследовал противника. У старика отлегло от сердца. Он стащил парик, платком, огромным, как кливер, отер мокрую седую голову.

Вскоре близ острова Сеспар Круз салютовал Чичагову одиннадцатью выстрелами: «Вступаю в ваше распоряжение». Отныне главные силы нашего флота насчитывали 27 линейных кораблей и 18 фрегатов; главные силы королевского — 21 линейный корабль и 8 фрегатов. Разница существенная.

А тут еще Карл допустил промах столь же крупный, сколь

и непонятный. Герцог не укрылся в родных шведских шхерах, нет, он бросился опроретью в Выборгский залив. К заливу подтянулись корабли Чичагова и закупорили неприятеля, как в бутылке.

Выборгский залив вырублен в граните. Гул древних ледников затаился в буром, в багровом. При тихой погоде нескончаем диалог сосен и волн. А какое молчанье в студеную пору! Будто молчание всех ушедших времен. Прекрасен Выборгский залив... Но лишь для того, кто свободен. Офицерам и матросам герцога Карла залив был тюрьмой. Они были заблокированы, им некуда было деться.

Стратегические и тактические подвиги в кабинетах и штабах — это одно; стратегические и тактические подвиги под открытым небом — другое. Ни король, ни герцог не предусматривали бегства на Выборгскую позицию. Но коль скоро конфуз приключился, оба заверяли, что отступали по плану, со строгим расчетом, в полном спокойствии и т.д.

А с уха на ухо король цедил, что обманулся в военных дарованиях герцога. Надо прибавить, что Карл отплатил Густаву тем же. В общем-то, они были квиты. Но было ль от того легче шведам?

Вот они теперь, в июне девяностого года, стеснились всей эскадрой в проклятой ловушке. У них недоставало снарядов. Недоставало провизии, пресной воды. Да так, что граф Салтыков, державший Выборг, делал красивые жесты: кормил неприятельского командующего. Взамен же получал незапечатанные письма герцога с покорнейшей просьбой доставить в Стокгольм, его величеству.

Судьба шведского флота повисла на шкереке, как называют моряки тонкий трос. Но минула неделя, минула вторая, а герцог Карл все еще курил свою трубку, и его шпага все еще была при нем, а не в руках победителей.

Иной раз поболтаться на якоре и недурно. Однако большинство русских моряков предпочло бы выбрать якоря, прихлопнуть «надменного соседа», да вместе и всю эту войну. Общую пылкость разделял Головнин. Уже крещенный траекторией шведских снарядов, четырнадцатилетний витязь мысленно прорывался в залив Выборгский, громил герцога Зюдерманландского.

Гардемарин вострил уши, слушая рассуждения старших. Офицеры бранились: упустили время, дали-таки шведу оглядеться. Офицеры вспоминали случаи из минувших морских баталий. Прав был лорд Гаук! Хоть и потерял на мелях несколько судов, но истребил вчистую флот француза Конфлана. Вот она, рядом, вся честь и слава. Так нет, разрази гром, адмирал Чичагов медлит. Медлит, медлит... И Круз Александр Иванович жалуется государыне, что эти проволоочки «весьма чувствительны».

«Чувствителен» к ним был и Джеймс Тревенен, командир нашего гардемарина. Капитан первого ранга не таил своих мыслей. Их знали, понимали, разделяли на борту «Не тронь меня».

Письма Тревенена отчетливо передают атмосферу нетерпения и досады, которой жили в те июньские бесполезные недели на корабле «Не тронь меня».

«Шведский флот наш сполна, — писал Тревенен. — И очень скоро о нем должно остаться одно воспоминание. Но взяться за дело необходимо с большой энергией и употребить все средства... На войне бывает множество таких непредвиденных случаев, которые изменяют всевозможные обстоятельства, если ими не воспользоваться в первый же момент».

Экипажи ждали решительного финала. Ждали и на 66-пушечном «Не тронь меня». Ждал и гардемарин, разглядывая в подзорную трубу островитый берег. А на адмиральском «Ростиславе» будто вымерли. Гардемарин насупливал брови. Ох и доставалось от Василия Головнина тезке его, Василию Чичагову!

Потомки-«прокуроры» порицали Чичагова. Русские — гневно, шведы — усмешливо. Чичагова обвиняли в малодушии. Клеймо нелестное, особенно военачальнику. Но собак вешать невелик труд. Важнее другое: современники и сослуживцы настаивали — действовать, действовать, действовать. А Василий Яковлевич так упрямо отмалчивался, что горячие головы подумывали об измене.

У старого адмирала были свои резоны. Не слишком весомые, но были. Он не хотел трясти яблоню, надеясь, что яблоки упадут сами. И потом: стесненная шведская эскадра обратилась в огромную артиллерийскую батарею, войти в залив значило пролить ушаты крови.

Чичагову доставало темперамента. Он «замерз» в полярных плаваниях. И не сказывались ли годы? Салтыков, сухопутный командующий, сидючи в Выборге, брюзжал на «водяного» командующего: «Лета старые сопряжены с лишнею осторожностью. Оно для себя не худо; но для дела вообще — неуспешно». Годы, конечно, «фактор». Однако Круз, ровесник Чичагова, жаждал боя, наступления, атаки.

Между тем его величество король держал совет с высшими офицерами. Поговаривали, что герцог Карл, сникнув, рекомендовал капитуляцию. Это, конечно, противоречило законам классических трагедий. Густав, драматург, топнул ногою. Он решил на бегство. Надо признать: на героическое бегство. Ничего доброго не сулил отчаянный рывок под огнем русского флота.

Шведы смотрели на флюгарки и вымпелы. Бог обязан послать ветер! И непременно северный или восточный. О, ветер движитель кораблей, постоянный в своем непостоянстве, веселый и злой, сладостный и горький...

В ночь на 22 июня ветер удружил шведам. Было облачно, луна светила робко. В такие ночи Выборгский залив прелестен. Идешь на шлюпке, острова означаются, как замки, хвоей пахнет и остывающим камнем, летучие тени облаков, как тени фрегатов.

Не тени фрегатов, не тени кораблей — они сами двинулись по наморщенной солоноватой серой воде. Позади за кормою туманно всходило солнце.

Шведы шли кильватерной колонной, друг за другом. Они не знали учения о слабом звене в цепи, но избрали для прорыва именно слабое звено: северный проход, закрытый лишь отрядом контр-адмирала Повалишина.

В том отряде занимал свое место и «Не тронь меня». И вот уж Василий, гардемарин, в гуще яростного сражения. В нем шведская ярость играла ва-банк; в нем русская ярость тех, у кого победа и добыча буквально уплывают из-под носа.

Отряд Повалишина вывесил огненный заслон. Первым наткнулся на него 74-пушечный «Дристикхетен». Он шел несколько в стороне от «Не тронь меня». Изю всей мочи бомбардировали его «Петр» и «Всеслав». Жарко приходилось капитану Пуке. Да ведь недаром определили капитана Пуке передним мателотом, недаром первым пустили: он идет так близко, что хоть из пистолета пали. И прорывается. Прорывается и отстреливается. Отстреливается и уходит. И остальные близенько, гуськом, бегут за счастливецем.

Где-то вдалеке, на адмиральском «Ростиславе», еще мешкают, а тут, где Головнин, все уж кипит, как в котле со смолою. И гардемарин уж не слышит командных возгласов, захваченный азартом бешеной свалки. Лишь на мгновение его словно окатывает ледяной водой: смертельно ранен Джеме Тревенен. Но сражение не ждет, сквозь огонь и грохот проскакивают шведы, и нельзя думать о смерти, а надо думать об убийстве.

Налетают на мели, как сослепу, какие-то фрегаты, какие-то транспортные суда, какие-то галеры. Но шведский хвост упорно вытягивается из выборгского капкана. Швед уходит, невидимый, как и русский, в густом, темном, едком пороховом дыму. А концевой корабль «Эникхетен» пылает прощальным факелом, горит и трещит, как старый дом...

Многое еще будет. Чичаговская погоня, успешное для Густава столкновение с гребной эскадрой Екатерины. Подсчеты потерь и споры. Будут и награды. За воинские победы расплачиваются мертвыми душами. Русский мужик сверх того и живыми душами. Чичагову, например, достанется 2417 крепостных. Деревнями и землями одарит царица своих адмиралов.

Многое еще будет. Умолкнут пушки, заговорят дипломаты. Мирный трактат не прибавит и не убавит ни Российской им-

перии, ни королевству шведскому. Последует обмен новыми любезностями между двоюродным братом и двоюродной сестрой...

А пока распогодилось.

На кораблях отпевают убитых.

6

Кто был в морских учебных заведениях, знает чувство горделивого превосходства, возмужания, с каким возвращаешься после палубной службы «под сень наук». И весело и неохота втискиваться в прежние рамки, как в куртку, когда раздался в плечах. От воспитателей требуется некоторое волевое напряжение, дабы прибрать к рукам безусое воинство, мнящее себя «смолеными шукурами».

Гардемарины снисходительно улыбались кадетикам. Кадетки наперебой рассказывали, как в Кронштадте с часу на час ждали вражеского десанта. Дали ружья! Выводили строем на вал! Да, да, хоть у кого спросите! Эх, канальство, то-то вздули бы шведа!

Кадет действительно выводили на углые Кронштадтские укрепления: пусть неприятель поглядит в подзорные трубы на грозную рать. И действительно дали ружья. Да только... без курков. Но неприятель этого не разглядел бы и в дюжину труб.

Гардемарины снисходительно усмехались. И вздыхали: «То ли дело на море! Подойдешь на пистолетный выстрел, на адмиральском — сигнал: «Атаковать противника!» В душе, однако, гардемарины радовались Итальянскому дворцу: уж очень устали, намыкались, натерпелись страхов. И наконец-то можно спокойно спать ночь напролет.

Что гардемарины! Господа офицеры рады-радешеньки: жену приголубишь, учинишь «шумство», то бишь попойку, или, прости господи, завернешь в «пансион без древних языков», как окрестили шутники здешние публичные дома.

Вот они, «командеры», прогуливаются в славном граде. Форма для них не формула, ходи, как они говаривают, «по вольности дворянства». И ходят: в белых мундирах с цветными жилетами, с длинными золотыми цепочками, на которых побрякивают сердоликовые и халцедоновые печатки; кто в башмаках с пряжками, а кто в козловых скрипучих сапожках; у одного шейный платок алый, у другого голубой, а у третьего такой, что в глазах рябит. Позади, держа дистанцию темляком (или без темляка, ежели золотая, «за храбрость») и еще непременно несет белый плащ тоже, знаете ли, с золотыми кистями.

Все-то у них на свой лад, чтоб корабельщиной отдавало: коляска — «баркас»; дрожки — «шлюпка»; ставни затворить — «порты задраить»; в пенковую трубку добрую понюшку сунуть — «мушкетон зарядить».

Живописно, а? Да вот морды бить горазды эти самые «отцы милостивцы». Ничего, коли какой-нибудь болван из носу юшку пустит, на пользу! Заметим, кстати, и десятилетия спустя тоже исповедовалось, что без линька и таски простолюдин ни к дьяволу не годен. Полистайте герценовский «Колокол» — волосы дыбом. И какие имена: Лазарев, Корнилов, Нахимов, Истомина!..

Кулаки у «отцов» частенько сжимались. Но и разжимались нередко: в казенный карман «способно» было запустить загрешную длань. Продовольственные и прочие корабельные суммы оборачивались домом, мызою, жениными колечками. Тут уж не «Колокол», тут сам его высокопревосходительство Феодосий Федорович Веселаго, историограф морского ведомства, кавалер многих российских и иностранных орденов, подтверждает. А был он не только генералом и не только усердным кропотливым историком, но и цензором. Уж куда, кажется, благонамеренный господин.

Итак, гардемарины корпят в классах, офицеры вкушают отдых, а морские чудо-богатыри тоже не зря на свете живут. Вон они по колено в холодной воде, под холодным осенним дождем хозяйственные работы работают, в доках ремонтом заняты, а у некоторых, смотришь, на губах иной холод — иконки (мрут в госпитале от разных болезней, больше всего от горячки).

И по-прежнему каждый день спозаранку отворяются ворота каторжного двора: гремя кандалами, шагают клейменные на самые что ни на есть тяжкие «гаванские работы». Среди тех каторжан — сподвижники Пугачева. Не видал Василий Головин пугачевцев в своих Гулынках, увидел здесь, в Кронштадте. Одного из них, бородатого великана, прозванного есаулом, весь город знал: умел он свистать да гикать так, что всех боцманов собери — не пересвищут. Другой был племянником Шелудякова, казака, у которого на Яике еще до восстания Емельян Иванович батрачил. Племянник этот, грамотей, когда крестьянская война огнем взялась, служил в походной канцелярии Пугачева, а теперь вот волочил проклятые железы по кронштадтской слякоти.

Осень в Кронштадт не приходит: вламывается со всех румбов. Может, ни в какое другое время года первый по значению порт империи не смотрел таким захолустьем, как осенней порой.

При Петре что сделали, то еще, худо-бедно, держалось, а так-то... Пушки изъедены ржой, деревянные станки трухлявые. Гарнизонные солдатики — тощие, унылые, в дырявых

мундирчиках болотного цвета. У крепостных ворот, в ветхой будочке какой уж год все один и тот же служивый; пропитанные свое добывал он продажей табачка-деруна. Да и в других караулах стояли по неделям. И то сказать, зачем главного-то командира трудить разнарядкой на всякий день? Подмахнул ее субботним вечерком — да с колокольни долой. И говорили про некоего бессменного заплесневевшего стража: «А Прохору Лежневу быть по-прежнему?»).

В окна казарм дождь бьет, окна не слезятся — там и сям вместо стекол вошенная бумага. На улицах, как на проселке, чмокает. Над крышами сизый дым изорван в клочья. Со второго и третьего этажей Итальянского дворца скучно глядеть на опустевшие, исчерканные грязным барашком кронштадтские рейды.

Головнин в ученье не только успевал, но и преуспевал. Во всем его жизненном деле, как и во внешнем облике, усматриваешь кряжистую основательность. Один как перст. И надежда лишь на себя. Все это глушило отраду отрочества. Но и лепило натуру твердую, устойчивую.

В девяносто втором состоялся очередной выпуск из корпуса. По числу баллов Головнин занял второе место. По числу годов — последнее: ему еще и семнадцати не стукнуло. Однокашники надели мичманские мундиры. Василию «за малолетством» в мундире отказали. Самолюбие его страдало.

Нет худа без добра — пословица для несчастливцев. И все-таки «добро» отыскалось. Не потому, что сделали унтер-офицером и тем повысили годовое жалованье вчетверо, до двадцати четырех рублей серебром. Нет, в другом.

Корпусной профессор Никитин взялся (помимо математики) учить доброхотов английскому языку. О пользе знания иностранных языков произнес Никитин речь «сильную и убедительную», как отмечает Головнин. Василий зажегся. Терпения у него достало бы и на полроты. Обнаружились и лингвистические способности. Он быстро продвигался в шхерах грамматик и лексиконов.

И тогда же; в последний год, прожитый под кровлей Меншикова дворца, завладела Василием страсть к путешествиям. Эта душевная потребность никогда не угаснет. Будет постоянной. Как пассаты. Как глубинные течения.

Есть стихотворение в прозе «Гавань», напоминающее приморский осенний закат. Шарль Бодлер воспел аристократическое наслаждение усталого человека. Человек этот созерцает ритм и красоту гавани, вечное движение волн и кораблей, вечное движение отплывающих и приплывающих. Лирический герой Бодлера невразумительно противостоит тем, «в ком еще сохранилась воля жить, стремление путешествовать или обогащаться».

«Воля жить» сопрягалась у Головнина со «стремлением путешествовать». Обогащение исключалось, коммерческих удач он не искал. Говоря романтически, ветер странствий полнил паруса его судьбы. И дунул сильным порывом после святок 1793 года: 19 января Адмиралтейская коллегия приказала сержанта Василия Головнина, «выключая из корпуса, произвести в мичманы».

Облаченный в белый мундир, он снимал круглую шляпу в адмиральских прихожих и, по тогдашнему обыкновению, смиренно благодарил начальство, обещая служить по долгу чести и присяги.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В тот январский день, когда Адмиралтейская коллегия решила участь Головнина, Конвент решил участь Людовика XVI. А в тот январский день, когда мичман отвешивал начальству благодарственные поклоны, бывший король Франции склонился на эшафоте.

Имеет каждый век полосы штилевые и полосы штормовые. Головнин начал офицерскую службу в конце XVIII века. Конец XVIII века начался ураганно.

Расширенный зрачок мира вперился во Францию. Можно было ненавидеть ее, можно было восторгаться ею. Невозможно было не замечать ее. Стратегические движения на континенте, будь то движение мысли или полков, определялись Францией, соотносились с Францией.

Все вдруг словно бы пустилось в чудовищный круговорот. Басили пушки. Возникали и распадались коалиции. Согласно правилу — соседи — враги злобные — соседка Франции, там, за Ла-Маншем, подкупала одних, пугала других, уговаривала третьих. Четвертых она покупала, пугала и уговаривала.

Марс улыбался французам, Нептун — англичанам. По слову Меринга, то была борьба льва с акулой. Но от этой схватки зависела жизнь сотен тысяч вовсе не помышлявших ни о величии Франции, ни о могуществе Англии. Борьба была столь же долгой, сколь и жестокой. История — цирюльник: она умеет «отворять кровь».

Короткий удар гильотины по Людовику XVI отозвался длинной и мучительной судорогой — от престола к престолу. Молодящаяся петербургская мадам «слегла в постель и больна и печальна». Вскоре младший брат казненного граф д'Артуа получил от государыни шпагу. На ней сияло: «С богом за

короля», в рукоятке переливался крупный бриллиант. Еще крупнее была сумма наличными — миллион золотом. Императрица заверяла родственников Людовика: «Я намерена содействовать успеху ваших дел».

Однако эмоции, как и интимности, Екатерина не смешивала с политикой. Успеху «ваших» дел она всегда предпочитала успех «наших» дел. А «наши» дела вершились не на Сене, а на Виоле. Три венценосца — австрийский, прусский, российский — делили несчастную Польшу. Хилый человек с железным характером пошел на Варшаву; он взял Варшаву, генерал-аншеф Суворов, стал генерал-фельдмаршалом... Озабоченная дележкой польского пирога, «матушка» придержала сухопутную армию близ собственных границ. Зато на море она пособила «акуле».

Головнин уже сделал две кампании, побывал в Стокгольме (теперь дружественном), перезимовал в Кронштадте, когда настал и его черед участвовать в большом европейском кровопускании.

В Англию отрядили эскадру вице-адмирала Ханыкова. Петр Иванович, отменный мореход, имел репутацию сметливого дипломата. На Ханыкова, надо думать, выбор пал не без умысла: когда играешь в паре с Альбионом, гляди в оба, как бы не объегорил.

Перед отплытием эскадру посетили царицыны внуки, Александр и Константин. Высочайшие особы поглазели, как матросики взбегают на ванты и кричат «ура», да и отбыли, провожаемые салютом и вздохами облегчения.

Мичман Головнин часть похода совершил на фрегате «Рафаил», часть — на «Пимене». Там же, на «Пимене», обретался и его корпусный приятель Петр Рикорд. Еще не раз, не два доведется нам встречать Рикорда об руку с Головинным. А сейчас, летом 1795 года, мичманы, как десятки их сверстников и погодков, выполняют свои не очень-то громкие обязанности.

А капитаны продолжают «патриархальное» бытие. Уже упомянутые записки Сенявина, живые, бойкие, усмешливые, запечатлели и облик командира корабля екатерининской поры.

«Время проводил он каждый день почти одинаково. Поутру вставал в 6 час., пил две чашки чаю, а третью с прибавлением рома или несколько лимона (что называлось тогда «адвокат»), потом, причесавши голову и завивши из своих волос длинную косу, надевал колпак, на шею повязывал розовый платок, потом надевал форменный белый сюртук, и всегда почти в туфлях, вышитых золотом торжковой работы. В 8 час. в этом наряде выходил на шканцы и очень скоро опять возвращался в каюту. В 10 час. всегда был на молитве, после полудня тотчас обедал, а после обеда раздевался до ру-

башки и ложился спать. (Это называлось не спать, а отдыхать). Чтоб скорее и приятнее заснуть, старики имели странную на то привычку: заставляли искать себе в голове или рассказывать сказки... Соснувши час, другой, а иногда и третий — вставал, одевался снова точно так, как был одет поутру, только на место сюртука надевал белый байковый халат с подпояскою, пил кофе, потом чай таким же манером, как поутру. Около 6 час. приходил в кают-компанию, сядет за стол и сделает банк рубль медных денег. Тут мы, мичмана, пустимся рвать, если один банк не устоит — князь делает другой и третий, а потом оставляет играть, говоря: «несчастие»; а когда выигрывает, то играет до 8 и 9 час., потом перестает, уходит в свою каюту ужинать и в 10 час. ложится спать. Во время сна его никто не смей разбудить, что бы такое ни случилось».

Ото всего этого шафранно веет Афанасием Ивановичем. Недостает только Пульхерии Ивановны. Разумеется, Сенявин описывает будни мирного похода. Однако же похода, а не якорной стоянки. Трудно вообразить меньшую ревность к службе и большую халатность. Следует, очевидно, думать, что дело держалось на офицерах и матросах. На офицерах, стремившихся поскорее стать капитанами. И на матросах, стремившихся не стать предметом экзекуции.

Впрочем, командиры ханыковской эскадры не так уж часто видели золотые сны или зеленое сукно. Нелегкое плавание досталось им.

И вот почему.

На исходе июля русские вымпелы вились под небом Англии. Ханыков расположился на рейде Доусона, близ эскадры адмирала Дункана. Тот командовал флотом Северного моря. Задача заключалась в блокаде острова Тексель, где базировался союзный французам голландский флот. Русское Адмиралтейство обещало решить эту задачу совместно с английским Адмиралтейством.

Все ясно как день. Но день не был ясен. Северное море не погодями славится, а погодливостью. Балтика уже изрядно потрепала русских, море Северное дурило еще хлеще. Редкий из кораблей Ханыкова был обшит медью. Они обросли «бородами» из водорослей. С эдакой шевелюрой скверный ты ходок! А сэр Лункам гнет свое: господин вице-адмирал Ханыков должен лечь курсом на Тексель.

В крейсерстве эскадра находилась ровно месяц. И ровно месяц экипажи не знали роздыха. Толчея и зыбь, шквалы и штормы обнаружили в ханыковских кораблях такое «обстоятельство», на которое согласно жаловались и офицеры и дипломаты.

«Чуть буря — полвахты у помп; все скрипит, все расходится. Бывало, весь корабль, чтобы, так сказать, не развалился,

стянут найтовыми¹ и, отливая воду во все помпы, все-таки держатся в крейсерстве до срока, тянутся за гордыми британцами. Когда после того чинились в доках, то их моряки не могли надивиться смелости русских».

Об этом и сорок лет спустя помнил соратник Головнина. Горькую правду поведал он в журнале «Маяк». Его поддерживают и другие свидетели. Хотя бы вот русский посол в Лондоне граф Воронцов?

«Все здешние адмиралы и офицеры удивляются храбрости и решимости наших офицеров за смелость, с каковою они плавают по морю в самые жесточайшие бури на судах толь худого состояния, и клянутся, что ни один из них не отважился бы взять на себя командовать толь гнилыми и рассыпающимися кораблями... Болты, употребляемые для скрепления, вместо того чтобы проходить насквозь, доходят только до половины брусьев, и потом как-то их залаживают так, что с первого взгляда кажется, все сделано по-надлежащему, но во время качки таковые крепления ни к чему не служат».

«Как-то их залаживают так...» — знакомый, право, звук! Черт возьми, показуха-то, оказывается, не вчера родилась.

Бедовали моряки и в портах. Принимая русских, Англия не принимала никаких обязательств, кроме чисто военных. Дороговизна и низкий курс рубля были причиною «крайней нужды» эскадры. Во всеподданнейшем донесении Ханыков сетует, что офицеры «имеют весьма недостаточные порционные деньги, а именно: 8 руб. 25 коп. в месяц». Офицеры! О матросах ни полсловечка.

Матросов на эскадре числилось около десяти тысяч. Колоссальным напряжением физических и душевных сил калужских, тамбовских, рязанских, новгородских, московских мужиков корабли ее величества блокировали остров Тексель, пугая голландцев и французов. Именно они-то, мужики эти, чуть ли не голодали.

Петр когда-то повелел доставлять провизию в бочонках. Подрядчики-купцы доставляли ее в рогожных кулях. Рогожа прела, крупа и мука гнили. Солонина воняла, треска тоже не ласкала обоняние. Прибавьте крыс и тех насекомых, которых один современник не без юмора именовал «беспокойными».

Мне не попадались списки больных и умерших. Известно, однако, что на кораблях дальнего плавания их считали десятками. Лекарки искусством не блистали. Хворые жили среди здоровых, распространяя заразу. Когда Ханыков завершил первую кампанию, первое крейсерство, пришлось назначить

¹ Найтовить — связывать, укреплять тросом несколько предметов. Трос при таком способе вязки называют «найтов».

специальный фрегат («Рафаил», где нес свой крест мичман Головнин) для доставки больных на английское госпитальное судно.

Словом, попала эскадра в «рай». Люди не чаяли, как поскорее унести ноги. В Кронштадте тоже не розы? Верно. А все ж дома и стены помогают. Но англичане не торопились распрощаться с балтийцами.

Стояли бурые лохматые дин, дождливые и непроглядные. Те дни и ночи как на зуб пробовали каждого служителя моря. Тяжелая, однообразная, будничная работа. Командные возгласы, свистки боцмана. Скрип и стоны корабля, сломанные реи, изорванный парус. Сшибок с неприятелем не было, голландцы отсиживались на Текселе. Не было ни азарта, ни хмеля сражений. Были крейсерство, сторожевая служба, тяжелая, будничная, однообразная работа.

К тому же район действий отличался капризной своеобразностью: побережья в отмелях, течения переменчивые, неправильные, приливы и отливы сильные, гневливые. Астрономически определяться было затруднительно. Приходилось часто бросать лот, брать грунт — по глубинам и качеству грунта угадывать местоположение. Отгадчиками были лоцманы, выросшие на рыбацких шхунах. Ни одно английское судно без них не обходилось; не обошлись и русские.

И так несколько лет кряду. Так на «Пимене», на «Рафаиле», на «Елизавете». Так на каждом корабле, где служил Головнин и его товарищи, вчерашние гардемарины.

2

Эскадру, как и телегу, готовят зимой. Зимней порой корабли Ханькова чинили в доках. Исправляли самое необходимое, «очевидную худость»: британская корона не щедротного нрава.

От скаредных хозяев русские моряки получали русскую парусину и русский строевой лес, русский поташ и русский деготь. Здесь, за границей, все это оказывалось отличного качества. Дома поставщики зачастую сбывали лежалый товарец: свой брат, известно, и гнильцо слопают. А импорт — иная статья. Тут изволь-ка, чтоб и комар носа не подточил. Архангельск, Рига, Петербург отгружали за море прекрасные дубовые брусья, доски обшивные без сучка и задоринки, парусину из первосортного льна.

Англичанин, современник Головнина, признавался: «Импорт из России совершенно необходим для строительства и оснащения английского флота... Наши суда снабжены отличными парусами и канатами из русской пеньки... Наши лучшие в мире якоря изготовлены из русского металла...»

Однако коль скоро дело касалось не британских кораблей, а русских, союзных, то адмирал Ханыков не слишком-то полагался на добрую совесть местных мастеров. Нужен был «свой глаз». Из Петербурга прислали Амосова.

Амосовы издавна гнездились близ студеной Северной Двины. Некогда ладили ладьи, некогда шили шитики. Потом спускали на воду многопушечные громады.

Когда Васю Головнина определили в Морской корпус, Ваню Амосова определили в ученье к англичанам. Когда Василия Головнина произвели в мичманы, Ивана Амосова определили в корабельные подмастерья. И вот теперь, двадцатичетырехлетним мастером, он вновь явился в Англию — помогать соотечественникам.

Зимой можно было присмотреться к Англии. Головнин увидел Ширнесс и Диль. Нор и Литт. Увидел и Лондон. Вот они, плоды морской походной службы: горизонт ширится, новизна предстает на ощупь, разность с домашностью задает работу уму. Особенно в стране, повитой не только тривиальным туманом, но и острым угольным дымом.

Интересно было разобрать соотношение общественных сил в Англии конца XVIII века, да боязно сбиться с «главного фарватера» повествования. Однако как же не помянуть о том, что происходило бок о бок с Головниным?

Взрывы судовых мятежей метят анналы британского флота; гроздя бунтовщиков на реях, — «пейзаж» нередкий. Но Головнин наблюдал нечто совершенно необычное: высокий и мощный мятежный вал, всплеск красных флагов. Восстали оба флота — флот Ла-Манша (адмирал Бридпорт) и флот Северного моря (адмирал Дункан).

Тут надо вот что отметить. Российская рекрутчина никому, конечно, не казалась медом. Рекрутов оплакивали, как покойников. Оплакивая, полагали рекрутчину неизбывной, как прочие повинности. Англия рекрутчины не знала. Она знала кое-что похлеще. Адмиралтейство объявляло вербовку во флот; исполнительная власть вербовку осуществляла. Рослые констебли прочесывали городские трущобы. «Гордых бриттов» волокли волоком, и добрая старая Англия получала новую порцию защитников. И притом пожизненных. (В 1835 году срок службы сократили до пяти лет.)

Галера и каторга — синонимы, матрос и раб — тоже. Английский флот походил на огромную плавучую тюрьму. На глазах Головнина плавучая тюрьма решительно и быстро обратилась в плавучую республику. Ее осеняли красные стяги. Ее населяли предтечи потемкинцев.

Восставшие требовали смягчения варварских наказаний, изгнания офицеров-иродов, регулярности увольнения на берег, увеличения нищенского содержания. На кораблях возникли матросские комитеты; делегаты — по двое от каждой

боевой единицы — обсуждали свои действия. В Ширнесе матросы устроили уличные шествия, братались с солдатами. Правительство первым делом лишило бунтовщиков продовольствия. Восставшим, понятно, не хотелось пухнуть с голоду, они блокировали Темзу, опустошали суда, следующие в Лондон или из Лондона.

Темза была закупорена, восточное побережье — оголено. Де Винтеру, голландскому адмиралу, ничего не стоило оставить постылый Тексель и грянуть десантом. Такую же возможность получили и французы.

Правительство сознавало отчаянность ситуации. Лорды унизились до переговоров с мятежниками, молили Петербург не забирать русскую эскадру и тем оказать «Англии самую крупную из услуг, которые она когда-либо получала от какого-нибудь народа и государства».

Иваны оказались свидетелями восстания Джонов. Однако свидетелями безмолвными. Какие чувства владели русскими матросами? Недоумения или затаенного восторга? Недоброжелательства или товарищества, хотя бы и скрытого? Глухая стена, ни единого луча. Но подмеченная Бакуниным «потребность бунта», несомненно, очнулась, не могла не очнуться при виде матросской вольницы, при виде народных толп, взыскующих хлеба и мира, при повсеместных толках об улучшениях и послаблениях. К тому же английские матросы клялись, что они не королю противники, а плохим лордам Адмиралтейства, плохим командирам. Этот «наивный монархизм» был по сердцу русскому матросу.

Ну, а Головнин, другие офицеры? Можно наслаждаться Вольтером, читать и чтить энциклопедистов, можно, наконец, пожалеть простолюдина, но мятеж, но красный флаг, но свист и хохот черни — помилуй бог!..

Русские выручили адмирала Дункана. Тот остался у Текселя лишь с двумя «верными» кораблями. Сэр Адам схитрил: крейсируя на виду у неприятеля, палил из сигнальной пушки и поднимал соответствующие сигналы, будто бы командуя эскадрой, которая вот-вот обрисуетя на мгlistом горизонте. Уловка удалась: голландцы сидели тише мышей, хотя кот все еще не показывался.

«Котом» была эскадра контр-адмирала Макарова, младшего флагмана вице-адмирала Ханькова. А у младшего флагмана в 1798—1800 годах флаг-офицером был мичман Василий Головнин.

Флаг-офицер — это вам не ютовый или баковый мичман. Это уже персона, должность нешуточная. И почетная. Тут редко без протекции обходилось. Головнин, помните, протекций не имел. Сам Михаил Кондратьевич Макаров приметил его и приветил.

В старых наставлениях подчеркивается: флаг-офицер дол-

жен обладать «полными и точными сведениями по всем частям корабельного управления и мореплавания», ибо он «прямой помощник адмирала». Головнин сверх того владел английским. Корпусный профессор Никитин недаром зажег в нем лингвистическую страсть. А пребывание в Англии дало практику.

Впрочем, не только языковую. И не только Головнину.

Прямых столкновений с неприятелем в Северном море не произошло. Сомневаюсь, чтоб об этом кто-нибудь особенно сожалел. Если швед грозил Петербургу, то голландец и не помышлял грозить. И дело здесь не в боевой практике, а в мореходной.

«...Соединение наше с англичанами, — признавал Ханьков, — было нам полезно, ибо люди наши, ревнуя проворству и расторопности англичан и стараясь не уступать им... столько изощрялись, что то, что у нас прежде делалось в 10 или 12 минут, ныне делают они в 3 или 4 минуты».

Признание адмирала подпирает сослуживец Головнина, автор мемуарного очерка «Старина морская и заморская»:

«Любимая команда вахтенного, «лихого» лейтенанта, при наворачивании шпиля была: «Шуми, ребята, шуми!» И нечего сказать, шумели всем миром преусердно. Тогда только, как побывали в Англии, узнали истинную прелесть — сняться и чтоб «ни гугу». Изредка нептунодержавный голос лейтенанта и дудочка боцмана; а при шпиле — барабан и флейточка. Переняли тотчас, за этим у нас не станет».

Какое откровение, бесхитростное осознание способности перенять, позаимствовать! Отчего же и нет, если здорово или здорово?

Пока балтийцы крейсировали невдалеке от дюн, мельниц и фортов острова Тексель, в Петербурге приказала долго жить Екатерина. Павел Первый ринулся царствовать, как любовник, заждавшийся обожаемой дамы. Но он сознавал — время упущено: сорок два от роду. Павла лихорадило. Он был порывист. А в политике, как и в любви, торопливость никого по-настоящему не удовлетворяет.

Павел взялся и за флот. Новшества были «крупного» калибра: все эти шлафроки и козловые полусапожки объявлены преступлением; изменились кое-какие флаги; коротенькая отлучка из Кронштадта требовала высочайшего «да»; лебедино-белый мундир уступил место мундиру болотного цвета, золотой темляк на шпагах — темляку серебряному...

И наконец — «Устав военного флота». (Прежний, петровский, сдавался в архив.) Справедливости ради нечего хаять от корки до корки. Просвещенный Голенищев пользовался своим расположением государя. Должно быть, именно Голенищеву удалось склонить императора, не склонного к наукам, утвердить должности историографа флота, профессора астро-

номии и навигации, рисовального мастера... И все-таки нигде, кажется, павловская мания всеобщей и оглушительной регламентации не выказалась с такой подавляющей мрачной силой, как в «Уставе...».

Петр — «и мореплаватель и плотник» — знал корабельную службу. Павловцы высидели «Устав...» в кабинете. Их заботила не стройная совокупность дела, называвшегося военно-морским, а желание предусмотреть все и всяческие случайности, которых так много и которые так разнообразны на море. И они предусматривали, предусматривали, предусматривали...

Разбойника Прокруста убил Тесей. «Устав...» убила флотская обиденщина. Он действовал недолго, как и Павел. От него отделились под сурдинку, как и от Павла. И продолжали служить по заветам основателя регулярного флота.

Но это случилось потом.

Теперь же, когда Головнин видел июньское небо и слышал отрывистые вскрики голубоватых чаек Северного моря, теперь «Устав военного флота» был испечен, теперь надо было шить темно-зеленый мундир и перекрашивать борта кораблей из желтого цвета в серый.

Впрочем, на портных и маляров времени не достало: царь повелел «следовать в Финский залив».

Да и Головнину давно прискучило Северное море. Домой он явился лейтенантом. И обрадовался нерадостному Кронштадту.

3

Восьмерых лейтенантов и четырех мичманов назначили волонтерами. Волонтер, назначенный в волонтеры? Курьезно, как недобровольный доброволец. Но все двенадцать смотрели весело. Им завидовали кронштадтцы. Головнин, Рикорд, Миницкий, Бутаков, Давыдов, Коростовцев и другие, входившие в число «дальневояжных», собрались в путь-дорогу...

Прошлой весной заговорщики заткнули сиплую глотку Павла, и многие в России перевели дух. Ныне, в восьмьсот втором, Амьенский договор заткнул жерла пушек, и народы Европы перевели дух. Наступила тишина. Обманчивая и краткая, но это узнают год спустя. Сейчас всем хочется верить в длительность мира, в общее благоденствие.

Верили и волонтеры, направляясь в Англию. Не воевать — мир, мир! — совершенствовать морские познания, увидеть в дальних походах божий свет.

Без приключений, торной дорогой, Головнин, пассажир коммерческого судна, добрался до Лондона. Теперь уж не залетным мичманом-торопыгой мог он приглядеться к бурной жизни города-великана.

Передо мною семнадцать писем. Безымянный автор рисует

«картину лондонских нравов» той поры, когда Головнин очутился на берегах Темзы. Письма приперчены сарказмом, стиль их тяжеловесен. Однако в самой этой тяжеловесности есть старомодная прелесть.

«Нет, статься может, в целом свете места, где бы все, служащее к выгоде жизненной и роскоши, столь легко иметь можно было, как здесь, ибо пространная торговля англичан делает город сей средоточием, к которому сокровища природы и искусства, разным странам света свойственные, стекаются.

Все, чего только утонченное сластолюбие пожелать может, найдет здесь за деньги; но, несмотря на сие, можно, думаю я, утвердить, что нет в Европе другого большого города, где бы меньше здешнего известно было истинное наслаждение жизни. Всем жертвуется здесь самой грубой чувственности, и разум по большей части остается тощ при всяком празднике нынешних лондонских жителей».

«Нигде в свете не говорят более здешнего о свободе, но опыт научает, что нигде нет лживее понятия о сей попечительнице устройства наук, художеств и вообще человечества.

Здесь злотворец может удобнее укрываться под сенью законов; сильный или коварный — ненаказанно угнетать слабого, но честного, а богатч обращает законы по своему желанию.

С тех пор как заведена здесь своя Бастилия для всех дерзающих употреблять собственный здравый разум, не один из граждан, воспротивившийся пожертвовать своими правилами видам властей, томится несколько лет в сем аде. Сие тиранство в рассуждении честных людей тем жесточе, что они переданы тут на произвол злобного и корыстолюбивого пристава.

Столько же опасно всякому, кто не подкреплен сильным родством или знатным богатством, в Лондоне, усеянном шпионами, обнаруживать мнение свое о предметах веры и законодательства, хотя бы чинено сие было с крайним благорассуждением и скромностию.

Всякое негодование противу мер министерства, не на правоте и дельности основанных, возбуждает подозрение в якобинизме. Никакие свободные мнения не остаются здесь без наказания, а строгость в суждении о поступках вельмож почитается второй статьи преступлением.

Напоследок скажите, можно ли утверждать о свободе поданных под таким правлением, которое наказывает с крайнею суровостию прежде, нежели виновный изобличен и даже выслушан будет? Это случается здесь почти завсегда, паче же в Лондоне, где тысячи подзорщиков каждый шаг простодушного человека, не боящегося суждений, наблюдают.

Англичане по свойству своему суть подлинно народ добрый, деятельный и великодушный. Но тщание здешних влас-

тей клонится к тому, чтобы изгладить последние изящные черты в характере сего народа.

Нижний и верхний парламент наполняются людьми, которые без зазрения совести жертвуют благом избирателей частным своим выгодам и присягу, учиненную ими при приеме в сословие, готовы нарушить столько раз, сколько потребуют того планы министерства».

Это уж прямое политическое ниспровержение. Правда, безымянный автор стреляет «правым бортом»: он роялист, как явствует из прочих писем, ему не по вкусу возвышение «аршинников». Пусть так. Важно сейчас другое: нос не оседлан розовыми очками. Не усматривая за деревьями большого исторического леса, он верно и точно различает деревья. Различал и Головнин. Нет у него ни единой строки в духе безудержных англоманов, нередких среди русского морского офицерства.

Недавно видел Головнин восставший флот, теперь Англию, бурлившую забастовками. Право, как-то чудно вообразить выкорыща помещичьего гнезда, офицера, дышавшего «мрачностью» павловского царствования, чудно представить его в стране, где беспрепятственно спорят о каких-то тред-юнионах, о каких-то правах булочников и докеров, портных и ткачей. А тут еще заговор полковника Деспарда. Удивительный заговор! Совершенно не похожий на тот, что увенчался успехом в Михайловском замке.

Про Деспарда узнал Головнин в конце 1802 года. Узнал из газет, услышал в апартаментах русского посольства, где волонтеры бывали часто. Деспард, республиканец, демократ, готовил заговор два года. В тайном сообществе соединились рабочие и ремесленники, солдаты и матросы. Деспард намеревался ворваться в Тауэр и перебить королевскую семью. Процесс Деспарда взбудоражил лондонцев. Присяжные признали подсудимых виновными, но заслуживающими снисхождения. Снисхождения не было. Было восхождение: на эшафот. С помоста осужденный крикнул затаившей дыхание толпе, что его казнят как друга всех бедных, всех угнетенных, что он умирает с надеждой на скорое торжество свободы, гуманности, справедливости. Вместе с полковником умертвили шестерых его товарищей — плотников, бывших солдат, сапожника.

Лейтенант Головнин мог одобрять домашний заговор против курносого деспота. Тайное общество «черни» одобрять он не мог. Ведь и на Сенатской площади мятежных дворян испугали каменщики и штукатуры, строители Исаакиевского собора.

Во время процесса Деспарда обитатели лондонских и иных трущоб опасались не только за участь подсудимых, но и за свою собственную: готовилась новая насильственная вербовка

во флот. Из-за Ла-Манша грозились, это так. Но в первую очередь, пожалуй, правительству хотелось выпустить из жил народа горячую крамольную кровь.

В начале мая 1802 года король Георг III заявил, что Франция угрожает чести и безопасности Англии. Первый консул, без пяти минут император французов, заявил, что Англия угрожает чести и безопасности Франции. Будучи красноречивее выжившего из ума Георга, Наполеон картинно избоченился:

— Англия не уважает договоров! Ну что же, завесим их черным покрывалом!

Еще не замолк стук кареты, увозившей из Парижа английского посла, как на британских эскадрах взвился «Синий Питер», сигнал немедленной съемки с якоря.

4

Есть в Эрмитаже акварель Уистлера «Морской смотр»; прохлада белесо-зеленых волн; высокое, в розовеющих облаках небо; дальняя, сумеречная береговая полоса; корабли не выписаны, они означены.

Морской смотр... Просторно, зябко, поднимается ветер... Так, думаю, было и в то майское утро, когда русский моряк вручил адмиралтейский пакет британскому капитану. И с этого утра судьба волонтера связалась морским узлом с судьбою английских экипажей.

«Руководство для офицеров всякого звания на судах его королевского величества» открывается наставлениями волонтеру: завтракать не иначе как по окончании туалета; при входе на шканцы¹ непременно приподымать фуражку, уважая место, где читаются королевские указы; в такие-то и такие-то часы — занятия математикой и навигацией; участие во всех матросских работах, ибо морской человек с первого взгляда разгадает, морской ли офицер ему приказывает; аккуратно вести поденный журнал; обедая по приглашению в командирской каюте или в кают-компани, выказывать «манеры натуральные, соединенные со вниманием и уважением к старшим» и т.д. и т.п.

Это своеобразное «Юности честное зеркало» и недурно и полезно, да только адресовано мальчикам 13—15 лет. А русские волонтеры были сами с усами, не со школьного порога шагнули на британские палубы. И хотя многому учились там, держались отнюдь не робкими увальнями.

В автобиографии Головнин досадно краток: служил, мол,

¹ Шканцы — часть палубы, считавшаяся почетной. Там объявляли официальные распоряжения. На шканцах запрещалось курить и сидеть всем, кроме командира корабля и флагмана.

на разных английских кораблях и в разных морях до 1805 года. Шабаш. Никаких подробностей. Волей-неволей ворошишь заметки и письма его приятелей Петра Рикорда, Григория Коростовцева.

Последний находился на борту фрегата «Ла Бланч», когда стало известно о разрыве с Францией. Коростовцев рассказывает:

«Сигнал: требуют лейтенанта. Поехал лейт. Брайт. Мы сидим за столом, завтракаем. Лейтенант Брайт возвращается. Я позабыл сказать, что он всегда входит и выходит из кают-компании с песнею. Слышим песню: знаем, кто идет. Отворяются двери, и Брайт со следующими словами обращается к первому лейтенанту: «Ты будешь капитаном через шесть месяцев: война!» — «Браво!» — закричали все. «Война!» — отозвалось во всех углах судна. Не прошло одной минуты, как застучали, загремели... Везде война: на шканцах, на палубе, на баке... Лекарь чистит инструменты... Итак, с сего времени мы уже на военной ноге — всегда готовы к сражению; днем попадаем ядрами в цель, а на ночь все готово, все по пушкам перекликаются и ядра кладут близ пушек».

Однако волонтеры не орали «браво!». Невелика была радость околеть под ножом лекаря, «чистившего инструменты», не улыбалось получить карачун за честь и достоинство короля Георга. «Вчерашний день, — сообщает Рикорд Коростовцеву, — читал газету о проклятой войне, которая, я думаю, и тебя много расстроила в мыслях...»?

За четыре военных года лейтенант Головнин побывал на семи военных кораблях. Перед ним возникла вереница капитанов и офицеров. Немногие нравственно выдавались из общего ряда. Многие выдавались профессиональной деятельностью.

Василий Головнин плавал под флагами Уильяма Корнваллиса, Кодберга Коллингвуда и Горацио Нельсона. Имя Нельсона известно. Герцен клеймил его «дурным человеком». Дурной человек может быть неустрашимым флотоводцем. Нельсон был великим военачальником, но не великим человеком, как и Наполеон.

Герой Абукира и Трафальгара лестно отзывался о русском лейтенанте. Учитывая английский «военно-морской шовинизм», надо думать, что мужество волонтера Головнина оказалось высокой марки. Кодберт Коллингвуд, интимный друг и боевой соратник Нельсона, подтверждает эту похвальную аттестацию. Девяносто девять из ста офицеров размахивали бы ею, как знаменем. Головнин (в автобиографии) промолчал.

Волонтер пересек экватор, перервал невидимую нить, опоясывающую Землю. Но не финишировал. Ему еще предстоял долгий марафонский бег. И не с английским вымпелом в руке.

Экватор пересек волонтер. Его, как водится, окатили за-

бортовой атлантической водою, посвятив в рыцари ордена «Смоленых Шкур».

В глаза, привычные к северной хмури, брызнул блеск Карибского моря. Давний пиратский садок отражал солнце Вест-Индии, зарницы артиллерийских залпов. Море нежных полуденных дождей знавало такие жестокие схватки, что нападение акул кажется игрой в салочки.

Что там творилось, в этом Карибском море? Нет, Англия еще не воевала с Испанией. Но союз Карла IV и Наполеона был предрешен. И потому: настигни испанского купца, схвати за горло, вытряхни кошну. Англия прежде всего, права она или не права. Призовые деньги — на кон! Один из русских волонтеров недурно рассказал, как это происходило.

«Подойти, остановить и осмотреть испанца было делом двух, трех часов. Лейтенант, посланный для осмотра приза, по возвращении на фрегат был встречен толпою офицеров и матросов, с нетерпением ожидавших его.

— Ну что? — воскликнули несколько голосов.

— Главный груз — полмиллиона испанских талеров, кроме индиго, кошенили, которыми набит трюм!

Тогда все офицеры схватили карандаши и бумагу, и, бросившись к шпилью, дрожащими от радости руками стали высчитывать, кому сколько придется на долю, и я помню, что капитану досталось семь тысяч, на каждого лейтенанта по две тысячи фунтов стерлингов чистыми деньгами, не считая того, что каждый из них получит за индиго, кошениль и за самое судно.

Вместе с лейтенантом приехал и испанский шкипер. Он не знал по-английски, но говорил по-итальянски, и так как, кроме меня, никто на фрегате не понимал этого языка, то и просили меня быть переводчиком. Вместе с шкипером вошел я в капитанскую каюту. Долгое время не мог он произнести ни слова, наконец, очнувшись, произнес:

— Где же тут законность?.. Вы захватываете испанские суда, когда еще не прерваны дипломатические сношения!

В ответ на это капитан сделал знак удалиться, и, когда мы вышли из его каюты, испанец, узнав, что я русский, стал изливать передо мною все свое бешенство.

— Это разбой, пиратство! — говорил он. — Не объявляя войны, захватывают врасплох! Если б я знал это, то принял бы средства избежать встречи с этими пиратами, а то, напротив, спешил увидеть военный флаг, чтоб поверить свое счисление¹. Злодеи! Грабители!

Напрасно стараясь утешить бедного шкипера, я должен был наконец предоставить его собственному отчаянию и принять участие в общей деятельности, поднявшейся на фрегате.

¹ Счисление — графическое изображение пути судна на карте.

Из опасения, чтобы ночью не поднялась буря и не погибнул бы драгоценный приз, приказано было выгрузить с него на фрегат ящики с талерами. Началась восторженная, кипучая работа, продолжавшаяся всю ночь.

Обычно все призы отсылались в английский порт, где и продавались особыми агентами, которые получали за это известный процент с вырученной суммы. Но теперь дело обошлось и без комиссионерства.

— Приз денежный, разделим и без агента! — сказал капитан, и все единогласно приняли это предложение.

Начался дележ. Звонкая монета из ящиков пересыпалась в фитильные кадки, в которых через люк опускалась в капитанскую каюту и там сортировалась по ценности: золотые дублоны и имперIALы покрывали весь круглый обеденный стол и блеском своим затмевали талеры, скромно лежавшие на полу. В совершенном порядке, по старшинству, каждый получал свою звонкую долю золотом и серебром и, насыпав ее в мешок, уходил в свою каюту и с удовольствием Гарпагона принимался пересчитывать и любоваться ею. Несколько дней в палубе, где жили матросы, только и слышно было: чик... чик... чик... Приятный звон новых, блестящих, только что отчеканенных в Мексике талеров!.. Каждый матрос получил по 500 талеров, и я, по званию волонтера, то же самое».

Карибское море конфигурацией похоже лишь на одно море — Средиземное. Ревущие ураганы Антильских островов похожи на быстрые, неожиданные «ветропады» у берегов Испании. Оба моря качали некогда бесшабашную пиратскую вольницу. Теперь в Средиземном действовали регулярные военные флоты: Англии, Франции, Испании.

Волонтер Головнин участвовал в блокаде Тулона и Кадиса. Кадис — это Испания. Тулон — это Франция. Испания и Франция — противники Англии.

Подобно Кронштадту, Кадис лежал на прибрежном острове. Как и Кронштадт, Кадис был морской крепостью. В отличие от Кронштадта, Кадис много выигрывал от высоких утесов, они хранили его надежнее редутов. Блокировать крепость значило замкнуть купеческую и военные гавани.

Британские пушки держали под угрозой не только торговые суда, вывозившие херес и финики, оливковое масло и соль, — они грозили городу, блещущему чистотой, грозили холстам Мурильо, башне Торре-де-Вегиа, откуда открывалась такая поразительная панорама, что ее не могли испакостить даже вражеские корабли.

С борта тех кораблей Головнин увидел Гибралтар. Потом зеленые с прожелтью воды Гибралтарского пролива сменились лазурью — эскадра бежала на северо-восток, к Южной Франции.

Не столь давно британцы гуляли в Тулоне победителями:

роялисты, противники революции, сдали форты и эскадру, интервентов выкурил из Тулона капитан Бонапарт. Теперь его звали императором Наполеоном. Английскому адмиралу не приходилось рассчитывать на роялистов. Взять город он не мог, он держал его в блокаде, но лишь со стороны моря.

Реестр боев, происшедших меж берегами Европы и Африки, потребовал бы, наверное, кибернетической машины. Во времена Головнина там тоже не скучали. После очередного боя, после абордажной схватки, капитан фрегата «Фисгард» писал, что русский волонтер Головнин «дрался с необыкновенной отвагой и был так счастлив, что остался невредим».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Но соль судьбы — в испытании судьбы.

А испытание ждало долгое. Тут подавай не вспышку, не горячую храбрость. Тут подавай мужество, холодное и терпеливое, в отличие от металла чуждое усталости.

Ему же было нехорошо:

«Из четырех случаев моего отправления из Европы в дальние моря я никогда не оставлял ее берегов с такими чувствами горести и душевного прискорбия, как в сей раз. Даже когда я отправлялся в Западную Индию, в известный пагубный, смертоносный климат, и тогда никакие мысли, никакая опасность и никакой страх меня нимало не беспокоили. Может быть, внутренние, нами непостижимые предчувствия были причиной такой унылости духа; а может статься, продолжительное время, в течение коего мы должны были находиться вне Европы и в отсутствии родственников и друзей и необходимо должны неоднократно встречать опасности и быть близко гибели, рождало отдаленным, неприметным образом такие мысли при взгляде на оставляемый берег».

«Оставляемый берег» — окраинные скалы Южной Англии. Но это лишь географически. А мысленно покидали они Россию. Их — шестьдесят. Шестьдесят душ, экипаж «Дианы».

Как все шлюпы, «Диана» нечто среднее между фрегатом и корветом. Ее «срединность» определялась и водоизмещением, и парусностью, и артиллерийским вооружением. Она несла четырнадцать пушек; пушки были медные, легче чугунных на пятнадцать пудов. Плюс на верхней палубе четыре похожие на бульдогов карронады для стрельбы с короткой дистанции и четыре фальконета, небольшие, чугунные, малого калибра.

Однако шлюп не намеревался драться. Морские сражения осточертели Головнину. Ему минул тридцать один. Половина

жизни прошла в огне. Он остался невредим. Зачем? Вить береговое гнездышко? Увольте! Пробил час заветной мечты, родившейся в Итальянском дворце.

Крузенштерн и Лисянский — тоже питомцы Морского корпуса, тоже «крещенные» в балтийских боях, тоже волонтеры, — Крузенштерн и Лисянский вернулись в Россию, как и Головнин, в 1806 году. Но вернулись-то не из Средиземного или Карибского морей, а завершив первый русский кругосветный поход.

Успех был громкий. И заслуженный. Головнин увидел паруса отважных, паруса «Надежды» и «Невы». Он знал виновников торжества, долгоязого, сероглазого добряка Ивана Федоровича Крузенштерна, кудлатого, с орлиным взором, порывистого Юрия Федоровича Лисянского.

Пример был подан, начиналась эпоха российских кругосветных путешествий.

Торить кругосветную дорогу рвались почти все морские офицеры. Наградой была не награда, а слава. «Званных много, избранных мало». Адмиралтейство избрало лейтенанта Василия Михайловича Головнина. В этом избрании было признание.

Император Александр, вняв ходатайству министра, жаловал лейтенанта перстнем и деньгами за составление «Военных морских сигналов» (ими пользовались четверть века). Кроме того, бывший волонтер привез не лондонские сувениры, а «Сравнительные замечания о состоянии английского и русского флотов». Его практические познания не вызывали сомнений. Похвалы Нельсона и Коллингвуда придавали ему большой вес. И вот — назначение на «Диану».

«Надежду» и «Неву» купили в Англии. «Диану» сработали в России. И украсили, как повелось издревле, деревянной резной скульптурой: девственница в коротком хитоне, колчан за спиною, летящие по ветру волосы — Диана. Героиня многих мифов была влюблена лишь однажды — в спящего красавца Эндимиона. Диане, установленной на «Диане», суждено было полюбить бессонное море.

Главная цель была исследовательская: «Опись малоизвестных земель, лежащих на Восточном океане¹ и сопредельных российским владениям в восточном крае Азии и на северо-западном берегу Америки». К главному «предмету» добавили «попутный»: транспортировку громоздких тяжестей в Охотский порт.

Размещение грузов в трюмах — почти такое же искусство, как и вождение корабля. Весною 1807 года Головнин был стивидором, то есть специалистом по погрузке. Он принимал, распределял, укладывал: железо и якоря, парусину и канаты,

¹ Тихом океане.

провиант, бочки с пресной водой и древесный уголь, платье, обувь, порох, ядра, инструмент, гвозди и т.д. и т.п.

Он управился отлично: «В продолжение путешествия опыт мне показал, что при укладке груза... никакой ошибки не сделано». Не часто услышишь подобное. А тому, кто иронически усмехнется (эва, хитрость), остается лишь попробовать, каково на деле.

Новизну и важность экспедиции сознавали в Петербурге. Снаряжением «Дианы» занимались адмиралы и мастеровые казенного завода, министерские чиновники и кронштадтские боцманы.

Крузенштерн, человек большой душевной щедрости, не один час провел с лейтенантом. Иван Федорович еще не мог вручить ему свою книгу о плавании «Надежды», но, как писал Головнин, «добровольно позволил мне взять из типографии самые нужные для меня карты и планы, выгравированные для его путешествия, прежде нежели оно было обнародовано, чего не позволят другие издатели путешествий. За таковую его благосклонность ко мне я не менее признаю себя ему обязанным, как и за советы, которые он мне дал по моей просьбе, касательно моего плавания... Признательность моя к сему почетному мореходцу заставляет меня сказать, что, кроме позволения пользоваться картами его трудов, он сам лично просил г-д членов Адмиралтейского департамента приказать директору типографии поспешить окончанием его карт прежде моего отправления. При сем случае г-н капитан-командор и член помянутого департамента, Платон Яковлевич Гамалея, принял на себя попечение о скорейшем окончании оных. В департаменте не было формального о сем повеления, но ему угодно было принять на себя сей труд единственно по отличному своему ко мне благорасположению и по желанию успеха нашей экспедиции. Все готовые карты перед отправлением я имел честь получить из его рук»¹.

Матросы не пришли на шлюп по канцелярской цидуле. Крузенштерн, Лисянский, Головнин положили за правило набирать добровольцев. Из шестидесяти человек Головнин об-

¹ В 1802 году в России были образованы восемь министерств, в том числе военных морских сил (с 1815 года — морское министерство). В это ведомство входили Адмиралтейств-коллегия и Адмиралтейский департамент. Коллегия занималась содержанием, комплектованием, снабжением и действием флота. Членами ее назначались флагманы, двое из которых ежегодно сменялись. В департаменте заседали «люди, известные ученостью и сведениями, морскому искусству существенную пользу принести могущие».

К последним принадлежал и благодарно помянутый Головнин П. Я. Гамалея (1766—1818). Платон Яковлевич оставил заметный след в истории русского морского образования как автор прекрасных морских учебников. В 1801 году он был избран почетным членом Академии наук. Небезынтересно отметить, что П. Я. Гамалея — предок советского ученого, почетного академика Н. Ф. Гамалеи.

манулся лишь в мичмане Федоре Муре. Все ж другие оказались под стать командиру. А своему помощнику, лейтенанту Петру Рикорду, он был обязан жизнью.

У прежних моряков, ходивших «вокруг света», водилось прекрасное обыкновение: в отчетах помещали они поименные списки всех участников экспедиции. Так воздавалось должное каждому матросу. К сожалению, капитаны ограничивались лишь именами и фамилиями. Если об офицерах можно разжиться некоторыми подробностями, то формуляры «нижних чинов» — редкость. Но и на том спасибо, что они названы, эти крестьяне, исхлестанные ветрами Океании, Аляски, Антарктиды.

Дальность плавания предполагала происшествия, предусмотреть которые не сумели бы и сочинители павловского устава. Инструкции позволяли Головнину многое. Он распоряжался полновластно — «первый после бога». «Диана» была военным кораблем; встречным русским коммерческим судам командир имел право отдавать приказания, какие он счел бы полезными «для службы его величества». Собственным распоряжением Головнин мог награждать деньгами усердных матросов. Наконец, ему, и только ему, следовало избрать генеральный курс — в обход ли мыса Горн, в обход ли мыса Доброй Надежды.

25 июля 1807 года «Диана» окрылилась парусами. С этого часа началось для Головнина «сживание» с кораблем, обретение того особенного «чувства корабля», без которого нет настоящего водителя парусного судна. Командир и корабль вверяются друг другу, как наездник и аргамак. Им обоим вверяются десятки людей.

На старинных картах рисовали щекастых здоровяков: напряженно вытянув губы, они извергали тугие вихри. Молодцы эти, боги ветров, с медвежьей грацией ухаживали за «Дианой»: пихались, норовили затолкать обратно в Кронштадт. Потом нанесли тяжкие тучи. Ночью ударила гроза. И такая, какой Головнин не видывал и в Средиземном. В пронзительном блеске молний, в раскатистом салюте громов «Диана», как говаривали моряки, «брала отшествие от берегов отечества».

Балтика буйствовала. На курсе «Дианы» покорно тонуло судно, покинутое командой. В ночных ненастьях тускло светили бельмыстые маяки. У датских берегов качался сильный английский флот. Жители Копенгагена живо помнили сравнительно недавний налет Нельсона. Сейчас британцы вновь нависли над маленьким королевством.

Головнин почуял перемену политической ситуации. Догадку укрепили газетные известия. Едва шлюп положил якорь в Портсмуте, Головнин прочел о назревающем англо-русском конфликте. Уж кто-кто, а бывший волонтер хорошо знал

«призовое право». Первой его мыслью было получить от английского правительства надежный охранный документ.

Головнин поехал в Лондон. Скрипучие дилижансы (англичане окрестили их морским чином — «комодоры») не отличались торопливостью. Лейтенант раскошелился и полетел на почтовых. Каждые восемь миль ждала подставка. Возница трубил в рожок, красные колеса стучали по ровной дороге.

Головнин думал обернуться в неделю. Оно бы так и вышло, когда б не проволочки в коммерческом ведомстве: «Диане» следовало получить добавочный провиант.

Капитан Лисянский хватил лиха с английских мздоимцев. «Всяк, кому токмо было время, брал с нас без совести», — вздыхает он в своем рукописном дневнике. Головнин резче Лисянского: «Все знают, что подлее, бесчестнее, наглее, корыстолюбивее и бесчеловечнее английских таможенных слушателей нет класса людей в целом свете».

Командир «Дианы» застрял в Лондоне на три недели. Впрочем, задержка принесла ему и некоторое успокоение. Газетные пугающие сообщения оказывались, судя по некоторым признакам, напраслиной. Англия ожидала из Средиземного моря дружественную эскадру Сенявина. В Портсмуте уютно отставался фрегат «Спешный» с деньгами для Сенявина — ни много ни мало, а два миллиона золотом и серебром. Вот уж завидный приз! А «Спешный» не спешил вон из Англии. Стало быть, нечего дуть на воду. Есть ли нужда в «паспорте» для шлюпа? Однако береженого бог бережет. Головнин исколотал «охранную грамоту». Увы, впоследствии она обернулась филькиной грамотой.

Выход из Ла-Манша и ныне не считается прогулкой. Суда, идущие в Атлантику, берут лоцманов. Головнин лоцмана не взял. Самонадеянность? Быть может. Но и отличное знание, благоприобретенный опыт.

Скалами мыса Лизард обрывалась Англия. Европа исчезла за кормой. «Нельзя было не заметить, — рассказывает Головнин, — изображения печали или некоторого рода уныния и задумчивости на лицах тех, которые пристально смотрели на отдалющийся от нас и скрывающийся в горизонте берег».

«Диана» вышла в Атлантический океан.

Стоял ноябрь 1807 года.

2

Стихотворец Вяземский побывал однажды на русском военном корабле. Язвительный князь пропел вдруг такой дифирамб:

«Я был в восхищении и сердечно жалел, что не посвятил себя морской службе. Вот поэзия в мундире! Военное сухопутное ремесло возвышается в военное время; гражданский

мундир — не лакейская ливрея в тех только государствах, где царствуют законы и свободы; должность моряка имеет во всякое время много поэзии, то есть смелости и благородства. Он всегда имеет перед собою сильных врагов (лучше бы: могущих) небо и море. С ними честному человеку весело ладить и бороться».

Много верно! В самом деле, уж служить, так не в лакейской ливрее. Море и небо распрямляют плечи. Они создают иллюзию избавления от ярма «земного тяготения». Но поэт Вяземский был пассажиром, он не заметил «безмундирной прозы», требующейся от «поэзии в мундире»: тяжелой физической работы, привычки к смерти, от которой отделяют лишь дюймы корабельной обшивки.

В бурях есть азарт. Обоюдный азарт человека и стихии: рукопашная, как в абордажном бою. Но существует и сплин штителей, шелестящая голубая тишина. Иногда она длится день за днем.

Океан переменчив и неизменен. Возникает ощущение круга, и ты в этом круге. И потом чувство оторванности, затерянности. Современным человеком оно утрачено. Жалеть нечего. Надо лишь вообразить, каково было тем, кто восхитил князя Петра Андреевича.

Два с лишним месяца шлюп пересекал Атлантику. Она удручала шквалами, проливными дождями. Опасность внезапных порывов ветра держала в напряжении и вахтенных и подвахтенных. Грозы, казалось, сотрясали не только небо, но и глухие глубины океана. Крупная зыбь валяла корабль. Зыбь эту звали толчеей. Даже задубелые марсофлоты кляли ее на все корки.

Во второй половине декабря «Диану» подхватил юго-восточный пассат. Наступили ясные погоды. «Можно сказать, — облегченно заметил Головнин, — что мы получили новую жизнь со дня встречи пассатных ветров».

В ноябре 1807 года «Диана» потеряла из виду мыс Лизард — последний клочок Европы; в январе 1808 года «Диане» открылся остров Екатерины — первый клочок Южной Америки.

В слове «остров» слышится нечто романтическое и романтическое. К островам стремились мечтою: остров Утопия.

Ах, где те острова,
Где растет трин-трава...

Шлюп положил якорь. Все смолкло. И донесся... шум работ. Как на верфях. Стучат, стучат. А то вдруг будто псы влаивают. А то вдруг в колотушку колотят. Потом уж, на берегу, поняли моряки: все эти звуки неутомимо издавали увесистые бразильские лягушки.

Начались ремонты, рубка дров, завоз пресной воды, проверка астрономических инструментов, пополнение съестных припасов. Словом, все та же нелегкая, повторяющаяся изо дня в день работа. И однако незнакомая гавань — незнакомая

жизнь. Мореход жадно впитывает новизну. Как ты ни предан морю, обручен с ним, подобно венецианскому дожу, но ты сын земли. Берег, домашнее, устойчивое, пусть чужое, пусть неизвестное, рождает в душе отрадный покой. И это спокойствие, эта тихая радость притягательны именно потому, что кратки.

Остров принадлежал Португалии. Колониальное захолустье. Изумрудная духота в чащах; на тропах ядовитые змеи, в черных ночах бесчисленные светляки. Солнце раскаляло крепостные стены. В крепостях ржавели пушки. Крепости и городок носили звучные, как кастаньеты, имена.

Переход Атлантикой был пудом соли, который надо съесть, чтобы познать человека. В океане Головнин познал «сущность» своего корабля: хорошо одолевает волну, крепок, остойчив, послушен. К сожалению, не блещет скоростью. И посему раньше марта не достичь мыса Горн.

История, по слову древних, «живая память». Живая память мореплавания хранила множество печальных попыток миновать мыс Горн в марте или в апреле, то бишь в осенние месяцы. Сверкал, однако, пример недавний — Крузенштерна и Лисянского: они пробились.

Головнин колебался. Попытка, говорят, не пытка. Вопреки пословице Головнину предстояло последнее. Но и отступать уж было поздно. От неудачи лейтенант не зарекался. На сей случай он задумал ретираду к мысу Доброй Надежды. С юга Южной Америки к югу Африки быстро и безопасно домчат его западные ветры, «господствующие в больших южных широтах». И уж оттуда, от берегов Африки, возьмет он курс через Индийский океан в Тихий.

Жажда скорости стара, как и само передвижение. Нынешние скорости привели к представлению о малости земного шара. Головнину он был огромен. Огромность явственно возникала в океане.

Бег к югу приносил холод. Люди натянули фуфайки. За горизонтом, с правого борта, незримо качался континент. Ночью при сильном волнении волны точно бы блестели. Этот таинственный блеск озарял передние паруса.

В феврале 1808 года русские заметили несколько пузатых судов со спущенными брам-стенгами. Суда шустро меняли курс. «Диана» приблизилась. Брюхастые не обращали на нее никакого внимания: они били китов. «Такая сцена, — пишет Головнин, — была еще для всех нас новой, и мы с большим любопытством смотрели на проворство и неустрашимость этих людей». Кто знает, не торчал ли на палубе одного из американских китобоев неистовый капитан Ахав, герой «Моби Дика»?

Миражи водных пустынь похожи на миражи песчаных: навядение дьявола, вестник несчастий. А несчастья не похожи на счастье: они не медлят, у них ворота настезь — заезжай. «Диана» вбежала в пролив Дрейка.

Не нрав, а норы у пролива Дрейка, под стать самому Френсису Дрейку, пирату и душегубу. «Мыс Горн — настоящий мыс бурь», — определил один французский географ. Но с ним не согласен такой практик, как Лисянский, командир «Невы»: то, что приключается у мыса Горн, можно испытать и в Ла-Манше. «Я уверен, что, справившись в журналах судов Американских Соединенных Штатов, корабли которых плавают этим путем к северо-западным берегам Америки, можно обнаружить гораздо больше успехов, чем неудач».

Упомянутый географ беспристрастности ради признает положительное «качество» пролива Дрейка: тамошние сумасшедшие ветры отгоняют айсберги. Лисянский, очевидно, тоже ради справедливости признает отрицательное «качество» пролива Дрейка: величайшую удаленность от населенных пунктов, где мореход получил бы помощь.

В Южном океане громыхал шторм, а в узкости пролива была такая круговерть, что шлюп подчас волокло боком. Существует сравнение: «Корабль носило словно скорлупку». Скорлупке не страшны скалы и рифы, ее не расшибет вдребезги. Корабль в несколько сот тонн, увы, не скорлупка.

Совершая повороты, Головин надавал ходу, «пришпоривал коня», убегая от валов. Еще на острове Екатерины Головин законопатил и залил смолою пушечные порты. Но герметичность не была полной. Нижнюю палубу, прибежище команды, офицерские каюты захлестывало. Матросы, вымокшие до нитки, выносили воду ведрами. Океан и ведро! Прибавьте град, снег, рев, свист, скрип — вот шабаш, врагу не пожелаешь.

В отчете о плавании «Дианы» Головин сослался на неудачников, обломавших зубы в проливе Дрейка. Он начал с Джорджа Ансона, атамана нескольких каперских экспедиций середины XVIII века. Помянул испанский галион «Св. Михаил»: за сорок лет до «Дианы» испанец мыкался у мыса Горн полтора месяца и скормил рыбам десятки мертвецов. Назвал и капитана «Баунти» Уильяма Блая: этот мерзавец четыре недели пытался совладать с проливом Дрейка, да так и не совладал¹.

¹ Уильям Блай, бывший штурман Кука, командовал в 1788—1789 годах кораблем «Баунти». Среди отъявленных тиранов в капитанском шлюпе Блая по праву принадлежит одно из первых мест. В Тихом океане на «Баунти» вспыхнул мятеж. Капитан с несколькими верными ему моряками был высажен в шлюпку, а мятежный экипаж обрел убежище на необитаемом полинезийском острове Питкэрн. Низложенный Блай совершил длительный шлопочный переход и уцелел. Уцелел и остался Блаем: назначенный командиром военного корабля, довел команду до иступления; назначенный губернатором Нового Южного Уэльса (Австралия), «добился» восстания колонистов. Судьба Блая, мятеж, поселение на острове Питкэрн не однажды описаны историками и беллетристами. (См., в частности: Фальк-Рённе А. Слева по борту — рай. Путешествие по следам «Баунти». — М., 1980.) В 1962 году в Ла-Манше маячил близнец пресловутого корабля — американцы снимали фильм «Бунт на «Баунти».

Но ведь были и Крузенштерн с Лисянским, были и другие. В обращении к истории не таится ль оправдание, адресованное Адмиралтейству? Пусть так. Подчеркнем другое: самолюбие не взяло верх над здравым смыслом. А здравый смысл диктовал отступление.

«Владычествующие в больших широтах западные ветры обещали нам скорый переход к мысу Доброй Надежды, где, исправля судно, дав время людям отдохнуть и запастись свежими провизиями и зеленью, я мог продолжать путь...»

Резонно. Но он не знал одного обстоятельства. Чрезвычайно важного. И обманулся.

3

Прыжок был великолепный — в девяносто три ходовых дня. Прыжок от рубежей Атлантического и Тихого к рубежам Атлантического и Индийского. Ни повреждений корпуса или рангоута, ни больных или увечных. Правда, свежего мяса достало лишь на пяток дён, а подстреленные альбатросы воняли водорослями.

В апреле 1808 года Головнин радостно переводил дух: «На рассвете 18-го числа, в 6 часов, вдруг открылся нам, прямо впереди у нас, берег мыса Доброй Надежды... Едва ли можно вообразить великолепнее картину, как вид сего берега, в каком он нам представился. Небо над ним было совершенно чисто, и ни на высокой Столовой горе, ни на других ее окружающих ни одного облака не было видно. Лучи восходящего из-за гор солнца, разливая красноватый цвет в воздухе, изображали или, лучше сказать, отливали отменно все покаты, крутизны и небольшие возвышения и неровности, находящиеся на вершинах гор. Столовая гора, названная так по фигуре своей, коей плоская и горизонтальная вершина изображает вид стола, редко, я думаю, открывается в таком величественном виде приходящим к мысу Доброй Надежды мореплавателям».

Совершенно иная характеристика У. Блая принадлежит нашему соотечественнику, не раз упомянутому в этой книге. П. В. Чичагов встретил У. Блая в 1796 году в Англии. Вот отзыв: «Общество его приятно, обхождение ласково и беседа полезна... Весьма малое число людей в состоянии столько претерпеть и столько догадкой своею изобрести средств к спасению своей жизни и еще семнадцати с собою. Он столь любезного обхождения, что я истинно не понимаю, как они, изверги, могли поступить с ним так жестоко». Архив князя Воронцова. — М., 1881. Кн. 19. С. 6-7.

Нам остается недоумевать по поводу этого «не понимаю». Странно, П. В. Чичагов, человек далеко не глупый, даже и не предполагает возможность, так сказать, разного поведения в зависимости от обстоятельств и места.

(В наше время на сухое и твердое плато Столовой горы ведет канатная подвесная дорога. Минуты плавного подъема — и захлебнись, турист, редкостным зрелищем: на западе — серый с голубизной Атлантический, на востоке — прозелень Индийского.)

Вероломство ветров не только в силе, но и в слабости. Морьяки парусных времен нередко испытывали почти ярость после плавания, вымотавшего душу, теряя сутки за сутками близ давно желанной стоянки. Бессилие, досада, ощущение наглой издевки. Три дня немошь ветра не позволяла «Диане» отдать якоря в заливе Фолс-Бей.

Тут было несколько заливов. Самый неудобный — Столовой. На его берегу голландец ван Рибак опрометчиво заложил Капштадт (Кейптаун); дело сделалось давно, в 1652 году. Города — «от человека», да заливы-то — «от бога». И Столовой, открытый и незащищенный, нередко заглатывал корабли. Особенно в пору жесточайших норд-вестов, с мая по октябрь. Капитаны предпочитали Фолс-Бей. Вернее, его продолжение, вдающееся в западный берег. В Симанской губе отлеживались на якорях десятки судов.

Сейчас в Фолс-Бей «квартировала» британская эскадра. Следовало условиться о салюте. Салютация — вопрос протокольный. Вопрос не столько офицерской вежливости, сколько державного престижа. Корабли, как посланники, представляют государство.

Лейтенант Рикорд отправился на флагманский «Резонабль». «Диана» спокойно дожидалась невдалеке от стационарных батарей и пушек эскадры.

И вот тут-то началось нечто странное.

С соседнего фрегата «Нереида» быстро приблизилась шлюпка. Головнин обрадовался: старый знакомец, капитан Корбет. Алло, сэр! Надеюсь, не позабыт фрегат «Сигорс»? Да-да, «Сигорс», где вы командовали, а я, Головнин, служил волонтером. Ба! Что такое? Корбет резко кладет право руля и уходит от «Дианы», словно от зачумленной. Головнин улыбается: педант Корбет не желает нарушать карантинные правила... Однако почему не возвращается Петр Иванович? Что с лейтенантом Рикордом? Гм, странно.

Не русский лейтенант припожаловал на «Диану», а британский. На лице — официальная льдистость. Англичанин процедил несколько слов, Головнина прошибло потом. О, проклятые зигзаги политики! О, проклятые перемены галсов, совершаемые во дворцах и министерствах!

«Диана» ушла из Кронштадта в июле 1807 года. В июле того же года император Александр и император Наполеон лобызались на неманском плоту. Произошло тильзитское свидание. Императоры очаровали друг друга. Еще больше очаровались оба перспективой «раздела мира». И оба предали

союзников: Александр — Англию, Наполеон — Швецию и Турцию. Но пункты тильзитского сговора оставались пока в секрете.

В сентябре и октябре «Диана» шла европейскими морями.

В те же месяцы французская дипломатия, возглавляемая такой пантерой, как Талейран, усилила натиск на Петербург, добиваясь формального разрыва России с Англией.

В первый день ноября 1807 года «Диана» покинула Портсмут. Неделью спустя последовала «громовая нота» из Петербурга в Лондон. Война была объявлена...

Фрегат Корбета приблизился к «Диане», с других кораблей прислали вооруженные баркасы. Сопротивление выглядело бы трагикомично. Громкое «Приз... Приз...» раздавалось в ушах Головнина. Черт возьми, он не раз это слышал. Да только не в свой адрес. Но есть же паспорт! Есть бумага с сургучной печатью! Бумага, разрешающая мирное исследовательское плавание. Вот, извольте взглянуть, сэр?

Наверное, и этот лейтенант был охотником до призовых кушей. Наверное, он мысленно послал на головы лондонских дурней все молнии Африки. Поступил он, однако, осторожно и благоразумно. Начальству врать, не ему.

Начальство обреталось в Капштадте. Эскадрой временно командовал капитан Корбет. Головнин, конечно, знал, что его бывшие соплаватели не так-то просто выпускают из своих лап призовые суда. И все ж Василий Михайлович надеялся на вразумляющую силу лондонского паспорта.

Корбет отпустил Рикорда. Петр Иванович привез такое известие: в Капштадт послан нарочный; Корбет просит русского коллегу не покушаться на побег. Просьбу эту с молчаливой солидностью подтверждали пушки фрегата. Всю ночь на фрегате не спали. Всю ночь вооруженные баркасы стерегли «Диану».

Отныне — и очень надолго — капитан Головнин как бы сменил офицерский мундир на дипломатический фрак. Головнина будто бы перечислили из ведомства морского министра Чичагова в ведомство канцлера Румянцева.

И Корбет, и командор Раулей, и вице-адмирал Барти уважали храброго моряка — аттестации Нельсона и Коллингвуда что-нибудь да значили. Но Головнин не полагался на личную благодарность вчерашних партнеров. Василий Михайлович ставил карту на лондонское Адмиралтейство.

Он писал письма, спокойные, доказательные. Письма возили с оказией. У англичан есть выражение — «мертвые письма», то есть недоставленные. Погибающие моряки закупоривали такие письма в бутылки. «Бутылочная почта», — говаривали они с горечью, но и не без упований. Письма Го-

ловнина не были «мертвыми», их доставляли. Однако ответом было мертвое молчание.

Писал он и в Петербург. Пакет не запечатывал, так пишут из тюрьмы. В архиве сохранился черновик его рапорта морскому министру России. Документ датирован январем 1809 года. Пленение длилось почти уже девять месяцев. Срок, достаточный для роженицы, но не для британского Адмиралтейства.

Адмиралы уподоблялись банкирам. Банкиры знают, что такое «депозит». Депозиты бывают срочные и бессрочные. Первые возвращаются в обусловленное время, вторые — по требованию вкладчика. Лорды Адмиралтейства «отложили» русский шлюп до греческих календ. Головнин силился установить хоть какую-то «срочность». В Капштадте принимали его учтиво. Увы, комплиментами все и кончалось.

А на корабле заканчивались припасы. Капитан хотел продать что-либо с «Дианы», на вырученные деньги купить съестное. Законники-чинуши воспротивились: как можно! Ежели «Диану» сочтут призом, на ней должно сохранить и последний медный гвоздь.

«Я, — говорил Головнин, — прекратил выдавать порции офицерам, довольствуясь с ними той же провизией, как и нижние чины». Какой же? Фунт морских сухарей на день и солонина. «Свежей провизии мы не имели ни куска, также и никакой зелени не было».

Пленных полагается кормить, «задержанных вплоть до правительственного указания» можно брать измором.

Головнин старался хранить невозмутимость. Сдерживаться было все труднее. Положение обязывало спасти корабль, спасти экипаж. Но он ведь дал честное слово не предпринимать попыток к бегству. Излишняя щепетильность? Как знать, не в ней ли один из заветов порядочности.

Настал такой день (или такая ночь), когда Василий Михайлович принял решение, неслыханное в летописях мореплавания: одинокому кораблю, затертому среди целой эскадры, кораблю, движения которого стеснены, зависят от капризов ветра, кораблю уйти из-под пушек береговых батарей, из-под огня судовой артиллерии. Уйти в пустынный океан. Навстречу свободе и... голоду. Голод был неизбежен: нельзя же закупать провизию на глазах у десятков соглядатаев. Но морскую, навигационную подготовку к дерзкому побегу Головнин провел тщательную.

«Я знал, — пишет капитан «Дианы», — что во всех гаванях и рейдах, лежащих при высоких гористых берегах, ветры очень часто дуют не те, какие в то же время бывают в открытом море, а потому я хотел точно узнать, какое здесь имеют отношение прибрежные ветры к морским. На сей конец я часто на шлюпке ездил в Фолс-Бей, брал с собой компас и замечал силу и направление ветра».

Пленники нуждались только в норд-вестах. «Мы их очень долго ждали», — говорит Головнин. Но, дождавшись, не обрадовались: либо в заливе лавировали вражеские фрегаты, либо желанный ветер, засвежев днем, угасал вместе с вечерней зарей.

Час пробил в мае 1809 года. Норд-вест дул надежный. Флагманский корабль дремал с отвязанными парусами, эскадра тоже была не «одета». Судя по сигналам берегового поста, на юго-востоке лавировала какая-то корабельная пара, словно бы разыгрывая вариант «военно-морской любви».

В сумерках на «Диане» началось поспешное и беззвучное движение. Якоря не выбирали, это было бы слишком долго и слишком шумно. Обрубили канаты. Поставили штормовые стаксели¹. Момент был роковой. Головнин описал его по обыкновению сдержанно: «Едва успели мы переменить место, как со стоявшего недалеко судна тотчас в рупор дали знать на вице-адмиральский корабль о нашем вступлении под паруса. Какие меры были приняты нас остановить, мне неизвестно². На шлюпе все время была сохраняема глубокая тишина. Офицеры, гардемарины, унтер-офицеры и рядовые — все работали до одного на марсах и реях».

4

В старину «сухарничать» значило лакомиться, роскошествовать. Но морской сухарь не посмакуешь. Циркуляр о довольствии войск предупреждал: длительное употребление сухарей вредно.

На «Диане» остервенело крошили ржаные ломти. Но и тех недоставало, рацион был уменьшен на треть. Питьевая вода цвела, разило топью. Варили солонину, которую корабельщина звала соленой версой, то бишь пенькой, нащипанной из старых смоленых тросов. Благо еще булькал в бочонках ром, припасенный давно, в Портсмуте. Стол был общий, беда равняет всех. Порыв, воспламененный удачливым бегством, не

¹ Косые паруса треугольной формы.

² Любопытно было бы прочесть рапорт вице-адмирала Барти о столь позорном для престижа его эскадры «упущении». Архивы британского Адмиралтейства, несомненно, содержат документацию, запечатлевшую уникальный подвиг Головнина. К сожалению, мне не удалось навести справки.

Моряк-декабрист Д. И. Завалишин писал, что после происшествия с «Дианой» «русские корабли избегали м. Доброй Надежды», опасаясь недоброжелательства окопаченных представителей администрации гордого Альбиона. Опасения, прибавляет автор мемуаров, были, вероятно, напрасными, ибо англичане, по его мнению, сознавали свое вероломство — ведь «ученые экспедиции составляют всегда изъятие из военного права». Завалишин Д. И. Записки декабриста. — СПб., 1906. С. 69.

гас. «День и ночь мы несли все возможные паруса; офицеры и нижние чины были неустойчивы», — гордится Головнин.

Русские капитаны-«кругосветники» не разводили чернил эмоциями. Но едва ль сыщется хоть один отчет без громкого восторга в адрес матроса. И это не вспученная квасом похвальба. Даже англичане признавали, что «русские моряки обладают всеми данными для того, чтобы занять первое место среди моряков мира, — мужеством, стойкостью, терпением, выносливостью»¹. Что ж до Головнина, то он убеждался в этом постоянно. И не только на палубе, но и на суше, о чем расскажем позже, очутившись в Японии.

А теперь — Индийский океан. Натощак, говорят, ни в пляс, ни в работу. Океан понудит и плясать и работать. В шторм отхватишь трепака, в шквал потрудишься, как на мотыльбе. Но ветер потакал беглецам. И это было главное. Кругло считая, шла «Диана» победе сотни миль в сутки.

Чуть не в два месяца достигла она меридиана Тасмании. В Тасмании было английское поселение Хобарт. В Хобарте была провизия и пресная вода. Увы, Фолс-Бей не забудешь, от британцев как дресва во рту.

Шлюп огибал Австралию. Головнин правил к норд-осту. Ближайшим курсом держал он к Ново-Гебридскому архипелагу.

Незадолго до «Дианы» оставила Австралию «Нева». «Сей корабль, знаменитый в летописях российского мореплавания», вел преемник Лисянского — Леонтий Гагемейстер². Он не был в крайности, и Новые Гебриды его не манили. Головнину архипелаг снился, как снился Южный материк несчастливцу Педро Фернандесу де Киросу.

Отыскивая Индию, Колумб набрел на Америку. Отыскивая Австралию, Кирос набрел на Новые Гебриды. Ошибки странников вернее приводят к цели, нежели выкладки картографов в халатах и домашних туфлях.

Не Колумб нарек Америку Америкой. Не Кирос нарек Новые Гебриды Новыми Гебридами. Спустя сто шестьдесят восемь лет после Кироса явился Джеймс Кук. Ему-то, как утверждает известный историк и литератор Яков Свет, по праву принадлежит честь открытия всей этой островной «галактики». Гебриды омывал близ Шотландии Атлантический океан; Тихий океан омывал Новые Гебриды.

¹ Цитирую анонимное «Путешествие в Санкт-Петербург в 1814 году с заметками об императорском русском флоте». Автор, английский корабельный хирург, человек, судя по книге, богатого морского опыта, в течение двух лет был прикомандирован к нашей Балтийской эскадре.

² Л. А. Гагемейстер (1780—1834), уроженец Латвии, дважды обогнул земной шар, уточнил карты некоторых островов Тихого океана, строил на Байкале суда, умер капитаном первого ранга. «Старинным другом и сослуживцем», «сведущим и опытным офицером» называет его Головнин.

Южную часть архипелага, пишет Головнин, никто из «новейших мореплавателей», со времен Кука, не посещал, «да уповательно, что и прежде его один только Кирос их видел».

Итак, Кирос, Кук, Головнин. Матросы испанские, английские, русские — горемыки из Лимы, батраки Йоркшира, крепостные «Нееловой, Гореловой, Неурожайки тож».

Теперь капитан Головнин оказывался ровней любому из экипажа «Дианы»: никогда не был он на островах Тихого океана. Новыми Гебридами начиналась новая полоса жизни. Лейтмотив оставался прежним — страсть к познанию мира. Лучше однажды увидеть, нежели сто раз услышать. И познать, что видишь.

Аннатом... Тану... Эрроманго... Чуждые уху названия, певучие и странные... Когда-то царь Петр, возводя Толбухин маяк близ Кронштадта, приказывал иметь «по вся ночи огонь великой и высокой». На острове Тану вулкан действовал исправнее любого маяка... Тому, кто долго шел лесной ли глушью, большим или стежкой, отраден дым очагов. Над островом Аннатом поднимались дымы... Когда живешь в тесноте, месяцами все с теми же, других людей встречаешь и остролюбопытно и в порыве братской общности. Вон они, островитяне, выбежали на берег, устремились в однодревках наперерез буруну...

Французский географ XVIII века Шарль де Брасс расчленил Океанию на Меланезию, Микронезию, Полинезию; трехчленная схема укоренилась в науке. Новые Гебриды приписаны к Меланезии.

Острова Меланезии отняли, пожалуй, две трети океанийской суши. Новая Гвинея, будущее прибежище Миклухо-Маклая, отняла, поди, семь восьмых Меланезии. Вулканической цепи длиною в девятьсот километров досталась малость. Однако Новые Гебриды казались морякам «Дианы» большими островами. И благодатными.

В сущности, изобилие было относительным. Не поборы душили земледельца — тропическое буйство зарослей. Да ведь после морского сухарика и затхлой жижицы чего лучше всеядной недели: что в среду, что в пятницу — трескай скоромное. Говядиной, правда, не раздобылись, но свежая свинина вкуснее солонины. И воды ключевой не пили, но озерная здешняя вода была ароматнее той, что густо всплескивала в осклизлых судовых бочках. И молочного поста не блюли: хочешь — козым усладись, хочешь — кокосовым.

Новые Гебриды еще не пахли колониальными франками. На берегу кипело меновое торжище: товар на товар. Тут дело решалось не только «без долгих», но и вовсе без слов. А вот береговые работы, сбор этнографических сведений нуждались в общении. Нынешнего мима Марсея Марса предвосхитил Федор Мур. Этот мичман, пишет Головнин, «имел удивительное искусство объясняться пантомимами».

Меланезийские острова запечатлены в дневниковых записях командира «Дианы». Лучшие тогдашние навигаторы ощущали в себе натуралистов и этнографов. Скучность специальных навыков искупалась точностью и правдивостью. Они исповедовали золотое правило: «Пишем о том, что видим; чего не видим, о том не пишем». И потому доньше не обесценились наблюдения и коллекции, собранные ценителями морей.

Отличительная особенность записок Головнина — доброжелательность. Термины «дикие», «дикари» не звучат уничтожительно, презрения к «цветным» не слышно.

Неверно утверждать, что лишь русские мореходы стремились к дружбе с туземцами. Многие европейские капитаны запрещали чинить обиды островитянам. Скорее из расчетливости, нежели из гуманности. Что ж до Головнина, то Василий Михайлович печатно высказал мысль эпохи Просвещения, высокую и благородную:

«Обширный ум и необыкновенные дарования достаются в удел всем смертным, где бы они ни родились, и если бы возможно было несколько сот детей из разных частей земного шара собрать вместе и воспитывать по нашим правилам, то, может быть, из числа их, с курчавыми волосами и черными лицами, более вышло бы великих людей, нежели из родившихся от европейцев. Между островитянами, без сомнения, есть люди, одаренные пронизательным умом и необыкновенною твердостью духа. Такие люди хотя и считали европейцев при начальном свидании с ними существами выше человека, но скоро усмотрели в них такие же недостатки, какие и в самих себе находили, что они во всем равны. Между ними есть даже мудрецы, твердостью характера не уступающие древним философам, которых имена сохранила история».

Цитированное выше итожило многолетние наблюдения Головнина.

Но и на Новых Гебридах губы капитана «Дианы» не топырило презрение, глаза не мерцали надменно.

«Они нас встретили, как старых друзей, и помогали наливать воду и таскать дрова». «К счастью нашему, жители острова были к нам хорошо расположены». «Островитяне обходились с нами совершенно по-дружески. Они нам не сделали ни малейшего вреда и не причинили никакого беспокойства, но, напротив того, старались нам услужить, как умели». «Нам не удалось видеть ни одного человека, который имел бы хотя несколько злобную физиономию».

Джеймс Кук, сойдя на берег, тотчас прибег к устрашению: велел палить из ружей. Меланезийцы, понятно, струхнули. Правда, один из них, напоминает Головнин, поворотясь к великому мореплавателю, красе и гордости Альбиона, спиною, «ударил себя ладонью несколько раз по заднице; это есть

обыкновенный вызов к бою у всех народов Южного моря (Тихий океан)».

Капитан «Дианы» ни из ружей, ни из пушек не палил. Он не требовал, чтобы «дикие» положили копья. И не устраивал каре для охраны рубки леса и завоза пресной воды. Предосторожности, говорит Головнин, казались ему ненужностью. Да и лестно ли получить «обыкновенный вызов к бою»?..

Теперь предстояло плавание к Камчатке. Следовало опередить зиму, проскочить в Авачинский залив до ледостава. Но спешить надо было осторожно. Острова, мели и рифы Тихого океана положил на карты минувший, XVIII век; руки тогдашних открывателей сжимали несовершенные приборы, карты частенько привирали. Не отвергая риска, Головнин уповал на «расторопность и искусство экипажа». Даже ночью, когда ни зги, шлюп имел большой ход.

Корабельщики издавна накопили короб примет. Французы непременно зачисляли в судовой штат голосистого петуха. Галльский петенька приносил счастье. Чилийцы и перуанцы опасались звенеть посудой. Ее звон чудился им погребальным звоном по тонущему товарищу. Англичане не терпели, когда за борт падал какой-либо деревянный предмет. Датчан бросало в дрожь, ежели перед отплытием встречали они на улице хозяйшку в белом фартуке. У англичан и французов существовала шкала черных дней: второе февраля и тридцать первое декабря, первый понедельник апреля и второй понедельник августа. Женщина на корабле — это уж такой ужас, что и толковать нечего. Плевать за борт и сейчас опасное неприличие, как плевков в брадатый лик бога морей. Об альбатросах уже говорилось. Тринадцатое число пользовалось мрачной репутацией. Чертова дюжина! Но Головнин и альбатросов не запрещал стрелять, и теперь не опечалился, когда пересек экватор именно тринадцатого. Напротив, он радовался скорому продвижению шлюпа, хотя скорость эта держала его в постоянном напряжении.

В один месяц «Диана» одолела жаркий пояс. И словно бы прощальным знаком возник на саже полуночного неба огненный шар с огненным хвостом. Мгновенно и грозно посветлело. Послышался удар, почти пушечный. И опять стало темно. Лишь шелест, всплеск, гром волн, посвист вант.

Потом наплывами пошла хмара. Ветер доходил «до высочайшей степени жестокости». Падали резкие холодные дожди. Косой град лупил в парусину, как дробь. А лица моряков все чаще освещались улыбками. И наконец озарились бурной радостью.

Как не радоваться молчаливой сопке, этому мертвому вулкану? Как не радоваться угрюмым скалам, похожим на лагерь сатаны? Тут уж и Головнина покинула всегдашняя сдержанность: «В 12-м часу перед полуднем, ко всеобщей нашей радости, увидели мы камчатский берег. Берег, принадлежащий

нашему отечеству!.. Радость, какую мы чувствовали при воззрении на сей грозный, дикий берег, представляющий природу в самом ужасном виде, могут только те понимать, кто бывал в подобном нашему положении или кто в состоянии себе вообразить оное живо».

5

Точка на географической карте — Петропавловск — ставила точку на пути длиною в семьсот девяносто четыре дня. Из них триста двадцать шесть дней «Диана» несла паруса, четыреста шестьдесят восемь стояла на якоре. Самый долгий переход длился девяносто три дня: остров Екатерины — мыс Горн — мыс Доброй Надежды.

Прибытие в порт назначения не просто швартовка. Это праздник. И чудится, даже корабль ощущает разительность перемены. Он будто грустно задумывается. Как старый покинутый дом. А «жилыцы» уже жадно, всей грудью дышат иной, береговой жизнью.

Им неприметна в первые дни печальная хмурость петропавловского бытия. Они пьют бесчисленные чашки крепкого чая. Они посещают «вечерки», попададя и дьячиха — первые дамы общества — потчуют их пирогами. Но куда приманчивее пирогов «русские молодые бабы и девки, которые часто собираются вместе, поют песни и пляшут». Головнин лукаво усмехается: на Камчатке «едва сыщется хоть одна Лукреция». Римлянку обесчестили, она закололась на глазах отца и мужа. Матросы «Дианы» не насильничали, петропавловские подружки рук на себя не налагали, а лишь старались не попадаться отцам и мужьям.

Со ссылкой на «академический календарь» Головнин говорит, что Петропавловск значится в списках городов Российской Империи. Вот уж истинно — «врут календари»! В Петропавловске не было ни единой улочки; острожком звали камчатские жители свое сиротское местоположение.

Урбанист бы отчаялся. Моряки не отчаивались. Бог послал удачливые охоты на куликов, на уток, удачливые рыбалки. В окрестностях Петропавловска обнимала людей, истомленных морем, власть земли. Для пахаря она подчас жестока, эта власть; морякам — сладостна.

Камчатская зимовка казалась почти беспредельной, а Головнин уже готовил шлюп к навигации 1810 года. Грузы, адресованные Охотску, обещался забрать транспорт «Павел». По весне, стало быть, «Диана» могла отправиться к северо-западным берегам Северной Америки.

Легла зима. Для здешних широт это мирное выражение вряд ли подходит. Не ложилась зима, как где-нибудь на Ря-

занщине, в Гулынках, — врывалась и бушевала. Да вдобавок ради пушего эффекта тряхнуло Петропавловск землетрясение. Оно, вспоминал Головнин, «было столь сильно, что многие из наших матросов, не видавшие прежде таких явлений и не постигая причины оногo, до того испугались, что выбежали из казармы, читая во все горло разные молитвы, хотя, впрочем, люди сии были привыкшие ко всем опасностям».

Инструкция Адмиралтейства не предписывала капитану Головнину обозрение Камчатки. Обозреть Камчатку предписывала страсть, родившаяся в Итальянском дворце. Жаркую светелку променял он на нарты; сытный обед — на вяленую рыбу и кипяток в юртах камчадалов; теплую постель — на ту, что стелет пурга.

Головнину сопутствовал Никандр Филатов, двадцатидвух-летний мичман. Они оставили Петропавловскую гавань после святок, в середине января 1810 года. Вернулись в марте.

Поездка не была увеселительной. Головнин, в сущности, выполнил ту же работу, какую много позже взвалил на себя Антон Павлович Чехов, посетивший каторжный Сахалин.

Камчадалы жили скудно. Скудость не однозначна со скупостью: путешественников встречали радушно. Селеньица гнездились друг от друга верстах в сорока — пятидесяти. Головнин с Филатовым добирались из одного острожка в другой. Вроде бы малый каботаж.

Страшных злоключений они не испытали. Испытали гнетущие морозы, бешеные ураганы, усталость, которую называют свинцовой. Они пересекали замерзшие реки, огибали сопки, углублялись в чащи, полные валежника, ехали тундрой, переваливали горный хребет.

Камчатские записи отличаются от новогребридских. На островах Головнин этнограф, и только. На полуострове он не только этнограф. В нем обнаруживается заботник, мыслящий государственно. Его патриотизм зряч. Он не Чаадаев, но и он «не научился любить свою родину... с запертыми устами».

Камчатка для Головнина часть России. Бедная, дикая, далекая, окраинная, но часть России. Камчадал для Головнина — житель России. Бедный, темный, опоенный сивухой, но житель России. И Головнин сперва пишет, а потом предает тиснению, выпускает в свет для всеобщего, публичного чтения.

«...Несчастные сии люди всякий год терпят по несколько месяцев голод, что здесь называется голодовать. В это-то время и питаются они березовою толченою корою, примешивая к оной небольшое количество сушеной и толченой в порошок рыбы, заготовленной для собак, кои наравне с своими хозяевами также по несколько дней сряду ничего не едят».

«Когда учредили в Камчатке областное правление и ввели туда батальон, то целая толпа поселилась там чиновников и офицеров. Батальон разместили по разным частям сего полу-

острова. Сие размещение подало разным чинам благовидную причину разъезжать по Камчатке под предлогом смотров, свидетельств и пр., а в самом деле для того, чтобы иметь случай выменивать у камчадалов соболей и лисиц на вино... И все такие разъезды бывают на счет камчадалов, которые должны проезжающих доставлять на своих собаках от одного селения до другого. Мода путешествовать по Камчатке от чиновников распространилась даже на простых подьячих и солдат, которые просятся в отпуск, чтобы промыслить для себя и собак корму, но, купив вина, ездят по острожкам и обманывают камчадалов»

«Голодные чиновники, служащие в тех краях, не только что хотят быть сыты, но и богаты. Когда мы видим часто дерзких смельчаков, которые... обогащаются в самих столицах, грабя казну и ближнего, то чего же можно ожидать от подобных сим людей в странах, отдаленных от высшего правительства на многие тысячи верст, где они управляют народами, не имеющими почти никакого понятия о законах и даже не знающими грамоты? Справедливость заставляет сказать, что бывали там чиновники, которых одна честь побуждала служить, так сказать, на сем краю света, но весьма редко; и все такие были притеснены сверху за то, что нечем им было поделиться, а снизу оклеветаны и обруганы потому единственно, что воров и рабителей не давали воли».

«Надобно знать, что всякий камчадал имеет между купцами своего кредитора, у которого во всякое время берет он в долг разные безделицы, не спрашивая о цене их, почему купец записывает в свою книгу за всякую вещь десятерную цену; так что иной камчадал по книгам должен ему рублей тысячу и более, в самом же деле и на сто не будет...»

Горестные заметки Головнин заключает трезвым балансом. Этот баланс сделал бы честь любому чиновнику министерства финансов. Правительству он, увы, чести не делал: расходы на содержание камчатского «аппарата» значительно превышали доходы от самой Камчатки. Область, по определению Головнина, оказывалась бесполезной.

Мысль его, однако, не сразу замирает на пессимистической ноте. Василий Михайлович усматривает «достоинства и весьма важные». Он не бредит заводами и фабриками, отлично сознавая, что и в центре отечества индустриальной дым не густ. Торговля мнится ему рычагом, который поднял бы Камчатку из нищеты и закоснелости. Торговля с Японией и Китаем, с Филиппинами, Гавайями, Калифорнией.

Моряк прикидывает с пером и картою в руках: даже слабый парусный ходок может достичь Кантона или Манилы за 60 дней, Нагасаки или Гавайских островов — за 40, Калифорнии — за 45 дней.

Затем Головнин указывает предметы экспорта и предметы импорта. Проект развивается логически: частным лицам даже

с тугой мощной столь махинное дело не в подъем. Необходима торговая привилегированная компания.

Головнин раньше всего моряк. И все ж он то и дело рассуждает политико-экономически. Качество, присущее выдающимся путешественникам прежних времен. Ныне оно, сдается, утрачено. Специализация исследователей отняла возможность критического рассмотрения «общих проблем»? Быть может, так. Но лишь отчасти. «Общие проблемы» — удел иных лиц, должностных, официальных. Какой гидрограф, какой ботаник, какой геолог включит в свой отчет страницы, посвященные администрации, благосостоянию населения, торговле.

А моряк Головнин включал. Проектируя камчатскую компанию, он не следовал за теми, кто отводил внешней торговле роль второстепенную. Мысли о ее второстепенности высказывали и Радищев, и Чулков, идеолог российского купечества, и профессор Болугьянский, талантливый финансист, сподвижник Сперанского. Болугьянский совсем уж категоричен: «Внешняя торговля останется вечно постороннею целью России».

Капитан Головнин не «великий эконом», он не судит, «как государство богатеет», а прикидывает, как взбодрить одну лишь окраинную область державы. Здесь согласие с Радищевым: «Чем больше торговля будет расширяться, тем больше людей она обогатит».

«Я давно говорил, что Тихий океан — Средиземное море будущего». Не знаю, кому, где, когда говаривал так Александр Иванович Герцен, но писал об этом в «Былом и думах». Сдается, нечто подобное мерещилось и командиру «Дианы», размышлявшему о камчатском импорте-экспорте, а потом и при виде белой маячной башни Ново-Архангельска.

Задолго до Герцена и не очень задолго до Головнина «умные очи» Ломоносова были устремлены «с берегов вечерних на восток»; шаг за шагом «Колумбы российские» открывали Америку, позвольте сказать, с другой стороны.

Старший современник Головнина, человек широкой сметки и коммерческого вдохновения, Шелихов уже осваивал северо-западные берега Северной Америки. А теперь, летом 1810 года, капитан коронного, правительственного шлюпа обменивался салютом с русским поселением на острове Ситха — высоко, сумрачном, гористом.

Колонизация, как всякое историческое событие, рождает и хулителей и хвалителей. Для одних она — делячество, для других — деяние. Для большинства хвалебщиков приемлема лишь колонизация «своя», осуществленная соплеменниками. А прочая — от лукавого.

По совести же следует признать, что «все хороши». Прогресс не спрашивается у сердца, действует, и баста. Где сил-

ком, а где тишком. Где звоном оружия, а где звоном золота. Иль вкрадчивым бульканьем спирта.

Легко, однако, решать, когда История уже решила. Пустячное дело — после драки кулаками махать. Попробуйте махать во время драки. Головнин пробовал. Для него много значило не только — что совершается, но и как совершается. И в этом нравственном критерии — грань его духовного облика.

Островитое побережье, откуда летом 1810 года капитану «Дианы» весело блеснул маячный огонь, издавна «поднимали» русские промышленники и мореходы: пушнину, «мягкую рухлядь», жадно поглощали рынок китайский и рынок российский. В царствование Павла получила солидные привилегии так называемая Российско-Американская компания.

В ее анналах множество романтических происшествий, мореходного геройства и геройства одиноких подвижников. Ее анналы пахнут овчинами безвестных тружеников, дымом индейских и алеутских костров. Страницы ее в белесой соли морей, в траурной черни порохового дыма. А рядом — колонки цифири, свары акционеро́в, челобитные ободранных русских и нерусских «липок».

Головнину довелось близко, пристально разглядеть Российско-Американскую компанию. Он и корабли водил, он и ревизором являлся, он и документы в Петербурге листал. Но то уже было позже. А нынче, июньской ночью, держась под малыми парусами, командир «Дианы» услышал шум весел.

«...Мы приготовились на всякий случай встретить неприятеля, зная воинственный характер, мужество и отважность жителей северо-западного берега Америки, которые для приобретения добычи на всякую крайность покуситься готовы; и что нередко им удавалось, пользуясь оплошностью европейцев делать на них нечаянные нападения с совершенным успехом».

Заметьте: Василий Михайлович лишь констатирует возможность нападения; в отличие от многих и многих капитанов не раздражается бранью, не поносит туземцев. Воинственность небеспричинная. «Где же сыщется такой народ, — подчеркивает Головнин, — который не покусился бы сбросить с себя чужеземное иго, коль скоро представится к тому случай!»

Не индейцами, а русскими оказались гребцы. Ну, к черту «меры?» О нет! Еще бабушка надвое сказала. И землякам велели оставить оружие в баркасе, по одному, неспешно всходить на шлюп. А на палубе никто не кинулся к ним с объятиями: команда сжимала ружья...

Рядовой колонист рекрутировался обычно из лапотных переселенцев. Переселенец старался ладить с местными «диками». Ну-кося уживись, новосел, если ты забияка, неснос-

ный сосед! Тут действовал мужицкий здравый смысл, о котором с таким здравым смыслом говаривал Белинский?

Но «в стране рабов, стране господ» взыскивали града, мечтали о вольной сторонушке не только пахари или ремесленники. Клейменный, вчистую обездоленный «класс преступников» (выражение Головнина) обманно завлекали за океан, а там, за океаном, острожники обретали «жизнь, худшую несравненно, нежели та, которую ведут ссылочные в Сибири». Не позволительно ли усомниться в благом влиянии этого «класса» на коренных жителей? И, даже не будучи поборником «Устава благочиния и полицейского», можно думать, что переселенцы из этого «класса» не слишком ревностно поддерживали правопорядок на отдаленном берегу.

Головнин наслушался рассказов (а может, и росказней) о всяческих невеселых происшествиях. Если туземцы не упускали случая пощипать пришельцев, то и старые каторжники не упускали темной ноченьки, дабы грабить грабителей.

Капитан и впрямь увидел страшноватые лица, отмеченные тавром отечественной юрисдикции, отдававшие палаческих гостинцев. Однако и не помышляли о насилии. Напротив, пришельцы оробели.

Все объяснилось быстро: звероловы решили, что пленены чужеземцами. (Загадка: чего было трусить, чего было терять?) Успокоился и Головнин. Улыбаясь, сказал, «что теперь они могут обнять своих соотечественников и говорить с ними; и когда матросы получа на сие разрешение, начали с ними разговаривать, то они, услышав со всех сторон русский язык, были вне себя от радости и признались, что они приехали, вооруженные саблями, пистолетами и ружьями. Но, подозревая, что мы англичане, на вопрос мой об оружии утаили, что они вооружены... После сей сцены один из промышленных, по имени Соколов, взялся быть нашим лоцманом; но не прежде рассвета взялся вести шлюп наш к гавани, по причине подводных камней, во входе лежащих».

Колонизация знает не только своих адвокатов и своих прокуроров, но и своих апостолов. Апостолы случались и такие и сякие. Но уж гуманисты среди них не водились. И водиться не могли. То была публика ухватистая, не щадящая ни других, ни себя.

Если б в чертогах русского царя расположилась не одна галерея генералов от инфантерии и генералов от кавалерии, но и генералов от капитала, генералов от торговли, то кисть Доу воссоздала бы немало умных, жестких ликов с прищуром проницательных глаз. Таким, думаю, был и коллежский советник Александр Андреевич Баранов.

Коллежский советник Баранов не отмечен даже в обстоятельной энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Но остров Баранова там указан. Так называли Ситху в 1819 году, когда уж ста-

рика Баранова, зашитого в просмоленную парусину, приняло море¹.

До смертного часа еще девять лет. А нынче, в июне восьмьсот десятого, главный правитель русских поселений в Америке «учтиво и ласково» встречает моряков «Дианы».

Резиденция правителя — прочная, из толстенных, не обхватишь, бревен, меблированная изделиями питерских и лондонских мастеров. В доме — весьма обширная библиотека. Коллежский советник невесело посмеивался: «Лучше бы, господа, наши директора прислали к нам лекарей, ибо во всех компанейских колониях нет ни одного лекаря, ни подлекаря, ниже лекарского ученика».

Здесь берега Головнин хотел положить на точные карты. Гидрография района интересовала морское министерство. Офицерам и штурманам «Дианы» надлежало удовлетворить этот интерес. Не ради науки только. В первую очередь ради компании — ведь она под «высочайшим покровительством».

Ситха плавала в туманах огромной медузой. Ее как бы накрывал гигантский запотевший колпак. Ртуть никогда не опускалась за нулевую риску. Стояла бессменная осень, лишенная очарования бабьего лета.

Туман — недруг гидрографа. И все ж Головнин и его усердные штурманы Андрей Хлебников и Василий Средний кое-что спроворили бы за лето. Они успели бы, когда б не известие от Дашкова, «российского генерального консула, в республике Соединенных областей пребывающего».

Консул Дашков по должности держал ухо востро. Где-то и как-то он вызнал об английском корсаре. Корсар намеревался опустошить закрома Русской Америки. Коллежский ассессор Баранов упросил Головнина оборонить Ситху. И «Диана» осталась близ Ново-Архангельска.

Корсар не явился. Время было упущено. «Обозрение» северо-западных берегов в то лето не осуществилось.

Осуществилась малость: знакомство с американскими корабельщиками. Не раз литература, посвященная освоению северо-западного берега, костыляет бостонских и нью-йоркских торгашей. Споры нет, скупщики-перекупщики уменьшали барыш акционеров. Но сам-то Баранов им потворствовал. Может статья, скрепя сердце. Баранов, как сказали бы теперь, был реальным политиком. А реальность крылась в том, что колонистам, простите, жрать было нечего: из России продовольственные запасы улитой ехали. Куда бойчее оборачивались американцы.

¹ А. А. Баранов (1746—1819) был первым главным правителем русских поселений в Америке. В 1818 году прожив десятки лет в Новом Свете, отправился в Петербург на корабле «Кутузов» (командир Л. А. Гагемейстер). В пути, у острова Ява, скончался.

Капитан «Дианы» раскланялся со шкиперами. Все было очень мило: ели, пили, поднимали бокалы за президента и государя императора, бахали из пушек. Посреди кейфа «нечаянный случай» позволил Василию Михайловичу сделать наблюдение, достойное разведывательной службы?

Очевидно, Джон Эббетс находился «под градусом»: шкипер «Энтерпрайза» ненароком показал капитану «Дианы» некий документ. Из него явствовало, что американцам «хотелось знать: сколь легко было бы для Соединенных областей перевестись силою с компаниею, если бы обстоятельства того потребовали...» Короче, прав Козьма Прутков: «Не для какой-нибудь Анюты из пушек делают салюты» — торговля, конечно, торговлей, но и шпионить не худо.

Однако покамест не приходилось гордо отвергать пособничество; Головнин честно признает, что русские добытчики пушнины временной своею сытостью (относительной, разумеется) обязаны «коммерческому духу и спекуляциям американцев, то есть тех самых торговцев, которых попечители компании хотели отдалить совершенно от северо-западных берегов Америки». И сами, значит, не кормили, и другим не давали. «Вот, — замыкает Головнин, — до какой степени простирается дальновидность Американской компании: не обеспечив всегдашнего продовольствия своих колоний собственными средствами, настаивали они, чтоб и чужие народы не давали им пищи».

Итак, ожидание корсара-налетчика не позволило Головнину заняться гидрографией. Василий Михайлович занялся ею на другой год. И в других широтах.

6

Замечательный человек не всегда знаменит. Незамечательных знаменитостей легион. Это не парадокс, а факт обыкновенный. И сатана, говорят, в славе, да не по добру.

Мичманов и шкиперов, освоивших Дальний Восток, Чехов называл людьми замечательными; они работали «не пушками и не ружьями, а компасом и лотом».

Зимуя (после Америки) в сугробистом Петропавловске, Василий Михайлович составлял план описи Курильских островов. Чтобы видеть далеко, надо взобраться не только на мачту, но и на плечи предшественников.

Ровно за сотню лет до Головнина казаки-землепроходцы Анциферов и Козыревский переправлялись с Камчатки на северные Курилы. Геодезистов Евреинова и Лужина посылал царь Петр: «...до Камчатки и далее, куды вам указано...» Геодезисты достигли центральных Курил, четырнадцать островов обозначили. Много трудился сподвижник и земляк Беринга —

Шпанберг Мартын. Этот и Японии достиг, да на беду карту составил, мягко выражаясь, не ахти точную¹.

Подробный отчет о Курилах сделал сотник Иван Черный: две зимы отгосковал на островах, два лета плавал среди островов. Айонов-курильцев привел под скипетр Екатерины, этнографическую коллекцию подарил Академии наук.

Вслед за одним Иваном подался другой: Антипин, сибиряк, служивший у купца Лебедева-Ласточкина. Сотоварищем Антипину был иркутянин Дмитрий Шабалин. Добавили они к отчету сотника и «натурную» коллекцию, и записи, и чертежи.

Бригантина «Наталия» (на ней плавал Антипин) погибла. Шлюп «Надежда» (на нем плавал Крузенштерн) едва не погиб среди мелких и острых скал, повитых туманом. Те скалы Крузенштерн окрестил метко — Каменные Ловушки.

Ловушек было множество. Посейчас мореходство на Курилах никто не сочтет легким. А каково доставалось без локаторов и эхолотов, без радио и маяков, пусть хоть масляных? Скольких скитальцев приняли километровые глубины Охотского моря, бездны Тихого океана? Сколько судов загубили сулоны, эти злобные всплески в курильских проливах, короткие, сталкующиеся волны, словно бы поставленные на попа? А сколько потерпевших крушение изныло у изножья вулканов?

В мае 1811 года командир «Дианы», уже произведенный в капитан-лейтенанты и награжденный орденом Святого Владимира 4-й степени, пошел к Курилам. Опись хотел он начать от пролива Надежды (меж 12-м и 13-м островами), продолжить ее к югу до японского острова Хоккайдо. Оттуда Головнин намеревался подняться к северу вдоль восточного побережья Сахалина и закончить навигацию обзорением Шантарских островов.

План был четкий, разумный, исполнимый. Но, как в таких случаях вещали старинные романисты, судьба уготовила Головнину нечто ужасное. Однако до этого несчастья остается еще два с половиной месяца.

Итак, Головнин приступил к описи, к тому негромкому

¹ Писатель и географ Ю. К. Ефремов работал на Курильских островах после Великой Отечественной войны. Одна из задач экспедиции заключалась в возрождении русских географических названий, похороненных за долгие годы японского правления. «Перед нами, — пишет Ю. К. Ефремов, — встал вопрос: не использовать ли карту Шпанберга при восстановлении старых названий? К сожалению, это оказалось неосуществимым. Островов на своей карте Шпанберг нарисовал больше, чем их было в действительности. Возможно, что туман, застилая низкие перешейки, разделял целые острова на части, и Шпанберг изобразил по несколько островов на месте единого острова. Контуры при этом получились такими искаженными, что невозможно было их опознать». Ефремов Ю. К. Курильское ожерелье. — М. — Л., 1951.

Об изначальных экспедициях см., например, содержательную работу Б.П. Полевого «Первооткрыватели Курильских островов: Из истории рус. геогр. открытий на Тихом океане в XVIII в.». (Южно-Сахалинск, 1982.)

делу, которое не требовало ни пушек, ни ружей. Познание предполагает любовь к познанию; самая любовь тоже род познания.

Нынешний гидрограф согласится: да, именно любовь. Прибавит: и терпение. И еще выносливость. И еще навыки. И еще... И еще... Не тот стремительный бег по волнам, что дает удивительную наполненность пространством, нет, валкое, неспешливое движение, ожидание прилива или отлива, бесконечная лавировка и бесконечное пеленгование, бесконечные измерения лотом, и эти чертовы «толкачики», как матросы прозвали сулон, и этот спуск и подъем гребного баркаса, когда свисток боцмана призывает всех наверх.

Топонимика занята родословием географических названий. Имена личные подчас обозначают не только личность, но и судьбу. Имена кораблей увековечивают экипаж, давно мертвый, как и корабль. Святые из святцев указывают на дату открытия. В именах, проставленных на морской карте, угадывается и этика капитанов-«крестных».

Желание обозначить собственные «я» на чертеже мира понятно. Головнин предпочитал, чтобы его «я» обозначили потомки. Или современники. Он не просчитался. Так сказать, самонаграждение претило Головнину. И уж вовсе был он чужд лизоблюдства, присущего, увы, многим уважаемым навигаторам. Тем, кто не только заливам, мысам и островам давал «фамилии князей и графов», но и на лысых одиноких скалах «рассаживал» «всех министров и всю знать». Примером, недостойным подражания, Головнин указывал Джорджа Ванкувера, хотя и ставил его, как профессионала, рядом с Куком. Ванкувер, иронизирует Василий Михайлович, «тысяче островов, мысов и пр., кои он видел, раздал имена всех знатных Англии и знакомых своих; напоследок, не зная, как остальные назвать, стал им давать имена иностранных посланников, в Лондоне тогда бывших».

Ванкувер сварил демьянову уху; в отличие от крыловского героя англичане хлебали ее, облизываясь. Нечего таить, русские мореплаватели, современные Головнину, грешили низкопоклонством, хоть и не столь густым, но «тех же шей, да пожиже влей». Крузенштерн, Лазарев с Беллинсгаузеном, Коцебу, Циволька, Пахтусов пользовались случаем «комплименты свои обнародовать всему свету» (упрек Головнина, адресованный «нынешнему мореплавателю»). Все они оставили на карте «мушинные следы», — государи и государыни, наследники и светлейшие князья, министры и начальники штабов.

Головнин не обращал мысленного взора в сторону петербургской Дворцовой площади, хотя верил в добрые намерения «высшего правительства». Это уж много позже он скажет, что «не на всех тронах сидят Соломоны». Однако и теперь что-то удерживает капитан-лейтенанта от топонимической лести. Уж

не гордость ли потомственного дворянина? Да ведь тут она уместна.

Суть, впрочем, глубже. Сколько атоллов именовали русским звуком русские мореплаватели? Множество. А сколько из них прижились и удержались? Единицы. Ибо застревали в гортани туземца, забывались. Нередко, правда, с помощью европейских картографов. Но исчезали, и вся недолга.

Справедливость, утверждал Василий Михайлович, справедливость требует, чтобы населенные части земного шара назывались так, как они именуются жителями, а не так, как их «обзовет» первый попавшийся пришелец. Командир «Дианы», по свидетельству знатока курильской топонимики Ю.К. Ефремова, «тщательно учел географические сведения, которыми располагали местные жители — айны, уточнил айнские названия островов, их произношение и написание. Именно в том виде, как они записаны Головниным, теперь восстановлено большинство названий отдельных Курильских островов».

Острова. Проливы. Ломаный курс. Череда однообразных записей: широты и долготы, глубины и направление течений, характер гаваней и абрисы приметных пунктов. В записях чаще всего: «туман», «мрачность», «мокрота».

«Различные замечания, касательные плавания у Курильских островов», сделанные Головниным, содержат дюжину параграфов. Последний — в одну строку — гласит: «Скорое возвращение птиц глупышей к берегу означает приближение бури».

Глупыши не торопились. Но буря близилась. И неожиданно рухнула на Головнина и его товарищей.

Глава начата цитатой: «Из четырех случаев моего отправления из Европы в дальние моря я никогда не оставлял ее берегов с такими чувствами горести и душевного прискорбия, как в сей раз».

Глава заканчивается цитатой: «Хлебников, шедший за мною, сказал мне: «Василий Михайлович! Взгляните в последний раз на «Диану!» Яд разлился по всем моим жилам. «Боже мой, — думал я, — что значат эти слова? Взгляните в последний раз на Россию; взгляните в последний раз на Европу! Так. Мы теперь люди другого света. Не мы умерли, но для нас все умерло».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Поэт усмехался:

Я раньше думал «лейтенант»
звучит «налейте нам»...

Поэт пал на Великой Отечественной, познав сверх меры, что «война совсем не фейерверк, а просто трудная работа». В том, что мнилось прежде, в игристом созвучье веяла литературная реминисценция: гусарская поэзия, пушкинская проза и, может быть, мемуаристика.

«Налейте нам», удаль, забубенность и впрямь, как выражаются докладчики, имели место. Кипела кровь, кипел и пунш. Шалости, не всегда милые, прощались: быть, дескать, молодцу не укор. Толстой не заставлял Долохова пить вино, свесив ноги с третьего этажа: Долоховы так пивали. С воцарением Александра I хлопанье пробок заглушило павловские барабаны. (Аракчеевские еще молчали.)

Известный пакостник Фаддей Булгарин в юности щеголял уланом. Десятилетия спустя он вспоминал:

«Попировать, подраться на саблях, побушевать, где бы не следовало, это входило в состав нашей военной жизни в мирное время... Эта военно-кавалерийская молодежь не хотела покоряться никакой власти, кроме своей полковой, и непрерывно противодействовала земской и городской полиции, фланкируя противу их чиновников. Буянство хотя и подвергалось наказанию, но не почиталось пороком и не помрачало чести офицера... Стрелялись чрезвычайно редко, только за кровавые обиды, за дело чести; но рубились за всякую мелочь, за что ныне и не поморщатся. После таких дуэлей наступала обыкновенно мировая, потом пир и дружба».

Поведав о сухопутных офицерах, Булгарин замечает: «Во флоте было еще больше удалства... Вся гвардия и армия знала о дружбе и похождениях лейтенантов Давыдова и Хвостова, русских Ореста и Пилада, которые и жили, и страдали вместе, и дрались отчаянно, и вместе погибли»¹.

Головнин знал обоих. Коля Хвостов был его ровесником и одноклассником. Гаврила Давыдов застал в Морском корпусе унтер-офицера Головнина. Хвостов и Давыдов, как и Василий

¹ Булгарин Ф. В. Воспоминания: Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни. — СПб., 1846—1849. Ч. 1—6.

Экземпляр мемуаров, хранящийся в Библиотеке им. В. И. Ленина под шифром S 73/95, испещрен язвительными восклицаниями читателя-современника. Одно из них особенно примечательно. На страницах 315—316 автор «Воспоминаний» как бы мимоходом лягает мертвого льва, утверждая, что «гениальный Пушкин» изьяснялся «более по-французски, думая этим придерживаться высшего тона», и что «похвала какого-нибудь князя» была ему дороже похвалы Державина. Рядом гневная отповедь неизвестного читателя: «Вздор и ложь: я знал Пушкина и помню, что он охотно и прекрасно говорил по-русски. Но Булгарин не может позабыть и переварить эпиграммы Пушкина». И далее: «Гнусна ложь: нельзя было держать себя благороднее Пушкина...»

Насколько мне известно, пушкинисты не обратили внимания на этот экземпляр булгаринских мемуаров. Представляется небезынтересным установить автора маргиналий.

Михайлович, служили на эскадре, ходившей к берегам Англии.

Вскоре они расстались. И уж навсегда. Головнин волонтером отправился на Запад, Хвостов и Давыдов — на Восток. Тоже в некотором роде волонтерами: кошельки у приятелей не оттягивали карман, а Российско-Американская компания предложила хорошее жалованье. К тому же Америка, «дикари», риск, желание славы — все было магнитом.

Плавали они много, умело, удачно, храбро. А в тот год, когда «Диана» ушла в дальний вояж, явились в курильские воды — Хвостов на вооруженном судне «Юнона», Давыдов на тендере «Авось». И явились отнюдь не тружениками гидрографии, но жрецами Марса.

Случилось же так вот почему.

Резанов — один из заправил Российско-Американской компании — участвовал в кругосветной экспедиции Крузенштерна. Камергеру поручили завязать дипломатические отношения со Страной восходящего солнца. В Японии, однако, ему указали на дверь.

Азиатская страна чуждалась грешного мира. Японцам строго запрещалось любое знакомство с европейцами. Европейцам возбранялось проникновение в Японию. Но, как и всякая изоляция, японская изоляция была обречена. Вопрос времени, и только. Бьет час, государство-страус поневоле вытаскивает голову из песка.

Голландцы «просочились» в Японию. И тотчас начали опасаться прочих европейцев — конкуренция не входит в расчеты негоциантов. А японские власти полагали, что с них достаточно голландцев.

Изоляция продолжалась. Ни русские, ни англичане, ни американцы с нею не мирились. Когда японцы показали камергеру от ворот поворот, камергер обиделся. И за себя и за Россию.

Орудием мести избрал он лейтенантов Хвостова и Давыдова. Обида, известно, плохой референт. Впрочем, Резанов личных чувствований не выказывал, напирал на то, что оскорблена Россия. До царя было далеко, а потому решай дело собственным разумением. Резанов и решил.

Он обладал дипломатическим пером — его инструкция туманна. Лейтенанты обладали офицерским молодечеством — они извлекли из нее вполне ясный смысл. И, не мешкая, ринулись жечь и громить.

А Петербург вовсе не помышлял о вооруженном столкновении с Японией. Не знаю, оправдался ли на небесах Резанов, умерший «от жестокой горячки», а на земле пришлось оправдываться исполнителям его воли. И оправдываться кровью. Покамест Адмиралтейств-коллегия рассматривала происшествие, обоих лейтенантов спровадили до суда в Финляндию, где

«налейте нам» и познали, что «война совсем не фейерверк, а просто трудная работа». Оба не оплошали и в «трудной работе». Дрались отчаянно, их представили к отличию. Александр I ответил: «Не получение наградений в Финляндии послужит сим офицерам в наказание за своевольство противу японцев».

Огорчительно, но вместе и радостно: от суда моряки избавились. Обосновались они в столице «до востребования». Давыдова приютил вице-адмирал Шишков. Шишков понудил молодого человека перебелить путевые записки. Их издали в 1810 году. Ни автора, ни его закадычного друга уже не было в живых.

Погибли они так. Пили на Васильевском острове с капитаном Вулфом. (У этого американца Резанов некогда купил «Юнону».) Насандалившись, потопали восвояси. Стояла осенняя ночь. Исаакиевский мост развели, пропуская баржу. «Э, где наша не пропадала!» — лейтенанты прыгнули на баржу, с баржи хотели сигануть на мост, на беду промахнулись. Больше их не видели.

Книгу «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова» внимательно, с карандашом читал Головнин.

Там, где Давыдов рассказывает, как русские чиновники научили малые народности Севера лгать и изворачиваться, Головнин пишет: «Да и как же быть сему иначе? Какой народ может говорить искренно со своими притеснителями?»

Там, где Давыдов рассказывает, как островитян заставляют присягать на верность русскому царю, Головнин пишет: «Присваивать вольный народ себе в собственность есть дело крайне несправедливое!»

Там, где Давыдов рассказывает о православных миссионерах, Головнин пишет: «Везде видны следы христиан, озаряющих светом истины народы непросвещенные... для пополнения своих карманов». И далее: «Поступки человека к человеку поневоле заставляют сомневаться в бытии божием»¹.

Однако с этим сочинением познакомился Головнин не в десятом году, а много позже. Теперь же ему пришлось платить за разбитые горшки.

2

К забывчивости склонны обидчики. Обиженные к забыв-

¹ Экземпляр книги Г. Давыдова, читанный В. М. Головниным, находился в библиотеке писателя Вл. Лидина. «Во множестве карандашных пометок, подчеркнутых строчках, восклицательных и вопросительных знаках можно ощутить твердый характер знаменитого мореплавателя... В пометках этих во всей полноте проявляется благородство просвещенного деятеля, непримиримого к взяточничеству, поборам и угнетению человека». (Лидин Вл. Наедине с книгами. //Новый мир. 1957. № 6.)

чивости не склонны. Век спустя после походов «Юноны» и «Авось» была в Иокोगаме издана книга русского автора; упоминая Хвостова и Давыдова, он писал: «Память о них, изгладившаяся в России, живо сохраняется до сего времени в Японии, факт, с которым нам необходимо самым тщательным образом считаться, когда мы рассуждаем о психологии отношений японцев к русским». Это утверждалось в девятьсот девятом. Легко вообразить «психологию отношений» в восьмьсот одиннадцатом.

«Кунашир» — по-айнски «черный остров». Леса ли чернят, вулканический ли пепел? Головнину же Кунашир и впрямь показался черным.

Головнин охотился за двумя зайцами: хотел пополнить трюмы провизией, дровами, пресной водою; хотел изучить неизвестный европейцам пролив между Кунаширом и Хоккайдо. Но едва «Диана» приблизилась к Черному острову, как хозяева послали ей ядерные гостинцы. Головнин вгорячах едва не ответил орудийным огнем. Хладнокровие победило. Головнин рассудил, что «без воли правительства начинать военные действия не годится».

Японцы избегали пришельцев. Торговали заочно: припасы оставлялись на виду, моряки, забирая их, на виду оставляли деньги. И дровишки матросы рубили, и воду наливали без помехи. Крепость молчала. Головнин радовался: японцы, кажется, убедились в миролюбии русских.

Потом было получено приглашение посетить «главного начальника». На берег отправились капитан, штурман Хлебников, мичман Мур, матросы Симонов, Макаров, Шкаев, Васильев и переводчик Алексей. Офицеры были при саблях; карманный пистолет штурмана годился лишь как сигнальный.

В крепости состоялась чайная церемония. Подали табак и трубки. Японский чиновник в шелковом халате и с железным жезлом в руках спрашивал то же, что спрашивают обычно островные губернаторы: назначение экспедиции, название корабля, в чем нужда мореходов. Головнин отвечал, курилец Алексей толмачил. Хозяин олицетворял радушие. Аудиенция заканчивалась в «обстановке взаимопонимания». И вдруг все решительно переменялось.

Головнин описал роковое кунаширское свидание: «...Начальник, говоривший дотоле тихо и приятно, вдруг переменял тон: стал говорить громко и с жаром, упоминая часто Резаното (Резанов) Николай Сандреич (Николай Александрович)¹, и брался несколько раз за саблю. Таким образом сказал он предлинную речь. Из всей речи побледневший Алексей пере-сказал нам только следующее: «Начальник говорит, что если

¹ Так звали лейтенанта Хвостова. (Примеч. Головнина.)

хоть одного из нас он выпустит из крепости, то ему самому брюхо разрежут». Ответ был короток и ясен: мы в ту же секунду бросились бежать из крепости, а японцы с чрезвычайным криком вскочили с своих мест, но напасть на нас не смели, а бросали нам под ноги весла и поленья, чтоб мы упали. Когда же мы вбежали в ворота, они выпалили по нас из нескольких ружей, но никого не убили и не ранили, хотя пули просвистали подле самой головы Хлебникова. Между тем японцы успели схватить Мура, матроса Макарова и Алексея в самой крепости, а мы, выскочив из ворот, побежали к шлюпке.

Тут с ужасом увидел я, что во время наших разговоров в крепости, продолжавшихся почти три часа, морской отлив оставил шлюпку совсем на суше, саженья в пяти от воды, а японцы, приметив, что мы стащить ее на воду не в силах, и высмотрев прежде, что в ней нет никакого оружия, сделались смелы и, выскочив с большими обнаженными саблями, которыми они действуют, держа в обеих руках, с ружьями и копьями, окружили нас у шлюпки...

В крепости ввели нас в ту же палатку, поставили на колени и начали вязать веревками в палец толщины, самым ужасным образом, а потом еще таким же образом связали тоненькими веревочками, гораздо мучительнее... Кругом груди и около шеи вздеты были петли, локти почти сходились, и кисти рук связаны были вместе; от них шла длинная веревка, за конец которой держал человек таким образом, что при малейшем покушении бежать, если б он дернул веревку, руки в локтях стали бы ломаться с ужасной болью, а петля около шеи совершенно бы ее затянула...

Я во всю мою жизнь не презирал столько смерть, как в этом случае, и желал от чистого сердца, чтобы они поскорее совершили над нами убийство... Наконец, они, сняв у нас с ног веревки, бывшие под икрами, и ослабив те, которые были выше колен, для шагу, повели нас из крепости в поле и потом в лес.

Поднявшись на высокое место, увидели мы наш шлюп под парусами. Вид сей поразил мое сердце: но, когда Хлебников, шедший за мною, сказал мне: «Василий Михайлович! Взгляните в последний раз на «Диану», яд разлился по всем моим жилам. «Боже мой, — думал я, — что значат эти слова? Взгляните в последний раз на Россию; взгляните в последний раз на Европу! Так. Мы теперь люди другого света. Не мы умерли, но для нас все умерло».

Великодушные поступки Мура и Хлебникова при сем случае еще более терзали дух мой: они не только не упрекали меня в моей неосторожной доверенности к японцам, ввергнувшей их в погибель, но даже старались успокаивать меня и защищать, когда некоторые из матросов начинали роптать,

приписывать гибель свою моей оплошности. Я признаюсь, что за упреки тех матросов ни теперь, ни тогда не имел против их ни малейшего недовольствия: они были совершенно правы».

3

Ладно, матросы были правы по-своему. Но вправе ли историки на правоту «по-своему»?

Японские авторы единодушны: Хвостов с Давыдовым — пираты. Русские авторы единодушны: захват Головнина — вероломство.

Попытка встать «поверх барьеров» всегда рискованна. Не знаю, каково досталось Димитрию Позднееву, но он заглянул по обе стороны «баррикад»¹.

Позднеев выгораживает Хвостова и Давыдова: экипажи «Юноны» и «Авось» нанесли ущерб лишь военным объектам. Ядра и пули историк наделяет качеством историков: избирательностью. Однако Позднеев объясняет и акцию на острове Кунашир. Экспедиция Хвостова, говорит он, взбудоражила японцев, заставила «изучать своего врага».

Япония и Россия почти не знали друг друга. Интерес возник отнюдь не академический. Японские власти шлют сведений чиновников на порубежные острова; поручают выбирать из голландских книг известия о России; осуществляют некоторые административные и военные меры. И выходит, что пленение русского офицера было не столько мстью, сколько захватом важного информатора: японцы взяли «языка»...

Проводив Головнина к японскому начальнику, лейтенант Рикорд, старший офицер шлюпа, хлопотал в ожидании ответного визита вежливости. Усилия Петра Ивановича прервали выстрелы и крики. Потом наступила тишина. Ворота крепости наглухо затворились. Берег обезлюдел.

Страшные подозрения охватили Рикорда. Но Петр Иванович, подобно Головнину, прошел долгую боевую выучку — он начал действовать без промедления. Шлюп снялся с якоря и приблизился к берегу. Рикорд надеялся устроить японцев; устранив, завязать переговоры.

Японцы если и напугались, то не стали ждать парламентаря, а дали слово береговой батарее. «Диана» подавила ее на

¹ Позднеев Д. М. Материалы по истории Северной Японии и ее отношений к материкам Азии и России. — Иокохама, 1909. Т. 2, ч. 3.

Отмечая «серьезность и вдумчивость» В. М. Головнина, автор, однако, упрекает его в несерьезном, невдумчивом отношении к «боевым способностям» японцев. А коль скоро такое отношение было усвоено, то и оказывается, что Головнин в известной степени (ему известной, Д. Позднееву) повинен в неудачах русско-японской войны, происходившей без малого столетие спустя.

стосемидесятом залпе. Однако, выиграв артиллерийскую дуэль, Рикорд, в сущности, ничего не выиграл: неприятель укрылся за крепостными валами.

Команда «Дианы» готова была броситься десантом. Рикорд мгновенно прикинул: пять десятков моряков и... Сколь их там, на этом Черном острове? Пусть десант и одержит победу, но что будет с опустевшей «Дианой»? Не сумеет ли недруг пустить корабль ко дну?

«С горестными чувствами, — признается Рикорд, — оставили мы залив Измены, по справедливости названный сим именем офицерами шлюпа «Диана», и пошли прямейшим трактом к Охотскому порту».

Плавание выдалось спокойное, но «душевное уныние и скорбь» тенью скользили по кораблю. Несчастье — реактив: оно явственно определяет человеческие отношения. Головнин был, как говорится, застегнут на все пуговицы. Его внешняя холодность устанавливала «дистанцию». Теперь его сдержанность никого не сдерживала, субординация не стопорила движения души. Можно уважать не любя. Можно, пожалуй, и любить не уважая. И любви и уважения удостоивался не каждый командир. Головнин удостоился.

Горше всех печалился Рикорд. Василий Михайлович был ему как побратим. Заметы Рикорда, впоследствии опубликованные, трогательно-минорны.

«Я жил в каюте, которую 5 лет занимал друг мой Головнин и в которой вещи оставались в том же порядке, как были положены им самим в самый день его отъезда на злополучный берег; все сие напоминало весьма живо о недавнем его присутствии. Офицеры, входившие ко мне с докладом, часто по привычке ошибались, называя меня именем-отчеством Головнина, и при сих ошибках возобновляли скорбь, извлекавшую у них и у меня слезы. Какое мучение терзало душу мою! Давно ли, думал я, разговаривал я с ним о представлявшейся возможности восстановить доброе с японцами согласие, которое было нарушено безрассудным поступком одного дерзкого человека, и в чаянии такого успеха мы вместе радовались и душевно торжествовали, что сделаемся полезными своему отечеству. Но какой жестокий оборот последовал вместо сего?.. Такие размышления доводили меня до отчаяния во всю дорогу»¹.

Начальником порта служил в Охотске капитан 2-го ранга

¹ В дневнике он еще красноречивее: «Последовавшее 11 июня 1811 года с нами при острове Кунашир несчастье помрачило мой рассудок. Волнующиеся мои мысли везде представляли мне толпы соединенных бедствий, стремящихся поразить меня». Рикорд П.И. Записки флота капитана Рикорда о плавании его к Японским берегам в 1812 и 1813 годах и о сношениях с японцами. — СПб., 1816.

Миницкий. Рикорд с ним обнялся: однокорытники, гардемарины, волонтеры. Выслушав Петра Ивановича, Миницкий поник. Умри Головнин в океане... Ну что ж, старый моряк сэр Гемфри Джилберт, дыша на ладан, молвил: «В море мы так же близки к небесам, как и на земле». Но попасть в лапы лютых ненавистников христиан? Худшего не придумаешь!

Рикорд с Миницким мужали на палубах. Палубы не место для плакс. Рикорд с Миницким не хотели, как говорят на флоте, отопить реи, то есть наклонить их в знак траура. Головнин оставался в строю. Как корабль, гибель которого недостоверна.

Офицеры изготовили рапорты морскому министру и генерал-губернатору Сибири: доложив о происшествии, ходатайствовали о снаряжении поисковой экспедиции. Рапорты отправили с нарочным.

Ну, что еще? Сиди у моря и жди погоды? Но бумага, не секрет, зачастую ложится под сукно. К тому же Петром Ивановичем вдруг овладело беспокойство. Черт подери, не заключат ли там, под шпилем Адмиралтейства, что старший офицер «Дианы» оплошал и, мягко выражаясь, несколько преждевременно ретировался из залива Измены?

Рикорд оседлал коня.

Моряк верховой что кавалерист марсовой — не орел. А осенняя дороженька на Иркутск скатертью стелилась лишь варнакам, беглым каторжникам. В тогдашнем «Реестре генеральных трактов, пролегающих от Москвы до границ Российской Империи», она и не значилась. «Генеральные» и те были костоломами, чего ж сулила дорога без верстовых столбов?

«Я должен признаться, — жалуется Рикорд, — что сия сухопутная кампания была для меня самая труднейшая из всех совершенных мною: вертикальная тряска верховой езды для моряка, привыкшего носиться по плавным морским волнам, мучительнее всего на свете! Имея в виду поспешность, я иногда отваживался проезжать две большие в сутки станции, по 45 верст каждая; но тогда уже не оставалось во мне ни одного сустава без величайшего расслабления; самые даже челюсти отказывались исполнять свою должность».

Но вот наконец Иркутск. И что же? Лейтенанту отказали в подорожной: Санкт-Петербург не принимал Рикорда, царь повелел ему убираться в Охотск, морской министр «не удостоил разрешением содействовать» вызволению пленных.

Недосуг было «вышнему» эталону: надвигался вал Бонапартова нашего счастья. Какие еще там пленные?! Какие еще там японцы?! Ах, господа, господа, ну куда же вы сами-то смотрите? Нет-с, милостивые государи, теперь уж как хотите, как хотите... Словом, Петербург умыл руки. Хлопотать об осво-

бождении верных подданных поручили сравнительно мелкой сошке — иркутскому гражданскому губернатору Трескину¹.

Для Рикорда губернатор был «посторонней властью». Как! Офицеру встать под начало берегового гражданского чиновника? Петр Иванович досадовал. Но именно «посторонняя власть», именно Трескин обнаружил к Головнину сердечное расположение, и Рикорд смирился.

Трескин хорошо понимал, что умолчание о спасательных мерах равно отказу от них. Но Трескин не хуже того понимал, что умолчание можно истолковать по-своему. Рикорд лукавил: надо, дескать, завершить опись южных Курил. Трескин смекнул: лейтенант рвется на Кунашир, в залив Измены, чтобы вступить в переговоры с японцами. Губернатор не перечил. Он вдобавок снабдил Рикорда письмом к японскому начальству. Понятно, послание губернатора не обладало весом министерского (не говоря уж царского), однако было официальным документом.

Живя у хлебосольного Трескина, Петр Иванович познакомился с «природным японцем Леонзаймо». Человек этот впоследствии досадил Рикорду. Правда сказать, Леонзаймо не стоит побивать камнями. Ему-то ведь тоже досадили. И очень! Он был схвачен на острове Итуруп матросами хвостовой «Юноны», точно так же, как японские солдаты схватили на Кунашире Головнина. Из сибирского плена Леонзаймо пытался бежать. Намерение опять таки не злодейское. Его поймали, он едва выжил, затаился.

А наш-то Петр Иванович, ничтоже сумняшеся, возложил на пленника радужные надежды: и переводчиком-то он будет (Леонзаймо выучился русскому), и ходатаем за Головнина, и советчиком, и... И бог весь еще кем. Столь приятные упования баюкали Рикорда на обратном пути в Охотск, сливаясь с плавно-увалистым бегом зимней кибитки.

В Миницком Рикорд не обманулся: порт неустроен был и беден, но Михаила Иванович исхитрился снарядить «Диану» по первому разряду. Больше того, пополнил экипаж за счет местного гарнизона. И еще больше: отдал под команду Рикорда бриг «Зотик».

Тщательные приготовления завершились принятием на борт «Дианы» еще шестерых (кроме Леонзаймо) японцев-рыбаков, потерпевших крушение близ Камчатки. Рикорд ликовав: в Японии томятся семеро русских, в России нашлось семеро японцев. Баш на баш. Душа на душу — чем не размен пленными!..

В тот июльский день, когда «Диана» и «Зотик» выбрали

¹ Сравнительно недавно опубликован документ, проливающий свет на намерения США способствовать освобождению В.М. Головнина и его команды. (Россия и США: становление отношений, 1765-1815. — М., 1980. Док. № 423.)

якоря, Багратион начал отход к Смоленску. В тот августовский день, когда моряки увидели дым курильского вулкана, запылал Смоленск. А в тот день, когда «Диана» уже стояла в заливе Измены, грянул Бородинский бой.

Рикорд хранил письмо иркутского губернатора к начальнику острова Кунашир. Леонзаймо обязался перевести письмо на японский. У берегов Курил текст был изготовлен. Его размеры, к удивлению Рикорда, значительно превышали записку Трескина. Петр Иванович почувствовал, что в заливе Измены опять запахло изменой.

Правда, он не торопился оставлять Кунашир. Ведь на борту шлюпа находились шестеро японских рыбаков. Одного из них Рикорд послал на берег уверить в мирных целях «Дианы». Рыбак вернулся через несколько дней. Результат был горьким: кунаширское начальство не желало разговаривать с русскими.

Да и с японским гонцом обошлись на острове неласково. Не позволили ни отдохнуть, ни ночевать в селении, сторонились, как прокаженного, изъяснялись сквозь зубы. Дело-то, в том, что согласно законам каждый японец, общавшийся с чужеземцами, не считался благонадежным: иностранец — загодя инакомыслящий; подданный — загодя предатель; общение первого со вторым — подозрительно и предосудительно.

Наконец Рикорд, как ни опасался потерять единственного переводчика, решил послать в крепость Леонзаймо. Его сопровождал один из японцев-рыбаков, спасенных русскими близ Камчатки.

Парламентерам вручили три записки.

Первая гласила: «Капитан Головнин с прочими находятся на Кунашире».

Вторая гласила: «Капитан Головнин с прочими отвезены в город Мацмай, Эдо».

Третья гласила: «Капитан Головнин с прочими убиты».

Леонзаймо и рыбак уехали.

На «Диане» ждали ответа, страшась и надеясь.

Минул день. Другой минул. Еще один.

И ответ: капитан Головнин и прочие убиты.

4

Ровно за год до ужасного известия, полученного Рикордом в августе 1812 года, Головнина и других доставили с Кунашира на остров Хоккайдо.

У связанных пленников глаза не завязывали. Пленники видели селения и население. Японцы сбегались толпами. Еще бы! Вон они, эти неведомые северные варвары! Быть может, те, что разбойничали несколько лет назад?

Нет народа, признающего жестокость своей националь-

ной чертой. Ею одаривают иноплеменников. Рассказы о чужаках — кадило, раздуваемое с умыслом: ожесточая сердце, они размягчают мозг. «Азиатская злобность» — категория европейской выделки.

«Лютыми ненавистниками христиан» называл японцев Рикорд. «Вероломным народом» назвал японцев Головнин. (Правда, добавил, что назвал «в сердцах».) И вот он, его офицеры и матросы, вот они среди этих «лютых» и «вероломных». Цитирую Головнина:

«Жители со всего селения собрались на берег смотреть нас; из числа их один, видом почтенный старик, просил позволения у наших конвойных попотчевать нас завтраком и sake, на что они и согласились. Старик во все время стоял подле наших лодок и смотрел, чтоб нас хорошо кормили. Выражение его лица показывало, что он жалел нас непритворно».

«Хозяин дома, молодой человек, сам нас потчевал обедом и sake. Он приготовил для нас постели и просил, чтоб нам позволили у него ночевать, так как мы сильно устали».

«При входе и выходе из каждого селения мы окружены были обоего пола и всякого рода людьми, которые стекались из любопытства видеть нас. Но ни один человек не сделал нам никакой обиды или насмешки, а все вообще смотрели на нас с соболезнаванием и даже с видом непритворной жалости, особливо женщины; когда мы спрашивали пить, они наперерыв друг перед другом старались нам услужить. Многие просили позволения у наших конвойных чем-нибудь нас попотчевать, и коль скоро получали согласие, то приносили sake, конфет, плодов или другого чего-нибудь; начальники же неоднократно присылали нам хорошего чаю и сахара».

В записках Василия Михайловича Головнина не раз упомянуты конвойные солдаты. Солдатчина не располагает к нежностям, караульная служба — к сердобольности. А между тем пленные моряки «Дианы» пользовались благорасположением своих бдительных стражей. Никогда ни один конвойный не мешал встречным мирволить русским. Японскому крестьянину были они теми же «несчастливыми», какими были нашему деревенскому жителю колодники Владимирки или Сибирского тракта.

Стражникам, полагаю, приказали доставить пленников так, чтоб и волос не пропал. Но навряд ли велели на каждом привале спрашивать не голодны ль путники, навряд велели отгонять комаров да мух, обмывать вечерами натруженные ноги, как Христос обмывал Петру.

Арестованный еще не арестант. Арестантом делаешься, выслушав приговор. В отличие от арестанта арестованный всегда в приливах-отливах надежд и отчаяния. Головнин и его моряки не исключение. Переход с Кунашира до Хакодате был и

переходом от одного душевного состояния к другому, полярному: то мерещилось скорое освобождение, то мерещилось бессрочное заточение. В Хакодате — на европейских картах: Мацмай — надежда оставила Головнина: сырая, узкая, темная клетка, какой-то звериный лаз.

«Долго я лежал, можно сказать, почти в беспомощности, пока не обратил на себя моего внимания стоявший у окна человек, который делал мне знаки, чтобы я подошел к нему. Когда я исполнил его желание, он подал мне сквозь решетку два небольших сладких пирожка и показал знаками, чтобы я съел их поскорее, объясняя, что если другие это увидят, то ему будет дурно. Мне тогда всякая пища была противна, но, чтоб не огорчить его, я с некоторым усилием проглотил пирожки. Тогда он меня оставил с веселым видом, обещая, что и впредь будет приносить. Я благодарил его, как мог, удивляясь, что человек, по наружности бывший из последнего класса в обществе, имел столько добродушия, чтобы утешить несчастного иностранца, подвергая себя опасности быть наказанным».

Одиночеством русских недолго мытарил. Офицерам-пленным предложили выбрать соседом любого пленного матроса. И вот что примечательно: не ради самих офицеров, а ради «нижних чинов». Почему? Японцы объяснили: пусть старшие примером своим бодрят подчиненных.

В Хакодате начались допросы. Вел их чиновник, пожалованный (предположительно) Головниным в градоначальники. Переводил некто по имени Вехара Кумаджеро. Допросы длились часами. Пленников мутило от бесконечных повторов, от никчемностей, на которые следовало отвечать подробно, медленно, ничего не упуская.

Между тем пустячность вопросов была кажущейся. В самой дотошности крылся двойной расчет. Выше говорилось, что японцы располагали скудными сведениями о северной державе, опасную близость которой недавно ярко и яростно демонстрировали Хвостов с Давыдовым. Голландские источники не утолили жажды знания. Библиографический словарь указывает лишь несколько голландских сочинений о России, переведенных в ту пору на японский. Сочинения были слишком поверхностными, слишком общими, а информация японцев, ненароком занесенных к русским берегам, отрывочной¹.

¹ Впрочем, не всегда отрывочной. В Библиотеке им. В. И. Ленина хранится объемистый — 1054 страницы — манускрипт «Канкай ибун». Это подробный рассказ японских рыбаков, проживших в России десяток лет, побывавших в Петербурге, получивших аудиенцию у Александра I и т.д. На родину их доставил И. Ф. Крузенштерн, совершавший кругосветное плавание. (См.: Давыдов Ю. В. Кольцо морей, или Приключения четырех японцев и одной рукописи // Мир приключений. — М., 1962. Кн. 7.)

Как тут не «потрошить» крупную птицу — капитана российского военного корабля? И офицеры тоже добыча. Да и матросы не грудные младенцы.

Другая сторона дела была в том, что хвостово-давыдовское нападение требовало и дознания и наказания. Головнин очень скоро с ужасом убедился, что моряков «Дианы» считают прямыми сообщниками моряков «Юноны» и «Авось», а гидрографические занятия в районе Курил равняют с разведывательными, шпионскими.

Головнин не только отмежевывался от Хвостова и Давыдова, но и отмежевывал этих лейтенантов от коронного флота, повторяя, что те состояли на частной, купеческой службе.

Однако у японцев была бумага, подписанная «Российского флота лейтенантом Хвостовым». Документ этот командир «Юноны» выдал старшине одного сахалинского селения как свидетельство принятия под скипетр русского государя. Разве частное лицо, рассуждали японцы, дерзнуло бы на такой поступок? И разве «частное лицо», на него дерзнувшее, не носило, по свидетельству очевидцев, таких нашивок на мундире, как и капитан «Дианы»?

Головнина спросили, сколькими кораблями располагают русские в Петропавловске. Василий Михайлович почему-то бухнул: «Семью кораблями». Ответ — «волею слепого случая» — прозвучал весьма некстати. Носился слух, что в точности семь кораблей намерены россияне послать к берегам Японии.

Камергеру Резанову совсем недавно было указано на дверь: убирайтесь, знать вас не желаем, никакой дипломатии! Ответ японского правительства не мог остаться тайной для русского правительства, даже если посол и помер на полдороге к Петербургу. Зачем же в таком случае посылали «Диану»? Ах вот оно что: шлюп покинул Кронштадт еще до того, как были получены известия от Резанова? Но ведь капитан Крузенштерн, как говорит сам господин Ховарин (так японцы произносили фамилию Василия Михайловича), успел к тому времени вернуться из кругосветного плавания... Почему «Ховарин» посетил остров Кунашир? Нуждался в провизии и топливе? Понятно. Но кто ж ему позволил действовать без

Головнину в Японии показывали чертежи перехода Крузенштерновой «Надежды» из Кронштадта в Нагасаки. Эти чертежи (планы) сделали японские пассажиры русского шлюпа. Василий Михайлович и удивился, и восхитился. «На них, — пишет он, — были изображены Дания, Англия, Канарские острова, Бразилия, мыс Горн, Маркизские острова. Камчатка и Япония — словом, все те моря, которыми они плыли, и земли, куда приставали. Правда, что в них не было сохранено никакого размера ни в состоянии, ни в положении мест, но если взять в рассуждение, что люди сии были простые матросы и делали карты на память, примечая только по солнцу, в которую сторону они плыли, то нельзя не признать в японцах редких способностей».

разрешения? Он оставил деньги на видном месте, расплатился сполна? А по закону должно погибнуть с голоду, не смея тронуть ни одного зернышка пшена без согласия хозяина. «Пусть всяк теперь, — пишет Головнин, — поставит себя на нашем месте и вообразит, в каком мы должны были быть положении... Все убеждало японцев, что мы их обманываем».

26 сентября 1811 года пленники сложили пожитки. Русских отправляли в «губернский» город Мацмай¹. Пятьдесят тюремных дней, а теперь снова в путь.

Как странник я одет, готов к пути,
А путь в волнах безбрежных исчезает...
Когда вернусь?
Не знаю ничего,
Как белые те облака не знают...²

Возвращение, бегство, воля — мечта, мысль, общие всем пленникам. Отныне они владеют Головниным. И не только им. Но пока ни малейшей возможности ускользнуть.

Мацмай — многолюдный город, гораздо многолюднее Хакодате. Толпу удерживают протянутые веревки. Пленников ведут гуськом. День солнечный, ясный. В такие дни скрип тюремных ворот как скрип дыбы.

Пленников заперли в клетках. Маленький клочок далекого неба казался цветной бумажкой. Пахло свежим деревом, строительный мусор еще не убрали. Острог был новенький. Отсюда не выйдешь до гробовой доски.

И опять допросы, допросы. Допрашивал губернатор. Аррао Тадзимано Кано держался серьезно и просто. Он как бы мельком осведомился, где русские хотели бы обосноваться — здесь ли, в Мацмае или в Эдо?³

«У нас только два желания, — отвечали мы, — первое состоит в том, чтобы возвратиться в свое отечество, а если это невозможно, то желаем умереть; более же мы ни о чем не хотим просить японцев».

Воцарилась тишина. Потом губернатор заговорил. Речь его была длинной. Алексей Максимович, переводчик, курилец, не умел полностью изложить сказанное. Смысл, однако, передал: японцы такие же люди, как и все другие, у японцев тоже есть

¹ Город Фукуяма на крайнем юго-западе острова Хоккайдо, у входа в Сунгарский пролив со стороны Японского моря.

² Неизвестный автор. Пер. с яп. А. Е. Глускиной.

³ Эдо — первоначально замок, возведенный в 1590 году полководцем Токугава Иэясу. В 1603 году Токугава провозгласил себя сегуном, правителем. Его династия господствовала около двух с половиной веков. Все это время императорский двор роскошествовал в городе Киото. Император царствовал, сегун правил. Одной из черт токугавского режима был курс на изоляцию от внешнего мира. Еще многие годы спустя после головнинского пленения сегунат в десятый, кажется, раз подтвердил неизменность избранного курса. После свержения сегуната в конце 60-х годов XIX века резиденцией императоров становится Эдо, переименованный в Токио.

сердце, они не могут допустить, чтобы пленники умерли, пленники не должны унывать, дело рассмотрят; если правда, что Хвостов действовал самолично, а не по приказу русского правительства, капитан Ховарин со своими людьми уедет в Россию.

Впоследствии Василий Михайлович не раз подчеркивал, что мацмайский правитель не кривил душой. Он доказывал «высшим сферам» невинность моряков «Дианы». Но из Эдо отвечали одно: допрашивайте!

Сегун послал к пленникам Мамию Ринзоо. Сын бондаря, почти ровесник Головнина, он был из тех, о ком англичане говорят: «Этот сделал самого себя», то есть всего достиг своим умом, своей энергией. Ринзоо, даровитый математик и деловитый лесовод, много странствовал, у японцев именно он считался открывателем островного положения Сахалина. Во второй половине своей жизни Мамия Ринзоо променял астролябию и секстан на весьма почетную во всякой полицейской державе должность «сыщика центрального правительства». Шпионские обязанности отправлял он с блеском. Кто поручится, не было ли мацмайское посещение первым опытом?

Если и было, то не очень-то успешным. Головнин не стал миссионером от науки. Сидеть в тюрьме и обучать тюремщиков то языку, то навигации не имел он никакого желания. Мамия Ринзоо гневался. Характерец у него был не бархатный, но и у капитана Ховарина не восковой. Нашла коса на камень. И все же, как свидетельствует Василий Михайлович, «не всегда мы с ним спорили и ссорились, а иногда разговаривали дружески... Он утверждал, что японцы имеют основательную причину подозревать русских в дурных против них намерениях и что голландцы, сообщившие им о разных замыслах европейских дворов, не ошибаются».

Русский двор тогда еще не вынашивал антияпонских проектов. Ближе к истине оказался переводчик Теске. Этот ударял прямо по шляпке гвоздя: голландцы сознательно чернят русских вообще, Головнина в частности, ибо боятся коммерческого соперничества России.

Ринзоо не принимал никаких доводов желторотого юнца. Однако с отказом Головнина давать какие-либо научные консультации он вынужден был смириться. Благо выручил Мур: мичман охотно занимался с «японским землемером».

Моряки «Дианы» все с большей тревогой приглядывались к мичману Муру. В его настроении и поведении происходила странная и опасная перемена.

Федор Мур, воспитанник Морского корпуса, не дрогнув, разделил с товарищами и грозные битвы близ мыса Горн, и «задержание» на мысе Доброй Надежды, и безумный, дерзкий прыжок из-под пушек британской эскадры, и полуголодное существование в долгие дни плавания Индийским океаном. Натура у него была артистическая (мим и рисовальщик), нрав

покладистый, веселый. На корабле его любили. Любили поначалу и в японской неволе. Но вот дунули весенние ветры, из «сфер» Эдо не доносилось ни звука, и Мур заметно увял. А когда доброжелательный переводчик Теске секретно шепнул пленникам, что их вопрос «в столице идет не особенно хорошо», он и вовсе поник.

«Мы часто говорили между собой, — пишет Василий Михайлович, — что и писатель романов едва ли мог бы прибрать и соединить столько приключений, несчастных для своих лиц, сколько в самом деле над нами совершается; почему иногда шутили над Муром, который был моложе нас, а притом человек видный, статный и красивый собою, советуя ему постараться вскружить голову какой-нибудь знатной японке, чтобы посредством ее помощи уйти нам из Японии и ее склонить бежать с собою. Тогда наши приключения были бы совершенно уже романтические; теперь же недостает только женских ролей».

Увы, не у знатной японки, а у самого мичмана, кажется, кружилась голова. Похоже было, что готовится другая роль в романтической пьесе — роль отступника. И тут уж было не до шуточек.

Весною Василий Михайлович и его друзья твердо решились бежать. Не оставалось надежды получить «освобождение от японцев». Решение это, очевидно, подогревалось и внешним солнцем. Весною арестантскую душу пронизывает особенная, почти неодолимая тяга к свободе.

Стремление узников избавиться от решеток и запоров «реалисты»-караульщики понимают. И принимают не бесясь. Тюремные побегии при всей изобретательности беглецов однообразны. Они двух типов: вольные помогают заключенным, вольные не помогают заключенным. Понятно, второе сложнее: тут больше шансов на провал, чем на успех. У Головина связь с «волей» не устанавливалась. Японское население страдало «несчастливым», но, конечно, не склонно было бы содействовать побегу.

Беглецы не на японцев рассчитывали, а на японские рыбацкии баркасы. Немало баркасов и шхун стояло на приколе у берега. А губернатор Мацмая простер свое благоволение до того, что дозволил пленникам (разумеется, под стражей) дальние прогулки. Уходить днем и, как говорится, «на рыбок» было безумием. Однако осмотреться во время прогулок можно было бы и нужно. Бежать следовало ночью, из тюрьмы. Захватить суденышко, выскочить в море — поминай как звали... Гибель возможна? Да, очень возможна. Но, рассуждал капитан «Дианы», «гораздо лучше погибнуть в море, на той стихии, которой мы посвятили всю жизнь свою и где ежегодно погибает множество наших сограждан, нежели вечно томиться в неволе и умереть в тюрьме».

План от своих не скрывали, обсуждая подробности, частности, и матросы были ровней офицерам в этих обсуждениях.

Колебались, открыться ль айну-толмачу? Наконец, и Алексея Максимовича пригласили участвовать в опасном предприятии. Курилец побелел. Собравшись с духом, ответил достойно:

— Я такой же русский, как и вы. У нас один бог, один государь. Худо ли, хорошо ли, но куда вы, туда и я. В море ли утонуть, или японцы убьют нас, вместе все хорошо. Спасибо, что вы меня не оставляете, а берете с собою.

Вот так сказал «дикий» островитянин. А мичман Мур отпраздновал труса. Нет, он не двинется с места, он и пальцем не шевельнет.

Отказ отказу рознь. Тяжелораненые остаются в расположении врага, не желая быть в тягость своим. Мур не только оставался в расположении, но и в распоряжении врага. Во всяком случае, близко к тому. Он выказывал японцам подчеркнутую почтительность, граничащую с заискиванием. Напротив, с товарищами был раздражителен, подчас не просто груб, а вызывающе груб.

Головнин порывался взять с мичмана рыцарскую клятву хранить молчание о замыслах соотечественников. Матросы по своей мужицкой простоте воспротивились: их благородие наобещает с три короба, да после, глядишь, продаст, как Иуда. Василий Михайлович уступил. Не на шканцах, не перед строем — не то положение: «...невозможно повелевать, а должно уговаривать, соглашать и уважать мнение каждого». Стакнулись вот на чем: таиться от Мура, внушать ему — мы, мол, одумались, угомонились.

К досаде Головнина и штурмана Хлебникова, к негодованию матросов, мичман с каждым днем «прогрессировал». Он уже не только приветствовал японцев японским поклоном, но и перенял у японцев японскую подозрительность. Отступник стал соглядатаем. Правда, еще не извещал губернатора о побеге, но подбивал на донос курильца Алексея. И однажды признался ему, что намерен вступить в японскую службу переводчиком да и зажить припеваючи.

Готовить побег при «внутреннем» наблюдении все равно что готовить уху из кролика. Однако все помыслы пленников съединились на одном. В таком душевном накале перегрызешь и кандалы. А весна, нежная, акварельная весна, разгоралась, и горожане уже созерцали цветущие вишни.

Ах, вишни цвели не так, как в Гулынках! И небо голубело не так, как на Рязанщине. И мелодии речек были не те, что у Истья, заливающей правобережные луга.

О, с какой тоской
Птица пленная следит
Бабочек полет¹.

¹ Исса. Пер, с яп. В. Н. Марковой.

У человека, готовящегося к побегу, и без очков четыре глаза. Зорких, настороженных, соколиных. У него сноровистые руки, руки умельца. Его одежда и его тело внезапно приспособляются прятать почти любую ношу.

На прогулке нашли огниво. У солдат выкрали кремь. Из клочка рубахи сделали трут. Под мышками и на пояснице привязали мешочки с пшеном. В мураве тюремного двора обнаружили долото, под крыльцом — заступ. Пазы острога были обиты тонкой медью, клочок меди неприметно отодрали. Стальные иглы, медяшка да несколько листков бумаги, скленной рисовым отваром, — и штурман Хлебников Андрей Ильич смастерил компас в бумажном футлярчике.

Матросы усомнились в твердости курильца. Уж больно часто Алексей шушукался с Муром! Не ровен час склонился на сторону их благородия. Так иль не так, но уж коли гнетет сомнение... Не к теще на блины... Тут уж либо пан, либо пропал. Головнин с Хлебниковым приняли совет матросов и сказали Алексею, что отложили бегство до лета. Дурной поступок? Очень может быть.

В апреле, 23-го, они изготовились к побегу. А в России-то, дома-то, праздновали день великомученика Георгия Победоносца. И разносилось в церквах на утрени: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы». Помнили, нет ли Головнин с братией про святого Егория, но уж чего-чего, а разоблачения сокровенного страсть как не хотели.

«Вечером матросы наши взяли на кухне, скрытым образом, два ножа, а за полчаса до полуночи двое из них (Симонов и Шкаев) выползли на двор и спрятались под крыльцо, и, коль скоро пробила полночь и патруль обошел двор, они начали рыть прокоп под стену. Тогда и мы и все (кроме Мура и Алексея) вышли один за другим и пролезли за наружную стену. При сем случае я, упираясь в землю ногой, скользнул и ударился коленом в небольшой кол, воткнутый в самой отверстии; удар был жестокий, но в ту же минуту я перестал чувствовать боль. Мы вышли на весьма узенькую тропинку между стеною и оврагом, так что с великим трудом могли добраться по ней до дороги, потом пошли скорым шагом...»

Блаженное мгновение, ни с чем не сравнимое: вдруг не ощущаешь конвоира, его дыхания, его сопения, его воли, пусть спокойной, пусть мирной, но всегда давящей. Ты еще не спасен, вот-вот обрыв, ты весь напряжение, но кровь ликует.

Поначалу все союзничает с беглецом: лесная чаща и бездорожье, крутизна речных берегов, не схваченная мостами, топкие луговины, не оставляющие следов... Но постепенно одолевает усталость. И тогда проступает молчаливая враждебность природы. Лесные коряги сбивают с ног, топь охватыва-

ет щиколотки, реки, как назло, попадаютя небродливые. Все чрезмерно, все чересчур и тепло и холод.

Годы спустя Василий Михайлович начал описание побега следующим замечанием: «Надобно знать, что весь обширный остров Мацмай покрыт кряжами высочайших гор». Современный комментатор его одернул: «Головнин неверно представлял себе рельеф Мацмая (Хоккайдо). Горы Хоккайдо невысоки (высшая точка-гора Асахи в центре острова, 2290 метров над уровнем моря), особенно по сравнению с хорошо известными Головнину горами Камчатки (Ключевская сопка — 4870 метров над уровнем моря)». Точность комментатора формальная, математическая. Точность Головнина психологическая. Горы камчатские озирал он по своей охоте, в горах японских за ним охотились. Кряжи Мацмая вставали страшным барьером на пути к свободе, к воле, открытому морю. И потому это «высочайшие горы». Вот так и тайга: кому мать, а кому мачеха.

Головнин не объясняет, отчего беглецы взяли напрямик на север, через кряжи, а не бросились к ближнему берегу, к баркасам. Очевидно, этот вариант был забракован из-за осведомленности Мура. Не полагаясь на немоту мичмана, беглецы рассчитывали направить погоню по ложному курсу.

Головнинский побег, головнинский плен примечательны сплоченностью, чувством локтя, артельностью, товариществом. Головнин не фальшивит, употребляя в своих записках: «товарищ наш», «мои товарищи».

На корабле цепенила строгая иерархия, плен равнял офицера с матросом. Больше того, давал матросу известную самостоятельность. Черт подери, можно было свести счеты! Когда тонул капитан Круз, его шмякнули веслом. Когда капитан Головнин не мог идти (мучило разбитое колено), матросы тащили капитана на себе.

Он совсем выбился из сил, «именем бога» просил бросить его. «Однако ж они просьбы моей не уважали, а говорили, что пока я жив, то не оставят меня».

Беглецы шли ночью. Днем прятались в бамбуковых зарослях, в ущельях, за валунами. И старались поспать, обогреться, поесть. Лишь старались! Сон не в сон на снегу: в горах еще лежал снег. Как обогреться, если дым костра привлечет погоню? Подкрепишься ли заплесневелым пшеном, черемшюю, конским щавелем?

Хуже других доставалось Василию Михайловичу. Болела уже не нога — боль точила, грызла, вонзалась во все тело, во все кости. Он ковылял, ухватившись за кушак матроса.

«Отчаянное наше положение заставляло нас забывать все опасности или, лучше сказать, пренебрегать ими. Я только желал, чтоб, в случае если упаду, удар был решительный, дабы не мучиться нисколько от боли». И такой решительный, ро-

ковой удар едва-едва не сгубил Головнина. Был он не на волос от смерти, а на... руку. «Мне уже нельзя было держаться за кушак Макарова, иначе он не мог бы с такой тяжестью взлезть на вершину, и потому я, поставив пальцы здоровой ноги на небольшой камень, высунувшийся из утеса, а правую руку перекинув через молодое дерево, подле самой вершины его бывшее, которое так наклонилось, что было почти в горизонтальном положении, стал дожидаться, пока Макаров взлезет наверх и будет в состоянии мне пособить подняться; но, таскив меня за собою. Макаров, хотя, впрочем, весьма сильный, так устал, что лишь поднялся вверх, как в ту же минуту упал и протянулся как мертвый. В это самое время камень, на котором я стоял, отвалился от утеса и полетел вниз, а я повис на одной руке, не быв в состоянии ни на что опереться ногами, ибо в этом месте утес был весьма гладок. Недалеко от меня были все наши матросы, но от чрезмерной усталости они не могли мне подать никакой помощи. Макаров лежал почти без чувств, а Хлебников поднимался в другом месте. Пробыв в таком мучительном положении несколько минут, я начал чувствовать чрезмерную боль в руке, на которой висел, и хотел было уже опуститься в бывшую подо мною пропасть в глубину сажен с лишком на сто, чтоб в одну секунду кончилось мое мучение, но Макаров, пришед в чувство и увидев мое положение, употребил всю свою силу и вытащил меня наверх».

Быть может, теперь в горах на юго-западе полуострова Осима бродит прилежный рисовальщик, шепча изречение художника-титана Катсусика Хокусая: «Ничто в природе не должно быть оставлено без внимания». Быть может, теперь, возвращаясь с тех хребтов, школьники-туристы вспоминают древнего поэта, его прощание с горами: «Неужели скроетесь навеки?» Да, быть может. И Головнину там, на вершинах, выдалась высокая минута. «Я никогда прежде не замечал, чтобы звезды так ярко блистали». Но... «Но это величественное зрелище мгновенно в мыслях моих исчезло. Мне представился вдруг весь ужас нашего состояния».

После мучительного странствия кому не отрадны запах очага, людские голоса, топот лошади, свет фонаря, лай собак? У беглецов к меду радости всегда примешан деготь страха.

Вот они, спускаясь с гор, видят дорогу, избитую копытами, придорожные поленницы, ямы с древесным углем, хижины видят и кобылку на выгоне. Где-то перебрехиваются деревенские псы, такие же Шарики да Жучки, как дома.

Несколько ночей кряду тенью скользят беглецы близ моря. В раскатах и плеске голос воли. Какая-то шхуна становится на якорь. А потом тишина. Удивительная тишина, наступающая с окончанием корабельных работ.

Несколько ночей кряду тенью, крадучись беглецы прони-

кают в селения. Вдруг задрожавшими руками ощупывают они большие, тяжелые, грубые баркасы, пахнувшие водорослями. Моряки знают, что суденышки японских рыбаков всегда снабжены харчами и пресной водой.

Несколько ночей кряду пытаются они завладеть баркасом. Им никто не мешает. Тщетно! Они не могут сдвинуть с места эти просмоленные суда. Нет сил. Море рядом. Оно плещет, зовет, оно совсем рядом. Нет сил. Все тщетно.

Как затравленные, прячась невдалеке от селений, беглецы «составляют новый план». Два десятка миль — и островок Кодзима. Там ни души, там бамбуковые заросли, там можно соорудить шалашик, развести костер, отдохнуть. И перебраться туда не велик труд, ибо малых шлюпок на берегу что песку морского. Да, да, да! Уйти на необитаемый островок Кодзима. Отдохнуть. А потом — прости господи прегрешения наши — отбить у того, кто зазевается, баркас, взять на плаву, как приз берут. А не сподобит господь, тогда уж, была не была, пуститься в поход хоть на малых шлюпках.

И в ту минуту, когда беглецы ободрились новым планом, в ту самую минуту штурман Хлебников заметил на холме женщину. Она подавала кому-то знаки: «Скорее! Скорее! Сюда!»

Вот и настал черед «женской роли», которой не хватало роман-тической пьесе. О женщины Японии, прелестные, как Осама на цветной гравюре Утамаро, одна из вас сыграла эту роль.

Добро бы еще односельчан звала, так нет — вороньем слетелись солдаты: ружья, сабли, стрелы. И офицер загарцевал. Четверых пленили мгновенно. (Головнин со Шкаевым шарахнулись в сторону.) Сбежались крестьяне. Кричали, будто конокрадов настигли. Головнин и Шкаев, притаив дыхание, жердины сжали: у одного с ножом, у другого с долотом.

Штурмана и матросов повели в деревню. Двух оставшихся принялись искать. Головнин поднял рогатину. Бородатый, изможденный, ждал японцев. Губы у Шкаева задрожали. Убьешь японца, шепнул он Василию Михайловичу, японец убьет наших; отдайся ты им, скажи, что убегли по твоему приказу, страшась, что за послушание накажут в России, сделай ты милость, убьет японца наших... Никак Головнин не пояснил потом, что думал, что пережил. Да и к чему? Зачем? Когда корабль гибнет, командир последним покидает палубу. Когда экипаж судят, командир отвечает первым... Головнин бросил рогатину, вышел из кустарника.

Российская практика ловли беглецов проста и зла — изловили, пеняй, братец, на себя. Мордой, хребтом, боками прими нещадные побои. Выместят караульные и досаду за хлопоты, оплатят за гнев начальства и еще нечто выместят, самым непонятное, как в пьяной драке.

А шестерых, пальцем не тронув, накормили¹. Крестьяне, примолкнув, смотрели на них «с выражением жалости»; руки связали им «слабо», повели бережно, поддерживая, как больных. Правда, без отдыха вели, пешком, лошадей не дали. И была в этом шествии трагикомическая торжественность. Впереди огни раскладывали, солома схватилась жарко, светло взрывая темную майскую ночь. Церемониальное шествие! Можно было подумать, усмехается Головнин, что сопровождали тело знатного усопшего.

В Мацмай вступали совсем уж парадно. Разве что без музыки. Принарядившиеся солдаты тихохонько шли, как за катафалком. Верховой офицер надел «богатое шелковое платье» и «посматривал на народ, стоявший по обеим сторонам дороги, как гордый победитель, заслуживающий неизреченную благодарность своих соотечественников».

Может, солдаты берегли пленников для «губернского» возмездия? Кто-кто, а господин губернатор должен был гневаться. Уж он ли не потакал русским, уж он ли не выгораживал русских перед вельможами Эдо! Головнин, Хлебников, матросы ожидали жестокого наказания.

И что же?

«Когда все чиновники собрались и сели по своим местам, вышел и губернатор. На лице его не было ни малейшей перемены против прежнего: он так же казался весел, как и прежде, и не показывал никакого знака негодования за наш проступок».

И тогда же в канцелярии прозвучал следующий диалог:

Головнин: «Поступку нашему один я виною. Я принудил других уйти. Приказаний моих они опасались послушаться. Посему прошу товарищам моим не делать зла, а лишить жизни меня».

Губернатор: «Если японцам нужно будет убить капитана Ховарина, он будет убит и без его просьб. А если нет, то не будет убит, сколько б о том ни просил... Итак, зачем вы ушли?»

Головнин: «Мы не видели ни малейших признаков к нашему освобождению. Напротив, все показывало, что японцы нас не отпустят».

Губернатор: «Я никогда не упоминал о намерении нашем держать вас здесь вечно. Кто сказал вам это?»

Головнин: «Теске».

(Ответ непростительный. Бедный переводчик Теске, капи-

¹ Во время русско-японской войны пленный мичман Анатолий Толстопяттов бежал с товарищами из заключения. Они тоже скитались в горах и тоже были пойманы. Кляня почем зря «наглых и надменных» островитян, мичман, однако, отмечает, что японцы отнесли к беглецам весьма снисходительно. (См.: Толстопяттов А. М. В плену у японцев. — СПб., 1908.)

тан «Дианы» выдал тебя с головою. Теске доверительно сообщил, что дела пленников худо оборачиваются в Эдо, а Василий Михайлович, не сморгнув, открыл карты. Одно ему извинение, да и то слабое: волнуясь, проговорился. День-другой спустя он и его друзья всячески обеляли Теске, а также солдат, проворонивших уход их из тюрьмы. Но сейчас имя переводчика было произнесено. Губернатор, чиновники воззрились на Теске. Тот что-то мямлил, заикаясь и бледнея. Побледнеешь! Потом начальник Мацмая опять занялся русскими.)

Губернатор: «С какой целью вы ушли?»

Головнин: «Чтобы возвратиться в отечество».

Губернатор: «Какими средствами?»

Головнин: «Завладеть лодкой».

Губернатор: «Вы не подумали, что тотчас будут высланы караулы ко всем судам?»

Головнин: «Мы догадывались об этом. Но со временем караулы могли ослабеть, мы исполнили б свое намерение там, где нас не ожидали».

Губернатор: «Вас привели в Мацмай с Кунашира, вы совершали прогулки. Следовательно, для вас не было секретом, что остров покрыт высокими горами, а в горах далеко не уйдешь. По берегам же сплошь людные селения. Поступок ваш не походит ли на безрассудство? Или на ребячество?».

Головнин: «Пусть так. Однако ж мы шли неделю, никто нас не заметил. Поступок наш был отчаянный, он может казаться ребяческим или безрассудным. Вам, японцам, может казаться. Мы так не думаем. Наше положение нас извиняло: возвратиться в Россию или умереть в лесах, в море».

Губернатор: «Но зачем же ходить столь далеко? Вы и здесь могли лишиться себя жизни».

Головнин: «Здесь была бы верная смерть да притом от собственных рук. А так мы могли бы с помощью божьей достичь отечества».

Губернатор: «Ну хорошо. В России что вы сказали бы о японцах?»

Головнин: «Все, что видели и слышали. Не прибавляя и не убавляя».

Губернатор: «А Мур? Вы вернулись бы без него. Что сказал бы ваш государь? Похвалил бы вас за то, что оставили товарища?»

Головнин: «Правда, если б Мур был болен и не мог нам сопутствовать, тогда поступок наш можно было назвать бесчеловечным. Но он добровольно пожелал остаться в Японии».

Губернатор: «Знали ли вы, что, если б вам удалось уйти, я и многие другие чиновники лишились бы жизни?»

Головнин: «Караульные, как в Европе, должны были б пострадать. Но мы не думали, что ваши законы столь жестоки».

Губернатор: «Есть ли в Европе закон, разрешающий бегство?»

Головнин: «Писаного закона нет, но, не дав честного слова, уходить позволительно».

Губернатор: «Если бы вы были японцами и ушли из-под караула, последствия для вас были бы дурные. Но вы, иностранцы, не знаете наших законов. И ушли вы без намерения сделать вред японцам. Цель ваша была единственно достигнуть своего отечества. Отечество всякий человек должен любить более всего на свете. И потому я доброго мнения о вас не переменял. Впрочем, не знаю, как поступок ваш расценит правительство. Но обещаю стараться в вашу пользу. Так точно, как и прежде».

Старался ли? Это, вероятно, знают японские архивисты. Все же можно предположить, что губернатор не лгал. Головнин отмечает: он не боялся говорить правду высшему правительству. К тому же правитель Мацмая не принадлежал к рьяным поборникам «закрытых дверей». Политика эта вызывала у него саркастическую улыбку: солнце, луна и звезды, творение рук божьих, в течении своем непостоянны и подвержены переменам, а японцы хотят, чтобы их законы, составленные слабыми смертными, были вечны и непременны; такое желание есть желание смешное, безрассудное.

Губернатор радел русским пленникам, но один из них радел японцам. Мур ходил гоголем: он-де упреждал, что ничего путного не выйдет. Мичман, однако, не довольствовался злой радостью. Он шел кривой дорожкой. Позор свой Мур сознавал. Сознывая, испытывал тот надрыв, который поэт определил «упоением в позоре». На допросах он постоянно сбивал, путал Головнина, всячески ластясь к японцам. Больше того: нанес пленным чувствительный удар.

У Головнина еще на Кунашире отобрали карманную записную книжку. Записные книжки всегда вызывают повышенный интерес следствия. А в этой, головнинской, по какому-то пустячному поводу значились Хвостов и Давыдов. И Мур ткнул следователей в ненавистные имена: «Видите, вот они, приятели нашего капитана».

Как всякому изменнику. Муру не терпелось официально зачислиться на службу. Новые хозяева не торопились, ибо предавший раз предаст не однажды. Проволочки бесили Мура. Он изыскивал доказательства своей верности. Сказавший «аз» говорит «буки», сказавший «буки» говорит «веди»...

Василий Михайлович и бровью не шевельнул бы, достигни Мур положения «первого вельможи Японии». Другое страшило капитана «Дианы»: а ну-ка сума переметная, стоя на задних лапках, выклянчит разрешение воротиться в Европу? Мур, размышлял Головнин, «очернит и предаст вечному бесславию имена наши, когда никто и ни в какое время не най-

дется для опровержения его. Такая ужасная мысль доводила меня почти до отчаяния».

В конце июня 1812 года губернатор Мацмая получил повышение. Явился преемник. Сановники занялись административными делами. Один сдавал, другой принимал. Принял и пленников. Не будучи угрюм-бурчеевым, удостоверил: поскольку русские бежали ради возвращения на родину, не имея намерения вредить японцам, то он, не чиня им наказания, постарается, как и его предшественники, хлопотать о законном освобождении, а пока просит набраться терпения.

С пленников сняли веревки. Этим не ограничились. «Пищу нам стали давать гораздо лучше, нежели какую мы получали... Каждый день велено было давать нам по чайной чашке саке... Дали трубки, табачные кошельки и весьма хороший табак. Чай у нас был беспрестанно на очаге; сверх того дали нам гребенки, полотенцы и даже пологи от комаров, которых здесь было несметное множество... Дали чернильницу и бумаги. Пользуясь этим, вздумали мы обирать японские слова, записывая их русскими буквами¹.

Сверх того вздумал я записать на лоскутах бумаги все случившиеся с нами происшествия. Писал я полусловами и знаками, мешая русские, английские и французские слова, так чтобы, кроме меня, никто не мог бы прочесть моих записок».

Сносное положение, не так ли? Но тюрьма остается тюрьмой, даже если стены бархатные, а замки золотые. Не жили пленники — изживали день за днем, неделю за неделей². И не проникали к ним вести с земли. Они не знали ни о Наполеоновом нашествии, ни об отступлении русской армии, ни о том, что 6 сентября 1812 года, когда их вызвали в губернаторский замок, был канун Бородинской битвы.

Не гул полков, занимавших места согласно диспозиции, донесся к ним в резиденцию губернатора, а словно бы веселый раскат весеннего грома: письма Рикорда!

Первое письмо он адресовал кунаширскому начальнику, второе — Головнину.

В первом уведомлял, что привез семерых японцев, потерпевших крушение близ Камчатки, что русский император души не чает в императоре японском, что ему, Рикорду, хо-

¹ Этот «лексикон» сохранился среди бумаг В. М. Головнина, находящихся в Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота (Ленинград).

² Почти век спустя, во время русско-японской войны, офицеров содержали в плену еще вольготнее. В уже цитированной книжке А. Толстого сказано: «Пленные офицеры имели каждый отдельную комнату, пользовались садом, в их распоряжении был бильярд и теннис, наконец, они получали жалованье от русского правительства по 50 р. в месяц и, казалось, ни в чем не нуждались. Но, боже мой, какое то было тяжелое, беспросветное существование!»

телось бы либо забрать своих сослуживцев, либо по крайности узнать, где они и как они.

Второе письмо извещало Головнина, что старый однокашник, принявший командование «Дианой», со страхом и надеждой ждет сообщения об участии пленных, что, если японцы не позволят отвечать, пусть Василий Михайлович добьется, чтобы это письмо вернули ему, Рикорду, а он. Головнин, надорвет бумагу на слове «жив».

Головнин схватился за перо. Губернатор его остановил: без распоряжения из столицы нельзя.

5

В тот же день, 6 сентября 1812 года, Петр Иванович Рикорд занес в дневник: «Увидев в море, против залива, милях в шести, штилюющее японское судно и со вчерашнего числа решившись неприятельски действовать против японцев, я послал лейтенанта Рудакова и штурмана Среднего на вооруженных баркасах и катере овладеть без пролития крови японским судном».

Что за притча?

Мы оставили Рикорда с двумя кораблями — шлюпом «Дианой» и бригом «Зотик» — у берегов острова Кунашир, в заливе Измены. Японец Леонзаймо, привезенный вместе с шестью рыбаками, был послан на сушу с теми самыми письмами, которые неделю спустя прочел в Мацмае Василий Михайлович. Но Рикорд ответа не удостоился. Он повторил запрос о судьбе товарищей и получил записку, где значилось: «Капитан Головнин с прочими убиты».

Зачем же кунаширский начальник сокрушил Рикорда заведомой ложью? Оказывается (и это японское свидетельство), то была провокация. Кунаширский начальник ждал нападения русских, дабы отплатить за Хвостова и Давыдова, а своим показать, что японцы могут встречать неприятеля как патриоты и воины. Островной гарнизон разделял мнение островного вождя. Все поклялись умереть, но не дрогнуть, как дрогнули несколько лет назад под стремительными натисками «Юноны» и «Авось».

Известие об убийстве друга и его товарищей воспламенило Рикорда. Петр Иванович разъярился. Да так бурно, как могут гневаться лишь очень добрые и терпеливые люди.

Все же ярость не ослепила теперешнего капитана «Дианы», и японцы, доставленные из Охотска, не украсили реи трехмачтового шлюпа. Они, пишет Рикорд, «пришли ко мне в каюту и на коленях изъявляли свою признательность за то, что мы, невзирая на злодейское умерщвление наших соотечественников в Японии, отпускаем их на свободу и даем снабжение провизией». И далее: «Оказав должное благодеяние не-

винным японцам, стали готовиться с великим жаром поражать врагов-японцев, которые пролили невинную кровь наших пленных. Люди, знающие плотничью работу, оканчивали лафеты; другие, в устроенной для сего кузнице, сварили железо и оковывали им лафеты. Прочие шили картузы, исправляли свои орудия, точили тесаки — словом, никто не был празден, всякий готовился по действительным своим чувствам мстить злодеям».

В шестой день сентября Рикорд заметил «штилюющее японское судно». Увидел, атаковал, захватил. Японцы-матросы сиганули за борт. Трофей был копейный. Да ведь лиха беда начало. Рикорд не остыл. Он намеревался обрушить на кунаширскую крепость каленые ядра, потом высадить десант.

Еще несколько часов, и кровь бы пролилась. Но тут в заливе Измены показалось японское торговое судно. Оно было захвачено. Приз взял штурман «Дианы», полный тезка Головнина Василий Михайлович Средний. О, это уж был не давешний копейный трофей! Небо ниспослало Такатая-Кахи!

Происшествия тех месяцев изложены Рикордом в книге и в интимном дневнике. Книгу напечатали «по высочайшему повелению», посвящена она «всепресветлейшему, державнейшему, великому» Александру Первому.

Цензор ли, статский советник и кавалер Яценко, «засушил» книгу, сам ли автор — не столь уж и важно. Дневник Петра Ивановича куда живее, непосредственнее, красочнее. Весело цитировать дневник, а не тиснение петербургской морской типографии.

Итак, японский «торгаш» был схвачен. Судовладелец и судоводитель Такатая-Кахи переступил комингс каюты, где жил некогда капитан Головнин, а теперь встречал пленника капитан Рикорд.

«Я взял его за руку, посадил подле себя на стул и сделал несколько приуготовительных вопросов по-японски. Он отвечал тихо, поясняя слова жестаи. Я выразумел, что он из Нипонского города Осаки, для торгу ходит на судах, как штурман, в Итуруп и разные гавани в Мацмае, что когда наши люди, озлившиеся, как звери, с диким криком сделали из ружей выстрел, матросы его, испугавшись, предались отчаянию и начали бросаться за борт, и шестеро потонули. Потом, продолжал он, матросы ваши, войдя на мое судно, всех начали вязать, не исключая и меня; но, когда я объявил о себе, что я начальник судна, они меня оставили на воле. Я старался ему объяснить, для чего мы пришли в Кунашир. Японец вдруг сказал: «Капитан Муро в городе Мацмае» — и потом пальцами показал, что всех русских там находится шесть человек... Какой быстрый был переход из отчаянного в радостное поло-

жение! Провидение, послав нам японское судно, уничтожило отчаянное, безрассудное мое предприятие (нападение на Кунашир. — Ю. Д.), но душевные мои мучения не уменьшились; новая борьба взволновала мои чувства: я был виновником смерти шестерых японцев! Не имея способу свободно объяснить почтенному японскому начальнику судна о причинах, принудивших меня вооруженною рукой вступить на его судно, я опасался самых бедственных последствий для наших воскресших друзей».

Рикорд торопился на зимовку в Петропавловск. Он и Кахи жили в одной каюте. Рикорд старался выведать у Кахи об участии Головнина. Кахи, вздыхая, отвечал грустно: «Я не знаю». Наконец Рикорд смекнул, что дело-то, должно быть, в произношении фамилии. И принялся «наворачивать» ее так и эдак, пока не произнес: «Ховарин» — Кахи всплеснул руками: «Ховарин?! Да-да, Ховарин! Я слышал, что и он в Мацмае. Он серьезен, а Мур весел. Он не любит курить табак, а Мур любит курить трубку. Ховарин очень высокий¹»...

...В начале октября 1812 года Рикорд отдал якорь в Петропавловской гавани. На сопках уже лежал снег.

Рикорда заботило здоровье южанина. Он оберегал Кахи от простуды, от печного угара, чуть не от слезу. Вечерние беседы «распространяли в японском языке» Петра Ивановича.

Такатай-Кахи был, что называется, решительным сторонником мирного сосуществования. Он полагал, что торговля и мореплавание — занятия более достойные, нежели пальба из пушек и бряцание саблями. Словом, купец-мореход высказывал те простые и здравые мысли, которые трудно осуществить именно потому, что они просты и здравы.

Наступило рождество. Рикорд писал пространный рапорт морскому министру. Изложив ход минувшей экспедиции в Японию, Петр Иванович воздал должное своему благородному и почтенному пленнику. Рикорд заверял министра, что Такатай-Кахи послужит к прекращению распри. Он, Кахи, пользуется уважением в Эдо. Ему поверят, что «производивший в японских заселениях разные грабительства лейт. Хвостов был не что иное как флибустьер».

Все это Рикорд старательно разобъяснял маркизу де Траверсе с единственной целью — исходатайствовать высочайшее разрешение на повторную экспедицию в японские воды. Такое плавание, твердил Рикорд, необходимо не только ради Головнина, но и для оправдания русского флага, обесславленного в глазах японцев поступками Хвостова и Давыдова.

¹ Головнин причислял себя к людям среднего роста, но японцам он казался «великаном». «Матросы же наши, — замечает Василий Михайлович, — и в гвардии его императорского величества были бы из первых. Итак, какими исполинами они должны были казаться японцам!»

В заключение Рикорд покорнейше просил его высокопревосходительство удовлетворить давний рапорт Василия Михайловича Головнина о награждении за мужество «нижних чинов» шлюпа.

Между тем Петербург уготовил Рикорду новую должность, по прежним штатам генеральскую, — моряка назначили сухопутным начальником Камчатской области. Честолюбие было польщено. Но кодекс чести оказался под угрозой: освобождение Головнина почитал он святой обязанностью, как друг и помощник.

Петр Иванович, должно быть, успел связаться если и не со столицей, то с Иркутском, ему позволили «доверить временное управление Камчаткой» офицеру «Дианы» Рудакову. Таким образом, лейтенант временно занял генеральское кресло, а Петр Иванович, тоже временно, капитанскую каюту.

23 мая 1813 года он вновь пустился в путь.

18 июня 1813 года вновь появился в заливе Измены.

Теперь Рикорду предстояло либо убедиться в «японской искренности», либо получить доказательство «японского вероломства». Выхода не было: должно было отправить Кахи на кунаширский берег. Почти год они прожили душа в душу. Теперь все зависело от Такатая-Кахи. Он не обманул. В официальном печатном отчете Рикорд величает его не иначе, как «нашим почтенным японцем», «нашим добрым Такатаем-Кахи», «нашим усердным другом», «нашим малорослым великим другом».

Кахи курсировал между шлюпом и крепостью с регулярностью почтового судна. «Каждый его приезд, — говорит Петр Иванович, — почитаем был нами днем праздника». Самый большой праздник выдался 20 июля, когда торжествующий Кахи появился с листком бумаги и кто-то из моряков, заглянув через плечо японца, радостно закричал: «Рука Василия Михайловича!» Не письмо, краткая записочка.

Мы все, как офицеры, так матросы и
курилец Алексей, живы и находимся
в Мацмае. Мая 10 дня 1813 года.
Василий Головнин.

Драгоценный клочок бумаги переходил от одного к другому. Матросы, признав почерк Головнина, благодарили Такатая-Кахи. «Почтенный японец» сиял. Для полного ликования не хватало чарки. Рикорд сделал знак, понятный всякому. И каждый, пишет он, «осушил по целой чарке водки за здоровье тех друзей, которых в прошлом лете мы почитали убитыми, и все готовы были на тех берегах окончить и свою жизнь».

Конечно, предложение отправить письмецо обрадовало Василия Михайловича. Однако пребывание в мацмайской

тюрьме не осветилось заревым светом. Хлебников долго и опасно хворал. Еще хуже обстояло дело с Муром.

Признак освобождения был мичману призраком возмездия. Он видел себя в кандалах, каторжником. Японцы по-прежнему не принимали его домогательств о зачислении «в службу». Наконец сказали, что не могут доверять иностранцу. Мур был сражен. Казалось, ум его помрачился. Он заговаривался, бредил, не принимал пищи, покушался на самоубийство, сутками молчал и сутками не умолкал. Было ли то сумасшествие, или то была хитрость? Решать не берусь. Что до Головнина, то он сомневался в намерении Мура наложить на себя руки.

Сообщение о «Диане» прилетело к губернатору Мацмая с быстротой почти телеграфной. Рикорд говорил: почта Кунашир — Мацмай требовала трех недель. Головнин говорил: о «Диане» узнали на Мацмае два дня спустя по приходе шлюпа в залив Измены. Ошибка памяти? Но зачем же оба автора, публикуя рукописи, не сверили даты? Впрочем, суть не в подобных разночтениях.

О записке Головнина к Рикорду «усердный Кахи» не хлопотал: его еще не было на родине. Но вот следующее предложение сделали Головнину, очевидно, не без настояний «почтенного японца»; Василию Михайловичу позволили послать любого матроса для свидания с соотечественниками. Японцы осторожничали — именно матроса, а не офицера, считавшегося более ценной добычей. Да и кому из офицеров было ехать? Хлебников хворал. Мура не выбрал бы Василий Михайлович, опасаясь подвохов. Его ж самого не пустили бы ни при какой погоде.

На какого ни укажи — другие обидятся. Ведь вот же, господи, фарт выдался: своих увидеть! И Головнин велел бросить жребий. Счастливый билет достался Дмитрию Симонову.

«Здесь я, — говорит Рикорд, — не могу не описать трогательной сцены, которая происходила при встрече наших матросов с появившимся между ими из японского плена товарищем. В это время часть нашей команды у речки наливала бочки водою. Наш пленный матрос все шел вместе с Такатая-Кахи, но, когда он стал сближаться с усмотревшими его на другой стороне речки русскими, между коими, вероятно, начал распознавать своих прежних товарищей, он сделал к самой речке три больших шага, как надобно вообразить, давлением сердечной пружины... Тогда все наши матросы, на противной стороне речки стоявшие, нарушили черту нейтралитета и бросились через речку вброд обнимать своего товарища по-христиански. Бывший при работе на берегу офицер меня уведомил, что долго не могли узнать нашего пленного матроса: так много он в своем здоровье переменился! Подле

самой уже речки все воскликнули: «Симонов!» (так его звали), он, скинув шляпу, кланялся, оставаясь безмолвным, и приветствовал своих товарищей крупными слезами, катившимися из больших его глаз».

В каюте Рикорда матрос снял куртку, распорол воротник, извлек тонкий лист бумаги, свернутый жгутом.

— Вот вам письмо от Василия Михайловича. Мне удалось скрыть его от хитрых японцев. Тут про наши страдания и советы, как вам поступать.

Рикорд несколько раз прочитал все подряд, от волнения ничего не понял. «Немного успокоившись, я все прочитал и обрадовался, усмотрев, что несчастные питаются некоторою надеждою о возвращении в свое отечество».

«Про страдания», как сказал матрос Симонов, Василий Михайлович вовсе не упоминал. А советовал следующее: быть крайне бдительным при переговорах с японцами (съезжаться на шлюпках, да так, чтобы с берега ядрами не достали); не сетовать на медлительность японцев (у них и свои мелкие дела волочатся месяцами); соблюдать учтивость и твердость (от благоразумия зависит не только свобода пленников, но и благо России); обо всем важном спросить посланного матроса.

Заканчивал Головнин так:

«Обстоятельства не позволили посланного обременить бумагами, и потому мне самому писать на имя министра нельзя; но знайте, где честь государя и польза отечества требуют, там я жизнь свою в копейку не ставлю, а потому и вы в таком случае меня не должны шадить: умереть все равно, теперь или лет через 10 или 20 после... Прошу тебя, любезный друг, написать за меня к моим братьям и друзьям; может быть, мне еще определила судьба с ними видеться, а может быть, нет; скажи им, чтобы в сем последнем случае они не печалились и не жалели обо мне и что я им желаю здоровья и счастья... Товарищам нашим, гг. офицерам, мое усерднейшее почтение, а команде — поклон; я очень много чувствую и благодарю всех вас за великие труды, которые вы принимаете для нашего освобождения. Прощай, любезный друг Петр Иванович, и вы все, любезные друзья; может быть, это последнее мое к вам письмо, будьте здоровы, покойны и счастливы, преданный вам Василий Головнин»¹.

¹ Это послание П. И. Рикорд поместил в своей книге без каких-либо сопроводительных восклицаний, полагая, что оно говорит само за себя. Иначе поступил Ф. Булгарин. Много лет спустя ему попались подлинники японских писем Головнина на рисовой бумаге. Публикуя автографы в цитируемых выше «Воспоминаниях», Булгарин предварил их панегириком. «Письма сии вполне характеризуют геройский дух русского моряка. Если бы подобное событие случилось в Древнем Риме, то Головнин был бы прославлен, как Регул!» Преамбулой Булгарин не удовлетворялся, он снабдил письма сносками: «Если ли что выше в летописях Древней Греции и Древнего Рима!», «Вот истинное самоотвержение, т.е. героизм!», «Истинное величие!»

Приняв писанные наставления, Рикорд приступил к вопросам о неписанных. Тут стало ясно, как жеребьевка подвела Головнина: Симонов был добрым малым, но ума-то недальнего. Бедняга позабыл все «разведанные». Как ни бился Петр Иванович, матрос талдычил свое: в письме, мол, прописано. И вдруг залился слезами.

— В тюрьме шестеро наших. Если не скоро вернусь, как бы японцы не причинили им еще горшей беды.

В тот же вечер Симонов оставил корабль. Он возвращался в застенки. А «Диана» возвращалась в Россию, в Охотск, за бумагами, которые требовало японское правительство.

6

Простак Симонов не умел утолить и любопытства Головнина. А любопытство было особенного свойства.

Ни один парламентарий, ни один дипломат так не алчет политических новостей, как заключенный «непростого звания». И никто так не увязывает свою судьбу с течением политических дел, как опять-таки «непростой» заключенный.

Симонова встретил Головнин будто «выходца из царства живых». Василий Михайлович голодал не только из-за отсутствия частных, прямо до него относящихся известий, но и общих — о России. Ведь связь с внешним миром пресекалась не в годы затишья, не в историческом захолустье, а в годы катаклизмов. К тому же со слов голландских корабельщиков японцы передавали, что Москва взята французами и сожжена москвичами.

«Мы, — признается Головнин, — смеялись над таким известием и уверяли японцев, что этого быть не может. Нас не честолюбие заставляло так говорить, а действительно от чистого сердца мы полагали, что такое событие невозможно».

«Смеялись»... «Невозможно»... Но, смеясь и не веря, сознавали, что дом в огне, что дома происходит нечто необычайное. И вот является «из царства живых» вестник. Вообразите, как его ждут и чего от него ждут!

Уже много позже, при мирных свечах, за бюро сидя, Головнин незлобиво усмехнулся: «Симонов был одним из тех людей, которых политические и военные происшествия во

Не мне оспаривать сущность этих похвал, разбирать историческую достоверность мученичества консула Регула в плену у карфагенян. Примечательно другое. Автор «Воспоминаний», будучи русским офицером, дезертировал и сражался в 1812 году под знаменами Наполеона. В 1820 году вынырнул в Петербурге и занялся литературой. «Литераторствовал» Булгарин и для Третьего отделения, пользуясь «презрительным покровительством» тайной полиции. И вот, уже старцем, умиляется Головниным.

всю их жизнь не дерзали беспокоить». А тогда, в тюрьме? Ох-хо-хо, досталось, верно, Симонову попреков!

Какой бы восторг сотряс Головнина, если бы он услышал в своей мацмайской темнице, что Россия воюет уже далеко от России, что она в союзе с Пруссией, Австрией, Англией, что злая звезда Наполеона неудержимо меркнет. (Впрочем, будь Симонов и семи пядей во лбу, он бы не поведал о событиях лета и осени 1813 года; и на шлюпе, прибывшем из Петропавловска, ничего про них не ведали.)

А если кого и порадовал Симонов, так это своих же братьев-матросов Михайлу Шкаева, Спиридона Макарова, Григория Васильева: десять раз пересказывал подробности своего отпуска на родном корабле, чем и «доставил великое удовольствие».

Второе пришествие Рикорда, усилия Такатая-Кахи, официальные заверения в дружбе, некоторые, хоть и смутные, слухи о победах русского оружия — все это решительно отозвалось на положении семерых арестантов. «Кажется, — пишет Головнин, — японцы перестали нас считать пленниками, а принимали за гостей».

Они зажили в светлых, чистых покоях, едали на «прекрасной лакированной посуде», им прислуживали «с великим почтением». Губернатор объявил, что уполномочен отпустить русских, если «Диана» привезет удовлетворительные ответы на «особые пункты».

Утром 30 августа 1813 года шестеро русских и айн Алексей Максимович «церемониально, при стечении множества народа» покинули город Мацмай. 2 сентября 1813 года шестеро русских и айн Алексей Максимович вошли «при великом стечении жителей» в город Хакодате.

«Здесь стали содержать нас, — повествует Головнин, — так же хорошо; кроме обыкновенного кушанья, давали нам и десерт, состоявший из яблок, груш и конфет, не после стола, а за час до обеда, ибо таково обыкновение японцев».

Итак, вроде бы амнистировали. И они испытывали то переменчивое, нервическое, нетерпеливое состояние, какое испытывают амнистированные после указа об амнистии и до выхода за тюремные ворота. Все давно опостылело, а теперь и вовсе было несносно. Время и прежде ползло черепахой, а теперь и вовсе замерло. Тоска и прежде грызла, а теперь и вовсе поедом ела.

Громко прозвучал сигнал
В гавани на корабле.
Громко прозвучал сигнал,
С моря он летит к земле¹.

¹ Китахара Хакусю. Земля и море. Пер. с яп. В. Н. Марковой.

Вот этого они теперь ждали денно и ночью. Ждали, ждали... Но громкого сигнала не доносилось из гавани. И не летел трехмачтовый шлюп к Хоккайдо.

Три недели шел Рикорд из Охотска до Хоккайдо. Еще бы часов шесть-семь ходу, и «Диана» укрылась бы в безопасном заливе. Этих часов-то и не хватило. Штормовой ветер налился ураганной силой, лавировать было бессмысленно и опасно, спасти могло лишь открытое море. И желанный остров Хоккайдо пропал из виду.

Рикорд понурился: пора равноденственных бурь. Значит, улепетывать в Петропавловск? Значит, изживать еще месяцы и месяцы, зная, как ждут тебя в Хакодате? Но может быть, спуститься к Гавайям, зимовать в раю, а с апрельскими ветрами вновь достичь Хоккайдо?

Офицеры поддержали Петра Ивановича. Но курс на Гавайи означал курс на уменьшение ежедневной порции питьевой воды. На каких весах взвесишь, что легче, жажда или голод? Но и матросы поддержали Рикорда: много терпели, еще потерпим, лишь бы скорее вызволить наших.

И все ж Рикорд медлил. Он медлил на авось. Чем черт не шутит, глядишь, и утихнет... А бури гремели двенадцать дней, двенадцать дней спорила с бурями команда. И переспорила. Как-то в одночасье все стихло, потянуло спокойные переменные ветры. Редкостное и радостное исключение из сурового, жесткого правила.

На морях, как и в жизни, за светлое платят черным. Расплатились и на «Диане»; умер матрос, один из тех, кто давным-давно покинул Кронштадт. Его хоронили как православного: пели «Святой боже»; его хоронили как моряка: зашили в парусину, к ногам привязали ядро; его хоронили как близкого: плакали матросы, плакали офицеры, плакал Рикорд. «Не многие могут понять, — записал Петр Иванович, — каким чувством дружбы связуется на одном корабле маленькое общество, отлученное на столь долгое время от друзей и родственников».

Милость ветров сродни королевской: она не отличается постоянством, ею надо уметь пользоваться. «Диана» лавировала в прибрежных водах. Японцы прислали лоцмана. Прислали и шлюпки с пресной водою, рыбой, зеленью. От платы японцы отказывались. Потом с одной из шлюпок (она несла белый флаг, на ней горели фонари, дело было вечером) окликнули Рикорда. Петр Иванович узнал голос Таката-Кахи. Кахи на днях отряс с ног острожный прах: его продержали под стражей, исследуя, не заразился ли купец иностранщиной. А сейчас «благородный и усердный» Таката-Кахи поднимался на борт «Дианы».

В обширном Хакодатском заливе шлюп окружило множество казенных гребных судов; их пригнала не любезность и

не любознательность, а указание портового начальства — для караула.

Два с лишним года назад на острове Кунашир связанный по рукам и ногам штурман Андрей Ильич Хлебников указал своему командиру, тоже связанному по рукам и ногам, на залив Измены, на мачты и паруса «Дианы»: «Взгляните в последний раз...» Два с лишним года спустя, прильнув к окнам, штурман, капитан-лейтенант, матросы глядели неотрывно, как лавирует «Диана».

Из Мацмая без опозданий и проволочек, свойственных сановникам, приехал губернатор. Едва шлюп убрал паруса и отдал якорь, губернатору вручили документы, выправленные в России. Эти документы не отягощал ни царский, ни министерский сургуч. Их «скрепляли» подпись начальника Охотского порта Миницкого, подпись Трескина, иркутского губернатора. Переговоры как начались, так и завершились на «губернаторском уровне».

Японцы поздравили Головнина. Казалось, беда, по слову поэта, «исчезла, утопая в сиянье голубого дня». Но в «голубом дне» бродила мрачная тень мичмана Мура.

Он рад был бы служить; японцы не приняли его в службу. Ему не тошно было бы и прислуживаться: японцы не приняли и в прислужники. В России мичмана ждал военный суд. Может, и не скорый, но правый. С появлением «Дианы» Мур судорожно пытался сорвать переговоры. Навета лучшего не выдумал, как опорочить бумаги, доставленные Рикордом: они-де полны угроз и непристойностей, они оскорбительны для губернатора и всей Японии. Ему не вняли. Он обреченно умолк¹.

И вот день, пятый день октября 1813 года, навсегда запечатлевшийся в душе и Головнина и Рикорда, — день свидания. Оба тождественны в своих записках, предоставляя читателю понять, что они тогда испытывали. И оба запо-

¹ Мичман Мур вынужден был вернуться в Россию. От позора спасся смертью: наложил на себя руки. Не умел жить, так хоть сумел умереть... Его прежние товарищи не унизились до сведения счетов с покойным. Надпись на могиле гласила: «В Японии оставил его провождавший на пути сей жизни ангел хранитель. Отчаяние ввергло его в жестокие заблуждения. Жестокое раскаяние их загладило, а смерть успокоила несчастного. Чувствительные сердца! Почтите память его слезою...»

В. Кондрашкин (Пенза) произвел весьма любопытные разыскания, связанные с Муром. В своей заметке по этому поводу, опубликованной в газ. «Книжное обозрение» (23 мая, 1980 года), он сослался на мемуары В.А. Инсорского «Половодье». Дедом писателя со стороны матери был англичанин Мур поступивший на русскую службу и впоследствии исполнявший многотрудные обязанности городничего в одном из уездных городов Пензенской губернии. Мичман же Мур приходился В.А. Инсорскому дядей. Автор заметки обращает внимание на Мура, персонажа рассказа Александра Грина «Ночью и днем», и отмечает, что представителей этой фамилии он мог знать, жительствова в Пензе.

мнили, что разговор долго не попадал в ровную колею, хотя никто не торопил друзей и никто не прислушивался к их голосам.

Но, повествуя о столь примечательном и волнующем событии, Головнин не утрачивает чувство юмора. Василий Михайлович иронизирует над самим собою: офицерская треуголка покоилась на волосах, обстриженных в «кружок, по-малороссийски», сабля болталась на шелковых шароварах японского образца. «Жаль только, — шутит Головнин, — что в Хакодате, когда нам объявили о намерении японцев нас отпустить, я выбрил свою бороду и тем причинил немаловажный недостаток в теперешнем моем наряде».

Рихард тоже не без юмора описывает пререкания с Такатаем-Кахи, верховным церемониймейстером всех его дипломатических сношений с японцами. «Проблема сапог» оказалась главной. Местом берегового рандеву с Головниным назначали таможду; в казенном помещении Петру Ивановичу нужно было разуться и шествовать в одних чулках. Мундир, сабля, шляпа. И без сапог? Курам на смех! Мудрый Кахи сыскал лазейку. Пусть-ка Петр Иванович обует башмаки, а уж он, Кахи, уломает чиновников: дескать, башмаки все равно что чулки. На том и согласились. А другой просьбе своего наставника Рикорд и вовсе не перечил — отказался от пушечного салюта. Японцы не могли взять в толк, зачем почести оказывать стрельбой из пушек, назначение которых убивать и разрушать? Недоумение японцев было резонным. Во всяком случае, Рикорд резон усмотрел¹.

На другой день состоялась прощальная аудиенция. Губернатор поднял над головой плотный лист бумаги, испещренной иероглифами, торжественно объявил:

— Это повеление правительства.

Документ возвещал, что отныне и навсегда поступки лейтенанта Хвостова признаются «своеволием», а не действиями, согласованными с Петербургом, а посему и прекращается пленение капитана «Дианы».

Затем была прочитана другая бумага. Уже не правительственная, а губернаторская. Теске тут же перевел ее. Она гласила:

«С третьего года вы находились в пограничном японском

¹ Адмирал Путятин (1803—1883), будучи в Нагасаки в 1854 году, напротив, не согласился с просьбой об отмене пушечного салюта и открыл оглушительную пальбу, к вящему удовольствию как своих офицеров, так и писателя Ивана Александровича Гончарова, прикомандированного секретарем к адмиральской особе. (См.: Гончаров И. А. Русские в Японии в начале 1853 и конце 1854 года: Из путевых заметок. — СПб., 1855.)

месте и в чужом климате, но теперь благополучно возвращаетесь; это мне очень приятно. Вы, г. Головнин, как старший из своих товарищей, имели более заботы, чем и достигли своего радостного предмета, что мне также весьма приятно. Вы законы земли нашей несколько poznали, кои запрещают торговлю с иностранцами и повелевают чужие суда удалять от берегов наших пальбою, и потому, по возвращении в ваше отечество, о сем постановлении нашем объявите. В нашей земле желали бы сделать всевозможные учтивости, но, не зная обыкновений ваших, могли бы сделать совсем противное, ибо в каждой земле есть свои обыкновения, много между собою разнящиеся, но прямо добрые дела везде таковыми считаются; о чем также у себя объявите. Желая вам благополучного пути».

И приближенные правители Мацмая тоже поднесли Василию Михайловичу нечто вроде грамоты. В ней между прочим было сказано: «Время отбытия вашего уже пришло, но, по долговременному вашему здесь пребыванию, мы к вам привыкли и расставаться нам с вами жалко. Берегите себя в пути, о чем и мы молим бога».

А потом подарки. Словно бы при нынешнем обмене делегациями. Японцы — русским: ящики с лакированной посудой, мешки с пшеном, бочонки sake, свежую и соленую рыбу. Русские — японцам: атлас Крузенштерна и Лаперуза, портреты Кутузова и Багратиона (принятые с особенной благодарностью).

Два года, два месяца и двадцать шесть дней минуло с того часа, когда Василий Михайлович в последний раз спустился по трапу своего корабля. 7 октября 1813 года он поднялся на палубу «Дианы». Он был встречен не просто офицерами, не просто матросами нет, «братьями и искренними друзьями».

В тот же день — день радостных слез и бурного ликования — на «Диану» хлынули солдаты и рыбаки, горожане и крестьяне, молодые и старые, женщины и дети. «Мы, — пишет Головнин, — не хотели отказать им в удовольствии видеть наши редкости, которые для них были крайне любопытны, а особливо украшения в каюте, убранной Рикордом с особенном вкусом... Посетители наши не оставляли нас до самой ночи; только с захождением солнца получили мы покой и время разговаривать о происшестввиях, в России случившихся, и о наших приключениях».

Последним с ними простился Такатай-Кахи. Годы спустя и капитан Головнин и капитан Рикорд поместили в своих книгах изображение Такатай-Кахи.

Одиссей закончил одиссею прибытием на остров Итаку. В одиссее Головнина остров Хоккайдо лежит на полпути.

Если говорить о воде, то за эти семь лет невской воды утекло пропасть. Если говорить о совпадениях, то они действительно приключаются: Головнин оставил Петербург в десятом часу вечера 22 июля 1807 года, Головнин вернулся в Петербург в десятом часу вечера 22 июля 1814 года...

Еще недавно казармы пустовали: войска были в походе. Опустели посольства: послы, кроме английского, уехали. Чиновники со своим домашним добром, потеснив казенное имущество, ретировались на баржах. Эрмитажные сокровища увезли. Банк и ломбард закрыли.

В каналах стояли наготове разномастные посудины, готовые принять беженцев. Фельдъегерей из армии боялись как вестников новых несчастий. Государь скрылся на Каменном острове, курьеров к нему не пускали, заворачивали на Литовку, к дому Аракчеева.

Но вот грянуло наступление. Все оживились. На театрах затанцевали и запели. Император поехал к победоносным войскам.

В разгар лета 1813 года Петербург погробал Кутузова. За две версты от заставы толпы простолюдинов выпрягли лошадей и медленно, с опущенными головами, повлекли колесницу к Казанскому собору.

В разгар весны 1814 года в Казанский собор внесли французские знамена. Падение Парижа возвестил сто пятьдесят один залп орудий Петропавловский крепости.

Начались торжества. Из Франции возвращались дивизии. Они слушали благодарственный молебен. Полиция, как сообщает очевидец-офицер, «нешадно била народ, пытавшийся приблизиться к выстроенному войску. Это произвело на нас первое неблагоприятное впечатление».

Так было близ Петербурга, в Ораниенбауме. Потом в город, где уже неделю жил Головнин, вступала 1-я гвардейская дивизия. Государь, обнажив шпагу, гарцевал на рослом рыжем жеребце. Все сияло, все сияли. Публика кричала «ура». Император улыбался. «Мы им любовались, — признается будущий декабрист, — но в самую эту минуту перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было первое мое разочарование на его счет».

Император, преследующий русского мужика, одного из тех, кто кровью оплатил победу, полицейские дубинки на его кривичной голове — какова картина, каков символ! Контраст

между освобожденной Европой и освободителями Европы блеснул в глаза. А на триумфальных арках начертано было: «Награда в Отечестве».

Первые неблагоприятные впечатления, первые разочарования. К ним прибавились иные, набегая и наслаиваясь. Возникал оппозиционный дух.

А что же бывший японский пленник?

Минуло три четверти года, как Головнин оставил Хоккайдо. Распрощался с Рикардом, распрощался с «Дианой», решительно и вдруг одряхлевшей, как бывает и с людьми и с кораблями. И конечно, особенно сердечно обнял тех, кто делил с ним горечь плена. Головнин, рассказывает современник, «назначил из собственного незначительного состояния единовременные пособия всем бывшим с ним в плену матросам, а одному из них производил пенсию до конца жизни».

Рикорд принял бразды камчатского правления, а Головнин повторил недавнее странствие своего друга, то бишь добрался до Иркутска зимней дорогой, вернее — бездорожьем: на собаках, на оленях, на коне. А из Иркутска, летним уже путем, сквозь пыль и дожди, пустился Сибирским трактом в беспредельность вновь обретенной родины.

Лоренс Стерн, автор «Сентиментального путешествия», лукавства ради определил странствия по полочкам: праздные, лживые, гордые, мрачные, чувствительные и т.д.

Полковник Федор Глинка, современник Головнина, издал в 1808 году «Письма русского офицера»; в них прощупывается радищевская традиция. К следующему изданию полковник добавил «Замечания, мысли и рассуждения во время поездки в некоторые отечественные губернии».

Федор Глинка как саблей отсек свое авторское «я» от стерновской классификации. Глинка бранился: «О дураки, дураки — чувствительные путешественники».

Головнин, конечно, читал «Замечания» Глинки. Но читал то уже тогда, когда написал свои записки о пребывании в японском плену. А еще раньше он вел дневник на великом пути от Тихого океана, то есть именно в «отечественных губерниях». Этот путевой журнал хранился в гулыньском именье: в 1848 году сын Головнина передал автограф историку Погодину¹.

¹ Судьбы рукописей и людей порой причудливо сплетаются. В 1864 году старец Ф. Н. Глинка сообщал из Твери М. П. Погодину: «Знаете ли, что у меня находится большая тетрадь... (неразб. одно слово) бумаги, исписанные мелким почерком. Эта тетрадь — японская бумага; это собственноручный почерк Вас. Мих. Головнина. Драгоценный в своем роде, этот манускрипт принадлежит П. Ив. Рикорду».

Одаривая Глинку, адмирал Рикорд сказал: «Возьмите же в коллекцию Ваших любопытных бумаг этот портфель. В нем вся жизнь друга моего Головнина, написанная им в японской клетке».

Только про то я и дознался в материалах отдела рукописей бывшего Румянцевского музея. Однако об «отечественных губерниях» критически рассуждал Василий Михайлович и в камчатских заметках и в карандашных примечаниях на полях «Двукратного путешествия» Гаврилы Давыдова. Нет сомнения, что и в дорожном журнале Головнина звучала радищевская интонация. «Записки» Головнина соседствовали с «Записками» Глинки и совсем не походили на гоголь-моголь эпигонов Карамзина.

В Петербурге Василий Михайлович очинил перья. Он был полон энергии. И бодрости: через день после приезда в столицу капитан-лейтенанта «всемиловнейше пожаловали» капитаном второго ранга, пожизненным пенсионом в полторы тысячи рублей годовых.

В ту пору город на Неве видел немало славных воинов, громкие имена раздавались повсюду. Но положение Головнина было уникальным: русский из Японии, русский из какой-то неведомой, загадочной страны. У Василия Михайловича хватало ума понимать, что исключительность создали обстоятельства, от него не зависевшие. Как бы ни было, положение обязывало не ударить лицом в грязь. И он усердно трудился.

В Московском архиве литературы и искусства мне попался листок от 11 ноября 1814 года. Коротенькая записочка Головнина каким-то образом очутилась в коллекции поэта Тютчева. Вот она:

«Милостивый государь Карл Иванович, имею честь препроводить к Вам десять тетрадей моего путешествия, к переводу коих Вы можете приступить. Прошу покорнейше работу нашу держать в тайне».

Кто сей Карл Иванович, архивисты не установили. Отгадать нетрудно: на лейпцигском двухтомном издании Головнина значится имя переводчика Карла Иоганна Шульца. Главное, впрочем, не фамилия, а то, что за несколько месяцев Головнин написал десять тетрадей, и эти тетради получил переводчик. (Почему Василий Михайлович просил «работу нашу держать в тайне», не догадываюсь.) И опять-таки главное не в наличии десяти тетрадей, а в их содержании.

Разбирая портфель. Глинка «не один раз испытал чувство глубокого умиления, читая строки, на которые, может быть, падали слезы благородного узника. Положение его было ужасно!».

Письмо Ф. Н. Глинки находится среди неопубликованных документов М. П. Погодина, хранящихся в отделе рукописей Библиотеки им. В. И. Ленина.

А в библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина хранится рукопись спутника В. М. Головнина штурмана А. Хлебникова «Японский плен семи россиян...».

«Записки» эти явились русской публике как откровение. Автор совлек сумеречный, зыбкий покров с удивительного островного государства. Головнин навел на него то заветное зеркало, о котором позже сказал Пушкин: «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии».

Что сыскал бы о Японии русский книголюб 1814—1815 годов? Жалкие крохи. Чуть не столетней древности перевод с французского — «Описание о Японе». Семь страничек в «Полном географическом лексиконе»; переведенную со шведского статейку в «Новых ежемесячных сочинениях»; заметочку Карамзина в «Вестнике Европы»; брошюру о первом русском посольстве в Японии; три странички во «Всемирном русском путешественнике» да столь же в переводной с французского «Дорожной географии»...¹

Географ Венюков еще и полвека спустя отмечал: «Головнин к описанию своих приключений присоединил и систематическое описание Японского государства — единственное оригинальное сочинение на русском языке».

Какой же приманчивой новинкой было это оригинальное сочинение в начале века! Чернила еще не успели высохнуть, а уж в типографии Дрехслера набирали отрывок из «Записок» мореплавателя для очередного номера «Сына отечества». Семь раз популярный журнал «изымал» у Василия Михайловича его тетради. Спыхватились и москвичи — лидер тогдашней периодики «Вестник Европы». А «Русский вестник», тоже московский, напечатал сверх того рассказ Рикорда о плаваниях к японским берегам ради спасения Головнина. Наконец, в 1816 году книгопродавцы получили отдельное издание в трех частях.

Читательская жадность во многом, конечно, объяснялась сенсационностью материала. Но не только. Мореплаватель Крузенштерн говаривал, что моряки пишут худо, зато искренне. Искренность головнинских «Записок» подкупающая. Но и самое изложение отличается той легкостью, которая дается нелегко, и той выразительностью, которая присуща художественным натурам.

¹ Во второй половине XVIII века среди раскольников имела хождение рукопись о путешествии инока Марко в Японию. Путешествие по тем временам огромное: из Архангельской губернии, Кемского уезда, в Китай, из Китая в Японию. Можно только дивиться семимильным сапогам отважного северянина. Любопытный факт: Марко нашел в Японии русских староверов, потомков тех, кто укрылся там от преследования властей еще при царе Алексее Михайловиче. Следствие по делу «японских» раскольников производилось в 1807 г. (См.: Мельников-Печерский П.И. Полн. собр. соч. — СПб., 1909. Т. 7. С. 22—23.)

В январе 1817 года в Петербурге, в зале Публичной библиотеки, выступал Николай Иванович Греч (тогда еще не холопствующий). Греч критически обозревал русскую литературу минувшего двухлетия. Он сказал:

— На «Записках» господина Головнина наблюдатель отечественного просвещения не может не остановить особенного внимания, какого книга сия во всех отношениях достойна. И в самом деле, сколько положение самого сочинителя в плену возбуждает любопытство читателей, столько необыкновенный своей простотою и истиною слог его вселяет к нему совершенную доверенность... Кроме, может быть, путешествия английского капитана Флиндерса, во всей Европе в последние годы не выходило по сей части книг, которые важностью и занимательностью своею могли бы сравниться с сими записками.

В феврале того же восьмьсот семнадцатого поэт Батюшков, сидя в деревенской зимней глуши, познакомился с книгой Василия Михайловича. Батюшков отозвался кратко и сильно: «Недавно прочитал Монтеня у японцев, то есть Головнина Записки. Вот человек, вот проза!»

Французский философ Монтень писал свои знаменитые «Опыты» в трудные, бурные времена, «при звуке оружия, при зареве костров, зажженных суеверием», а между тем сумел сохранить спокойную объективность. Такую же благородную сдержанность уловил Батюшков и в прозе капитана «Дианы». (Много позже, десятилетия спустя, расслышал ее и автор журнала «Морской сборник»: «Головнин, несмотря на перенесенные им бедствия, неразлучные с положением пленного, отзывается вообще о японцах как о племени великодушном и кротком».)

Друг Пушкина поэт-декабрист Вильгельм Кюхельбекер дважды обращался к творчеству Головнина. Высокое достоинство его прозы отметил Кюхельбекер в статье для журнала «Невский зритель». А в 1832 году, будучи узником Свеаборгской крепости, занес в дневник: «Целый день читал записки В. Головнина. Книга такова, что трудно от нее оторваться». И далее: «Записки В. Головнина — без сомнения, одни из лучших и умнейших на русском языке и по слогу и по содержанию».

Еще при жизни Головнина был у него жадный благодарный читатель: будущий автор «Фрегата «Паллада». Ссылки на Головнина у Гончарова неоднократны. Суть, не только в том, что знаменитого романиста занимали мнения предшественника. Суть еще вот в чем: «Гончарова не мог не привлекать поистине реалистический метод, которым пользовался Головнин как художник-очеркист, хотя в «Записках» есть и некоторые элементы сентиментального стиля. Не мог не увлечь Гончарова и великолепный рус-

ский литературный язык Головнина, сочный, образный, меткий»¹.

Век минувший не баловал сочинителей тиражами. И переизданиями тоже. Общий тираж книг Головнина я не сумел установить. Переиздания легко определить по каталогам. Каталоги свидетельствуют: книги Головнина не утрачивали притягательной силы, читательский интерес к ним не затухал. Они сходили с типографских станков и при жизни автора, и после его кончины. И не в одной лишь России.

Лондонские книгопродавцы получали их трижды: в 1818, 1824, 1835 годах. Французы и немцы, швейцарцы, датчане, голландцы — в один год, в восемьсот восемнадцатом. Поляки — в восемьсот двадцать третьем. Это была всеевропейская известность... А японцы увидели записки Василия Михайловича только сто с лишним лет спустя. Первое (иллюстрированное) издание осуществило 2-е управление Военно-морского штаба; затем, в 1943 году, в Токио появился двухтомник, еще несколько лет спустя — трехтомник.

«Записки» Головнина, адресованные вовсе не отрокам, утвердились и в круге юношеского чтения. В 1864 году было выдано в свет первое издание для детей. В конце прошлого и в начале нынешнего столетия «Записки» шли нарасхват: издания девяносто первого года и девяносто шестого, девяносто второго и девятьсот девятого. К тому же и беллетристы частенько баловались переложением прозы Головнина. Правда, не ей на пользу, а самим себе...

Признание досталось Василию Михайловичу в зрелую пору жизни. В марте 1818 года Вольное общество любителей российской словесности почтило Головнина званием почетного члена. В списке имя его значилось тридцатым. Ниже читаешь: «Ермолов Алексей Петрович, Крылов Иван Андреевич, Жуковский Василий Андреевич, Батюшков Константин Николаевич...»

Общество негласно примыкало к декабристскому «Союзу благоденствия» (подобно «Зеленой лампе», Военному обществу

¹ В. Михельсон. «Записки» В. М. Головнина и «Фрегат «Паллада» И. А. Гончарова». Эта обстоятельная статья, единственная, кажется, в своем роде, помещена в Ученых записках Краснодарского педагогического института (вып. XIII, 1955). Подробнее см.: Михельсон В. «Путешествие» в русской литературе. — Ростов н/Д. 1974.

Вообще же Василию Михайловичу, что называется, не повезло: литературоведы, даже авторы узкоспециальных работ, замалчивают Головнина. В. П. Вильчинский, исследователь русской маринистики, лишь мимоходом назвал его имя. Приходится довольствоваться общим (впрочем, справедливым) утверждением: «Жанр морских путешествий, в истории которого необходимо учитывать его ранних представителей, получил широкое распространение в середине XIX в. в творчестве выдающихся мастеров критического реализма» (Вильчинский В. П. Русские писатели-маринисты. — М. — Л., 1966).

ву при штабе Гвардейского корпуса). В среде любителей российской словесности подвизались и господа, чуждые не только революционности, но даже оппозиционности. Однако, быть может, достойно внимания время баллотировки Головнина. Буквально только что, в конце февраля, писатель Федор Глинка — фактический лидер общества и видная фигура «Союза благоденствия» — добился уставного избавления от «случайных людей». Глинка с единомышленниками клонили к тому, чтобы создать «ученую республику». Они своего добились. Ядром стали будущие деятели 14 декабря. В этой-то «республике» Головнин не считался лишним.

«Форма избрания» предусматривала непременно явку избираемого. Правда, почетные члены «из сего правила изымались». Впрочем, и не случись «изъятия», Головнин никак не мог бы явиться: в марте 1818 года он огибал Маркизские острова.

Не явился он и на Васильевский остров, в Академию наук, где с мая 1818 года «почтенного мужа, г. флота капитана и кавалера» дожидался диплом члена-корреспондента: в мае Василий Михайлович был уже на другом краю России, в Петропавловске, там обнимал старинного друга своего Петра Ивановича Рикорда, который, кстати сказать, почти одновременно с ним удостоился той же академической чести. Но с некоторой разницей: Головнин — «за отличное в науках упражнение», Рикорд — «по разряду географии и навигации».

2

Молодой Брюсов однажды заметил: «Никогда самая искусная марина не заменит путешественнику вид на океан, уже по одному тому, что в лицо ему не будет веять соленый запах и не будет слышно ударов волн о береговые камни».

Не знаю, украсил ли Головнин свой петербургский угол (по чину полагались две комнаты) или гулынский дом (где пожил в шестнадцатом году) «искусными маринами». Если и украсил, то они и впрямь не заменили ему «вид на океан».

Было бы куда как романтично описать порыв героя к убегающему морскому горизонту, жажду буйных ветров, тоску по белоснежным парусам и т.д. и т.п. Но с Головниным не уравнишься традиционными приемами.

Противоречивые чувства владели Василием Михайловичем при назначении командиром кругосветного корабля. Предстоял долгий поход на два-три года. А в Петербурге — Евдокия. Евдокия Степановна Лутковская, дочь отставного офицера, сестра четырех моряков. Головнин посватался, ему не отказали. Ничто не загораживало аналой. Ничто не мешало священ-

нику цитировать у аналога апостола Павла: «Так каждый из вас да любит жену свою, как самого себя».

И вдруг — шлюп «Камчатка», кругосветное плавание, десятки тысяч миль, тысячи дней и ночей в разлуке. Он не повел Евдокию под венец. Он просил ждать его.

Было ль то испытательным сроком? Или беспредельностью веры? Или не хотел Головнин обречь ее на вдовство, памятуя участь мореходов? Или сам не хотел оставаться соломенным вдовцом?

Как бы там ни было, а свадьбу не играли. И ничего не сделал Головнин, чтобы увильнуть от похода. Между тем человеку его положения, известности, веса удалось бы пристроиться либо в Адмиралтействе, либо в Кронштадте, либо на каком-нибудь балтийском корабле.

Принимаясь готовить экспедицию, Василий Михайлович испытывал то душевное состояние, которое не располагает к улыбочивости. И кто поручится, не посещали ль его слабость, уныние, печаль? Но сказано: работа — губка, она поглощает сердечную боль. А работушка привалила многопудовая.

Десять лет назад лейтенанту, командиру «Дианы», дали некоторые письменные напутствия. Десять лет спустя почетному члену Адмиралтейского департамента, капитану второго ранга, командиру «Камчатки», объявили:

— Ныне департамент, удостоверясь на опыте в ваших познаниях и способностях, не находит надобности повторять тех же предписаний и полагается во всем на ваше искусство и благоразумие.

Экспедиция преследовала троякую цель. Две — копировали задачи «Дианы»: доставка тяжелых грузов в Петропавловск и Охотск, картирование тех островов и берегов в северной части Тихого океана, которые еще не были определены астрономическими способами. Третья цель была весьма щекотливого свойства: Головнина посылали ревизором.

Его обязали исследовать положение коренного, туземного, населения в колониях Российско-Американской компании. Требовался человек, по должности независимый от компанийских купцов-воротил. Головнин, офицер флота, от них не зависел. Он «зависел» от своих взглядов. Честность и прямота его были известны. И надо полагать, главные акционеры не очень-то радовались сему «препоручению», хоть и состояли «под высочайшим покровительством».

Российско-Американская компания жирела на добыче пушнины. Самыми желанными считались морские бобры. А самыми лучшими, сноровистыми, неутомимыми добытчиками считались алеуты. Их-то и ввергли в холопство. Никакими параграфами, пунктами, законами отношения предпринимателей и туземцев не регулировались. В стране огромных и гро-

моздких канцелярий верховодила, в сущности, незримая Канцелярия-По-Ограблению.

Из-за тридцати земель, с океанских островов и прибрежий, доносился такой тяжкий стон, такие слезные мольбы, что даже привычно глухих сановников иногда подирал морозец.

В пору снаряжения «Камчатки» генерал-губернатором Сибири был Пестель, отец декабриста. Герцен определял Пестеля-старшего сатрапом, да еще из худших. Так вот, генерал-губернатор летом 1817 года просил морского министра маркиза де Траверсе отрядить ревизором «морского чиновника». Пусть-де удостоверится в «обидях беззащитных островитян».

Маркиз прохлаждался неподалеку от Петербурга, в имении. Он лакомился русской природой и продувной французской, которой, говорят, строил куры сам государь. На лоне министр и подмахнул инструкцию № 1510 — инструкцию о «рассмотрении положения жителей колоний, принадлежащих Российско-Американской компании». Как Василий Михайлович исполнил ее увидим позже.

А пока он в хлопотах, в разъездах из Петербурга в Кронштадт и обратно. Благо дымит и колотит плицами «Елизавета», и теперь от столицы до кронштадтских рейдов добирается часа за три¹.

Он не изменил своему правилу: команду набирал по добром согласию, офицеров тоже, и притом лишь тех, чье мастерство не вызывало сомнений. Впрочем, нет, были исключения из правила. Одно по просьбе безвестного мичмана, другое по просьбе известного мореплавателя, третье, очевидно, по просьбе столь «важной» особы, что Головнин не устоял.

Безвестный мичман не отличался богатырским сложением. Рыжеватый блондин, он смотрел на Василия Михайловича преданно и восторженно, как паж на короля. Фердинанд Врангель самовольно покинул фрегат, на какой-то лайбе пришел из Ревеля и вот бил челом: сделайте милость, возьмите! Может, Головнину вспомнился другой мичман? Тот тоже не имел покровителей во флоте. И Головнин «устроил» нарушителя дисциплины на шлюп «Камчатка».

Ну, хорошо, Врангель мог козырнуть аттестацией, полученной в Морском корпусе. А вот этот едва оперился в Царскосельском лицее. Лицейсты, поди, не отличают грот-мачту от якорного каната! Да что тут попишешь, коли просит за Федора Матюшкина старший и старый товарищ — Крузенш-

¹ Первый русский пароход, построенный петербургским заводчиком Карлом Бердом, совершил свой первый рейс Петербург — Кронштадт в ноябре 1815 года. «Елизавета» имела машину в четыре лошадиные силы и покрывала в час около девяти верст.

П. И. Рикорд опубликовал в «Сыне Отечества» специальную статью о преимуществах паровых судов и блистательной их будущности. «Классик» парусного флота, он прежде многих и многих коллег разглядел «закат парусов».

терн? (А Крузенштерн просил директор лицея, известный педагог и добрейшая душа Егор Антонович Энгельгардт.) И вот уж в июле 1817 года читает Головнин благодарственное письмо из Царского Села, письмо, поныне хранящееся в Пушкинском доме.

Если радеешь незнакомым, как не порадеть почти родственникам? И наш мореход, большой противник протекций, не противится настояниям невесты. У Евдокии-то братья в корпусе. А какой гардемарин не жаждет кругосветки? Гм! Так-то оно так, да вот этот самый Ардальон не медальон. Непутевый малый, ей-богу. Подумать только, молоко на губах не обсохло... Э-э, какое «молоко», ежели разжалован Ардальон из гардемарин в матросы второй статьи за пьянство! А у Евдокии вся надежда на тяжелую крепкую женихову руку. И Головнин принимает под свою руку бесшабашного Ардальона Лутковского. Но вроде бы и «компенсирует» его другим Лутковским, Феопемптом — спокойным, дельным, знающим английский и французский языки¹.

В конце августа кончились сборы. «Камчатку» снарядили, экипаж снаряжился. Гребные баркасы вывели шлюп на Большой рейд. Туда, откуда «в предназначенное плавание идут тяжёлые корабли».

Бердовская «Елизавета» привезла в Кронштадт бывшего лицеиста Федора Матюшкина. Строгий и осторожный ученый М. А. Цявловский указывает: «Если Пушкин вернулся в Петербург из Михайловского до 26 августа, то, возможно, он провожал Матюшкина до Кронштадта».

Они были однокашниками и друзьями. Академик Е. В. Тарле в письме к автору этих строк говорил: «Пушкин, может быть, только Дельвига и Пущина так любил, как Матюшкина».

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полуночных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О, волн и бурь любимое дитя!
Ты сохранил в блуждающей судьбе

¹ Ардальону Лутковскому (очевидно, заступничеством будущего шурина) вернули звание гардемарина. Служил он недолго: в 1822 году погиб у берегов Голландии.

О Феопемпте Лутковском см. примеч. на с. 428.

Двое других Лутковских, Нил и Петр, были удачливее Ардальона. Нил дрался с французами во время Отечественной войны, получил боевой орден; в год отправления «Камчатки» находился в Свеаборге. Петр Лутковский пережил братьев и умер в 1882 году полным адмиралом. Его бумаги, в том числе письма В. М. Головнина, хранятся в отделе рукописей библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Любезно сообщено Ц. И. Грин.

Прекрасных лет первоначальны нравы:
Лицейский шум, лицейские забавы
Средь бурных волн мечталися тебе;
Ты простирал из-за моря нам руку,
Ты нас одних в младай душе носил
И повторял: на долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!

Поступая в ученье к Головнину, Матюшкин имел дружеское и настоятельное поручение Пушкина. Долгое время считалось, что Матюшкин не выполнил его. Нет, выполнил. Убедимся чуть позже.

Было бы очень и очень заманчиво свести под кронштадтским небом юного Пушкина и капитана Головнина. Увы, даже если Пушкин и ездил в Кронштадт, Головнин его не видел. И порукой тому дневник Федора Матюшкина: Матюшкин уже расположился на борту «Камчатки», а Василий Михайлович все еще задерживался в Петербурге. Чертовски жаль! Что бы это ему появиться несколько раньше. Впрочем, кто знает, может, сурово-задумчивый Головнин вовсе и не приметил бы молодого Пушкина?

3

Моря разъединяют континенты, корабли соединяют. Вахты, мили, ветры, погоды существенны в жизни морехода. Но подлинное золотое руно аргонавтов в том, что открывается уму и взорам. «Камчатка» шла в мир. Мир наплывал на «Камчатку». Сто тридцать человек смотрели на этот пестрый, этот переменчивый, этот движущийся мир.

Стремление запечатлеть увиденное — не суетность, а потребность благородная. В каютах шлюпа четверо (по крайней мере) склонялись над столом с пером в руках.

Журналы Головнина были изданы, мы в них заглянем. Записки мичмана Федора Литке и волонтера Федора Матюшкина больше века покоились под спудом. Дневник мичмана Врангеля исчез, кажется, навсегда.

Василий Михайлович адресовался в два адреса: к тем, кто пойдет курсом «Камчатки», и к тем, кто, не покидая очага, хотел видеть далекие страны. Молодые люди, подчиненные Головнина, не рассчитывали на типографию.

Два с небольшим месяца после отплытия из Кронштадта, в ноябре 1817 года, корабль отдает якорь у берегов прекрасной и нищей Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Путешественники съезжают на берег.

Можно услышать грохот огромного водопада, и они слышат его. Можно посетить театр, и они посещают. Можно насладиться игрою гитариста Жуана Мануэля де Сильва или ученика Гайдна пианиста Нейкома, и они наслаждаются.

Можно приятно и не без пользы побеседовать с натуралистом Лангсдорфом, русским консулом в Рио, и они беседуют с Григорием Ивановичем Лангсдорфом. А еще можно попасть на улицу Волонга, где рынок черных рабов, или на невольничий корабль и призадуматься о многом.

«Сколь прискорбна мысль, — пишет мичман Федор Литке, — что одна из плодоноснейших стран в свете не может быть возделываема, словом сказать, не может иметь политического бытия, не лишая некоторого числа на несчастье рожденных людей драгоценнейшего и священнейшего права свободы. Португальцы говорят, что это необходимо, и преспокойно торгуют невольниками... Здесь есть улица, в коей продают негров. Она состоит из домов или, лучше сказать, сараев, разгороженных на две половины. В одной продаются мужчины, в другой — женщины. Желаящий купить является. Хозяин показывает ему своих негров, заставляет их делать разные телодвижения в доказательство здоровья их. Покупающий смотрит у них язык, как коновал смотрит у лошадей зубы. Товар продан — и бедный негр делается собственностью другого»¹.

Матюшкин согласен с Литке. Но гнев Матюшкина накаленное. Он был и на улице Волонга, и в плавучем португальском застенке:

«Там можно видеть все унижение человечества как со стороны притесненных несчастных негров, так и со стороны алчных бесчеловечных португальцев... Все, что себе можно вообразить отвратительного, представляется глазам нашим... Негры валяются везде и от боли стонут, другие с нетерпением и остервенением срывают у себя нарывы, по всему судну распространяется несносная, неприятная духота. Везде нечистота, неопрятность и нерадение португальцев видно. Они спокойно обедают (я был там в полдень), а недалеко от них несчастный полумертвый негр мучится, стонет и, кажется, издает последний вздох».

Матюшкин спустился в трюм, у него захватило дух: ребятишки, черные ребятишки. Он спросил, что же это такое, как же это можно? Ему отвечали «с совершенным хладнокровием: «Мы нашли за выгоднейшее возить детей, взрослых стараемся избежать и когда уж нельзя избежать, то их содержим весьма строго, в цепях».

Матюшкинские записи отличаются особенным звучанием — тираноборческим. На «Камчатке» был он, пожалуй, самым «левым». Тому и причины есть, и доказательства.

Восемнадцатилетний волонтер шагнул на корабль «с лицейского порога». Лицей пушкинской поры не тихая заводь, не питомник благонамеренных чиновников, но рассадник

¹ Двухтомные записки Ф. П. Литке находятся в Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота (Ленинград).

вольномыслия. «Краеугольный камень» положили в души юношей Куницын и Малиновский, последователи Радищева. Они воспитали «пламень», который освещал и согревал пушкинский круг. К нему принадлежал и Федор Матюшкин.

У пушкинистов существовало предание: отправляясь в плавание с Головниным, волонтер собирался вести записки «по совету и плану Пушкина». А пушкинист М. А. Цявловский уже прямо указывал, что именно Пушкин изъяснял однокашнику и единомышленнику «настоящую манеру записок, предостерегая от излишнего разбора впечатлений и советуя только не забывать всех подробностей жизни, всех обстоятельств встречи с разными племенами и характерных особенностей природы».

Десяток с лишним лет назад мне посчастливилось читать то, что по плану и совету своего друга исполнил Матюшкин на борту головнинского шлюпа.

В отличие от Литке он не ограничился сочувственными эпитетами. Он жалел, что бразильские негры не «составят меж собой тайной братский союз!» Позднее, в Перу, он называет индейца, вождя повстанцев, «народным благодетелем!» И наконец, завершая дневник, берет грозный аккорд: «Мало изгнать из своей земли рабство, чтоб доставить подданным счастье, безопасность, но надобно изгнать его из колоний — для блага всего человечества».

Русские «кругосветники» наложили позорное тавро на работорговлю, на рабство. Записки моряков смыкаются с «негритянской темой», которая громко и явственно, долго и настойчиво звучала в русской литературе, у Радищева и у тех, кто «вослед Радищеву».

Негрофильство их не было лишь подражанием аббату Рейналю, автору «Философской и политической истории о колониях и торговле европейцев в обеих Индиях». Обратной стороной негрофильства было русофильство. Русофильство вполне определенного, хотя и потаенного, толка — печалась о черном рабе, печалились о рабе белом, о крепостном; клеймя португальского или испанского изверга, клеймили изверга русского, крепостника-помещика. То были не просто кивки в заокеанскую сторону, но и призывы: «Оглянись во гнев!»

Путевые записки мореходов при всем различии уровней — литературного, исторического, политического — схожи в одном: хоть убей, не выжмешь из них и пригоршню сведений о самой корабельщине. Фамилии названы, и только. Ни внешних, ни внутренних примет. В дневнике Матюшкина ни строки о начальнике, о товарищах. Дневник Врангеля куда-то запропастился. Лишь из его беглых, отрывочных записей, изданных в Штутгарте в 1940 году, можно установить, что рыжеватый блондин был на шлюпе «правым», что ему претило

«материалистическое направление» Литке. И только вот этот самый «материалист» помогает нам представить и «Камчатку», и — что важнее — командира «Камчатки».

Пятьдесят лет минуло. Бывший мичман, проказник и весельчак, обратился в знаменитого путешественника, члена-учредителя Русского географического общества, президента Академии наук. И тогда-то Литке помянул своего давнего наставника, капитана второго ранга Василия Михайловича Головнина:

«В его глазах все были равны... Ни малейшего ни с кем сближения. Всегда и везде командир: steif (непреклонный и недоступный) донельзя... Все его очень боялись, но вместе и уважали, за чувство долга, честность и благородство». И далее: «Его система была думать только о существе дела, не обращая никакого внимания на наружность... Щегольства у нас никакого не было, ни в вооружении, ни в работах, но люди знали отлично свое дело, все марсовые были в то же время и рулевыми, менялись через склянку, и все воротились домой здоровее, чем пошли... Я думаю, что наша «Камчатка» представляла в этом отношении странный контраст не только с позднейшими николаевскими судами, но даже с современными своими. После того что я сказал о характере нашего капитана, излишне упоминать, что на «Камчатке» соблюдалась строгая дисциплина. Капитан первый показал пример строгого соблюдения своих обязанностей. Ни малейшего послабления ни себе, ни другим». Великолепная характеристика. Не только человеческих свойств, но и профессиональных качеств, головнинской «науки побеждать» непобедимое море. И она, наука эта, обратила шлюп в школу мореходного искусства.

Не все сделанное мастером непременно сделано мастерски. Но мастеру худо, если он не выучил мастеров. Головнин — пестун четырех адмиралов: Литке и Врангеля, Лутковского и Матюшкина. Первый из них признавался: «В начале похода я не имел никакого понятия о службе; воротился же моряком, но моряком школы Головнина, который в этом, как и во всем, был своеобразен».

«Камчатка» была школой под открытым небом и в открытом океане. Но и учителю приходилось держать нешуточные экзамены в этой школе. Вот хоть на новый, 1818 год, когда «Камчатка» огибала мыс Горн. Тот, что не сумел обогнуть Василий Михайлович на «Диане».

Правда, «Камчатка» оказалась резвее «Дианы». Вышла из Кронштадта позже, не в июле, а в конце августа, а пришла-то раньше, в благоприятное время, если только случается оно в тех широтах.

Испытание длилось почти месяц. Сухопутные люди и думать позабыли про рождество и уже сретенье господне празд-

новали, когда морские люди встретились наконец с Великим, или Тихим.

И вскоре — наградой — солнечный рейд, запахи теплой земли, полуобнаженные купальщицы, приглашения к вице-королю сеньору де ла Пецуела, пикники, поездки в горы: Перу, ее столица Лима, порт Кальяо.

Ах, какие любезности расточали русским гостям испанские хозяева! Но русские гости очень хорошо знают, что здешние хозяева почти уж и не хозяева, что надменность испанская сильно полиняла.

Не первый год в Южной Америке шла война за независимость колоний от мадридских владык. Испания терпела поражения. Новая Испания, Новая Гренада, Перу, Ла-Плата, все четыре вице-королевства вот-вот должны были обрести независимость. В Мадриде, а равно и в вице-королевских дворцах надеялись на подмогу императора Александра и Священного союза. Ну как же иначе? Ведь там, в Европе, есть могущественные роялисты, и они не бросят в беде испанских роялистов из роялистов. А посему в Кальяо и Лиме расточают любезности офицерам российского военного корабля.

Однако Василий Михайлович Головнин не принадлежал к тем писателям, у которых недостает желания быть читателями. Он был не только одним из авторов, но и одним из подписчиков «Сына Отечества». А этот популярный журнал под сурдинку держал сторону мятежников: «Сила их возрастает наравне со счастьем!» «Сын Отечества», замечает историк Л. Ю. Слезкин, информировал об испанской Америке с явной симпатией к патриотам. Вообще журналы и газеты Петербурга и Москвы не скупилась на материалы о войне за независимость, большей частью объективные.

Головнину не было нужды менять свою точку зрения на «законные права» колонизаторов. Он был тверд на сей счет. Вспомним пока лишь пометку на Давыдовском «Двукратном путешествии»: «Присваивать вольный народ себе в собственность есть дело крайне несправедливое!» Если так сказано о российских собственниках, отчего ж миловать испанских? И, вежливо отвечая на комплименты, Головнин, конечно, не склонился на сторону комплиментщиков.

Но избави бог от натяжек и умолчаний: не все думали так, как Головнин. Матюшкин и Литке были «за», Врангель — «против». (О других не знаю.) Однако ведь дневник Врангеля утрачен? Это так. Да мне вот довелось рыться в обширном собрании его рукописей, листать другой его дневник, тоже почему-то отнесенный к «без вести пропавшим».

Дремучим монархистом был этот отличный моряк, Фердинанд Петрович Врангель. Он видел в Наполеоне укротителя революции и готов был целовать бич укротителя; его возмущало любое освободительное движение, повстанцы южноамериканские.

риканских колоний рисовались Врангелю «дикими зверями», которые «кидаются за свободой, не понимая ее»¹.

Кальяо — первая тихоокеанская стоянка «Камчатки». Но не последняя. Великую панораму развернет Великий океан. И взору Головнина предстанет многое.

4

Можно следить за «Камчаткой», как она бежит свои мили, мили, мили. Да нужно ли? Головнин не стесняется писать: «Чрезвычайно скучно: кроме моря и неба, ничего не было видно, и шлюп качало ужасным образом».

«Певцы моря» большей частью обитают на берегу. Головнину «ахи» чужды. Он никогда не пугает читателя морскими страстями-мордастями. (Быть может, инстинктивно стесняясь выглядеть эдаким рыцарем без страха и упрека.) Он умеет рассказывать о морском походе: «Нет плавания успешнее, как пассатными ветрами, но зато нет ничего и скучнее. Единообразие ненавистно человеку; ему нужны перемены: природа его того требует. Всегдашний умеренный ветер, ясная погода и спокойствие моря хотя делают плавание безопасным и приятным, но беспрестанное повторение того же в продолжение многих недель наскучит. Один хороший ясный день после нескольких пасмурных и тихий ветер после бури доставляет во сто крат более удовольствия, нежели несколько дней беспрерывно продолжающейся хорошей погоды».

Пейзажи у Головнина точны. Но это не фотографическая точность. Всегда видна кисть, их рисующая. Ему нужна елка, а не елочные украшения. И потому пейзаж у Головнина не сам по себе, не красоты ради. Если он пишет о лунных ночах в океане, то совсем не затем, чтобы нарисовать... Впрочем, читателю известно, как живописуют лунные ночи. Нет, лунные ночи отмечены не зря. Они «работают»: Головнин ими воспользовался, чтобы успешнее, быстрее, безопаснее пересечь экватор, где ветры переменчивы и порывисты, где нужна сугубая осторожность, а в светлые ночи «можно несравненно более нести парусов и удобнее с ними управляться».

Географические карты, как и марины, не заменяют вида на океан. Они, однако, обладают волшебством: сокращают расстояния, сжимают, спрессовывают время, необходимое для покрытия этих расстояний. Карты, как и книги, требуют про-

¹ Правда, среди документов Ф. П. Врангеля встречались верные заметки о Южной Америке. Он посетил ее вторично, командуя транспортом «Кроткий», и подчеркнул, что бывшие испанские колонии подпали под власть английских и североамериканских предпринимателей.

чтения. Они требуют и некоторых усилий воображения. И тогда оживают. Приглашение к карте — приглашение к заочному путешествию.

Пенистый след за кормою корабля угасает, как прожитое. Сплошная линия, положенная на карту, остается, как деяние. Секунды довольно — глаз схватит тихоокеанский маршрут шлюпа.

Древний философ Анаксимен спрашивал Пифагора: «Могу ли я увлекаться тайнами звезд, когда у меня вечно перед глазами смерть или рабство?» Смертью или рабством не увлечешься. Куда приманчивее тайны звезд. А мысль о том, что мы, земляне, «дадим» звездам — не ту же ли смерть, не то же ли рабство? — мысль эта не тревожила человека минувшего столетия. Даже Кибальчича. А Головнина тем паче. Здесь иное: мореходный путь пролег сквозь смерть и рабство.

Во владениях Российско-Американской компании командир «Камчатки» приступил к ревизии. Он повел дело по всей строгости: допросил свидетелей, выслушав жалобы, заполнил в присутствии корабельных офицеров документы.

Головнин заглянул в бездны колонизации. И все увиденное изложил в двух записках. Одна была обширная, с историческим экскурсом, политико-экономическим обзором, но не холодным, а гневно-сатирическим. Вторая, краткая, похожа на рапорт по начальству.

«Без тщеславия могу сказать, что пером моим не водило никакое пристрастие», — писал Головнин. Неверно: пером его водило пристрастие правдолюбца, пристрастие гуманиста.

Ему пришлось отказаться от одного весьма распространенного мнения: там, наверху, разберутся. Как многие на Руси, он слишком долго верил в справедливость высших сфер. Он полагал: беззакония и злодеяния потому лишь бытуют, что их еще не достигнула карающая десница правительства. Правительство не ведает, не знает, не прослышало. Русский народ не вчера сложил пословицу: до бога высоко, до царя далеко. При всей ее грустной меткости в ней все же тайная мысль: «Охо-хо, знал бы царь, знал бы батюшка...»

Головнину, повторяю, пришлось отказаться от надежды на вмешательство высших сфер. Почему? Очень просто — грабительство и беззакония не были тайной: «...о злоупотреблениях, компаниею чинимых, упоминается ясно, подробно, сильно и утвердительно в двух российских сочинениях, посвященных государю императору, напечатанных и обнародованных в Российской Империи и переведенных на разные европейские языки, а именно в путешествиях вокруг света флота капитанов Крузенштерна и Лисянского».

Ну что ж, кажется, еще Паскаль говорил, что нет ничего дороже чувства долга в человеческом сердце. И Головнин пишет свои записки, повинувшись этому чувству. Он пишет не

по обязанности ревизорской, а потому что не может и не хочет молчать.

Он заглядывает в прошлое колонизации. Чем оно пахнет, пресловутое освоение Алеутских островов? Кровью, кровью, кровью. Колонизаторы «употребляли всегда ужасные жестокости», алеутов «считали едва ли лучше скотов», «часто делали убийства, отнимали жен и дочерей и производили всякого рода неистовства над бедными жителями».

Да полно, уж не неистовствует ли сам Василий Михайлович, не сгущает ли краски, не перебарщивает ли? Увы. Его подкрепил впоследствии сын пономаря Иван Евсеевич Вениаминов, он же митрополит московский и коломенский Иннокентий. Священствуя, Вениаминов почти всю свою долгую жизнь отжил в Русской Америке, на островах и берегах северной части Тихого океана. Митрополиту Иннокентию огромная цифра — пять тысяч истребленных алеутов — и та кажется «слишком умеренной».

Вениаминов назвал имена выдающихся штукарей, имена, проклятые алеутами: Лазарев, Молотилов, Шабаетов, Куканов и прочие и прочие. Один из этих душегубов — некий Соловьев — предвосхитил гнусности белокурых бестий: выстреливал алеутов чередой и стрелял — интересовался, вишь, скольких пуля прошьет.

Нет, не сгущал краски Головнин, не перегибал палку, как ни вертись. Был он прав, ударяя кулаком по столу: «Компания истребила почти всех природных жителей!»

Почти всех, но не всех. Что же те, которые выжили? Десяток печатных страниц занимает головнинский реестр обвинений против чиновников, правителей, конторщиков, приказчиков Российско-Американской компании. Это настоящий мартиролог, перечень преследования алеутов.

Записки Головнина о состоянии колоний не вошли в его книгу о путешествии на шлюпе «Камчатка». Они были опубликованы много позже. А в книге издания 1822 года Головнин утопил свои молнии в пространных описаниях природы, в замечаниях и наблюдениях, интересных мореплавателю. Про ревизию свою рассказал он в двух абзацах, да и то весьма бледных. Об индейцах-колюжах, о племени тлинкит отозвался вовсе не в духе записок: «вероломные»-де, никак, мол, не хотят дружить с Российско-Американской компанией и к тому же, такие-сякие, «не упускают случая убить русского».

Пусть эта книжная тональность остается на совести Головнина. Но скажите на милость, что заставляет современного автора утверждать, например, столь очевидную нелепицу: «Все местные жители индейцы, видя мирные намерения русских на западном берегу Америки, приняли русское подданство»? Утверждение для киота, для божницы: «во человецех

благоволение». И тут же еще одно категорическое указание, от которого, право, Василий Михайлович во гробе содрогнулся бы: «Русские, как всегда, по-хозяйски осваивали новый край». Ну, словно бы речь идет о строителях Комсомольска-на-Амуре, энтузиастах, ударниках, зеках...

Я цитировал статью о том, как «пламенный патриот Головнин» разоблачил американских агрессоров, покушавшихся на Русскую Америку¹. Автор, понятно, ссылался на Головнина. Оно и верно. Василий Михайлович не жаловал иностранных хищников: «Большая часть русских промышленников, погибших от рук диких американцев, умерщвлены порохом и пулями, доставленными к ним просвещенными американцами». Наглость контрабандистов поддерживало правительство Соединенных Штатов. Чужеземные шаромыжники грабили владения Русско-Американской компании, и Головнин советовал петербургским властям предрержащим оборонить далекий край.

Все так. Но наш современник начисто забывает о том, о чем не забывал не наш современник, офицер императорского флота Василий Михайлович Головнин: он не умалил грабительских «заслуг» соотчицей.

В девятидесятых годах прошлого века пионер русского марксизма писал «Внутреннее обозрение». В газете «Правительственный вестник» ему попалось сообщение царского консула из Сан-Франциско. Дипломат оплакивал вредное, развращающее влияние американцев на экономический быт приморского населения Восточной Сибири. Заголосили и другие газеты: необходимо пресечь американцев, дайте морские промыслы «исключительно в русские руки».

И Плеханов иронизирует: «Недогадливые люди и в этом случае скажут, пожалуй, что местному населению решительно все равно, кто станет обирать и развращать его, русские или американцы. Но теперь уж никто не слушает недогадливых людей, и котиковые промыслы у Командорских островов, на-верное, будут переданы «исключительно в русские руки», которые займутся там наполнением исключительно русских буржуазных карманов».

Ирония тухнет, Плеханов вполне серьезен: «Когда православно-патриотический вой русской буржуазии направляется против американцев или против какой-нибудь другой народности, не имеющей трудно поправимого несчастья находиться под сенью крыл русского двуглавого орла, — он более смешон, чем вреден. Но когда предметом буржуазных воплей яв-

¹ Дремлюг В. В. Разоблачение русским мореплавателем В. М. Головниным подготовки американской агрессии против Русской Америки в начале XIX века//Учен. зап. Высш. аркт. морского училища им, адмирала Макарова. 1954. Вып. 5.

ляются народности, состоящие в русском подданстве, дело принимает другой оборот. Оно ведет к самому бесстыдному, самому гнусному угнетению слабых сильными».

Головнин видел дальние морские горизонты. Дальние горизонты истории он не видел. И не мог в силу объективных причин. Но в силу каких же причин не видит их и представитель кафедры гидрологии?

Не помазав елеем отечественную купеческую компанию, Головнин обладал нравственным правом осудить европейских наживал. И он этим правом не пренебрег.

Англичане оседлывали главные перекрестки мира. Головнин говорил, что бритты торгуют не то чтобы бесчестно, но прямо-таки безбожно. Однако безбожники были набожны: «Они к евангелию присоединили свой догмат, который всем покоренным ими народам проповедают; оный состоит в том, что никому врата царства небесного отверсты не будут, кто не станет носить платья из материй английских мануфактур».

Испанцы тоже «присоединили к евангелию свой догмат». Догмат этот служил дряхлеющим колонизаторам руководством к действию. Действия заключались в недопущении действий. Довольно баловаться «просвещенным абсолютизмом», начинания умного и дельного Карла III давно похерены. Никаких перемен, и баста.

В Южной Америке летаргический сон был прерван восстанием. Калифорнию пока удавалось удержать в спячке. Колокола католических миссий убаюкивали «крещеных индейцев».

Головнин наблюдал калифорнийских индейцев. «За отступление от правил, католическою религиею предписываемых, за леность и преступления миссионеры наказывают их по своему произволу телесно или заключением, а чаще заковывают виновных в железо, плодами же полевых трудов своей паствы они сами пользуются».

Предшественники Головнина, знаменитые мореходы Лаперуз и Ванкувер, калифорнийских индейцев называли «народом крайне слабоумным», не способным ни к какому творчеству. Головнин бастует. Изделия индейцев, их наряды, утварь находит он отменного вкуса; плотницкую и столярную работу вполне приличной, а музыкантов и певчих, не имеющих понятия о нотах, «не хуже многих скрипачей, забавляющих наших областных полубояр».

Несогласие с европейскими знаменитостями Головнин простирает дальше, на сферу нравственную, духовную. Он подчеркивает в индейцах «высокое понятие о справедливости». Доказательства? Извольте: «Прежде они поставляли себе за правило, да и ныне некоторые роды из них сего держатся, убивать только такое число испанцев, какое испанцы из них

убьют, ибо сии последние часто посылают солдат хватать индейцев... Солдаты хватают их арканами, свитыми из конских волос... После того соотечественники их ищут случая отомстить, и когда удастся им захватить где испанцев, то, убив их столько, сколько умерщвлено их товарищей, прочих освобождают. Ныне, однако, вывели их из терпения, и они никого из них не щадят...»

Марианские острова, как и Калифорния, принадлежали испанской короне. Там опять, в который уж раз, убедился Головнин во всесиле смерти и рабства. «Острова сии, — рассказывает Василий Михайлович, — при занятии их испанцами были многолюдны, но насильственное обращение жителей в христианскую веру и покушение истребить коренные их обычаи... дали повод язычникам к сопротивлению. От сего произошли войны, в которых многие из жителей погибли».

Пять недель провела «Камчатка» в Манильской бухте. Шлюп готовили к переходу в Кронштадт. Предстояло одолеть два океана — Индийский и Атлантический, готовились к обратному плаванию с великим тщанием.

Манильская бухта плавной дугой вдавалась в берег острова Лусон, самого обширного в Филиппинском архипелаге. Архипелагом владели испанцы. Еще совсем недавно, лет за десять — пятнадцать до прихода Головнина в Манилу, европейские державы относили Филиппины к испанскому захолустью, а то и попросту к географическому понятию. Один русский дипломат (его «епархией» были международные отношения в бассейне Тихого океана) не без основания утверждал, что Англия могла бы заглотнуть Филиппины еще в 1803 году, если бы считала их «достаточно важными». Впрочем, некий дошлый купчик-англичанин взбодрил-таки в Маниле торговый дом, хотя испанские власти, как и японские, чурались чужеземцев.

У его величества Прогресса длинные ноги. Едва было расхлебано кровавое варево, именуемое иногда наполеоновской эпохой, как буржуа Европы и Америки причислили и Филиппины к рынкам «больших возможностей».

В Маниле обосновались французский и американский консулы. За несколько месяцев до прибытия «Камчатки» к ним присоединился г-н Добелл, российский генеральный консул.

Головнин в своем «Путешествии» почему-то не называет его имени. А кажется, должен был бы. Добелл, родом ирландец, немало, как и Василий Михайлович, постранствовал; в те самые годы, когда Головнин занимал страницы «Сына Отечества», Добелл там же печатал очерки о Сибири.

Не упоминая Добелла, капитан «Камчатки», подобно консулу, взглянул на архипелаг с русской колокольни. Василий

Михайлович как бы вернулся к давним своим размышлениям. «Филиппинские острова, — писал он, — из коих главный Лусон, на котором находится Манила, во многих отношениях заслуживает внимания европейцев, а более россиян, по соседству их с нашими восточными владениями, где во всем том крайняя бедность, чем Филиппинские острова изобилуют. Положение сих островов в отношении к Сибири, безопасные гавани, здоровый климат, плодородие и богатство земли во всех произведениях, для пищи и торговли служащих, многолюдство и, наконец, сношения их с китайцами — все сие заставляет обратить на них внимание».

Пользуясь нынешними терминами, сказать должно, что флота капитан второго ранга сделал на Филиппинах классовый анализ: он рассмотрел положение разных слоев островного населения.

На вершине общественной пирамиды восседали, разумеется, служители культа. Распрекрасное это дело, быть служителем культа. Надо лишь попугивать дурачков: без нас, служителей, все пойдет прахом. При Карле III, во второй половине XVIII века, испанское черное духовенство несколько утратило свое ведущее (вернее, никуда не ведущее) положение. Но быстро оправилось. В годы плаваний Головнина служители культа верховодили с прежней неукоснительностью.

Итак, писал Василий Михайлович, первый класс «составляет духовенство, которое здесь, как и во всех испанских колониях, весьма многочисленно и имеет главою архиепископа, живущего в Маниле, и несколько епископов, живущих в провинциях. В Маниле считается 5 монастырей мужских и 3 женских».

Головнину не удалось заглянуть за монастырские стены. Два его ученика — Врангель и Матюшкин — заглянули. Правда, спустя несколько лет, когда транспорт «Кроткий» тоже стоял в Манильской бухте.

Оказывается, филиппинские служители культа, как, впрочем, и всякие иные, отнюдь не предавались аскетизму. Непубликованный дневник Врангеля воссоздает сценку в духе Боккаччо: «Сквозь густоту леса мелькнул вдруг огонек, лодки пристали к берегу, и добрые монахи помогли нам выйти на сушу и привели в огромный монастырь, где вместо скромных келий вошли мы, через освещенную галерею, в залу. Отец Николай, настоятель сего монастыря, монах здесь весьма уважаемый, встретил нас и, при звуках приятной музыки, проводил к чайному столу, где приветствовал нас губернатор и несколько почетных чиновников, приехавших со своими семьями берегом.

Сколь ни удивило нас доселе виденное в обители отшельников — хор музыкантов, собрание дам, но мы поражены

были еще неожиданнейшим зрелищем: музыка громче зашумела, заиграла контрданс, и зала сия превратилась в танцевальную. Дамы и молодые кавалеры обнялись и заплясали, вероятно, из усердия к святому Иерониму, коего день намеревались завтра праздновать.

Действительно, в 4 часа другого утра отслужили сему святому молебен в церкви, отделенной от танцевальной залы одною тонкою завесою. Несмотря, однако ж, на сию непристойность, провели мы вечер весьма приятно... Прекрасные дамы не уставали от качучу и фанданго, а мы не уставали восхищаться приятными их телодвижениями.

На ночь разместили нас по незанятым кельям, окна коих были в монастырский сад. Рано утром, по звону колокольчика, собрались мы в церковь; после молитвы подали шоколаду, а потом в колясках и на верховых лошадях поехали мы по окрестностям: осмотрели сахарный и индиговый заводы, проехали обширные плантации сарачинского пшена¹, сахарного тростнику, индигового растения, леса плодоносных деревьев, встречая на каждом шагу следы трудолюбия почтенного отца Николая, который все сие устроил, приучил индейцев к работам и обратил их к христианству².

Ах, милейший барон, он остался себе верен. Его несколько смутила фривольность монастырского уклада, но зато искренне восхитили «следы трудолюбия» настоятеля и как тот с августинской братией «приучил» туземцев гнуть хребет на плантациях и угодях.

Правду молвить, и наблюдения Головнина над участью «пятого класса», последнего и самого многочисленного класса филиппинского феодального общества, были поверхностны, беглы, неубедительны. Да ведь Василий-то Михайлович не отлучался из Манилы, не раскатывал в колясках и не галопировал по дорогам острова.

Но столичный, манильский «свет» Головнина отнюдь не умилил. Следующим классом после духовенства называет он «гражданских и военных чиновников». Великолепные трутни убивают время «в праздности, курении сигарок и карточной игре, за которую садятся даже с самого утра». Засим следуют купцы, плантаторы, винокуры и сахарозаводчики. Эти тоже не делом обременены, а золотым мундирным шитьем: тугой кошелек обеспечивает им полковничьи и майорские чины.

Розничную торговлю держали в Маниле китайцы. «Они, — усмехается Головнин, — не стыдились с нас просить за вещь в пять и шесть раз дороже настоящей цены». Но Василий Ми-

¹ Сарачинское пшено — рис.

² Центральный государственный архив Эстонской ССР, ф. 2057. оп. 1, д. 312, л. 128—129 (об).

хайлович тут же смягчает упрек: китайцы задавлены налогами. И включаясь в согласный хор самых разных наблюдателей, подчеркивает трудолюбие, искусность китайских ремесленников.

Головнин опять и опять возвращается все к той же теме: об истреблении колонизаторами коренных народов. Мысль эта преследует мореплавателя, не дает ему покоя. Ужели, думал Головнин, даже в безмерном просторе Великого океана нет земли, не попорченной европейским насильником?

На Сандвичевы (Гавайские) острова ходил он за свежими припасами. Но была и другая цель — увидеть, как «несколько тысяч взрослых и даже сединами украшенных детей вступают на степень человека совершенных лет».

Гавайями правил Тамеамеа Первый. Ни один европеец не удостоился от Головнина столь пылких похвал. Капитан снимает фуражку: «Необыкновенный человек». Тамеамеа, полагает Василий Михайлович, «всегда будет считаться просветителем и преобразователем своего народа», «природа одарила его обширным умом и редкою твердостью характера».

И верно, напрашивается сравнение с Петром Великим. Крепость, возведенная по всем правилам фортификации. Войска, обученные на европейский лад. Заведение регулярно флота. Приглашение европейцев на службу, но при этом никакого ущерба самостоятельности. Интерес к технической новизне и т.д. На все это, признается Головнин, не мог он взирать «без удивления и удовольствия».

Вот именно — *удовольствия!* Ему всегда было радостно убеждаться в том, что «обширный ум и необыкновенные дарования достаются в удел всем смертным, где бы они ни родились».

Его радует не только энергия Тамеамеа, но и сообразительность, практическая сметка: молодец старик, понаторел в коммерции, черта с два проведут за нос американцы или англичане. А ежели он сам их порой объегоривал, то что же за беда? — улыбается Василий Михайлович. И объясняет: «Ведь тут дело идет о политике и дипломатических сношениях, а при заключении и нарушении трактатов где же не кривят душою, когда благо отечества или, лучше сказать, министерский расчет того требуют?»

Не просто умного и удачливого монарха усматривает в Тамеамеа наш путешественник, но и выдающегося представителя народа, который имеет «чрезвычайные способности». Однако фигура семидесятидевятiletнего старца, «бодрого, крепкого и деятельного, воздержанного и трезвого», не застит от Головнина этот самый «чрезвычайных способностей» народ.

Пушкин, отдавая должное Петру, отмечал в нем резкие черты самовластного помещика. Головнин, восхваляя Тамеамеа, говорит о крутых поборах: «Деньги король собирает,

когда ему захочется»; «Коль скоро королю нужны какие-либо припасы или другие вещи, то объявляется, чтоб со всех округов или некоторых привезли к нему требуемое так точно, как бы господин дома приказывал своим служителям».

Под пальмами благодатных островов отнюдь не розовела идиллия. Это печалило Головнина. Головнин верил, что все в «руце» Тамеама: «Он мог бы облегчить во многом нынешнее тяжкое состояние простого народа, которого теперь жизнь и собственность находятся в полной воле старшин; а сих последних права и преимущества наследственные».

О будущем гавайцев Головнин не гадал, но отгадка не требовала даже кофейной гуши. Архипелаг лежал на столбовой дороге, представлял сам по себе лакомый кус. Агличане и американцы приглядывались к нему и принюхивались. Не отстала и Российско-Американская компания.

Одно такое покушение лопнуло незадолго до появления «Камчатки» в водах королевства Тамеама. И лопнуло пре-конфузно. Историю эту Головнин, конечно, знал, хотя в книге своей изъяснился подозрительно глухо, как бы нехотя. Василий Михайлович помянул неких европейцев и некоего «неосторожного» доктора. И словно сквозь зубы назвал имя: Шеффер.

Георг Шеффер учился в Геттингене. Потом несколько лет служил полицейским врачом в Москве. В отличие от Владимира Ленского Георг Шеффер привез из Германии туманной не вольнолюбивые мечты, а пылкую жажду авантюры. Он метнулся в моря, плавал судовым врачом у Лазарева на «Суворове», перессорился со всеми и остался в Русской Америке.

Этого-то вздорного эскулапа, не лишённого, впрочем, некоторой наблюдательности, правитель Русской Америки Баранов вскоре отрядил на Гавайи — завести торговую контору и факторию.

В августе 1817 года (за день до отплытия «Камчатки» из Кронштадта) царю доложили об успехах Шеффера. Царь, не возражая, велел все же оглядеться, то есть выжидать, наводить справки и прочее. Однако уже в начале 1818 года (когда Головнин мыкался у мыса Горн) министерство иностранных дел сочло действия Шеффера несвоевременными, и ставленник компании, не одолев яростного сопротивления конкурентов-янки, убрался восвояси¹.

¹ Георг Шеффер еще долго носился с проектом покорения Гавайских островов. Но его императорское величество отверг домогательства медика, ибо, как выразился министр иностранных дел, мало было надежды «на прочность такового водворения». Разобиженный геттингенец променял Россию на Бразилию, утrelся подле тамошнего трона и воспарил до того, что достиг титула графа Франкентальского. (Подробнее см.: Болховитинов Н. Н. Авантюра доктора Шеффера на Гавайях в 1815—1819 гг.//Новая и новейшая история. 1972. № 1.)

Впрочем, и Шеффер, и его попытка закрепиться на одном из Гавайских островов — все это уже при Головнине считалось инцидентом исчерпанным. Экипаж «Камчатки» пользовался самым радушным приемом народа; Василий Михайлович определил этот народ одним словом — «добрый».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Александр Тургенев, друг Жуковского и Вяземского, писал последнему как о событии: «Мы ожидаем Головнина... Вероятно, ему позволят сказать вслух, что видел, слышал за морями».

Письмо мечено 19 августа 1819 года. «Камчатка» в этот день находилась в шести-семи милях от Ютландии. Неподалеку были Каттегат, Балтика. Две недели спустя моряки, «войдя в Финский залив, вступили в пределы отечества».

На берегу ждали Головнина. Головнин ждал берега. Ожиданье «последнего берега» рождает в морской душе и отраду и светлую грусть. Путешествия дают преимущества. Есть высокая гордость финиша. Но есть и некая опустошенность.

На «Камчатке» по-прежнему правят вахты. Но это уже последние вахты. По-прежнему слышится боцманская дудка. Но в ее посвисте что-то переменялось. По-прежнему обедают, ужинают, пьют чай. Но это уже допивают и доедают. Все властно определяется близким, но еще не совершившимся прибытием.

Офицеров ждут родные липы. Да ведь потом опять казарма. И запишет Матюшкин, произведенный в мичманы: «Скучная кронштадтская жизнь, везде барабаны...» Матросов ждут флотские экипажи, шагистика плац-парада. Кто-то будет новым отцом-командиром? И отцом ли будет? Господи, царица небесная, спаси и помилуй от ирода...

Отходило в прошлое то огромное и важное, что зовется кругосветным походом. Иссякало с каждой милей плавание, которое не всякому выпадает на долю и не каждому дано одолеть.

Литке, Матюшкин, Врангель убрали в чемоданы свои рукописные журналы. Штурманы Никифоров и Козьмин упрятали в деревянные футляры карты, терпеливо и любовно сработанные в северных широтах Тихого океана. Витым шнуром увязал папки корабельный живописец Михаил Тиханов.

Ему тяжело, он болен. Нет, не физически, а душевно. Судовой штаб-лекарь, глядя на Тиханова, печально качает головой. Что-то будет с Михайлой? Четыре года как закончил курс в Академии художеств. Золотую медаль присудили за картину «Расстрел русских патриотов французами в 1812 году». Капитан Головнин хвалит корабельного живописца. Рисунки будут изданы, имя не канет в Лету. Но медик не зря качает головой: скоро наденут на Тиханова грубый больничный халат, уготован ему желтый дом¹.

Пятого сентября 1819 года «Камчатка» была у Кронштадта. На Большой рейд пришла и положила якорь в шестом часу вечера. Плавание длилось два года и десять дней.

Два года и десять дней не видел Головнин Петербурга. Не кончены хозяйственные расчеты за экспедицию, не раз придется наезжать в Кронштадт. Но сейчас он думает только о ней. Только о ней. И клянет бердовский пароходик: «Экая черепаха!» Черт побери, какое это, наверное, счастье — спешить к любимой!

Частная жизнь Василия Михайловича, к сожалению, почти не восстановима.

Век эпистолярный, семья большая, родственники да свойственники, а поди ж ты, ни лоскутка интимной переписки я не нашел. (Корреспонденция жены Головнина и двух его дочерей, Марии и Александры, хранящаяся в Пушкинском доме, незначительна и относится ко временам более поздним.) Но была она, несомненно была, где-то когда-то желтела и блекла в какой-нибудь шкатулке вместе с огрызком сургуча и старой монеткой, в каком-нибудь комодке, среди бабушкиных кружев, или в коробе на чердаке.

Впрочем, вот рукопись, озаглавленная скромно: «Для немногих» — записки первенца Василия Михайловича, Александра Головнина, известного в свое время либерала, больших «степеней достигшего». «Для немногих» дает немного. Да и то, как, говорится, хлеб².

Первенец родился в марте 1821 года. Хилый, хворый, до пяти лет не ходил и слова не вымолвил, будто немой. Запомнилась ему полутемная узкая детская, флигель на Галерной

¹ М.Т. Тиханов (Тихонов) находился в лечебнице несколько лет. Очевидно, хлопотами Головнина ему определили пенсию. Умер в 1862 году, 73 лет от роду. Сбережения завещал Академии художеств. (Подробнее см.: Шур Л. А. Художник-путешественник Михаил Тиханов//Латин. Америка. 1974. № 5.)

² Записки А. В. Головнина «Для немногих» находятся в его фонде (№ 851) в Центральном государственном историческом архиве СССР (Ленинград). Сведения о других детях — см.: Великий князь Николай Михайлович: Петербургский Некрополь. — СПб., 1912. Т. 1, с. 636—637.

Переписка детей В. М. Головнина и его жены Е. С. Головниной. пережившей мужа без малого на полвека (1880), хранится в Пушкинском доме (шифр 6059/XXII б. 12).

улице, тоже узкой и длинной, двор запомнился, залитый водою в ноябрьское гибельное наводнение, запомнилось, как отец просиживал ночи у его постели.

Такие ночи страшнее штормовых. Они теснят грудь невыплаканной жалостью, ты бессилён и клянешь все на свете. Англичанин Лейтон, видный в ту пору медик, генерал-штаб-доктор флота, лечил Сашу Головнина. Но Александр Васильевич Головнин, писавший, как и отец, о себе в третьем лице, говорит: «Только нежной заботе родителей он обязан сохранением жизни».

Еще и еще были дети. Нежная заботливость не всем сохранила жизнь. Дважды Василий Михайлович закрыл глаза своим детям: пятилетней Ираиде и Николеньке, которому от роду насчитывались дни. И дважды бросил горсть земли в маленькие могилки там, в Сергиевском монастыре, близ Петербурга.

Петербург после «Камчатки» он почти уж не покидал, разве лишь для редких отлучек в Гулынки или на три дачных месяца у Финского залива.

Так вот, в Петербург он приехал в сентябре 1819 года. За несколько недель до того Александр Тургенев радовался: «Мы ожидаем Головнина, который заезжал в Святую Елену и жил там два дня. Вероятно, ему позволят сказать вслух, что видел, слышал за морями».

«Заезжал». Однако не жажда поглазеть на удивительного пленника, бывшего императора французов, а жажда пресной воды заставила «Камчатку» подходить к атлантическому острову Святой Елены. Наполеон никого не принимал. Головнина принимал граф Бальмен, русский комиссар, такой же тюремщик Наполеона, как генерал сэр Гудсон Лоу, как французский комиссар маркиз Моншеню. Бальмен жил в доме, который поначалу занимал Наполеон, в той же гостиной, где граф беседовал с командиром «Камчатки», Головнин, слушая комиссара, «воображал, что Наполеон чувствовал, в первый раз вступая в нее!»

Не берусь решать, в каких гостиных Санкт-Петербурга повествовал Василий Михайлович о том, «что видел, слышал за морями». Но известно, что с корабля попал не на бал, а в Адмиралтейство. И еще до того, как стал готовить в печать свою книгу, занялся планами важной экспедиции¹.

¹ Поразительна, выражаясь современным языком, работоспособность автора и оперативность издателей — уже в феврале 1820 года В. К. Кюхельбекер писал: «Между произаническими статьями первых пяти книжек «Сына Отечества» первое место занимают: Путешествие вокруг света флота капитана Головнина... Статьи занимательные, написанные без пустых украшений, восторгов и восклицаний» (Невский зритель. 1820. Февраль. С. 117).

Предполагалось отправить исследователей к Ледовитому океану. Один отряд в устье Яны, другой — в устье Колымы: летом обозревать побережья, зимой на нартах искать неведомые острова. Дело намечалось трудное и долгое. От участников требовались именно те качества, что возникают и закаляются в морях: терпение, мужество, сообразительность и выдержка, осмотрительное презрение к опасностям и повседневное презрение к комфорту.

Из «Дневных записей Ф. Л. Врангеля» — тетрадь размером нынешней школьной, но грубой, зеленоватой бумаги — узнаешь: в ноябре 1819 года Головнин предложил бывшему подчиненному возглавить колымский отряд, «прибавляя, что он сам будет дирижировать обоими».

«Что могло быть лестнее, — пишет мичман Врангель, — такого предложения молодому офицеру, начинающему только службу свою, и притом от человека, почитаемого всеми необыкновенным по редкому соединению в нем правдивости, рассудительности, обширных познаний и неутомимой деятельности».

«Предложение молодому офицеру...» Вот это и было определяющим: Головнин не боялся рекомендовать молодых, принимая на себя нравственную и служебную ответственность. Колымский отряд весь вышел из его рук: мичман Матюшкин, штурман Козьмин, матрос Нехорошков. И в унисон с Врангелем восклицает Матюшкин в письме к Энгельгардту: «Не правда ли, Егор Антонович, Головнин прекрасный человек!»¹

В феврале Головнин представил морскому министру Врангеля и Петра Анжу, начальника усть-ямской группы. Маркиз Иван Иванович де Траверсе, как насмешничал Врангель, «...что-то такое пробормотал, кажется, по секрету, ибо его никто не понимал...». А несколько дней спустя после косноязычной аудиенции руководство экспедицией досталось вице-адмиралу Сарычеву.

Спору нет, Гаврила Андреевич Сарычев обладал всеми данными для успешного «дирижирования» полярным странствием: плывал некогда по Колыме, ходил во льдах Восточно-

¹ В. М. Головнин питал неприязнь не к немцам, а к неметчине. Оценивая профессиональные достоинства сослуживцев, он исходил из наличия или недостатка этих достоинств, а не из национальной принадлежности.

И. Ф. Крузенштерн, начальник первой русской экспедиции вокруг света, географ с громким европейским именем, человек в высшей степени добропорядочный, писал в ноябре 1819 года В. М. Головнину: «Письмо, каковым вы изволили удостоить меня от 14 ноября, весьма обрадовало меня, тем более потому, что оно служило мне прямым доказательством, что пользуюсь еще вашей дружбою. Крайне приятно мне узнать от вас самих, что вы довольны г. Врангелем, и премного вам благодарен, что вы изволили его назначить в новую экспедицию» (Центр, гос. архив ВМФ, ф. 14, оп. 1. д. 252, л. 54).

Сибирского моря, был почетным академиком, географом и гидрографом. Умом Головнин все это понимал, да сердцем-то не принял. Уязвила Василия Михайловича столь внезапная «отставка».

Еще до отправки экспедиции, на третьей неделе поста, уехал он из столицы. Уехал в Рязанской губернии Пронского уезда село Гулынки. Ему нужны были отдохновение, «врачующий простор» родной стороны.

Ученики не забывали наставника. Врангель, например, тревожился в Нижне-Колымске: «Хотел бы только знать, что Вас. Мих. обо мне думает или, по крайней мере, что он о нашей экспедиции говорит»¹.

Ученики не забывали наставника. Едва «блуждающая судьба» заносила их на берега Невы, они навещали Василия Михайловича. Навещали и во флигеле на Галерной улице, в домашнем кабинете с примыкавшей к нему обширной библиотекой², и в другой квартире — близ Измайловских казарм, — большая зала которой походила на ботанический сад, и у Храповицкого моста на Мойке, и на даче по Петергофской дороге. Словом, и тогда не забыли, когда из подмастерьев стали мастерами.

2

Итальянский дворец живо возник в памяти. Но не в самом Итальянском дворце: корпус давно уж перевезли из Кронштадта в Петербург. Исаакиевским мостом или в ялике пересечешь Неву, выйдешь на Васильевском «острову», и вот он, любуйся — длинный фасад со множеством окон, обращенных к широкой реке.

Минуло почти тридцать как оставил корпус. А теперь, видишь, вернулся: помощник директора капитан-командор Головнин. Он идет гулками коридорами, заглядывает в покои, уставленные койками, в классные комнаты, в актовый зал, во внутренний двор, где гауптвахта... Он непри-

¹ Успех экспедиции Ф. Л. Врангеля (1820—1824), как и успех экспедиции П. Ф. АНжу, был признан географами и полярниками всего мира. Книгу Врангеля, просмотренную в рукописи Головниным, перевели на иностранные языки. В Англии быстро разошелся первый тираж, был выпущен второй.

² Н. И. Шульговская произвела тщательный «опыт реконструкции» личной библиотеки В. М. Головнина. Около 5000 томов этой библиотеки поступили в 1921 году из Рязани в библиотеку Московского университета. (См.: Из коллекций редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского университета. — М., 1981.) Библиотека В. М. Головнина состояла из сочинений как литературных, так и научных. В букинистических магазинах до недавнего времени случалось обнаруживать книги с экслибрисами В. М. Головнина. (См. напр.: Дзюба О. Странствия старой книги//Кн. обозрение. 1981. 22 мая.)

метно усмехается, чувствуя на себе настороженные и любопытствующие взгляды. Ох, эта орава, готовая валять дурака и мечтать об адмиральских «мухах» на эполетах. Бездельники или усердные зубрилки, шустрые и угловатые, умные и туповатые. У отроков разные склонности, у вьюношей ломается не только голос, но и характер. Под одну гребенку всех не острижешь.

И офицеры не на один салтык. Павел Новосильский, мичман, обожен ветрами Антарктики: на «Мирном» ходил, в дивизии Фаддея Беллинсгаузена. Ревностный пестун этот мичман. И большой любитель географии. И отличный преподаватель астрономии... Ну-с, а Сергей Александрович князь Ширинский-Шихматов, командир роты? Гм! Говорят, голубиная душа. Оно, верно, так и есть: мармеладом потчует кадет, а если потчует березовой кашей, то непременно вздохнет: «Ах, друг мой, как грустно...» Или выстроит роту и читает, толкует евангелие. Этак тихо, внятно. Охо-хо-хо, скукота смертная. Сочинял бы свои вирши да пьесы. А то бы в скит, под клубук... Вот математик Кузнецов под статью доброй памяти профессору Никитину, магистру Эдинбургского университета. А инспектор классов капитан-лейтенант Гарковенко — воплощенная пунктуальность. Семь утра бьет, Марк Филиппович тут как тут. На другое утро после венчания, молодую покинув, опять-таки в урочную минуту: «Здравствуйте, господа кадеты!»

Директор навевается редко, как, бывало, Голенищев-Кутузов. Сенатор, член Государственного совета адмирал Карпов появляется не чаще двух раз в году.

Поначалу усмешливо-снисходительный, помощник директора день ото дня мрачнел: по-прежнему царили «дикий произвол учителей» и «одичалость воспитанников». Большая часть офицеров либо развратничала, либо запойно пьянствовала, либо успешно совмещала и то и другое. Угрястые «двадцатилетние болваны» (понимай: гардемарины) жили в одних покоях, столовались за одним столом с желторотыми кадетиками. Кадетики, «заблаговременно наслушавшись о трактирах, биллиардах, б...х, пунше и т.п., приготавлились блеснуть на том же поприще».

Математик Павел Иванович Кузнецов нарисовал еще более выразительную картину, мысленно проследив дальнейший «доблестный» путь выпускников корпуса: «Весь этот хаос умудрился сколотиться в какую-то плотную, патриархальную общину с своеобразными нравами, обычаями и преданиями, и машина работала безостановочно, выбрасывая ежегодно известное число офицеров в Кронштадт и Севастополь, где среди карт и попоек, чисто по-эпикурейски, доигрывался последний акт чудовищной драмы».

«Гнусное состояние» корпуса сильно и болезненно пора-

зило Василия Михайловича. Но пробыл он в корпусе недолго. Очевидно, адмирала Карпова не устраивала помощь столь беспокойного помощника. Однако Головнин не унылся. Да и какой же подлинный заботник родного флота смирился бы с подобной «кузницей кадров»? Василий Михайлович никогда и ничего не «разносил» ради удовольствия. В статье «О морском кадетском корпусе» он изложил свои взгляды на обучение будущих моряков. Впоследствии Крузенштерн, сделавшись директором, многое заимствовал у своего товарища.

Хлопоча в корпусе, Головнин и литераторствовал. Выправил корректуры увесистого фолианта о путешествии шлюпа «Камчатка», составил «Записки» о положении колоний Российско-Американской компании, сопроводив их таблицами и приложениями; критически разобрал донесение комитета американскому конгрессу: комитет этот докладывал вашингтонским государственным мужам, что Соединенные Штаты «вправе» завладеть северо-западным берегом континента.

И сверх того решил составить учебник испанского языка. Такого в России не было; брошюрку Лангена «Краткая испанская грамматика» Головнин отверг.

Многим нынешним кадетам, размышляя Головнин, выпадет счастье дальних вояжей. В морях надо читать звездную книгу, на суше — говорить на разных диалектах. «К несчастью, — писал Василий Михайлович, — по неизъяснимой странности, дворяне наши, определившие себя жить в России, знают разные языки и не иначе хотят друг с другом говорить, как по-французски, а из служащих во флоте весьма мало таких, которые знали бы один или два языка, хотя им часто случается быть за границей, где как по делам службы, так и для собственного удовольствия должны они обращаться с иностранцами. Если бы кадеты морского корпуса понимали, как стыдно и больно офицеру, находящемуся в чужих краях, не знать никакого иностранного языка, то употребляли бы всевозможные старания на изучение оных».

Но корректуры, лингвистика, выписки из прочитанного не были главными его занятиями. Он думал о «тех, кто в море». В кабинетной тиши слышал он шум моря. И, подняв глаза от конторки или бюро, видел море. Нет, не поэтически опаловое, а свирепое. Нужна была энциклопедия морских несчастий. Не чтиво, а справочник.

Головнин принялся за перевод компилятивного труда Адама Дункана, того самого, который командовал флотом Северного моря и которого когда-то хорошо знал флаг-офицер русской эскадры лейтенант Головнин.

Василий Михайлович однажды заметил: «Признаюсь чис-

тосердечно, что хотя и люблю страстно все отечественные произведения, но не могу презирать и иностранные, достойные похвалы и подражания». И другое: он работал над произведением иностранным, достойным похвалы: однако излагал Дункан то, чему отнюдь не следовало подражать. Напротив, всячески опасаться и избегать. Сочинение называлось: «Описание примечательных кораблекрушений».

Если бы морская типография в Петербурге напечатала лишь три полутома, вышедшие из-под пера британца, переводчик не подвергся бы никаким нареканиям: чужие беды, чужие несчастья не задевают «патриотов», а шевелят в них что-то похожее на злорадство.

Но, как встарь Курганов, Василий Михайлович не ограничился переводом. Кропотливый исследователь — теперь уже не географ, а историк — он прибавил часть четвертую: «Описание достопримечательных кораблекрушений, в разные времена претерпенных российскими мореплавателями». Василий Михайлович не просто пересказывал разные происшествия со страшным эпилогом, а давал разбор причин аварий и указывал, как следовало бы действовать офицеру в подобных обстоятельствах.

И вот тут-то началось. Ого, как возопили мундирные люди, виновники различных крушений. Теперь они были в больших чинах и не хотели, не желали, чтобы им кололи глаза прошлым. Как они вознегодовали, как брызнули слюной! Еще бы: Головнин осмелился вынести сор из избы. Как же так, господа? Да у нас в России все распрекрасно. А ежели когда и попутал бес, то зачем же тащить напоказ? А что ж в евронах-то скажут, ась? Разве ж так поступают благонамеренные сыны отчизны?

Один из флагманов даже учинил над Головниным расправу по всем правилам российского помещичьего самодурства. Этот мрачный юморист пригласил на парадный обед высших офицеров. Когда гости уселись, хозяин объявил: «Прежде всего, господа, прошу вас быть свидетелями приготовленной мною торжественной церемонии». Он хлопнул в ладоши, и два денщика внесли в столовую... маленький гроб. Хозяин снял со стены портрет Головнина, положил во гроб, накрыл крышкой. И возгласил: «По сие время были мы друзья, но отныне он в моем сердце навсегда умер». Собравшиеся рукоплескали и пили за здоровье хозяина дома.

Головнин пожимал плечами. Сделал доброе дело, полезное пособие получают все, кто вправду тянет корабельную лямку. А тут... Черт знает что!

Римский император Август, настрадавшись от шторма, жестоко рассердился на Нептуна и приказал убрать его статую. Об этом писал Монтень в своих «Опытах», в главе «О том, что страсти души изображаются на воображаемые предметы». Головнин не был воображаемым предметом, но расплавленные чины с удовольствием «вынесли» бы его вон.

Он огорчался. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. И оправдывался такими очевидностями: «Всякое сочинение потеряет все свое достоинство, если будет наполнено одними похвалами и если в нем будут скрыты недостатки».

Обращался Василий Михайлович и к адмиралу Шишкову, первому члену Государственного адмиралтейского департамента. Письма получились предеззостные. Сперва, будто разгоняясь, Головнин выразил недоумение по поводу столь жаркой реакции «некоторых из господ морских генералов и старших капитанов». Потом подчеркнул: уж коли кто захочет принимать критику на свой счет, пусть, мол, и принимает. И наконец, извинившись проформы ради, сделал выразительную иллюстрацию к пословице «На воре и шапка горит»; «Приятель мой рассказывал, что ему случилось когда-то с одним из своих знакомых идти по Фонтанке. Знакомый между разговором спросил его, умеет ли он при первой встрече отличить честных женщин от распутных. Тот ему отвечал: «Нет!»— «А я умею», — сказал он. Между тем подошли они к плоту, на котором прачки мыли белье, тогда знакомый моего приятеля сказал им: «Бог помощь вам всем: честным женщинам и б...м!» Тут некоторые из них, поклонясь, отвечали: «Спасибо, добрый человек», а другие вскричали: «За что бранишься, пес!»?

Угрюмый Шишков откликнулся тотчас: он нашел, что Головнин позволил себе «много сатирического на счет флотских чинов», что «подобные сатиры не научают, а только оскорбляют» и что «таковые вещи не должны были печататься».

Шишков не ограничился письменным выговором. Бранился и в Российской Академии, президентом коей состоял уже десять лет. Российская Академия (не смешивать с Академией наук), занимаясь вопросами русской словесности, «выспалась» присудить автору записок о Японии золотую медаль. Но теперь и речи о ней не было. Медаль Головнину не дали.

Долгие годы «Описание кораблекрушений» привлекало моряков. Впрочем, не только моряков. «Я в это время читал замечательную книгу, от которой нельзя оторваться, несмотря на то, что читал уже не совсем новое», — много-много лет спустя скажет автор «Фрегата «Паллада» и «Обломова». Гончаров имел в виду «Описание кораблекрушений»¹.

¹ В первом издании Василий Михайлович поместил и очерк будущего декабриста, моряка Николая Бестужева «Крушение российского военного брига «Фальк». Головнин сопроводил очерк дружеским примечанием: «Н. Бестужев с успехом занимается словесностью: просвещенные читатели уже знают его по весьма приятному сочинению «Записки о Голландии»; а ныне по повелению Государственного адмиралтейского департамента занимается сочинением Российской морской истории». Во втором издании имя декабриста было вычеркнуто, хотя со времен «происшествия» на Сенатской площади минуло почти 30 лет. Впрочем, подобные «устранения» у нас не редкость.

Головнин не давал себе роздыха. Он занялся оригинальными трактатами: «Тактика военных флотов», «Искусство описывать приморские берега и моря»... Оба остались недоношенными — Василия Михайловича перевели на другую должность, которая и поглотила без остатка все его время.

3

«Крадут» — так энергично и горестно отвечал Карамзин на вопрос: что делается в России?

«Крадут» — подтвердил бы новый генерал-интендант российского флота Василий Михайлович Головнин.

Доволен ли он своим назначением? Если высшие сановники не терпели малейших упоминаний о внутренних непорядках (столь закономерных, что обратились в порядки), то они же неохотно назначали на должность тех, кому эти должности подходили по умственным склонностям, по свойствам характера.

Вот, например, Жуковского, хмуро острил Вяземский, ни за что не поставили бы попечителем учебного округа, а коли б мирный Василий Андреевич настаивал, интриговал, то, смотришь, сделали бы бригадным. «Особенно в военное время», — приперчивается Вяземский.

С Головинным, думается, поступили почти в эдаком роде. Конечно, испытанный водитель военных кораблей знал флотское хозяйство, флотские нужды куда основательнее берегового «крапивного семени». Капитан-командора трудненько было провести на мякине. И все же флот выгадал бы больше, оставаясь Головнин на палубах.

Но «по долгу присяги»... Да уж больно «отчетливо» понимал свой долг этот упрямец. Никак не хотел взять в толк, что существуют неизреченные канцелярские правила, что сухая ложка рот дерет, что служащий во храме от храма и кормится.

Чем глубже погружался Головнин в чернильный омут всяческих делопроизводств, тем яснее сознавал простую вековую истину: глагол «брать» никаких пояснений не требует. Так же, как глагол «пить» отнюдь не означает утоления жажды брусничной водой.

Чем больше общался Головнин с адмиралтейской чиновничьей братией, тем сокрушительнее сознавал и другую истину — в формулярных списках, в графе: «Достоин и способен», чаще всего следует выставлять: «Достоин омерзения. Способен к любой подлости».

Усталый той нервной усталю, которую нелегко избыть, раздраженный, с ощущением собственной беспомощности, Василий Михайлович возвращался домой.

Он пытался рассеиваться сатирой. Писал «О злоупотреблениях, в Морском ведомстве существующих». Классифицировал: «Оные суть трех родов: 1) злоупотребления необходимые; 2) злоупотребления неизбежные; 3) злоупотребления тонкие, то есть обдуманые и в систему приведенные». И собирал «перлы», курьезные «Примеры важности занятий государственной коллегии!!!».

Примеры были хоть куда: «дело о лопате» стоимостью в полтинник извело бумаги и сургуча на полтора рубля. Или: «Адмиралтейств Коллегия по выслушании рапорта о приеме на щет казны молота и крюка, стоящих 40 копеек, приказали: дать знать Исполнительной Экспедиции, что на испрашивания ею сим рапортом принятию на щет казны показанных молота и крюка, опущенных по нечаянности в воду, стоящих 40 копеек, Коллегия согласна».

Смешного много. Мало веселого. Головнин задумывался. В конце концов, почему он мечет грома и молнии на мелкую сошку, на весь этот люд с протертыми локтями? Что с них спрашивать? Как спрашивать? «Полунагие и голодные содержатели казенных вещей видят, что наибольшие над ними, имеющие достаточное содержание, огромные аренды, великолепные от казны помещения, сами себя рекомендуящие к наградам, пользуются незаконно казенными экипажами, лошадьми, людьми, которых употребляют к возделыванию садов и огородов, платя им от казны хотя не деньгами, но провизиею, нанимают для детей учителей на жалование, чиновникам по особым поручениям положенное, и проч.».

Он отпирал ящик со списками запрещенных стихов.

Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру —
Хочу воспеть свободу миру,
На тронах поразить порок.

Словно бы лучом проникаешь в душу человека, давно сошедшего «под вечны своды», когда в бумагах его находишь эти пушкинские стихи¹. Вот он сидит где-то там, у себя, в креслах, в сумеречной комнате; тишина, разве слуга брякнет печной дверцей или служанка зазвонит посудой. Он сидит, немолодой уже офицер, усталый, насупленный, сидит, читает:

Питомцы ветреной судьбы,
Тираны мира! Трепещите!
А вы мужайтесь и внимлите,
Восстаньте, падшие рабы!

¹ В архиве В. М. Головнина сохранились списки стихов Пушкина «Вольность», «Моя родословная», «Послание к цензору» и др.

Порох в пороховницах был.

Освободители Европы освободились от шор. Они очутились на другой исторической высоте. Оттуда виделось дальше и шире. Война, по мнению строгих дисциплинистов, «разбалтывает» войска. Война, по мнению строгих государственников, «разбалтывает» души. Во время войны с этим мирятся и дисциплинисты и государственники. После войны они переходят в наступление. «Надо выбить дурь из головы этих молодчиков», требуют аракчеевы.

Александр Первый дал заговору созреть. Тем самым Александр Первый дал хороший урок будущим тиранам. Смысл урока прост: глядите в оба за победителями в освободительных войнах: они побеждены духом освобождения.

В первый «береговой» год Головнина — 1820-й — Петербург взволновали измайловская и семеновская истории. Великий князь Николай Павлович оскорбил офицера-измайловца, его товарищи в знак протеста подали рапорты об отставке — пятьдесят два рапорта. Полковник Шварц замордовал Семеновский полк; солдаты-семеновцы взбунтовались.

«Подтягивания» и «фрунт», «шагистика» и «чистота ружейных артикулов» унижали не трудностью исполнения. И даже не голой бессмысленностью. Унижала и возмущала осмысленность обесмысливания. Аракчеевский барабан терзал армейцев. Но еще больше — флотских. Армия и прежде удостаивалась прусской школы. Флот ее не знал и знать не желал. Палуба не могла обратиться в манеж; матросы не могли «налево кругом» ставить и убирать паруса. Глаз опытного морского офицера ласкала не «грудь колесом», а проворство, сметливость, неутомимость.

Военная молодежь знала Головнина. Не только по книгам, но и очно. И Головнин знал молодых офицеров. Не только служебно, но и по-домашнему.

Феопемпт Лутковский жил у Василия Михайловича. Шурин после «Камчатки» вторично обогнул земной шар на «Аполлоне», потом его определили «для особых поручений» к генерал-интенданту флота. Феопемпт коротко сдружился с Дмитрием Завалишиным; тот осенью 1824 года вернулся из дальних странствий, был полон замыслов, Головнину весьма интересных. Дружил Феопемпт и с офицерами Гвардейского флотского экипажа, с теми, кто 14 декабря вывел на Сенатскую площадь более тысячи матросов. Ко всем этим людям тоже можно отнести пушкинское «витийством резким знамениты, собирались члены сей семьи». Собирались они и у Феопемпта, в доме Василия Михайловича.

Интендантские обязанности часто проводили Головнина

в Кронштадт. Все там, как выражается современник, были знакомы «вдоль и поперек», сохраняли даже в больших чинах старинные, корпусные прозвища (Макака, Корова, Рыбка, Бодяга), живали артельно, все почти люди малого достатка. Кронштадтская публика не терпела фронтные занятия, «обучая» матросов маршировке с вытянутыми носками и прямыми коленами, командовала: «По-прошлогоднему от кухни заходи!» Или: «Валяй, братцы, по-вчерашнему!»?

Столичное тайное общество не представляло тайны для кронштадтцев. Агитационные песни Рылеева негромко распевали не только в кают-компаниях, но и в матросских углах.

Из прежних подчиненных Василия Михайловича служил в Кронштадте лейтенант Матюшкин (он, Врангель и Козьмин уже завершили полярную, колымскую экспедицию); Федор Федорович не порывал связей с «лицейской республикой», виделся с Вильгельмом Кюхельбекером. Очень вероятно, что именно Матюшкин ссужал Головнина запрещенными стихами Пушкина...

Нередко посещал Головнин дом у Синего моста, на набережной Мойки — дом Российско-Американской компании. Весною 1825 года Василий Михайлович связался с компанией, что называется, организационно: его избрали членом Совета акционеров.

Кондратий Рылеев, служащий компании, жилец первого этажа дома на Мойке, так писал своему приятелю, тоже участнику тайного общества: «Засим предложено было о избрании члена Совета, и все единогласно избрали В. М. Головнина. Етому выбору я очень рад. Знаю, что он упрям, любит умничать; зато он стоек перед правительством, а в теперешнем положении компании его нужно. Говорят, что он за что-то меня не жалует; да я не слишком етим занимаюсь; так, хорошо; не так, так мать твою так — я и без компании молодец: лишь бы она цвела».

Характеристика не восторженная. Тем ценнее зерно рылеевского отзыва: Головнин не гнет выю, Головнин «стойек».

Прослеживается цепочка знакомств, очерчивается вполне определенный круг. Степень личной близости Головнина к тем или иным декабристам была различной, как это и вообще бывает в отношениях между людьми. Идейная же близость Головнина к декабризму вне сомнений. Но есть и некоторые доказательства его практического участия в планах тайного общества.

Дмитрия Завалишина, моряка, путешественника, ученого, принял в общество Кондратий Рылеев. Завалишин прямо указывает на сходство своих воззрений с настроениями и взгляда-

дами Василия Михайловича. Больше того, Завалишин утверждает, что Головнин был «членом тайного общества, готовым на самые решительные меры». Какие же? Завалишин поясняет: «Головнин предлагал пожертвовать собой, чтобы потопить или взорвать на воздух государя и его свиту при посещении какого-либо корабля».

Завалишин, вспоминая об этом, ссылался на декабриста Лунина. О Луине у Пушкина сказано: «Тут Луин дерзко предлагал свои решительные меры». Рисуя лунинский профиль, поэт тотчас пририсовывает кинжал, символ царубийства.

Многие арестованные декабристы дали в Зимнем и Петропавловке слишком откровенные и слишком пространные показания. Луин, напротив, держался крайне осторожно и сдержанно. Кто знает, не был ли Головнин спасен благородным и мужественным подполковником лейб-гвардии Гродненского гусарского полка? И все же трудно отделаться от подозрения, что Завалишин преувеличил «терроризм» Головнина. Если Василий Михайлович и склонялся к насилию, то скорее подумывал о вывозе царской фамилии за границу. Мысль эта возникала среди моряков декабристского толка...

Годовой период — конец восьмьсот двадцать четвертого, конец восьмьсот двадцать пятого — один из напряженнейших в жизни Головнина. Напряженность определилась грозным ноябрьским наводнением. Петербург и Кронштадт пострадали ужасно. (Примечательно: ни одна газета не сообщила о том, чему свидетелем и очевидцем явилось многотысячное население! Что за глупейшая манера умалчивать даже о тех бедствиях, в которых повинен лишь господь бог?) Стихия загубила десятки жизней, разрушила десятки домов, разорила сотни семей. Флотскому хозяйству нанесен был урон, какой не снился неприятельским эскадрам. В Кронштадте смыло портовые укрепления, унесло сорок семь пушек, выбросило на мели корабли. Всяческие припасы, биржи строевого леса, баркасы, яхты, шлюпки раскидало чуть не на сто верст по берегам.

Большую часть Петербурга затопило. Адмиралтейство, казармы в Галерной гавани, верфи. Морской корпус — ко всему приложилось «наглое буйство» Невы и ураганного ветра.

И все требовало неустанных забот генерал-интенданта флота. Забот хватило не на месяц — на несколько лет. И наконец, было о чем посоветоваться со старинным другом: в канун нового, двадцать пятого года Василий Михайлович почтieval праздничным домашним обедом Петра Ивановича Рикорда. Впрочем, не только о бедствиях стихийных шла речь.

Как раз 31 декабря 1824 года Головнин написал коротенькое предисловие к сочинению некоего мичмана Мореходова. «Необыкновенное и странное положение, до коего ныне доведена Россия, — говорил Головнин, — и всеобщий ропот во всех состояниях, по целому государству распространившийся, произвели между прочими политическими мнениями разные суждения и толки насчет морских наших сил». Далее Василий Михайлович предупреждает, что мичманское звание не благоприятствует авторству: мичман-де, по мнению публики, всего лишь «молодой неуч». Однако читатель возьмет сочинение не безусого офицера, но морского человека, прожившего почти полвека и совершившего несколько походов.

За мичманом Мореходовым... стоял Головнин. Официальный пост понуждал к псевдониму. «Описанием кораблекрушений» он нажил себе врагов. А «Записки мичмана Мореходова» грозили ему куда больше. Они были гневными, сатирическими, исполненными неподдельного патриотизма. Нигде так ясно и четко не высказался Головнин-критик, как в очерке «О нынешнем состоянии русского флота». Страшно молвить: даже августейшую особу не пощадил.

Он сразу берет быка за рога: «Если бы хитрое и вероломное начальство, пользуясь невниманием к благу отечества и слабостью правительства, хотело по внушениям и домогательству внешних врагов России, для собственной корысти, довести разными путями и средствами флот наш до возможного ничтожества, то и тогда не могло бы оно поставить его в положение более презрительное и более бессильное, в каком он ныне находится».

Круто положен руль! Лобовое обвинение государственных мужей в государственной измене. Зорким, наметанным оком окидывает Головнин организм, именуемый флотом. Твердой рукой рисует картину адмиралтейской бестолковщины. Бестрепетно, как скальпелем, вскрывает секретнейшие «ходы» подрядчиков, поставщиков дряни и гнили. Изобличает флотские «дымовые завесы»: на пути следования государя из Петербурга в Кронштадт расставлены корабли с одним лишь выкрашенным бортом. Обнажает механику закулисных сделок по принципу «ты — мне, я — тебе», систему родственного патронажа, засилие ни к чему не годных иностранцев.

И что же? Каков результат?

Флотоважди, выжившие из ума развалины, обратили Кронштадт в «морскую богадельню». И добро бы прели в халатах, посасывая трубки. Так нет ведь: молодых не пускают, не объедешь, не перепрыгнешь. «Теперь в русской морской службе нет ни одного адмирала, сколько-нибудь годного ко-

мандовать флотом». Адмиралы под стать генералам. «Не могу вспомнить без досады и огорчения случившееся со мною однажды на вахтпараде. Близ меня стояли два англичанина, из коих один недавно приехал в Россию, а другой — купец, долго живший в Петербурге и мне весьма коротко знакомый человек. Когда мимо меня шел кавалергардский взвод, то новоприезжий спросил: «Что это за люди в зеленых мундирах, которые маршируют со взводом?» И, услышав, что это были генералы, вдруг сказал с удивлением: «Как! Четыре генерала выступают такими гусями с дюжиною солдат?» На сие товарищ его заметил, что в России генералы очень дешевы и не хочет ли он отвезти их целый корабельный груз из барыша в Англию. На что он отвечал: «Нет, это самый плохой товар в России, с которым, наверно, будешь в накладе. Вот если б солдат привезти, то была бы прибыль!»

Добро. Начальство, конечно, «фактор». Но есть же боевые корабли? О, да, конечно. И Головнин гвоздит: корабли подобны распутным девкам. «Как сии последние набелены, нарумянены, наряжены и украшены снаружи, но, согнивая внутри от греха и болезней, испускают зловонное дыхание, так и корабли наши, поставленные в строй и обманчиво снаружи выкрашенные, внутри повсюду вмещают лужи дождевой воды, груды грязи, толстые слои плесени и заразительный воздух, весь трюм их наполняющий».

Одного за другим представил капитан-командор морских министров России: Кушелев — скудный умом; Чичагов — раздражитель англичанам, «самого себя считал ко всему способным, а других ни к чему»¹; Траверсе — лукавый царедворец, озабоченный лишь желанием ублажить государя парадностью; наконец, Моллер — воплощенное ничтожество, вор и покровитель воров. Лишь одного Мордвинова пощадил Головнин, но тут же оговорился, что просвещеннейший Николай Семенович манкировал своими обязанностями, занимался всем, да только не флотом. (Мемуаристка, дочь Мордвинова, объясняет это интригами врагов.)

Последний раздел памфлета — страстная защита самой идеи необходимости русского флота. Не ломился ли он в открытые ворота? Защищать идею флота после Петра, после стольких государственных услуг, оказанных флотом, после защиты Петербурга от шведов? Нет, идея нуждалась в обороне. Не однажды слышались голоса о напраслине содержания морских сил. Голоса звучные, сановные, уверенные, хорошо

¹ Головнин слишком категоричен. П. В. Чичагов, наверно, не был образцовым министром. Однако Чичагов не потерпел нареканий даже от бесноватого Павла и угодил в крепость. Человек независимых суждений, он открыто уничтожал дворцовую чернь. Герцен весьма уважительно отзывался о П. В. Чичагове.

поставленные. Флот необходим, доказывал Василий Михайлович, но флот подлинный, боеспособный, обученный, снаряженный. А если сам император этого не понимает... Если так, то приходится согласиться, что «не на всех тронах сидят Соломоны».

Доведись Александру Павловичу прочитать «Записки мичмана Мореходова», царь мог бы сказать то же, что скажет впоследствии его младший брат, император Николай Павлович, посмотрев «Ревизора»: «Всем досталось, а больше всех мне».

Однако ни Александр, ни его преемник не прочли записок... Беда иной литературы, язвил Вяземский, состоит в том, что мыслящие люди не пишут, а пишущие не мыслят. Не худо добавить: беда состоит еще и в том, что, когда мыслящие люди пишут, их не печатают. Рукопись Василия Михайловича попала в типографию десятилетия спустя¹.

Его взгляды и требования, его боль и мука были тождественны декабристским. Моряки-декабристы из крепости указывали на те же язвы, на которые указывал он в домашнем общении.

Но желание делать хорошую мину при плохой игре — смертный грех официальной России. Годы и годы минули после Севастополя, после Крымской войны, родился флот паровой и броненосный. Однако бюрократия, косность, лихоимство существовали, как и во времена Головнина. И опять были трезвые люди, предсказывающие Цусиму. Но с физиономии официальной России по-прежнему не сходила «хорошая» мина.

4

Как жить? Чем и зачем жить?

Не сразу все это поднялось в рост. Сперва был страх. Унизительный и беспощадный. Ни с чем не сравнимое, особое свойство у особого страха, который мнет душу перед арестом. Такого не испытываешь ни в бою, ни в штормовую ночь.

Если верить Завалишину, Василию Михайловичу, конечно, следовало ждать фельдъегерскую тройку. Если не верить Завалишину, то все равно следовало ждать: могли подозревать, могли донести. Подозревать было в чем, доносить было о чем.

Ожидание ареста хуже ареста. Военная храбрость не однозначна с гражданской, как смерть на миру со смертью в ка-

¹ Автограф хранится в отделе рукописей публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Шифр: Э П-243.

земате... И фельдъегерь явился. Не за капитан-командором, а за лейтенантом Феопемптом Лутковским. Должно быть, в ту минуту капитан-командор ощутил мгновенную постыдную радость и постыдное облегчение. Но следом накрыла его, как вал, набежавший с кормы, тяжкая печаль: Феопемпта он любил.

Потом он узнал, что его родственника, его офицера для поручений, всего-навсего отослали на Черное море¹.

Сверстники и товарищи Феопемпта сидели в крепости. По выражению Бенкендорфа, процесс над декабристами вели с «возможной степенью законности и гласности». Восхитительно: «возможная степень», и шабаш.

Летом 1826 года верховный уголовный суд «совершил вверенное ему дело». В тринадцатый день июля пятерых повесили. День выдался светлый, играл военный оркестр. Приговоренные не дрогнули. Царь сообщил маменьке, «порфиноносной вдове»: «Гнусные и вели себя гнусно, без всякого достоинства».

В тот же день флот простился с моряками-декабристами. Гражданская казнь была исполнена на адмиральском фрегате. Ритуал ее во всех деталях не потяготился составить «рыцарственный» государь.

Ударил пушка. Не обычная, не зарева — зловещая, как сигнал к тонущего судна. На крюйс-стеннге флагманского корабля поднялось черное полотнище. К Большому кронштадтскому рейду приблизился пароход «Проворный». Он привел на буксире баржу с осужденными. Осужденные поднялись на фрегат. Их было пятнадцать. Среди них и те, кого Головнин, несмотря на разницу в возрасте, считал товарищами: капитан-лейтенант Николай Бестужев и лейтенант Дмитрий Завалишин. Фон Моллер, брат министра, приготовился читать приговор: каторга, каторга, каторга. И тут в ритуале, составленном государем, произошла заминка: экипаж фрегата бросился обнимать «злодеев». Едва навели порядок, Моллер торопливо прочел приговор. Матросы утирали кулаком слезы. Над осужденными переломили шпаги. Они сняли мундиры, надели старые солдатские шинельки. Пароход «Проворный» увел в Питер баржу с каторжанами.

Пушкин говорил: повешенные повешены, но каторга друзей ужасна. Он выразил чувства многих; однако никто из-за этого ужаса не кончал самоубийством. Декабристы без декаб-

¹ Черноморские ветры выветрили из Ф. Лутковского либеральный дух. Он «образумился». В архиве Октябрьской революции, в фонде Мраморного дворца, я читал его подхалимские письма тогдашнему руководителю флота светлейшему князю А. С. Меншикову, которого презирали все честные моряки, в том числе и приятель Лутковского Ф. Ф. Матюшкин. Ф. С. Лутковский умер в 1852 году контр-адмиралом свиты его величества.

ря продолжали служить, обедать, спать с женами. И все ж не жили так, как жили прежде.

Вяземский говорил: мы были лучами одного светлого круга. Светлый, чистый диск потух, исчез. Натекли сумерки, жуткие, как в остроге. В сумерках маячила петропавловская виселица. Ее косые тени беззвучно гнались за уцелевшими.

После 14 декабря Головнин не брался за перо. Сатирические чернила в его чернильнице пересохли. Он умолк и молча продолжал служить. Служил почти исступленно. Повседневным глушат мятежи сердца. Обыденным заменяют высокие порывы, как привычкой — счастье. «Теорию малых дел» исповедуют всякий раз, когда рушатся неличные надежды, когда на площади торжествует палач, а в душе — мораль: «Плетью обуха не перешибешь», «Сила солому ломит», «Своя рубаха ближе к телу» и проч.

Головнин молчал. Но дома, в четырех стенах, среди своих не выдерживал... В рукописных мемуарах его сына есть знаменательные строки, посвященные матери: «Вообще она сохранила к государю большую признательность и находила несправедливыми упреки, которыми его осыпали и во время его жизни и особенно после смерти». (Евдокия Степановна, овдовев, осталась с пятью детьми и долгами в шестьдесят тысяч ассигнациями; Николай назначил ей пенсию.) Но важнее иное: упреки в адрес Николая при жизни Николая! Кто бы на них осмелился в присутствии Головниной, как не сам Головнин? Кто посмел бы «осыпать упреками» самодержца, учредителя регулярного политического сыска, как не муж с глазу на глаз с женой? Однако мемуарист, думается, поделикатничал. Упрекают ветреную любовницу; вешателей проклинаяют.

Итак, он продолжал служить.

Некий деятель однажды иронически «оплакивал» так называемую морскую науку. Николай Первый был последовательнее: презрительной слезою кропил он любую науку. Сын своего отца и брат своих братьев, он отвергал все дисциплины, кроме строевой. «Мне не нужны умные, мне нужны послушные».

Дивизионный генерал стал императором. Но император перестал быть дивизионным генералом. «Дивизией» оказалась вся Россия. В России следовало установить порядок, как в казармах Второй гвардейской.

Но тут вот что надо иметь в виду. Поразительное невежество Николая, его жестокость и злопамятность известны. Однако крылась в нем и природная способность дипломатничать, пользоваться обстоятельствами. Качества эти с годами улетучились: Николая опоили лестью его приближенные, которые боялись говорить правду и не боялись лгать, но лгать

так, чтоб непременно поддакнуть царским намерениям. Все это, конечно, не спасет Николая от «высшего судии» — Истории.

Коронуясь в Москве под громкий и звучный колокольный звон и уже стихающий в отдалении окаянный звон кандалов, новый самодержец еще обладал некоторым умением разбираться в людях, а равно умением обворозжить их. (Черты, нередко свойственные «начинающим» деспотам. Утвердившись, они окружают себя посредственностями: на блеклом фоне и медяшка блестит золотом.)

Так вот, принимая в «команду» Россию, император Николай обратил взоры и на Морское ведомство. Был учрежден Комитет образования флота. Членами комитета Николай назначил таких блистательных капитан-командоров, как Крузенштерн, Ратманов, Беллинсгаузен, таких сведущих адмиралов, как Пустошкин, Грейг, Рожнов. Кончилась долгая горчайшая опала прославленного флотоводца Дмитрия Николаевича Сенявина.

В Морском ведомстве пошли административные преобразования. Некоторые из них Головнин одобрял, в других сомневался. Но теперь-то ему уж было к кому обращаться, с кем разговаривать: в комитете — настоящие моряки, настоящие ревнители морских сил.

Однако и при таких товарищах Головнину приходилось со-лоно. Непреклонную честность, прямоту и решительность суждений, суровую преданность долгу венчают лаврами хрестоматийные жизнеописания. А в быстротекущей жизни обладатель таковых достоинств обрывает недоброжелателями, как корабль ракушками, замедляющими ход. И так же, как корабль, стерегут его коварные рифы и предательские мели. Василию Михайловичу не долго пришлось дожидаться встречи с ними.

Головнина-мореплователя нельзя было не уважать. Головнина-писателя нельзя было не признавать. А Головнина-чиновника нельзя было не опасаться. Он не давал «брат», не давал греть руки. Такой генерал-интендант доставлял слишком много хлопот, слишком много неудобств. Отделаться от него махом случая не представлялось. Зато подворачивались случаи язвить, ранить душу.

Должно быть, не без «подходов» фон Моллера, конечно, знавшего, как Головнин расценивает его «духовный облик», Василий Михайлович не был назначен членом Комитета образования флота.

То было утеснение моральное. Оно как бы продолжало утеснение материальное. Дело-то в том, что «Путешествие на шлюпе «Камчатка» давно отпечатали и распродали. Головнину полагались законные триста экземпляров. Но автору показали кукиш. Автор лишился семи с половиной тысяч. Сумма

кругленькая. Особенно для того, кто существовал с чадами и домочадцами на жалованье, ничего не урывая от казенного пирога.

Правда, Головнин удостоился ордена Владимира 2-й степени. Но Василий Михайлович был русским человеком, а Лесков тонко заметил, что «эти самые русские люди, которые так любят получать медали, звания и всякие превышающие отличия, сами же не обнаруживают к этим отличиям уважения и даже очень любят издеваться». Да к тому же никаким орденом не заткнешь дыры в бюджете. А семейный бюджет хромал. Головнин далеко был от Гулынок, да и Гулынки далеко не были рогом изобилия.

Куда больше «высокомонарших» наград заботила Василия Михайловича предстоящая в конце 1826 года баллотировка. Процедура, возникшая в Венеции при выборе дождей, держалась двести лет (с перерывами) в русском флоте при выборе должностных лиц. Результаты офицерского голосования обычно утверждались высшим командованием.

У Головнина были веские основания опасаться поражения. Если на морях его пощадили черные ядра, то в Адмиралтействе его не пощадили бы черные шары. Он знал недругов открытых, догадывался о скрытых. Провал на баллотировке лишил бы его контр-адмиральского чина. Но и не это главное. Провал лишил бы его возможности продолжать службу: честь потребовала бы отставки.

Скрепя сердце Василий Михайлович написал рапорт. Обратился к Моллеру, заправлявшему флотом. К тому самому, которого презирал всеми силами души.

Головнин напрямик заявил Моллеру: «А судьбы кто?» Если б эти люди «мнение свое излагали гласно», то «во избежание стыда», глядишь, и сказали бы истину, однако «при баллотировке невидимая рука врагов, не боясь поношения, может втайне вредить невинному и навсегда пребыть в неизвестности». А потому Головнин предлагал без баллотировки «переименовать» его (как это практиковалось) в генерал-майоры, «буде вышнее начальство признает меня для морской службы неспособным».

И «вышнее» начальство не постыдилось признать негодим для корабельной палубы того, кто совершил тридцать одну кампанию, дрался на Балтике и в Средиземном море, огибал, под парусами земной шар. Василия Михайловича Головнина «переименовали» в генерал-майоры. Истым морякам понятна вся оскорбительность подобных «переименований». Только на краю могилы Василий Михайлович вновь получил морской чин — вице-адмирала — в декабре 1830 года.

А Комитет образования флота между тем заканчивал «образование» Морского ведомства. Не стану рассматривать перемены и перетасовки должностной колоды, тузы остались

тузами, двойки и тройки — самими собою. Перечислю то, что отдавалось в ведение генерал-интенданта Головнина: постройка и ремонт кораблей, заготовление припасов, снабжение всеми видами довольствия личного состава, управление корпусом морской артиллерии, инспекторский надзор за корабельными инженерами, арестантскими ротами, рабочими и ластовыми экипажами¹.

Огромное, сложное, запутанное и запущенное хозяйство взвалили на Головнина. Будь, мол, Василий Михайлович, и семи пядей во лбу, и двужильным. Он писал: «Не имею ни днем, ни ночью покоя, ни в праздники отдохновения; дела мои такого рода, что и в болезни должен ими заниматься; при всем том нахожусь в ежечасной опасности, чтобы не подпасть под взыскание или к ответу не за себя, а за других».

Так минули годы.

Далеко разбросало прежних соплавателей. Иные уже встали на мертвые якоря. Но многие еще были в упряжке.

Вот Петр Иванович Рикорд, одногодок, не бросает палубы. Командует эскадрой в Средиземном море, эгейские зори золотят паруса его кораблей, аттическая соль если и не в приказах по эскадре, то на губах. Завидное дело досталось и Петру Ивановичу и его подчиненным, в числе коих Федор Матюшкин: помогать повстанцам-грекам в праведной битве за независимость от турецкого султана. «Борись за свободу, где можешь», — писал покойный Джордж Байрон. Полного тебе ветра, Петр Иванович, любезный сердцу старый товарищ. А вернешься, зададим мы с тобою молодецкую пирушку. И добром помянем, кого следует добром помянуть.

Давно оперились ученики. Глядишь, и учителя обгонят. Литке Федор уже капитан первого ранга, недавно вернулся из кругосветного похода, открытия сделал в Тихом океане, потрудился славно. А Врангель на Ситхе: правитель Русской Америки. Надеется «поднять» колонии. Дай-то бог, дай-то бог. Но верится с трудом. Отчего ж с трудом верится? Может быть, стареешь, Василий Михайлович? Минуло пятьдесят пять, ты скоро обратишься в одного из тех замшелых пней, которых сам же всегда ругательски ругал. Старость подкрадывается, как туман в ночи. Не уследишь, не заметишь — пожалуйте, господин адмирал, на погост. Полноте! Здоров ты, совершенно здоров. Ну, колено побаливает, давным-давно, при побеге из японской тюрьмы, ушиб колено, вот и побаливает. Да ревматизм грызет к непогоде, обычная морская хворь. И плевать тебе на старость. Что старость — на старуху с косою и то плевать! Да, да,

¹ Ластовые экипажи обслуживали мелкие портовые суда.

улизнул от тлена и праха, пусть и могила исчезнет, но вечно пребудет карта мира: среди Курильских островов гуляют волны пролива Головнина; Берингово море гложет скалистую бухту Головнина, что на полуострове Сьюард в Северной Америке; на Новой Земле тучи, набухшие снегом, мрачно влекутся по вершине горы Головнина, Ледовитый океан шершаво оглаживает мыс Головнина...¹

В исходе мая 1831 года семейство вице-адмирала оставило зимнюю квартиру: Василий Михайлович нанимал двухэтажную дачу по Петергофской дороге.

Лето пало знойное, безветренное. Душно было и мглисто. Финский залив спал летаргическим сном. Небо приняло зловещий оттенок. Во всем чудилось что-то грозно-неотвратимое.

Лето тридцать первого года означилось черным, долго памятным событием: холерной эпидемией, поразившей несколько губерний. В середине июня «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили о вспышке страшной болезни в столице. Моровое поветрие понеслось быстро, как верховой пожар в сухом бору.

Загροхотали валкие больничные фуры. Полиция хватала каждого, кого подозревала «холерным». Госпитальные палаты ломались. Мертвецов не успевали оттаскивать в сараи, заменявшие морги. Случалось, тащили и полуживых.

Медики с ног сбивались. Они пользовали народ какими-то мушками и микстурой Меркурия. Народ не верил ни лекарям, ни снадобьям. Обезумевшие люди громили больницы и калечили докторов. Шелестел слух, что заразу напустили поляки. Потом всплеснула молва, что пагубу напустили «злодеи 14 декабря». Видели их, мол, на заставах: бородатые, жуткие, прямиком из Сибири «выбежали». Но чаще и упорнее толковали, что холера — дело властей. Тут уж, как замечал очевидец, проглядывала вера во всемогущество «начальства».

В конце июня холера косила машисто. Денно и ночью тянулись обозы с мертвецами. Мертвецов кое-как прикрывали рогожами. Умерших хоронили на новом, «опальном, отчужденном» Митрофаньевском кладбище. Хоронили без духовенства, ночью, при факелах.

Евдокия Степановна не могла (а может, и не смела) удерживать Василия Михайловича на даче. Каждый день, после завтрака, вице-адмирал садился в казенный экипаж, запряженный четверкой, и отправлялся в Петербург. Он ездил в

¹ В наше время, после Великой Отечественной войны, на острове Кунашир, где некогда пленили капитана «Дианы», возник рыбацкий поселок Головнино. Там же, на Кунашире, высится вулкан Головнина, двуконусный, с двумя озерами: одно спокойное, другое, меньшее, постоянно кипит.

Адмиралтейство, ездил на верфи, на Охту, где жили плотники и столяры, кузнецы, конопатчики, мачт-макеры, как по старинке называли умельцев, изготавливавших корабельные мачты.

И 29 июня в утренний час Головнин, как обычно, отправился на службу. А в пятом часу пополудни, раньше обыкновенного, знакомая жене и детям высокая зеленая карета привезла его домой.

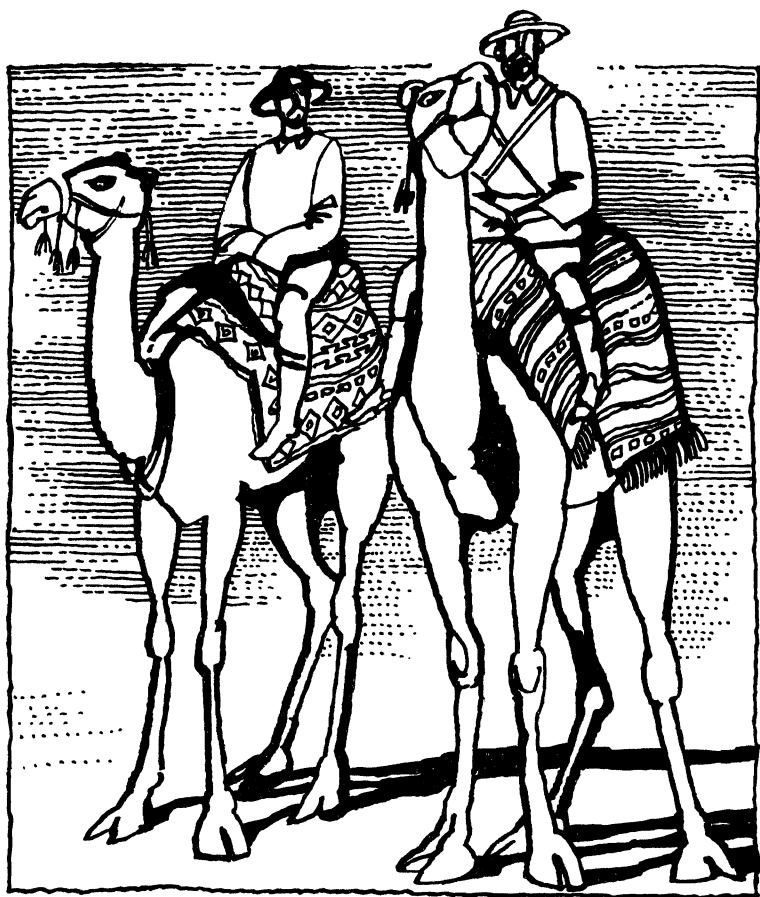
Головнин умирал, пораженный холерой.

Молодым волонтером он едва не погиб в океане. Моряки, поддерживая друг друга за плечи, пели наперекор буре, медленно и торжественно пели: «И перед взором Твоим тысяча лет проходит как один вечер».

Как один вечер...

1968

НАХИМОВ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Едва завязывалась артиллерийская дуэль, сигнальщики вбегали на возвышения. Вбегали легко, даже, пожалуй, щегольски, как на ванты. Они первыми видели черный полет смерти. И кричали зычно, как впередсмотрящие:

— Берегись, наша!

Или:

— Чужая!

А смерть присвистывала:

— Чьи вы?.. Чьи вы?..

— Разрешилась! — кричал сигнальщик.

И тотчас грохот: бомба «разрешилась от бремени». Случалось, что она плюхалась где-то неподалеку, в рытвину, в яму, наполненную недавним ливнем, и тогда начинала шипеть прерывисто и злобно. А матрос-сигнальщик, озорничая, поддразнивал:

— Пить... Пить... Пить...

Нахимов объезжал сева­сто­польские бастионы. Во всем облике Павла Степановича не было ничего воинственного, картинного: фуражка почти на затылке, сбившиеся на коленях брюки без штрипок. Он объезжал позиции на сми­рной лошадке, сидя в седле неловко, как сидят моряки. Слезал с лошади неторопливо и осторожно, не так, как выпрыгивал из шлюпки на влажную гальку, где сипел прибой.

Отнюдь не писанный красавец, в мешковатом сюртуке, при шпаге (трофейной, отнятой у турецкого флагмана), рыжеватенький и голубоглазый, он осматривал укрепления, разговаривал с офицерами, с матросами и солдатами, и разговор его был так спокоен, будто свист, грохот, самая смерть не имели решительно никакой важности ни для него, ни для тех, кто был рядом.

Потом он поднимался к сигнальщику. Адмиральские эпюлеты горели густым, спелым блеском. Неприятельские стрелки сразу примечали сутуловатую фигуру с подзорной трубой. Офицер молил Павла Степановича сойти вниз. Нахимов от­малчивался. Иногда ворчал, что никого-с не держит-с, госпо-

дин офицер волен укрыться в блиндаже, а он, Нахимов, должен поглядеть, что делается у господ союзников.

Пальба не умолкала.

— Берегись! — кричал сигнальщик.

Бомба присвистывала:

Чи вы?.. Чи вы?

1

Бомбы были из каши. Хлебный мякиш раскатывали в блин, насыпали жидкой гречневой каши — получалась бомба. Бомбы швыряли в эконома, по-нынешнему сказать, интенданта, хозяйственника, едва тот показывался в столовой. «Бомбардировка» считалась бунтом.

Бунтовщиков пороли. Впрочем, бунтовали в корпусе значительно реже, нежели подвергались порке. Мальчишеские тощие зады белели на жесткой скамье. Из дежурной комнаты доносились вопли, как из зубодерни.

Жизнь почти отжив, многие бывшие воспитанники вздрагивали, вспоминая корпусные наказания. Даль (составитель знаменитого словаря) писал, что в его памяти «остались одни розги, так называемые дежурства, где дневал и ночевал барабанщик со скамейкою, назначенной для этой потехи».

Россия времен Петра представлялась Пушкину кораблем, спущенным на воду при стуке топора и громе пушек. Корабельные офицеры из поколения в поколение вступали в строй при барабанном бое и свисте розог.

В 1813 году недоросль из дворян Павел Нахимов подал прошение о зачислении в Морской шляхетский корпус. В прошении, как водится, сообщалось, что недорослю одиннадцать от роду, что родитель его отставной майор, помещик Смоленской губернии, что обучен Павел «по-русски и по-французски читать и писать и части арифметики».

Вакансий в корпусе не было. Однако смоленского отрока зачислили кандидатом. Так же поступили и с прочими. Не различая Луконина и фон Мейснера, Ограновича и Буаселя — лишь бы дворянин.

Кто поступал в морские учебные заведения, знает, как долог, как нескончаем кандидатский искус: господи, боже ты мой, да когда ж, когда ж признают тебя «полноценным»?

Более двух лет Нахимов был кандидатом. Но его уже осенили паруса. Бриг ходил «между Кронштадтом и петербургскими вежами, обучая гардемарин разным поворотам и действиям парусов при всяких направлениях ветра».

В 1815 году Павла Нахимова включили в списки воспитан-

ников Морского корпуса. С палубы «Симеона и Анны» явился он в Петербург, на Васильевский остров, в эти здания, соединенные дворами, темными коридорами и полутемными галереями.

Учили не вразвалку, плотный был учебный день: с восьми утра до полудня; с двух пополудни до шести; с семи вечера до одиннадцати. Начинали арифметикой. Очевидно, не очень-то полагались на познания, указанные в прошениях. И кадеты грызли гусиные перья, клонясь над задачкой:

Нововъезжей в Россию французской мадаме
Вздумалось оценить богатство в ее чемодане;
А оценщик был русак,
Сказал мадаме так:
«Все богатство твое стоит три алтына,
Да из того числа мне следует половина».

Успехи определялись не баллами, а словесно: «отлично»; «хорошо»; «весьма и очень хорошо»; «хорошо»; «довольно хорошо»; «посредственно».

Но если оценивать самих учителей, то... То, право, не следует полагаться на безапелляционный приговор Завалишина: дескать, «при общей серости учителей кадеты могли брать только своими способностями или прилежанием». Нет, не только! Это натяжка, преувеличение. Может, и были «серые» (в каком заведении их не бывает?), да были и отнюдь не таковские. Александр Беляев (впоследствии декабрист) описал на склоне лет Морской корпус нахимовской поры. Беляев рассказал и о прекрасном математике Исакове, и о добрейшем и дельном учителе английского языка Бругенкате, и о словеснике Груздеве, который не уступал педагогическим дарованием ни математику, ни англичанину. Наконец, в числе корпусных воспитателей был и такой высокоталантливый, образованный и гуманный человек, как Николай Александрович Бестужев.

Будущих офицеров не баловали. О молоке и сливках хранили они сладкую память, как и о домашнем, деревенском приволье. Утром и вечером давали им кипяток. Правда, полагалась еще и пеклеванная булка. И нужно сказать, вкуснейшая. Булки и квас Морского корпуса славились во всем Петербурге. В обед и ужин неизменно кормили гречневой кашей, той самой, что порою начинали «бомбы».

Коль скоро воспитанников ждала жизнь среди ветров, то и кадетская одежда была подбита ветром. Шинелишки и фуражки носили легонькие, холодные. И корпусный лазарет редко пустовал.

Жизнь на море Нахимов отведаль летом восемьсот семнадцатого. Подчеркиваю: н а м о р е, потому что бриг «Симеон и Анна» плавал в пресноводье (от Невского бара до Кронштадта), а фрегат «Феникс» отправился в Балтику.

Флотские усматривали в «Фениксе» что-то схожее с Фениксом. И вот почему. Флот давно уж чах. Едва речь заходила о сбережении государственных средств, государь меланхолически ронял: «Флот». То же, почти механически, твердили савовники императора Александра. Скарעדничали на всем, что касалось эскадр и экипажей. Корабли плесневели в гаванях; служба тянулась, как на дрогах; служители бедовали, как церковные мыши.

И вдруг... «Феникс» пойдет в Швецию, в Данию! Разумеется, не бог весь что за поход. Но после Маркизовой лужи, как прозвали Невское взморье, куда министр маркиз Траверсе только и решался посылать суда, после эдакой-то лужи поход «Феникса» казался знамением возрождения флота.

Не берусь судить, чего было больше: желаня ли показать себя в иностранных портах или желаня показать гардемаринам иностранные порты. А может, и то и другое вместе понудило казну раскошелиться. Из Балтийской эскадры выбрали красавца и ходока, из гардемаринов назначили лучшую дюжину. Понятно, не обошлось без тетушек и дядюшек: троих определил по протекции сам господин министр. Зато уж остальные попали по достоинству. Среди них Нахимов, его друг Завалишин, Даль...

Кроме официальных документов плавания, сохранились и документы личные. Один — Дмитрия Завалишина, другой — Владимира Даля. Первый опубликован в старинной периодике, второй найден в фондах бывшей Румянцевской библиотеки и опубликован частично.

Гардемарины на фрегате вели поденные журналы. К сожалению, записи Нахимова до сей поры не обнаружены. Это печальное «к сожалению» будет тенью следовать за нами. Жизнь Нахимова, обильно оснащенная рапортами, отношениями и донесениями, крайне бедна неказенной документацией. Прямо-таки поразительно и обидно бедна для времен дневниковых, мемуарных. И вот уж сейчас, рассказывая о походе фрегата, волей-неволей обращаешься к показаниям современников, однокашников, а не самого героя.

Будущему морскому офицеру практика зачастую трудна не трудом, а чувством ответственности. На корабле (быть может, отчетливее и резче, чем где бы то ни было) ясна зависимость всех от каждого и каждого от всех. Этим чувством ответственности прониклись юные моряки, как только их принял под свою руку лейтенант Милюков.

Мардарий Васильевич исполнял должность старшего офицера. А командира поглощали особые заботы: обрядив саблю в серебряную португепю, он приноравливался носить ее по-кавалерийски, на отлете; рассеянно улыбаясь, командир воображал, как будет хорош при дворах их величеств королей Швеции и Дании, в загородных замках и на светских балах.

По сей причине лейтенант Милюков, в сущности, исполнял на фрегате и обязанности капитана.

Гардемарины работали ровней матросам, стояли офицерские вахты. Милюков доверял им. Доверяя, замечал: «Будьте внимательны и благоразумны. Помните, что в случае несчастья вы останетесь в стороне, отвечать буду я». Его уроки сводились к следующему: быстрота без торопливости, находчивость без опрометчивости, обдуманность решений и твердость исполнения.

Старший офицер любил лихость, молодечество, вкус к риску, то, что кует натуру спартанскую и бравую.

Понукать гардемаринов нужды не было. Их, пожалуй, следовало несколько удерживать «от безумной отваги». Для удержу присутствовал корпусный наставник лейтенант князь Шихматов.

К ужасу доброго князя, гардемарины бегали по фальшборту; стремительно, вниз головою скользили по тросам; перебирались с мачты на мачту, как ярмарочные канатоходцы. Нахимову однажды эта акробатика обошлась недешево — он сильно расшибся. Но Милюков, должно быть, успокоил его известной сентенцией: до свадьбы заживет. И точно, зажило, хотя Нахимов до свадьбы не дожил.

Шерные воды, глубокие и темные, отражали рослые сосны, гранитный хаос. Южный берег слабо желтел дюнами, песчаными отмелями. Лениво набухали кучевые облака, дули ветры западных румбов. С палубы фрегата открылась Нахимову краса Балтики. Она трогала сердце северянина.

Иное возникало в городах, городках, крепостях. Их рыцарский облик, шпили и башни, церковный орган, их улочки-ущелья могли занимать ум, но сердце оставляли спокойным.

В сумрачных арсеналах и сырых адмиралтействах гардемарины не таранились: все походило на знакомое, кронштадтское. Резиденции короля Швеции, короля Дании не исторгали восторженного «ах!» — гардемарины дома любовались Петергофом.

Спустя годы Нахимову предстояло увидеть Свет. Покамест он увидел то, что называлось светом. Гардемаринов усердно приглашали на балы, прогулки, парадные обеды. Любезная шведская королева поила их лимонадом. Бывший наполеоновский маршал Бернадот (будущий король Карл XIV) потчевал их пуншем, датские белокурые дамы — сладостями и кофе. Гардемарины шаркали ножкой и на дурном французском отпускали не бог весть какие комплименты.

В первый раз в жизни Нахимов, что называется, вращался в сферах. И в последний. Оно и к лучшему. Все бонтонное было не по сердцу юноше. Его сердце уже навсегда, до штуцерной пули, принадлежало морю и кораблям.

Мичманом начиналась офицерская иерархия на флоте. На мичмана экзаменовали — два десятка предметов, от закона божия и грамматики до высшей математики и корабельной архитектуры.

Комиссия собралась во второй день нового, восьмьсот восемнадцатого года. Более двух недель высшие офицеры, задубелые в морях и пожухшие в министерстве, испытывали сто десять юных душ. Души трепетали, радовались, печалились и опять трепетали.

Нахимов шел с оценкой «весьма хорошо», «очень хорошо». Он финишировал шестым. Пятеро дали ему фору. Но из них лишь одного запомнила история флота: большого приятеля нашего героя, Михаила Рейнеке, впоследствии выдающегося гидрографа. Остальных, как это нередко бывает с «отличниками», история позабыла.

Нахимов всю жизнь любил Рейнеке. Большинство частных писем Нахимова адресовано «любезному другу Мише», «любезному другу Михаилу Францевичу». Взаимное чувство — доверительное, очень искреннее — прошло испытание временем и не выцвело.

(Биографы адмирала Нахимова, упоминая Рейнеке, прибавляют несколько любезностей чисто профессионального свойства. Заслуги нахимовского друга неоспоримы: неутомимый труженик науки отдал годы и годы познанию отечественных морей.

Но он не был ученым сухарем. И не потому, что долго «размокал» в соленой воде. В отличие от Нахимова, которого иногда попрекают — на мой взгляд, не без основания — в каком-то нарочитом самоограничении кругом офицерской, корабельной, флотской деятельности, в отличие от него Рейнеке не чуждался интересов общественных, политических.)

В феврале стоило зажечь толстую свечу в храме Николы Морского: Нахимова произвели в мичманы. Однако поначалу служба как-то не ладилась. Не то чтобы служитель отлынивал, нет, не он один — большинство заспотыкалось, ибо флот лишь морщил Маркизову лужу, а экипажи трамбовали столичный или кронштадтский плац.

Несколько лет кряду Нахимов скучал то «при берегу», то «в стоянии на рейде». И в его послужном списке обозначилось как вздох: «Не имел случая отличиться».

Правда, имел случай оглядеться. Флотские жили худо. Мичман получал шестьсот ассигнациями в год. Петербургская дороговизна мигом опустошала карман, а кронштадтские цены держались чуть не вдвое против столичных. Квартирных денег, грустно шутили мичманы, хватало, пожалуй, на то,

чтоб на извозчике доехать от канцелярии до квартиры. Больше половины жалованья забирали портные и сапожники. Сшить шинель добротного сукна позволяли себе немногие. А уж успеть за модой и подбить шинель шелком-левантином решался лишь отчаянный франт. Мичманам и лейтенантам оставались в утешение капитан-лейтенанты. Получая немногим жирнее, эта публика — уже тридцатилетняя, женатая, семейная — едва ли не погружалась в смурную бедность.

Ради экономии младшие офицеры (по-тогдашнему обер-офицеры) селились артельно, персон по восемь — десять. Тут выгода была в приварке. В общий котел попадал и рацион денщиков. Их благородия обходились одним вестовым, за прочих — отдавай харч натурой.

При столь едкой скудности разительно выступало роскошество флагманов и портовых чиновников. Грабеж казны гневил сверстников Нахимова. Михаил Бестужев печалился в письме из Кронштадта: «Так, любезная матушка, чем долее я остаюсь в этой службе, тем более и более вижу подлые поступки начальников, которые охладили бы жар самых пылких поклонников Нептуна». Завалишин тоже клеймил воровские склонности почтенных превосходительств, отмечая притом безусловную честность молодых офицеров.

Поколение Нахимова вступало в жизнь после грозы двенадцатого года. Никогда еще Россия не стояла так высоко, никогда еще русское имя не звучало так громко. В гордом чувстве отмщения утихла трагедия первых месяцев нашествия, хотя Москва еще лежала «в унынии, как степь в полнощной мгле», по выражению начинающего поэта Пушкина.

Победителей не судят, да зато победители судят. Многие размышляли и сопоставляли. Они видели родину в неволе, себя — невольниками. Для того ли, думали они недоуменно, с горечью, для того ли мы освобождали Запад, чтоб на Востоке найти прежние цепи и прежнее рабство?

Истоки декабризма известны. Распространенность либеральных настроений тоже. Морское офицерство дало немало декабристов. Не случайно Рылеев советовал обратить особенное внимание на кронштадтцев.

Если на сходках «кавалеров пробки» пели: «Поклонись сосед соседу, сосед любит пить вино», то в кронштадтских артелях декламировали?

Ты скажи, говори.
Как в России цари
 правят.
Ты скажи, говори,
Как в России царей
 давят.

«Время, — писал Завалишин, — было богато событиями, вызывающими неудовольствие: и вмешательство в чужие дела

для подавления свободы, и военные поселения, и Библейское общество, и пр. — все подавало к этому поводы».

Однако в Нахимове не обнаруживается даже слабенькая оппозиционность. Но, может быть, стоит призадуматься над несколькими мемуарными строками Завалишина?

Дмитрий Иринархович отличался ярким дарованием, мыслил бурно, жаждал деятельности широкой, общественной, не удивительно, что его привлекли в Северное общество и не удивительно, что он очутился за решеткой, а потом и в Сибири.

Так вот, Завалишин, оказывается, о ч е н ь д р у ж и л с Нахимовым: на берегу жили они в одной квартире, на корабле — в одной каюте. Завалишин говорит: «Нахимов стал неразлучным моим товарищем».

И тотчас приходит на ум: «Скажи мне, кто твой друг...» Если будущего декабриста связывали с будущим адмиралом такие отношения, то... Но, вспомнив правила, вспоминаешь, что у них всегда есть исключения.

Будь Нахимов хоть в малой дозе единомышленником декабриста, Завалишин, конечно, не преминул бы оттенить это родство. Ведь он мемуары писал не таясь, после амнистии, после Сибири, да уж и многие упомянутые им лица, Нахимов тож, удалились в мир иной.

Приятельство объяснялось, очевидно, не сходством политических воззрений, но обоюдным живым интересом к профессии, наконец попросту тем общительным открытым чувством, которое нередко в молодых людях.

Другой современник знал Нахимова уже в эполетах с орлами. Этот наблюдатель тонко и точно определил капитальную нравственную кладку, моральное кредо Павла Степановича. «Адмирал никогда не забывал, что он дворянин и гордился этим, но в основании этой гордости у него лежали высокие понятия о чести и достоинстве офицера-дворянина. В его представлении дворянин — образцовый слуга отечества, образец для простых людей — матросов. Офицер-дворянин должен понимать, чувствовать, что матросы — это настоящие защитники отечества, на них держится вся служба; нужно сблизиться с ними, просвещать их, помогая им тем самым выполнять свой долг перед родиной».

Необходимо отмежевать Нахимова-молодого от Нахимова-зрелого; отношение к «нижним чинам», к матросам менялось с возрастом. Понимание — полное, емкое — роли и значения матросов пришло к нему не сразу.

Итак, мичман начинал, как многие. Тянул повседневность, довольно монотонную. Стоял в караулах. Лавировал не далее Красной Горки. Случился еще и пеший переход в составе 23-го экипажа. Зачем, для чего тащились в Архангельск — документы не освещают. Сдается, напрасно: в устье Северной Двины

послушали вой метелей да и воротились восвояси, в Кронштадт.

Между тем были ведь мичманы, отмеченные перстом Судьбы. Им завидовали. Не только потому, что у избранных увеличенное жалованье, даровая квартира, то бишь каюта, особый порцион. И не только потому, что кругосветное плавание сулило орденский крест.

Охота к перемене места как талант: есть так есть, а нет — так уж не взыщите. Но моряк (если он моряк, а не всего-навсего обладатель кортика) всегда мучим жаждой странствий, неодолимой тягой к убегающим горизонтам. «Плывать по морю необходимо, сохранить жизнь не так уж необходимо».

Неприглядное флотское бытие времен министерства де Траверсе отмечено и современниками и историками. Однако и в те сумеречные години была продушина для упругой струи свежего воздуха.

Здоровая и здравая часть «морского сословия» не мирилась с Маркизовой лужей. Для людей этих не было на свете ничего желаннее и лучше похода вокруг света.

Мыслящие «адмиралтейцы» еще в XVIII веке сознавали: лишь дальние плавания пестуют «добрых и искусных» служителей эскадр, с которыми «в случае войны выйтить против неприятеля будет неусомнительно».

Идея регулярных кругосветных плаваний была самой плодотворной, необходимой, чаемой и полезной в те годы, когда Нахимов начал палубную карьеру.

Правда, эпоха русских «кругосветок» началась еще в тот год, когда Нахимов лежал в пеленках: в августе восемьсот третьего Крузенштерн с Лисянским отправились «в первый раз в столь далекое странствование», а едва они вернулись, как в Кронштадте снарядили «Диану» под командой Головнина. Но потом наступил перерыв: Европа корчилась, ее жалили золотые пчелы Наполеона, засим грянула Отечественная, продолженная освободительными войнами на Западе.

«Кругосветки» возобновились, когда Нахимов уже надел мундирчик Морского корпуса. И приглядеться, тут ведь не одна, так сказать, техническая сторона дела. Нет, тут сказывался дух патриотической гордости, дух служения отчизне, который столь ослепительно вывихрился из Двенадцатого года и заграничных кампаний. Тут сказывалось упорное стремление лучших людей флота поддержать и взбодрить детище Петра Великого. Тут, наконец, сказывалось и упрямое (подчас до зубовного скрежета) сопротивление тем сановникам, которые объявляли Россию державой континентальной, а флот — бесполезным и дорогостоящим «довеском» к сухопутному государству.

Конечно, военные моряки усматривали в «кругосветках» прежде всего отличную возможность настоящей боевой под-

готовки в мирных условиях: океанская безбрежность, сложнейшие и разнообразные навигационные условия, закалка характера и сил физических в дни штормовых шабашей — все это было такой «академией», какую Маркизова лужа никак дать не могла.

Но вместе с тем военные моряки помнили и наказ основателя русского регулярного флота: победив неприятеля, надобно возвеличивать отечество «приращением» в науках и искусствах. А дальние походы были громадным поприщем работ географических, гидрографических, метеорологических.

Десятилетия кругосветных плаваний создали эпопею тяжелых испытаний и радостей открытий, ибо море, по слову Гюго, «это великая опасность, великий труд, великая необходимость». И каждому моряку, особенно моряку «дальневояжному», адресованы его же строки: «Океан неисчерпаем, а вы смертны, но это не страшит вас. Вам не суждено увидеть его последний ураган, а ему суждено увидеть ваше последнее дыхание. Отсюда ваша гордость, и я ее понимаю».

Флоту любой великой державы сделали бы честь русские кругосветные походы. И само по себе «исполнение» их, и научные наблюдения, произведенные офицерами, и публикация отчетов вкупе с картографическими материалами — неопровержимое доказательство не только наличия превосходных командиров и отменных матросов, вчерашних пахарей и пастухов, но еще, в частности, и того, что на Васильевском острове, в корпусе потчевали кадетов не одной лишь березовой кашей.

Когда Нахимов переступил порог Морского корпуса, лейтенант Михаил Лазарев «переступил» Балтику — ушел на корабле «Суворов» в кругосветное плавание. Еще рдела звезда Наполеона, еще император французов отбивался как вепрь, еще пламенело небо Европы, но уже возобновились «кругосветки», прерванные войнами.

В восемьсот пятнадцатом лейтенант Отто Коцебу, командир брига «Рюрик», тоже ушел в дальний вояж. Потом выбрал якорь все тот же, едва передохнувший «Суворов», но уже под водительством капитан-лейтенанта Леонтия Гагемейстера. А в дни приятной прогулки «Феникса» Кронштадт покинул шлюп «Камчатка» капитана 2-го ранга Василия Головнина.

Однако все это, как говорится, было не про Нахимова писано: он еще воспитывался, учился. Но вот уж надел мичманский мундир. Аттестации не лгали: К «службе усерден и знающ»; «поведения благородного, в должности усерден»; «должность исполняет с усердием и расторопностью»... Коротче, один из лучших, один из достойнейших.

На глазах у такого мичмана завязалось предприятие громадное, необычайное. Летом 1818 года над кронштадтскими рейдами витала крылатая Слава, как над въездной аркой нового петербургского Адмиралтейства.

«Восток» и «Мирный» (Беллинсгаузена и Лазарева), «Открытие» и «Благонамеренный» (Васильева и Шишмарева) снаряжались на поиски неизведанного. Первая пара — Южной матерой земли, Антарктиды; вторая — в Берингов пролив и далее, туда, где в туманах, в толчее битого льда, быть может, пенилась свинцовая волна Северо-Западного прохода. Великие загадки географии...

К тому ж еще один ходок, пятый, в это лето бодро вытянулся из гавани, намереваясь пуститься вдогонку — корабль «Бородино» лейтенанта Панафидина. Черт подери, Панафидину ведь тоже нужны мичманы...

А умелый, проворный, старательный, дисциплинированный мичман Нахимов оставался «при берегу». Нет, право, станешь тут мрачно хмуриться, цедя сквозь зубы непечатное.

3

Монотонность пресеклась в 1822 году. Будто солнце провалось сквозь унылые тучи. Громадная радуга одним концом окунулась в Маркизову лужу, другим — в великий, или Тихий. Под этим сводом вообразился Нахимову божий мир: континенты и океаны, гавани и горы, созвездья и закаты. Все сверкало, искрилось, звало и манило.

Корабль назывался «Крейсер». Даль ловко толкует глагол «крейсировать»: «крестить по морю»; потом поясняет: наблюдать за неприятелем, охранять берега.

За океаном, в Северной Америке, лежали русские колонии. Ими владела Российско-Американская компания. Компания находилась под эгидой царского правительства.

Боевые корабли — носители андреевского флага, петрозаводских пушек, олонецких и новгородских парусов — обеспечивали престиж короны и надежность купеческих grossбухов.

«Крейсер» посылали для наблюдения за соперниками — англичанами и североамериканцами. «Крейсер» назначался для крейсирования у мрачных скал и смиренных елей Русской Америки. Путь к ней вел через океаны.

Командирами кругосветных походов избирались люди опытные и твердые. Твердых находили немало, опытных — мало. В числе последних редкий сравнялся бы с Лазаревым. Михаил Петрович уже д в а ж д ы огибал земной шар: на «Суворове», потом на «Мирном», в знаменитой антарктической экспедиции.

Лучшие годы свои Нахимов прослужил с Лазаревым. В самые трагические месяцы жизни, месяцы севастопольской обороны, Нахимов как бы ощущал на себе его испытующий взгляд.

Лазарев, несомненно, был крупной личностью. Дело свое

(военно-морское, навигаторское) изучил он превосходно. В характере Михаила Петровича всего приметнее воля. Привыкнув бороться морские волны, он не уступал и волнам житейским.

Один лишь антарктический поход внес бы его имя, выражаясь высокопарно, в скрижали географической науки. Один лишь Наваринский бой — в скрижали военной истории. Но главным его жизненным подвигом явилось то, чему он отдал долгие годы: созидание Черноморского флота, пестование черноморских моряков. Он учил тех, кто немного времени спустя после его смерти отстаивал Севастополь.

Лазарева Нахимов знал задолго до плавания на «Крейсере», как знали все балтийцы. Знал круглолицым лейтенантом, чьи губы сердечком еще не приняли усталого выражения, а бакенбарды котлетками еще не поседели. То еще не был огрузивший человек, которого Карл Брюллов усадил в кресло пред античной колонной и попросил скрестить руки. Однако, принимая «Крейсер», то уже был знаменитый мореход, произведенный через чин — минуя капитан-лейтенанта — в капитаны 2-го ранга.

Никто не заказывал мне бронзовый бюст свиты его величества генерал-адъютанта Лазарева. Надо, не обинуясь, сказать: Лазарев был жесток. Не суров, как неизменно повторяют его апологеты, а именно жесток. Русский барин, сын сенатора, потомственный крепостник, он окончательно «закалился» волонтером британского флота. Английский матрос считался почти каторжником; английский морской офицер — почти надсмотрщиком. Переняв в эскадрах «владычицы морей» все лучшее, Лазарев перенял и все худшее.

Некоторые черты его нравственной физиономии указал Завалишин. Он служил на «Крейсере». И дважды (много лет спустя) мысленно возвращался на фрегат — в просторном журнальном очерке и в своих «Записках декабриста».

Наверное, многих читателей царапало «ячество» автора. Мемуарист имеет право «якать»; Дмитрий Иринархович, однако, злоупотреблял этим правом. Надо считаться и с отрицательными качествами самого мемуариста. А они были. В сибирской ссылке известный революционер Бакунин выслушал от престарелых декабристов немало нареканий на Д. И. Завалишина: человек желчный, самолюбивый, недобрый... И все же не надо прятать его свидетельства.

Сколь бы желчным самолюбцем ни был Завалишин, он не имел к Лазареву личных претензий. Напротив, Лазарев отзывался о нем с явной симпатией (даже тогда, заметим к чести Лазарева, когда бывший подчиненный обретался в местах «не столь отдаленных»), и Завалишин знал об этом, ему это было приятно, лестно. Ан все ж Дмитрий Иринархович не счел возможным причислить Лазарева к лику святых, хотя и отдал должное способностям и силе воли Михаила Петровича.

Не стану перебирать грехи Лазарева, названные Завалишиным. Но один представляется важным уже потому хотя бы, что Нахимов, как и другие молодые офицеры, смотрел на своего капитана снизу вверх. Так вот, Лазарев, утверждает мемуарист, и его утверждение нетрудно подпереть примерами, Лазарев «был жесток по системе». Не горяч во время корабельных работ (как, скажем, Нахимов), не безотчетно вспылчив, но холодно, расчетливо, убежденно жесток с «нижними чинами».

И сдается, виною тому не только английская флотская вычка; ее ведь отведали и такие отважные русские плователи, как Головнин, Крузенштерн, Лисянский, полной мерой отведали, но остались людьми гуманными, не утратив притом военной взыскательности; нет, виною тому, пожалуй, не только британские палубные нравы, а и душевный склад самого Лазарева.

Остановиться на этом приходится не ради уничтожения крупного флотоводца, а для того, чтобы уяснить условия, «систему», в которых очутились молодые офицеры вкупе с Павлом Нахимовым.

Не пощадив Михаила Петровича, мемуарист не особенно любезен и с его подчиненными. Не амнистировал он и Нахимова, уж на что друг-приятель. В Нахимове раздражало Завалишина слишком, как он находил, рьяное отношение к службе. Нахимов, извольте ли знать, «выказывался» перед Лазаревым. Конечно, можно попросту не расслышать старчески дребезжащий голос мемуариста. Боюсь, однако, не покажется ли сия глухота уловкой панегириста?

Ладно, пусть «желание выказаться». Но перед кем? Перед командиром высоко, искренне чтимом! Перед тем, кто, как и двадцатилетний лейтенант, обожал свое дело, свою профессию! Наконец, давно уж признано: плох-солдат без маршальского жезла в ранце. Иначе: плох воин — рядовой ли, офицер ли — без честолюбия. Правда, честолюбия, не престающего границы порядочности. Худо другое честолюбие — не разбирающее средств. Но тогда это карьеризм.

А Завалишин не только не приводит ни единого случая неблагородства Павла Степановича, но и рассказывает, как Нахимов «не поколебался ни минуты, когда я раз послал его почти на явную смерть спасать матроса». «И заслуга его, — продолжает Завалишин, — тем более явнее, что он повиновался мне, хотя был и старше меня и не был на вахте».

Спокойная храбрость Нахимова сродни скромной неколебимости толстовского капитана Тушина. Именно в ней сердцевина нахимовской природы. А недостаток внешнего лоска, рыжину и сутулость мы, ей-богу, как-нибудь уж извиним Павлу Степановичу.

Заканчивая придиричивый обзор корабельного начальства,

Завалишин не забыл и соплавателей, один из которых был призван заботиться о физическом здравии экипажа, другой — о духовном. Медику Алиману выставлен высший балл: прекрасный врач и образованный натуралист. Зато иеромонах Иларий отделан на все корки: казака с тихого Дона, мнившего себя духовным пастырем, костит Завалишин горчайшим пьяницей и самовлюбленным невеждой.

Отчеты и описания русских кругосветных походов занимают не одну библиотечную полку. Разнясь стилистикой, они сходны обилием наблюдений, сведений, советов. Авторы заботили не писательские лавры, а практическая польза последователей. И не потому ли командиры-«кругосветники» ограничивались лишь краткими и общими похвалами команде или указывали два-три случая выдающегося мужества «нижних чинов»?

Завалишин подробнее прочих рассказывает о рядовых служителях. «Дружна была у нас команда, несмотря на самый разнородный состав ее, так что, взявши даже одних лучших матросов, они принадлежали к трем разным племенам. Лучшими матросами были так называемые архангельские школьники, юнги (морские кантонисты), дети матросов или жителей подгородной архангельской слободы Соломбалы, финляндцы, из живших в Петербургской губернии, и, что особенно замечательно, казанские татары... Никаких крупных ссор, а не то что драк — никогда в команде не было». И далее: рядовые служители без малейшего ропота подчинялись боцману Рахмету, «человеку серьезному, трезвому», «большой веротерпимости».

Ласковым словом поминает мемуарист тех, кто на реях управлялся с парусами, работал тяжелую палубную работу посреди грохота соленых валов. И не тогда ли, не в этом ли долгом, трехлетнем плавании шевельнулась у Нахимова мысль, что матрос императорского флота достоин лучшей участи? Может быть, я тороплюсь?.. Но все ж сдается, что проблеск чего-то похожего шевельнулся в душе Нахимова на борту фрегата «Крейсер».

«Крейсер» был снаряжен превосходно. Фрегат с его техническими усовершенствованиями, щегольской «выправкой», духовой музыкой и песельниками, с добрым запасом продовольствия и обмундирования, — лазаревский фрегат послужил образцом для будущих лазаревских эскадр на Черном море.

Теперь пора в дорогу. На дворе — август. Прелестный балтийский август 1822 года.

Русские кругосветные походы вершились двумя генераль-

ными маршрутами. Первый ложился в западном направлении, то есть вокруг мыса Горн и затем, на возвратном пути из Великого, или Тихого, вокруг мыса Доброй Надежды. Второй — в восточном, то есть вокруг мыса Доброй Надежды и затем вокруг мыса Горн.

«Крейсер» одолел восточный маршрут.

Фрегат имел следующие — разной продолжительности — якорные стоянки:

Копенгаген;
Диль и Портсмут (Англия);
Санта-Крус (о-в Тенериф);
Рио-де-Жанейро;
Деруэнт (о-в Тасмания);
Матаваи (о-в Таити);
Ново-Архангельск (о-в Ситха);
Сан-Франциско;
Рио-де-Жанейро;
Портсмут;
Кронштадт.

Дольше всего фрегат «Крейсер» нес паруса на переходе из Калифорнии в Бразилию — девяносто три дня.

Не думаю, чтобы многим нынешним читателям приглянулись поденные записки старинных мореходов. Мы привыкли к динамичности. А записки эти — неторопливые, обстоятельные. Они валкие, как баркасы. Однако неоспоримое их достоинство — искренность. На одном из отчетов русского «кругосветника» эпитафия гласит: «Моряки пишут худо, зато искренне». Правдивость стоит дорого. Во всяком случае, она искупает стилистические недостатки. Или то, что современный вкус таковыми считает.

Но и нынешний читатель, полагаю, не остался бы равнодушным, попадись ему не типографское изделие, а рукопись, подлинная рукопись моряка-парусника. Бумага, бурые или темные чернила, помарки и вставки, сокращенное или неразборчивое слово — все это одаряет иллюзией непосредственного общения с автором, хотя подчас и затрудняет прочтение.

Нахимов не оставил путевого дневника. По крайней мере, доселе он не обнаружен. Быть может, упорного разыскателя когда-нибудь увенчает успех. А покамест биограф Нахимова вынужден идти, как сказал бы штурман, параллельным курсом, чтобы восстановить картины живого, блещущего, грохочущего или тишайшего мира. Те образы мира, которые вставали перед лейтенантом и с палубы фрегата, и в дни портовых роздыхов. Поможет не только Завалишин. Были и другие современники и знакомцы Павла Степановича, офицеры Балтийского флота, которые ходили вокруг света — одни несколько раньше «Крейсера», другие — чуть позже лазаревского фрегата.

Сухопутные россияне обычно «относили» морские бури в

загадочные и волшебные широты, где обитают какие-нибудь «арапы». Между тем большинство наших плователей выдерживали серьезнейшие испытания отнюдь не в дальних краях. Угроза гибели зачастую наступала в узкой, туманной, коварной полосе меж берегами Франции и Англии.

Так приключилось с предшественниками Нахимова — Лисянским и Крузенштерном, Головинным и Коцебу... Последний, например, писал: «Мысль потерпеть кораблекрушение при первом шаге к весьма удаленной цели жестоко меня терзала». Собственно, и в океане вряд ли кто тонул в охотку, но ведь и впрямь дьявольская жестокость грохнуться за порогом дома.

Нелегкий искуc постиг и фрегат Лазарева.

Поначалу резкое падение барометра, непременный вестник бури, загнало «Крейсер» в Диль. Рейд был бурный. Однако все же рейд. И фрегат, поливаемый холодным осенним дождем, смиренно дожидался милости бога морей.

Дождь. Двинулся в Портсмут. Но едва исчез Диль, как опять заштормило. Потом взялось трепать вовсю. В кают-компании заплясали дубовые стулья. На палубе «плясала» команда, едва управляясь с парусами.

«Были у нас и впоследствии трудные минуты, — вспоминал Завалишин, — у берегов Тасмании и у северо-западного берега Америки, но никогда мы не находились в такой продолжительной опасности, как в Английском канале эти дни 1 и 2 октября: в течение двух суток никто не сходил с вершу». Но, продолжает он, «хорошие качества фрегата замедлили его гибель до наступления более благоприятных обстоятельств: в этом и заключалось наше спасение; но не переменись ветер, гибель все-таки была бы неизбежна. Дело в том, что нас загнало как бы в полукруглую бухту или залив, и ни при одном из возможных направлений курса мы не могли миновать оконечностей бухты, а между тем, лавируя в тесном пространстве, мы, вынужденные часто поворачивать с одного галса (бокового направления) на другой, теряли, как обыкновенно это бывает при буре, и во время самого поворота, и от дрейфа, и все более и более приближались к берегу. Корабль с менее хорошими качествами давно был бы выброшен на берег, наш же фрегат продержался настолько, что, заметив при одном повороте, что ветер начинает меняться, мы немедленно взяли направление на ту оконечность, которую ветер дозволил бы обойти и выбраться на свободное пространство. Мы прошли эту оконечность, что называется, в обрез и затем вошли благополучно в Портсмутский рейд. Утомление всех было крайнее, и потому Лазарев, оставя фрегат на попечение лоцманов для наблюдений за приливом и отливом, дозволил всем лечь спать — вахтенным на палубе, а остальным в каюте, — и мы спали истинно богатырским сном целые сутки, отказавшись

от обеда и ужина и выпивши только по чашке чаю, и то не сходя с койки».

Из Портсмута Нахимов с двумя товарищами ездил в Лондон. Там они прожили несколько дней. Обзаводились навигационными приборами отменной точности: в те времена не казна за них платила, а каждый офицер из своего кармана.

Да, забыл сказать! Дорогою из Портсмута было маленькое забавное происшествие. В дилижансе, кроме офицеров, ехал почтенный англичанин с прехорошенькими дочерьми. Путники наши обменялись (разумеется, по-русски) лестными замечаниями о девицах. А в Лондоне англичанин-папа распротился с офицерами... по-русски. Оказывается, и он, и его наследницы жили в Архангельске. И кстати, прибавили юные мисс со смехом, кстати, в одном доме на каком-то вечере познакомились и вот с этим мистером, и они указали на совсем переконфузившегося лейтенанта Нахимова.

Лондон, хотя и громадный, хотя и на весь свет славный, не восхитил Нахимова. Грязные берега Темзы как сравнишь с невским береговым гранитом? Или эти кривые и тоже грязные улицы с петербургскими проспектами? Вот разве Гиджент-стрит еще могла тягаться с ними.

Нахимов, как и его друзья, с самого начала путешествия взяли за правило не раскошелиться ради заграничных изделий и всяческих приманчивых вещиц, которые мы сейчас назвали бы сувенирами. К чертям! Они будут тратиться лишь на осмотр достопримечательностей. И они тратились: на выставки, музеи, библиотеки. И еще на экскурсии в Гринвич, Виндзор, Оксфорд.

В Гринвиче, кроме знаменитой обсерватории, посетил Нахимов Дом флотских ветеранов. Кто знает, не припомнил ли он тамошнее богатое собрание книг, марин и планов сражений, когда много лет спустя севавтопольцы обзаводились Морской библиотекой? И там же, в Доме ветеранов, ничуть не похожем на унылую Божедомку, наши офицеры разговорились с седыми «волками», служившими под флагом Нельсона.

А перед тем как покинуть Лондон, русские нанесли визит господину Эрроусмиту. Имя этого старого человека, владельца картографического заведения, было известно мореплавателям всех стран. К русским он был особенно внимателен с тех пор, как те начали «кругосветки» и обогащали науку открытиями в южных широтах Тихого океана. Русские капитаны охотно информировали Эрроусмита. А старик тотчас вносил добавления, исправления и уточнения в свои картографические издания. Правда, моряки «Крейсера» еще только пустились в плавание, ничего новенького не сообщили географу, зато «сделали большой запас морских карт и для себя и для экспедиции».

В конце ноября 1822 года Лазарев рапортовал Адмиралтейств-коллегии, что «жестокие западные ветры, дувшие здесь, можно сказать, непрерывно», не позволяли ему вступить под паруса до 28-го числа, но что вот уж теперь-то он оставляет Европу и при этом все офицеры и матросы «пользуются совершенным здоровьем».

«Крейсер» выбежал в океан.

Казалось бы, один вид вдруг распахнувшегося огромного водного пространства — горбатого, хребтистого, ходящего в крупную раскачку, безбрежного,— один вид Атлантики должен был воспламенить самых сдержанных, даже угрюмых (что тогда почиталось у флотских высшим шиком) моряков, должен был разгорячить их кровь и вместе чернила в тяжелых, бронзовых, узкогорлых чернильницах. Кровь-то наверняка разгорячилась, а вот чернила...

В отчетах капитанов-«кругосветников» (по крайности, в тех, что мне довелось листать) нет никаких восторгов по случаю встречи с океаном. А ведь моряки, как и многие люди, живущие, что называется, на природе, отнюдь не лишены чувств возвышенных, а подчас и благоговейных.

Причина, думается, в том, что командиры кораблей писали путевые отчеты, а не путевые очерки. Отчеты адресовались Адмиралтейству, министерству, товарищам-практикам. И очевидно, даже мало-мальская восторженность могла вызвать ироническую ухмылку, убийственную для авторов.

Завалишин писал полвека спустя. Писал для ежемесячного исторического иллюстрированного сборника. А это уж иная статья. Однако и Дмитрий Иринархович почему-то не осветил душевного состояния ни собственного, ни своего «однокаютника» Нахимова, ни кого-либо другого. Правда, Завалишин отметил некую особенность морского странствия — контрастность.

«Впечатление, испытываемое в морском путешествии,— рассказывает он, — представляет значительную разницу с теми, которые испытываются на сухом пути. Тут, как бы ни быстра была езда, даже и по железным дорогам, которых тогда к тому же и не было, как бы ни быстро изменялись виды растительности и вообще местностей — все же замечается некоторая постепенность. Совсем иное бывает на море, особенно при направлении пути по меридиану, к югу ли, к северу ли. Вот мы, например, оставили Англию среди полной зимы и, не видев ни клочка земли, который мог бы служить признаком изменения температуры, вдруг увидели на Тенерифе роскошнейшую растительность, напоминавшую переход от лета к осени в средней России... Ощущения контраста еще более усилились, когда мы, не успев еще бросить якорь, были со всех сторон окружены лодками, нагруженными всевозможными овощами и плодами, не исключая и тропических. Впос-

ледствии мы были в Бразилии, еще более богатой тропическими видами и произведениями, но они не производили того впечатления, контраст не был так поразителен и не представлял уже новизны».

Канарские острова, порт Санта-Крус изо всего «населения» фрегата уже повидали четверо: сам Лазарев, лейтенанты Иван Куприянов и Михаил Анненков, канонир Воробьев — участники богатырской экспедиции к Южному полюсу.

Хочется задержать внимание читателя на матросе (или унтер-офицере?) Воробьеве. Он, по свидетельству Завалишина, «совершал уже т р е т ь е кругосветное плавание». В этом смысле Воробьев сравнялся с самим Лазаревым. Спасибо Завалишину: не часто называют имена вот таких Воробьевых, истинных морских гвардейцев, на которых и зиждилась походная воинская слава наших кораблей. А был он не только великолепным моряком, но еще и одним из тех людей, которых так любят «дальновояжные» команды: «неутомимый рассказчик, отличавшийся неистощимой изобретательностью».

Несколько дней отстаивался фрегат у острова Тенериф. Нахимов не преминул осмотреть испанский городок, побывал в ботаническом саду, совершил восхождение на знаменитый Тенерифский пик.

С моря, на подходах к острову, пик этот открывался чуть не за сотню миль. Как было упустить возможность взглянуть с него на море? Восхождение начали вечером. Утреннюю зарю встретили на большой высоте, хотя и не на вершине горы. Вставало солнце, огромное и чистое. Воздух, свет, простор распирали грудь. В свежем и тихом блеске увидел Нахимов живописную купу Канарских островов. И чудилось — всю Атлантику. В такие минуты нельзя не ощутить пронзительного счастья: великий боже, как хорошо жить!..

Если первая встреча с океаном не вызывала ни романтических вздохов, ни философических рассуждений командиров кругосветных кораблей, то особая тональность звучала в их обстоятельно-строгих, суховатых записках, коль скоро корабельные паруса полнил пассат южных широт Атлантики. Тут уж шероховатые страницы словно бы освещены солнцем, жар которого умерен ветровой прохладой, осиян созвездием Южного Креста. Тут уж из-под скрипучего пера капитанов являются такие полуденные, такие умиротворенные слова о приятном, покойном переходе через экватор и веселом празднике Нептуна, о купаниях за бортом и песельниках, собирающихся вечером на баке, о вахтенных сменах, не знающих тяжкого труда, и вахтенном офицере, который, расхаживая по шканцам, тихонько насвистывает, а то и читает при яркой луне.

Пять недель шел фрегат от Тенерифа до Бразилии. Не трепали его бури, не одуражили штили. Служба служилась лучше не надо, хотя Лазарев не забывал ни о парусных, ни об ар-

тиллерийских учениях. И матросы мечтательно вздыхали: «Вот эдак бы и век плавать! Не в пример лучше берега. А то что за жизнь в казармах?»

Бразилии, кажется, ни один российский «кругосветник» не миновал. Правда, предшественники Лазарева (Крузенштерн и Лисянский, Головнин на «Диане») чинились, сверяли астрономические инструменты, пополняли продовольствие не на матером берегу, а на острове Святой Екатерины. Лазарев, командуя «Суворовым», первым посетил Рио-де-Жанейро — в апреле 1814 года. Он проторил дорогу. За ним — в восемьсот семнадцатом — последовал Головнин на «Камчатке». А уж в восемьсот девятнадцатом набежало пятеро дальних ходоков: «Восток» и «Мирный» (Лазарев, значит, вторично), «Благонмеренный», «Открытие», «Бородино». А за несколько месяцев до отправления «Крейсера» из Кронштадта на рейде Рио отдал якорь корабль «Аполлон»; «Аполлон» следовал в Русскую Америку; в Бразилии борт его оставил скромный штурманский помощник 14-го класса; человека этого давно пора извлечь из забвения, но речь о нем впереди. А покамест надо задрать голову и приложить ладонь к уху — не упустить бы минуту, когда с салингов гаркнут: «Виджу берег!»?

И вот оттуда, как с поднебесья, заблаговестили хрипылыми басами. Но Лазарев хотел увериться: а не приняты ль за землю, как нередко бывало, кучевые облака? И он крикнул в рупор: «Какой вид у берега?» Ему ответили: «Вроде бы сахарная голова!» Ну, прочь сомнения: в счислении ошибки нет, курс проложен точно, пришли, слава те, в Рио.

Вот тут-то, плавно втягиваясь на рейд, тут-то на глазах у сотен людей, облепивших берег, у десятков моряков, облепивших ванты и реи купеческих и военных судов, тут-то команда «Крейсера», вышколенная Лазаревым и его офицерами, разыграла действо высшего мореходного мастерства — уборки парусов и постановки на якорь.

«Утром 23 января¹, — пишет Завалишин, — последовал наш действительно торжественный вход на рейд. Все было устроено так, что не было видно на фрегате ни души живой, на мачтах не было ни одного человека, а высокие борта фрегата не позволяли видеть ни одного человека и на палубе. Уборка парусов могла быть сделана с помощью веревок и блоков снизу; голос командующего заменен был свистками, только слышен был марш, играемый музыкой. Все это, как рассказывали нам после, производило сильное впечатление на зрителей. Двигалось, по-видимому, живое, самоуправляющееся существо».

Между тем командир коронного фрегата испытывал за-

¹ Очевидно, опечатка, ибо в официальном документе указана иная дата: 25 января 1823 года.

труднение не профессиональное, а особого, политического, свойства. Доселе Бразилия принадлежала Португалии. Теперь над крепостной стеной развеялся какой-то «странный флаг — зеленый, а что в середине — рассмотреть нельзя». Потом рассмотрели: желтый ромб, голубой земной шарик... Гм, что за притча? Очевидно, рассуждали на «Крейсере», в сей стране какие-то важные перемены. В таком разе, не имея инструкций, как «мы должны отнестись к ним?». И в свою очередь, как они могут отнестись к нам?

Все сладилось. Император Петр Первый не имел никаких претензий к императору Александру Первому. Петром Первым (может, не без тайной иронии) моряки называли дона Педро, недавно объявившего себя императором Бразилии. Начался обмен любезностями, неизбежный в иностранных портах, но подчас потяготливо-скупчивый.

Осведомляя петербургское начальство о плавании Атлантикой, Лазарев не упустил информировать адмиралов о политических переменах за океаном и состоянии бразильского флота.

Вообще русские офицеры, командиры кораблей, находящихся в отдельном плавании, рапортовали в Адмиралтейство не только «по своей линии», не только по морской части. Удаленность краев, ими посещаемых, отсутствие быстрых способов связи, наконец, сознание государственной значимости командира, несущего флаг родины, заставляло моряков глядеть на вещи широко и зорко.

Документы, некогда писанные в корабельных каютах, отчеты наших «кругосветников» до сих пор сохранили ценность исторических источников. Ими пользуются исследователи русско-американских связей, антиколониальной борьбы в Южной Америке и т.п.

В Рио, возле островка с несимпатичным названием Крысий, экипаж фрегата взялся за работы нелегкие, но необходимые. Сколь бы крепким «здоровьем» ни обладал деревянный парусный пахарь морей, длительный океанский переход, даже при улыбочивой погоде, не обходится дешево. Надо и конопатить, и красить, надо и рангоут менять кое-где, и паруса латать, наново ставить некоторые гаки и блоки, а то, глядишь, и вовсе серьезная замена потребна.

На всяком парусном русском корабле каждый матрос был не только марсофлотом, но и мастеровым — плотником, маляром, смолокуром, кузнецом, бондарем, и вот, остановившись в роскошном Рио-де-Жанейро, «нижние чины» брались за инструмент, превращая корабль в плавучую мастерскую и быстро устанавливая на нем совсем иной, не походный, а как бы фабричный распорядок и порядок.

За дело принимались спозаранку, как косари. К полудню затихали: январский солнцепек, по-здешнему летний, смари-

вал и двужилых. Шум работ стихал. Народ примащивался кто где, кто как, лишь бы тень, и пускал во все носовые за-вертки. Едва зной спадал, работы возобновлялись.

Делу, говорят, время, а потехе час: Лазарев разрешал увольнения на берег. Офицерам, понятно, длительные; матросам, понятно, краткие.

Завалишин описал и прием в императорском дворце, и плантации в предместьях города, и буйство тропических чащоб, и острый азарт охоты на ягуара... Читая все это, я нетерпеливо отыскивал фамилию Рубцова. Как так, думал, ужели Завалишин со своим неизменным спутником в береговых прогулках Нахимовым, ужель они не повстречали Нестора Гавриловича? Наконец, вижу: «В назначенный час консул прислал для сопровождения нас находившегося у него для наблюдений штурмана».

И только-то? Одна корявая фраза? Увы, и только. А вослед Завалишину ни биографы Лазарева, ни биографы Нахимова не потщились «расшифровать», что за штурман оказался в Бразилии, что за флотский повез офицеров «Крейсера» на загородную виллу русского консула Г. И. Лангсдорфа?

А был это тот самый человек, который сошел на бразильский берег с борта корабля «Аполлон». И можно побиться об заклад, что офицеры, Нахимов в их числе, по дороге на консульскую виллу слушали Нестора Гавриловича притаив дыхание.

Тощее, в четырнадцать листов, архивное дело обозначает его жизненные вехи. Уроженец Петербурга, Рубцов начал службу мальчишкой, одновременно с Нахимовым. Но учился-то не в корпусе, а в штурманском училище, и, стало быть, по тогдашним понятиям, был он в сравнении с корпусными питомцами черной костью. В январе восемнадцатого Нахимова произвели в унтер-офицеры, а Рубцова в мае в штурманские помощники унтер-офицерского чина. И оба поначалу обретались в Маркизовой луже близ Кронштадта и Петербурга. Ничего удивительного не было бы, окажись они в знакомстве, хотя бы шапочном.

Нестор Рубцов, может, еще годы и годы маялся бы брандвахтенной тоской или якорной стоянкой у питерского Каменного острова, если бы... Если бы совсем ему неведомый консул в понаслышке ведомой Рубцову Бразилии не замыслил научную экспедицию. А для того потребовался Григорию Ивановичу Лангсдорфу, бывшему натуралисту первого русского плавания вокруг света, опытный картограф, аккуратный геодезист, неутомимый работник. Головнин, тогда уже прославленный мореход и писатель, рекомендовал Рубцова. А уж ежели Василий Михайлович протезировал, промашки быть не могло.

И вот Рубцов, чин малый, да ум, видать, немалый, явля-

ется на шлюп «Аполлон». Является, как сказано в архивном формуляре, «для отвоза в Рио-Жанейро, к статскому советнику Лангсдорфу, для сопутствования ему по Южной Америке». И «отвезли» Нестора Гавриловича на другой край света.

В те дни, когда Нахимов видел Рубцова, последний только-только завершил тяжелую трехмесячную экспедицию в джунгли, где ни один русский до него не бывал, а из европейцев если кто и бывал, так разве португальская сволочь — охотники за индейцами. Вернувшись из чащоб, Нестор Гаврилович засел за камеральную обработку полевых материалов. То было началом. В последующие годы он много, претерпевая тяготы и лишения, странствовал во глубине огромной южноамериканской страны. И если Г. И. Лангсдорфа по праву считают выдающимся исследователем Бразилии, то штурману русского флота Рубцову следовало бы разделить эту честь с ученым и дипломатом¹.

Рассказывая об удивительном чувстве контрастности, рождаемом морскими путешествиями, Завалишин как бы мимоходом обронил, что в Бразилии внимание матросов было пристально обращено не на красоты природы, а на положение негров. К сожалению, рассказывая о Рио-де-Жанейро, мемуарист ничего не сообщил, как же «нижние чины», вчерашние крепостные мужики, отнеслись к положению черных невольников. Чертовски жаль! Свидетельств — негодующих, разящих рабство — сохранилось не так уж и мало. Да только все они офицерские.

Что ж до самого Дмитрия Иринарховича, то он оставил зарисовку, в общем-то, схожую с теми, которые делали и другие русские «кругосветники», наделенные хоть толикой свободомыслия.

Главная язва Бразилии, писал Завалишин, «невольничество» напоминало о себе постоянно не одним отвлеченным знанием существования его, а наглядным образом, в самом отвратительном виде. Не говорим уже о невольничьем рынке, посещение которого произвело на нас самое тяжелое впечатление при виде осмотра людей как скотов и клеймения их раскаленным железом, «тавром» покупателя. Это впечатление так живо выразилось на наших лицах, что возбудило злобные взгляды и продавцов и покупателей на нас, непрошенных свидетелей. На самой дворцовой площади, которую нам необходимо было переходить, сойдя с пристани, куда бы мы ни шли,

¹ Н. Г. Рубцов выехал из Бразилии в 1829 году. На датском купеческом судне добрался до Гамбурга, на любекском — до родного Петербурга.

Долгие десятилетия Рубцов занимал скромные должности в гидрографическом департаменте морского министерства и вышел в отставку полковником. Век свой он дожил вдовым и бездетным на берегах Невы, в «собственном, благоприобретенном» деревянном домишке.

мы ежеминутно видели обнаженных до пояса, клейменных негров и негритянок, приходивших за водой из находящегося на площади фонтана. Еще тяжело было видеть целые ряды скованных арестантов, приходивших за тем же; у многих заметили мы еще ту особенность, что на них были жестяные маски...»

Ремонты взяли на «Крейсере» ровно месяц. Тем временем корабль принял «свежие жизненные потребности». И тогда же, в Рио-де-Жанейро, Лазарев решил не огибать мыс Горн, а следовать в Тихий океан через Индийский, мимо берегов Австралии. Этот вариант избрал командир, потому что у мыса Горн уже бушевали февральские штормы.

О переходе из Рио-де-Жанейро к острову Тасмания сохранился рапорт командира фрегата. Лапидарность документа изумляет. Краткость — сестра таланта? В таком случае у Лазарева была редкостная «сестрица». Изъясняясь кратко, ибо жизнь коротка? В таком случае Лазарев полагал, что жизнь коротка как рында-булинь, тросик судового колокола. Донесение Михаила Петровича в Адмиралтейств-коллегию — на двух листах. А плавание Индийским океаном длилось чуть ли не три месяца. И какое плавание!

Голубизна и лазурь чистых вод Индийского океана, противореча психологическим ассоциациям, способна на черную ярость. В Индийском океане Нахимов, как никогда прежде, полной мерой, полной «выкладкой» познал грубую, холодную заскорузлую работу моряка, круто присоленную, рвущую жилы. Ничего не было, кроме штормовых вахт, неразогретой пищи, непросыхающей одежды. В каюту просачивалась едкая, предательская вода. Лишь одно сухонькое местечко осталось — кожаный диван в кают-компани; на нем мог прикорнуть тот, кто вступал на ночное дежурство.

Были буря, дождь, град, снег. Бесконечная череда дней и ночей. Слитных, почти неразличимых, навалившихся оглушительной, лохматой глыбой. И в этой череде выдался час особенно страшный, грянул, как последняя труба. Кто-то крикнул отчаянно: рушится топ. Рушилась верхушка грот-мачты. Надо было укрепить ее чего бы это ни стоило. Крепить тотчас, сию ж секунду. Без рупора, без командира, не дожидаясь приказа — все офицеры бросились к ревущему небу, во мглу и вихрь, на помощь матросам. И Нахимов тоже. То был ослепительный миг. Не карабкались — взлетали, срывая кожу ладоней, не чувствуя, как из-под ногтей брызжет кровь...

А в последние семнадцать суток, что оставались до берега, и вовсе не было ни проблеска, ни минутной затишки. И не было подвахтенных, отдыхающих: всю команду то и дело требовали наверх, на палубу — в клетот, гром, пену, шипенье, в эту дикую одурь Индийского океана.

И наконец, завершающее испытание: приход в порт.

Радости встречи с землей, с твердью, радости, ведомой лишь мореплавателям (а в наши времена — и воздухоплавателям), всегда предшествует острое напряжение: ошибочность навигационных расчетов может оказаться роковой.

Бурливая погодливость, скрытность солнца и созвездий не позволили офицерам и штурманам «Крейсера» проверять счисление пути астрономическими способами. И теперь, ожидая берега, все старались скрывать тревогу. При таком ветре даже отчаянный спорщик поостерегся бы поставить хоть голландский червонец на то, что счастливо проскочит пролив, ведущий в порт Деруэнт. Э, что там пролив! Тут, глядишь, вполне возможен самоубийственный бросок головой вперед на скалы острова Тасмания¹.

В семнадцатый день мая 1823 года фрегат приблизился к Тасмании. Наступил критический момент. В рапорте Лазарева упомянуто о нем с железным спокойствием: ветер, мол, все свежел, ртуть в барометре все падала, и это заставило поскорее укрыться в порту.

А вот что рассказывает Завалишин: «Лазарев решил... Мы стремительно полетели к берегу, а может быть, пожалуй, и на самый берег! Ужасные минуты тревоги и ожидания! Вдруг с форсалинга матрос закричал: «Вижу немного влево что-то похожее на небольшой островок, как бы высокую скалу!» В одно мгновение все зрительные трубы обратились по указанному направлению, и все увидели в неясных очертаниях, сквозь туман действительно небольшой, но высокий островок. «Это Мюстон, — вскрикнул Лазарев. — Ну, слава богу! Теперь мы пойдем наверняка. Михайло Дмитрич (Анненков), Иван Антоныч (Куприянов), посмотрите хорошенько: помнится, мы видели этот островок, идучи здесь же на шлюпе «Мирный».

Сейчас исправили несколько курс, и 17 мая в 4 часа по полудни мы бросили якорь в канале или проливе Д'Антрекасто... Действительно, усмотрение Мюстона случилось весьма кстати, потому что хотя счисление оказалось более верным, нежели можно было ожидать, что и доказали знание и внимательность офицеров, но при узкости входа в канал малейшая ошибка была губельна, чему мы и увидели вскоре доказательство. Когда мы подошли к самому уже входу, нагнавший нас порыв шторма вдруг разорвал висевшую над берегом пелену тумана и облаков и открыл нам вход, а на левом берегу его разбитый трехмачтовый ост-индский корабль. У всех, конечно, при виде этого мелькнуло в мысли, что и нам грозила такая же участь».

¹ На старых картах и в старых отчетах — Вандименова Земля.

Итак, из Бразилии, недавней португальской колонии, корабль перенес Нахимов в колонию английскую. Если в Рио Нахимов видел рынок невольников, то на другой стороне гавани он видел теперь Хобарт, «город-тюрьму», по меткому определению Якова Света, автора монографии об исследованиях Австралии и Океании.

Первыми поселенцами явились на Тасманию отпетые ребята из тюрем доброй старой Англии. Их разместили в нескольких местностях; Хобарт был центром. Отбыв срок, каторжные оставались на острове. А в ту пору, когда туда пришел русский фрегат, на Тасманию устремились и вольные колонисты. В истории острова открывалась страница, залитая кровью: англичане с бульдожьим упорством принялись истреблять коренных тасманийцев. Тех самых, пишет Яков Свет, о которых Кук говорил, как о людях сердечных, веселых и доверчивых.

Сердечными, доверчивыми, сметливыми, работающими были и островитяне другого океана. Этих еще не успели извести физически, но уже изводили нравственно, отнимали радость жизни — миссионеры, служители культа, те, что «во имя отца и сына...» покинули Европу.

На Таити, в Тихом океане, Нахимов улыбочиво наблюдал, как стройные, мускулистые «дикари» в охотку и ловко пособляли матросам полнить фрегатский запас пресной воды, везли бочонок за бочонком, как исполняли они такелажные работы, не столь уж и простые, как взбирались на мачты и реи не плоше любого марсофлота.

Третий океан, самый гигантский из всех на нашей планете, где воды больше, чем суши, третий океан — Великий, или Тихий, — довершал географическое образование Нахимова, довершал, так сказать, и высшее морское. Не книжно, а наглядно, не заочно, но очно. Лучше ведь раз увидеть, нежели десять — прочесть. И он уж мог не по чужим приметам, а личным опытом сравнивать тропические широты, атлантические и тихоокеанские. И конечно, нет-нет да и вздыхал мечтательно, вспоминая Атлантику: ровный пассат, умеренная, приятная жара, серебряный, полированный диск луны. А здесь, в Тихом? Теперь уж и бурю помянешь не бранью, потому что, ей-богу, нет ничего несноснее этих проклятущих штилей, этой злой чародейной сонливости, когда будто все на свете замерло, остановилось. И одна лишь крупная, гладкая, плавная зыбь. А фрегат будто околдован штилем. Только вздыхает на зыби, только вздыхает, недвижимый, как привязанный, посреди огромного, блистающего синего круга.

17 августа 1823 года был юбилей — сравнялся год, как фрегат был в походе. Что бы Нахимов узнал, увидел, понял, накопил за год, останься он у Невского бара, плавай от Толбу-

хина до Красной Горки? Нет, поистине счастливейший из смертных! А впереди-то еще сколь? Год в походе, а разве что треть пройдена. И теперь вот держит «Крейсер» к предназначенному острову Ситха. Там поселение — Ново-Архангельск. Громко именуют его столицей Русской Америки.

Чуть поболее двух недель минуло, когда в мирном предвечерье открылся скалистый и лесистый остров. Один из многих у островитого северо-западного побережья Северной Америки. Опасаясь рифов, Лазарев лег в дрейф: утро вечера мудренее.

А в Ново-Архангельске никто не ложился. Переполошилось начальство: давно уж ждали подвоха от американцев или англичан, жили с опаской, сторожко, начеку. А тут вдруг — что такое? Корабль возник, как призрак. Что за корабль? Чей, откуда? Большой корабль, фрегат, должно, и пушек на нем никак не меньше четырех десятков. А на Ситхинском рейде — шлюп «Аполлон». Степан Хрущов командир не робкий, да и то сказать — куда ему против фрегата?! В Ново-Архангельске кое-какое оружие есть. Хорошо, ладно. А только, если по чести, не отбиться, никак не отбиться.

Но еще дотемна Лазарев успокоил столицу Русской Америки: прислал письменное уведомление — кто он, зачем явился. Хоть и год минул, как фрегат выбрал якорь в Кронштадте, а почта из Санкт-Петербурга не достигла Ново-Архангельска, и правитель колоний Муравьев слыхом не слыхивал, что послан ему защитником от чужеземных нахальных посягательств военный фрегат. Да еще под командой самого Михаила Петровича Лазарева.

На радостях долго гомонил Ново-Архангельск, уснул едва ль не к рассвету. А ровно в восемь салютный выстрел «Крейсера» взметнул над Ново-Архангельском испуганную черную тучу воронья. И вся береговая «публика» — чиновники Российско-Американской компании, мастеровые с верфи, добытчики пушнины и рыбаки, индейцы племени колошей, женщины, дети — устремилась к берегу... Событие! Корабль пришел не то чтобы из Охотска или Петропавловска, нет — «из самой России»!

Коль скоро фрегату надлежало охранять и Ситху, и окрестные воды, и, может, воды дальние от чужеземных посягательств, лазаревской команде следовало озаботиться многим.

Ситха была весьма выгодным местом для рыболовства и добычи высокоценной выдры, но совсем не годилась для сельского хозяйства. Дождливый климат, вечная влажность, липкая или каменистая почва, слабый лес, валившийся под ветром, даже ягоды не ягоды, а словно бы водяные пузырьки, обтянутые кисленькой кожей. Разве что малина удавалась тут славная. Гордились кое-где огородишки. Рыбы, правда,

хватало. Да ведь как без хлеба? А хлеб не родила Ситха, жили здесь зерном калифорнийским.

Не кейф, не отдых ждал на Ситхе команду фрегата, и без того истомленную годовым плаванием, особенно последним этапом, а ждала ее, как говорит Завалишин, «бездна работы». И матросы принялись за дело с тем двужилым молчаливым упорством, с той покорностью обстоятельствам и здравым смыслом, какие были присущи этим кронштадтским «казенным» людям.

Стали они опоражнять поместительные, битком набитые трюмы — работали как грузчики. Расчищая места для будущих огородов, рвали динамитом скалы, как саперы. Удобряя скудную землю, таскали рыбу труху и сельдяную икру — «устраивали» землицу, будто вернулись в свои давно отошедшие, крестьянские годы.

Но все это было впрок. А чем кормить почти двести ртов в зимнюю пору? Тем паче, что в Калифорнии выдался худой урожай. Да и в зимние-то месяцы велик ли прок от «Крейсера» — чего тут охранять, ни один контрабандист до лета не сунется.

Правитель Русской Америки, сам моряк, и моряк бывалый, Матвей Муравьев полагал так: лучше всего его высокоблагородию Михайле Петровичу Лазареву отправиться в «благорастворенный» климат Калифорнии. Командир фрегата нашел это резонным, и корабль вскоре снялся с якоря.

Так Нахимову и его товарищам удалось увидеть Сан-Франциско, хотя тогдашний Фриско был не чем иным, как испанским захолустьем с квелой крепостицей и монастырскими плантациями, на которых во славу господ бога лили пот крещеные индейцы.

Два с половиной месяца моряки занимались совсем несвойственным им делом — коммерцией: «...по причине неурожая в тот год во всей Калифорнии, — докладывал Лазарев морскому начальству, — принуждены были скупать пшеницу по мелочам у обывателей и солдат».

С грехом пополам раздобывшись необходимым пропитанием, пустились восвояси, в Ситху. Шли несколько недель, тяжело шли, сквозь бури. Добрались до Ново-Архангельска, как и обещали Муравьеву, в марте 1824 года. Промысел уже начался, компанейские суда разлетелись, а фрегат занял пост на Ситхинском туманном рейде.

Пост был муторным. Сиротская Ситха не тянула Нахимова на дальние прогулки, как, скажем, окрестности Рио или ботаническая роскошь Гаити. А делать нечего отстояли на посту до прихода смены.

Сменщиком явился военный шлюп «Предприятие». Его провел через три океана капитан Коцебу. Отто Евстафьевич, как и Лазарев, совершал третью «кругосветку».

Теперь «Крейсер» мог собираться домой, в Кронштадт. Далекий бег — к мысу Горн, потом, заглянув в Рио-де-Жанейро, опять наискось через Атлантику. Далеконько, что и говорить! Однако Нахимов загодя радовался встрече с мысом Горн: какой же ты доподлинный моряк, если не обогнул хоть разок в жизни этот дьявольский, мрачный, тоскливый мыс, скалы которого сокрушили столько кораблей и загубили столько скитальцев?

А напоследок, на росстани, собрались все — и с фрегата и со шлюпа — в доме правителя Русской Америки капитан-лейтенанта Муравьева. Столько сошлось офицеров, большей частью молодых, лейтенантов да мичманов, что, право, как в Кронштадтском флотском «клубе».

Собрались, расселись за длинным столом. Народ знакомый, многие в тесной дружбе, многие однокашники, у каждого кличка, присмолившаяся еще в корпусе. А главное — в каждом уже особая, хоть и потаенная, статья: он «кругосветник», «дальневосточный», знающий, что почем под небом всех широт.

Чарки они не чураются. Ром или водочка, малага или ренское — без задержки идут, никто не поперхнется. Все громче голоса, все звонче смех. Твердеют скулы, глаза блестят. И вот уж кто-то тронул в перебор гитарные струны. Грянем, что ли, братцы, «В темном лесе»? Иль, может, «Лодку», песню о волжских разбойничках?

Гуляют моряки. Кто их попрекнет? Какой ханжа?

А над Ситхой гудел океанский ветер. Не много минуло дней, загудел он, присвистывая, в вантах фрегата «Крейсер». Тысячи еще миль до Балтики, до Толбухина маяка, до фортов Кронштадта. Ну что ж, труби, тритон! Как это говаривали кадетами: жизнь — копейка, голова — ничего...

С морской точки зрения, с профессиональной, поход «Крейсера» свершился блистательно. А вот с другой точки зрения... Ну хоть, так сказать, дисциплинарной омрачился двумя происшествиями. Экипаж взбунтовался. Впервые в Деруэнте, на Тасмании, в другой раз в Ново-Архангельске, на Ситхе. Причиной тому был Кадьян, старший офицер фрегата — держиморда, скотина, ругатель, кровопийца. Матросы его ненавидели, офицеры чуждались. В Ситхе матросы потребовали, чтоб Кадьяна убрали.

Обе мятежные вспышки удалось погасить. Одну — уговорами, а другую — уступкой: Кадьяна убрали. Самолюбие терзало Лазарева. Как бы там ни было, а старший офицер подчинялся ему, командиру. Как бы там ни было, старший офицер был исполнителем его воли. Пусть исполнителем-садилом, но все же...

Завалишин спрашивает: «Но что же ему оставалось делать?» Он сделал вот что: убрав Кадьяна, утаил от министерства чрезвычайное происшествие. И вовсе не затем, чтобы из-

бавить матросов от возмездия. Нет, чтоб самого себя избавить от начальственных нареканий¹.

Но как же отнесся к корабельным «неприятностям» лейтенант Нахимов? В частном письме из Сан-Франциско он донельзя лапидарен: «У нас большие перемены: Иван Иванович идет на «Ладоге»². И — молчок.

В том же письме Нахимов не упоминает еще и о том, о чем редкий не упомянул бы. Да еще в письме к приятелю-моряку. Да еще уж после того, как Лазарев официально рапортовал министру, что Нахимов добровольно жертвовал собою при спасении канонира Давыда Егорова. Нет, опять молчок! И это уж умолчание иного рода: скромность, присущая Нахимову всю жизнь.

А вообще письмо, адресованное Михаилу Рейнеке, поражает отсутствием эмоций. Полсвета Нахимов обошел, гостил в Лондоне и на Тенерифе, ездил в окрестности Рио, видел невольничий рынок и арестантов в жестяных масках — словом, нагляделся, а в письме: «Сделаю тебе маленькую выписку, когда и куда мы заходили...» И точно, лишь выписка! Как экстракт из бесстрастного шканечного журнала.

И все же письмо от 2 января 1824 года, письмо молодого лейтенанта, бросает внезапный и, если позволите, объяснительный свет на всю — нам досадную — скудность эпистолярного наследия Нахимова. Он говорит: «Кто сильно чувствует, тот не теряет слов». Не чурался ль Нахимов «слов»? К тому ж кажется весьма уместным отметить и некий психологический штрих, свойственный многим палубным людям, многим из тех, кто зачастую погружен в созерцание океана, звездного неба, бесконечности пространства и вечного движения, — психологический штрих, наблюденный сослуживцем и почти ровесником Павла Степановича, будущим декабристом Михаилом Бестужевым: «Моряки вообще более других замыкаются в самих себя...»

Океаны, как и следовало ожидать, дали матросам и офицерам фрегата выучку громадную и разнообразную. И конечно, им выпало высокое счастье увидеть мир. Счастье, не каждому доступное поныне, но каждому поныне желанное.

«Кругосветка» сделала Нахимова кавалером: лейтенант заслужил первый орден — орден Владимира 4-й степени, девиз которого: «Польза, честь и слава». Орден, понятно, украшает

¹ Впрочем, И. И. Кадьян продолжал не только служить, но и подниматься по служебному трапу. Несколько лет спустя, уже капитан-лейтенантом, он командовал бригам «Усердие» и «усердствовал» так же, как и на лазаревском фрегате. И опять вызвал «открытое неповиновение» экипажа. Тогда уж Адмиралтейство не могло выдумать ничего лучшего, как назначить мордохлыста историографом эскадры.

² «Ладога» — шлюп, совершавший кругосветное плавание вместе с «Крейсером».

военного, как шрам. Но сверх того вышло еще и прибавочное жалованье.

А самое основное резюмирует все тот же Завалишин: «Герой Синопа и Севастополя, Павел Степанович Нахимов, настоящее свое морское образование» получил именно на фрегате «Крейсер».

5

Не знаю, ударил ли мороз с солнцем пополам или выдались слепенькие снежистые деньки. Но при любой погоде возок летел по тракту не так шибко, как хотелось бы свежему кавалеру ордена Владимира. Лейтенант нетерпеливо предвкушал отдых в отчем доме. И еще, думаю, бродила в нем гордость, какую не избыть скромнейшему из скромных после долгого, штормового и шквалистого хождения за три океана.

Завершив «кругосветку», Нахимов получил четырехмесячный отпуск. Или, как тогда говаривали, абшид. Дата увольнения — клад для романиста. Романист был бы вправе изобразить Нахимова на улицах Санкт-Петербурга в знаменательный день, известный ныне любому школьнику.

Дело вот в чем. Павел Степанович числился в отпуске с 13 декабря 1825 года. Естественно, он не мешкал в Кронштадте, поспешая домой к рождеству. А география путей сообщений не позволила бы ему оставить в стороне столицу. И стало быть, лейтенант вполне мог быть очевидцем «происшествия 14 декабря».

Но и беллетрист, верный правде исторической и правде психологической, поостерегся б «послать» своего героя в ряды восставших. Это, однако, не означает, что впоследствии Нахимов не испытал в глубине души чувства сострадания к бывшим товарищам. Такое же, какое испытал Лазарев к Завалишину: жаль, мол, Дмитрия Иринарховича, пылкая головушка...

Впрочем, долой догадки. Суров обет биографа-документалиста. И потому, минуя столицу, надо трястись вслед за отпусником в Смоленскую губернию, в деревню Городок.

Век с четвертью спустя поехал на Смоленщину историк В. Д. Поликарпов. О своих блужданиях по старым справочникам и картам, о том, как он добрался до Городка и как наконец в точности определил положение нахимовского гнезда, рассказал историк увлекательно, подробно. Оказывается, многое было перевернуто; даже местом рождения Павла Степановича называли не Городок, а недалекий от него Волочек. Архивные разыскания и опросы старожилов позволили исправить путаницу. А это ведь не столь уж маловажно, когда речь идете национальном герое.

Видел историк и большак на Вязьму, по которому катил Нахимов, и «красные ворота», единственное, что уцелело от

усадыбы, «красные ворота», где отец с матерью встречали сына. И еще видел окрестные леса. Смешанные смоленские, вяземские леса. Вот такие шумели над мальчиком, чья жизнь протекла вдаль от них. Но, быть может, иной раз сквозь немолчный гул моря слышался ему лесной шелест?..

Деревенское уединение Нахимова ничем не нарушалось. Он был во глубине России, когда другие уже были обречены глубине сибирских руд.

14 декабря 1825 года в Петербурге произошло восстание декабристов. Курилась поземка. У смутной громады недостроенного Исаакия остался «сфинкс» — народ. Над Медным всадником просвистала картечь. Дантовские своды Петропавловки застонали от кляцанья засовов. Сенатская площадь лежала пустынной, ледяной. На Неве чернели проруби; в проруби спустили трупы. Зимний дворец блестел огнями. В Зимнем торжествовал Николай, брат «почившего в базе» императора Александра.

Не счесть отзвуков декабрьского восстания. В тех отзвуках не счесть тонов, полутонов. Явственно различимы голоса дворян и разночинцев, военных и штатских... Но тщетно напрягать слух: Нахимова не слышно.

На исходе января 1826 года отпускной лейтенант получает письмо «любезного друга Миши». Рейнке сообщает, что Нахимова прочат в гвардейский флотский экипаж.

Гвардейцы квартировали в столице. Служить там было лестно. Нахимов, однако, досадливо морщится: «Ты знал всегда мои мысли и поэтому можешь судить, как это для меня неприятно». И ниже — решительное: «На этой же почте пишу к брату Платону Степановичу¹ и прошу его употребить все средства перевести меня в Архангельск или куда-нибудь, только не в гвардейский экипаж».

Что ж это за мысли, которые ведомы «любезному другу Мише»? Несомненно, о неприязни к «гвардейщине». Офицерство зарилось на придворную патоку. Нахимову она претила.

После «происшествия 14 декабря» Нахимов мог сторониться гвардейского экипажа еще по одной причине. Экипаж со своими офицерами, со знаменем и оружием под барабанный бой явился на Сенатскую площадь. Над моряками-декабристами готовился суд. Стало быть, Нахимова прочили на место павших товарищей. И не ощутил ли он неловкость, неприличие подобного «замещения»? Впрочем, это всего лишь предположение, не больше.

Казарм на Екатерингофском проспекте Павел Степанович

¹ Старший брат Нахимова тоже служил на флоте. В 1834 году вышел в отставку и поступил инспектором в Московский университет. Платон Степанович пользовался общей любовью студентов, о нем благодарно вспоминал Герцен.

избежал. Очевидно, стараний старшего брата вкупе с ходатайством Лазарева достало на то, чтобы в Адмиралтействе, пожалв плечами, согласились послать лейтенанта на Белое море.

Еще до «кругосветки» Нахимову случалось бывать в Архангельске. Ехал он вскоре после путешествия на Север царя Александра. Тракт тогда хорошо обновили. А теперь вот время и гоньба опять искалечили. Нахимов чертыхался. Ан наконец, и деревня Варавинская. Здравствуй, матушка! Отсель уж до города несколько верст. Правда, и они оказались не шоссе... В архиве как-то видел я ведомость тогдашнего архангельского губернского землемера. Про те версты в ведомости сказано: «По тундристому и болотному грунту настлана фашина и засыпана мусором и песком».

Нахимов подъезжал к Архангельску. По мне, Архангельск — славный город. Без сутолоки, без шипающих в нос пряных запахов и томительной пестроты южных портов, он словно мерцает спокойной мудростью мореходства. На Двине, огромной, работающей, проникаешься старинной радостью, с какой люди располагались у рек. И потом — эта близость великих лесов, как близость великой тайны, не пугающей, нет, приманчивой, зовущей, суровой, но и благодатной.

Во времена Нахимова корабельщина теснилась в архангельском пригороде, на островной Соломбале; там и поныне, напрочь позабыв все иные монаршие визиты, любят при случае вспомнить Петра Первого.

Соломбалу лейтенант видел уже застроенной вплоть до топкого бережка речки Маймаксы. Презрев геометрию, разметались «обывательские кварталы» с их нумерованными, как в Питере на Васильевском острове, улицами, а где и с поименованными нехитро, как в любом провинциальном пункте, — Хапова или Захаваева, Задний порядок или Маслухина... Строения были почти все деревянные, избяные, по-северному кряжистые, добротные, а кирпичных было наперечет, все — для государственной надобности, вроде казначейства с архивом.

Совсем еще недавно возникли большие, просторные казармы. Казармы были куда как хороши: архитектор — ничто не ново под луною! — отверг колонны, эту «излишнюю роскошь, отнимающую притом и много света от покоев».

Соломбальские верфи каждогодно спускали на воду военные суда. Лишь малые из них и в малом числе доставались Беломорью: львиную долю забирала Балтика. В первую четверть XIX века эллинги у Двины нарожали почти сотню линейных кораблей, фрегатов, транспортов, бригов... Корабли эти строил русский север: мачтовый лес давали вологжане и архангелогородцы, железо — уральцы; листовую медь, цепи, краски, парусину везли из Питера. Корабли эти строили северные мужчины: плотники и мачт-макеры, парусники, кузнецы, конопатчики, маляры.

Вот здесь-то, в Архангельске, строились и будущие герои Наваринского сражения: 74-пушечный «Азов» и 74-пушечный «Иезекииль». Когда их закончат постройкой, пойдут они в Кронштадт. Их поведет Михаил Петрович Лазарев. Он уже в Соломбале. Лейтенант Нахимов имеет честь представиться своему старому командиру-«кругосветнику».

Но пока не Лазарев вершит всем делом. И уж конечно, не Павел Нахимов. Всем делом вершит бывший казанский разночинец и бывший «мачтовый ученик» Василий Артемьевич Ершов. Ему уж пятьдесят, этому умнице, этому самоучке капитану Ершову. Он много потрудился и в столице, и близ столицы. В Архангельске Ершов новосел, приехал в двадцать шестом. И «Азов» с «Иезекиилем» — его архангельский дебют. Наперед скажем: блистательный. Даже сэр Эдуард Кодрингтон и другие британцы ахнут, даже император Николай улыбнется Ершову: «За все тебе спасибо».

Экипаж не сидит сложа руки, дожидаясь у моря корабля. Матросы, офицеры, сам Лазарев с рассвета до заката пропадают на верфях.

Оправдываясь перед «любезным другом Михайлой Францевичем» Рейнеке за свое архангельское молчание, Нахимов впоследствии писал: «Скажу ль, что с пяти часов утра до девяти вечера бывал на работе, после которой должен был идти отдать отчет обо всем капитану, откуда возвращался не раньше одиннадцати часов, часто кидался в платье на постель и просыпал до следующего утра. Таким образом протекал почти каждый день, не выключая и праздников...»

И, словно устыдившись, открывает еще одну причину, сам же называя ее главной: оказывается, едва выдастся свободная минутка, как она посвящалась... Первый раз — и в последний! — перо Нахимова выводит слово: «любовь». Кто о н а? Нахимов притаивает дыхание: «Едва смею выговорить...» И не выговаривает, конфузливо отмахивается: «Но кто из нас не был молод? Кто не делал дурачеств? Дай бог, чтобы дурачество такого рода было со мною последнее».

Хотя автор письма и уверяет, что только недостача времени помешала ему пойти под венец (будь, дескать, больше времени, «тогда прощай, твой бедный Павел»), но сильное, настоящее чувство выкроило бы время вопреки десятерым Лазаревым. Стало быть, не было настоящего чувства, а было, как говорят, увлечение? Но, может, «бедного Павла» постигла неудача? Может, сутоловатого рыжего лейтенанта не сочли выгодной партией? Кто знает, не скрывают ли летние дни и белые ночи Архангельска любовную драму Нахимова?

Один из лучших биографов флотоводца говорит, что Павел Степанович так был предан делу, что попросту забыл влюбиться и забыл жениться. Гм, «забыл»... Как-то не тянет на согласие с академиком Тарле. Не прошло и нескольких лет, и Нахимов,

получив известие о брачных намерениях Рейнеке, вздыхает: да, одиночество страшит. В Севастополе, еще до обороны, нигде он так охотно не коротал холостяцкие вечера, как среди детей своего товарища и сослуживца Корнилова. И еще: тот же Лазарев или тот же Корнилов, ей-ей, не слабее Павла Степановича были привязаны к своей профессии, к флотскому сословию, к судовым заботам, но вот же не бежали от аналоя.

Нет, тут какая-то тайна, какая-то нигде не высказанная драма, а вовсе не забывчивость. Нахимов до гробовой доски остался холостяком. Ему не довелось быть «лоцманом». Тем «лоцманом», о котором герой Писемского, отставной капитан второго ранга, меланхолически молвил: «Супружество есть корабль, который чтоб провести благополучно между всеми подводными камнями, лоцману нужна не только опытность, но и счастье».

Павел Степанович так и не познал обыкновенной домашности. А «корабельная семья», что ни говори, не заменит семейного очага. Многие на сей раз пожалеют Нахимова, немногие порадуются за него...

В Архангельске оставался он недолго. Лазаревский отряд пошел вокруг Скандинавии в Балтику. Нахимов шел на «Азове». В пути отведали норд-вестовых штормов. Но ничего, детища Ершова похвально выдержали экзамен.

Зимовал Нахимов в Кронштадте.

«Хочешь ли знать, как я провожу время?» — спрашивает он у своего неизменного адресата. И рассказывает: «Начну с того, что я живу один на той же самой квартире, где я последний раз расстался с тобой; занимаю те же самые две комнаты, которые убраны просто, но с большим вкусом. Кабинет мой оставлен по-прежнему; тут каждое место, каждая вещь напоминает мне тебя, и потому я не хотел ничего переменить. С семи часов утра до двух после полудня бываю каждый день в должности (я назначен при работах корабля, и, признаюсь, для меня это самое приятное время). В два обедаю, после обеда час положено отдохновению, а остальное время провожу за книгой, никуда не выхожу из дому... Итак, видишь, что я совершенно один, очень скучно провожу время, поторопись утешить своим приездом, вытащить меня из скучного моего уединения, а то я, право, сделаюсь мизантропом».

6

Мизантропом не сделался.

Едва Финский залив блеснул веселой, свежей и будто колкой волной, как эскадра зашевелилась, задвигалась, словно медведь после зимней спячки.

Ни в Кронштадте, ни на кораблях никто еще не знал о

важных, поворотных решениях, принятых за дверьми дворцов и министерств Санкт-Петербурга, Лондона, Парижа. Множество обстоятельств, далеких от флота и флотских, переплетаясь и сталкиваясь, уже сложились в нечто такое, что предредило судьбу флота и флотских, совершенно независимо от них самих.

Политические союзы — браки по расчету. Не до амуров, каждый блюдет свою выгоду. Любовь не ставят ни в грош, но ревность иногда испытывают. Политический союз России, Англии, Франции был браком по расчету. Россия, Англия и Франция ревновали друг друга к Средиземному морю, столбовой торговой дороге. На пути у всей троицы стояла Турция. Ей в ту пору принадлежала Греция. Греки восстали против султана. Возникло то, что называли «греческим вопросом». Ответом на него и явился антитурецкий союз Англии, России, Франции.

Однако многие европейцы, такие, как Байрон или Шелли, как Пушкин или Рылеев, искренне, не ради державных притязаний сочувствовали мужественным грекам в их отчаянной неравной борьбе с султанской Турцией. Радикальные европейцы сострадали потомкам эллинов, храбрым повстанцам, поднявшим голубое знамя против «законного монарха», сидевшего в Константинополе.

Долго сражались греки, проливая кровь, а великие державы долго перекорялись, проливая чернила. С одной стороны, согласно принципам Священного союза — этого заговора монархов против народов — греки были явными бунтовщиками. С другой стороны, согласно беспринципности денежного мешка, очень было бы хорошо прибрать к рукам торные торговые трассы.

Кончилось тем, что принципы уступили беспринципности, как невинность уступает искусному соблазнителю. В мае 1827 года возник тройственный антитурецкий союз — союз России, Англии, Франции. Конвенция предусматривала не полную независимость Греции, но автономию под верховенством султана Махмуда Второго и при условии выплаты греками ежегодной дани.

Император Николай с превеликой охотой заклевал бы на смерть легитимного стамбульского ворона. Николай Павлович уже высказал свою знаменитую мысль о Турции, как о «больном человеке», наследством которого надо озаботиться загодя. Но и Британия устами герцога Веллингтона уже успела ответить: «Ваше величество, вопрос о наследстве было бы легко решить, если бы в Турции было два Константинополя».

Отсутствие «двух Константинополей» и вызывало вечные оглядки, вечное недоверие между союзниками, ту неискренность, какая неизбежна в браках по расчету.

Без изысканности, принятой в верхах, с грубоватой прямо-тою, принятой на палубах, один английский моряк толковал адмиралу российской службы: «Не забывайте, что Россия пугало, которое тревожит значительную часть французов и англичан; они боятся, как бы ваш добрый император не поглотил всю Турцию с костями и мясом».

И все же союз не остался на бумаге. Для похода против турок снаряжались эскадры в Англии и Франции. Снаряжалась эскадра и в России. Один из будущих героев этого похода совсем недавно вступил в строй — линейный корабль «Азов».

Император Николай явился на эскадру не только со свитою, как обычно многочисленной, но и с послами Англии и Франции. На «Азове» их встречал командующий эскадрой Дмитрий Николаевич Сенявин. Встречал Лазарев, капитан 1-го ранга, командир «Азова». Встречали офицеры, Нахимов, стало быть, тоже.

Разумеется, император обратил на него столько же внимания, сколько и на прочих; внимание, так сказать, общелюбезное, какое государь, натура достаточно актерская, умел показать.

Понятно, ни Николай Павлович, ни Павел Степанович и в мыслях не держали, что за перевалами десятилетий им предстоит трагическое испытание: одному — на бастионах погибающего Севастополя, другому — под развалинами собственного «величия».

Но этот грозный час еще очень далек. Впереди — победы, победы... Небо безоблачно над царственной главой, и сам царь светел. В сущности, все складывается так, как он хотел. Правда, союзники уклоняются от решительного погрома турок. Англичане и французы предпочитают ограничиться морской блокадой, дабы лишить султана возможности бросать войска в восставшую Грецию. Хорошо, пусть блокада... Однако император уже приготовил напутствие морякам. Собственно, не морякам... Имеющие уши да слышат. Господа дипломаты имеют уши. А моряки... О, они, конечно, рвутся в дело. Император доволен духом флотских.

Смотрите, как красиво лежат ружейные замки в корабельном арсенале «Азова». Из ружейных замков возникают слова: «Гангут», «Ревель», «Чесма» — великие морские баталии. А рядом одна буква: «И».

— А что ж дальше? — спрашивает государь, указывая на это «и».

Лазарев глядит орлом. Он отвечает твердо и громко:

— Имя первой победы флота вашего императорского величества.

Черт возьми, экий хват капитан Лазарев. Имя первой победы! Великолепно придумано... Напутственное царское

слово произносится отчетливо, молодецки, по-гвардейски. Оно предназначается не столько морякам, сколько послам союзных держав — Англии и Франции?

— Надеюсь, что в случае каких-либо военных действий поступлено будет с неприятелем по-русски.

Поэзия, соединенная с расчетливостью, вдохновение и дерзость, слитые с осмотрительностью; прекрасная законченность каждого в отдельности и общая согласная стройность — вот парусная армада, идущая полным ветром.

Эскадрой командовал Сенявин. После долгих лет опалы, забвения, горестей, нищеты старик вновь командовал эскадрой. Я думаю, он испытывал пронзительное счастье. Такое, что хоть смерть подступи — не заметишь.

Дмитрию Николаевичу шел седьмой десяток. Натура плечистая, самобытная, он не умещался в понятие немецкой выкройки — слуга престола. Он служил России, а не германским отпрыскам, коронованным в Успенском соборе. Если Ушакова называют морским Суворовым, то Сенявина следовало бы называть морским Кутузовым.

Немного еще земных лет осталось Дмитрию Николаевичу Сенявину. Когда он умрет, ему отдадут высшую воинскую почесть: не знаменем, прикрывшим гроб, и не салютом, а слезою матросов-ветеранов.

Сейчас, командуя эскадрой, он зорко приглядывался к господам штаб- и обер-офицерам. Он знает то, чего они в точности не знают. Да, в Портсмуте из состава эскадры отделится внушительный отряд. Этой «дочерней» эскадре идти в Средиземное, в те воды, где он, Сенявин, одержал столько побед.

Впрочем, старик не погружен в воспоминания, а зорко приглядывается к офицерам, от мичманов до капитанов первых рангов. И что же? Доволен ли старый адмирал? Он замечает и понимает желание щегольнуть быстротой и четкостью маневра, мгновенным и понятливым исполнением сигналов флагмана. Но есть нечто чрезвычайно важное, без чего не видать побед, как звезд в телескоп, закрытый футляром. Господа офицеры ревностны к службе? Да, этого не отнимешь. А только, помилуй бог, не чересчур ли строги? Не преступают ли незримую грань, отделяющую строгость от жестокости?..

У старого адмирала отнюдь не восковое сердце, но оно не зачерствело, как морской сухарь, и не бьется ровно, когда brave офицеры хлещут по скулам нижних чинов. Слух старика не изнежен, но его коробит, когда brave офицеры изрыгают площадную брань, как пьяные кучера. И, уже подходя к Портсмуту, Дмитрий Николаевич готовится благословить флотских совсем не так, как император. Не общей, хоть и звонкой, фразой.

Но вот и обширный, оживленный рейд Портсмута. Вот

четко означаются мачты «Виктории» — той самой, нельсоновской, героини Трафальгарской битвы. Вот красивая, словно гончая, яхта генерал-адмирала герцога Кларенского резво и плавно обегает русских гостей. А вечером город блестит и мерцает — зажглись уличные газовые фонари. И кто-то на «Азове», смеясь, рассказывает, как однажды некий принц из немецкого захолустья возомнил, что Портсмут иллюминирован в его честь.

На другое утро офицеры весело съезжают на берег. Морские заботы не мешают мирским наслаждениям. «Пробывши долгое время в море в беспрестанной деятельности, можно ли, ступивши на берег, отказать себе в чем-нибудь, что доставляет удовольствие», — говорил Павел Степанович. И говорил не вопросительно, а утвердительно.

Встряхнувшись, Нахимов в срок возвращался на борт. Безупречный офицер служил ревностно. У него, он уверен, все в наилучшем порядке. И вдруг, как гром среди ясного неба, приказ по эскадре: Сенявин велит арестовать на трое суток офицеров Кутыгина, Нахимова, Розенберга. За что ж? А за то, что «хотя часто и по усердию к службе», чрезмерно строги с матросами.

В монографии о Нахимове, выпущенной Военным издательством Министерства обороны Союза ССР, документ этот приведен полностью. Автор монографии В. Поликарпов прокомментировал сенявинский приказ. Суть комментария в том, что взыскание заставило Нахимова призадуматься... Он, конечно, призадумался: взыскание, естественно, огорчило офицера, сполна отдававшегося службе. Но вот одумался ли? Сдается, т о г д а этого еще не было. Нравственные перемены редко случаются внезапно. Они требуют времени, трудной работы, одоления привитого с отрочества. Вспомните-ка розги Морского корпуса! А ведь там-то лупили не черную кость, нет, дворянских дитятей.

Добро, скажете вы, но были ж люди, современники Нахимова, иного покроя. Несомненно. Однако даже на лучших из лучших зачастую приметны родимые пятна среды.

И не разделял ли он в ту пору «практическую философию» крестьянина-плотника, выведенного таким знатоком народной жизни, как Писемский: «Наш брат мужик — плут! Как узнает, что в передке плети нет, так мало что не повезет, да тебя еще оседлает...»

Отряжая часть своей эскадры для следования в Средиземное море, Дмитрий Николаевич Сенявин проводил господ капитанов не «кимвалом звенящим», а наставлением, в котором так и сквозит

Ум русский, светлый и спокойный,
Простосердечный и прямой...

Старый моряк, ученик и сподвижник Ушакова, взывает к

командирам кораблей: заботьтесь о матросе, общайтесь с матросом, служба не в одной службе, но и в истинно человеческих отношениях, входите во все нужды, в «частную жизнь» матроса, приобретайте его доверие и любовь, знайте «дух русского матроса, которому иногда спасибо дороже всего».

Сенявинское наставление резко выдается из униформы казенной документации николаевской эпохи. То был, можно сказать, манифест подлинной военной педагогики, несовместимый с аракчеевщиной. Он адресовался не только начальнику средиземноморского отряда графу Гейдену. Нет, офицерскому корпусу русского флота.

7

Эскадра контр-адмирала Гейдена миновала Гибралтар. Корабли опалило африканское солнце, смола в палубных пазах едва не закипела.

Средиземное море располагает, как говаривали старинные жуиры, «к роскоши и неге чувств». Однако и к коммерции тоже. Богатых гаваней много, они близки, не заблудишься и без компаса. Средиземное — колыбель одиссеев. Не оставляя его берегов, можно перелистать почти всю летопись судостроения; не оставляя его волн — почти всю хронику мореходства, торгового и военного, включая и лихие походы пиратов. Русский флаг и до гейденовских кораблей не был здесь в диковинку: на Средиземном громыхали пушки Ушакова и Сенявина, свершились эпопеи, еще ждущие своего художника.

Для «Азова» плавание в Средиземном море началось несчастливо — мичман Домашенко погиб, спасая матроса. И Нахимов, промолчавший о том, как он сам пытался в Тихом океане спасти утопающего, — Нахимов теперь подробно описал подвиг товарища, ходившего с ним на «Крейсере».

«Был очень свежий ветер с дождем и жестокими порывами, волнение развело огромное, — рассказывает Павел Степанович все тому же Рейнеке. — В один из таких порывов крепили крьюсель. Матрос, бывший на штык-блоке, поскользнулся и упал за борт. Домашенко в это время сидел в кают-компани у окна и читал книгу, вдруг слышит голос за кормой, в ту же секунду кидается из окна сам за борт, хватается за стул, прежде брошенный, плывет с ним к матросу и отдает ему оный, сам возле него держится без всего на воде (как жаль, что он не схватился вместо стула за бочонок, который тут же был брошен, тогда, быть может, они оба были бы спасены). Все возможное было употреблено к спасению их; шлюпка хотя с большою опасностью, но весьма скоро была спущена и уже совсем подгробала к ним, как в пяти саженях от шлюпки пошли оба на дно. О, любезный друг, какой ве-

ликодушный поступок! Какая готовность жертвовать собой для пользы ближнего! Жаль, очень жаль, ежели этот поступок не будет помещен в историю нашего флота, а бедная мать и родные не будут награждены, которые им только и держались»¹.

Домашенко погиб неподалеку от Сицилии. На другое утро, отлежавшись в дрейфе, эскадра спустилась к высокому гористому берегу Палермо. И однокашник Нахимова отметил в дневнике: «Новость предметов вообще занимательна, но нигде она так не разительна, как на море. Быстрый переход из одного места в другое без постепенности производит какое-то особенное очарование, объяснить которое очень трудно тем, которые путешествуют на сухом пути».

Город встретил офицеров запахом померанца, музыкой струнного оркестра. Офицеры посещали оперу, отплясывали на балах, пировали в отеле, который держал бывший наполеоновский гусар. Ровесник Нахимова юношески звонко на многих страницах дневника рассказывает о пестрых, шумных, веселых стоянках в Палермо и Мессине. Нахимов удостаивает Палермо лишь несколькими строками, Мессину — всего одной. «Что сказать тебе о Палермо? — пишет он Рейнеке. — Что я довольно весело провел время, осматривал все достойное замечания, но не нашел и половину того, что описывает и чем восхищается Броневский²... В Мессине надо восхищаться природой, больше ничего интересного я не нашел».

В Палермо русские слышали от шкиперов: значительный турецкий флот укрылся в Наваринской бухте.

В Мессине контр-адмирал Гейден получил депешу: как можно скорее соединиться с англичанами и французами.

Рандеву произошло на меридиане острова Закинтос (Ионический архипелаг). Выходило солнце, дул ровный ветер. Английский флагман держал свой флаг на 88-пушечной «Азии».

Наши, должно быть, и впрямь были хороши, если старый моряк, представитель «гордого Альбиона», при виде балтийцев испытал не только профессиональное, но и эстетическое удовольствие. В частном письме вице-адмирал Эдуард Кодрингтон писал: «Все русские суда кажутся совершенно новы; и так как медная обшивка их с иголки, то имеет прелестный темно-розовый цвет, что много содействует красивой внешности кораблей».

¹ Если вам случится посетить Кронштадт, взгляните на памятник мичману Александру Домашенко. Памятник воздвигнут на средства, собранные его товарищами — балтийскими моряками.

² Нахимов имеет в виду занимательные «Записки морского офицера» В. Броневского, участника сеньявинской кампании на Средиземном море (1805—1810).

Вскоре был встречен и французский флот. Отныне три эскадры олицетворяли на Средиземном море боевую мощь трех главных европейских держав, трех европейских монархов. Однако три адмирала не в равной степени горели нетерпением пустить в ход пушки.

Война продолжает политику средствами военными, техническими. И все же распорядитель этими средствами должен обладать и дипломатическим тактом, когда он имеет дело с союзниками — ведь те всегда держат камень за пазухой.

Анри де Риньи не склоняется к генеральному разгрому султанской Турции, ибо к тому не склонялись в Париже. Самый молодой из трех адмиралов, француз не был самым пылким из них.

Вице-адмирал Кодрингтон (старший возрастом и чином, он принял общее командование эскадрами) отличался личной храбростью. Прекрасно разбираясь в трелях боцманских дудок, он зачастую оказывался туговат на ухо, когда речь заходила о политических тонкостях. Сэр Эдуард любил читать лощю и кряхтел, когда читал дипломатические депеши. Он предпочитал маневрировать на пенистой волне, а ему приходилось маневрировать у стола с зеленым сукном.

И точно, вице-адмирал находился в положении незавидном. Его добрая старая Англия вовсе не желала повергнуть во прах Турцию. Ибо ослабление Оттоманской Порты автоматически усиливало Северного Медведя. Однако по букве договора Кодрингтону, как и де Риньи, предписывалось блокировать греческие берега, пресекая подвоз турецких войск. Но в подобных предписаниях звучал рефрен: блокировать — да, применять силу — нет. Вот тут-то и вертись, сэр Эдуард, разрази гром канцелярских крючкотворов.

Человек военный, Кодрингтон жаждал определенности. Приказ должен быть ясен, как линзы подзорной трубы; четок, как рангоут; недвусмыслен, как пушечный выстрел.

Он багровел, играл желваками, отписывая в лондонское адмиралтейство: «Ни я, ни французский адмирал не можем понять, каким образом мы должны заставить турок изменить их линию поведения без совершения военных действий. Если это должно быть что-то вроде блокады, то всякой попытке прорвать ее можно противостоять только силой».

Но прямых инструкций все не было и не было. Англо-французы лишь бранились с турками. Выходило что-то похожее на препирательства Тома Сойера с мальчиком в синей куртке: «Убирайся отсюда!» — «Сам убирайся». — «Не желаю!» — «И я не желаю». — «Погоди, я напущу на тебя моего старшего брата. Он может пригнуть тебя одним мизинцем...» — «Очень я боюсь твоего старшего брата! У меня у самого есть брат еще побольше твоего, и он может швырнуть твоего вон через тот забор».

Твен замечает, что «оба старших брата» были плодом фантазии куражащихся мальчуганов. Но эскадра Гейдена вовсе не была мифической. И едва она показалась в районе крейсерства Кодрингтона и де Риньи, как тотчас сделалось ясным, что вот он и явился, этот самый «старший брат». Гейдена не одолевали никакие сомнения. Гейден не страшился попасть впросак. Он знал, что ему делать. Он знал, как ему поступать. Он располагал педантичными и решительными указаниями императора. К тому же Гейдену, как всякому адмиралу или генералу русской службы, нечего было опасаться того, чего волей-неволей опасались его коллеги — общественного мнения своей страны. Де Риньи раздраженно и не без зависти замечал: «Гейден может делать, что хочет; русская печать его не тронет».

Едва андреевский флаг заполоскал в Ионическом море, английская и французская дипломатическая машина тотчас перестала скрипеть и буксовать. Союзники ничего так не опасались, как единоличного вмешательства России в «греческий вопрос». А в том, что единоличное вмешательство не заставит себя ждать, они догадывались, знали. Слова Николая, произнесенные в Кронштадте, на палубе «Азова», не забылись: с неприятелем будет поступлено по-русски. Ливен, русский посол в Лондоне, провожая Гейдена, выразился тоже не уклончиво: если союзные адмиралы заспотыкаются, ступайте вперед один. Точно так же напутствовал из Петербурга и министр иностранных дел: держитесь с друзьями дружески, но коли понадобится, начинайте боевые действия.

Турки еще до Наварина смекнули, что с появлением русских дело приняло серьезный оборот. Мичман Гарри Кодрингтон, сын адмирала, пишет в Англию, матери: «Любопытно было наблюдать, как турки удалялись от русских судов и держались нашей подветренной стороны. Когда русские суда приближались к ним, они тотчас бежали на нашу сторону: что-то зловещее виделось им в русских судах».

Тогда-то — что ж поделаешь? — союзные адмиралы получили разрешение «наводить пушки», а не тень на плетень.

8

Покамест англо-французы фланировали близ греческих берегов, покамест англо-французская дипломатия разглагольствовала в Стамбуле, турки поступали на манер крыловского kota Васьки.

Тесня греческих повстанцев, они овладели большей частью страны. В их руках находились все важные крепости. Мятежная птица Феникс, изображенная на знамени греков, вот-вот могла снова обратиться во прах.

Султанским воинством энергически распоряжался Ибрагим-паша. Ему было тридцать восемь от роду. Он приходился сыном Мухаммеду-Али, могущественному вассалу константинопольского монарха, правителю Египта. Ибрагим-паша, сознавая преимущества европейской организации, заставил своих офицеров учиться у французских наемников. Сверх того Ибрагим отдавал предпочтение строгой дисциплине перед «восточной распушенностью». В 1827 году он командовал не только турецко-египетским флотом, но и сухопутными войсками. И это он, Ибрагим-паша, избрал Наварин своей опорной базой.

То была одна из лучших гаваней не только Мореи, но и всей Греции. Обширная, она могла принять сотни кораблей. Глубокая, она позволяла встать на якорь судну любой осадки. Остров Сфактерия прикрывал ее, как щитом. Узкий проход затруднял прорыв с моря. Некогда на здешнем берегу красовался город Пилос, где жил-поживал царь Нестор, упомянутый Гомером. Во время Пелопоннесской войны афиняне удерживали Пилос пятнадцать лет. Века спустя на его руинах франки возвели укрепление. А после там обитали, как утверждают, выходцы из Испании, из Наварры. Турки, завладев Грецией, возвели на берегу прекрасной бухты цитадель, подле которой жался городок Наварин.

Задолго до Нахимова и крепости, и городу, и турецкому флоту досталось от предшественников гейденовской эскадры, от моряков Спиридова. Тогда к Наварину набежал отряд кораблей под командой сына «арапа Петра Великого», бригадира артиллерии Ганнибала. Он учинил там громкое дело. По слову его внука-поэта, «среди гибельных пучин громада кораблей вспылала и пал впервые Наварин».

Теперь, пятьдесят семь лет спустя, Ибрагим-паша вряд ли сравнивал дни минувшие с днями нынешними. Ему забот хватало и без исторических параллелей. В Наварин спешили суда с войсками и припасами. Из Наварина спешили суда, груженные пленными-рабами и добычей. Там снаряжались эскадры для действий в греческих водах против мятежных корабельщиков. Совсем незадолго до подхода к Наварину союзников Ибрагим успел сосредоточить, пропустив через «наваринские ворота», семидесятитысячную оккупационную армию.

Она бесчинствовала в Морее. Трагедия была отмечена даже англичанами, не склонными в силу политических расчетов гипертрофировать ужасы турецкой расправы с греками. «...Мы узнали, — докладывал один из морских разведчиков Кодрингтону, — что дело опустошения все время продолжается... Страдания населения, согнанного в равнину, ужасны! Женщины и дети питаются травой и умирают на каждом шагу. Думают, что если Ибрагим останется в Морее, то от голода умрет более чем треть населения».

Союзные адмиралы пытались словесно урезонить Ибраги-ма. Ибрагим, как утверждают европейские мемуаристы, держался «надменно», «вероломно», «нагло». Но, черт возьми, он ведь тоже, как и европейцы-адмиралы, ходил «под богом», под своим монархом. И к тому же в случае «замирения» Греции ему, Ибрагиму, она была обещана как владение, вассальное султану. Исполняя некоторые требования союзников, Ибрагим покорялся обстоятельствам. В подобных случаях, как всем известно, очень трудно не поддаться соблазну обмануть обстоятельства.

Словесные убеждения ни к чему не приводили. Оставался последний довод — пушки. Однако в Наваринской бухте их было более двух тысяч трехсот. А на борту союзников — тысяча триста.

Теперь вообразим расположение турецко-египетского флота. Так, как измыслил его капитан Летелье (не знаю, однофамилец или потомок известного подручного кардинала Мазарини), французский капитан Летелье, один из тех наемников, которых столь радушно принимал Ибрагим-паша. Согласно признанию знатока морских баталий сэра Эдуарда Кодрингтона план врага был «прекрасно составлен».

Турецкая и египетская эскадры, стоя на якорях, выстроились полумесяцем. Не потому, конечно, что Летелье был «символистом» и турецкий полумесяц почитал превыше прочих геральдических знаков. Нет, это позволяло держать под огнем всю гавань, а фланги упирались в береговые батареи. И полумесяц не был одинарным. Корабли якорились в две, а то и в три линии, оставляя между собою пространственный разрыв, позволяющий задним вести огонь одновременно с передними. А наперед Летелье выдвинул тяжелые боевые единицы — линейные корабли и фрегаты. За ними поместил тех, что слабее — корветы и бриги. Сверх того диспозиция имела и такое преимущество: она д и к т о в а л а союзникам, в какой части гавани произвести боевое развертывание.

Чем и как полагал одолеть врага сэра Эдуард, командующий союзными эскадрами, участник Трафальгара, сподвижник Нельсона, съевший собаку на морских операциях?

Вот тут-то и начинается смердить талейрановщиной. Раскладываются карты не штурманские, а шулерские. Игра идет втемную. Присмотримся к ней.

Флот Ибраги-ма был не единым, а соединенным турецко-египетским флотом. Каждой эскадрой командовал свой адмирал. Турецкой — Тахир-паша; египетской — Мухарем-бей.

Египет, как уже говорилось, обретался в вассальной зависимости от султана. Скреп зависимости слабели год от году и грозили вот-вот лопнуть. Египтом правил тогда Мухаммед-Али. Человек умный и коварный, он давно норовил отпасть от стамбульского сюзерена. Мухаммеда втайне поддерживали

Англия и Франция; их резиденты сносились с пашой постоянно.

Теперь внимание! За месяц до Наваринской битвы эскадру Кодрингтона покинул корабль «Пелерус». «Пелерус» полетел в Африку. Капитан корабля информировал о положении дел на море английского консула в Каире. Консул не замедлил получить аудиенцию у Мухаммеда. И консул, и некий сухопутный британец подполковничьего чина, и другие агенты Альбиона настойчиво клонили пашу к «наваринскому воздержанию».

Паша маялся той двойственностью, какую называют «и хочется и колется». Хотелось сохранить свою эскадру, хотелось сохранить потаенное дружество с великими западными державами. А «кололось» потому, что страшил «оттоманский гнев и ненависть всех мусульман». Поколебавшись, паша наметнул, что его военно-морские силы, дислоцирующиеся в Наварине, первыми стрелять не станут.

Это уже был козырь. И весьма крупный. Другой, поменьше, но тоже немаловажный, «вытянул» де Риньи. Он убедил французских наемников-офицеров покинуть египетские корабли, дабы в случае столкновения не запятнать себя убийством соотечественников.

Заручившись всем этим, Кодрингтон приступает к составлению боевого походного порядка. Он составляет диспозицию эскадрам, которые должны войти в Наваринскую бухту. Своей эскадре, а равно и французской, он предписывает наступать правой кильватерной колонной. Стало быть, так, чтобы расположиться на якорях супротив е г и п е т с к и х кораблей, в пассивности которых он почти убежден. Ну-с, а господин граф Гейден, тот идет левой кильватерной колонной. То бишь расположиться на рейде супротив т у р е ц к и х кораблей, в активности которых сэр Эдуард совершенно убежден. Иными словами: русские должны ломить открытой грудью в шквальный огонь.

Есть, правда, свидетельства, что Кодрингтон все ж надеялся обойтись демаршем, демонстрацией, надеялся запугать Ибрагима, понудить ретироваться из Греции и, значит, избежать кровопролития на водах наваринских. Однако школьная арифметика — число вражеских кораблей и число вражеских артиллерийских стволов — и простаку указала бы на иллюзорность подобных надежд. А посему приходится без обиняков признать: сэр Эдуард и граф Анри-Готье с превеликой щедростью распорядились русской кровью.

Читая боевой приказ союзного главнокомандующего, тотчас замечаешь отсутствие каких-либо тактических, конкретных указаний. Что ж сие такое, коли не желание, не намерение избежать сражения? Хорошо. Пусть так. Но если сам Кодрингтон вместе с де Риньи мог уповать на безмолвие египетской части флота, то уж русских (и Кодрингтон это отлич-

но понимал) поджидали турецкие ядра и брандеры. Да сверх того и перекрестный огонь, крайне опасный для бегучего и стоячего такелажа, для всего парусного вооружения.

Короче говоря, пролог Наваринского сражения — один из примеров коварства западноевропейских союзников России.

Однако в ходе сражения, когда русские явили громадную выдержку, поразительное мужество и отменное искусство, в разгар боя сэр Эдуард словно бы потрянул стариной, потрянул гривой и принялся «работать» согласно традициям родного ему флота. От англичан старались не отставать и некоторые французские капитаны, хотя в целом соединение де Риньи не блеснуло мастерством.

Коль скоро главную тяжесть баталии приняли корабли Гейдена, справедливость требует сказать об этом подробнее. А кроме того, на флагманском «Азове» был наш герой; ведь именно в Наварине Павел Нахимов и окунулся в огненную купель.

8(20) октября 1827 года в первую половину дня англо-французская колонна после некоторой сумятицы нерасторопных подчиненных де Риньи благополучно втянулась в бухту и столь же благополучно отдала якоря на местах, указанных диспозицией.

Гавань не огласилась ни единым выстрелом. Молчала крепость. Молчали береговые батареи. Молчали корабли. Кодрингтон послал парламентаря на египетский корабль. И еще сорок пять минут эскадра Мухарем-бея безмолвствовала.

Когда грянул первый выстрел, кто его произвел (турки или все ж египтяне), теперь, пожалуй, точно не определишь. Ибо даже в тот момент ни Кодрингтон, ни командир его флагманского корабля «Азия» Гурзон не знали этого. Но, вероятнее всего, пушечную дуэль начали все же турки. А следом, нехотя, недружно, как из-под палки — Мухарем-бей: он, надо думать, получил-таки соответствующее указание из Каира, от паши.

Как раз в то время, когда заголосили пушки (и англичане и французы, спокойно стоя на якорях, могли отбиваться прицельными выстрелами), в это как раз время наши, повинувшись давешнему приказу главнокомандующего, еще только тянулись сквозь узкий, не шире мили, пролив.

Русские двигались друг за другом. Они шли строем кильватерной колонны. Походный ордер выглядел так:

а) Л и н е й н ы е к о р а б л и:

«Азов» под флагом контр-адмирала Л. П. Гейдена. Командир — капитан 1-го ранга М. П. Лазарев.

«Гангут». Командир — капитан 2-го ранга А. П. Авинов.

«Иезекииль». Командир — капитан 2-го ранга И. И. Свинкин.

«Александр Невский». Командир — капитан 2-го ранга Л. Ф. Богданович.

б) *Фрегаты:*

«Константин». Командир — капитан 2-го ранга С. П. Хрущов.

«Елена». Командир — капитан-лейтенант Епанчин 1-й.

«Проворный». Командир — капитан-лейтенант Епанчин 2-й.

«Кастор». Командир — капитан-лейтенант Сытин.

Эскадра несла 468 орудий (по другим сведениям — 466).

Примерно столько ж имел Кодрингтон.

На сотню меньше имел де Риньи.

Но преимущество последних пред Гейденом поймет и школяр. Англичане и французы уже стояли на позиции. А русские еще шли к позиции. Англичане и французы свершили боевое развертывание в тишине и спокойствии. Они отдавали якоря и убирали паруса при таких обстоятельствах, о которых можно, пожалуй, сказать словами Тютчева: «И я заслушивался пенья великих средиземных волн». Русские производили боевое развертывание под ужаснейшей канонадой неприятеля. Сперва перекрестной — из крепости и с острова Сфактерия. Потом налегая грудью на огневой щит главных сил врага. Русские пробирались к точкам, указанным диспозицией, сквозь темный, едкий, слепой, предательский пороховой дым, сквозь оранжево-белые сполохи взрывов, сквозь гром, свист, треск, всплески. Русские пушки молчали. Русские шли, шли, шли. Туда, где было их место согласно плану Кодрингтона.

Они прошли сквозь ад кромешный. Достигли положенного предела, заданных рубежей. Надо было отдать якоря. Надо было убрать паруса. Тут выкажи не забубенную отчаянность, тут не рубаху рвануть от ворота до пупа, не-ет, стисни зубы, сдержи клетот сердца, слушай команду — и работай. Работай меж небом, расколотым ядрами, и водою, кипящей от ядер. А где-то, совсем уж рядом, на короткой дистанции пистолетного выстрела — центр неприятельского полумесяца, центр огромной подковы. И она, сотрясаясь, изрыгает залп за залпом.

Наконец готово. Теперь слово артиллерии. Корабли дрались, как витязи на богатырских заставах: каждый против нескольких. «Азов», например, мужествовал одновременно с четырьмя, в том числе и с фрегатом под флагом Тахир-паши. Сверх того Лазарев изловчился пособить Кодрингтону, выручив его «Азию».

Именно к переломному моменту Наваринского боя, к моменту начала конца турецко-египетского флота, только к нему, к этому решительному моменту, достигнутому русскими линейными кораблями и фрегатами, можно отнести оценку «Боевой летописи русского флота» (Москва, 1948): «...Союзные эскадры действовали в полном единодушии, оказывая друг другу взаимную поддержку».

Краткость хроники не дала составителям расширить и

уточнить приведенную оценку. «Положение англичан в Наварине, — справедливо отмечал современный документ, — можно уподобить их положению при Ватерлоо, и если бы здесь адмирал г. Гейден, подобно как там сделал Блюхер, не прибыл бы вовремя, то г. Кодрингтон подвергнул бы корабли свои совершенному истреблению».

Обстоятельство это до такой степени раздражает английских историков, что они и поныне как бы не замечают его. Ну что ж, певцы былой британской славы, очевидно, равняют историю с дышлом. А дышло, известно, куда повернул, туда и вышло. Но как бы там ни было, а из песни слова не выкинешь. Ведь сам Кодрингтон — морская душа, хоть и попорченная чуждыми ей дипломатическими извивами, — сам Эдуард Кодрингтон признавал первенствующую роль эскадры Гейдена.

Наваринский бой завершился в шесть пополудни. Флот Ибрагим-паши не существовал. Барабанщики с осунувшимися, почернелыми лицами били отбой. Дышалось трудно: и от страшной усталости, и от густых масс порохового дыма, еще не рассеянного вечерним бризом. Солнце садилось. Оно было багровым, как раскаленные ядра, как догорающие судовые обломки.

На кораблях «плотничали» хирурги: у русских и французов ранило около полутора ста матросов и офицеров, у англичан — более двухсот. День быстро мерк. Над бухтой, над берегом, над морем простерлось беззвездное небо. Мертвые, уложенные на палубах, незряче глядели в глухое наваринское небо. Потери русских и французов были почти равными: около или чуть больше полусотни душ, у англичан — семьдесят пять.

Злее всех, горше всех пострадал корабль, на котором Нахимову довелось принять боевое крещение: двадцать семь мертвецов, шестьдесят семь искалеченных. Никто в союзном флоте не сражался с такой сокрушительной энергией, как флагманский линкор Гейдена. Нигде, ни на «Азии» у Кодрингтона, ни тем паче на «Сирене» у де Риньи, — нигде оружейная прислуга, команда не действовала столь умело и сноровисто, столь безоглядно-решительно, находчиво, четко, как на лазаревском «Азове».

Впоследствии, склонившись над почтовым листком и мысленно беседуя с Рейнеке, Нахимов недоуменно пожимал плечами: «Я не понимаю, любезный друг, как я уцелел...» И точно, было чему дивиться. Ведь он все время находился на верхней палубе. Он ни на миг не покинул подчиненных. А среди них шестерых убило, семнадцать ранило. Павла Степановича не только не задело ядром, картечью, осколками рангоута — его огонь не тронул, хотя дважды занималось бешеное пламя и Нахимов со своими людьми дважды спасал корабль от пожара.

Кому из тогдашних моряков не был ведом «классический» случай с «Принцем Джорджем»? Этот британский линкор загорелся внезапно. И что же? Первым покинул борт... адмирал. За ним следом... командир. «Принц Джордж» превратился в бедлам. Сотни душ погибли. И это, заметьте, в мирных условиях, когда не гремели пушки. Вообразите ж обстоятельства, в которых действовали Нахимов и его молодцы. Не ясно ль, что только железная выдержка и непрекословная исполнительность выручили русский флагманский корабль? И не ясно ль, что тот офицер, который сумел дважды задушить пламя, не прекращая притом работу вверенной ему артиллерии, не ясно ль, что такой офицер и нравственно и профессионально был на десять голов выше адмирала и командира с «Принца Джорджа»?..

Во всяком бою, когда его ведут настоящие бойцы, личная храбрость становится коллективной храбростью и уже трудно отличить, кто поименно отличился. И все ж азовцев восхитил лейтенант Бутенев, тот самый, что мичманом плавал на «Крейсере». Да и как было не восхищаться Иваном Петровичем? Раненный тяжело, с рукой, раздробленной выше локтя, с лицом, словно мелом залитым, он не уходил с палубы...

«Азов» удостоился высшей воинской морской награды. Ни один парусный боец российского флота еще не был взыскан ею. И вот «в честь достохвальных деяний начальников, мужества и неустрашимости офицеров и храбрости нижних чинов» израненный, обожженный «Азов» получает кормовой георгиевский флаг: в перекрестии синих полос (таких же, как и на обычном андреевском флаге) алел геральдический щит с белым конем и синей мантией Егория, жившего в народном сознании не только честным воителем, но и усердным мужицким заступником.

Навсегда, глубоко, сильно оттиснулся Наварин в душе Нахимова. Не внешней памятью запомнился, а той, что зовут внутренней, когда познанное ложится в душу краеугольным нравственным достоянием.

Безликость смерти мечена разными масками. Ошеренной и гривастой была она в океане, когда Нахимов ринулся спасти матроса. Огненным столпом, волоча черные ризы, металась она по Наваринскому рейду.

В океане Нахимов словно бы состязался со смертью, бежал наперегонки с нею, чтоб не дать поглотить тонущего человека. В Наварине Нахимов испытал высокий восторг: он схватился со смертью врукопашную. Нет, не про него было сказано: «И умрешь в сердце морей смертью убитых».

Время оставляет от сражений донесения и мемуары, карты и схемы. Донесения подчас лапидарно-звенящи. В мемуарах нередко обнаруживается то, что психологи зовут «мечтательной ложью». В картах и схемах есть бесстрастная красота. А

по мне, привлекательнее всего частные письма современников. Одно из таких принадлежит Нахимову. Оно адресовано Рейнеке. За строками слышен стук сердца. К тому же нам редко случается внимать голосу Нахимова, и посему — вот выдержки из этого послания:

«В 3 часа мы положили якорь в назначенном месте и повернулись шпрингом вдоль борта неприятельского линейного корабля и двухдечного фрегата под турецким адмиральским флагом и еще одного фрегата. Открыли огонь с правого борта. Надобно тебе сказать, что «Гангут»¹ в дыму немного оттянул линию, потом заштилил и целым часом опоздал прийти на свое место. В это время мы выдерживали огонь шести судов и именно всех тех, которых должны были занять наши корабли. О любезный друг! Казалось, весь ад разверзся перед нами! Не было места, куда бы не сыпались кнители², ядра и картечь. И ежели б турки не били нас очень много по рангоуту, а били все в корпус, то я смело уверен, что у нас не осталось бы и половины команды. Надо было драться истинно с особенным мужеством, чтобы выдержать весь этот огонь и разбить противников, стоящих вдоль правого нашего борта (в чем нам отдают справедливость наши союзники). Когда же «Гангут», «Иезекииль» и «Александр Невский» заняли свои места, тогда нам сделалось несравненно легче. Вскоре после сего пришел еще французский корабль «Бреславль», не нашедший в своей линии места, стал на якорь у нас под кормой и занял линейный корабль (турецкий. — Ю. Д.), совершенно уже обитый нами. Тогда, повернувшись всем лагом к фрегатам, мы очень скоро их разбили. Они обрубили канаты, и их потащило к берегу, но вскоре один из них загорелся и был взорван на воздух, другой, будучи в совершенно обитом состоянии, приткнулся к мели и ночью турками сожжен. «Бреславль» также очень скоро заставил замолчать своего обитого противника (действия нашего корабля можно применить и ко всем другим судам соединенного флота с большею или меньшею разностью)... О любезный друг! Кровавопролитнее и губительнее этого сражения едва ли когда флот имел. Сами англичане признаются, что ни при Абукире, ни при Трафальгаре ничего подобного не видали»³.

Итак, Наварин, отгремев, отходил в прошлое, становясь историей. Но история неостановима, как и быстротекущая жизнь, и прошлое иногда явно, а иногда подспудно диктует будущему.

¹ За «Гангутом» следовали «Иезекииль» и «Александр Невский». (Примеч. П. С. Нахимова.)

² Книтель — снаряд для повреждения вражеской оснастки. Состоял из двух чугунных полушарий, соединенных стержнем или цепочкой.

³ Абукир и Трафальгар — знаменитые морские сражения.

Разгром основных сил турецкого флота был не просто потоплением, сожжением, разбитием таких-то и таких-то кораблей или фрегатов. И не просто гибелью стольких-то офицеров и стольких-то матросов. Наваринское одоление неприятеля было прежде всего крупной, весомой победой России. Не потому лишь, что именно русской эскадре принадлежала честь истребления главной части турецких военно-морских сил. А потому что вскоре после Наварина Греция получила долгожданную независимость от султана. Потому еще, что наваринский гром возвестил Стамбулу грозную опасность блокады Дарданелл, облегчил операции русской армии в войне против Турции 1828—1829 годов.

9

Пространное, для Нахимова прямо-таки редкостно-пространное письмо к Рейнеке было написано без малого месяца спустя после Наваринской битвы. Павел Степанович уже, конечно, знал, что представлен к чину капитан-лейтенанта и ордену. Но, по обыкновению, ни словом о своих личных заслугах не обмолвился.

В представлении о Нахимове сказано: «Находился при управлении парусов и командовал орудиями на баке, действовал с отличною храбростью и был причиною двукратного потушения пожара...» И рядом, в графе «Мнением моим полагаю награждать»: «Следующим чином и орденом св. Георгия 4-го класса»¹.

Резолюция Николая была краткой: «Дать».

Дали.

Но главной наградой за Наварин был корвет «Наварин». Плох тот морской офицер, который не мечтает самостоятельно водить корабль. Нахимову корвет был желанным первенцем.

Корвет отняли у турок. Он назывался «Нассабих Сабах», что можно перевести как «Восточная звезда». Прочнехонький, из лучшего дуба, корвет нес двадцать орудий добротного английского литья. Переименованный в «Наварин», он годился для строя, как здоровый, ладный новобранец — лет на двадцать пять, не меньше.

«Командиром же на сей корвет, — доносил в Петербург Гейден, — я назначил капитан-лейтенанта Нахимова, как такого офицера, который по известному мне усердию и способности к морской службе в скором времени доведет оный до лучшего морского порядка и сделает его, так сказать, украшением вверенной мне эскадры...»

¹ Сверх русского ордена П. С. Нахимов получил английский орден Бани, французский орден Почетного легиона и греческий орден Спасителя.

Корвет свой Павел Степанович охорашивал и вылизывал в Ла-Валетте, на Мальте. Капитан-лейтенант работал не зная роздыха, буквально с засученными рукавами. Современник писал: «...Я видел Нахимова командиром призового корвета «Наварин», вооруженного им на Мальте со всевозможной морской роскошью и щегольством, на удивление англичан, знатоков морского дела. В глазах наших, тогда его сослуживцев в Средиземном море, он был труженик неутомимый. Я твердо помню общий тогда голос, что Павел Степанович служит 24 часа в сутки. Никогда товарищи не упрекали его в желании выслужиться тем, а веровали в его призвание и преданность своему делу. Подчиненные его всегда видели, что он работает более их, а потому исполняли тяжелую службу без ропота и с уверенностью, что все, что следует им или в чем можно сделать облегчение, командиром не будет забыто».

В этом свидетельстве важно оттенить черты Нахимова, которые впоследствии столь высоко, всем сердцем оценили защитники Севастополя: Нахимов работает более других, он в службе круглосуточно, он не забудет ничего, что может облегчить участь подчиненного, будь то офицер, будь то матрос.

Боевая кампания не завершилась Наваринской битвой. Поддерживая русско-турецкий сухопутный фронт, эскадра блокировала Дарданеллы, перехватывая вражеские суда на морских коммуникациях¹.

Минули годы двадцать восьмой и следующий. В мае восемьсот тридцатого эскадра вернулась в Кронштадт. Аттестуя командира «Наварина», Лазарев, уже контр-адмирал, в графе «Достоинства» отметил то, что ставил превыше всего на свете: «Отличный и совершенно знающий свое дело морской капитан».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Всяк любит свою «малую родину», как говорят испанцы. Но есть заветные места, равно всем священные, где столь властна твоя общность с Большой Родиной.

Молчит земля, пропитанная кровью. Молчишь и ты. В молчании внятен голос минувшего. Не частного, но тоже общего, всенародного, а значит, и твоего. Жаль тех, кто хоть однажды не расслышал этот голос.

Малахов курган господствовал в обороне Севастополя. Можно позабыть высоту кургана над уровнем моря. Нельзя позабыть высоту его над уровнем истории.

¹ Русская армия действовала на Балканах и на Кавказе.

Один офицер-артиллерист изобразил не только Малахов курган времен осады, но и чувства Володи Козельцова, когда молоденький прапорщик впервые попал на ключевую позицию великой Севастопольской обороны.

«Так вот и я на Малаховом кургане, который я воображал совершенно напрасно таким страшным! И я могу идти, не кланяясь ядрам, и трушу даже гораздо меньше других! Так я не трус?» — подумал он с наслаждением и даже некоторым восторгом самодовольства. Однако это чувство бесстрашия и самодовольства было вскоре поколеблено зрелищем, на которое он наткнулся в сумерках на Корниловской батарее, отыскивая начальника бастиона. Четыре человека матросов около бруствера за ноги и за руки держали окровавленный труп какого-то человека без сапог и шинели и раскачивали его, желая перекинуть через бруствер. (На второй день бомбардировки не успевали убирать тела на бастионах и выкидывали их в ров, чтобы они не мешали на батарее.) Володя с минуту остолбенел, увидев, как труп ударился о вершину бруствера и потом медленно скатился оттуда в канаву; но, на его счастье, тут же начальник бастиона встретился ему, отдал приказание и дал проводника на батарею и в блиндаж, назначенный для прислуги».

«Воздух был чистый и свежий, — особенно после блиндажа, — ночь была ясная и тихая. За гулом выстрелов слышался звук колес телег, привозивших туры, и говор людей, работающих на пороховом погребе. Над головами стояло высокое звездное небо, по которому беспрестанно пробегали огненные полосы бомбы...»

Офицера-артиллериста, описавшего Малахов курган и обороняющийся Севастополь, звали Лев Николаевич Толстой.

Днем с кургана далеко видно. И другому защитнику Севастополя, адмиралу Нахимову, открывался оттуда чудовищный ландшафт завалов, траншей, пушек, трупов.

Но оттуда, с кургана, Нахимов видел то, чего не мог видеть Толстой: Павел Степанович видел еще и свои прошедшие годы — черноморские, севастопольские.

1

На рождество 1834-го Лазарев был утвержден главным командиром Черноморского флота; по-нынешнему сказать — командующим. Однако еще до утверждения в этой высокой должности Михаил Петрович манил на юг «отличных морских капитанов», прежних испытанных коллег, оставшихся на Балтике. Звал он и Павла Степановича Нахимова.

Нахимов все еще плавал на корвете «Наварин». Потом получил новехонький 44-пушечный фрегат и снарядил его,

по обыкновению, «со всевозможным морским шегольством». Современник восхищался: «Это был такой красавец, что весь флот им любовался и весьма многие приезжали учиться чистоте, вооружению и военному порядку, на нем заведенному».

Фрегат «Паллада» впоследствии (уже без Нахимова) прошел океаны. И «вошел» навсегда в литературу: на нем путешествовал Гончаров... А Нахимов свое пребывание на фрегате отметил поступком весьма примечательным.

Дело было так. В составе 2-й балтийской дивизии «Паллада» находилась в плавании. Дивизию вел вице-адмирал Беллинсгаузен. Августовской ненастной ночью (крепкий шквалистый ветер, пасмурность, дождь) на фрегате Нахимова, запеленговав маячный огонь, определили, что эскадра вот-вот выскочит на камни. Момент был критический. Павел Степанович сделал сигнал: «Флот идет к опасности». Ответа флагмана не последовало. Тогда Нахимов, не теряя времени, уменьшил ход и поворотил на другой галс, то есть самовольно изменил курс, самовольно вышел из ордера, сломав походный порядок.

Но, во-первых, сигнальная книга предусматривала такой сигнал; стало быть, формально не запрещалось им воспользоваться, команду эскадрой хоть сам господь Бог. Во-вторых, сигнал Нахимова, который, как уверяют биографы, спас эскадру, сигнал этот, оказывается, не разобрали, не поняли на флагманском корабле. Да так вот и отметили — дважды, дважды! — в шканечном (вахтенном) журнале: ничего «по причине дождя и большого волнения рассмотреть не могли».

Нахимов поступил в строгом соответствии с правилами службы. У него, верно, был отличный штурман; может быть, проверив штурманский расчет, Нахимов убедился в его правоте. И все ж далеко не каждый, оказавшись на месте Павла Степановича, осмелился бы сделать то, что он сделал: указать на ошибку адмиралу. Да еще какому! Самому Беллинсгаузену, начальнику матерому, уважаемому и почитаемому, очень и очень авторитетному.

Суть поступка Нахимова лежит не столько в сфере профессиональной, сколько в сфере нравственной. Вообразите на минуту: предостережение оказалось вздорным. Что тогда? Неминуемое изгнание с флота, ежели не судебное разбирательство. Ведь малейшее нарушение субординации немедленно докладывалось царю. А Николай никогда и никому не прощал «дерзость». Он, например, без колебаний разжаловал в матросы капитана 1-го ранга, георгиевского кавалера за весьма несерьезное «ослушание противу своего бригадного командира».

Конечно, адмирал Беллинсгаузен, случилось, перечил и

самому Николаю, выгораживая подчиненного¹. Однако Нахимов прекрасно понимал, что «в его случае» заступничество Фаддея Фаддеевича не спасет от монаршего гнева. Но Нахимов не был бы Нахимовым, если бы предпочел уклониться, предпочел бы не оспаривать флагмана. Он был бы не Нахимовым, а разве лишь чиновником в морском мундире...

Что ж до спасения эскадры, то она действительно была спасена (хотя несколько кораблей выскочило-таки на камни) не самим по себе сигналом, а, очевидно, тем, что флагман обратил внимание на выход «Паллады» из строя и приказал переменить курс².

Говорят, Нахимов не только не пострадал, но даже удостоился похвалы из уст императора: «Я тебе обязан сохранением эскадры. Благодарю тебя. Я никогда этого не забуду!»

Много толков и пересудов вызвал поступок Нахимова. Ему дивились. Удивление весьма красноречивое: редкие сотоварищи Нахимова осмелились бы на нечто подобное.

В 1834 году Павла Степановича по ходатайству Лазарева перевели на Черное море. Сигналом «Флот идет к опасности» и закончилась, в сущности, балтийская жизнь Нахимова. Но вот еще что: в сигнале этом нетрудно усмотреть символику.

Николай посетил как-то один из балтийских кораблей. Императору приглянулась командирская каюта: в зеркалах отражались vis-a-vis он, Николай Палкин, и Петр Великий. Это было, уверяет современник, «очень эффектно», и «у государя явилась приятная улыбка».

Зеркала сего корабельного будуара отражали не только фи-

¹ В старой морской периодике попался мне следующий эпизод. На маневрах у Кронштадта в присутствии Николая Первого один корвет задел другой. «Под суд командира!» — грозно распорядился император. Беллинсгаузен, стоя рядом с царем, проворчал: «За всякую малость под суд... Молодой офицер желал отличиться... Не размерил расстояния и наткнулся... Не велика беда! Если за это под суд, у нас и флота не будет». Николай несколько смягчился: «Все-таки надо расследовать». — «Это будет сделано, но не судом», — ответил Беллинсгаузен.

² История флотов (не только парусных, но и паровых) знает случаи, когда командиры отдельных кораблей, замечая опасность, не перечили флагману и терпели аварии. Вместе с тем известно, что пример Нахимова не пропал втуне. Об одном из таких происшествий рассказал в письме к автору этой книги адмирал Е. Е. Шведе: «На моей памяти, кажется в 1915—1916 гг., первая бригада крейсеров Балтийского флота в составе крейсеров «Адмирал Макаров», «Баян», «Олег» и «Богатырь», возвращаясь в базу, должна была войти на внутренний шхерный фарватер, у такого-то острова (название забыл), но вместо этого головной корабль направился по ошибке к другому входному острову и шел опасным курсом. Тогда старший штурман крейсера «Баян» Степанов доложил своему командиру, что необходимо поднять сигнал: курс ведет к опасности. Увидев этот сигнал, головной корабль, на котором находился адмирал, изменил курс. Если бы сигнал был поднят зря, то поднявшему его грозили бы большие неприятности. Но это не был какой-то совершенно непредвиденный случай, а, наоборот, возможность его предусматривалась законом».

зиономию «царствующего благополучно», но и физиономию царствующей парадности. Деревянными придворными назвал кронштадтскую эскадру наблюдатель, отнюдь не бунтовщик; поклонника абсолютизма ужасала маршировка, перенесенная с территории на акваторию.

Однако Николаю, рассказывает другой наблюдатель, «было мало сделать из своих офицеров машины, в чем он зашел дальше своих предшественников, он захотел сделать из них машины, ничем не связанные друг с другом. Решившись истребить в их среде корпоративный дух, он прибег для этого к тайным мероприятиям, которые в конечном счете изгнали сердечность и умертвили теплое чувство товарищества...»¹.

Таков пейзаж. Безотрадный, как солончак. Однако в нем есть частности. Флот на юге отличался от флота на северо-западе. Некоторые поправки вносил географический фактор. Удаленность Севастополя от Зимнего дворца была благом. Конечно, для тех, кто желал служить, не желая прислуживать. А ведь и Лазарев однажды молвил: «Хоть я Николаю и многим обязан, но Россию на него никогда не променяю»².

Боевые операции давали черноморцам то, чего никак не могли дать балтийцам тамошние парадные упражнения: сознание своей значимости, государственной важности. Теперешней, сиюминутной, а не скрытой в туманах отдаленного будущего.

На южных морских рубежах России (как и на сухопутных кавказских линиях) возникало и крепло что-то похожее на непредусмотренное уставами братство. Тут нельзя было по-настоящему выслужиться, а надо было по-настоящему служить. Тут честолюбие получало другое, нестоличное звучание. Тут репутация складывалась не в гостиных, а на Графской пристани, этом севастопольском форуме, где неліцеприятно обсуждались корабельные маневры и работы, достоинства мичмана, управляющего шлюпкой, и достоинства адмирала, управляющего эскадрой.

Долгие годы черноморцы аттестовались «отчаянными» — бесшабашные кутилы, ерники, строптивцы и т.п. Но минуло время, и под влиянием таких людей, как Нахимов, «черноморцы переродились».

Характерную частности отметил писатель Н. С. Лесков: в Черноморском флоте, «в самую блестящую его пору, при командирах, имена которых покрыты неувыдаемою славою и

¹ Цит. по книге: Герштейн Э. Судьба Лермонтова. — М., 1964. С. 295.

² Цит. по книге: Островский Б. Лазарев. — М., 1966. С. 167. Ср. с высказыванием хотя бы Е. Ф. Канкрин: «Я министр финансов не России, а русского императора». Нет, чувство Лазарева сродни добролюбовскому: «Русь за царя я не предаю».

высокими доблестями чести и характеров, все избегали употребления титулов в разговоре. Там крепко жил простой и вполне хороший русский обычай называть друг друга не иначе как по крестному имени и отчеству... Таких славных героев, как Нахимов и Лазарев, подчиненные с семейною простотою называли в разговоре Павел Степанович, Михаил Петрович, а эти знаменитые адмиралы, в свою очередь, также называли по имени и отчеству офицеров... Такого простого обычая держались все, и флот дорожил этою простотою; она не оказывала никакого дурного влияния на характер субординации, а, напротив, по мнению старых моряков, она приносила пользу. «Через произношение имени,— рассказывают старые моряки, — все приказания начальника получали приятный оттенок отеческой кротости и исполнялись с любовью; а ответы подчиненных с таким же наименованием старшего придавали всяким объяснениям и оправданиям сыновнюю искренность».

Наконец, еще одно. Немаловажное в смысле не только практическом, но и моральном. Лихоимство, конечно, последовало законом. Но, скажем, в канцелярском, сановном Петербурге удачливый казнокрад вызывал лишь зависть, а не суровое порицание. На далеком от столицы флоте воров решительно не терпели. Их презирали, клеймили, не подавали руки, от них отворачивались. В том же очерке Н. С. Лескова рассказывается, как воспламенился отставной адмирал, человек «замечательной искренности и правдивости», когда в «морском ведомстве обнаружилось первое большое злоупотребление».

«— Слышали? Совершилось! Страшное пророчество совершилось!.. Ужас, позор и посрамленье! Наши моряки, наши до сих пор честные моряки обесславлены: среди нас есть люди, прикосновенные к взяткам!.. А он это предсказывал, я это напоминал, я говорил, что это предсказано, и это так сделается, вот и сделалось — и исполнилось, как он предсказал.

— Кто предсказал?

— Павел Степаныч!

— Какой Павел Степаныч?

— Как «какой Павел Степаныч»!.. Нахимов!

И Фреганг рассказал какой-то давний случай, когда покойный Нахимов был недоволен каким-то продовольственным распорядителем или комиссионером и стал его распекать, а тот, начав оправдываться, стал беспрестанно уснащать свою речь словами «ваше превосходительство». Это так взорвало адмирала, что он закричал:

— Что я вам за превосходительство! Что это еще такое! Вы имени моего, что ли, не знаете или прельщать меня превосходительством вздумали? У меня имя есть. Это вы — ваше превосходительство, а моряков нельзя так звать, они вашим

ремеслом не занимаются. Тогда их можно будет «так» звать, когда и они этим станут заниматься...»

По свойствам характера, склонностям, идеалам и надеждам Нахимову, несомненно, куда больше «подходило» Черноморье, нежели Балтика. Не один лишь зов учителя манил его «с милого севера в сторону южную». Подальше от сановного начальства. К черту «теткиных детей»!¹

Черное море — глава в жизни Нахимова. Долго подвизался он в огромном, важном деле, которое зовется созданием флота.

Бесспорно: по организации службы и подготовке служителей лазаревские эскадры выпестовались отлично. Но какой ценою? Разумеется, неустанными трудами Лазарева и его сподвижников. Разумеется, искусством Лазарева и его помощников. Но в эти неустанные труды, в это искусство приходится, к сожалению, включить и позорный «раздел» лазаревской морской школы: в ней, по свидетельству корреспондента «Колокола», царило «варварское обращение с бедными матросами».

Отмечая превосходную организацию службы и подготовки личного состава, нельзя опускать и еще одно обстоятельство: техническое оснащение русских военно-морских сил год от году все ощутимее отставало от европейских. То не была вина Лазаревых и Нахимовых. То была беда России, стреноженной одряхлевшим феодализмом. И в этом смысле Маркс и Энгельс не ошибались, когда в 1850 году, то есть накануне громадной войны, названной Крымской, констатировали слабость царского флота.

2

«Мы стояли в местечке***. Жизнь армейского офицера известна», — так начал Пушкин повесть «Выстрел».

Жизнь флотского офицера изображена другом Пушкина. У меня сохранились копии с его писем. Копии снял давно, почти уж четверть века назад, в Пушкинском доме, что в Ленинграде, а сами письма — тридцатых годов прошлого столетия. Их автор Ф. Ф. Матюшкин был Нахимову ровесником, сослуживцем и знакомцем, тоже, как и Павел Степанович, командовал кораблем и тоже был холост, а потому эти частные письма проливают некоторый свет и на обыденщину нашего героя. Заметим кстати, что адресовались они на Балтику, командиру корвета «Наварин», бывшего нахимовского.

¹ Насмешливое прозвище господ, утвердившихся в мягких креслах Адмиралтейства всесильной протекцией родственников. Нахимов чурался, даже как бы побаивался департаментов с их омутами клейстера и запахом сургуча.

«На празднествах и у нас веселятся, танцуют, гуляют, дают обеды и играют на театре. Веселятся, как и везде, со скукой пополам, танцуют тихим шагом, не в такт с разряженными куклами, гуляют для возбуждения аппетита до обеда, дают обеды не для людей, а для стерлядей, не для души, а для ухи».

«Что сказать вам о своем бытье? Вы знаете Севастополь. Живу я в доме поблизости гауптвахты. Тут хозяйничаем мы с Н. М. Вукотичем (который вам кланяется), стена об стену с Нахимовым и Стодольским. Я получил ваше письмо накануне снятия с якоря. 25 сентября М. П. Лазарев ходил с нами в море пробовать новые корабли. «Три святителя» и «Три иерарха» хорошие корабли, и каждый из них отвечает за трех, но моя старуха «Варшава» держится лучше, чем «Три святителя», лучше несет паруса... Люблю нашу службу, хоть, признаться, впереди ничего не видать! Бригада, бригадное счастье, бригадные ревматизмы... Прощайте, другой раз более, я не в духе»

«Я живу по-старому — каждый божий день в хижине и на корабле, вечером — в кругу старых братьев Нахимова, Стодольского. Вообще, проза, скука. Встаю в 7 часов, в 9 часов иду, несмотря на дождь и слякоть, на корабль, потом в экипаж — подписываю ведомости, книги, лепорты... В пушку, то есть в 12 часов, возвращаюсь в свою хату. Сажусь, обедаю, выкуриваю сигару и до 3 часов кейфую. Потом отправляюсь в библиотеку — читаю газеты и журналы. В 5 часов пью чай и читаю до 12 часов ночи, курю сигару и сплю. Один день как другой».

На Черном море Нахимов десятилетие командовал 84-пушечной «Силистрией». Он испытывал к кораблю отцовские чувства. Некогда стоял у колыбели «Азова», в «пеленках» принял балтийский фрегат, на эллинге досталась ему и «Силистрия», но с нею он не расставался десять лет кряду, если не считать тягостных месяцев, проведенных в Берлине, Карлсбаде, Гамбурге.

То был мрачный период в жизни Павла Степановича. На чужбину погнали болезни. Эскулапы мытарили пациента различными методами, снадобиями, хирургическим инструментом. Выхваченный из привычной колеи, одинокий, замученный и болезнью и лечением, теряя надежду на исцеление и даже подумывая о смерти, он пишет родственникам, пишет «любезному другу Мише» Рейнеке письма печальные, порою даже отчаянные.

«Пять недель не вставал, не чувствуя ни малейшего облегчения в моей настоящей болезни. Тогда я созвал консилиум — назначили другие средства, испытание которых, несмотря на страдание, нисколько меня не облегчило.

5 августа (24 июля)¹ снова была консультация... По долгом совещании решили отправить меня к Карлсбадским минеральным водам (в Богемию). Я так был болен и слаб, что комнату переходил с двух приемов... Я изнемог и нравственно и физически и уверен, что перенес более, нежели человек и может и должен вынести. Как часто приходит мне в голову, не смешно ли так долго страдать и для чего, что в этой безжизненной вялой жизни, из которой, конечно, лучшую и большую половину я уже прожил... Жаль и очень жаль, что средства мои слишком скудны, а то бы необходимо мне после Карлсбадских вод взять несколько ванн в Теплице, а потом проехать в Дрезден попробовать там счастье».

«До сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что остаюсь здесь на зиму, что еще 6 месяцев должны протечь для меня в ужасном бездействии. Разделаюсь ли, наконец, хоть после этого с своими физическими недугами? В отсутствие мое, вероятно, меня отчислят по флоту и назначат другого командира экипажа и корабля. Много мне было хлопот и за тем и за другим. Не знаю, кому достанется корабль «Силистрия». Кому суждено окончить воспитание этого юноши, которому дано доброе нравственное направление, дано доброе основание для всех наук, но который еще не кончил курса и не получил твердости, чтоб действовать самобытно. Не в этом состоянии располагал расстаться с ним, но что делать, надобно или служить, или лечиться».

Наконец некий здравомыслящий медик определил, что больного просто-напросто «отравили лекарствами», что «натуре следует отдохнуть», «переработать всю смесь», разлившуюся в организме. Павел Степанович тотчас ухватился за такой диагноз, собрал силы, собрал пожитки да и кинулся опрореметью в Россию.

В августе 1839 года он снова увидел Севастополь. Казалось бы, бухты, небо, волны должны были дохнуть целительным дыханьем. Увы, телесные недуги не отпускали. И Нахимов говорит Рейнеке: «Что для человека в этом мире выше и дороже здоровья? Взгляни на меня, есть и желание, есть и мысль, как сделать, да нет сил, так куда я годен, решительно никуда. И никак не рассчитываю долее двух лет служить на море, именно столько времени, сколько нужно для расплаты долгов...»

Но служить на море оставалось ему не два года, а пятнадцать. И не для расплаты с денежными долгами, а для уплаты того высокого долга, который, как твердо полагал Павел Степанович, всегда числился за ним перед родиной.

¹ 1838 года.

Весною сорокового года капитан 1-го ранга П. С. Нахимов поднялся на борт «Силистрии». Праздновать свое воскресение из полумертвых времени не было: флот готовился к крупной десантной операции.

3

Завоевание Кавказа царской Россией — драма долгая, напряженная, кровавая. Она отмечена упорством покорителей и героизмом покоряемых.

В первую половину прошлого столетия интересы русского царизма уперлись лоб в лоб с интересами турецкого султана, французских и особенно английских наживал. Узел, ту же гордиева, завязался на Кавказе, на Ближнем Востоке.

Кавказ покоряла русская армия. Флот работал на фланге. Работы хватало. Хотя согласно договору 1829 года берег от устья Кубани до Поти вошел в состав России, стамбульский повелитель не слишком тяготился договорными обязательствами. Его подданные возили на Кавказ оружие европейской выделки. А вывозили рабов абхазского и черкесского происхождения. Да заодно уж и русских военнопленных, также обреченных в рабов.

Санкт-Петербург возмущала отнюдь не участь несчастных абхазцев или черкешенок. И даже, пожалуй, не судьба пленного служивого, хотя тот и был казенным добром. По-настоящему, всерьез заботил и тревожил приток боевых средств к «немирным туземцам».

Николай, повторяем, хорошо сознавал роль и значение черноморских военно-морских сил. Отсюда и внимание к запросам Лазарева, и «невнимание» к тамошней, черноморской шагистике. Роль эту и значение ничуть не хуже Николая понимали и сам Лазарев, и командиры его отрядов и кораблей. Отсюда их особая собранность, чувство ответственности, желание — и умение! — создавать не «деревянных царедворцев», а воителей, окрыленных парусами. Подобные чувства, настроения и намерения были присущи и Нахимову.

«Силистрия» уже побывала в десантной операции. Но ее командир обретался тогда в «пресной, безводной стороне», где «никого не интересуют наши морские движения». Теперь, весною восьмьсот сорокового года, капитан 1-го ранга отправлялся к берегам Кавказа: совсем недавно, в феврале, горцы, видите ли, захватили два форта!

Лазарев держал флаг на «Силистрии». Там же находился и штаб эскадры; его возглавлял капитан 2-го ранга Владимир Алексеевич Корнилов, тоже бывший «азовец», участник Наваринской баталии. Ученикам своим, Нахимову и Корнилову, Лазарев поручал руководить гребными судами, когда спустят

на воду отряд генерал-лейтенанта Раевского. Того самого Раевского, что еще подростком геройски дрался на Бородинском поле; теперь он был начальником Черноморской береговой линии.

Итак, на отряды горцев поднялась грозная сила: несколько линейных кораблей, два транспорта и шхуна, фрегат, корвет и четверка пароходов; девять тысяч десантников; адмирал и генерал, сонм штаб- и обер-офицеров... Что и говорить, тяжелая поплыла туча!

Несколько суток спустя она нависла «при местечке Туапсе». Все развернулось по планам Лазарева. Перво-наперво грохнула залпами нахимовская 84-пушечная «Силистрия». Следом открыли огонь комендоры других кораблей. Гребные суда вспенили воду. Пушки продолжали победно греметь. На сей гром ответа не было: горцы не располагали артиллерией.

Шлюпки и баркасы шли хитро: двумя линиями, причем вторая следовала не за кормою, а в разрывах первой линии. Этим была достигнута одновременность высадки. На берегу произошла краткая и жестокая схватка. Противник отступил.

Российское государство, некогда ставшее ногою твердою при море Балтийском, теперь волей истории должно было другой ногою стать столь же твердо при море Черном.

Взирая на серию черноморских десантов академически бесстрастно, видишь их высокое мастерство. В анналах военноморского искусства отдается должное Лазареву, Корнилову, Нахимову. И это справедливо, ибо они:

- осуществляли гидрографическое обеспечение десантов, то есть заранее картировали район боевых действий;
- проводили репетиции десантов;
- грузились с таким расчетом, чтобы на суда принимать последними те грузы, которые следует первыми отдать берегу;
- всегда снабжали подчиненных четкой боевой документацией;
- пристально следили за выучкой комендоров, за состоянием артиллерии, как самой внушительной поддержки десантных войск.

И наконец, они держали крепкую и дружественную связь с командованием сухопутных войск. Мировой опыт показывает, что подобное взаимодействие, как будто бы и не требующее доказательств своей необходимости, достигалось далеко не всегда. Известно немало примеров борьбы честолюбий армейских и флотских военачальников, которое пагубно сказывалось на результатах кампаний. Континентальное положение России предопределило еще в петровские времена важность содружества кораблей и частей. Суворов и Ушаков явили памятные свидетельства этого стратегического и тактического положения. Лазарев и Раевский продолжили традицию, что громко сказалось и впоследствии — при обороне Севастополя.

И все ж, не боясь обвинений в «морском шовинизме», следует подчеркнуть, что без флота упрочение на побережье Кавказа взяло бы куда больше и времени и жизней. А форты, биваки и гарнизоны, разбросанные от устья Кубани до влажных и душных окрестностей Поти, никогда не обрели бы покоя, если бы флот не пресекал турецкую контрабанду. И вот она, вторая главная задача черноморцев: крейсерство. Участвовал в нем и Нахимов. Командуя «Силистрией», он осуществлял то же, что двадцать лет назад под командой Лазарева на фрегате «Крейсер» в водах заокеанских колоний России.

Напряжение десантных операций было сравнительно кратким. Напряжение крейсерской службы растягивалось на долгие месяцы. Десанты были черноморцам боевой школой; крейсерство — школой мореходства.

Свирепели штормы. Не было удобных гаваней, туманной и сложной была навигационная обстановка. В тех местах, где нынешние курортники малюют на скалах «Вася + Катя», море игрывало скверные шутки. Так, в нахимовское время на рейде Туапсе погибли тринадцать судов; у Сочи гигантские валы разнесли в щепки фрегат и корвет. Штормовые условия заставляли держаться подальше от берегов, а пенистое, изрытое ветрами море заставляло быть моряком с головы до пят.

Из года в год Нахимов нес на «Силистрии» томительную, муторную и опасную крейсерскую службу. Он старел на палубе. Там же, на палубной службе, получил контр-адмиральские эполеты. И тогда уж расстался с давно возмужавшим «юношей», со своим кораблем.

Однако простился он с «Силистрией» не ради теплого берегового местечка. С восьмьсот сорок шестого года Нахимов поднимает контр-адмиральский флаг, этот знак высшего флотского офицера, которым гордится каждый высший офицер флота, то на линейном корабле «Ягудиил», то на фрегате «Коварна», а потом и на «Двенадцати апостолах» — командует отрядом и дивизией.

Впоследствии в осажденном Севастополе Нахимов говаривал сослуживцам: «Вы черноморский моряк, вам смены нет-с и не будет-с!» Он вправе был так говорить, потому что сам был бессменным вахтенным Черноморья.

В книге Альфреда де Виньи «Неволя и величие солдата» есть несколько прекрасных страниц, посвященных одному адмиралу.

«Он постоянно обучал свои экипажи, наблюдал за подчиненными и бодрствовал за них; этот человек никогда не обладал никаким богатством, и при всем том, что его пожаловали пэром Англии, он любил свой оловянный бачок, как простой матрос... Порою он чувствовал, что здоровье его слабеет, и просил Англию пощадить его; но, неумолимая, она отвечала ему: «Оставайтесь в море!...» И он остался — до самой

смерти. Этот образ жизни древнего римлянина подавлял меня величием, трогал своей простотою, стоило мне понаблюдать хотя бы день за адмиралом, погруженным в раздумье и замкнувшимся в суровом самоотречении». Он, продолжает автор, «обладал в столь высокой степени тем внутренним спокойствием, которое рождается из священного чувства долга, и вместе с тем беспечной скромностью солдата, для которого мало что значит его личная слава, лишь бы процветало государство. Помню, как он однажды написал: «Отстаивать независимость моей страны — такое мое первое желание в жизни, и пусть уж лучше мое тело станет частью оплота, ограждающего рубежи моей родины, нежели его повезут на пышных дрогах сквозь праздную толпу...». Он явил мне пример того, каким подобает быть умному военачальнику, занимающемуся воинским искусством не ради честолюбия, а из одной любви к мастерству». Все это вполне приложимо и к Павлу Степановичу Нахимову.

Итак, годы и годы — в море. Десанты, крейсерство, практические плавания. «Вы черноморский моряк, вам смены нет-с и не будет-с!»

Деловые документы тех лет, написанные или подписанные контр-адмиралом Нахимовым, сохранились в архиве. Большею частью они опубликованы. Перелистывая их, видишь неустанный будничный труд, сосредоточенный на том, что зовется горбатым словом: боеготовность. Видишь человека, исполняющего свой долг с завидной тщательностью, спокойно, упорно. Видишь знатока, мастера, не дающего поблажки ни себе, ни другим. И понимаешь, что с таким адмиралом не могли искренне не считаться подчиненные, которые всегда знали, «что труба Нахимова или с корабля, или с квартиры наведена на рейд».

Но в официальных документах мне не встретились какие-либо замечания, мысли, рассуждения Нахимова относительно «лазаревской системы» в части, касающейся матросов, «нижних чинов».

Раньше уже говорилось о жестокости Лазарева (суровости, если угодно), о том, что многие, слишком многие лазаревцы верили в выдающиеся педагогические таланты розги, линьков, мордобоя.

Митрофан Иванович Скаловский, черноморский мичман, в воспоминаниях о корабельном житье-бытье пятидесятых годов не скрыл штукарства их «высокоблагородий». Один завязывал матросикам глаза, учинял ночную тревогу и понуждал унтеров лупцевать «мешкотных». Другой заставлял людей набрать полный рот воды, а затем гнал их на марсы и реи — «отрабатывал тишину» при тяжелых и опасных работах с парусами; потом, когда матросы спускались, проверял: есть ли вода? Не приведи господь — выплюнул: получай двадцать

пять горячих. Третий, заметив, что матросик разговаривает с младшим офицером, тоже прописывал порцию линьков. И так далее, и тому подобное.

Тем ценнее для нас отзыв Скаловского о Нахимове: «Он был искренно любим всеми моряками, как офицерами, так равно и матросами. Тогда было правило, чтобы нижние чины на берегу, при отдавании чести старшим, снимали бы фуражки и становились во фронт. Павел Степанович махал рукой отдававшему ему честь матросу, чтобы тот поскорее проходил дальше, а на корабле, если молодой матрос снимал фуражку, когда Павел Степанович отдавал ему приказание, то он говорил ему: «Что вы мне кланяетесь?.. Смотрите лучше за своим делом-с».

Но вот что неизмеримо важнее этого ворчливого шапочного либерализма — Нахимов вслух высказывает и повторяет: пора уж нам, то бишь офицерам, не считать матроса крепостным, а себя самих — помещиками в мундирах. Знаменательно! Так бы не мог не то чтобы говорить, но и помыслить лейтенант Нахимов, некогда арестованный Сенявиным за рукоприкладство.

Не возникает ли перед нами какой-то, я бы сказал, неожиданный Нахимов? Очевидно, походные морские годы не были лишь походными и морскими. Очевидно, в душе Нахимова постоянно совершалась трудная нравственная работа. Очевидно, опыты жизни и думы прибавляли Павлу Степановичу не одни лишь морщины.

Официальные документы, как и следовало ожидать, молчат на сей счет. Мемуаристы не переступают черту поверхностных констатаций: Нахимов был добр, Нахимов испытывал к матросам приязнь и т.д. Выручает биографа, пожалуй, только Виктор Иванович Зарудный.

Молодым офицером он служил у Нахимова. Впоследствии Зарудный написал ряд статей — по гидрографии, метеорологии, истории. Написал и беллетристическое произведение — «Фрегат «Бальчик», рассказ, снабженный чрезвычайно важной авторской сноской: имена персонажей и названия судов — вымышлены; все, относящееся к Нахимову, — доподлинно. Страницы «Фрегата «Бальчик», опубликованные в свое время журналом «Морской сборник», помогают уяснить нравственный облик Павла Степановича Нахимова зрелой поры.

Как говорит Зарудный, в Нахимове жила «могучая породистая симпатия к русскому человеку»; он был полон «горячим сочувствием к своему народу».

Вот тут-то и сокрыты пружины, определившие в конце концов нравственную основу поведения Нахимова. Эта симпатия и это сочувствие возрастали с годами. Все явственнее проступали природная доброта и теплота. Доброта, не пере-

ходящая, однако, во всепрощение; и теплота, не равнозначная старческой дряблости.

В отличие от сонма высших офицеров Нахимов, командуя, командовал не серой безликостью, а людьми. У него была не только талантливая голова, но и талантливое сердце. Он видел и понимал, как свидетельствует Зарудный, «тысячу различных оттенков в характерах и темпераментах».

Вот одно из рассуждений Нахимова, крепко запомнившееся автору «Фрегата «Бальчик»:

«Нельзя принять поголовно одинаковую меру со всеми... Подобное однообразие в действиях начальника показывает, что у него нет ничего общего с подчиненными и что он совершенно не понимает своих соотечественников... А вы думаете, что матрос не заметит этого? Заметит лучше, чем наш брат. Мы говорить умеем лучше, чем замечать, а последнее — уже их дело; а каково пойдет служба, когда все подчиненные будут наверно знать, что начальники их не любят и презирают их? Вот настоящая причина того, что на многих судах ничего не выходит и что некоторые молодые начальники одним страхом хотят действовать. Могу вас уверить, что так. Страх подчас хорошее дело, да согласитесь, что ненатуральная вещь несколько лет работать напропалую ради страха. Необходимо поощрение сочувствием; нужна любовь к своему делу-с, тогда с нашим лихим народом можно такие дела делать, что просто чудо».

Он обладал удивительной способностью изъясняться не красно, но толково, не пространно, но метко. В складе его ума было что-то крыловское: юмор, мудрое лукавство. Они-то подчас и ставили многих в тупик: впрямь ли он такой простака, как кажется, или это только кажется, что он такой простака?

Насквозь русский, не терпевший холопьего умиления перед иностранщиной, он умел отдавать должное нерусскому. Оценивая знаменитую трафальгарскую баталию, Нахимов хвалил Нельсона. Но характерно: з а ч т о? Павел Степанович указывал: английский флотоводец взял верх не маневром, не хитростью, не личным военным гением, хотя и был военным гением, а тем, что «п о с т и г д у х н а р о д н о й г о р д о с т и своих подчиненных».

Именно в постижении, в поддержке духа народной гордости Нахимов усматривал главную задачу офицеров. Как старших, так и младших. Свою собственную в первую очередь. У матроса, говорил он, следует воспитывать «запальчивый энтузиазм». Не ясно ль, что адмирал имел в виду активное мужество? Последнее невысказанно без «духа гордости». А этот последний опять-таки невысказан в человеке униженном и оскорбленном.

Все, указанное выше, обусловило в основном решительный, коренной пересмотр (без деклараций, о пересмотре) отношения Павла Степановича к «нижним чинам». Однако

было бы натяжкой приписывать перемену одному лишь «душевному росту» Нахимова, одной лишь внутренней работе самоусовершенствования, начисто отрезанной от влияния внешних обстоятельств.

Оглядимся вокруг.

Идея освобождения крестьян носилась в воздухе. Рабство себя изжило. Бенкендорф, шеф жандармов, назвал крепостное состояние пороховым погребом под государством. На каких условиях освобождать рабов, с какой «скоростью» освобождать — это уж другая статья. Но то, что освобождать придется, сознавал и «первый дворянин империи», твердокаменный Николай Павлович.

Из уст в уста передавали царево замечание: «Я не хочу умереть, не совершив двух дел: издания Свода законов и уничтожения крепостного права». Толковали и про некий секретный комитет, занятый крестьянским вопросом. (Комитет и вправду заседал, хотя потому лишь, что было на чем заседать.) Толковали и об указе, по коему помещики смогут отпускать мужиков в «обязанные» — давать им личную свободу и не давать наделов.

В 1847 году царь принял депутацию земляков Нахимова, смоленских дворян. Признавая дворянское «право» на землю, государь прибавил, что крестьянин при всем при том «не может считаться собственностью, а тем менее вещью».

Короче, такие веяния носились в воздухе. И конечно, доносились до офицерской среды. Лазарев, например, писал другу в Петербург: «Обещание твое уведомлять иногда, что у вас предпринимается насчет мысли об освобождении крестьян, я приму с благодарностью»¹. Но из этого письма, из этих строк не усмотришь отношения автора к отмене крепостного права.

Ну, а Нахимов? Что же Павел Степанович? Во-первых, Нахимов откровенно высказывался против крепостничества. А большинство нахимовских «одноклассников», большинство российского дворянства при одном намеке на освобождение подневольных земледельцев либо падало в обморок, либо впадало в ярость. И даже после Крымской войны, подписавшей рабству окончательный смертный приговор, сопротивление владельцев душ не ослабело, а, напротив, возгорелось пуще прежнего.

Во-вторых, высказывался Нахимов вовсе не ради кают-компанейского красноречия. Нет, он и в корабельной обыденности не глядел уже на «нижних чинов» как на бессловесный судовой инвентарь.

Вот это-то и легло в основу его отношений с матросами. Вот отсюда-то, конечно, и та редкостная, всеобщая любовь к

¹ Цит. по книге: Островский Б. Лазарев. — М., 1966. С. 167.

нему, переходящая в обожание. Любовь, столь ярко озарившая Нахимова в трагические севастопольские дни.

«Матросы любят и понимают меня, — не без гордости сказал он однажды, — я эту привязанностью дорожу больше, чем отзывами каких-нибудь чванных дворянчиков-с».

4

Был мирный Севастополь.

Изю всех городов юга не знаю города лучше. В нем есть особенное сдержанное достоинство. Он пахнет нагретым инкерманским камнем, виноградной лозой, морской солью. Иногда здесь внятно веет недалней степной полынью. В близне стен — свежесть корабельной опрятности. Дневные летние ветры носят звон судовой рынды и пароходный дым, всегда волнующий. А летними ночами ветер течет с гор, звезды над Севастополем влажнеют... Изю всех городов нашего юга не знаю города лучше!

За полстолетия до Нахимова, увидевшего Севастополь в тридцатых годах, другой моряк появился у руин античного Херсонеса. Моряку этому недоставало таланта Державина, чтобы сочинить оду, но достало ума, чтобы оценить увиденное. И вице-адмирал Клокачев отписал Адмиралтейству:

«При самом входе в Ахтиарскую гавань дивился я ее хорошему расположению, а вошедши и осмотревши, могу сказать, что по всей Европе нет подобной сей гавани положением, величиной и глубиной; можно иметь в ней флот до ста кораблей. Ко всему тому природа устроила такие лиманы, что сами по себе отделены на разные гавани. Без собственного обозрения нельзя поверить, чтобы так сия гавань была хороша. Ныне я принялся аккуратно гавань и положение ее мест описывать и, коль скоро кончу, немедленно пришлю карту. Ежели благоугодно будет ее императорскому величеству иметь в здешней гавани флот, то на подобном основании надобно будет завести, как в Кронштадте»¹.

В том же 1783 году бухта, пока еще Ахтиарская, как и близлежащая татарская деревенька, укрыла на зиму первые русские корабли и первых русских поселенцев. А было их всего-навсего две тысячи шестьсот душ.

На берегах гавани, лучшей в Европе, родился город. Крестил Потемкин: Севастополь, то есть знаменитый, славный, достопочтенный город, или, точнее, величавый, царственный.

¹ Еще за десятилетие до того существовала карта Севастопольской бухты, «сочиненная штурманом ранга подпрапорщичьего Иваном Батуриным в 1773-м году». Однако никто раньше Клокачева столь отчетливо не понял практического значения гавани.

Облюбованный моряками, он моряками и выхаживался. Архитекторы носили мундиры и занимались делами первой необходимости: казенными строениями, пристанями, мостовой, водопроводом, выбором места под адмиралтейство.

Каждый камень был положен не каменщиками, а матросами. Они же сложили и парадный причал. Потемкин велел звать причал Екатерининским, в честь матушки-императрицы, а все стали звать его Графским, коль скоро шлюпка графа Войновича, местного флотского начальника, приваливала и отваливала именно здесь. И мысок неподалеку стали звать Павловским не в честь наследника, а в честь ушаковского корабля «Святой Павел».

Следом за моряками потянулись лавочники, содержатели трактиров, подрядчики, стряпухи — словом, всяческого рода «обыватели». И вот уж появились домики из ноздреватого инкерманского камня, чистенько выбеленные, корабельно опрятные.

Идиллия? Нет, все двигалось с превеликой натугой. Вечно недоставало рук, материалов, припасов. Отдаленность, дурные дороги и отменное бездорожье, война с Турцией, эпидемии, скудость пресной воды и прочая, прочая, прочая окрашивали жизнь севастопольскую не в розовый цвет.

Даже адмирал Ушаков, человек поразительной энергии, с трудом изыскивал возможности для портового и городского благоустройства. Да и времени у Федора Федоровича было в обрез — краткая, хлипкая зимушка. А зимой следовало в первую голову озаботиться ремонтом эскадры, истрепанной в походах, изъеденной червоточцами.

Приходилось и воевать и созидать. Севастопольцы поспевали и ворочать корабельные пушки, и закладывать береговые фундаменты.

Уже на плане 1797 года можно рассмотреть Севастополь и его окрестности, которые застал Нахимов: хутора, сады, общественный сад в Ушаковой балке, Артиллерийскую и Корабельную слободки. Городскую сторону, довольно плотно застроенную... «Со стороны казны, — элегически резюмирует летописец города, — средств на это почти никаких потрачено не было».

Прижимистость казны, тороватой на всяческие дворцовые роскошества и фейерверки, тяжело сказалась не столько на благоустройстве, сколько на всей судьбе Севастополя.

Еще до рождения Нахимова, еще до того, как он поступил в корпус, главным командиром Черноморского флота был французский эмигрант маркиз де Траверсе.

Репутация у маркиза Жана-Франсуа, переименованного в Ивана Ивановича, плачевная. Его побивали камнями и современники и историки: превосходный царедворец и прескверный мореходец.

Маркиз этот довольно скоро усвоил очевидность: Александр Первый не чета Петру Первому. К морскому ведомству Благославленный питал, мягко выражаясь, неприязнь. Он был, пожалуй, самым континентальным из всех российских венценосцев. Вот это-то и учуял Иван Иванович, ибо, как говорил Бальзак, «у провансальцев ум живой». И, учуяв, почел за личное благо не докучать императору флотскими нуждами.

Однако на Черном море, в Севастополе, де Траверсе подвизался в первый год царствования Александра. Тогда маркиз, видимо, еще не был достаточно осведомлен о государевом презрении к военно-морским силам. Посему Иван Иванович всерьез подумывал о защите главной базы южного флота. Примечательно: не только водных к ней подступов, но и сухопутных. Он предлагал превратить прекрасный военный порт еще и в прекрасную крепость — «весь город обнести сплошными каменными верками с надлежащими рвами», то есть возвести как раз те фортификационные сооружения, отсутствие которых отозвалось впоследствии, уже в нахимовское время, гигантскими жертвами. Царь проект забраковал. На бумагах, присланных из Севастополя, означилось мертвенно-равнодушное: «Хранить до востребования».

Несколько позже, когда уж маркиз уместился в министерском кресле, Черноморским флотом командовал адмирал Грейг. В отличие от француза шотландец не был царедворцем, но, как и француз, не отличался военно-административным даром. Черноморский флот и при нем влачил жалкое существование. Правда, это отчасти можно объяснить тем, что тогда перед черноморцами не стояли по-настоящему крупные стратегические или тактические задачи.

И все ж Грейг, подобно де Траверсе, достаточно пристально помышлял об укреплении Севастополя. Он тоже составлял планы и чертежи. Их постигала участь предыдущих — архивное погребение.

При Лазареве «верхи», наконец, осознали настоятельную необходимость озаботиться укреплением главной базы на Черном море. Как раз в тот год, когда Нахимов покинул Балтику, Петербург запросил Лазарева: по силам ли англичанам прорваться в Севастополь с моря?

Тревожились в столице не напрасно: кроме агентурных сведений о «некоторых намерениях», был уже и факт — поздней осенью 1829 года британский фрегат, не спрашивая разрешения, нахально сунулся в бухту¹.

Лазарев не принадлежал к числу тех, кто пуще всего боится докучать высокому начальству. Он не пугал, но и не уте-

¹ Англичане вели на Черном море весьма деятельную разведку. Уже при Лазареве там шныряли соглядатаи на фрегате «Мадагаскар», военном судне «Туркуаз», шхуне «Лорд Чарлз Спенсер», пароходе «Плутон» и др.

шал. Ответил: Севастополь требует значительных, дорогостоящих сооружений. Больше того, адмирал не пощадил самолюбия Николая, заявив, что уж если англичане пожалуют, то, конечно, с флотом «гораздо нашего сильнейшим».

Ассигнования были отпущены. Не без проволочек, но отпущены. Работы начались. Они были циклопическими. Лазарев назвал их «достойными времен римских». Строилось отличное адмиралтейство. Возникали батареи для прикрытия подходов с моря. То были сооружения, о которых у Энгельса сказано, что они возводились «в соответствии с принципами, впервые провозглашенными Монталамбером¹, — принципами, которые в более или менее измененном виде получили всеобщее признание и особенно широко используются при строительстве сооружений береговой обороны. Помимо Кронштадта, примером широкого их применения для этой цели могут служить Шербур и Севастополь. Для этих сооружений характерны два-три яруса орудий, расположенных один над другим, причем орудия нижнего яруса установлены в казематах — а именно, в небольших сводчатых помещениях, в которых орудия и прислуга укрыты от огня противника самым надежным образом».

Лазарев, несомненно, трудился для Севастополя и много, и толково, и рачительно. Однако при самом внимательном рассмотрении увесистого тома лазаревских служебных документов не обнаруживаешь замыслов, схожих с планами де Траверсе. Лазарев озабочен укреплением Севастопольского порта, укреплением города лишь со стороны моря. Правда, он предлагает установить на окрестных высотах полевые орудия. Для чего? Главным образом для того, чтобы они вступили в дело, если будут подавлены двух- и трехъярусные портовые батареи. Возможность десанта противника не отвергается адмиралом вчистую. Но десант не слишком-то беспокоит его: с неприятелем, утверждает Михаил Петрович, управятся армейцы, те, что присланы для строительных работ.

Стало быть, Лазарев думал только о морской обороне базы. В сущности, он даже отдаленно не предполагал, что ее в основном придется отстаивать на суше...

А пока был мирный Севастополь.

Еще посылал свой указующий свет проблесковый Херсонесский маяк, приветно горели инкерманские маячные огни, по створу которых шел Нахимов, возвращаясь на рейд.

Он возвращался и утрами, когда брызжет солнце на заспанный белехонький город и не шелохнут тополя у дороги на Балаклаву. Возвращался и на вечерних зорях, когда горы подернуты сиреневым, сизым, палевым.

¹ Марк Рене Монталамбер (1714—1800) — французский генерал, военный инженер, автор системы фортификации, получившей широкое применение в прошлом столетии.

К Графской пристани приваливал вельбот, от портика с колоннадой веяло празднично. Площадь с фонтаном возвращала походке ровность, отнятую палубой. Ведренными вечерами на площади играла полковая музыка, и тут уж только поспевай отдавать поклоны, отвечать на улыбки и приветствия, замечая, как расцвела барышня N и как похорошела госпожа NN.

Вот картинка тогдашнего Севастополя. Она передает его дух, общее настроение. «Роскошная южная ночь с приятным береговым ветерком, фосфорический блеск от спящих постоянно шлюпок, два хора музыки и оживленный говор молодых моряков с лицами прекрасного пола придавали этому муравейнику чарующую прелесть. В то время Севастополь жил в полном обаянии морского увлечения. Вход эскадры с моря собирал все общество на малом бульваре. Это была оживленная, великолепная картина, возбуждавшая особенно напряженное внимание женского пола. Корабли и фрегаты, в последовательном порядке, один за другим, под всеми парусами неслись на рейд; каждое судно, подходя к определенному месту, чтобы стать на якорь, мгновенно сбрасывало лисели, а потом все паруса и шлюпки; в четверть часа все убрано, уложено, реи выправлены, шлюпки у выстрелов, трапы спущены... Пристрастная любовь к морю и морскому освоению была привита не только семьям моряков, но этим поветрием были заражены и прочие обыватели».

Было приятно пройтись по Екатерининской, лучшей в городе, видеть домашние огни, слышать детский смех, говор, звяканье посуды, несмелое или бойкое музицирование, запах кондитерских и кофеен.

Он знал дома и улицы этого города, слободки и балки, знал множество людей в этом городе, и весь город знал сутуловатого, с рыжиной адмирала, чуждого и намека на спесь, всегда готового раскрыть кошелек для какого-нибудь отставного боцмана, для какой-нибудь матроски в низко, до выгоревших бровей, повязанном платке или сопливого сорванца в перешитой и залатанной отцовской одежде.

Он любил Севастополь молчаливой любовью. И быть может, не сознавал всю степень этой любви, пока небо над Севастополем не стало огненным.

Нахимов жил на берегу, близ Графской пристани, жил там обычно с поздней осени до ранней весны. Из окон виднелся рейд. На подоконнике лежала подзорная труба; шагреневая обшивка хранила тепло его ладоней. Квартира была опрятная, не заставленная мебелью: Павел Степанович, как многие одинокие люди, как многие корабельные люди, привык расхаживать из угла в угол. Он жил, замечает современник, «со скромностью древнего философа».

Его, бывало, встретишь и в доме Лазарева, и за ужином с

Корниловым, на именинах сослуживца или на крестинах у подчиненного, всюду был он желанным и званым¹. Но если вы хотели повидать Нахимова и не заставляли его на квартире, в экипажах флотской дивизии, у товарищей, то уж непременно обнаруживали в том красивом здании, куда вела широкая лестница с двумя сфинксами спокойно-внушительными, как в Петербурге, напротив Академии художеств.

Вы подходили к ограде и отворяли тяжелую калитку. В саду теснились акации; желтели дорожки, обложенные по краям крупной галькой. Перед вами белел фасад и эта вот пологая каменная лестница с двумя сфинксами. В прихожей вы отдавали фуражку и пальто старику-швейцару.

Потом опять лестница; но уже не местного камня, а мраморная, кажется даже каррарского мрамора, роскошная лестница с надраенными бронзовыми поручнями. И наконец, вы оказывались в Палладиуме Севастополя, как благоговейно выражался Владимир Алексеевич Корнилов.

В просторных светлых комнатах мерцало красное дерево. На английских гравюрах безмолвно кипело море, грозно круглился пушечный дым. Чучела морских птиц тускло поблескивали разноцветными пуговичными глазами. Громадная модель линейного корабля отбрасывала тень на лощеный паркет. Отлично исполненные географические карты, подвешенные на тонких штертах, плавно опускались и поднимались (для удобства зрителя) на деревянных блоках. В ненастье солидный камин полнил теплом и бликами читальню с ее глубокими креслами и двумя длинными столами — на одном вас ждали иностранные и русские газеты, на другом — журналы.

Но главное — тут было множество высоких, тяжелых, прекрасной полировки шкафов — шкафов с сотнями книг, тысячами книг, десятками тысяч книг.

Морская библиотека — гордость севастопольцев составлялась годами, без участия казны, на добротные взносы. Ей служили как общественному делу, и она считалась общественным достоянием. Там сходились не ради хереса и не ради «кокеток записных», а повинувшись духовному, нравственному родству. Когда в Морской библиотеке случился пожар, его бросились тушить, как тушат судовое гибельное пламя. Когда после пожара вице-адмирал Корнилов приехал в Петербург, он не почел зазорным буквально выпрашивать деньги, чтобы пособить черноморцам в их «общественном бедствии».

Нахимов, как и Корнилов, был выборным директором Морской библиотеки. Библиотека была Павлу Степановичу

¹ Один капитан-лейтенант, наблюдавший «домашнего» Нахимова, писал: «В Павле Степановиче я никогда не подозревал способности быть столь любезным с дамами и особенно такую привязанность к детям».

заветным местом, которому отдаешь не досужий, скучливый часок, но пристальное внимание, любовную заботу.

Находились спесивые или попросту глупые люди, видевшие в Нахимове обыкновенного боцмана с адмиральскими эполетами. Ничто так не рушит это кургузое мнение, как отношение Павла Степановича к книжным богатствам, его упорное стремление заворожить «черноморов» чтением специальной литературы.

Он был совершенно согласен с Корниловым в том, что именно они, адмиралы, обязаны думать «об этой молодежи, брошенной сюда за тысячи верст от своих родных и знакомых и которая, не имея книг, поневоле обратится к картам и другим несчастным занятиям».

Да, если б вам захотелось повидать Павла Степановича и вы не нашли бы его ни дома, ни у друзей, то непременно увидели бы в Морской библиотеке, где дышал камин и шелестели страницы.

А в другое, тоже очень известное, изящное и примечательное здание тогдашнего Севастополя не стоило и заглядывать — в Дворянское собрание.

Там были и огромная танцевальная зала, и бильярдная, и хорошо содержавшийся буфет, и вышколенная прислуга, умевшая потрафлять господам. Однако Павел Степанович, уже будучи в чинах адмиральских, по-прежнему чуждался бального шума, кутежей, зеленого сукна ломберных и бильярдных столов.

Но едва началась осада Севастополя, как Нахимов стал наведываться в Дворянское собрание чуть ли не каждодневно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Во все это время около входа в собрание на улице, где так нередко падали ракеты, взрывая землю, и лопались бомбы, стояла всегда транспортная рота солдат под командою деятельного и распорядительного подпоручика Яни; койки и окровавленные носилки были в готовности принять раненых... Огромная танцевальная зала беспрестанно наполнялась и опоражнивалась; приносимые раненые складывались вместе с носилками целыми рядами на паркетном полу, пропитанном на целые полвершка запекшеюся кровью; стоны и крики страдальцев, последние вздохи умирающих, приказания распоряджающихся громко раздавались в зале. Врачи, фельдшера и служители составляли группы, беспрестанно двигавшиеся между рядами раненых, лежавших с оторванными, раздробленными членами, бледных как полотно от потери крови и от сотрясений, производимых громадными снарядами; между

солдатскими шинелями мелькали везде белые капюшоны сестер, разносивших вино и чай, помогавших при перевязке и отбиравших на сохранение деньги и вещи страдальцев».

«Двери залы ежеминутно отворялись и затворялись; вносили и выносили по команде: «На стол», «На койку», «В дом Гущина», «В Инженерный», «В Николаевскую». В боковой довольно обширной комнате (операционной) на трех столах кровь лилась при производстве операций; матрос Пашкевич — живой турникет Дворянского собрания (отличавшийся искусством прижимать артерии при ампутациях) — едва успевал следовать призыву врачей, переходя от одного стола к другому; с неподвижным лицом, молча, он исполнял в точности данные ему приказания, зная, что неутомимой руке его поручалась жизнь собрата».

«Ночью, при свете стеарина, те же кровавые сцены, и нередко еще в больших размерах, представлялись в зале Дворянского собрания... Чтобы иметь понятие о всех трудностях этого положения, нужно себе живо представить темную южную ночь, ряды носильщиков при тусклом свете фонарей, направленных к входу Собрания и едва прокладывающих себе путь сквозь толпы раненых пешеходов, сомкнувшихся в дверях его. Все стремятся за помощью и на помощь, каждый хочет скорого пособия, раненый громко требует перевязки или операции, умирающий — последнего отдыха, все — облегчения страданий».

Это строки официального отчета знаменитейшего хирурга. Там же, как и в частных его письмах из Севастополя, упоминается Павел Степанович: «Видаюсь нередко и с Нахимовым»; «Здесь все говорят о нем, как он того заслуживает — с уважением»; «Нахимов прислал мне из библиотеки много разных книг». И уже после гибели адмирала: «незабвенный Нахимов».

До войны они не были знакомы. Познакомились в осажденном Севастополе. Сближение члена-корреспондента Академии наук Николая Ивановича Пирогова с вице-адмиралом Павлом Степановичем Нахимовым диктовалось общими заботами. Но, пожалуй, не только этим.

В нравственном облике ученого и в нравственном облике флотоводца нетрудно заметить родство: глубокая, беспокойная любовь к отчизне и «брезгливость к национальному хвастовству, ухарству и шовинизму»; самозабвенная преданность делу; честность, запрещающая угодничать и приятничать; простота в обиходе и в обращении с младшими (не возрастом лишь, но и положением); наконец, негромкое, повседневное геройство.

Но война не давала Нахимову и Пирогову долгих свиданий. Они чаще всего встречались там, где жестокость войны обнаруживалась с грубой, беспощадной наготовою.

Нахимов посещал севастопольские госпитали, потому что они как бы продолжали и завершали то дело, которое изо дня в день, из ночи в ночь делалось на бастионах. Все эти искалеченные и умирающие люди были Нахимову товарищами, соратниками. Он приходил к ним, чтобы сказать доброе тихое слово, прощально пожать слабеющую руку.

Среди тех, кто был повержен, обезображен, исковеркан огнем и железом, среди тех, кому теперь ничего не оставалось, кроме братской ямины на Северной стороне или жалких подаяний на бесконечных дорогах России — среди них Нахимов видел и матросов, участников морского сражения. Того, что произошло незадолго до осады Севастополя...

1

Конец военных катастроф возникает из пушечного пламени. Начало военных катастроф возникает при свечах дипломатических канцелярий.

Давний спор из-за «восточного вопроса» походил на тайный огонь торфяных болот. А дымом стлалось краснбайство: положение христианского меньшинства в мусульманской Турции, ключи ко гробу господню в Иерусалиме, подвластном султану, и т.п.

Речь шла совсем о других ключах, о ключах к «собственному дому», как говорили в Санкт-Петербурге: о Босфоре и Дарданеллах, этой узкой и короткой дороге в Черном море, из Черного моря.

Ни Англия, ни Франция не испытывали ни малейшего желания вручить пресловутые ключи России. Турция — тем паче. Ни Англия, ни Франция, ни Россия не были правы в Крымской войне. В Крымской войне были виноваты Россия, Англия, Франция. Понятно, не английский углекоп и не французский ткач, не русский пахарь и не турецкий бедняк. Они войны не ждали и не жаждали. Они лишь (!!!) оплатили ее векселя собственной кровью.

Николай Первый был не только уверен в мощи своих вооруженных сил, но и в мощи своего полководческого дара. Ведь он поражал прихлебателей памятью: номера дивизий, названия полков, фамилии офицеров. Он, самодержец, склонялся над картами. И представьте, не одними генеральными, но и топографическими. Он подолгу и вдумчиво рассматривал макеты крепостей. Чего же боле? Ну разве не полководец? Его уверенность истово и радостно крепила толпа, стоящая у трона. О таких «оптимистах» и говорил Лесков, что они «прыгали, чиликали, наскакивали, и никому в голову не приходило посмотреть, не реет ли где поверху ястреб, а только бойчились и чирикали: «Мы еще повоюем, черт возьми!»

Воевать тогда многим ужасно хотелось. Начитанные люди с патриотической гордостью повторяли фразу, что «Россия — государство военное».

Чем ближе была война, тем громче грохотали барабаны похвалы. Мне встретился лишь один случай официальной остротки, данной «оптимистам». Да и та исходила не от царя, а от его сына Константина, генерал-адмирала, шефа флота, человека весьма и весьма неглупого. Вот уникальный циркуляр, последовавший как-то от министра просвещения для сведения и руководства цензуры:

«В одной рукописи, предназначавшейся к напечатанию, оказались, между прочим, рассуждения о предполагаемых действиях русского флота... Рассуждения эти имели патриотический характер, но состояли, большею частью, из предсказаний нашему флоту и его августейшему начальнику блистательных успехов... Вследствие изъявленного его императорским высочеством государем великим князем Константином Николаевичем желанием, покорнейше прошу ваше превосходительство предложить по цензуре вверенного вам, милостивый государь, округа, чтобы впредь были отклоняемы похвалы будущим, т.е. не состоявшимся еще, действиям нашего флота, и положительно не допускались похвалы и одобрения действиям и намерениям его императорского высочества».

Конечно, находились трезвые головы, патриоты не из папки. Они видели неподготовленность России к войне, видели, что парадность и гладкопись — фиговый лист.

Однажды некий генерал похвалил офицера за то, что его кобыла хорошо держит строй. Офицер выразительно глянул на генерала: «Действительно, ваше превосходительство, наша репутация зависит от скотов!» Другой офицер отмечал негодность стрелкового оружия: «После первого залпа 1/8 часть пуль оставалась в дулах ружей, потому что многие курки не спускались, другие — не взводились, на полках не было стали...» — и далее перечислил множество всяческих неисправностей, гибельных в бою. Третий офицер подал начальству записку о грабительстве интендантства, безобразном состоянии «семьи» армейских офицеров, противоречивых приказах командования. Четвертый, уже флотский, беседуя со штатским, восхитившимся парусной эскадрой, печально сказал: «Это ничего не значит, все-таки у нас флота нет. Эти корабли не годятся для дела, потому что они не винтовые».

Слова, приведенные выше, произнес Ф. М. Новосильский, сослуживец Нахимова. Правда, разговор со штатским петербуржцем происходил после ужасных уроков Крымской войны, но мысль о настоящей необходимости парового и винтового флота владела зоркими моряками еще до войны.

Нахимов был из числа зорких. Конечно, лейтенантом, в Архангельске, наблюдая неуклюжие, будто в подпитии, ма-

невры только что испеченного пароходика, налетевшего в конце концов на баржу, Нахимов мог насмешливо усмехнуться. Конечно, Завалишин мог слышать от молодого Нахимова презрительное: «Самовар!», брошенное в сторону увальня с высокой трубой. И конечно, летящая белокрылая эскадра доставляла Нахимову не только профессиональное, но еще и эстетическое удовольствие. Парусный корабль издревле был воплощенной красотой; пароход еще не успел стать ею. Однако Нахимов, как и Корнилов (последний, кажется, в еще большей степени), понимал, что прогресс не щадит сердечных склонностей.

Корнилов и Нахимов не явились словно *deus ex machina*; существовала такая штука у древних: бог из машины, который опускался на сцену и разрешал все сложности, посильные божеству и непосильные человеку.

Из ничего не возникает нечто. Западные морские державы, обзаводясь новым флотом, естественно, понуждали своих моряков размышлять на сей счет. Понуждали испытывать, пробовать, искать и находить способы, приемы, правила использования паровых боевых судов. И нет ничего зазорного в том, что русские моряки внимательно приглядывались к своим западным коллегам.

Некоторые соотечественники Корнилова и Нахимова поняли значение пара для военно-морской практики задолго до Владимира Алексеевича и Павла Степановича.

Николай Бестужев, будущий известный декабрист, набросал свою записку о пароходах еще в те годы, когда Нахимов носил кадетскую куртку. Бестужев воспроизвел свою беседу с каким-то французом. Они вместе шлепали на первом в России пироскафе из Петербурга в Кронштадт. После общих замечаний о приятностях подобного рода транспорта, об его коммерческой выгоде, Бестужев записал: «...Приступлю к предмету важнейшему, выполнение которого... зависит от времени и от внимания правительства. Я хочу говорить о морской войне и о способах, каковые могут дать во время оной пароходы». И далее — о преимуществах в бою парового двигателя.

Примерно в ту же пору другой морской офицер, старше Бестужева и возрастом и чином, Петр Рикорд, выступил в журнале «Сын отечества» с уверенным предсказанием блестящей будущности паровой машине, поставленной на судно.

Но все это были, так сказать, общие рассуждения. А вот уж в то время, когда Нахимова произвели в контр-адмиралы, другой журнал — орган морского ведомства — поместил «Опыт изложения некоторых начал паровой тактики». Статью перевели с французского; написал ее капитан флота Л. дю Парк.

Дю Парк рассмотрел множество практических вопросов:

как паровому судну сниматься с якоря и как становиться на якорь; как входить в порт и выходить из порта; как поступать, угодив на мель, и что предпринимать при взрыве котлов... Второй раздел д-р Парк озаглавил: «Употребление пароходов в военных действиях». Тут уж он трактует о погонях и буксировках, о месте пароходов в боевом порядке эскадры, абордажах, конвоях, паровых сражениях и т.д.

«Опыт», напечатанный в «Записках гидрографического департамента морского министерства», несомненно прочитали внимательно и памятно многие ревностные завсегдатаи сева-стопольской офицерской библиотеки. Кстати сказать, в ее фондах, кроме географических и исторических сочинений, была и английская техническая периодика, ценность которой Корнилов усматривал как раз в том, что она освещала «пароходный вопрос».

Вопрос этот Корнилов изучал не только книжно, но и на месте: он ездил в Англию, где «приступил к обозрению всего, что относится до пароходства». В Англии были заказаны для Черноморского флота и первые пароходо-фрегаты, между ними и «Владимир», отличившийся в бою с «Перваз Бахри». Почерпнув немало полезного в Англии, Корнилов посетил еще верфи и порты Франции.

Нахимов за границу не ездил. Но пароходо-фрегаты находились в составе его дивизии. На море, в десантных и крейсерских операциях Павел Степанович настойчиво «отрабатывал» действия и взаимодействия паровых судов. «Без пароходов как без рук». И все ж пальму первенства отдавал он парусам. Очевидно, не от избытка преданности старине, а из-за явной недостатка новины.

Покамест на черноморских рейдах, под черноморским небом начинали дымить пароходо-фрегаты, передвигавшиеся с помощью колес, на Западе приступили к постройке винтовых.

Может быть, Корнилов, кто-то еще из русских очень скоро заметили революцию, произведенную винтовым двигателем. Однако в царской России перекрестились, когда гром грянул: лишь летом восьмьсот пятьдесят третьего года «его величеству угодно было объявить», чтобы на стапелях отныне закладывались лишь винтовые суда. Объявить-то объявил, но над упущенным временем никто не властен, и русский флот начал войну, как флот не винтовой да, в сущности, и не паровой.

Итак, ни Корнилов, ни Нахимов не явились богами из машины. Они явились поборниками машины. Не новаторами, а радетелями новаторства. Оба сумели подчинить разуму свою сердечную, вошедшую в плоть и кровь привязанность к парусному флоту. Неизбежность перемен не каждый может понять и принять. А поняв и приняв, не каждый найдет в себе силы встать за них горою.

Огнедышащий, пачкающий небо и палубу механизм рождал в душе многих военных моряков (чаще из тех, что поселились и сгорбились под сенью парусов) враждебные или, в лучшем случае, насмешливые чувства, подобные тем, какие впоследствии испытывали записные уланы или драгуны к автомобилистам.

Корнилов и Нахимов ломали близорукую враждебность «морской семьи» к морской новине. Именно в этой борьбе за нарождающийся русский паровой флот, в борьбе за его необходимость и состояла главная заслуга обоих адмиралов.

Теперь воротимся к тому, с чего начали: к общему состоянию военной мощи государства. Так вот, беда армии и флота была не в том, что Россия оскудела умными военными людьми, но в том, что таковых почитали «умниками». А коренное зло залегало гораздо глубже: общая отсталость страны.

У царя Николая бывали минуты тревог и опасений. Но лишь минуты. А вообще-то он был убежден, что создал первоклассную и безотказную военную «систему». Эта уверенность соседствовала с убежденностью, что ни Англия, ни Франция не поднимут на него руку. Как! Да ведь он уж четверть века самый неограниченный и самый неколебимый правитель в Европе!.. Тут сказывалось не просто военное дарование, нет — ум государственный. Николай признавал в себе ум государственный. И никто из его окружения, спаси и помилуй, не оспаривал этой истины.

Пропасть развезлась под стенами осажденного Севастополя. А до того, летом восьмьсот пятьдесят третьего года, императорская армия оккупирует Молдавию и Валахию. В том же году императорский флот, продолжая держать на мушке коммуникации Турция — Кавказ, помог нарастить мощь Отдельного Кавказского корпуса: предполагалось, что именно на Кавказе султан предпримет наступление, на тамошней границе концентрировалась Восточно-Анатолийская армия.

Операцию спланировал вице-адмирал Корнилов (после смерти Лазарева в 1851 году Владимир Алексеевич фактически возглавлял Черноморский флот), выполнил он же совместно с вице-адмиралом Нахимовым.

Трудности достались крутые: осенние равноденственные бури; необорудованность кавказской береговой полосы; возможность столкновения с неприятельским флотом или даже флотами, если бы англичане и французы оставили за кормой Босфор; огромность десанта — шестнадцать тысяч с лишним штыков, почти тысяча лошадей, артиллерия и обозы, госпитали и снаряжение.

Выручила выучка. Эскадра несла не только армейскую живую силу, не только материальную часть, но и то, что было добыто годами будничного труда — сноровку, опыт, мастерство. И они выказались внушительно и зримо осенью пятиде-

сят третьего года близ побережья Кавказа, где валяла корабли крупная зыбь, а потом цепенел полный штиль.

Нельзя не согласиться с очень сведущим морским историком А. П. Соколовым: «Всякий, хоть сколько-нибудь знакомый с делом, поймет и оценит по достоинству этот прекрасный подвиг наших моряков, это торжество морского искусства, свидетельствующее распорядительность, подчиненность, рвение, силу и мужество, дающее верное ручательство за будущие успехи в так называемых действительных делах, в сущности столько же действительных, как и настоящий подвиг, по совести говоря, стоящий доброй победы!»

И все же восемьсот пятьдесят третий год не остался бы столь памятным, когда б ни Синоп.

2

Переброска 13-й дивизии на Кавказ озадачила и огорчила турецкое командование. Однако оно не отказалось от подготовки к военным действиям и обнадевало храбрых горцев скорой и значительной подмогой.

Подмогу (как и русскую — русским) способнее всего было переправлять морем, ибо Турецкая империя страдала еще горшим бездорожьем, нежели империя Российская.

Но в Черном море из-за таких вот, как Корнилов и Нахимов, Новосильский и Серебряков, было тесно; они там разгуливали, как во дворе собственного дома.

Прижимаясь к анатолийскому берегу, смельчаки-контрабандисты водили одномачтовые кочермы, груженные свинцом, порохом, оружием. И все же такое «одномачтовое снабжение» походило на мелководный ручеек. А если воевать так воевать — необходим поток крупных перевозок.

В восемьсот пятьдесят третьем году турецкие моряки ободрились: английская и французская эскадры вспенили проливы. В водах великолепного Босфора отражались теперь не только минареты и фелуки, но и флаги двух мощных морских держав. Конечно, надежда на чужаков всегда утлая надежда, да ведь известно, что утопающий и за змею хватается. К тому ж союзники, особенно англичане, непрестанно уверяли в пылких симпатиях к несчастному султану, в горячей охоте оказать ему бескорыстную поддержку.

Чего ж мешкать? Надо прорваться к Кавказу! Вы слышите. Осман-паша? Старый вице-адмирал, четыре десятка лет отслуживший на море, слышит, хорошо слышит. Правда, не памятью только, нет, всей своей шкурой он помнит раскатистый гром над греческой бухтой. Но со времен наваринской беды минуло четверть века. Тогда англичане и французы были недругами. Теперь они союзники. Тогда турок бил англий-

ский адмирал Кодрингтон. Теперь у турок в друзьях контр-адмирал Мушавер-паша, он же Адольф Слейд, земляк Кодрингтона. Осман-паша старше Слейда, старше и чином и должностью, но как покойно на душе от одного лишь присутствия этого советника, сына гордой владычицы морей. К тому ж Мушавер-паша знаком с состоянием вражеского флота: побывал в русских черноморских портах, проник — такой молодец, такой ловкач! — в главное логовище Северного Медведя — в Севастополь. Конечно, Мушавер-паша всего лишь контр-адмирал. Но ведь он еще и капитан флота ее величества. И за ним, за его спиной, — союзные эскадры. Союзные эскадры в Босфоре, союзные эскадры у дверей Черного моря — вот гарантия успеха! Наварин не повторится. Много переменялось под луною за четверть века... Надо прорваться к Кавказу. Надо подать помощь Шамилю, которому султан, говорят, сулит звание генералиссимуса. Так вот. Осман-паша прибудет к кавказским берегам в двадцатых числах ноября. И пусть-ка горцы готовят кочермы, эти удобные посудины для выгрузки с кораблей громоздких припасов.

Пароходный отряд (несокрушимый, доблестный Слейд был там) первым выскочил в море. Следом двинулась эскадра Осман-паши и второго флагмана — Гуссейн-паши.

В трехстах милях от Константинополя, на анатолийском берегу, лежал Синоп.

В начале ноября 1853 года турецкий флагман расположился в тамошней бухте, почти визави бухте Феодосийской.

Что ж такое Синоп?

Прежде всего якорная стоянка на пять с плюсом: защищенная от недобрых северных ветров гористым полуостровом; значительная размером и глубинами; снабженная молотом и верфями; прикрытая береговыми батареями.

Древний Синоп превосходил некогда современный Нахиму Севастополь: в канун Крымской войны Севастополь населяли сорок пять — сорок шесть тысяч душ, а в античном Синопе обитало более пятидесяти тысяч, если не все шестьдесят. Потом жизнь убыла, как убывают вешние воды, город словно бы пересох, как пересыхают старицы. Осталось тысяч десять — двенадцать; большинство — турки, меньшинство — греки.

Кровавая борьба за кавказское побережье пришлось Синопу по вкусу. Синоп хмелел от деятельности, как от фляги с запретным вином. На верфях спозаранку стучали топоры — строились кочермы, чинились константинопольские гости. Лесоторговцы потирали руки. В кофейнях, полных самсунского табачного дыма, звенели пиастрами удачливые контрабандисты. Фонтаны веяли радужной пылью на дома, где укрылись европейские консулы и всяческие слейды — английские и французские «дядьки» при турецких вооруженных силах. А на выжженной солнцем площади шумел невольничий рынок:

раскошелывайся, выбирай наложницу: хочешь — черкешенку с очами, как полуночные звезды, а хочешь — славянку, пригожую, как светлое утро.

Вряд ли, впрочем. Осман-паша предавался любовным излишествами. Надо идти дальше — к востоку.

3

На другом, северном, берегу Черного моря другой вице-адмирал, тоже помнивший Наварин, постиг стратегическое значение города, откуда на Русь некогда явился проповедник Андрей Первозванный: Синоп — перевалочный пункт, транзитный порт, опорная база.

И, сознавая все это, а сверх того изведав опытом дьявольскую трудность крейсерства в осенне-зимний сезон, Корнилов предлагал: «...Надлежит придумать средство мешать навигации турок каким-нибудь другим способом; этот способ натурально должен состоять в занятии как на европейском, так и на азиатских берегах рейдов, на коих отряды военных судов, имея при себе сильные пароходы, могли бы в безопасности учредить свои наблюдательные посты. Такие пункты суть Сизополь¹ и Синоп: и тот и другой на пути подвозов тех частей Турции, в коих откроются военные действия; и тот и другой одинаково удобны к удержанию малыми силами от покушений с сухого пути; и тот и другой одинаково способны вместить на зиму флоты и гораздо больше отрядов, потребных для наблюдения за движениями турецких военных судов... Я бы полагал начать с Синопа: он и ближе от Севастополя и в связи с затеями турок, а потому можно, готовя экспедицию в Батум, попасть в Синоп неожиданно».

Какова решительность! Лазарев, радуйся во гробе: ученик мыслит энергически. Но светлейший князь Меншиков — потомок известного Данилыча, начальник Главного морского штаба империи — мыслит с оглядкой. С оглядкой на Петербург, на государя, на министров военного и иностранных дел. Последний особенно затруднял Меншикова туманными рассуждениями. Туманность их диктовалась дипломатическими извивами, неопределенностью положения.

Словом, светлейший не согласился на внезапное занятие Синопа, а предпочел испытанный крейсерский вариант борьбы на коммуникациях. Однако и тут опять-таки сказалась решительность корниловской природы. Князь, определяя район дозорной службы, называл центр, средину Черного моря, а Владимир Алексеевич хотел двинуть корабли ближе к Турции,

¹ Сизополь — турецкий порт на западном побережье Черного моря.

к ее южному анатолийскому берегу, то есть, в сущности, все к тому же вожделенному Синопу. Меншиков уступил. Не Корнилов его убедил, а разведывательные данные о подготовке похода турецкой эскадры на Кавказ. Исполнителем приказа Меншикова и планов Корнилова назначили Нахимова.

Павлу Степановичу вменялось в обязанность держать тщательное наблюдение за сорокамильным отрезком между портом Амастро (на западе и мысом Керемпе (на востоке); здесь, в самой узкой части Черного моря, находясь в почти равной, 150-мильной удаленности как от Константинополя, так и от Севастополя, Нахимов принял тяжкую вахту: его корабли оставили Крым на рассвете 11 октября; стало быть, за месяц до того, как Осман-паша оставил столицу Турции.

Русский флагман издал приказ № 145: «При встрече с турецкими военными судами первый неприязненный выстрел должен быть со стороны турок, но то судно или суда, которые на это покусятся, должны быть немедленно уничтожены. В заключение я должен сказать, что, имея таковой отряд под командой, мне ничего не остается более желать, как скорейшего разрыва со стороны России с Турцией, и тогда я убежден, что каждый из нас исполнит свое дело».

На третий день похода эскадра была близ отрубистого мыса; за мысом крылся вход в порт Амастро. Отсюда началось движение вдоль анатолийского берега, изрезанного бухтами и бухточками, всхолмленного и гористого, ущелистого, со множеством неглубоких речных устьев. Отсюда начались поиски неприятеля, на стороне которого были штормы и туманы, хотя и обычные об эту пору, но особенно гневные и густые именно в районе Амастро — Керемпе.

Как отмечено в документах, эскадру снарядили по нормам военного времени. Но, как случалось нередко, не все доделали до конца. Об этом свидетельствует современник. Его свидетельство добавляет еще один штрих к облику Нахимова.

«Крейсерство это было в холодную и бурную осень, — рассказывает в своем дневнике лейтенант Ухтомский. — Нахимов несколько раз требовал для матросов своей эскадры фланелевых рубашек; но их почему-то не отпускали; тогда Нахимов сказал решительно, что он до тех пор не наденет на себя пальто, пока матросам не пришлют теплого платья, и сдержал свое слово, несмотря на то, что в то время здоровье его было расстроено»¹.

Надо было обладать громадной волей и тем повышенным чувством служебного долга, какими обладал Нахимов, чтобы не только крейсировать, борясь со стихией, но и вопреки стихии «развлекать» команды непрерывными учениями.

¹ Центральный государственный военно-исторический архив, ф. 174, оп. 1, д. 2, л. 13 (сноска).

Нахимов и на сей раз не изменял своему методу повышения боевой готовности. При этом Павел Степанович одолевал естественное (впрочем, молчаливое) недовольство подчиненных.

Мичман Обезьянинов и сорок лет спустя помнил: «Все это утомляло только и сильно стало надоедать». Среди прочих, столь приевшихся учений бывали и ружейные. Мичман отмечает: «В то время корабельные команды наши вооружены были чуть ли не кремневыми ружьями, пистонные еще только вводились»¹.

Нахимов, несомненно, обладал тем запасом воли, которая одна только позволяет не уступать ни часу и ни шагу в однообразной и впрямь муторной (при всей ее неизбежности и необходимости) боевой подготовке. Прибавьте, что адмиралу не разрешалось нападать, а разрешалось лишь наблюдать. Не у моря, а на море приходилось ждать «погоды».

Павел Степанович, конечно, испытывал такое же желание сразиться, как и его подчиненные. А тут еще и Корнилов прислал многозначительную весточку: чем черт не шутит, может, и доведется «свалить дело в роде Наваринского»! К тому же турки частенько как бы дразнили неприятеля.

Нахимов должен был останавливать и осматривать султанские суда. Бude обнаружится военный груз — конфисковать. Коль скоро русские не стреляли, турки не проявляли охоты подвергаться обыску. Наглость? А почему бы и не попытки — вполне понятные — поскорее исполнить свои обязанности? Один из таких «наглецов» задумал проскочить под носом эскадры. По нему пальнули пять раз кряду. Нарушение дисциплины? Ах ты, господи, да тут у кого ж терпение-то не лопнет!

Но вот 26 октября посыльный корвет прилетает к Нахимову с давно жданным: он, Нахимов, волен «брать и разрушать» султанские корабли. Кажется, чего лучше? Гляди в оба, не зевай. Однако именно в эти дни эскадра Осман-паши и Гуссейн-паши прошла из Константинополя в Синоп! Да, да, в те дни она и скользнула, необнаруженная, незамеченная. Прошла в Синоп к непоправимому своему несчастью, это так, верно, но на море осталась незамеченной — это тоже так.

Несколько суток спустя после встречи с посыльным корветом Нахимов уже держал в руках документ чрезвычайной важности: официальный манифест о войне. Свершилось! Черным по белому, с упоминанием божьего имени повелевалось приступить к самому небожескому, что случается на землях и

¹ Еще до войны, при Лазареве, была сделана попытка сдать в архив кремневые ружья и вооружить флотские экипажи дальнобойными штуцерами. Деньги были отпущены (из черноморских сумм!), заказ сделан в Бельгии, «военпредом» поехал туда черноморец, капитан 2-го ранга, оружие было изготовлено, но... Но привезли штуцера в Петербург, «они остались там, — говорит историк флота, — и не дошли по назначению».

водах, — к убийству массовому, холодно и расчетливо продуманному, награждаемому крестами как могильными, так и нагрудными.

Негодует на это только мать-природа. То навзрыд, то трубно ревет шквалистый ветер; мечется, гремит, пенится шторм. Два дня они мешают адмиралу разослать по кораблям бряцающий, звенящий, высочайший, августейший манифест.

Нахимов присовокупляет к манифесту приказы. Приказы дышат спокойной силой. «Уведомляю гг. командиров, что в случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело».

И это доверие признательно оценили подчиненные. «Адмирал отлично понимал, — говорит современник-морьяк, — что успех действий с парусами в открытом море зависит от начальника только до первого выстрела. С этой же минуты начальник должен в полной мере положиться на личные способности и опытность командиров, предоставляя себе лишь лестное право кинуться первым в бой. Если адмирал в течение крейсерства сумел приучить экипажи управлению кораблями, если он развил в командирах соображение, дал им возможность постичь качества своих судов, вселил в них уверенность, которая не может существовать без чувства собственного достоинства, тогда, подобно Нельсону под Трафальгаром, он может закрыть сигнальные книги».

И манифест, и приказы, и словесные наставления, и боевое снаряжение, и желание боя — все есть. Нет только неприятеля. А командующий, да и каждый на его эскадре знают (на то и существуют посыльные, курьерские фрегаты), что противник ушел из Константинополя, что он двинулся на Кавказ, что он где-то здесь, неподалеку. Знают — и не видят врага.

Вестником его близости задымил однажды транспорт «Меджари-Теджарет». За ним погналась «Бессарабия». Русские схитрили. «Бессарабия» была пароходо-фрегатом, то есть могла двигаться и силою пара и силою ветра. Она поставила паруса, замаскировав трубу и кожуха над колесами. Турки, усмотрев позади всего лишь парусного ходака, не струхнули, а уж когда заметили маскировку и поняли, что обманулись, было поздно. Тут-то и приключился один их тех казусов, какие имел в виду Энгельс, саркастически отмечая, что турецкий солдат привык видеть «своих собственных офицеров, удирающими от опасности». Начальнички спустили шлюпку и удалились к берегу, а команду предоставили воле аллаха. Последний обрек ее плену.

Не приз, не трофей, не добыча были сами по себе важны Нахимову (хотя кого ж они не тешат?), а показания пленных: военные суда противника дислоцируются в Синопе!

На другой день после захвата транспорта наши моряки

расслышали орудийные выстрелы. Они доносились с запада. На эскадре Нахимова встрепнулись: на вест, на вест! Многие уже вообразили атаку, обещанную флагманом. Но стихия помешала вновь. Не штормом, а штилем. А в тишине еще явственнее слышались выстрелы. И не требовалось особой проницательности для догадки: неподалеку (очевидно, на меридиане мыса Баба) боевое столкновение...

Так оно и было. Покинем скорее, хоть и ненадолго, эскадру Нахимова. Прежде всего потому, что происшествие близ мыса Баба достояние истории не только нашего или турецкого флота, но общей истории военно-морских сил. Вторых, потому, что герой дела приходился Нахимову непосредственным учеником, обладавшим согласно аттестации Павла Степановича «примерным присутствием духа и храбростью».

Итак, пушечный гул, докатившийся до моряков нахимовской эскадры, был эхом боя пароходо-фрегатов «Владимир» и «Перваз-Бахри». Прологом боя была погоня: на «Владимире» увидели дым «Перваз-Бахри» около семи часов утра. Час спустя русские уже различили мачты и трубу. Но и турки оказались зрячими: две трубы преследователя сказали им ясно — русские быстрее.

Капитан Сеид-паша принялся лавировать на всех парах. Убедившись, что ему не увильнуть, он напрямик пошел на «Владимира». Ровно в десять русские послали ядро так, чтобы оно легло перед форштевнем неприятеля: известный на морях сигнал — приглашение к капитуляции. Полотнище с полумесяцем продолжало развеваться. Русские повторили приглашение. Сеид-паша отвечал откровенной невежливостью: залпом правого борта.

Этой минутой началось необычайное сражение: п е р в о е в летописях мирового флота сражение паровых кораблей.

«Владимиром» командовал капитан-лейтенант Григорий Иванович Бутаков. Недавно ему стукнуло тридцать три; он плавал с мальчишества, сперва на Балтике, потом на Черноморье; восемнадцатилетним удостоился чести состоять флаг-офицером Лазарева; ходил и в заграничные походы; участвовал и в десантных операциях у берегов Кавказа, а сверх того по праву слыл «зееманом», то есть ученым моряком — составил лоцию Черного моря, изобрел компас с наклонной стрелкой; в капитан-лейтенанты произвели его раньше срока, за отличие в службе, а «Владимира» принял он за год без месяца до того, как повстречал «Перваз-Бахри».

Конечно, превосходство в скорости помогло Бутакову. Однако мастерство Григория Ивановича сказалось не только в использовании этого преимущества. Заметив отсутствие на вражеском корабле носовых и кормовых орудий, Бутаков, искусно маневрируя, не подставляя своих бортов, наносил

«Перваз-Бахри» страшные, сокрушительные удары, сберегая при этом собственный экипаж.

У Сеид-паши оказались моряки brave, не чета парням с транспорта «Меджари-Теджарет», запросто схваченными «Бессарабией». О-о, Сеид-паша и его подчиненные дрались великолепно! Упомянув об этом сражении, К. Маркс отметил, что турки сражались «как настоящие турки»; Маркс воспользовался игрою слов: «like Turks» означает и «как турки» и «с ожесточением».

Корнилов, находившийся на борту «Владимира», отдал врагу должное: «наткнулся на неприятеля, хотя и слабейшего», но «не знаю, чем бы кончилось, если бы не убили упрямого капитана», который «стоял во все время боя на площадке».

Упорство и мужество противника всегда придают победе над ним цену высшую. Бутаков свою победу, кроме того, купил малой кровью: у него убили двух и двух ранили, тогда как враг потерял более двух третей личного состава.

Донося о первом в истории пароходном сражении, Корнилов писал: «Капитан, офицеры и команда парохода «Владимир» вели себя самым достойным образом. Капитан-лейтенант Бутаков распоряжался, как на маневрах; действия артиллерии были и быстры и метки, чему лучшим доказательством служит разрушение, ими произведенное на неприятельском судне». А разрушения были таковы, что едва-едва удалось привести приз в Севастополь.

Но взглянем на дело шире. И глубже. Ибо победа Бутакова практически показала, что такое тактика пароходного сражения, «особая тактика», как определил ее Корнилов (совсем неведомая, добавим в скобках, англичанину Слейду: несколько дней спустя после боя «Владимира» Слейд, командуя тремя турецкими пароходами, потерпел позорнейшее поражение от одного русского парусника).

Этой особой тактикой Г. И. Бутаков впоследствии занимался долгие годы. Не только кабинетно, как автор «Новых оснований пароходной тактики», переведенной на многие языки, но и под открытым небом, как начальник паровой, винтовой и броненосной эскадр, у которого приезжали учиться и американец адмирал Фаррагут, и немец адмирал Яхман, и многие иные. Всей своей жизнью Григорий Иванович оправдал прозорливую надежду Нахимова, высказанную Павлом Степановичем во время обороны Севастополя: «Вас нужно-с сохранить для будущего флота!..»¹

Что же до бутаковского подвига на меридиане мыса Баба,

¹ Академик А. Н. Крылов, знавший ученика и сподвижника Нахимова, писал: «Адмирал Григорий Иванович Бутаков пользовался во флоте особенным уважением и огромной популярностью, и всякий, кому приходилось плавать в его эскадре, гордился этим».

то Павел Степанович услышал о нем в тот же день. Уже стемнело, когда на горизонте блеснули огни. Однако не вражеские, а дружеские, — к Нахимову шла эскадра Новосильского.

Рандеву было кратким. Адмиралы обменялись новостями и кораблями. Федор Михайлович принял у Нахимова суда, потрепанные бурями, а Павел Степанович получил у Новосильского «свеженькие».

И конечно, в адмиральской каюте «Императрицы Марии» не раз было произнесено слово «Синоп». Ведь если (как, несомненно, сообщил Нахимову Новосильский) разведка не нашла крупного турецкого соединения в западной части моря, то оно, очевидно, обреталось в восточной. А коль скоро ни о чем серьезном с востока не рапортовали, то оставался район юго-восточный. Оставалось окончательно поверить пленным с турецкого транспорта и произнести: «С и н о п».

И Павел Степанович, простившись с товарищем, отправился именно туда. 8 ноября, вечером, адмирал увидел на Синопском рейде четыре больших судна. Казалось бы, вот она, минута: «В случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его». А тут — тут оказался неприятель, не превышающий в силах. И... атаки не последовало.

Не потому, что Нахимов не пожелал бить лежачего. Причина иная: «На ночь заревел жестокий шторм от W с огромным волнением, — докладывал вице-адмирал в Севастополь. — Корабль «Святослав» потерял фока-рею, «Храбрый» — гротарею. Оба на другой день сигналом известили, что повреждения в море исправить не могут. Фрегат «Коварна» известил, что у него грот-мачта гнила и вырвало лучший грот-марсель, другой же совершенно негоден, почему все три судна под командой старшего отправлены для исправления в Севастополь... Вообще на отряде от необыкновенной силы ветра много изорвало парусов. Теперь ветер стих, но наступил туман, так что в десяти и менее милях не видно берега. На время я останусь в крейсерстве у Синопа и, когда погода установится, осмотрюсь, не возможно ли будет уничтожить неприятельские суда, стоящие здесь... Отряд мой у Синопа состоит из трех кораблей и брига, а потому я смею просить ваше превосходительство отправленные мною в Севастополь суда приказать немедленно исправить и прислать ко мне. Донесение мое вашему превосходительству доставит пароход «Бессарабия»».

Выходит, и при хорошей погоде Нахимов все же не атаковал бы, хотя в недавнем приказе говорил, что ударит даже на превосходящего противника. А теперь, при виде равного в силе противника, не поднимает красный, боевой сигнал. «Осмотрюсь», — коротко замечает он. И эта осмотрительность не была напрасной.

Вскоре Нахимов составляет новый рапорт, помеченный

так: «И ноября 1853 г. Корабль «Императрица Мария», в море под парусами». В Севастополе читают:

«Обозревши сего числа в самом близком (двухмильном. — Ю. Д.) расстоянии порт Синоп, я нашел там не два фрегата, корвет и транспорт, как доносил вашему превосходительству, а 7 фрегатов, 2 корвета, 1 шлюп и 2 больших парохода, стоящих на рейде под прикрытием береговых батарей».

Каковы же намерения русского флотоводца? Он блокирует Синоп. Ждет возвращения двух кораблей, чинящихся в Севастополе. Просит пароходы — «без них как без рук». И лишь потом обещает ворваться на Синопский рейд, «несмотря на вновь устроенные (турками. — Ю. Д.) батареи, кроме тех, которые показаны на карте».

Нахимов ждет. Блокирует Синоп. Блокада опасна: ведь Осману-паше выгодно не прятаться в гавани-ловушке, а выйти в море и грянуть на покамест еще слабейшего неприятеля.

Отказавшись от фатального риска прорыва к Синопу, Нахимов не отказывается от реального риска блокады с меньшими, противу вражеских, силами. А риск грозен еще и потому, что резонно было предположить возможность подхода англо-французской эскадры. Что ей мешало покинуть Босфор и устремиться на выручку Осман-паши? Ведь последний давно мог послать берегом курьера в Константинополь.

В околосоинопском хладнокровно-напряженном карауле сказалась нахимовская натура. Себялюбец, жаждущий славы и ордена святого Георгия 2-й степени большого креста, конечно, понадеялся бы на знаменитое «авось» и попытался сорвать банк. А Нахимов, стиснув зубы, выжидает, строжит, блокирует.

Историк А. М. Зайончковский психологически точен: «Нахимов, по самой природе своей, не принадлежал к числу натур нервных, честолюбивых... В действиях Нахимова обнаружилось то редкое соединение твердой решимости с благо-разумной осторожностью, то равновесие ума и характера, которое составляет исключительную принадлежность великих военачальников. Выследив неприятеля, обнаружив его превосходные силы, он сумел удержать у себя и у своего отряда благородный пыл, требовавший немедленно дать волю долго накипавшему чувству».

В эти дни явственнее, чем когда-либо доселе, проступила еще одна черта Павла Степановича — поистине кутузовская выдержка. Он не погнался, теряя голову, за случаем. Нет, он стерег, когда случай позволит схватить себя за шиворот.

В Синопе, разумеется, знали о русской блокаде. Подсчитать силы противника не составляло труда. Не требовалось даже морской разведки. Достаточно было выставить наблюдателей на береговых высотах. Логика подсказывала немедлен-

ный выход из гавани. Но Осман-паша и Гуссейн-паша остаются на якорях, покорствуя року.

Они торопятся лишь с информацией. В Константинополь летят гонцы. Турецкий адмирал приумножает численность противника. У страха глаза велики? Да нет, очевидно, ложь во спасение. Ведь Осман-паше известна неспешливость султанских визирей.

И еще в этих преувеличениях крылось желание произвести должное впечатление на союзников. В особенности на британского посла Страдфорда: в распоряжении лорда английская эскадра. Если последняя переступит порог Черного моря, то и французы не останутся за дверью.

Обещание союзников — «защищать Константинополь и вообще всякую часть турецкой территории, которая может подвергнуться атаке, будь то в Европе или в Азии», — обещание союзников веяло на турок расслабляюще, как дурман. И, вдыхая его, турецкий флагман как бы снял ответственность со своих плеч, переложил на плечи чужие. Осман-паша не шевельнул пальцем ни для обороны входа на рейд (устройства плавучих преград), ни для того, чтобы расположить свои корабли с учетом секторов огня береговых батарей.

В одном Осман-паша не ошибся — в нерасторопности отечественных сановников. Европейская газета не без иронии сообщала: «Большой совет собрался, выкурил множество трубок и, проведя за этим важным занятием несколько часов, решил, что так как синопские батареи делают всякое нападение русских на эскадру Осман-паши невозможным, то Осман-паша может спокойно стоять на Синопском рейде до тех пор, пока более благоприятная погода позволит послать к нему подкрепления»

Не так отнеслись к своему флагману в Севастополе. Взгляните на хронику одних суток: 11 ноября, в полдень в главную базу, выдержав шторм, вернулся после свидания с Павлом Степановичем вице-адмирал Новосильский; в четыре пополудни «Бессарабия» доставляет нахимовский рапорт: в Синопе — корабли противника; два часа спустя Новосильскому приказывают вновь изготовиться к походу; моряки всю ночь не смыкают глаз, и 12 ноября, в семь тридцать эскадра уходит из Севастополя.

Всей этой молниеносностью распоряжался не кто иной, как Меншиков, находившийся в Севастополе. Любимчик фортуны, облаканный Николаем, князь Александр Сергеевич во время обороны Севастополя заслужил немало злых упреков. Он справедливо сделался пасынком истории. Случай нередкий. Истории плевать на чины и вензеля, ордена и высочайшие рескрипты. И все же вряд ли стоит жмуриться перед очевидностью: в «синопском случае» была и капля меншиковского меда.

Да, скажете вы, ведь Нахимов просил еще и пароходы: «без них как без рук». Однако как раз утром 11 ноября, то есть еще до просьбы Нахимова, к нему побежали два парохода. Правда, они не нашли Нахимова, ибо искали западнее Синопа, в прежнем районе крейсерства (Амастро — Керемпе), и воротились домой. Но уже 17-го Меншиков послал Нахимову пароходо-фрегаты.

А накануне, в первую половину 16-го, опять-таки отдавая тяжелого шторма, корабли Новосильского вступили под команду Павла Степановича. Отныне он обладал преимуществом. Решительным преимуществом.

Меншиков, однако, предписывал Нахимову не трогать приморские города Турции. Из этого как будто бы следует, что светлейший князь мешал нелюбимому им «худородному» адмиралу, стреноживал его.

Но, как говорится, тон делает музыку. А тон у Меншикова был отнюдь не директивный. Князь сознавал элементарное: уничтожая противника близ города, не обойдешься без повреждения города. Прислушиваясь к министерству иностранных дел, Меншиков лишь объяснял флотским: союзники тем скорее приступят к выполнению своих обязательств перед султаном, чем скорее русские ударят по приморским пунктам. А посему, мол, «желательно, чтобы при нападении на военные суда, стоящие на рейде, как в настоящее время у Синопа, не было бы, по возможности, нанесено вреда городу». Это ль запрещение? Мягкая рекомендация, и только.

Нет, никто и ничто не препятствовало Нахимову исполнить задуманное. Но чтоб исполнить задуманное, надо было подумать об очень и очень многом. И вот в том, к а к Павел Степанович распорядился наличными средствами, и состоит его заслуга.

В одном наиболее подробнейшем описании Синопской победы подчеркиваются два обстоятельства, породившие ее:

Нахимов отменил западную доктрину о неприступности берега без численного превосходства в корабельной артиллерии;

Нахимов положился не на «лишний десяток корабельных орудий», а на «прекрасные боевые и моральные качества русских моряков» Обратимся к фактам.

У Осман-паши было пятьсот двадцать стволов, включая и береговые батареи. У Нахимова было семьсот двадцать стволов.

Хорош, прости господи, «лишний десяток»! Нахимов ждал и дождался, добивался и добился именно численного превосходства в корабельной артиллерии. К тому же и превосходства в живой силе: у Нахимова — шесть с половиной тысяч, у Осман-паши четыре с половиной тысячи.

Нахимов поступил так, как и следовало поступить дельному человеку. Он был озабочен не умалением «чужеродных»

теорий, а жизнью своих подчиненных, соотечественников. И не в этом ли подлинный патриотизм, подлинное сердце?

Теперь о качествах русских моряков. Их мужество бесспорно. Но даже святой Георгий поразил змия не гневным взглядом, а гневным копьем, то бишь орудием вполне материальным. Разве год спустя Севастополь обороняли не те же синопские герои, не их товарищи? Разве год спустя поухли боевые качества? А Севастополь пришлось оставить. И как раз в силу подавляющего преимущества противника.

Повторяем, заслуга Нахимова в том, как он распорядился наличными средствами. А распорядился адмирал в высшей степени мастерски.

Сверх глубокого знания военно-морского искусства и военно-морского дела, сверх проникновения в то, что теперь называют моральным фактором, Нахимов обладал чрезвычайно важным свойством — он не страдал презрением к противнику.

Презирать (а значит, недооценивать) врага вольны одописцы и карикатуристы, но не политические или военные деятели. Презрение к противнику в родстве с фанфаронством. Худшего советчика не сыскать.

Глупость противника предполагает глупец. Неглупец предполагает в противнике ум и опыт. Обдумывая план сражения, движение в Синопе и диспозицию на рейде, Нахимов обдумывал еще и контр-действия Осман-паши, как бы меняясь местами с турецким флагманом.

Павел Степанович не успел оставить мемуаров (да и навряд оставил бы, переживи войну), не написал он после Синопа (насколько известно ныне) частных писем.

Ни единый луч не проникает из адмиральской каюты линейного корабля «Императрица Мария», где Павел Степанович мысленно создал то, что практически осуществилось на Синопском рейде. Ни на другой день, ни после ни словом не выдал он того, что происходило в его душе накануне сражения.

И все же можно утверждать: он не был спокоен. Ибо еще не был тем монументом, который высится теперь в Севастополе, рядом с Графской пристанью.

Всякое сражение, как бы оно «арифметически» ни обосновывалось, оставляет лазейку Случайности. Всякое сражение в какой-то степени подвержено игре счастья и несчастья, капризам и неожиданностям.

Сражение — высшее напряжение телесных и душевных сил. Высшее испытание накопленного в минувшем. Вершина, куда нет торных троп, какими бы наставлениями, инструкциями, уставами и прочими ни был оснащен сражающийся.

Наконец, для человека по имени Павел Степанович Нахимов грядущий бой был личным боем: он сам шел в схватку, а не парил в отдалении. Он шел в огонь, как и тысячи его товарищей. Не бесславием или разжалованием, не высочай-

шим неудовольствием или выговором могло все обернуться для него, но смертью.

Однажды, еще в мирное время, корабль «Силистрия» едва не столкнулся с другой громадиной. Минута была жуткая. Нахимов всех отослал за грот-мачту, сам остался на юте, почти уж под сенью гибели. Его умоляли уйти. Он был неподвижен. Когда корабли чудом разминулись, у Павла Степановича спросили, зачем, почему он поступил так, как поступил. Нахимов ответил: «Такие случаи представляются редко, и командир должен ими пользоваться! Надо, чтобы команда видела присутствие духа в своем начальнике. Быть может, мне придется идти с нею в сражение, и тогда это отзовется и принесет несомненную пользу».

Он не ошибся: отозвалось и принесло пользу. Как при Синопе, так и в осажденном Севастополе... Если согласиться с Бернардом Шоу в том, что секрет героизма — никогда не позволять страху смерти руководить вашей жизнью, то следует признать, что Нахимову этот секрет был ведом.

Однако «не позволять страху руководить» еще не значит не испытывать страха. И кто знает, не прошептал ли Павел Степанович в своей каюте «молитву, глаголемую наедине», не приложился ли к заветному нагрудному образку Николая-чудотворца?

17 ноября 1853 года Нахимов отдал приказ, подробный, но не длинный, отчетливый и, по обыкновению, спокойный, — приказ № 155, — об атаке неприятельского флота.

4

День выдался скучный, серый, дождливый, туманный.

В девять тридцать началось боевое движение. Впереди была Синопская бухта. Та самая, куда некогда залетали на своих «чайках» отчаянные казаки. Та самая, промером и описью которой озаботился еще в 1776 году Сергей Плещеев. Та самая, где адмирал Ушаков, посланный Потемкиным, сильно напугал турок.

Но сейчас, 18 ноября 1853 года, на всех восьми кораблях и фрегатах, поднявших национальные флаги, не предаются воспоминаниям. Двумя колоннами (правую ведет сам Нахимов, левую, на «Париже», — Новосильский) эскадра, безмолвствуя, спускается в бухту.

В бою, там уж гром и азарт, там наводи, пали, дерись, исполняй команды. А тут — тишина... Тишина, когда, по слову поэта, можно не выдержать и крикнуть: «Тише!»

«Больше всего, — пишет участник сражения, — смущали нас береговые батареи, каленые ядра; пока будем справляться с кораблями, береговые батареи будут действовать безнака-

занно, да еще калеными ядрами; один удачный, скорей случайный, шальной выстрел — и взлетели на воздух. Теоретически все было обдуманно, рассмотрено, но что будет на деле?»

Осман-паша располагал временем (если только он вообще еще чем-либо располагал) для открытия огня по противнику. Он должен был встретить врага залпами, пока тот не развернулся бортами.

У Осман-паши был пусть ничтожный, но был шанс, и он его упустил. Турецкий командующий опомнился от столбняка, когда уж от крохотного шанса осталась и вовсе песчинка. О, какая беготня, какая суета, какой переполох взметнулись на турецкой эскадре!

Ровно в двенадцать на стене «Марии» затрепетал сигнал. И от этого сигнала беглая улыбка тронула пересохшие губы. Будто послышалось ласковое: видишь, дружок, наступил полдень... Да, ровно в полдень, словно наступил обыденный полдень, Нахимов велел поднять всегдашний полуденный сигнал. Смотреть вперед, быть готовым к сражению, к смерти... И все ж — полдень, приятель, вот так-то.

А двадцать восемь минут спустя грянул первый выстрел с 44-пушечного флагманского фрегата «Ауни-Аллах».

Сражение началось.

Тот самый очевидец, что признавался в общей боязни береговых батарей, писал: «Судов турецких мы не боялись, знали, что турки стрелки плохие, и всегда их таковыми считали». Должно быть, у Осман-паши служили «другие турки», потому что они стреляли метко.

Нахимовские корабли продолжали двигаться. Молча, без выстрела, неотвратно. Это движение не обошлось бы без потерь, если бы Нахимов послал матросов убирать паруса. Нахимов не послал. На то он и был знатоком, чтобы знать обыкновение турок бить по рангоуту.

Как Ушаков и Нельсон, как Сенявин и Кодрингтон, Павел Степанович твердо держался правила: драться на возможно короткой дистанции. Его эскадра получила немало повреждений, пока становилась на шпринг¹, пока разворачивалась всем бортом, но в том-то и суть, что она выдержала неприятельские залпы, сумела встать на шпринг, сумела развернуться бортом, сумела занять место самое выгодное, самое удобное, самое удачное. И тогда, только тогда начали свою работу металл и порох, а следом огонь, зажигающий суда, и вода, хлещущая в робоины.

На турецкой стороне к судовым пушкам прибавились сухопутные. Все вместе — матросы и солдаты — не праздновали труса. Как отметил Энгельс, «в пылу боевого одушевления»

¹ Шпринг — один из способов постановки на якорь, позволяющий удержать корабль нужным бортом в нужном направлении.

турецкий боец «меньше всего думает о каких-то командирах, а сражается там, где его застала битва».

Среди ж командиров нашелся высший офицер, который не стал сражаться там, где его застала битва. Этим высшим офицером оказался контр-адмирал Мушавер-паша. «сын владычицы морей» Адольф Слейд. Английский советник и друг Осман-паши находился на 20-пушечном «Таифе». Единственный пароход султанской эскадры, конечно, изыскал бы возможность оказать существенную помощь своим, если бы Слейд считал своими каких-то «грязных азиатов». Двадцать пять лет он набивал карманы турецким золотом, четверть века жил на турецких хлебах и вот теперь, в трагический день, бежал из Синопа. Должно быть, Адольф исповедовал принцип, какой однажды при мне высказал англичанин, тоже носивший военную форму: «У его величества много кораблей, а я у своей мамы один...»

Тем временем нахимовские суда методически, без роздыха, наращивая темп, крушили врага. Уже оглушительно сотрясали воздух, покрывая канонаду, взрывы криюйт-камер, корабельных пороховых погребов. Уже замолкали, точно поперхнувшись, береговые батареи. Уже выбросился на берег флагманский «Ауни-Аллах», и Осман-паша уже не был флагманом, а был несчастным, всеми покинутым стариком, истекающим кровью и ждущим пленения.

Пушкиным сказано: «Есть упоение в бою...» Кто из участников Синопского боя не согласился б с поэтом? Не отдельные удалцы пылали тем чувством. Вспыхнув, оно сделалось общим.

Встречая в документах имена рядовых воителей, испытываешь благодарность к современникам и историкам: спасибо, что не забыли людей, чей пот просолил морские будни, а кровь — морские победы.

Давно уж косточки нахимовских матросов стали землей Севастополя или землей далеких от Севастополя деревенских погостов. На братских яминах указывали число похороненных, номер флотского экипажа; на могилках сельских кладбищ указывали — раб божий такой-то, не перечисляя его ратных подвигов.

И потому тихо светлеешь, получив возможность хоть кого-то избавить от «травы забвения». Итак, лишь некоторые:

Астафьев Григорий.

Грибарев Яков.

Дмитриев Иван.

Жемарин Федор.

Кириллов Андрей.

Корчагин Василий.

Лескотов Алексей.

Минаков Павел.

Невелик синодик. Но и то в отраду, коли больше века спустя можешь назвать имена «нижних чинов», о которых Нахимов сказал: они дрались как львы.

А про их начальников адмирал сказал: явили знание своего дела и неколебимую храбрость. Кто кому подавал пример — старшие младшим или наоборот? И теми и другими, всей эскадрой владело пронзительное чувство: «Есть упоение в бою...»

Владело оно и лейтенантом Петром Никитиным, артиллеристом «отличного мужества», как его характеризовал Павел Степанович; и штурманом Павлом Полонским, потерявшим руку; Михаилом Белкиным и тезкой его Шемякиным, когда лейтенанты, срывая голос, распорядились в дыму и грохоте орудийных палуб «Чесмы»; и мичманом Николаем Колокольцевым, когда он, спасая свой фрегат «Рафаил», ринулся в горящую крыйт-камеру; и Петром Варницким, когда мичман, оглушенный и раненый, вел баркас, вел сквозь разрывы снарядов турецкой батареи и двух вражеских фрегатов, чтобы завести новый якорь и выправить местоположение линейного корабля «Три святителя»...

Нахимов мог торжествовать, и он торжествовал. Не потому только, что чаша весов клонилась все ниже, все больше в его пользу, а потому, что сам своим долголетним трудом, своей выдержкой и усердием положил груз на чашу этих незримых весов.

Командующего не подвели ни собственный опыт, ни ученики (командиры кораблей), ни боцманы и унтер-офицеры, ни комендоры и марсовые. То было высшее торжество военачальника. К Нахимову вполне можно отнести похвалу Ключевского, адресованную Суворову: он создал «из машины, автоматически движущейся и стреляющей по мановению полководца», «нравственную силу, органически и духовно сплоченную со своим вождем».

Последним и до последнего дрался «Дамиад». Недвижный, лежащий на мели, придавленный другим, уже мертвым фрегатом, 56-пушечный «Дамиад» сопротивлялся, пока его не заставили умолкнуть 120-пушечный «Париж» и 120-пушечный «Три святителя».

Минуло три часа после полудня. Все было кончено.

Адмирал отправил в горящий город письмо к австрийскому консулу:

«Позвольте мне обратиться к вам, как к единственному европейскому представителю, флаг которого я вижу развевающимся в городе, чтобы вы известили власти несчастного города Синопа о единственной цели прибытия сюда императорского русского флота. Узнав, что турецкие корабли, которые постоянно направляются к абхазским берегам для возмущения племен, подданных России, укрылись на Синопском рейде, я был доведен до плачевной необходи-

мости сражаться с ними с риском причинить ущерб здешнему городу и порту. Я отношусь с симпатией к печальной судьбе города и мирных жителей, и только упорная защита вражеских кораблей и в особенности огонь батарей вынудили нас применить бомбы в качестве единственного средства поскорее привести их к молчанию. Но наибольший ущерб, причиненный городу, определенно вызван горящими обломками турецких кораблей, сожженных большей частью их собственными экипажами... Теперь я покидаю этот порт и обращаюсь к вам, как к представителю дружественной нации, рассчитывая на ваши услуги, чтобы объяснить городским властям, что императорская эскадра не имела никакого враждебного намерения ни против города, ни против порта Синопа. Примите, сударь, уверения в моем высоком уважении».

Все это было изложено, памятуя о пожеланиях князя Меншикова, который, в свою очередь, помнил пожелания русского министерства иностранных дел — не трогать турецкие приморские города, дабы не форсировать выступление англичан и французов.

Адмирал действительно торопился покинуть Синоп: у победителя не было ни малейшего желания повстречаться с союзниками Турции. Едва закончив ремонтные работы, корабли начали выбирать якоря — занялось ненастное утро, ноябрь, двадцатое. За кормой оставался рейд, обугленный массой обломков, пустынный рейд, где уж не было ни одного из пятнадцати вражеских кораблей; оставался берег с разрушенными батареями, усеянный головешками и трупами; оставался искалеченный, дымящийся город.

5

Уходить помогали пароходы. К делу они успели, как говорится, под занавес, а теперь буксировали израненных победителей. В море буксиры пришлось отдать: гуляла слишком крупная зыбь.

Вице-адмирал Корнилов (напомним: он был на одном из пароходо-фрегатов) первым примчался в Севастополь. Весть о победе подняла всех на ноги. Севастополь, ликуя, готовился к встрече нахимовской эскадры.

«Имею времени только тебе сказать, что 18 ноября произошло сражение в Синопе, — торопливо сообщает Корнилов в Николаев, жене. — Нахимов со своей эскадрой уничтожил турецкую и взял пашу в плен. Синоп-город теперь развалина, ибо дело происходило под его стенами и турки с судами бросались на берег и зажгли их. Битва славная, выше Чесмы и Наварина, и обошлась не особенно дорого: 37 убитых и 230

раненых... Ура, Нахимов! М. П. Лазарев радуется своему ученику!»

А брату-сенатору Корнилов написал, что Нахимов «задал нам собственное Наваринское сражение», то есть сделал как бы второе издание Наварина. Корнилова, писавшего вгорячах о тождестве двух морских сражений, поправил адмирал флота Советского Союза И. С. Исаков в журнальной статье о Нахимове («Новый мир», № 7, 1952).

Кардинальное отличие Синопа от Наварина, по мысли Исакова, вот в чем: «Говоря о строе, вернее о диспозиции Осман-паши, надо заметить, что при Наварине турецкая эскадра была изогнута значительно сильнее, вследствие чего образовала глубокий мешок, чего в бою 18 ноября не было. Боевой порядок турок в Синопе слагался из линии кораблей и дополнявшей ее линии шести береговых батарей, из состава которых четыре принимали участие в бою до тех пор, пока не были уничтожены огнем русской артиллерии. При Наварине турецкие батареи стояли только у входа в бухту и свободно пропустили английские и французские корабли, открыв огонь лишь по русской эскадре во время ее втягивания в залив. Однако как только завязался бой, батареи огонь прекратили, так как большая часть из них не была приспособлена для стрельбы в глубь бухты и, кроме того, дистанции корабельного боя были настолько короткими, что стрелять по союзникам, не попадая в своих, турки физически не могли. Поэтому бой при Наварине был прежде всего чисто корабельным боем...»

Итак, Севастополь ликовал. Ликовали столицы, города и веси, получив сообщения, официальные и частные, о Синопе. Отныне имя Павла Степановича Нахимова знают не только моряки — знает страна.

«Нахимов молодец, истинный герой русский, — восклицает С. Т. Аксаков. — Я думаю, и рожа у него настоящая липовая лопата». Поэты, начинающие и уже известные, поют Нахимова.

Старый князь Вяземский выразил свои чувства не только рифмами, но и поздравительным письмом Павлу Степановичу. Ни автографа, ни копии я не обнаружил. Зато выудил из архива ответ Нахимова. Тут меня предостерегает мастер биографического жанра Андре Моруа: «Биограф, нашедший неизвестные письма или дневники своего героя, плохо сопротивляется желанию процитировать их. Таким образом он добивается уважения специалистов, но его искусство страдает от этого».

И все же не могу устоять перед искушением привести ответное письмо Нахимова, сохранившееся в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ф. 195, оп. 1, д. 2383): во-первых, эта книга не претендует на зачисление по

департаменту изящной словесности; во-вторых, ее автор крепко надеется, что «уважение специалистов» ему не угрожает.

«Ваше сиятельство! — отвечал Вяземскому растроганный адмирал. — Письмо ваше из Карлсруэ от 31 декабря я имел честь получить 24 января и спешу принести вашему сиятельству глубокую признательность за теплое, родное участие и истинно русское приветствие, которым вы, один из старейших поэтов наших, почтили русских воинов, удостоившихся быть исполнителями велений нашего царя-отца. Молю господя, да продлит он дни ваши еще на многие годы для прославления драгоценной отчизны нашей. С глубоким уважением и признательностью имею честь быть вашего сиятельства покорнейшим слугою Павел Нахимов. Корабль «Двенадцать апостолов», в Севастополе. 26 января 1854».

Итак, поздравления, тосты, награды. И песня. Ее сложили матросы, украинцы, она сохранилась в письмах мичмана Иванова, обнаруженных сравнительно недавно.

Хвала тоби
Русской земли,
Нахименко хватский,
Що потопыв
И попалив
Байдаки султански...

Но посреди торжеств сам Нахимов оставался весьма сдержанным, даже хмурым. Всегдашняя скромность Павла Степановича? Она. Но и не только она. Похоже, наедине с собою Нахимов порою думал: «Горе победителям».

В канун войны, говорили древние, все начинают лгать. Во время Крымской войны ложь надела семимильные сапоги. «Никогда еще в газетах не было столько вранья», — сетовал один из петербуржцев. Павел Степанович не очень-то полагался на отечественную прессу. Он выписывал «Таймс». Конечно, и лондонский газетный лист не отличался безусловной правдивостью. Однако легче было, сравнивая, улавливать истину.

А истина была грозная: Синоп, как бич, подхлестнул союзников, англичане и французы закусил удила, реванш был неизбежен. И Нахимов, задумчивый, хмурый, видел себя без вины виноватым.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Где-то внизу длинное шипение троллейбусов, слитный рокот транспорта. А здесь, в нагорных улицах, таких, как Таврическая, старинная тишина. Здесь замечаешь брюхастые железные балконы, наружную железную лестницу с тонкими,

как на трапах, поручнями, классическое строение восемьсот сорок восьмого года, колодезную чугунную крышку, отлитую давным-давно, на частном еще заводишке...

В этих нагорных тенистых улицах — отсветы минувшего. Они усиливаются близ Владимирского собора, порушенного последней войной и все еще полуодетого лесами. И близ башни, белеющей строго и стройно, — Башни Ветров.

Когда-то она соединялась подземельем с Морской библиотекой. Библиотека не уцелела. А Башня, одинокая, как бы затерявшаяся и никому, кроме ребятишек, кажется, и не нужная, стоит себе вот уж другое столетие.

Башня и Владимирский собор — в нескольких десятках шагов друг от друга, на горе, откуда виден весь Севастополь.

Когда корабль уходит в поход, штурман отмечает пункт отшествия. Когда корабль возвращается, штурман отмечает пункт пришествия.

Башня Ветров — как бы пункт отшествия Нахимова в те огненные, жестокие последние месяцы его жизни, без которых он не остался бы навсегда в народной памяти. А собор... Собор — как бы пункт пришествия: там покоятся останки Павла Степановича.

1

В сентябрьский день 1854 года вице-адмиралы Нахимов и Корнилов поднялись на Башню Ветров. Севастополь, прекрасный в своей начальной осенней ясности, лежал перед ними. Но адмиралы смотрели поверх города, мимо города — они смотрели на море.

Оба молчали. Все словно бы отступило, исчезло. Осталось это роковое мгновение. Адмиралы видели дымы и мачты армады. Застя день, она шла сквозь ясность как зловещая хмара: союзный флот натекал на берега Крыма.

В этот же день французский офицер, полковой адъютант, писал родителям: «Море сделалось спокойным, и весь флот подвигается в стройном порядке, строго соблюдая интервалы между кораблями. Какой величественный вид! Я жажду морского боя! И желал бы видеть эти великолепные, колоссальных размеров корабли в схватках с русскими судами, слышать гром 3000 орудий, находящихся на наших бортах! А все-таки да избавит нас бог от этого. Какая бы ни была судьба сражения, всегда это дело рискованное. Мы увидели землю и вскоре затем небольшой город Евпаторию, а на возвышенностях возле него 12—15 ветряных мельниц».

Бог избавил пехотного офицера от морского боя. Полковому адъютанту, автору многочисленных писем, изданных в

Минске в 1894 году, предстояли сухопутные сражения. Начались они неподалеку от Евпатории.

(Описанию крымских боев посвящены тома специальной, популярной и беллетристической литературы. Мой свет в оконце — Нахимов. А подробности и общие картины охочий читатель найдет в иных трудах.)

Итак, 1 сентября 1854 года соединенный флот приблизился к Евпатории. На другой день началась высадка. Уж кто-кто, а русские моряки по собственному опыту знали, как опасен, как сложен и ответствен этот момент — своз десанта на вражеский берег. Но союзникам никто и ничто не мешало. Им даже не привелось сразиться с ветряными мельницами, о которых упомянул француз-адъютант. Не сутки, не двое — неделю кряду союзники без единого выстрела «свозили» на берег личный состав, артиллерийский парк, кавалерию, боеприпасы, продовольствие, фураж, всяческое снаряжение.

8-го числа Меншиков, «главнокомандующий военно-сухопутных и морских сил, в Крыму находящихся», столкнулся с неприятелем на речке Альме. Узкий мелкий поток, тихо струясь, умирал в небольшом заливишке. «Алма» — по-тюркски — яблоко; речонка текла среди садов, огрузневших плодами.

Бой грянул свирепый, обоюдно упорный. Союзники перевешивали числом. И выиграли числом, а не умением. Впрочем, последним не блеснул и Меншиков.

Князь отошел к Севастополю, к южной стороне города. Засим светлейший совершил то, что военные называют фланговым маневром, и очутился позади Севастополя, на балаклавской дороге.

Казалось бы, англо-французам оставалось, как опять-таки красиво изъясняются военные, ворваться в город «на плечах отступающего противника». Этого не случилось. Отчего? Ведь Севастополь располагал укреплениями только для отражения атаки с моря, а сухопутные укрепления, существуя линии, на бумаге, жухли под архивным спудом.

Мнения историков (и гражданских и военных, и русских и иностранных, и прежних и нынешних) решительно дwoятся. Одни усматривают здесь грубую, непростительную ошибку, нечто поразительное и необъяснимое. Другие оправдывают союзников тем, что они не располагали данными о действительном положении Севастополя. В последнем случае англо-французский генералитет, не выказав той смелости, что города берет, выказал благоразумную осмотрительность.

Что ж до Павла Степановича, то Нахимов счел союзных военачальников ослами и даже шутя грозился махнуть после войны в Париж, дабы в открытую «сказать им дурака».

Как бы то ни было, победители при Альме не преследовали побежденных, а принялись «устраиваться» близ Севастополя. И уже вскоре полковой адъютант делился радостью с отцом-матерью: «Я наконец увидел в расстоянии 2 километров этот знаменитый город, против которого три большие державы двинули отборные части своих армий. Ниже города видны некоторые фортификационные работы, на которых, кажется, находится довольно большое количество людей. Видны даже несколько дам между группами рабочих! В порту ясно различаю, при помощи своей зрительной трубы, корабли с высокими темными бортами и белыми по бокам чертами, пересекаемыми черными точками — амбразурами для орудий. Если русским заблагорассудится все эти орудия поместить на укреплениях, мы услышим хорошую музыку!»

Он был не так уж глуп, этот малый в синем мундире. Ему таки пришлось услышать хорошую музыку. Но покамест мы заглянем в Севастополь, оставленный Меншиковым на произвол судьбы.

Геройство защитников Севастополя настолько прочно укоренилось в нашем сознании, что оно кажется присущим севастопольцам уже по одному тому, что они были севастопольцами. Между тем представление это несколько наивно. Как и всякое свойство человеческой души, мужество не возникает из ничего. Мужество нуждается в воспитании, подобно прочим людским качествам. Геройство защитников Севастополя не вспыхнуло в минуту. Напротив, в первые дни воцарились «общее недоумение и паника жителей»: «переполох в это время в Севастополе был ужаснейший», говорит очевидец.

Громадная заслуга Корнилова и Нахимова, им подобных в том-то и заключается, что они своей волей, энергией, своим, чудилось, повсеместным присутствием сумели одолеть, переломить недоумение, панику, переполох.

Судьба Севастополя в случае войны занимала еще Лазарева. Михаил Петрович сделал все, что было в его силах. Он не истратил попусту ни единой казенной полушки. Но «полушки» ассигновались на морские нужды. К тому же император, еще при жизни Лазарева, принимая в Петербурге Корнилова, вещал с августейшей непогрешимостью, что он, Николай, не опасается никаких покушений на Севастополь. Меншиков дудел в ту же дуду. Ежели, иронизировал князь, кто и бросится на Севастополь, то разве что «шайки разбойников татар».

Ни Корнилову, ни Нахимову, не говоря уж о командирах кораблей, не приходилось заботиться о сухопутье уже по той простой причине, что им хватало забот с Черноморским флотом.

А теперь курс резко переменялся. Теперь приходилось до-

казать истину флотского острословия: ни один генерал не может быть адмиралом, каждый адмирал может быть генералом.

После Синопа Нахимов у м о л я л Корнилова доложить царю об опасности, грозящей Севастополю с суши. Генерал-адъютант свиты его величества Корнилов мог обратиться в Зимний, минуя высшее морское начальство. Корнилов не обратился. Может быть, из опасения, присущего многим и многим чинам (всех ведомств без различия), говорить царю неприятные вещи. Ведь Владимир Алексеевич не позабыл о своей беседе с Николаем весною пятидесятого года, когда император столь категорически «защитил» Севастополь от любого неприятеля.

Однако теперь Корнилов первым засучил рукава. Еще не утихло радостное синопское эхо, как он в январе (то есть за девять месяцев до евпаторийского и альминского сюрпризов) составил «Боевое расписание корабельных команд и морских береговых частей на случай тревоги по обороне Севастополя с суши».

Вообще и Корнилов и Нахимов после Синопа были весьма далеки от почивания на лаврах. Официальная документация — доказательство их деятельности. Иначе чем кипучей ее не назовешь, хотя слово «кипучая» от частого употребления давно остыло.

Нахимов в зимнее время, во все последующие месяцы, вплоть до того дня, когда он с Корниловым поднялся на Башню Ветров, был занят подготовкой обороны рейда.

Тут необходимо маленькое отступление. На фоне грозно-громких событий оно может глянуть незначашим, лишним. Но биограф Нахимова не должен миновать его. Дело-то в том, что как раз в это время зашелестела злая молва о несогласиях между Нахимовым и Корниловым. Первый был на три года старше последнего; правда, Владимир Алексеевич занимал более высокую должность и фактически командовал флотом; зато Нахимов дольше был в службе, что по тем временам считалось немаловажным. И вот, сетует один из очень добросовестных современников, «нашлись люди, которые стал и жужжать Нахимову, что Корнилов распоряжается его эскадрой как своею, — и самолюбие флагмана заговорило на мгновение». Но, добавляет свидетель, Павел Степанович не дал воли своему чувству, и отношения у него с Корниловым не испортились. Старшинство не мешало Нахимову не только признавать ум и характер Корнилова, но и ставить Владимира Алексеевича выше себя.

Однако мирская молва что морская волна. Слух плеснул в столицу, к балтийцам. Нахимов огорчился всерьез. Он написал Рейнеке: «До Синопа служил я тихо, безмятежно, а дело шло своим чередом. Надо же было сделаться так известным,

и вот начались сплетни, которых я враг, как и всякий добросовестный человек». Павел Степанович был столь раздосадован, что просил друзей развеять сплетни.

Примечательная реакция! Для Нахимова суть была не только в личных отношениях с Корниловым, но — и это главное — в служебной репутации. Умение отместить мелочное, случайное, желание ладить с уважаемым соратником — пример поучительный для военных и невоенных.

Рейнеке, старинный приятель Павла Степановича, лучше чем кто-либо понимавший Нахимова, не замедлил успокоить «семью моряков». Известный полярник и участник Наварина П. Ф. Анжу ответил Рейнеке «Как я был обрадован письмом Вашим, доказывавшим нелепость толков о невыгодных отношениях П. С. Нахимова с Корниловым; прибавлю к тому, что впоследствии мне весьма часто случалось, к удовольствию многих, приводить строки Ваши к уничтожению слухов, вредных тем, которых честь каждому из нас дорога. 29 июня (1854 г. — Ю. Д.) на Кронштадтском рейде, на корабле «Петр I» Петр Иванович праздновал свои именины, где участвовало много дам. За обеденным столом было более ста человек. Между предложенными тостами, провозглашен был Петром Ивановичем с приличным похвальным словом задранный тост за Павла Степановича Нахимова, что было принято с восклицанием громкого ура. Пишу об этом, зная, что для Вас приятно слышать, как здесь чтят Павла Степановича, отдавая справедливость заслугам отличного моряка и славного героя»².

Но если между Корниловым и Нахимовым все же пробежала хотя бы тень от кошки, то на Башне Ветров, в роковые минуты, когда неприятельская армада надвигалась, как сама Судьба, оба адмирала явственно ощутили общность своей участи. Ощутили то, о чем в просторечии говорят: «Связал нас бог одной веревочкой».

Оставив Севастополь, князь Меншиков оставил Корнилова начальником Северной стороны города, а Нахимову милостиво доверил оборонять Южную. Мановением холеной руки светлейший поручил морякам совершенно не морское дело, перевел их с палубы на уже выжженную летним зноем каменистую, полынную сушу.

Оставляя Севастополь, светлейший оставил в Севастополе неразбериху: не отграничил с той строгостью, какую требует военное дело, права и обязанности старших морских и армейских начальников.

¹ П. И. Рикорд (1776—1855) — адмирал, академик, исследователь северной части Тихого океана, занимавший ряд высших командных должностей.

² Центральный государственный архив Военно-Морского Флота, ф. 1166, оп. 1, д. 4, л. 4, 4 (об).

Отсутствие единоначалия пагубно сказалось бы с первых дней обороны, окажись на месте Нахимова и Корнилова люди иного понимания воинского и гражданского долга.

И вот тут-то, на военном совете (в своем роде уникальном — без главного; на совете, позволительно выразиться, равных и неподчиненных), тут-то и сказалось подлинное отношение Нахимова к Корнилову. Павел Степанович решительно объявил свою готовность подчиниться Владимиру Алексеевичу. Остальные незамедлительно согласились. Возникло единоначалие, единство командования. Без него Севастополь, конечно, не выдержал бы столь длительной осады.

(Кстати, о термине «осада». Адмирал И. С. Исаков, кажется, первым обратил внимание на некоторую неточность применения этого термина к севастопольской эпопее: «Строго говоря, Севастополь не был в осаде, так как обложена была только Южная его сторона, а коммуникация с Симферополем и далее с Россией поддерживалась систематически, даже без конвоев и эскортов. На Северной стороне города находились штабы, склады боезапаса, продовольствия и фуража, мастерские, госпитали, разгрузочные пункты, обеспечивающие деятельность частей на Южной стороне. Связь и свободное сообщение с русской полевой армией не прекращались до конца войны, за исключением двух-трех дней середины сентября 1854 года, когда союзная армия произвела переразвертывание на новую базу Балаклава — Камышовая бухта. Возможно, что термин «осада», часто заменяемый словом «блокада», получил широкое применение потому, что Севастополь был заблокирован с моря англо-французским флотом, располагавшим подавляющим численным и техническим превосходством».)

Вскоре после альминского проигрыша Нахимов пережил самое мрачное, самое трагическое из того, что ему выпало на долю.

В этом поистине страшном деле Павлу Степановичу к тому ж пришлось выдержать сопротивление своего друга. Нахимов отлично понимал душевное состояние Владимира Алексеевича. Больше того, Нахимов испытывал такое же отчаяние. И все же.

Совет флагманов и командиров решал: быть или не быть? Быть или не быть Черноморскому флоту? Быть или не быть тому, что давно, бесповоротно, окончательно как бы вошло в кровь и плоть, стало домом, малой родиной, единственным, ради чего жили и трудились.

Совет решал: выйти ль в море и сразиться с неприятелем или затопить корабли, сняв с них орудия и боевое имущество? Корнилов стоял за выход в море, за гибель с честью, гибель в открытом, абсолютно неравном бою. Любопытно: еще до осады, в январе пятьдесят четвертого года, Владимир Алексе-

евич указывал, что «н е л ь з я и д у м а т ь» о схватке с могучим союзным флотом. А сейчас, в сентябре того же года, он предложил «разразить врага на воде». Предложил, весь пылая, одержимо, с тем жестким выражением худощавого лица, которое говорило больше слов.

Некоторые высказались «за». Однако лишь некоторые. Капитан 1-го ранга Аполлинарий Зорин, командир «Селафаила», впоследствии вице-адмирал, возразил: как ни горько, игра не стоит свеч.

А Нахимов?

И. С. Исаков писал: «Нахимов без колебаний выступил против своего друга и боевого товарища».

Это не так: Нахимов молчал!

Историк В. Д. Поликарпов, восстановивший эпизод заседания драматического совета по архивным документам, объясняет: Нахимов молчал потому, что не хотел спорить с Корниловым в присутствии младших, не хотел ставить Владимира Алексеевича в неловкое положение.

Думается, и это не совсем так. Нахимов, очевидно, колебался. Но уже одно то, что он не поддерживал своего друга и боевого товарища (хотя именно голос Павла Степановича мог оказаться решающим), уже одно это — новое доказательство перевеса разума над эмоциями в нахимовской натуре.

Здесь, как и в виду Синопа, выказалась черта его таланта: редкое соединение твердой решимости с благоразумной осторожностью, «исключительная принадлежность великих военачальников».

Справедливости ради надо отметить: большинство участников совещания не разделило рыцарского порыва Корнилова. Был принят план «баррикадирования» главного фарватера кораблями-ветеранами, кораблями, так сказать, пенсионного возраста.

(Позже, уже в «тонущем» Севастополе, многим черноморцам казалось, что лучше было бы все-таки схватиться с врагом на море. Такого мнения держались люди пылкой храбрости; им недоставало холодности рассудка. Вот, к примеру, подлинный диалог офицера с седовласым, почтенным боцманом.

О ф и ц е р. Послушай, старинушка, подумай только, что у них конвой, верно, был всегда готовый к бою, да и то сообрази, что в драку вступить легко сказать, а ведь их по десяти корабликов, я чай, на наш один пришлось бы, да еще наши-то парусные, неповоротливые, нашим-то все приходится плясать по дудке ветра, а те паровые, так они бы нам такого чёсу задали, что и Севастополя некому было бы защищать, и бухту нечем было бы запрудить.

Б о ц м а н. Может быть, ваше благородие, слов нет, может, мы и погибли бы, и флот бы погиб... Да тогда, по крайности, знали бы, каков он есть. Черноморский-то флот!

Да и мы знали бы, как погибнуть! Не то что тут в хате лежишь аль сидишь, а тебя, гляди, ежеминутно норовит или бомба разорвать, или ядро пришибить; там бы сцепились с любым кораблем, который погрузнее, да и поднялись с ним на воздух.)

Морские летописи знают случаи затопления кораблей их же водителями и служителями. Всякий раз такая молчаливая гибель оказывалась драматичной. Моряки прощались с кораблем как с живым, обреченным на заклятие. Моряки испытывали что-то похожее на чувство вины перед верными товарищами, с которыми немало выстрадали и которые не раз выручали их.

Один севастополец запечатлел в своих воспоминаниях самопожертвование черноморцев. Эти строки дышат таким неподдельным чувством, что читатель, надеюсь, не посетует на длинную цитату.

«Адмирал Новосильский и командир корабля капитан 1-го ранга Кутров отправились на вельботе на берег, чтобы принять участие в совещании. На корабле у нас общее внимание обращено на Графскую пристань, у которой вельбот адмирала; сигнальщик не отрывает глаз от трубы. Вдруг раздается зычный голос: «Отваливает». Адмирал с командиром возвращаются на корабль. Все офицеры по старшинству становятся во фронт; они, видимо, стараются казаться спокойными, бодрыми, но лихорадочный блеск глаз выдает их душевное настроение. Вызван караул с музыкой; при звуке встречного марша адмирал спускается с площадки трапа на палубу; приняв рапорт старшего офицера, он машет рукой, музыка умолкает; выражение его лица грустно; не менее грустно и выражение лица командира, слезинки пробиваются из учащенно мигающих ресниц.

— Господа, — обращаясь к офицерам, сказал адмирал, — я вам, к великому моему прискорбию, привез печальную весть: мы должны будем расстаться со своим кораблем, он попал в список судов, назначенных к затоплению на фарватере.

После этих слов наступило гробовое молчание. Когда адмирал спустился вниз, офицеры окружили командира; здесь уже не было начальника и подчиненных; общее горе сблизило людей. Но в эту тяжелую минуту каждый сознавал, что ему предстоит трудная, непривычная, но вместе с тем славная служба — защищать с берега свой любимый порт.

Сейчас же на кораблях, назначенных к затоплению на фарватере, отвязывались паруса, спускались стены. Около трех часов корабли, буксируемые гребными судами, тихо подвигались к своему кладбищу. По всему рейду тянулась печальная процессия. Еще не прошло года, как некоторые из этих развенчанных героев прославили свои имена, в несколько часов уничтожив турецкий флот, а теперь, общипанные, с го-

лыми мачтами, уподоблялись преступникам, идущим на казнь в непригожем виде. В общем эта картина производила впечатление похоронного шествия, которое сопровождалось искренней печалью и слезами родственной семьи моряков, а также и посторонней публики, пришедшей в последний раз взглянуть на своих любимцев...

На другой день ждали только, по предварительному соглашению, подъема национального флага на флагштоке городской библиотеки. С напряженным вниманием и болью в сердце ждали появления этого рокового флага, и вот около шести вечера взвился он над библиотекой. Хотя все сознавали необходимость приближающегося грустного факта, но невольно являлась какая-то грустная нерешительность. Флаг продолжал развеиваться. Начинается спешная работа по разгрузке судов: всю ночь команда неутомимо работает; все, что только возможно, отвозится на берег...

Наступает рассвет — условленное время затопления судов, кругом берег по всем направлениям и прибрежные горы южной бухты усеяны публикой.

На кораблях рубятся мачты, слышались свистки, всю команду на корабле вызывают наверх; она становится по обоим сторонам борта; проверяется команда, двух матросиков недостает; наконец они выскакивают, и у каждого в руках по любимой кошке. После проверки посылаются вниз люди, чтобы с обеих сторон в одно время в подводной части прорубить отверстия.

Офицеры и команда готовятся оставить корабль; почти у всех на глазах слезы, некоторые рыдают; соседние корабли постепенно, один за другим погружаются в воду.

Шлюпки, наполненные оставившими свои суда командами, плывут к берегу; но корабль «Три святителя» еще борется за жизнь; он лег на левый бок и не идет ко дну; ветеран, казалось, не желает умирать такой позорной смертью; в своей смертельной агонии он как будто ждет более почетного смертельного удара. Подходит пароход «Громомосец», пускает в него несколько ядер; зашатался великан, медленно скрывается под водой и, точно последним вздохом, взбурлил над собой морскую пучину...»

А несколько месяцев спустя затопили еще партию судов, и севастопольские бухты, как выразительно заметил современник, «захлебнулись кораблями». Прорыв неприятеля со стороны моря исключался начисто.

Неприятель понял и оценил поступок русских. Французский адмирал Гамелен донес в Париж, что, если бы корабли не были затоплены, «союзный флот после первого выдержанного огня проник бы туда (в Севастопольскую гавань. — Ю. Д.) с успехом и вступил бы из глубины бухты в сообщение со своими армиями».

Во все время обороны Севастополя действовали на море лишь пароходо-фрегаты, в частности бутаковский «Владимир». Отряд — карликовый в сравнении с числом лошадиных сил, которыми располагал враг, — совершил немало дерзких вылазок. Кто знает, не завидовал ли втайне Павел Степанович молодым офицерам пароходо-фрегатов, хотя бы тому же Григорию Бутакову, которого Нахимов не пускал на бастионы, сберегая для будущего флота? Кто знает, не завидовал ли всем им Павел Степанович? И не потому, что понимал — грядет новый, паровой и винтовой флот, а потому, что сейчас, теперь эти машинные фрегаты ходили среди волн и ветров Черноморья...

И все же флот жил. Он жил, ибо жили флотские экипажи, возвращенные на палубах, в штормах. Он жил, ибо его артиллерия переселилась на берег. Флот жил в огне, огнем, среди огня. Флот жил, ибо дрался с неприятелем, можно сказать, самым могущественным в Европе, дрался на самых важных, ключевых, опасных участках постепенно возникавшей оборонительной линии.

2

Почти в каждой петербургской гостиной — чашечки мыльной воды и коротенькие соломки. Не мальчики, а мужи, наравне с мальчиками, только еще «выезжавшими в свет», морщили губы, выдувая радужные легонькие шарики. Но вот налетел самум войны...

Правда, вначале, под синопским хмелем, «общество» верило в скорый погром супостатов. Скрипели перья: крестовый поход на Царьград, святая миссия белого царя, «ура! на трех ударим разом» и тому подобные упражнения, густо уснащенные церковнославянской лексикой и щедро награждаемые правительством.

Альмой началось отрезвление. Осада Севастополя продолжала его и завершила. Глиняные ноги колосса растрескивались от жара крымской канонады. Обнаруживались и дипломатические просчеты, хотя Николай Павлович «понимал о себе», как о дипломатическом гении. Оказалось, что ни Австрия (о черная неблагодарность!), ни Пруссия (какая негоданная подлость!), ни Швеция (проклятый старый недруг!) не только не сулят надежного нейтралитета, но еще, пожалуй, могут напрячь бранную мышцу. Выходило, что волей-неволей придется дислоцировать три четверти вооруженных сил на западных рубежах империи.

«Общество» глухо ропщет: корабль дал течь, крысы заматались в трюмах. Обостряется то, что называется кризисом верхов.

Смешанные чувства испытывает передовая русская интеллигенция: горько сострадав мужикам в шинелях, восхищаясь их мужеством, она не желает побед Николаю Первому, страшась еще большего укрепления его власти.

Прямо, без смятений и колебаний, по-крестьянски смотрит на дело Тарас Шевченко:

Опять настало время злое...
Опять струится кровь мужичья...
Палачи в коронах,
Как псы голодные за кость,
Грызутся снова...

«Народ, — говорит Чернышевский, — застонал, когда услышал: «началась война». Народ «застонал» и взялся за топоры. Уже в конце 1854 года поднимаются целые губернии. Не жандармы, не роты нужны теперь — нет, крупные подразделения, полки. Война с врагом внешним могла вот-вот слиться с крестьянской войной. Угроза была серьезная, и правительство это понимало.

Однако силою вещей оно, правительство, понуждалось именно к тому, чтобы обращаться к народу: был объявлен манифест о наборе в ополчение. Тут опять-таки все не столь просто, гладко, «барабанно-патриотически».

Мужик идет в ополчение. Идет охотно, массою. Мужик толкует: лучше служить царю, чем барину. Наивный монархист, веруя (и еще долго-долго после войны храня эту веру) в царя-батюшку, противопоставляет его помещику. Мужик рассуждает так: солдата регулярной службы освобождают от «крепости», он человек казенный; в таком разе и ополченца, ратника, тоже освободят. А как иначе? Ратник ведь такой же солдат (отличие формы не в счет), ратник тоже кровушки не пожалеет, почему же и ратника не избавить от неволи-недели?! Мужик об этом заявляет громко, в открытую, требовательно. В «Дневнике старого врача» (Н. И. Пирогова) читаем: «...При формировке ополчений крестьяне Юго-Западного края изъявили намерение поголовно идти в казаки, то есть выйти из крепостной зависимости. Понадобились даже местами и пушки для усмирения».

Мысль эта — выйти из крепостной зависимости — жила и раньше, во времена одоления Наполеона Первого. Грибоедов оставил ярчайший антикрепостнический документ — набросок пьесы «1812 год». Герой пьесы мужик-ополченец полагал, что после победы «дадут волю». И позже Крымской войны, уже в пореформенную эпоху, во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов крестьяне, как пишет историк П. А. Зайончковский, надеялись на «черный передел». Маркс прав: царизм в лихие военные годы вызывал «перед взорами крестьянства *fata morgana* свободы».

В массовом героизме Крымской войны, Севастопольской

обороны просматривается и эта вот надежда — надежда на то, что с такими отважными бойцами впредь не посмеют обращаться по-скотски: «Креста, что ли, на господах нету?»

3

Матросы одной команды, одного экипажа утвердились бок о бок на одной позиции — на сухопутных рубежах. Морские батальоны расположились привычным порядком, привычным бытом (с неизбежной поправкой на условия), и главное — перенесли на сушу все, что сложилось на палубах и реях, то есть свою особую быстроту, сметливость, способность к самостоятельности, к риску.

Ничуть не умаляя мужества армейцев, надо все же обратить внимание читателя на выдающуюся роль флотских. Мемуаристы, не принадлежавшие к ним, согласно свидетельствуют: «Вообще флотские офицеры и матросы были настоящие воины и давали тон всем защитникам Севастополя; они настолько были проникнуты стоицизмом и долгом воинской чести, что без всякого приказания от высшего начальства легко и даже тяжело раненные обыкновенно не стонали от боли».

Нахимов постоянно бывал на оборонительных рубежах. «Чтобы иметь влияние на людей, — говорит Ключевский, — надо думать только о них, забывая себя, а не вспоминать о них, когда потребуется напомнить им о себе».

В осажденном городе Павел Степанович получил несколько контузий, хворал, но перемогался, и неизменно объезжал позиции, никого и ни о чем не забывая. Вот каким запечатлелся он в памяти защитников Севастополя: «Павел Степанович Нахимов был высокого роста, несколько сутуловатый и не тучный; всегда опрятный, он отличался свежестью своих воротничков, называвшихся у черноморцев лиселями¹, — наружная чистота, любимая им во всем, соответствовала его высоким качествам; скулистое, живое лицо выражало всегда состояние духа, а мягкие голубые глаза светились умом и смыслом; характер энергический и вполне понятный морякам...»

Нахимова иногда упрекали в безрассудной храбрости: в далеко приметном адмиральском облачении, он появлялся на позициях. Нахимов отвечал раздумчиво, без тени рисовки:

— Хожу же я по батареям в сюртуке и эполетах потому, что, мне кажется, морской офицер должен быть до последней

¹ Лисель — один из видов корабельных парусов.

минуты пристойно одет, да как-то это дает мне больше влияния не только на наших, но и на солдат.

Нахимов, чем дальше, тем острее сознавал гибельное положение Севастополя. Однако и мысли не допускал, что переживет падение его. Повторял: черноморский моряк не может покинуть родной город. Чтобы оставить Москву, надо было обладать прозорливостью Кутузова; чтобы не оставить Севастополя, надо было обладать сердцем Нахимова. Для него это было попросту невозможно, неприемлемо, непереносимо.

О матросах, солдатах, офицерах, о тех, кто дрался до последней возможности и сверх последней возможности, современник сказал: людей и эти кучи камня связывали огонь и кровь. Быть может, крепче чем кого-либо они связывали с руинами Нахимова. Он не видел «куч камней», он не смотрел на Севастополь лишь как на базу, без которой не возродится Черноморский флот. Он ни на миг не отделял своей участи от участи Севастополя.

Нахимова не только попрекали в безрассудной храбрости, но и подозревали в нарочитых поисках смерти. Конечно, же л а н и е Нахимова погибнуть на севастопольских редутах не высказывалось Павлом Степановичем ни устно, ни тем паче письменно. Но разве хоть единая жизнь человеческая полностью, исчерпывающе документирована?

Адмирал И. С. Исаков резкий противник подобной версии: причислять Нахимова к сознательным самоубийцам большая ошибка; нельзя воина, решившего стоять до конца на своем боевом посту, считать самоубийцей.

Фатальное отношение к смерти — «чему быть, того не миновать» — чувствуется у многих защитников твердыни. Да правду сказать, без него они не выдержали бы этого поистине ужасающего напряжения. Впрочем, от фатализма до самоубийства — дистанция.

Однако мы располагаем письмом к Нахимову неизменного Михаила Францевича Рейнеке. Письмо это привожу, прибегая к выразительности курсива:

«Слышу, что ты разъезжаешь на коне по всей оборонительной линии, и единственно тобою поддерживается порядок и дух войск, не только матросов, но и солдат. С твоим именем и при твоих понятиях об обязанностях начальника иначе и быть не может. Но для чего без нужды пускаться в самые опасные места и подвергать себя убийственному огню? *К чему искать смерти?..* Думаю даже, что в случае смерти, которую ты так *ищешь*, самый поступок этот перетолкуют иначе: что ты, впадши в отчаяние, не смог перенести угрожающего несчастья... Ради бога, мой добрый друг, береги себя для общей пользы! Только ты еще можешь поправить или хоть поддержать дела Севастополя. Да если взглянешь на это как

христианин, то не малодушие ли бояться пережить или быть свидетелем падения города, хотя оно, конечно, и весьма скорбное унижение для отчизны, не похоже ли это на *самоубийство*, не грех ли это?»

Рейнеке говорит не о воинском долге, а о долге христианина: верующий не смеет налагать на себя руку. Но Павел Степанович и не думал пускать пулю в лоб. Однако, сомненья нет, лоб свой не берег от вражеской пули.

Между тем смерть кидалась на Севастополь, металась в Севастополе, верховодила всевластно, поставляя сотни и сотни трупов тому унтеру, который командовал перевозкой убитых с Южной стороны на Северную, в братские ямины, и который не без мрачного юмора был окрещен Хароном. Не обегала она стороной и союзников. Французское кладбище близ Камышовой бухты принимало подданных императора Наполеона III, их укладывали в склепы, сохранившиеся поныне. И другое, близ Балаклавы, тоже ширилось, давая вечный приют именитым и неименитым англичанам, «сынам» Виктории, королевы Великобритании и Ирландии.

В пятый день октября 1854 года неприятель подверг город бомбардировке с моря и суши, «брандовке», как говорили матросы и солдаты. «Рабочий день» длился восемь часов; союзники обрушили на врага пятьдесят тысяч снарядов. Русские отогнали атакующих.

Французский лейтенант, разбирая отечественные архивы, хотел задним числом оправдаться. «Результаты этого боя не были вообще значительны, да большего и нельзя было ожидать, так как дистанция, с которой суда атаковали, была слишком велика для орудий того времени. (Лейтенант не замечает, как обвиняет своих подзащитных в робости! — Ю. Д.) Конечно, при более настойчивой атаке союзники могли бы заставить замолчать батареи, но нужно считаться с тем, что сопротивление, оказанное русскими, было весьма упорно, и когда союзники вечером стали удаляться, то как с Северной стороны, так и с Южной были провожаемы энергичными и многочисленными залпами».

Альминские реляции, отступление Меншикова убедили Англию и Францию в близком падении Севастополя. Но Энгельс предвидел, что «Севастополь будет взят только после отчаянного сопротивления и ужасного кровопролития, кровавые картины сражения на Альме, конечно, будут превзойдены в своем роде ужасами штурма и взятия Севастополя».

Ураганный шквал 5 октября не сокрушил обороняющихся. Севастополь выстоял. Неприятель поневоле признал необходимость долгой осады. Однако ни один генерал ни тогда, ни позже не посмел бы и не захотел бы признать, что за длительное мирное время перед Крымской войной мате-

риальная часть европейских армий прогрессировала в той же мере, в какой деградировало их искусство воевать.

Вслед за чудовищной «брандовкой» наступило затишье. Затишье относительное. Потому что пушечная дуэль не умолкала, хотя и не была столь интенсивной, как 5 октября. Потому что пароходо-фрегаты, подкараулив соперников, завязывали стычки. Потому что на пикеты и траншеи неприятеля налетали пластуны, эти неуловимые полуночники, которые сами о себе говорили: «Где сухо — там брюхом, где мокро — там на коленках...». Потому что на исходе все того же октября случилось Инкерманское дело. Меншиков его не хотел. Его хотел Николай. Дело было проиграно. И тягостное впечатление от этого проигрыша затмило предшествующую удачу под Балаклавой. А в Севастополе уже ощущалась нехватка снарядов. Она понудила защитников умерить мощь артиллерийских контрударов. И вот теперь уж в особенности начинает чувствоваться та роковая недостача в средствах ведения войны, которая и придала севастопольской эпопее резкие черты трагизма.

Давно все это отошло в прошлое, но и нынче горестно слушать очевидцев. «...Подняли в дело такие орудия, которые если бы не этот случай, то, верно, лежали бы до второго пришествия в арсенале, а в нужде и те поставили на место: бывало, привезут ядра и пошла пригонка, годно или негодно, а если и есть зазор на $\frac{1}{8}$ вершка, то на это моряки говорили артиллеристам: «Ничего, сойдет», и правда, что ничего; как стукнет, бывало, — так в ушах и зазвонит, но наносили они вред неприятелю или не наносили, нам известно не было».

Или вот еще: «Но досаднее всего это то, что на каждый наш выстрел они отвечали десятью. Наши заводы не успевали делать такого количества снарядов, чтоб нанести и хоть небольшой вред неприятелю; и кроме того, подвоз на телегах гораздо неудобнее, чем подвоз на пароходах, на которых неприятель доставлял все, что только ему нужно».

И еще: «...Мы собирали осколки, клали с жестянки и заряжали мортиры. Пущенные таким образом, осколки осыпали неприятельские траншеи. Были у нас своего рода ланкастерские пушки. Чугунные, бомбические пушки с отбитыми цапфами мы вкапывали под углом в землю, давали желаемый угол возвышения, подкладывая клин. Пущенные из этих орудий бомбы залетали в неприятельский лагерь, но чаще разрывались в высоте по неимению трубок для дальнего полета. Были частые разрывы чугунных пушек, что наносило большой вред прислуге».

Обычно упоминается лишь о малом числе штуцеров, то есть нарезных ружей, упоминается, что за эдакую редкость пластунам, добытчикам их у неприятеля, платили денежную

награду, что штуцера вручали лишь самым метким стрелкам, по-нынешнему сказать — снайперам. Но и с гладкоствольными ружьями севастопольцы хватили горюшка.

«...Французские пули Минье, введенные у нас во время осады, после двух или трех выстрелов не входили в дуло. Солдаты загоняли пулю, ударяя камнем по шомполу; шомпол гнется в дугу, а пуля не подается. Колотили как в кузнице. Солдаты приносили сальные огарки, смазывали пулю, но все не помогало. Ружья, переделанные на нарезные, раздирались по нарезам. Не мудрено, что в таком положении офицеры приходили в отчаяние, а солдаты бредили изменой».

Еженощное исправление порушенных за день укреплений, прокладка подземных минных галерей требовали саперного инструмента. Чего уж кажется проще, тут тебе не артиллерия, не пули Минье, не штуцера, однако опять-таки выходило худо. «На работах при каменистом грунте наш шанцевый инструмент, столь красивый на инспекторских смотрах, оказался мало пригодным. Только и можно было работать инструментом, добытым от неприятеля, преимущественно английским. Даже железо татарских топоров оказывалось сноснее нашего при разбивке камня для щепня».

Крымская война была не только войной с внешним врагом, но и с врагом внутренним: фронтовиков с тыловиками. И в мирное время казнокрадство цвело махровым цветом. Теперь оно достигло небывалого размаха. В еще большей степени, нежели нищету материальную, империя ощущала нищету моральную: в людях элементарной честности.

Чиновники, коммерсанты, подрядчики, интенданты не могли бы так «развернуться», если б получали должный отпор от высшего строевого офицерства. (Например, такой, какой задал Нахимов в случае, описанном Лесковым.) Отпора не было. Была стачка, рука в руку, полное взаимопонимание. «...Все эти генералы, — писал Энгельс, — командующие корпусами, дивизиями, бригадами с их соответствующими штабами хорошо известные своим подчиненным, хорошо знающие друг друга, прекрасно чувствующие себя на своих постах и при исполнении своих обязанностей, — все это оказалось сплошным грандиозным сговором для присвоения казенных денег и расхищения солдатских пайков, обмундирования и сумм, предназначенных для устройства их быта».

«Вкоренился обычай мошенничества разного рода», — с горечью замечал современник. Впрочем, подобный «обычай» не был специфически русским. Он был, так сказать, интернациональным. Один из поляков, находившийся на султанской службе, признал впоследствии, что интендантства союзных

держав научили турок, как обкрадывать и обсчитывать казну. Эта западная школа принесла обильные плоды»¹.

Под стать всем прочим видам обеспечения войск пришлось и медицинское. Не хватало врачей и санитаров, не хватало медикаментов, даже носилок. Госпитали не поспевали размещать изувеченных. Да и сами госпитальные условия были омерзительными. Свидетелем — авторитет непререкаемый: уже упомянутый выше Николай Иванович Пирогов.

Отмечая «общность» интендантства русского с интендантством союзных армий, следует отметить и сходство госпитальных условий. Прочтите, обращался Маркс к читателям «Новой одерской газеты», «описание положения дел в госпиталях (союзников. — Ю. Д.), описание тех позорно жестоких условий, в которых — не то из-за нерадивости, не то из-за беспечности — находились больные и раненые как на борту транспортных судов, так и по прибытии на место назначения». И ниже: «На месте не нашлось ни одного мужчины, обладавшего достаточной энергией, чтобы разорвать эту сеть рутины и действовать на свою ответственность, руководствуясь требованиями момента и вопреки регламенту. Лишь одно лицо осмелилось это сделать, и это была женщина, мисс Найтингейл».

Филантропка и писательница Флоренс Найтингейл была у союзников первой и, кажется, единственной ласточкой. В России нашлись и мужчины, и женщины, способные рвать цепь рутины. В Севастополе удалось несколько улучшить дело усилиями Пирогова и его сподвижников при усердной помощи Нахимова². Медикам помогали солдаты и матроски, офицерские жены, жительницы города, такие, как знаменитая Даша. Ее «благородная склонность», пишет Пирогов, обнаружилась еще при Альме: она, продолжает Николай Иванович, «ассистировала и при операциях». В осажденный, пылающий Севастополь приехали сестры милосердия, те русские женщины, которых, право, можно поставить рядом с декабристками, если не выше.

¹ «В каждом полку есть офицер в звании полковника, — писал Энгельс об английской армии, — на обязанности которого лежит добыть от казны для обмундирования своего полка известную сумму, из которой он, однако, тратит по назначению только часть. Остальное присваивается им как вознаграждение за хлопоты».

² Как любезно сообщил мне адмирал Евгений Евгеньевич Шведе, у него долгое время хранились письма деда (по материнской линии), «который был учеником и другом Пирогова и который молодым врачом попал в Севастополь и был назначен начальником небольшого госпиталя, находившегося в доме, в котором жил Нахимов. Павел Степанович по вечерам беседовал с моим дедом и ранеными; дед в своих письмах дал очень рельефную и восторженную характеристику адмирала, приводил его остроумные замечания».

К сожалению, корреспонденция севастопольского медика пропала во время блокады Ленинграда.

И простая девушка, известная в истории под именем Даши Севастопольской, и жительницы города, и эти сестры милосердия — все они не были родней красноречивой г-жи Хохлаковой. Помните, у Достоевского в «Братьях Карамазовых»? Г-жа Хохлакова изливалась старцу Зосиме, что она-де могла бы стать беззаветной сестрой милосердия, когда бы не боялась неблагодарности и капризов страждущих. А старец Зосима отвечал ей, что существует любовь мечтательная и любовь деятельная. И определял последнюю: «Любовь же деятельная — это работа, выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука».

Севастопольские женщины явили любовь деятельную. Они не утрашили ни грязи, ни вони, ни вшей, ни гноя, ни «капризов». И они явили «работу и выдержку» не ради благодарностей. Одно присутствие этих женщин (не только в госпиталях, но и на редутах) приносило облегчение людям, истекающим кровью. За сердце хватают слова умирающего солдата, сказанные одной из них: «Хоть потолкайся, матушка, около меня, так мне уж и легче будет».

4

Истинное положение на театре военных действий трудно было уяснить из официальных сообщений. Всегдашнее желание скрыть, смягчить, смазать «неприятное» водило перьями тех, кто гонял в Петербург фельдъегерей.

«Под прикрытием того, что Россию не надо пугать, — рассказывает мемуарист, — в реляциях скрывались ошибки, принадлежащие главнокомандующим и их ближайшим помощникам. Между офицерами ходило мнение, что главным штабом армии реляции составляются в более выгодном свете с целью не огорчить государя».

Реляции, сколь бы искусно лживыми ни были, не могли скрыть ужасную истину. Гнилость и бессилие режима сделались очевидностью. Об этом знала Россия. Об этом знал царь. Его преследовали кошмары. Самолюбие Николая жестоко страдало. Одинокий, мрачный, неприкаянный, он бродил по ночному Петрополю. Или вдруг, никому не сказавшись, скрывался в Гатчине, сумрачной резиденции некогда задушенного отца. Существует предположение, что Николай отравился. Как бы там ни было, принял ли он яд или простудился, а смерть не заставила себя упрашивать, и в феврале пятьдесят пятого Николай преставился.

Не знаю, как на смерть самодержца откликнулся Нахимов. Понятно, он вместе с другими отстоял панихиду. Может быть, произнес несколько «приличествующих случаю» слов. Несомненно, однако, что Павел Степанович не убивался по

Николаю Павловичу. Самое имя царя упоминалось Нахимовым лишь в писаниях особого, торжественного свойства, где уж без «формулы» не обойдешься. В интимной переписке имени государя не встретишь.

Наполеон некогда обвинял адмирала Сенявина в непопечительности и грубости. Так же, пожалуй, мог бы поступить и царь по отношению к Нахимову. Однажды очередной флигель-адъютант примчался из Петербурга в Севастополь и привез Павлу Степановичу августейший «поклон и поцелуй». И что же? Нахимов накинулся на царского посланца: «Вы опять с поклоном-с? Благодарю вас покорно-с! Я и от первого поклона был целый день болен-с!» В другой раз, получая очередную царскую награду, Нахимов, не стесняясь присутствием многих офицеров, раздраженно воскликнул: «Лучше бы они мне бомб прислали!» Монаршие милости не имели в его глазах большей цены, чем хвалебное стихотворение некоего сочинителя, на которое Нахимов отозвался усмешливо: «Если этот господин хотел сделать мне удовольствие, то уж лучше бы прислал несколько сот ведер капусты для моих матросов».

И уж совсем не гнул Нахимов хребет перед клеветами, любимицами и родственниками императора. Известно его презрительное отношение к «светлейшему» Меншикову, как и полное отсутствие искательства у великих князей, посещавших Севастополь. Павел Степанович ни в малейшей степени не страдал раболепием, лизоблюдством. Не оттого что сознавал свою незаменимость, вес свой и значение, хотя он это и признавал, а потому что подобные качества были органически чужды ему, претили нравственности...

Николай умер, война продолжалась. Николай умер, Нахимов продолжал делать то, что делал изо дня в день с того часа, как погиб Корнилов и он, Нахимов, оказался «душою обороны». Ценою невероятных усилий, он добился главного: неприятель вынужден был откладывать и откладывать генеральный штурм.

Но оттяжка общего штурма, эпидемии на биваках союзников, ощутительная убыль живой силы — все это не означало, что враг перестал действовать. Происходили схватки ожесточенные и частые.

Именно в марте, когда Нахимов назначается временным военным губернатором Севастополя, когда его за отличие производят в полные адмиралы, Энгельс пишет: «Характер оборонительных укреплений, превосходство неприятельского (русского. — Ю. Д.) огня, несоответствие численности осаждающей армии с возложенной на нее задачей и, прежде всего, решающее значение Северного укрепления слишком хорошо поняты сейчас во всем лагере...» И тогда же, весной пятьдесят пятого года, резюмирует: «Ход событий в Крыму

меньше всего позволяет говорить о близком падении Севастополя».

Крым был для Энгельса не только эпицентром военного землетрясения, но и подобием огромного увеличительного стекла: пороки обеих воюющих сторон обнаружались четко, зримо, убедительно. Энгельс высмеял бесстыдное хвастовство русских и союзных генеральских реляций; изобличил ошибки, глупость англо-французской и русской военщины; дал анализ боевой подготовки действующих армий и флотов, отметив, между прочим, что дух парадности, муштра и телесные наказания присущи не только вооруженным силам Северного Медведя, но и «просвещенной» Европы.

В работах сподвижника Маркса находишь немало замет о «нижних чинах» царской армии, то есть как раз о тех простых людях, вчерашних пахарях, которые одиннадцать месяцев бились с могучим врагом и которые находились в распоряжении «батъки-адмирала», как они все любовно называли Нахимова.

У Энгельса есть чеканная формула становой черты русской солдатской (читай: и матросской) массы — о т л и ч н ы е б о е в ы е к а ч е с т в а. «Русский солдат является одним из самых храбрых в Европе. Его упорство почти не уступает упорству английских и некоторых австрийских батальонов. Ему свойственно то, что Джон Буль хвастливо приписывает себе, — он не чувствует, что побит. Каре русской пехоты сопротивлялись и сражались врукопашную долгое время после того, как кавалерия прорвалась через них; и всегда считалось, что легче русских перестрелять, чем заставить их отступить. Сэр Джордж Каткерт¹, который наблюдал их в 1813 и 1814 гг. в роли союзников, а в 1854 г. в Крыму — в роли противников, с уважением свидетельствует, что они «никогда не поддаются панике».

К общим чертам Энгельс добавляет штрихи, характерные для той же русской солдатской массы. Она крайне медленно поддается военному обучению; ее стойкость при поражениях объясняется не вообще мужеством, но пассивным мужеством, тем притупленным моральным чувством, какое свойственно людям, от люльки привычным к покорности; у нее нет навыка к маневрированию, отсутствие которого понуждает действовать лишь походной колонной, ибо тогда «инстинкт сцепления храброй, но бездушной массы» компенсирует промахи офицеров.

Одна из замечательных заслуг Нахимова (и редкостных военачальников его типа) как раз и заключалась в умении и

¹ Джордж Каткерт (1794—1854) — английский генерал, автор нескольких военных трудов. Убит в Крыму, в сражении при Инкермане.

желании развязать, расковать, поощрить инициативу, сметку, находчивость подчиненных.

Общая оценка русского воина, сделанная марксовым «военным министерством», этот общий взгляд на русскую храбрость и стойкость великолепно дополняется, обретая живые, неизгладимые приметы, Львом Толстым. Толстой оставил проникновенные зарисовки. Он носил мундир, под огнем узнал и понял своеобразность русского героизма, угаданную еще Лермонтовым. Лермонтов шел, так сказать, от противного: «Грушницкий слывет отчаянным храбрецом, я его видел в деле: он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..»

Толстой — напрямик:

«— Что же вы называете храбрым?»

— Храбрый? храбрый? — повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос: — х р а б р ы й т о т , к о т о р ы й в е д е т с е б я к а к с л е д у е т , — сказал он, подумав немного.

Я вспомнил, что Платон определяет храбрость знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться, и, несмотря на общность и неясность выражения в определении капитана, я подумал, что основная мысль обоих не так различна, как могло бы показаться, и что даже определение капитана вернее определения греческого философа, потому что, если бы он мог выражаться так же, как Платон, он, верно, сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, чего следует бояться, а не того, чего не нужно бояться.

Мне хотелось объяснить свою мысль капитану.

— Да, — сказал я, — мне кажется, что в каждой опасности есть выбор, и выбор, сделанный под влиянием, например, чувства долга, есть храбрость, а выбор, сделанный под влиянием низкого чувствам — трусость...»

«В фигуре капитана было очень мало воинственного; но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. «Вот кто истинно храбр», сказалось мне невольно.

Он был точно таким же, каким я всегда видал его: те же спокойные движения, тот же ровный голос, то же выражение бесхитростности на его некрасивом, но простом лице; только по более, чем обыкновенно, светлomu взгляду можно было заметить в нем внимание человека, спокойно занятого своим делом».

«Француз, который при Ватерлоо сказал: «La garde meurt, mais ne se rend pas»¹, и другие, в особенности французские

¹ Гвардия умирает, но не сдается.

герои, которые говорили достопамятные изречения, были храбры и действительно говорили достопамятные изречения; но между их храбростью и храбростью капитана есть та разница, что если бы великое слово, в каком бы то ни было случае, даже шевелилось в душе моего героя, я уверен, он не сказал бы его: во-первых, потому, что, сказав великое слово, он боялся бы этим самым испортить великое дело, а во-вторых, потому, что когда человек чувствует в себе силы сделать великое дело, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнению, особенная и высокая черта русской храбрости»¹.

Выше говорилось о постижении Нахимовым народного духа. Теперь скажем и о том, что народный дух жил в Нахимове. Вглядываясь в его поведение времен севастопольского испытания, поражаешься, сколь тождественны особенности, подмеченные великим писателем, с качествами, присущими Павлу Степановичу: и это «умение вести себя как следует», и эта естественность, «всегдашность» под огнем, и это отсутствие «великих слов», и эта спокойная деловитость среди смертоносного вихря.

Нахимов был не просто героем. Он был героем народным. Одним из тех, кого с ревнивой бережливостью хранит память поколений.

5

Истомин возвращался с Камчатского люнета, заслонявшего, как щит, Малахов курган. Французские батареи гремели. Истомина просили переждать опасность в траншее. Он отмахнулся: «Э, батенька, все равно: от ядра нигде не спрячешься!» В тот же миг ядром оторвало ему голову.

Нахимов знал Истомина со времен Наварина: гардемарин Истомин плывал на «Азове». Он пестовался, как и Нахимов, в черноморской школе; войну встретил капитаном 1-го ранга, командиром линейного корабля «Париж»; Синоп «пристегнул» ему контр-адмиральские эполеты.

¹ Любопытно не только различие русской и французской храбрости, но и отношение к «достопамятным изречениям».

Однажды Наполеон очутился в критическом положении. Подле него была только свита, отряд гренадер, горстка гвардейцев. «Солдаты! — крикнул император гренадерам. — Спасем Францию!» — «Друзья, — сказал он свите, — исполним наш долг». — «Господа, — скомандовал он гвардейцам, — следуйте за мною!»

«Поистине, — восклицает Бальзак, — чтобы найти такие оттенки во время боя, среди картечи и огня, нужно быть одновременно гениальным человеком и Людовиком XIV».

«Достопамятные изречения» раздражают Толстого, Бальзака — восхищают.

Если Нахимов как бы загодя принял неотвратимость своей смерти на севастопольских бастионах, то гибель соратников, в каких бы чинах они ни ходили, всегда отзывалась в нем острой болью. К э т о м у он привыкнуть не мог, не умел. «Я уверен, — говорил моряк, участник обороны, — что никому так не горько при виде убитого или раненого флотского офицера, как Павлу Степановичу, который душою привязан ко всем нам».

Под тяжестью забот, огорчений, дум, весь захваченный боевой страдою, Нахимов находил и минуты и силы, чтобы послать родным погибшего хотя бы коротенькое письмецо. Рыдая, пережил он смерть Корнилова, плакал на похоронах Истомина. Брату его сообщил: «Вы знали наши с ним дружеские отношения, и потому я не стану говорить о своих чувствах и своей глубокой скорби... Спешу вам только передать об общем участии, которое возбудила во всех гибель товарища и начальника, всеми любимого. Оборона Севастополя потеряла в нем одного из своих главных деятелей, воодушевленного постоянно благородною энергиею и геройскою решительностью... По единодушному желанию всех нас, бывших его сослуживцев, мы погребли тело его в почетной и священной могиле для черноморских моряков, в том склепе, где лежит прах незабвенного адмирала Михаила Петровича и первая, вместе высокая жертва защиты Севастополя, покойный Владимир Алексеевич. Я берег это место для себя, но решился уступить ему».

Пушкин после смерти Дельвига сказал: «И мнится очередь за мной...» Нахимов после смерти Истомина сказал: «Есть место еще для одного: лягу хоть в ногах у своих товарищей».

В начале восьмьсот пятьдесят пятого года союзники обзавелись новым партнером. Не бог весть каким, но все же: Сардинским королевством, государством, существовавшим на территории Италии вот уж второе столетие. В мае Балаклава, оккупированная англичанами, приняла сардинский корпус — пятнадцать тысяч брюнетов. В мае на крымскую землю высадились дополнительные французские резервы. В мае неприятель взял Керчь.

В первых числах июня, после страшной бомбардировки и отчаянной схватки, пали Камчатский люнет, Селенгинский и Волынский редуты. При защите люнета Нахимов еще 6 минут-другая был бы пленен или убит французами. Его спасли буквально матросские руки: матросы попросту сгребли в охапку своего «батьку» и оттащили прочь.

Неприятель чуть ли не вплотную приблизился к Малахову кургану. Победа предопределилась 20-кратным перевесом атакующих, двойным превосходством в числе выпущенных артиллерийских снарядов.

Офицер вражеского лагеря признавал, что война «сделала из Севастополя новую Троию, но русские оборонялись лучше, чем троянцы». Похвала лестная, однако несколько риторическая. Вчитайтесь не торопясь в другое свидетельство. Оно тоже из вражеского стана, но это уж такое, что, право, мороз подирает по коже. Вот солдатское письмо из Крыма, адресованное в Париж некоему Морису, другу автора:

«Наш майор говорит, что по всем правилам военной науки им (русским. — Ю. Д.) давно пора капитулировать. На каждую их пушку — у нас пять пушек, на каждого солдата — десять. А ты бы видел их ружья! Наверное, у наших дедов, штурмовавших Бастилию, и то было лучшее оружие. У них нет снарядов.

Каждое утро их женщины и дети выходят на открытое поле между укреплениями и собирают в мешки ядра. Мы начинаем стрелять. Да! Мы стреляем в женщин и детей. Не удивляйся. Но ведь ядра, которые они собирают, предназначаются для нас! А они не уходят. Женщины плюют в нашу сторону, а мальчишки показывают языки.

Им нечего есть. Мы видим, как они маленькие кусочки хлеба делят на пятерых. И откуда только они берут силы сражаться?! На каждую нашу атаку они отвечают контратакой и вынуждают нас отступать за укрепления. Не смейся, Морис, над нашими солдатами. Мы не из трусливых, но когда у русского в руке штык — дереву и тому я советовал бы уйти с дороги. Я, милый Морис, иногда перестаю верить майору. Мне начинает казаться, что война никогда не кончится. Вчера перед вечером мы четвертый раз за день ходили в атаку и четвертый раз отступали. Русские матросы (я ведь писал тебе, что они сошли с кораблей и теперь защищают бастионы) погнались за нами. Впереди бежал коренастый малый с черными усиками и серьгой в одном ухе. Он сшиб двух наших — одного штыком, другого прикладом — и уже нацелился на третьего, когда хорошенькая порция шрапнели угодила ему прямо в лицо. Рука у матроса так и отлетела, кровь брызнула фонтаном. Сгоряча он пробежал еще несколько шагов и свалился на землю у самого нашего вала. Мы перетащили его к себе, перевязали кое-как раны и положили в землянке. Он еще дышал: «Если до утра не умрет, отправим его в лазарет, — сказал капрал. — А сейчас поздно. Чего с ним возиться?»

Ночью я внезапно проснулся, будто кто-то толкнул меня в бок. В землянке было совсем темно, хоть глаз выколи. Я долго лежал, не ворочаясь, и никак не мог уснуть. Вдруг в углу послышался шорох. Я зажег спичку. И что бы ты думал? Раненый русский матрос подполз к бочонку с порохом. В единственной своей руке он держал трут и огниво. Белый как полотно, со стиснутыми зубами, он напрягал ос-

таток своих сил, пытаясь одной рукой высечь искру. Еще немного, и все мы, вместе с ним, со всей землянкой взлетели бы на воздух.

Я спрыгнул на пол, вырвал у него из руки огниво и закричал не своим голосом. Почему я закричал? Опасность уж миновала. Поверь, Морис, впервые за время войны мне стало страшно. Если раненый, истекающий кровью матрос, которому оторвало руку, не сдается, а пытается взорвать на воздух себя и противника — тогда надо прекращать войну. С такими людьми воевать безнадежно».

Героизм людей, подобных безымянному матросу, представляется еще большим, если принять во внимание и то, что они подчас испытывали чувства, совершенно естественные и понятные в живом, из плоти и нервов человеке, оказавшемся в условиях почти нечеловеческих.

В солдатских и матросских речениях времен обороны, среди этих кратких, нередко шуточных определений пушек и ядер, перестрелки и бомбардировки, есть одно, поражающее своей горькой меткостью: с т у п а. Так называли осажденный Севастополь. Может, подразумевая сосуд, в котором толкут что-либо, часто и сильно ударяя тяжелым пестом; может, мельничную долбленую колоду, в которую бьют увесистые толкачи. То ли, другое ли, но мрачный смысл ясен: город был как ступа. И все они, защитники города, находились как в ступе, где их «толкли», обращая в прах, наполняя все окрест трупным запахом.

«Солдаты и матросы на работе, в походе, в одиночной посылке, на отдыхе, спят ли, пищу ли варят, едят ли — все над ними тот же треск, все или того подобьет, или другого совсем выхватит. И это за днем ночью, за ночью днем, месяц за месяцем, без перерыва. Какое-то тупое, одуряющее состояние овладело людьми» (из воспоминаний Г. Чаплинского).

«Скоро ли кончится эта ужасная война; страшно как нам всем надоела». «Если уж суждено пасть, так пасть поскорее; а жить так и томиться, это хоть кого с ума сведет!» «Мы так, с позволения сказать, особачились на это время, что, право, поглупели все; да оно и не мудрено, когда ум одним только и занят; когда не только на яву, но и во сне все те же предметы, как-то: сражения, бомбардировки... Ведь решительно в голову ничего не лезет». «Когда это кончится? Мы начинаем терять всякое терпение... Ведь каждый день одно и то же, да и впереди не видишь ничего. Кроме того, досадно видеть, что противники наши обладают такими средствами, какими мы не в состоянии» (из писем капитан-лейтенанта П. Лесли).

Нахимов, конечно, тоже ощущал перерасход нервной энергии, страшную физическую (рвоты, головокружение, обмороки) и нравственную усталость. И хотя из осажденного горо-

да сообщали: «Наш Павел Степанович такой молодец, что чудо!», однако и прибавляли: «постарел». К тому же после, контузий его мучили боли в спине, он перехворал еще и холеринной.

Будь Нахимов «нечувствителен» к тому, что творилось вокруг, находишь он в том спокойствии, которое почему-то приписывают весьма эмоциональным обитателям Олимпа, то он был бы небожителем, а не смертным, поправшим смерть. Он взнуздывал себя железной уздой: «Если я держусь еще на ногах, то этим я обязан моей усиленной, тревожной деятельности и постоянному волнению». И еще его «держала» общая надежда севастопольцев: «Пока Павел Степанович с нами...»

Если Нахимов являлся надеждой и опорой севастопольских подвижников, то и они являлись надеждой и опорой Нахимова. Павел Степанович, несомненно, был душой обороны. Но и его душа нуждалась в ответном, встречном движении. Масса воюющих людей и руководитель этой массы находились в постоянном, нерасторжимом общении. Они оказывали друг на друга сильное, благое, всedневное влияние. То было нравственное единение военачальника и подчиненных.

Да, он был «с нами». И редко, редко бывал с ними — с высшим командованием. Тут-то и крылись дополнительные, весьма ощутительные трудности.

Нахимов ходил не только под бомбами, ядрами и картечью, но и под начальниками, «достоинства» коих вызывали у него горечь, сарказм, негодование. Высшее начальство, повелевавшее защитниками Севастополя, в том числе и Нахимовым, принадлежало к тем генералам, о которых позже было ядовито сказано: «В советах заседать могут, советы подавать не могут».

И Меншиков, и Горчаков, и Моллер, и Станюкович, и Берх, хоть и в разной степени, хоть каждый и по-своему, но всякий из них, распрекрасный в мирное время, оказался отнюдь не прекрасным в военное. И добро бы поступали, как поступал, например, Остен-Сакен, честно и открыто признавший превосходство над собою Павла Степановича. Так ведь нет же, мешали, досаждали, перечили Нахимову. Все они навязывали ему свое «батальное глубокомыслие», свое «первая колонна марширует... вторая колонна марширует...» — короче, именно то, что называется палками в колесах.

При этом они отчетливо сознавали, что именно Нахимов (молчаливо или вслух) признается в Севастополе «наибольшим». Отсюда желчное желание и подловатое умение уязвить его, колоть булавками, от которых, конечно, не помирают, но страдают чувствительно.

Сделать это было нетрудно: официально Нахимов не обла-

дал той властью, какой обладал неофициально. Меншиков лишь незадолго до гибели Павла Степановича утвердил его скрепя сердце всего-навсего помощником Остен-Сакена, начальника Севастопольского гарнизона. И лишь в середине февраля 1855 года он был объявлен исполняющим должность начальника гарнизона. А до того Нахимову формально подчинялись только суда, стоящие на рейде.

Вообразите на минуту вместо Нахимова кого-либо из не всеу помянутых «превосходительств». В печальных севастопольских обстоятельствах любой из них непременно ограничился бы тесной рамкой — «моя хата с краю», распоряжаюсь, мол, судами на рейде, и баста, к прочему касательства не имею.

Не то Нахимов. Он не прячется за чужой спиной, не отходит в сторонку. Нахимов «превышает полномочия», потому что всегда слышит властный зов совести, отчетливо сознает долг перед отчизной, не мыслит бытия своего на отшибе от воюющего, льющего кровь, страждущего солдата и матроса.

Разумеется, несоответствие фактической роли и официального положения нередко задевало самолюбие Павла Степановича. Но всерьез мучило другое: это несоответствие затрудняло боевое дело, которому отдавался он денно и ночью.

Всматриваясь в боевую севастопольскую работу Нахимова, замечаешь характерную особенность: он действует нешумно, без фанфар, не забегая вперед, а по-хозяйски, с той сметливостью и расторопностью, какие присущи русскому народу, «умному, бодрому народу», как сказал Грибоедов.

Мемуары свидетельствуют: одно лишь появление Нахимова среди подвижников крымской Трои удесятряло их энергию и отвагу. Но «эффект присутствия» не был бы столь силен, если бы адмирал демонстрировал лишь собственное «непоклонение» ядрам. Суть в том, что Павел Степанович, повторим, занят был не картинными разездами, а страдной работой.

Вот он на 4-м бастионе.

Здесь особенно жарко. Бастион перепахан снарядами. Его громят несколько сот неприятельских орудий. Везде ямы, завалы, кучи щебня, камней, земли. Нахимов указывает командиру бастиона, бывшему капитану «Ростислава»; необходимо соорудить блиндажи. Тот мнетя: и без того велики потери, не поспеваем управляться с пушками, какие еще блиндажи... Нахимов настаивает: без них потери будут расти и расти... Две недели кровавого пота — и шесть блиндажей готовы. «Теперь я вижу-с говорит Нахимов, — что для черноморца невозможного ничего нет-с».

Вот он разглядывает неприятельские позиции.

Прильнув к подзорной трубе, Нахимов молчалив, хмур, сосредоточен. Подобно гроссмейстеру, размышляет он над «партией», которую разыгрывает неприятель. Потом высказывает свои соображения. И офицер инженерных войск, специалист, знаток, отмечает не без восхищенного удивления: старый моряк понимал все последствия вражеских саперных работ и твердо определял верные способы противодействия им.

Вот Нахимов узнает о почине батарейцев лейтенанта Перекомского.

Батарея расположилась у оконечности Южной бухты. Англичане так близко, что поражают прислугу из штуцеров. Ночью, тишком лихой Перекомский пробирается со своими ребятами на высоту, занятую британцами, и успевает отрыть траншею. Еще несколько ночей — и матросы уже в таком расстоянии от врага, что не позволяют ему не только стрелять прицельно, но даже прицеливаться. Англичане вынуждены ретироваться. Перекомский получает «Геorgia». Но для Павла Степановича, которому, конечно, в удовольствие наградить храбреца, важен почин артиллеристов: надобно, как мы теперь бы сказали, внедрить этот почин, то есть внушить сева-стопольцам, как удобны и полезны вот такие контртраншеи, такие ложементы. И они возникают перед всеми укреплениями Южной стороны.

Говоря по-нынешнему, Нахимов ценил инициативу снизу. Адмирал и кавалер, высший авторитет среди героев Севастополя, он внимательно, серьезно выслушивает бойкого матроса. Матросу не нравится что-то, он режет напрямик: «Это не так!» — «Отчего ж не так? Говори», — приглашает Нахимов. Матрос, ничуть не смутившись, толкует свое. Нахимов удовлетворен: «Молодец! Спасибо. Делай так...»

Не оспаривая простого матроса, коль скоро тот прав, Нахимов решительно возражает вице-адмиралу Станюковичу, старшему по должности и человеку с амбицией. Его превосходительство Михаил Николаевич желают списать с пароходо-фрегатов артиллерийских офицеров и отправить на бастионы? Нельзя, парирует Нахимов, пароходы должны действовать.

И точно, они действуют. Действуют по распоряжению Нахимова. Союзники дымят в виду Севастополя; двухтрубный винтовой корабль врага якорил фарватер, ведущий в Песочную бухту. «Таковое неуважение к нам требует урока», — полагает Павел Степанович.

«Урок» дали. И Нахимов, не слишком заботясь о щекотливом Станюковиче, рапортовал: «Молодецкая вылазка наших пароходов напомнила неприятелю, что суда наши хоть разоружены, но по первому приказу закипят жизнью, что, метко стреляя на бастионах, мы не отвыкли от стрельбы на качке...»

В другой раз те же пароходо-фрегаты Нахимов передвигает к Килен-балке и Георгиевской балке. Тем самым, не говоря худого слова начальнику порта, Нахимов прикрывает фрегатскими орудиями сухопутные фортификационные работы.

Ни едкое недоброжелательство главнокомандующего (а Нахимов знал, как презрительно относился к нему, «лапотному дворянину», светлейший князь, лукавый царедворец), ни субординация не остановили Нахимова, когда он в январе и феврале пятьдесят пятого года излагал свои соображения по охране рейда. Махнув рукой на самолюбие, Нахимов даже извинялся перед светлейшим за то, что «решился возвысить свой голос» и обратился не по инстанции. Какое к чертям самолюбие, ежели «появление неприятеля на рейде лишит армию весьма значительной части необходимых и прекрасных войск, а флот — огромной массы сословия, которое развивалось в продолжение полутора века».

Два нахимовских рапорта — образец ясного, конкретного и пронизательного рассмотрения создавшейся обстановки. И образец военной распорядительности, не снившейся Меншикову.

Распорядительность, чуждую долгого делопроизводства и чертежной бумаги, расцвеченной красным и синим, показал Нахимов и постройкой моста через Южную бухту. Плавающий мост выручил Корабельную сторону, Малахов курган в самые тяжкие дни обороны: дорога с Городской стороны на Корабельную резко сократилась, стало быть, убыстрилось снабжение ключевых позиций всеми видами довольствия.

Выше упоминалось о чувствительной нехватке снарядов. Казалось бы, адмиралу ничего не оставалось, как скорбно уведомить о сем командование и, уведомив, умыть руки. Павел Степанович не желал отписываться. Он едет к главнокомандующему, почтительно и непреклонно доказывает необходимость экстренных мер. С ним соглашаются. Он тотчас, очевидно опасаясь мешкотности князя, спрашивает разрешения командировать на луганские заводы бывалого моряка, человека много испытавшего и пользующегося его, Нахимова, доверием. Враг канцелярщины, адмирал не потяготился составить наиподробнейшую инструкцию, означив и такую частность, как надбавка платы за извоз... Когда же луганские «товары» начали прибывать в Севастополь, Нахимов, довольный, сияющий, гордится не собою, а вернувшимся из командировки посланцем: «Ну-с, благодарю, отлично распорядились, и, ежели все это осуществится, вам будет честь и слава спасения нашего Севастополя...»

Поглощенный прямым боевым делом, Нахимов поспевал как бы на ходу, но вовсе не походя решать множество дел, кажущихся — лишь кажущихся! — второстепенными.

Заметив, что матросы держат пищу в нелуженых медных котлах, он особым приказом запрещает пользование нелуженой посудой. Подходит летняя пора, он велит разбить у госпиталей палатки: пусть раненые и больные «отдышатся», а тем временем маляры побелят покои. Он устанавливает строгий порядок вырубki лесов близ Северной стороны; испрашивает награды отличившимся солдатам, матросам, офицерам; делает строгий выговор капитан-лейтенанту, подчиненные которого худо обуты; на свой страх и риск, не дожидаясь решения «инстанций», использует для нужд обороны портовое и корабельное имущество; организует эвакуацию раненых; ходатайствует о льготах гражданским чиновникам-севастопольцам: пусть как и военным, один севастопольский месяц идет за год службы; приказывает зачислить на флотское довольствие матросские семьи... У окружающих даже создается впечатление, что «адмирал владеет каким-нибудь неисчерпаемым источником, благодаря которому может удовлетворить нуждам всех и каждого».

«Источник» был в нем самом. Человек, близко знавший Нахимова, писал: «Неутомимый враг всякого педантства, всякой бумажной деятельности, он отверг все стеснительные при настоящем бедственном обстоятельстве формальности и этим только достиг возможности быстро и успешно осуществлять свои намерения».

6

Давно, вот уж сорок лет, как отремела великая битва близ бельгийской деревни и юбилей не имел бы ровно никакого значения для осажденного крымского города, если бы союзники не вознамерились именно в этот день — 18 июня 1855 года — овладеть, наконец, Севастополем. «Предполагалось, — иронизирует Энгельс, — разыграть сражение при Ватерлоо в исправленном издании и с другим исходом».

Надо, впрочем, признать, что генерал Пелисье (французский главнокомандующий, подчинявшийся своему бесцеремонному влиянию английского коллегу лорда Раглана) имел основания предполагать успех первого общего штурма: преимущество в живой силе и числе орудий, преимущество в боезапасе и вообще технических средствах, недавнее падение грозных Камчатского люнета, Селенгинского и Волынского редутов, известия об измотанности осажденных, о том, что ряды храбрейших из храбрых, то есть черноморских моряков, сильно прорежены... Несколько сотен сажен отделяли союзников от Малахова кургана, от Корабельной стороны. Локоть, как говорится, был близок, и Пелисье почти не сомневался в том, что укусит его крепко. Правда, самая бли-

зость неприятеля, смекал Пелисье, могла придать делу дурной поворот: ведь русские станут расстреливать штурмующих в упор... Но ежели славно поработать тяжелыми мортирами, ежели провести добрую артиллерийскую подготовку — о, тогда, черт подери, все силы преисподней не вызволят Севастополь. «Севастополь непобедим? Ну так я возьму его!» Артиллерийский шквал сметет русские верки. Потом — атака. И вот он, этот знаменитый город, в руках. Помешать может лишь чудо. А генерал Пелисье, опытный и упорный генерал, в чудеса не верит.

Итак, на рассвете 17-го, в канун знаменательного юбилея, орудия союзников открывают ураганный навесный огонь. Ближе к полуночи неприятельские паровые фрегаты, густо дымя, подходят к Севастопольскому рейду, и теперь уж пальба с моря сливается в один грохот и гул с сухопутной. «Город был буквально засыпан бомбами», — отмечает не дилетант и не сторонний человек, а генерал от артиллерии, находившийся в самом городе. А капитан-лейтенант Лесли, отрывки из писем которого приведены выше, рассказывает: «Я не помню, чтобы все предыдущие бомбардировки были хоть мало-мальски похожи на эту; в этот раз был решительный ад».

Почти в темноте, когда солнце «нового Ватерлоо» еще не взошло, начался штурм. «Огненная река лилась по всему протяжении оборонительной стены», — отмечал современник.

Главный удар обрушился на Малахов курган. Французы сражались блестяще. (Вообще во всех почти боевых операциях они действовали горячее англичан.) «Застрельщицьи батальоны» — батальоны отборных русских стрелков — уладили бешеную атаку.

Однако французы ударили сызнова. Они ворвались на Корабельную сторону. Момент был роковой. Но тут подошел генерал Хрулев; отчаянный храбрец, любимец солдат, он закричал: «Благодетели мои! В штыки! За мной!» Все заклокотало. Обеими сторонами владело безоглядное бешенство. Нахимов оказался в гуще свалки. Когда французы прорвались опять-таки к изножью кургана, перекололи нескольких офицеров, смяли солдат, адмирал с адъютантом в самую решительную минуту скомандовал: «В штыки!» — и отбросил неприятеля.

В какое-то мгновение вспыхнуло удивительное, порою прямо-таки необъяснимое чувство, которое иногда выручает погибающих: чувство превосходства над врагом, нечто похожее на то чудо, в которое не верил Пелисье. «По гарнизону, — вспоминал позже один из русских офицеров, — как будто бы пробежала какая-то особая сила одушевления, уверенности, отваги». То было второе дыхание. И на нем удержался Севастополь.

«Новое издание» Ватерлоо оказалось для французов подобием прежнего — они потерпели поражение. История согласилась на исправления лишь ради англичан — они не оказались победителями.

Еще не остыв после боя, еще дрожа, как запалившиеся кони, еще в поту и крови, севастопольцы с тревогой осведомлялись: уцелел ли Павел Степанович?

Близ Малахова солдат, корчась в муках, остановил верхового: «Постойте, ваше благородие! Я не помощи хочу просить, а важное дело есть!» Офицер склонился над ним. И услышал: «Скажите, ваше благородие, адмирал Нахимов не убит?» — «Нет». Солдат перекрестился: «Ну слава богу! Я могу теперь умереть спокойно».

И он умер, этот солдат.

А Павлу Степановичу оставались уже не месяцы считанные дни...

Радостное настроение севастопольцев после июньской победы не убывало. Союзники, подчеркивал Энгельс, потерпели «первое серьезное поражение».

Но князь Горчаков, сменивший Меншикова, уже обдумывал, как лучше, с наименьшими потерями в ы в е с т и войска из города, оставление которого было им решено бесповоротно.

План свой (уходить на Северную сторону и далее) князь исполнил в августе, когда Нахимова уже не существовало. Но еще при жизни Павла Степановича Горчаков исподтишка готовил все необходимое для наведения плавучего моста через бухту. «Видали вы подлость? — горестно воскликнул Нахимов, обращаясь к хорошо ему известному зрителю морского госпиталя. — Готовят мост через бухту — ни живым, ни мертвым отсюда не выйду-с».

Ни живым, ни мертвым... Можно не сомневаться, Павел Степанович, доживи до падения Севастополя, осуществил бы не замысел князя Горчакова, а свой собственный: остался бы с горсткой матросов и дрался бы до последнего вздоха последнего бойца.

(Вот это: «ни живым, ни мертвым» — символ веры многих моряков лазаревской закалки. Не только старика боцмана, жалевшего, что не взлетел на воздух в бордажной схватке с врагом, но и высших офицеров. Сослуживец Нахимова, упоминавшийся в этой книжке Ф. Ф. Матюшкин, оборонял Свеаборг. Конечно, черноморскую твердыню не сравнишь с небольшой балтийской крепостью. Но здесь важно другое — решимость стоять до конца: «Оборона в русском матросе и солдате, — говорил Матюшкин. — В трубах зданий и подвалах будет порох, где нельзя будет держаться, — взорвем или в з о р в е м с я».)

Наступило 28 июня 1855 года. Был вторник. Трехсотый день высадки союзников в Крыму. Двести шестьдесят седьмой день бомбардирования Севастополя. Летний день с мрачными тучами, с прерывистым блеском солнца, день в переменчивых тенях и привычном гуле канонады.

День этот давно уже перевалил за половину, когда с 3-го бастиона (по нему вдруг открылась усиленная пальба) прислали к Нахимову спросить каких-то распоряжений. Нахимов отвечал, что он сейчас сам приедет.

Племянник адмирала, штаб-офицер Воеводский пытался возражать: в поездке надобности нет, вот, мол, куча бумаг, требующих рассмотрения и подписи, можно-де словесно распорядиться, оставаясь дома и т.д. Павел Степанович улыбнулся: «Как едешь на бастион, так веселее дышишь». И велел, не мешкая, седлать лошадей для себя и адъютантов.

Поначалу Нахимов посетил одно из отделений оборонительной линии. Там он поговорил со старым товарищем вице-адмиралом Панфиловым (Александр Иванович еще мичманом плавал с Нахимовым на корвете «Наварин»), напился у него лимонаду и присел на скамеечку подле блиндажа, дружески толкуя с пехотными и флотскими офицерами.

Послышался бандитский свист бомбы, все кинулись в блиндаж. Бомба, грохнув, «разрешилась», обдав блиндаж осколками. Нахимов не пошевелился. Он, как был, так и остался на скамейке. Потом попрощался со всеми и уехал, сопровождаемый адъютантами, на своей смирной, терпеливой казацкой лошадке.

Он ехал теперь на 3-й бастион. И ему действительно вроде бы дышалось «веселее». Посвист «чьи вы, чьи вы, чьи вы?» так и отдавался в ушах. А Павел Степанович с какой-то особенной светлой полуулыбкой косился на флаг-офицера Колтовского и словно бы размышлял вслух:

— Как приятно ехать такими молодцами, как мы с вами; так нужно, друг мой, ведь на все воля бога, и ежели ему угодно будет, то все может случиться: что бы вы тут ни делали, за что бы ни прятались, где бы ни укрывались, ничто бы не противостояло его велению, а этим показали бы мы только слабость характера своего. Чистый душой и благородный человек будет всегда ожидать смерти спокойно и весело, а трус боится смерти, как трус.

Одну за другой Нахимов осмотрел батареи 3-го бастиона. Дело шло давно установленной чередой. И, убедившись, что оно идет как должно, Нахимов, право, мог бы возвращаться домой. Ведь и поехал-то он на 3-й бастион, чтобы «успокоить душу».

Однако рядом высился Малахов курган, этот жертвенник

Севастополя, над которым и сейчас, когда вы читаете эти строки, оранжево пылает вечный огонь. Малахов курган высился рядом, и Нахимов поехал не домой, а туда, куда ездил почти ежедневно, туда, где в октябре минувшего года пал Корнилов.

На Малаховом царило редкое спокойствие. Ни ядер, ни бомб. Лишь постреливали с французских сторожевых постов. Да и постреливали-то, должно быть, попыхивая трубочкой или сигаркой, ожидая, не высунется ли чья-нибудь бедовая головушка.

Нахимов опять-таки осмотрел все батареи. Задержался на Корниловском бастионе. Будто какая-то неведомая сила так и тянула, так и притягивала адмирала к тому месту, где погиб его боевой товарищ.

Нахимов слез с коня. Защитники бастиона обступили «батьку», он поздоровался, назвал всех, как называл обычно, молодцами. И сказал с той своею неспешливой внятностью, с какой говорил, когда был удовлетворен:

— Ну, друзья, я смотрел вашу батарею, она теперь далеко не та, какой была прежде, она теперь хорошо укреплена. Ну, так неприятель не должен и думать, что здесь можно каким бы то ни было способом вторично прорваться. Смотрите же, друзья, докажите французу, что вы такие же молодцы, какими я вас знаю. А за новые работы и за то, что вы хорошо деретесь, спасибо!

Вот уж, сдается, самое время было возвращаться домой. Нахимов, однако, не торопился. Все с тем же светлым выражением на лице он неторопливо зашагал к вершине укрепления. Ему сказали (не без задней мысли — удержать, не пустить), что в бастионе идет церковная служба: завтра, мол, праздник, день Петра и Павла, его же, Павла Степановича, день ангела. Нахимов отвечал: «Идите, кому угодно, я вас не задерживаю-с».

Он поднялся над мешками с землею. Поднялся по грудь. Живая мишень была хорошо видна не только с ближайшей французской батареи. Живая мишень, адмиральские эполеты были приметны и с неблизких позиций врага, там, среди зеленых, а сейчас, под тучами, почти малахитовых холмов.

Сигнальщик подал Нахимову подзорную трубу. Павел Степанович прильнул к ней. Совсем рядом, едва не зацепив локоть адмирала, тупо ударилась штуцерная пуля. (Штатский из штатских не ошибся бы: пуля прицельная.) Нахимов молвил:

— Они сегодня довольно метко стреляют. Было уже шесть пополудни. Над Севастополем струился тихо меркнувший свет. И так же тихо, негрозно багровело солнце в разрывах туч, по краям туч. Раздался еще одиночный выстрел. Тысячи штуцер-

ных пуль минули Нахимова. Эта пробила ему голову. Он упал навзничь. Упал молча, не вскрикнув.

И никто из тех, кто стоял рядом с ним, позади него тоже не вскрикнул. Все только охнули, простонали, уронили руки.

Нахимова — он был без памяти — снесли вниз по Аполлоновой балке к бухте.

На Северной стороне, в госпитале собрались доктора. Подоспел и главный военный хирург Севастополя профессор Гюббенет. Нахимов дружил с ним и доверял ему не только как опытному медику, но и как своему человеку.

«...Я нашел больного, — писал Христиан Яковлевич, — в следующем состоянии: он был совершенно бледен и, по-видимому, без всякого самосознания, не владел языком и лежал на спине, склонившись несколько на правый бок. Правые конечности оказались бездейственными, левою же рукою он постоянно хватался за рану... По снятии перевязки оказалось, что рана начиналась от левого бугра лобной кости на один дюйм выше левого глазного края и, простираясь горизонтально назад по краю левой височной кости, оканчивалась на один дюйм выше левого уха. Все протяжение раны занимало в длину 6, а ширину 2 поперечных пальца. Пуля прошла спереди назад; отверстие входа свободно пропускало указательный палец и было меньше отверстия выхода. По вскрытие раны через соединение обоих отверстий прежде моего прибытия извлечены были из раны 18 осколков раздробленной кости».

Консилиум определил: состояние безнадежное. Врачи не верили, что Нахимов выживет. Севастополь хотел в это верить. Севастополь ждал и надеялся. Надеялся и ждал сорок часов. Сорок часов длились предсмертные страдания Павла Степановича Нахимова.

Сорок часов истекли. Началась агония. Минуты эти описаны капитан-лейтенантом Асланбеговым:

«...Около 11 часов (30 июня. — Ю. Д.) дыхание сделалось вдруг сильнее, чаще, в комнате воцарилось молчание, доктора перестали спорить, и все подошли к кровати. «Вот наступает смерть», — громко и внятно сказал Соколов¹... Итак, последние минуты Павла Степановича оканчивались. Больной потянулся первый раз, и дыхание сделалось реже; у всех пробежала мысль о смерти, но после нескольких вздохов он снова потянулся и медленно вздохнул, этот раз обман был так силен, что даже доктора ошиблись, приложили ухо к сердцу и утвердительно и печально кивнули

¹ Алексей Егорович Соколов — старший врач одного из флотских экипажей.

нам головами, но жизнь героя Синопа еще боролась со смертью и как бы не хотела так легко оставить тело; умирающий сделал еще конвульсивное движение, еще вздохнул три раза, и никто из присутствующих не заметил его последнего вздоха, потому что уже столько раз обманывался; но прошло несколько тяжелых мгновений, все присутствующие взялись за часы, и, когда Соколов громко проговорил «скончался» на вопрос Воеводского, было 11 часов 10 минут»¹.

В тот же день покойника повезли с Северной стороны на Городскую. Он лежал в шлюпке, шлюпку буксировали баркасы. Клубилось темное, будто и не июньское, а ноябрьское небо. Дул крепкий ветер. Черноморский ветер всегдашний спутник адмирала. Рейд ходил круто, боком, скалясь белым барашком. Ветер и бухта прощались с Нахимовым.

Его вынесли на Графскую пристань. Все тот же античный портик. И эти звучные всплески. Удары и всплески вечного движения. Графская пристань... К ней бессчетно подходил его вельбот. Он выпрыгивал из вельбота легким, пружинистым прыжком и тотчас с безотчетным удовольствием ощущал под ногами земную твердь... Гребцы на баркасах отдали честь покойному, как отдавали живому — взяли весла на валец.

Его принесли домой. В далекие-далекие, как бы и незапамятные времена близ дома погожим предвечерем играла полковая музыка. Из окон дома он часто наблюдал за рейдом, любясь каким-нибудь удалцом, идущим под парусами, или сердясь и досадуя на какого-нибудь капитана за неловкий маневр.

Его принесли в дом, где жил он «со скромностью древнего философа», дожидаясь начала кампании, начала навигации, в дом, где были его книги и подзорная труба, в комнату, украшенную одним-единственным портретом — портретом Лазарева; в дом, из которого не раз просили его переселиться в надежные казематы Николаевской батареи, а он не видел в том надобности, ибо дневал и ночевал на бастионах.

В гробу его осеняли два адмиральских флага. И еще тре-

¹ Автор дневника, тяжело, искренне, больно переживая смерть Павла Степановича, не удержался от горькой укоризны: «Есть моменты, когда начальник должен показать пример храбрости и самоотверженности, но не подставлять без всякой нужды свою голову шальной пуле. Герой Синопа должен был продать свою жизнь гораздо дороже». А. Б. Асланбегов. как это очевидно из приведенных строк, совершенно не разделял фатализма иных севастопольских подвижников. И формально и по существу он прав. Но, кажется, вся суть в том, что конец Черноморского флота, гибель Севастополя были для Нахимова концом и гибелью такого всепоглощающего значения, что, собственная жизнь больше уже не имела ни смысла, ни значения, ни цены.

тий, бесценный: кормовой флаг линейного корабля «Императрица Мария», изодранный синопскими ядрами.

Священник вершил чин отпевания. В мир иной препровождал священник душу Нахимова. Но душа Нахимова оставалась здесь, в Севастополе: у гроба «теснились для последнего прощания любезная покойному его семья, — моряки, тут же теснились офицеры и солдаты всех родов оружия и ведомств».

Адмиралы и генералы вынесли гроб. Как и было приказано, по семнадцати в ряд стоял почетный караул: армейские батальоны и сводный морской батальон — ото всех экипажей Черноморского флота. Как и было приказано, барабанщики ударили «полный поход» — торжественный рокот боевых барабанов, «жалуемый за военные отличия». Как было положено, корабли (те, что остались после затопления) приспустили флаги. Как и было положено, прогремел пушечный салют; то же число залпов, каким салютовали адмиралу при жизни.

Все было как положено, как предусмотрено. И лишь без всякого приказания, без чьих-либо распоряжений легла огромная, подобная руинам города, скорбь. Утих ветер. Утихла пальба на бастионах. Звонил колокол. Ему вторил еще один. Оттуда, где Малахов курган, с Корабельной стороны.

Не в почетном карауле, не во множестве орденовских подушек, не в «определенном числе» высших и старших офицеров, не в панихиде, отслуженной четырнадцатью священниками, и даже не в рокоте «полного похода» и орудийном громе было величие похорон Нахимова, а в глубоком отчаянном безмолвии тысяч и тысяч севастопольцев, матросов и солдат, мужчин и женщин, детей и юнг, отставных боцманов, лодочных перевозчиков, сестер милосердия, доковых мастеровых, тех, кто сердцем знал и понимал «нашего Павла Степановича».

«Все были в слезах, стечение народа было так велико, что по всему пути шествия процессии до склепов, где покоятся Лазарев, Корнилов и Истомин, разрушенные крыши и обвалившиеся стены были тесно покрыты людьми всех сословий», — сообщал в Петербург очевидец.

И, как проникновенно заметил современник, в этом-то и была нетленная победа Нахимова — в народном признании, в народной любви, в безмолвной скорби погребения.

Слабый звон колоколов, уцелевших в обреченном Севастополе, разнесся по России. Многочисленными и горестными были отклики на смерть Нахимова, отклики, похожие на стон. Но вернее всего, мне кажется, передали чувство севастопольцев два слова, написанные моряком в частном, домашнем, не рассчитанном на огласку письме. Лишь два слова: «Т о с к а с т р а ш н а я...»

Близкий друг Пушкина, человек ума оригинального и острого, заметил однажды, что совет Вольтера годится и для великих людей. При этом Александр Тургенев пояснил: нам нужны герои.

Вольтер, вы знаете, утверждал, что господа бога следовало бы изобрести, если бы господа бога не было. Тургенев, иронизируя, предлагал тот же способ обзаведения великими людьми. Однако, иронизируя, автор «Хроники русского» высказал мысль серьезную: каждому народу нужны герои — драгоценные кристаллы национальной сущности.

У русского народа нет нужды в «изобретениях», насмешливо указанных Александром Тургеневым, ибо история России не поскупилась на людей истинно великих.

Бесстрашные, они страшились громких слов о самих себе. Как и народ, к которому принадлежали. И народ этот всегда в речениях о своих героях чурался фистулы громких слов.

Года два спустя после Крымской войны некий приезжий осматривал Севастопольские бастионы. Проводник, матрос-ветеран, рассказывал про Нахимова: «Всюду-то он заглянет, и ши и сухарь попробует, и спросит, как живется, и ров-то посмотри, и батареи все обойдет — вишь, ему до всего дело есть...» Помолчав, задумчиво добавил: «Уж такой ретивой уродился!»

Я прочел об этом в некрасовском «Современнике». И вдруг увидел Нахимова. Стоя в сторонке, Павел Степанович слушал старика в залатанном мундиришке. А потом усмехнулся. Ласково, признательно усмехнулся...

Нахимов служил России. Капитальным в натуре его было чувство чести и долга. Отсюда родилась и окрепла суровая самоотреченность. Отрешаясь от личного, он был Личностью. Так пушечное ядро, канув в пучину, вздымает над морем литой, сверкающий столп.

Человек, любящий свое дело, счастлив вопреки несчастьям. Нахимов был человеком военным. «Ретивой» как раз и означает горячую, пылкую, самозабвенную преданность делу. Любовь эта была заразительной. Она покоряла офицеров, молодых и немолодых, матросов, и бывалых и новобранцев.

Заразительным, покоряющим было и его мужество. Не слепяще-краткое, как фальшфейер, этот сигнальный быстро-летный огонь. Нет, спокойное, ровное, могучее. Как постоянное, глубинное течение.

Он видел и знал Родину. От моря Белого до моря Черного. От тех широт, где в океане занимают зори, до тех, где вечер сгущает балтийскую прозелень. Родина была для него и в кораблях, что сошли с русских верфей, и в ветрах, натуго полнивших паруса, в дороге на Вязьму, в степном шляхе на Тав-

риду. А главное, была она в людях — недавних сеятелях и дровосеках, бурлаках и каменщиках, — в людях, которые, как и он, вступали врукопашную со смертью, побеждали смерть, принимали смерть...

Память народа — лоток золотоискателя. Грязь, гиль, дрянь уходят в небытие. Золото остается национальным богатством. Его нельзя множить, утрачивая уже добытое. И потому люди, подобные Нахимову, переживают свой прах.

1970

СОДЕРЖАНИЕ

От автора

5

СЕНЯВИН

7

ГОЛОВНИН

215

НАХИМОВ

369

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДАВЫДОВ

СОЧИНЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ

Том первый

Редактор И. Шурыгина

Художественный редактор И. Марев

Технический редактор Г. Шитоева

Компьютерная верстка А. Мынко

Корректор Э. Соломонова

ЛР №030129 от 02.10.91 г.

Подписано в печать 04.04.96 г. Уч.-изд. л. 33,6

Цена 23100 р.

Издательский центр «ТЕРРА».

113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

Scan Kreyder - 25.09.2019 - STERLITAMAK

